



**Рауль**  
**Мир-Хайдаров**

---

Том четвертый



# Рауль Мир-Хайдаров

Том четвертый

---

Далеких лет  
далекие обиды

Казань  
Kazan-Kazan  
2011

УДК 82  
ББК 84-4  
М-63

**Мир-Хайдаров, Р. М.**

Том четвертый. Далеких лет далекие обиды.

М-63 Собрание сочинений. В 6 т. Том IV. Далеких лет далекие обиды / Рауль Мир-Хайдаров. — Казань: Kazan-Kazan, 2011. — 600 с.

ISBN 978-5-85903-074-3 (4)

ISBN 978-5-85903-070-5

«Судить буду я» — остросюжетный социально-политический роман с детективной интригой, написанный на огромном фактическом материале. Бывший и. о. Генерального прокурора России Олег Гайданов в недавно вышедшей вторым изданием мемуарной книге «На должности Керенского, в кабинете Сталина», стр. 431 сказал о Мир-Хайдарове и его романах: «...Ничего подобного я до сих пор не читал и не встречал писателя, более осведомленного в работе силовых структур, государственного аппарата, спецслужб, прокуратуры, суда и ...криминального мира, чем автор тетралогии «Черная знать». В ней впервые в нашей истории дан анализ теневой экономики, впервые показана коррупция в верхних эшелонах власти, сращивание криминала со всеми ветвями власти...» Не зря американская газета «Филадельфия инкуайер» назвала Рауля Мир-Хайдарова «исследователем мафии», а специалисты из спецслужб называют его крупнейшим аналитиком, заглянувшим на десятилетия вперед, предвидевшим исламский фактор и терроризм XXI века».

ISBN 978-5-85903-074-3 (4)

ISBN 978-5-85903-070-5

© Мир-Хайдаров Р. М., 2011  
© Изд-во «Kazan-Kazan», 2011

## ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ

**МИР-ХАЙДАРОВ РАУЛЬ МИРСАИДОВИЧ** — писатель, заслуженный деятель искусств (1999), лауреат премии МВД СССР (1989), родился 17 ноября 1941 года в поселке Мартук, Актюбинской области, в семье оренбургских татар.

По образованию — инженер-строитель. Он много лет проработал в строительстве, и работа позволила ему изъездить страну вдоль и поперек. В молодые годы увлекался боксом, имел первый спортивный разряд. В партии никогда не состоял, большим начальником не был. В возрасте тридцати лет на спор с известным кинорежиссером написал рассказ «Полустанок Самсона», опубликованный в московском альманахе «Родники» и записанный на Всесоюзном радио. В 1975 году был участником VI Всесоюзного съезда молодых писателей.

В сорок лет Рауль Мир-Хайдаров оставляет строительство и становится профессиональным писателем. Он издал более трех десятков книг в главных издательствах СССР: «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Художественная литература». Его книги переводились на многие иностранные языки и языки народов СССР. Есть книги, изданные на грузинском, каракалпакском, узбекском. Вся проза Р. Мир-Хайдарова переведена на татарский язык. Почти все его произведения имели журнальные публикации и записаны на Всесоюзном радио. У него пять раз выходили собрания сочинений.

Широкую известность писателю принесла серия «Черная знать», в которую входят тетралогия романов: «Пешие прогулки», «Двойник китайского императора», «Масть пиковая», «Судить буду я» и тематически примыкающий к ним роман «За всё — наличными». Книги из серии «Черная знать» имели по десять-пятнадцать изданий каждая. Это остро сюжетные политические романы с детективной интригой, написанные на огромном фактическом материале. В них впервые в нашей истории дан анализ теневой экономики, впервые показана коррупция в самых верхних эшелонах власти, включая кремлевскую. Показано сращивание криминала со всеми ветвями государственной власти. Первый роман из тетралогии — «Пешие прогулки» — вышел в 1988 году в «Молодой гвардии» с предисловием известного критика и редактора журнала «Континент» Игоря Виноградова. Этот роман на сегодняшний день выпущен двадцатью изданиями (из них четыре раза по 250 тысяч экземпляров) и продолжает издаваться. После выхода романа на автора было совершено покушение, и он чудом остался жив, проведя двадцать восемь дней в реанимации и долгие месяцы в больницах. Ныне писатель — инвалид второй группы.

Американская газета «Филадельфия инкуайер» прислала специального корреспондента Стива Голдстайна в связи с покушением на Р. Мир-Хайдарова и посвятила этому событию целую полосу под заголовком: «Исследователь мафии». Позже писатель выступал во многих европейских газетах по проблемам преступности, давал интервью. Это о Р. Мир-Хайдарове сказал в своей книге «На должности Керенского в кабинете Сталина» бывший и. о. Генерального прокурора России Олег Иванович Гайданов: «Ничего подобного я до сих пор не читал и не встречал писателя, более осведомленного о работе силовых структур, государственного аппарата, спецслужб, прокуратуры, суда и ...криминального мира, чем автор тетралогии «Черная знать».

В своих романах автор зафиксировал хронику смутного времени. После покушения и выхода новых романов жизнь в Ташкенте стала для него невозможной: постоянные угрозы и шантаж, угнали машину, рассыпали набор романа «Судить буду я», запретили постановку пьесы, написанной драматургом В. Баграмовым по роману «Пешие прогулки». И Мир-Хайдаров переезжает в Москву и, конечно, пишет. Уже в России дописывается последняя книга тетралогии «Судить буду я», написан пронзительно грустный ретро-роман о жизни, о любви — «Ранняя печаль». В 1997 году вышел роман о российской мафии, о жизни «новых русских», о крупных аферах в России — «За все — наличными».

В молодые годы известный романист страстно увлекался футболом, дружил со знаменитыми футболистами своего времени: Михаилом Месхи, Славой Метревели, Гурамом Цховребовым, Геннадием Красницким, Станиславом Стадником, Берадором Абдураимовым... Любил и знал балет, дружил с народным артистом СССР Ибрагимом Юсуповым, учеником Юрия Григоровича. Поклонник джаза — был знаком со многими джазменами из оркестров Орбеляна, Кролла, Вайнштейна, Гаджиева, Гобискери. Специально брал отпуск зимой, чтобы побывать в московских театрах, общался с Олегом Далем, Валентином Никулиным. Смотрел все знаменитые спектакли театра «Современник» конца 60-х — начала 70-х.

Ныне остались увлечение живописью и, конечно, писательский труд, любовь к которым оказалась сильнее и футбола, и джаза, и театра. Он — обладатель одной из самых больших частных коллекций современной живописи в России.

В 2001 году в Казахстане, на родине писателя, на государственном уровне был отмечен его юбилей. В дни 60-летия в областном историко-краеведческом музее Актюбинска был открыт зал, посвященный знаменитому земляку, в нем выставлены шестьдесят картин, подаренных им городу из его частной коллекции. Одна из улиц его родного Мартука названа именем Рауля Мир-Хайдарова. Там же, в Мартуке, открыт литературный музей писателя и действуют два школьных музея. Р. Мир-Хайдаров — почетный гражданин Казахстана.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

### **Романы:**

- «Пешие прогулки» (1988). 20 изданий
- «Двойник китайского императора». 16 изданий
- «Масль пиковая» (1990). 15 изданий
- «Судить буду я» (1992). 10 изданий
- «Ранняя печаль» (1996). 6 изданий
- «За всё — наличными» (1997). 8 изданий

### **Книги повестей и рассказов:**

1. «Полустанок Самсона» (1975) — рассказы
2. «Оренбургский платок» (1978) — рассказы
3. «Такая долгая зима» (1978) — рассказы
4. «Путь в три версты» (1979) — рассказы
5. «Знакомство по брачному объявлению» (1980) — повести
6. «Жар-птица» (1981) — рассказы
7. «Дамба» (1984) — повести и рассказы
8. «Чти отца своего» (1987) — повести и рассказы
9. «Из Касабланки морем» (1987) — повести и рассказы
10. «Седовласый с розой в петлице» (1988) — романы и повести
11. «Налево пойдешь — коня потеряешь» (1990) — романы и повести

### **Собрания сочинений:**

1. Изд-во «Художественная литература» (Москва, 1990) — однотомник
2. Изд-во «Голос» (Москва, 1992-1993) — собрание сочинений в 4-х томах
3. Изд-во «Грампус Эйт» (Харьков, 1995) — собрание сочинений в 3-х томах
4. Изд-во «Южная Пальмира» (Днепропетровск, 1996) — собрание сочинений в 4-х томах
5. Изд-во «Идел-Пресс» (Казань, 2006) — собрание сочинений в 5-ти томах

Романы «Ранняя печаль», «За всё — наличными» и «Масль пиковая» записаны на аудиокассетах на 87 часов звучания.

Общий тираж книг превышает 5 миллионов экземпляров.

e-mail: [mraul61@hotmail.com](mailto:mraul61@hotmail.com)  
сайт: [www.mraul.ru](http://www.mraul.ru)

## О ПРОЗЕ И РАННЕЙ ПЕЧАЛИ ПИСАТЕЛЯ РАУЛЯ МИР-ХАЙДАРОВА

Сергей АЛИХАНОВ  
академик

Мне, в силу личных симпатий к прозе писателя и дружеских отношений с автором (к тому же я оказался биографом Рауля Мир-Хайдарова), известны все его литературные пристрастия, его любимые поэты и прозаики. Он ещё не ступил на литературную стезю, когда его кумиром стал И. А. Бунин, и прочитал прозу мастера в юные годы, когда все ложится на сердце крепко и навсегда. Переболел он и западной литературой, что было характерно для молодежи шестидесятых-семидесятых годов — Фицджеральдом, Томасом Вулфом, Голсуорси, Дзюмпеем Гомикавой — романистами, тяготевшими к социальным проблемам, а главное, к емкой, образной фразе.

Позже, уже сложившимся писателем, издавшим десятки книг, Рауль Мир-Хайдаров открыл для себя Валентина Катаева, обязательно надо добавить, позднего Катаева. И Катаев, лично знавший Бунина с юных лет и всю жизнь считавший его учителем, стал для Рауля Мир-Хайдарова вровень с великим Буниным.

Поздний Катаев, на взгляд писателя, никак не уступает по музыкальности фразы, стилистике, ярчайшим, неожиданным эпитетам и сравнениям кудеснику слова — Бунину. А по форме, построению сюжета дает большую фору традиционалисту Бунину. Впрочем, как считает Рауль Мир-Хайдаров, и в мировой литературе не очень много писателей, так виртуозно владеющих формой, как Катаев.

Такое трепетное отношение к своим кумирам, глубокое знакомство с их творчеством не могли не сказаться на манере, стилистике писателя. Он так же, как и его кумиры, тяготеет к предложениям на треть и полстраницы, умеет так описать вещь, обстановку, интерьер, застолье, что невольно видишь описываемое перед собою как на экране.

Писатель всегда сетовал, что поздно открыл для себя Катаева, хотя понимал, что лучшие свои произведения тот написал на излете жизни. Рауль Мир-Хайдаров завидовал молодым, идущим вслед ему писателям, для которых был уже написан и издан весь поздний Катаев. Еще больше жалел он, что Катаев не успел показать Бунину свои лучшие вещи, настоящего Катаева, оправдавшего, да что оправдавшего, далеко превзошедшего ожидания своего учителя. Иван Алексеевич оценил бы и форму, и содержание книг

юноши, когда-то, в далеком 1918 году, пришедшего к нему на дачу с первыми своими стихами. До слез обидно, что Бунину не удалось прочитать «Траву забвения» — воспоминания о нем самом. Новая форма и новое содержание пришли к Катаеву через пятнадцать лет после смерти кумира юности.

Катаев повлиял на Рауля Мир-Хайдарова, повлиял на его главный роман «Ранняя печаль», хотя автор, может быть, пришел к такой форме неосознанно, интуитивно. Недавно, перечитывая, по настоянию Рауля Мир-Хайдарова, произведения Катаева, в «Траве забвения» я наткнулся на авторское рассуждение. Привожу текст дословно: «...я ищу... чего-то, что не походило бы на роман. Отсутствие интриги для меня недостаточно. Я хотел бы, чтобы сама структура была другой, чтобы эта книга носила характер мемуаров одного лица, написанного другим...»

И меня тут же пронзила мысль, что именно по этому «рецепту» скроен роман «Ранняя печаль». Автобиографическая книга Рауля Мир-Хайдарова, написанная от имени вымышленного Рушана Дасаева. Я тут же связался с автором и зачитал катаевские строки, высказал свои соображения. Странно, не единожды читавший «Траву забвения» Мир-Хайдаров не помнил этих строк и бросился листать томик Катаева, который у него всегда на письменном столе. Через минуту он радостно сообщил мне, что только теперь разгадал мучившую его тайну: откуда родилась блестящая форма самой любимой его катаевской вещи «Юношеский роман». Еще одного мгновения ему оказалось достаточным, чтобы соотнести «рецепт» Катаева с «Ранней печалью» — и он с грустью сказал: «Как жаль, что Валентина Петровича нет уже почти двадцать лет, а то я сейчас бы поставил эти слова эпиграфом и отнес любимому писателю».

Вот так: Катаев не успел к Бунину, Мир-Хайдаров — к Катаеву. В таких горестных утратах, когда ученик не успевает отчитаться перед учителем, и рождается литература, и что-то по-настоящему стоящее создается только на излете жизни.

Рауля Мир-Хайдарова роднит с любимым писателем еще одно качество — сила воображения. Эта грань таланта Рауля Мир-Хайдарова наиболее очевидна.

Рауль Мир-Хайдаров добился заслуженного признания у себя на родине и далеко за ее пределами. Литературное имя он приобрел, создав серию социально-политических романов, в которых современный мир предстает перед читателями в правдивом и даже шокирующем отображении.



ШИРОКОВ СЗ

Роман





# Судить буду я

Роман

**П**ока человек со свежим шрамом на лбу, припадая на левую ногу, одолевал просторный холл ресторана «Лидо», принаряженного к Новому году, у Миршаба мгновенно пересохло в горле, и он остро почувствовал, как не хватает ему воздуха. Бросив взгляд на бармена за стойкой, Мишраб сказал, пытаясь унять волнение:

— Налей побыстрее чего-нибудь...

Но фраза не получилась спокойной, нервно свело скулы, и оттого слова прозвучали тревожно, просительно — куда подевались обычная властность, металл в голосе? Тревога читалась и на вмиг осунувшемся, бледном лице, хотя Салим Хасанович умел себя держать, и бармен прекрасно знал это.

Странный хромой посетитель, осушивший подряд две стопки водки, вселил нервозность и в вальяжного виртуоза бокалов и бутылоч, и он тут же дал промашку: вместо традиционного особого армянского коньяка налил водку из запотевшей бутылки и заметил свою оплошность в последний момент, когда Салим Хасанович уже поднес рюмку к губам. Но самое удивительное: педантичный и капризный любовник директрисы «Лидо», не отрывая взгляд от ковылявшего к выходу болезненного вида человека, жадно опрокинул рюмку и жестом попросил повторить, хотя бармен знал точно: Хашимов водку не пил.



Бармен наполнил рюмку в протянутой руке и тоже невольно устремил глаза к выходу. Он увидел, как Карен нарочито подобострастно склонился в поклоне, открывая перед посетителем дверь, и, выпустив его, тут же кинулся почти бегом к бару, словно чувствовал призывный взгляд Миршаба. Точно так же, как минуту назад Салим Хасанович со странной кличкой Миршаб, к которой бармен никак не мог привыкнуть, он жадно потребовал:

— Налей поскорее чего-нибудь... — и, увидев бутылку «Столичной» в руке бармена, добавил: — Лучше водки, да побольше, целый стакан...

Бармен не заставил себя ждать, поискал глазами, чем бы дать закусить...

Выпив залпом и не обратив внимания на поданный бутерброд с икрой, Карен обратился к человеку, которого всегда называл «шеф»:

— Он заглянул случайно или пришел испортить нам Новый год?

Хашимов зло подумал: «Вот если бы ты справился с заданием, раздавил жигуленок вместе с прокурором в лепешку, сегодня бы у нас не возникли проблемы и праздник прошел без сюрпризов». Но вслух сказал другое:

— Нет, не случайно. Он объявил, что включил мне счетчик, и напомнил, что мы с Сухробом слишком много ему задолжали. Понимаешь?

Шок у него быстро прошел, и Миршаб вполне владел своими эмоциями, да ему и хотелось перед Кареном выглядеть спокойным, уверенным, он знал, что тот просто влюблен в Шубарина за его хладнокровие, выдержку, аристократические манеры. Брат Карена, Ашот, долго служивший у Артура Александровича телохранителем, сам человек без нервов, всегда поражался безупречной уравновешенности Шубарина и считал своего босса образцом для подражания. Вселять в Карена страх, тревогу не следовало. Всегда осторожный Миршаб заговорил, забыв про парня за стойкой, но тот сам инстинктивно почувствовал, что ему следует держаться подальше от любой информации, и бочком, незаметно, покинул рабочее место. Посетитель с рваным шрамом на лбу вселил тревогу и в его душу. Что могли означать его слова: «за жену, за сына...»?

Бармен хорошо знал многих «деловых» и «крутых» людей в городе,— бар в «Лидо» пользовался популярностью у этого рода публики из-за великолепного ассортимента напитков, а баснословная дороговизна делала его недоступным для случайных посетителей.

Но, как он ни напрягал память, не мог припомнить этого хромого клиента, судя по внешности, местного. Он давно привык к всесилию хозяйина, человека из Верховного суда, и сейчас не мог поверить, что есть кто-то, могущий вселить тревогу в самого Миршаба, да еще в канун Нового года. Но, оказывается, такой человек существовал,— он сам заявился в «Лидо»,— это читалось на лицах беседующих у стойки людей.

Салим Хасанович, уловив тревогу в душе Карена, постарался перевести разговор в романтическую плоскость, столь обожаемую в уголовном мире:

— Слишком театрален прокурор, или у него не выдержали нервы. Помнишь, как у Стивенсона, в «Острове сокровищ», одноногий пират приносит жертве черную метку? Так случилось, что и мы сегодня получили от Москвича метку...

— Как бы там ни было, благородный поступок с его стороны, он играет в открытую...— сухо ответил Карен.

— Благородство — дорогая штука, не каждому по карману...— закончил туманно Хашимов и, пожелав боевику весело встретить Новый год, поспешил в кабинет хозяйки ресторана.

Наргиз по внутреннему селектору отдавала последние указы на кухню, и Салим Хасанович, придвинув к себе ярко-красный телефон, набрал номер дежурной на этаже института травматологии, где лечился прокурор республики,— он помнил его наизусть.

— Скажите, пожалуйста, не поздно ли будет часа через два завезти праздничный ужин прокурору Камалову? — спросил он любезно, не забыв поздравить дежурную по этажу с наступающим праздником.

— Кто спрашивает? — поинтересовалась на всякий случай медсестра, видимо, люди из прокуратуры провели с персоналом соответствующий инструктаж.

— Салим Хасанович Хашимов, из Верховного суда,— ответил довольный трюком Миршаб.

— Спасибо за внимание и хлопоты, Салим Хасанович, но должна вас огорчить: прокурор встречает Новый год вне стен нашей больницы.

— Он что, уже выписался? — деланно удивился собеседник.

— Нет, отпросился у профессора Шаварина ровно на сутки. Ему еще долго у нас находиться...

Ответ любезной медсестры успокоил Миршаба, и он, удовлетворенный, положил трубку. Наргиз, слышавшая разговор, удивленно спросила:



— Ты хотел поздравить с Новым годом Камалова?

— А почему бы и нет? Коллеги все-таки, одним делом занимаемся, и Бог у нас един — правосудие. Не приведи Аллах попасть в такую аварию, я ведь тоже на машине день и ночь мотаюсь. — Ему не хотелось впутывать любовницу в свои дела, но на всякий случай он отметил, что обеспечил себе бесценное алиби: медсестра наверняка при необходимости подтвердила бы факт телефонной беседы.

На улице уже смеркалось, и во дворе разом вспыхнули фонари. Сквозь большое оконное стекло холла в свете ярких ламп снег падал особенно театрально, словно в замедленной съемке, что еще больше поднимало предпраздничное настроение. Две заснеженные чинары у ограды в обманчивом вечернем освещении издали походили на ели. «Зря их не догадались украсить хотя бы лампочками», — подумал Салим Хасанович и вспомнил про подарок для Наргиз.

«Проклятый Москвич!» — чертыхнулся про себя Миршаб, из-за него он совсем забыл про новогодний подарок. Обидеть в такой день любимую женщину — непростительная ошибка, объяснения в таком случае не принимаются!

Но Москвич не шел у него из головы, и он подумал, что если сейчас, тут же, не вручит Наргиз презент, то опять может забыть о нем. Мысли его против воли крутились только возле прокурора, и не было в них места ни для праздника, ни для Наргиз, которую он все-таки любил.

Наргиз, заметив, что ее покровитель чем-то озабочен, подошла к нему и нежно погладила по голове. Волосы у Салима, уже чуть тронутые сединой, слегка вились, сами без особых ухищрений парикмахера укладываясь в прическу, придававшую ему импозантный вид. Но все же что-то актерское проглядывало во внешности, манерах Хашимова, в его постоянном внимании к своему гардеробу. Ласки Наргиз всегда успокаивали Миршаба, но тут он обрадовался другому: подвернулся вполне естественный повод вручить подарок. Из внутреннего кармана темно-синей вечерней «тройки» он достал узкий футляр с тяжелым, пятирядным колье из розового жемчуга. Вчера одни люди в благодарность за услуги принесли целый дипломат изящных вещей, и среди них оказалось это чудесное изделие в роскошной коробке из золотистой замши. Колье отличалось тем, что в середине все пять рядов жемчуга соединялись с удивительной красоты изумрудом. Целый час, позабыв про дела, любовался он работой, пытаясь найти хотя бы две разные жемчужины — хоть по цве-

ту, хоть по размеру, хоть по форме, но китайский жемчуг из Гонконга оказался без единого изъяна. В дипломате были и другие украшения, но сегодня, в Новый год, он остановил свой выбор на этой изящной вещи, вспомнив, как в день ограбления прокуратуры Беспалый обещал подарить Наргиз жемчужное кольцо...

— Закрой глаза,— попросил Миршаб и, привстав, ловко застегнул кольцо на высокой, лебяжьей шее любимой женщины, на миг ощутив тяжесть ее жгуче-черных волос.

В последние годы Ташкент наводнили жемчугом, особенно много его привозили армяне-репатрианты, о чем некогда поведал Артем Парсегян по кличке Беспалый, а теперь, когда стал свободным выезд в Китай, привозили уйгуры и дунгане, проживающие в Узбекистане и Казахстане. Но кольцо из пяти рядов розового жемчуга с огромным изумрудом Наргиз оценила сразу, хотя и имела целую шкатулку бус: в старинных мусульманских фамилиях с незапамятных времен жемчуг ценился дороже бриллиантов.

— Спасибо!..— искренне поблагодарила Наргиз, обвив шею давнего любовника горячими руками,— она не сомневалась, что Салим любит ее.— Оно чудесное!

Подарок обрадовал и огорчил одновременно: Наргиз подумала, что Мишраб засобирился домой, отсюда такая поспешность с подношением, хотя он особенно не торопился. Налюбовавшись драгоценностью у зеркала, Наргиз заглянула в соседнюю комнату, где уже был сервирован стол на двоих. На улице совсем стемнело, а окна ее личных апартаментов выходили в глухой двор, оттого в зале стояла темнота. Но Наргиз не включила свет, а зажгла ароматные свечи в тяжелых четырехрожковых бронзовых шандалах, стоявших в центре стола, от которых заиграли длинные причудливые отсветы на тонком фарфоре и столовом серебре, задвигались тени по высоким стенам. Подумав, она включила гирлянду на небольшой щедро наряженной елочке в углу и только потом пригласила Миршаба в зал. Мягкая лирическая музыка,— саксофон знаменитого Папетти,— доносящаяся из огромных динамиков по углам комнаты, хвойный аромат от оплывающих свечей, светящаяся огнями, блистающая украшениями елка, стол, белевший во тьме зыбким квадратом с дрожащими на нем тенями, изысканно сервированный на двоих,— все это вернуло Миршабу утраченное ощущение праздника, и он, обняв Наргиз, волнуясь, прошептал ей на ухо:

— С наступающим Новым годом, милая...



Наргиз ответила легким поцелуем, а, уходя, чтобы позвать официантов накрывать стол, все же сказала с нескрываемой горечью:

— Жаль, что мы с тобой встречаем Новый год по дальневосточному времени...

Она и раньше знала, что праздники он отмечает в кругу семьи, но сегодня не удержала обиду в себе. Но Хашимов пропустил колкость мимо ушей, просто уже не слышал ее: мысли вновь вернулись к прокурору Камалову.

Если до сегодняшнего дня он был уверен в своей безопасности и считал, что в капкан Москвича попал только его шеф и одноклассник Сухроб Акрамходжаев, которого он часто, даже в мыслях, называл Сенатором, то теперь иллюзия благополучия пошатнулась, если не рухнула, — его жизнь тоже оказалась в опасности.

Выходит, оставалось одно — действовать, и действовать немедленно, прокурор и в больнице представлял угрозу.

Бежать... Бежать, прихватив с собой прекрасную Наргиз и пять миллионов аксайского хана Акмаля, отданных не то во имя торжества зеленого знамени ислама, не то для спасения из рук КГБ — первое, что приходило на ум.

«И жить в вечном страхе, ожидая каждый день ночного стука в дверь?» — нашептывал внутренний голос, и Миршаб без сожаления отменил этот вполне логичный путь, — вне власти жизни он уже не мыслил...

Оставалось одно — ликвидировать прокурора Камалова, а заодно и взломщика Артема Парсегиана, Беспалого, находящегося в следственном изоляторе КГБ, куда его упрятал хитрющий начальник уголовного розыска республики полковник Джураев. Беспалый знал про Сенатора нечто такое, что грозило жизни и его однокласснику Миршабу.

Хотелось немедля, сию минуту, несмотря на приближающийся Новый год, что-то делать, предпринимать — ведь речь шла о его жизни, его судьбе. Кроме того, жаль было расставаться с деньгами, властью, положением. «Нет, меня так дешево, как Сенатора, ты не заполучишь!» — мысленно пригрозил он прокурору Камалову. Миршаб чувствовал, как злоба начинает мутить ему голову, туманить мозги, и он приказал себе: «Стоп! Возьми себя в руки. Против Москвича нужно действовать осторожно, расчетливо, желательнее чужими руками. Возможно, он и явился в «Лидо», чтобы спровоцировать ярость и лобовую атаку, мастак он заманивать в ловушку. Не забывай

про смерть снайпера Арифа, владельца знаменитого восьмизарядного «Франчи», как тот угодил в собственноручно расставленную засаду и поплатился жизнью. А сколько высших чинов милиции в Москве пошло из-за Камалова в тюрьму, пока не вычислили, что именно он охотник за оборотнями в органах... Многим людям и в Москве, и в Ташкенте стоит поперек горла этот несговорчивый прокурор, и ничему-то жизнь его не научила...»

В большом зале ресторана оркестр начал настраивать инструменты. Время от времени высоко и резко взлетал визг трубы, забывая саксофон легендарного Фаусто Папетти. Ярко разгоревшиеся свечи уже освещали ближний угол комнаты, переливалась огнями елочка, пахло хвоей, теплом, уютom, праздником — но Салим ничего не видел, ничего не слышал, ничего не ощущал. Он все время возвращался мыслями к неожиданному визиту прокурора в «Лидо».

Таким задумчивым и застала его Наргиз. Два официанта вкатили следом за ней столик с горячими и холодными закусками, зеленью, фруктами, брынзой, Наргиз же несла в руках огромную вазу с отборными мандаринами. Неожиданный запах цитрусовых из далекой Абхазии пробил что-то в сознании Миршаба, и он, пересиливая себя, отринув мысли о прокуроре, поднявшись навстречу, воскликнул искренне:

— О, какие чудесные мандарины, как дивно пахнут!

Засиделся он, на удивление Наргиз, долго, но на это у него появились свои причины,— он решил все-таки не откладывать дела в долгий ящик. Вдруг во время изысканного ужина с очаровательной Наргиз, когда, казалось, мысли о прокуроре Камалове отступили окончательно, ему припомнился Коста... Миршаб понял, что без его помощи на этот раз не обойтись. Зная, что Джиоев встречает Новый год в «Лидо», он и задержался здесь, чем доставил искреннюю радость Наргиз.

Когда Коста появился в ресторане, его предупредили, что Хашимов в «Лидо», и он зашел поздравить компаньона своего шефа Шубарина с Новым годом. Обменявшись любезностями, Миршаб пригласил его пообедать сразу после Нового года, и Коста понял: что-то стряслось, если человек из Верховного суда приглашает домой, да еще в праздники. Заручившись согласием Коста, Салим Хасанович заторопился к семье, он считал, что праздники для него уже кончились — счетчик его долгам включил очень серьезный человек.



## II

Направляясь к машине после неожиданной встречи с Хашимовым в ресторане, Камалов уже жалел о своей несдержанности. Не стоило раскрывать козыри — давать понять, что он знает, кто стоит за убийством его семьи, за покушением на него самого на трассе Коканд — Ленинабад. Теперь действия Хашимова могли стать непредсказуемыми: он мог попытаться исчезнуть, затерявшись в бывших владениях хана Акмаля, или же с помощью его людей мог легко перебраться в Афганистан. В войну контрабандисты наладили надежные коридоры, а связи, судя по всему, у человека из Верховного суда были, да и деньги водились немалые. И если Сенатор успел стать доверенным человеком хана Акмаля, то сегодня Салим Хасанович вполне мог быть распорядителем многих его миллионов.

Вот какой расклад на будущее он, сам того не желая, веером растелил перед Миршабом. Но существовал и другой путь, более радикальный, который у них уже дважды срывался, — попытаться снова убрать его. Этот путь наверняка Миршабу больше по душе; в случае удачи — концы в воду, и Сенатору путь на свободу забрезжит, скажут: оболгал Беспалый кристально честного человека, борца за демократию и справедливость по наущению прокурора Камалова.

«Как ни крути, выходит, дал промашку», — укорял себя прокурор, отыскивая глазами на просторной автостоянке машину Нортухты, с которым они попали в засаду Арифа во время ферганских событий. Но что-то в нем сопротивлялось однозначной оценке событий: «Да, по логике вроде сделал ошибку. Но не все же должно оцениваться в жизни как в математике, только со знаком «плюс» или «минус», — уверял он себя, и вдруг понял: такой оценке в нем противится не хладнокровный прокурор, а просто мужчина, у которого убили любимую женщину, сына. Вот с этой позиции он поступил верно, намеренно открыв карты, дал понять, что пощады им от него не дожидаться и расплата предстоит по высшей мере: око за око. Поступил по-мужски, открыто сказал в глаза — таким поступком следовало гордиться. А что испортил праздник — так это вышло случайно, он не ставил себе такой цели, сегодня, наверное, Миршабу и Новый год будет не в радость, страх на его лице был очевиден. Эта мысль не только успокоила прокурора, но и привела к неожиданному выводу: ведь Хашимов может подумать: если прокурор пришел в «Лидо» и открыто заявил, что знает, кто стоит за по-

кушением на него, значит, у него уже собрано достаточно материалов и готов ордер на арест. Вряд ли такой человек станет угрожать без оснований. Разве не могла прийти человеку из Верховного суда подобная мысль? «Вполне»,— ответил сам себе прокурор и улыбнулся. А из этого следовало только одно — Миршаб сейчас же начнет действовать, времени на раскачку у него уже не осталось...

Бежевая казенная «Волга» Нортухты оказалась припаркованной между двумя роскошными «мерседесами» с ташкентскими номерами, а сам он разглядывал вишневого цвета «вольво», стоявшую напротив. Мельком глянув на респектабельную «вольво», Камалов вспомнил майора ОБХСС, зятя крупного хапуги из Совмина. Кудратова-то и потрошил Беспалый вместе с неким рэкетиром по имени Варлам,— они знали, что обэхаэсник собирается купить «вольво» за двести двадцать пять тысяч, и как раз вишневого цвета. «А не Кудратова ли это машина?» — подумал прокурор и на всякий случай «срисовал» номер. «Солидная публика собирается отмечать Новый год в «Лидо»,— отметил про себя и пожалел, что нет возможности заснять помпезный бал на видеопленку,— интересное получилось бы кино.

Нортухта, увидев прокурора, поспешил к машине. Выезжая со стоянки, лукаво спросил:

— Мне показалось, вы знаете хозяина «вольво», хотя машина наверняка появилась в городе месяца два-три назад, когда вы находились в больнице...

— Да, ты прав. Хозяин машины, по-моему, Кудратов, работник милиции, но на всякий случай проверь мою догадку, ведь я полгода не у дел, не в форме.

— Еще не вошли в рынок, а как много развелось в Ташкенте роскошных иномарок, наша «Волга» рядом с ними смотрится колымагой,— сказал с сожалением в голосе шофер.

— Интересно, когда появится первая «мазерати» в республике и кто будет ее хозяин? — поддержал разговор прокурор, пытаясь уйти от мыслей, связанных с «Лидо».

— А я про такую и не слышал. Что, очень престижная машина?

— О да! Автомобиль экстра-класса, супер-люкс, делается на заказ в Италии, персонально, учитывая все прихоти хозяина. Я видел всего три-четыре в Париже...

К дому на Дархане подъехали быстро, и Камалов, глянув на часы, сказал:



— Значит, завтра к четырем часам жду тебя,— я обещал вернуться в больницу к вечернему обходу. С Новым годом тебя и всех твоих близких.— И, уже взявшись за ручку дверцы, добавил с волнением: — Честно говоря, после покушения на трассе я думал, что ты попросишься на другую машину. Работа со мной, кроме опасности, не сулит ничего хорошего. Сейчас вот хотел пожелать тебе счастья, покоя, благополучия, того, что принято в нормальном обществе, но мы с тобой живем в перевернутом мире и втянуты в смертельную игру, где ничьей не бывает. У меня язык не поворачивается говорить банальные слова, хотя я от души желаю тебе счастья и благополучия...— Он перевел дыхание, но все же решил сказать все без обиняков: — Полчаса назад я видел одного из тех, кто организовал охоту на нас с тобой во время ферганских событий, и я должен дать тебе шанс еще раз подумать, стоит ли работать со мной. Если что, я не обижусь...

— Нет, Хуршид Азизович,— прервал Нортухта затянувшуюся паузу.— Я сразу почувствовал: в ресторане что-то произошло с вами — недаром меня так и подмывало пойти следом... За полгода, что вы находитесь в больнице, у многих эта забегаловка на слуху... Говорят, очень большие люди покровительствуют этому гадюшнику, и немудрено, что кое-кому вы тут вот так...— Он чиркнул себе поперек горла.— А что касается моей работы... Обыкновенная, мужская работа, я ее сам выбрал. Знаете, у нас в Афгане была в ходу поговорка: «Коней на переправе не меняют...». Так что до встречи в Новом году, то есть завтра...

...Странное ощущение испытывал прокурор, войдя в дом, в котором не был полгода, и он понимал, что это не из-за времени. В свою московскую квартиру он возвращался из Парижа после тринадцатимесячной разлуки, а из Вашингтона однажды даже после двухлетнего отсутствия, но то было иным измерением. Сегодня Камалов вернулся, как бы побывав по ту сторону жизни,— теперь-то он понимает, что чудом остался жив, пролежав двадцать восемь дней в реанимации,— и его не встречали, как обычно, жена и сын.

Казалось, еще все в доме хранило следы их рук, вещи таили их тепло, запахи... Случайно забытая книга на подоконнике, крем в ванной, комнатные туфли у кровати, теннисная ракетка в прихожей, плеер с наушниками на письменном столе словно дожидались владельцев, а их уже нет... И хотя два часа назад он был на их могилах, но все же в глубине души не верилось, что они погибли, в человеке всегда теплится надежда на чудо. Как хотелось закричать, заплакать

от бессилия, невозможности что-то изменить в судьбе, вернуть дорогих людей, и он со стоном повалился на тахту, на которой, казалось, еще вчера сидел рядом с сыном и женой.

Высокие напольные часы в корпусе из потемневшего красного дерева напомнили, что до Нового года осталось всего шесть часов, и с боем старинных часов, купленных женой по случаю в комиссионном магазине, он вдруг понял, что отныне для него начался отсчет совершенно нового времени.

После такого открытия он и на вещи вокруг себя смотрел уже по-другому — привычные, родные, они жили как бы своей жизнью, обходились без холившей, лелеявшей их хозяйки; да и погибни он сам вместе с семьей, сегодня тут расхаживал бы чужой человек и пользовался его вещами, слышал этот бой часов... Никогда до этой минуты он не ощущал с такой пронзительностью бренность жизни, хотя с молодых лет ходил, что называется, по лезвию ножа.

— Успеть бы! — неожиданно вырвалось у него вслух, но он не связывал это «успеть» со встречей в ресторане, с Миршабом.

Успеть — для него значило реализовать хоть часть задуманного. Он чувствовал, как словно в песок ушли годы, и даже главные работы его жизни, не потерявшие актуальности за десятилетия, и по сей день лежат с грифом «Совершенно секретно», не востребованные обществом, лишний раз напоминая, на сколько лет мы опоздали... И он в который раз пожалел, что так рано ушел из жизни Юрий Владимирович Андропов, спасший его однажды...

Несмотря на отсутствие хозяйки, дом не выглядел запущенным, о том, что тут постоянно бывала родня, он знал, и сейчас инстинктивно ждал телефонной трели или звонка в дверь. Он не предупредил никого из близких, что намерен покинуть больницу на Новый год, — все вышло неожиданно, под влиянием дивного снегопада. Узнав, что он вернулся, родственники кинутся приглашать к себе — провести праздник в кругу родных. Но ему хотелось побыть в новогоднюю ночь одному, восстановить в памяти счастливые дни с семьей, поразмышлять о себе, о времени, о деле, которым занят, — там ведь и минуты не дадут остаться наедине со своими мыслями, будут заботиться, опекать, жалеть. А ему не хотелось вторгаться со своей бедой в чужую жизнь, даже родственников, хотя знал, что пекутся они о нем искренне. Для Камалова не прошло бесследно, что он столько лет жил вдали от родины и придерживался в жизни традиций уже скорее европейских, чем восточных, но не оттого, что отдавал предпочтение



иной системе ценностей. Так сложилось, что его работа всегда требовала максимальной свободы и независимости в отношениях с людьми, а в родне человек растворяется, становится повязанным тысячами условностей. Поэтому он чувствовал себя не совсем уютно, иногда даже чужим среди многочисленных родственников, и они, пожалуй, догадывались об этом, старались не быть назойливыми, но все-таки... Сегодня особенно хотелось побыть одному, уже по-новому оценить свои потери, взвесить свои возможности, ведь он объявил Миршабу по-русски: иду на вы!

За окнами стемнело, старинные часы мелодичным боем уже дважды напоминали ему о приближении Нового года, а он все никак не мог подняться, включить свет, хотя ему хотелось пройтись по квартире, заглянуть в спальню, в комнату сына, на кухню. Опять разболелась нога, заныла от бедра, и он понял, что нынче ему не уснуть. Вдруг раздался телефонный звонок, и Камалов, преодолевая боль, поднялся, уже протянул руку за трубкой, но внезапно остановился: он твердо решил встречать Новый год один — так, казалось ему, будет лучше для всех.

Часы в углу предупредили: от уходящего года остался всего час, и он, придерживаясь рукой за стенку, доковылял до выключателя. Нога в движении разболелась еще сильнее, и он долго стоял, приулюлившись к дверному косяку, время неуловимо приближалось к двенадцати, нужно было подготовиться к встрече Нового года, отметить его хотя бы символически, и опять, держась то за стол, то за стул, Камалов добрал до бара. Он знал, что там обязательно что-нибудь найдется, на худой конец он откроет одну из роскошных бутылок виски или джина, что жена держала для украшения бара, сама покупала перед отъездом из Вашингтона. Но в баре нашлась и водка, и коньяк; правда, «Столичной» оказалось полбутылки, и он отодвинул ее в сторону, праздник все-таки, и взял местный коньяк «Узбекистан», вряд ли уступающий известным во всем мире коньякам.

Он уже собрался захлопнуть дверцу бара, скрывающую зеркальную обшивку внутренних стенок, как вдруг взгляд его среди множества блестящих болтов крепления отыскал один потайной: бар у него был с секретом, и он уже давно не заглядывал в тайник, хотя всегда помнил, что у него там хранится. Он с усилием нажал на болт, и зеркальный квадрат стал беззвучно и медленно уходить внутрь, и сразу пахнуло затхлостью, несвежим воздухом... Он нашарил в темноте сверток и, достав его, возвратил зеркальную па-

нель на место. Захватив бутылку коньяка и рюмку из серванта, держа в руке сверток, вернулся за стол.

Развернув матерчатую обертку, прокурор достал пистолет, и приятная тяжесть старого оружия напомнила ему совсем молодые годы в Москве. Он учился тогда в аспирантуре, в родном МГУ, после того как успел поработать прокурором в Ташкенте, и выбрал для своего научного труда редкую по тем годам тему «Преступления против правосудия», то есть о преступлениях внутри самих органов. По одному заинтересовавшему его вопросу он обратился за помощью в КГБ, догадывался, что там есть материал для его диссертации, но то, что случилось, определило его дальнейшую жизнь. Всех материалов, ему, конечно, не показали, но кое-что он увидел, и когда он пришел туда в третий раз, проявив настырность и настойчивость, сотрудник госбезопасности вдруг пошутил с намеком: шустрый, мол, больно, хочешь готовенькое заполучить, чужими руками жар загребать, не благодарнее ли пойти поработать в органах и добыть материал самому. Его самолюбие было задето, и через неделю Камалов, оставив очную аспирантуру, пошел работать в уголовный розыск, имея тайную цель — охоту за оборотнями, предателями в милицейской среде.

Его работа не ограничивалась сменными дежурствами, после которых он, как и все младшие офицеры, сдавал табельное оружие, его тайная миссия была крайне опасна, и через год ему вынуждены были выдать этот пистолет: слишком рискован, смертельным делом занимался капитан Камалов.

Через семь лет, когда он дослужился до звания подполковника, в одной операции по задержанию вооруженной банды в него почти в упор стрелял коллега по службе. Оборотни тоже вычислили, какому охотнику они обязаны своими провалами. Вот тогда и спас ему жизнь второй пистолет, бывший при нем, кроме табельного. После защиты диссертации в одном из закрытых учебных заведений КГБ, писавшейся годы, ему и подарят этот пистолет как именное оружие, за личную храбрость, и получит он его из рук самого Андропова.

...До полуночи оставалось меньше четверти часа, когда, отвлекшись от воспоминаний о годах службы в уголовном розыске, он глянул вдруг перед собой. Сюрреалистическая картина, достойная кисти Сальвадора Дали, предстала перед ним в большом зеркале напротив: близится Новый год, а на столе перед болезненного вида человеком со свежим шрамом на лбу стоит бутылка марочного коньяка, низкий пузатый бокал «баккара» и тяжелый, но всегда надежный



пистолет системы Макарова, частенько называемый за кордоном русским. И в этот момент вновь раздался телефонный звонок, но теперь его одиночество вряд ли бы кто нарушил, и он поднял трубку.

— Добрый вечер, Хуршид Азизович,— раздался приятный девичий голос.— С Новым годом, здоровья, счастья, благополучия вам,— вполне искренне желал незнакомый человек, и прокурор силился вспомнить, кто бы это мог быть. На другом конце провода почувствовали это.— Вы, наверное, не узнали меня, ведь я звоню вам впервые. Я была у вас две недели назад в больнице. Татьяна Георгиевна, Таня меня зовут, помните?..

— Помню, конечно, Танечка, помню. С Новым годом вас, пусть Год Лошади принесет вам удачу, счастье...

— Спасибо, рада вас слышать. Я приходила поздравить и очень огорчилась, не застав вас в больнице. Но полчаса назад, дома, я вдруг почувствовала, что вы у себя, один, хотя я знаю, у вас многочисленная родня в Ташкенте, и довольна вдвойне, что интуиция не обманула и мне удалось поговорить с вами...

В этот момент часы начали медленно отбивать двенадцать, и Камалов, спохватившись, сказал:

— Таня, с Новым годом! Слышите, у меня часы бьют? Вы можете поднять сейчас бокал?

— Да, у меня на столе бутылка вина, и я слышу бой старинных часов...

— А я сейчас, одну секунду,— заторопился прокурор и плеснул себе в бокал чуть больше обычного.— Вот и у меня бокал в руке. Раз так вышло, давайте выпьем вместе и пожелаем друг другу удачи, мы ведь служим одному Богу — Правосудию! — И они в разных концах Ташкента одновременно осушили бокалы.

— Где вы сейчас работаете? — неожиданно для себя поинтересовался Камалов.

— В Мирзо-Улугбекском районе, в прокуратуре.

У него уже созрела мысль, и он поспешил ее высказать:

— В прошлый раз вы сказали, что хотели бы работать рядом со мной. Не передумали?

— Нет. Вы заняты настоящим делом, и я хочу быть полезной вам.

— После праздников зайдите в прокуратуру, в новый отдел по борьбе с организованной преступностью. Там много секретной документации, и я хочу, чтобы она находилась в надежных руках. Не боитесь? На Востоке говорят: чужие секреты укорачивают жизнь.

— Не боюсь. Я не боялась и до встречи с вами, поэтому ваше предложение принимаю как новогодний подарок...— И вдруг по-девичьи озорно, лукаво добавила: — Как быстро начинают сбываться ваши новогодние пожелания, я уже счастлива...— Пожелав приятно провести новогоднюю ночь, она попрощалась.

«Стоило покинуть больницу — сколько сразу важных событий произошло»,— подумал прокурор, и, вспоминая о последних часах ушедшего года, все отчетливее понимал, что в «Лидо» он погорячился от отчаяния. В тот миг ему казалось, что он один противостоит хорошо организованной мафии, у которой, куда ни кинь, везде свои люди. Выходит, ошибся. Он не один: и Нортухта, водитель, не оставил его, хотя уж он-то видел, как профессиональные убийцы охотились за ними во время ферганских событий, и Татьяна Георгиевна, Таня, вычислившая предателя в республиканской прокуратуре, тоже готова сотрудничать с ним, зная, какому риску может подвергаться ее жизнь. А начальник уголовного розыска республики полковник Джураев, а ребята из его нового отдела по борьбе с организованной преступностью — все они прошли проверку во время задержания аксайского хана Акмаля. И впервые за долгий день на лицо Камалова набежала улыбка, и он мысленно поздравил всех их с праздником, пожелав удачи,— непростой и для них Новый год уже вступил в свои права.

«Вот и кончился для меня праздник»,— подумал прокурор, вставая из-за стола. Взгляд его упал на пистолет... «Следует спрятать его снова в тайник,— решил Камалов и вернулся к серванту, но что-то внутри удерживало его от разлуки с оружием.— Мистика какая-то: в больницу с пистолетом»,— спорил он мысленно сам с собой. Он вспомнил вдруг, что интуиция розыскника, когда он служил в милиции, никогда его не подводила, и решил оставить оружие при себе.

### III

Артур Александрович Шубарин уже восьмой месяц находился в Германии, в Мюнхене, где изучал современное банковское дело. На Германии его выбор остановился не случайно; в школе изучал немецкий, в институте — английский, и владел обоими языками довольно-таки сносно, но не это было определяющим. Когда-то он обсуждал с погибшим прокурором Азлархановым положение в экономике, и оба пришли к выводу, что нашей стране подойдет не всякая



финансовая и кредитная система, методы даже преуспевающих в этом деле стран у нас могут не дать свои плоды, нужно перенять опыт государств, у которых с Россией издавна существуют культурные, географические, исторические, экономические, политические связи и которые имеют сходные традиции. И тут, на взгляд Шубарина, Европа подходила больше всего, хотя он не сбрасывал со счетов ни Америку, ни Азию с феноменальной Японией и азиатскими драконами, но в основание банковского, валютного дела, он считал, должна быть заложена только европейская система.

В Европе Россия крепко связана тысячами уз со многими странами, и, прежде всего, с Францией, но он остановил свой выбор на Германии, ибо понимал, что с воссоединением обеих немецких территорий на европейском континенте, по существу, возникло новое государство с огромными перспективами, и не исключено, что именно она, новая Германия, потеснит в ближайшие годы по экономической мощи и Японию, и Америку. В Европе такой расклад сил первыми почувствовали англичане, уж они-то на континенте явно будут оттеснены немцами, но это историческая реальность, с которой необходимо считаться, как и с закатом нашего государства, на удивление так долго противостоявшего Америке и всему западному миру.

Хоть и воевала Россия с Германией со времен тевтонских рыцарей неоднократно, но многое их связывает, даже правящие династии Габсбургов и Романовых в течение нескольких веков находились в родственных связях, а начиная с императрицы Екатерины немцы были званы в Россию на жительство, и ныне в пределах нашей страны их проживает более двух миллионов. И хотя в последние годы идет мощный отток российских немцев на свою историческую родину, они все еще заметная нация в России, и это имел в виду Шубарин, отправляясь изучать банковское дело в Германию. Он знал: «Иван, не помнящий родства» — поговорка уникально русская, вряд ли в другом языке можно отыскать ей подобную, и никогда в Германии не забывали о немцах, живущих в России.

Замысливая основать свой собственный коммерческий банк, Шубарин с самого начала хотел ориентировать его на прочную связь с Германией, и в местах компактного проживания немцев в Казахстане, Киргизии, Узбекистане уже представлял филиалы своего банка, через них он напрямую вывел бы немецких промышленников и банкиров на соотечественников, чтобы они могли открыть там предприятия, построить эффективные заводы малой мощности, оказать ре-

альную помощь на месте, и тогда прекратился бы хаотичный отток немцев из России, что создает проблемы для обоих государств. И тут, в Германии, он уже находил понимание своих планов.

Шубарин часто бывал на Западе и в застойное время, он был «выездным», водил дружбу с такими людьми, чье слово легко открывало любые двери. В ту пору боялись одного — чтобы не сбежал. А за Артура Александровича можно было поручиться, знали, что на Запад его никакими калачами не заманишь; поехать, посмотреть — это одно, а жить, для русской души Шубарина, — невозможно ни при каких обстоятельствах.

Пользуясь неразберихой первых лет перестройки, он раньше других мог перевести свои капиталы за границу, но не сделал этого. Многие его компаньоны еще в семидесятые годы уехали на Запад и там, даже разбогатев, ощущали, как не хватает им финансового гения Шубарина, его чутья, железной хватки, недюжинных инженерных знаний. Они предлагали проекты создания совместных предприятий, крупных сделок, чтобы Японец, как называли они его в своем кругу, мог, сохранив капитал, перебраться за кордон. Немало процветающих ныне на Западе людей были обязаны в свое время благополучием Шубарину: одни кормились возле него, другим он помог подняться, кому деньгами, кому советом, чаще и тем и другим. А кое-кого, пользуясь связями, вытащил из петли, такое вряд ли забудешь. И, прослышав, что он находится в Германии, они, не утратив еще русских традиций и привязанностей, частенько навещали его в Мюнхене. Так сложилось, что редко какой уикенд он проводил в Мюнхене, обычно друзья заезжали за ним, и они отправлялись то в Голландию, то в Швейцарию, то в Австрию.

Фирма, организовавшая банковские курсы, снимала для Шубарина меблированную квартиру в хорошем районе, недалеко от места занятий, куда он добирался пешком через ухоженный муниципальный парк. Но сегодня он перебрался в пятизвездочный отель «Риц» на респектабельной Кайзерштрассе, всего на три дня. На игру мюнхенской «Баварии» с португальской «Бенфикой» и повидаться с ним прилетал его старый компаньон, уже тринадцать лет живущий в США, бывший московский грузин Гвидо Лежава, теперь уже мистер Лежава. Правда, Гвидо прилетал не из Америки, а из Португалии, где имел свое дело и приобрел шикарный особняк в пригороде Лиссабона, рядом со знаменитым океанским пляжем Эшториаль, столицу он называл несколько непривычно для нашего слуха — Лизбон. Запад не убил в Гвидо одной давней страсти — любви к футболу, он болел за тбилиское



«Динамо» и «Бенфику», в раздевалку которой входил как к себе домой, и приурочил свой приезд к финальной игре на кубок европейских чемпионов любимой команды с мюнхенской «Баварией». Гвидо и оплатил два роскошных номера в «Рице» и билеты на хорошие места, стоившие на черном рынке почти тысячу долларов.

Благодаря прежним связям в Мюнхене Артур Александрович не нуждался в деньгах и, на взгляд своих коллег по курсам да и руководителей банка, жил на широкую ногу. Он был единственным, кто за дополнительную плату попросил сменить двухкомнатную квартиру на трехкомнатную — сработала старая привычка к простору. Через неделю после приезда приобрел чопорно-белый «мерседес», позволял себе частые поездки во франкфуртскую оперу и штутгартский балет, и его уже не раз приглашали в закрытые клубы деловые люди Мюнхена, внимательно присматривавшиеся к прибывшим на стажировку в знаменитый Баварский банк.

Русский с замашками западного бизнесмена, быстро освоившийся в чужой стране, вызывал доверие и уважение. К нему в последнее время вдруг стали обращаться за консультацией солидные люди, знакомства с которыми ищут годами, ловят случай, а они сами зазывали его в гости, — в этом, пожалуй, и была главная удача поездки, на которую он решился с трудом. Иногда Шубарин думал: заделайся он только консультантом по советскому рынку для западных бизнесменов, уже нажил бы себе капитал и имя, но он верил, что наступят лучшие дни и для России, и там пригодятся его опыт и знания.

Он подъехал к «Рице» на собственном «мерседесе» за несколько часов до прилета Гвидо, зная, какой в этом отеле замечательный бассейн и массажные комнаты; уже вторую неделю не мог вырваться ни на корт, ни поплавать, насыщенные выпали дни. Когда он, назвавшись, получил ключи от апартаментов на восьмом этаже, портье протянул ему еще и золотую карточку для VIP-персон, пояснив:

— Для вас в отеле повсюду открытый счет, об этом распорядился мистер Лежава, только следует показать эту карточку. В «Рице» есть все для отдыха, желаю приятно провести время.

Поплавав, побыв недолго в сауне, навестив массажиста и парикмахера, он поднялся к себе в апартаменты. Собираясь связаться с Ташкентом, с Москвой, но позвонить никуда не успел — затрезвонил телефон на столе, и, подняв трубку, он услышал Гвидо:

— Здравствуй, Артур. Я уже в Германии, звоню из аэропорта. Отсюда до «Рица» почти час езды, но сегодня забиты все дороги,

я видел это с воздуха. Стадион притягивает немцев, словно Кааба паломников. Да, трудно придется сегодня «Бенфике».

— Ничего, надеюсь, ребята справятся,— ответил Шубарин.

— Пожалуйста, спустись вниз, найди итальянский ресторан, он в правом крыле. И закажи стол, по-русски, с закусками, плотными блюдами, десертом, а вина там напоминают наши, грузинские, ты знаешь в них толк, я помню... Соскучился я по тебе, по ночным разговорам, застольям... Тут живут по-другому, и нам никогда не привыкнуть, будь даже трижды миллионером...— закончил он грустно.

До стадиона знаменитого футбольного клуба «Бавария» они добирались дольше обычного, хотя Шубарин хорошо ориентировался в городе. Улицы Мюнхена превратились в сплошной поток машин, и каких тут только номеров не было: и итальянских, и французских, и греческих, и турецких, не встречались только из нашей страны, нам теперь не до футбола. Бросив машину далеко до цели, пробивались они в людском потоке пешком еще почти полчаса и успели к самому началу матча.

Игра выдалась нервной, жесткой, в первые пятнадцать минут судья удалил по одному игроку из каждой команды, но страсти не утихали, и хотя преимущество хозяев поля ощущалось, первый тайм закончился вничью — 1:1.

Едва прозвучал свисток на перерыв, Гвидо вскочил разгоряченный:

— Артур, ты побудь один, а я схожу в раздевалку «Бенфики», обещал ребятам. Они сегодня ночью возвращаются домой, через два дня важная календарная игра в Лизбоне.— И он по-мальчишески ловко побежал вниз: они находились в секторе, под которым располагались футбольные раздевалки обеих команд.

В перерыве матча произошла странная встреча, на минуту заставившая его почувствовать себя неудобно. После плотного обеда в «Рице» Шубарина мучила жажда, и он окликнул лоточника, появившегося в проходе, попросив передать ему минеральной воды. Адресованную ему бутылку французской «Перрье» услужливо донес мужчина, двигавшийся в его сторону. Передав воду, он без разрешения уселся рядом, на место Гвидо, и вдруг на чистейшем узбекском языке, улыбаясь, сказал:

— Добрый день, Артур Александрович. Как вам живется в Мюнхене, нет ли проблем?

Выручила обычная сдержанность; Шубарин молча допил воду и, повернувшись, оглядел странного человека, говорившего по-узбекски.



Мужчина лет сорока в модном мешковатом костюме, дорогом и чрезмерно ярком галстуке, наверняка приобретенном в одном из французских магазинов на Кайзерштрассе, по выговору и внешности вполне походил на ташкентца. Так с уверенностью можно сказать в Москве или Ленинграде, но встретить земляка в Мюнхене, да еще в самом дорогом секторе стадиона...

Взгляд Артура Александровича неожиданно упал на руку собеседника, и тяжелые безвкусовые перстни с крупными бриллиантами, называемые дома «болванками», выдали в нем с головой «нашего» человека, к тому же отбывавшего срок, о чем свидетельствовала татуировка у запястья, которую неудачно пытались вывести.

Мысль о том, что перед ним представитель нашего посольства, консульства, других официальных учреждений или журналист, прибывший освещать финал кубка европейских чемпионов по футболу, улетучилась сама собой, он уже знал, с кем имеет дело. Шубарин пытался вспомнить это узкое, нервное лицо с тонкой ниточкой холеных усов, с неожиданно срывающимися в бег глазами, никакая респектабельная одежда не могла скрыть в этом человеке нечто порочное, блатное. Японец ясно видел несмываемое тавро преступного мира, на этот счет он никогда не ошибался, слишком хорошо все это было знакомо ему.

— Спасибо. У меня нет проблем. Правда, скучаю по Ташкенту,— ответил он кратко, желая закончить разговор до прихода Гвидо — тот ведь тоже мог догадаться, кого представляет неожиданно объявившийся земляк. Человек, намеревающийся заняться банковским делом, не должен якшаться с уголовкой, банк с плохой репутацией — это нонсенс.

— Да, мы знаем, что дела у вас в Германии идут прекрасно, к вам проявляют интерес многие солидные люди, вы пользуетесь доверием известных бизнесменов, и не только немецких. И мистер Лежава, кажется, готов вложить деньги в ваш банк?

— Мы об этом еще не успели переговорить,— обрубил Шубарин, торопя гонца сказать главное. Тот, видимо, тоже догадывался, что времени у него в обрез, и продолжал:

— Вы самостоятельно и удачно внедряетесь в банковскую систему Европы, и ваша ставка на немцев по обе стороны границы проста и гениальна одновременно. При вашей хватке едва ли кто сумеет пристроиться рядом, приоритет за вами. К тому же ваши приятели, включая мистера Лежаву, уже занявшие определенное положение

в западном бизнесе, тоже вряд ли останутся в стороне, если увидят успехи на германском фронте.

Артур Александрович не хотел прерывать собеседника, чувствовалось, что тот говорит заученными фразами, до конца не владея ситуацией,— его, как школьника, заставили выучить урок. От усердия у него взмокли лоб и шея, он спешил выговориться, боясь упустить какую-нибудь деталь.

— Вы понимаете, в Европе, особенно при ее сегодняшней интеграции, все труднее и труднее отмывать определенные деньги, не говоря уже о том, что это становится слишком дорогим удовольствием. К тому же, известные вам недавние скандалы с крупными банками в Англии и Америке толкают моих немецких друзей на сотрудничество с нами. Банковское дело для нас занятие новое, а перед любой конвертируемой валютой такое преклонение, что рады любому источнику, тут не до проверки, да и кому контролировать? Дома знаем всех контролеров в лицо, а точнее, знаем, кому какая цена, если же появится вдруг несговорчивый, это уже наша забота. Нам необходим авторитетный банк, и мои немецкие друзья готовы вложить в него во много раз больше, чем все, с кем вы уже переговорили. Они в курсе ваших дел. Надеюсь, вы понимаете меня? — нервно спросил незнакомец, теряясь под пристальным взглядом долго молчавшего Артура Александровича.

— Вполне,— коротко ответил Шубарин. Он еще раз получал доказательство своему утверждению, что в нашей стране международному уровню соответствуют только две отрасли — проституция и преступность. Вот они первыми появились и на международной арене: пока другие разглагольствуют о суверенитете — подлинном и мнимом, о статусе, они свои «деревянные» рубли мгновенно превратят в конвертируемую валюту, а со своих закордонных коллег сорвут за отмывку не меньше, чем где-либо, зря они рассчитывают на шадящие проценты в России...

— Мои немецкие коллеги выписали вам пять чеков по сто тысяч марок каждый, используйте их во благо своего дела...

— Я вполне вас понял,— прервал собеседника Шубарин.— Но деньги мне не нужны, я могу их взять у своих друзей, у мистера Лежавы, например. А что касается банка, мы, кажется, делим шкуру неубитого медведя. Поговорим об этом позже, в Ташкенте...

Он говорил спокойно, хотя все в нем клокотало от ненависти. Хотелось взять неожиданного визитера за ультрамодный галстук и за-



тянуть петлю на его шее до хрипа, до хруста его позвонков. Но голыми руками такого субчика не возьмешь — обязательно надо узнать, кто за всем этим стоит. Гость, видимо, готов был и к такой реакции, имел на этот случай запасный вариант.

— Зря вы не взяли чеки, это от души, полмиллиона марок — деньги. А в Ташкенте, должен вас огорчить, большие перемены... Ваш друг из ЦК Сухроб Акрамходжаев в «Матросской тишине». Прокурор Камалов, кажется, сел на хвост другому вашему покровителю из Верховного суда — Хашимову. Аксайский хан Акмаль, питавший к вам дружеские чувства, в тюрьме; осужден на пятнадцать лет Анвар Абидович Тилляходжаев, секретарь Заркентского обкома партии, первый ваш патрон. А в новейшее время, перестроечное, которое мы называем нашим, вы, Артур Александрович, новых друзей не заимели. Вы с брезгливостью смотрели вокруг, все вам казались нуворишами, калифами на час, а зря... Вам не на кого теперь опереться в Ташкенте... Мы, и только мы можем по достоинству оценить ваш талант. Вы мечтали стать банкиром, так будьте им, мы поможем, поддержим, защитим...

Гость неожиданно встал и, торопливо попрощавшись, исчез, словно сквозь землю провалился. По лестнице, отыскивая глазами свое место, поднимался мистер Лежава.

...Аксай после ареста хана Акмаля затих, замер, затаился. Кроме Акмаля Арипова, арестовали еще нескольких его приближенных, особенно лютовавших в округе. Возрадовался народ Аксая, решив, что наконец-то и к ним с перестройкой придет иная жизнь. Но летели месяц за месяцем, а лучшая, сытая жизнь в Аксай не заглядывала, даже наоборот, становилось все хуже и хуже.

Если в первое время народ на улицах, в чайхане, на свадьбах говорил о том, что наболело за долгие годы правления хана Акмаля, то теперь ситуация изменилась. Снова простые люди не поднимали глаз от земли: реальность возвращения хана Акмаля ощущалась во всем, и, прежде всего, в поведении его холуев. Вот кто ходил теперь с гордо поднятой головой и уже вновь угрожал: подождите, вот вернется Хозяин, он вам покажет и гласность, и перестройку, и плюрализм мнений, и демократию...

Особенно беспокойно почувствовали себя жители Аксая во время ферганских событий, когда были спровоцированы погромы туркомесхетинцев. В эти дни на постаменте бронзового Ленина на Красной площади Аксая появился рукописный плакат: «Трепещите! Хан Ак-

маль вернулся!» Но тревога оказалась ложной, хотя повсюду рассказывали, что видели хана Акмаля то тут, то там, и со дня на день ждали его возвращения в Аксай на белом коне.

Вновь приободрился тихий, набожный старик в белом, Сабир-бобо, духовный наставник Акмаля Арипова. В связи с празднованием тысячелетия христианства на Руси власти стали терпимее относиться к религии, сначала к христианской, а затем и к мусульманской. Впервые за много лет состав группы паломников, отправлявшихся в Мекку, определялся в Духовном управлении мусульман. Задумал совершить хадж к священным камням Каабы и Сабир-бобо. Он даже загадал: если его допустят в святые места Мекки и Медины, разрешат принести в жертву черного барана, значит, Аллах простил племянника-предателя, убитого им по воле Всевышнего...

Хадж в Саудовскую Аравию Сабир-бобо совершил, и даже дважды, и теперь был убежден, что его любимый племянник прощен и находится в раю. Вернувшись после первого паломничества, Сабир-бобо объявил землякам, что жертвует крупную сумму на строительство мечети в Аксае.

Самым удивительным для забитых дехкан оказалось место, которое выбрал Сабир-бобо для постройки мечети. Ее начали возводить прямо на огромной Красной площади Акса, напротив внушительного памятника Ленину, с протянутой, как оказалось, в никуда рукой. Видимо, далеко вперед смотрел Сабир-бобо: в дни больших мусульманских праздников редко какая мечеть способна вместить всех верующих, но на площади перед ней найдется место каждому правоверному. А что Ленин будет созерцать склоненных в намазе людей — не беда, ведь и на него молились семьдесят с лишним лет, да результат налицо. Аллах, по крайней мере, не обещал счастья и равенства всем. Да и вряд ли он долго тут простоит: в России, да и на Украине, в Молдавии, что ни день — крушат памятники лысому вождю. «Как аукнется — так и откликнется», — гласит русская поговорка. В свое время по его приказу рушили церкви и расстреливали священников, а колокола из храмов переливали на сантехнику для унитазов да на памятники вождям, а теперь много тысяч его бронзовых скульптур, скорее всего, пустят вновь на колокола, — ныне церкви, как и мечети, растут и множатся с каждым днем, а с медью туго...

Хадж — паломничество в святые места мусульман — для нашей страны дело столь непривычное, что вернувшихся оттуда начинают почитать едва ли не как пророков. А Сабир-бобо побывал там дважды



ды, да еще и мечеть решил воздвигнуть в Аксае на собственные средства, тут уж его авторитет в крае поднялся невероятно.

Быстро меняющаяся ситуация в государстве то радовала, то пугала Сабира-бобо. Развал большой страны и так долго ожидаемый, почти нереальный суверенитет республики, казалось, сулили благо: Акмаль Арипов автоматически получил бы свободу, обвинение прокуратуры чужой страны для Узбекистана утратило бы силу, а уж дома хозяин Аксая знал бы, как действовать, еще и капитал политический нажил за время, проведенное в подвалах КГБ.

Пугало другое... Кто придет к власти в суверенной республике? Раньше все было ясно: правительство, его верхние эшелоны, считай, формировались в Аксае, мало кто становился министром без одобрения хана Акмаля, но то были все люди известные, родовитые, уважаемые, члены партии, с немалым опытом руководства, о претендентах, не занимавших определенные посты, и разговор не возникал. Но сегодня, когда и в спокойном Узбекистане забурлил народ, откуда-то появились новые лидеры — без роду, без племени, какие-то писатели, ученые и журналисты, инженеры и агрономы, и массы слушают их, верят, дружно вступают в новые партии и движения. Куда они поведут республику, и смогут ли вообще куда-то вести, или все дело и ограничится говорильней, сотрясением воздуха? Приоритет прав личности, гражданина перед интересами нации, государства — что это такое? Ведь советский человек сызмала был приучен к мысли, что интересы государства — превыше всего. А выходит — все как раз наоборот? И как далеко заведут край новоявленные демократы из Ташкента и их друзья в областях? А как же религия, ислам? Будет ли она влиять на государство или они обречены существовать сами по себе, параллельно, лишь изредка пересекаясь, вопреки законам математики?

«Нет, ставку на одну религию делать рано,— считал Сабир-бобо.— Пока это удел стариков из провинции, а они в жизни государства играют не главную роль, все решает по-прежнему партийная номенклатура, люди на должностях».

В республиках Средней Азии, как и в стране в целом, за годы перестройки мало что изменилось. Пользуясь обстановкой, один клан изгнал другой, тут всегда сводят счеты от имени государства, на толпу это производит впечатление торжества законности, да и на центр тоже,— коммунисты за семьдесят лет правления ни на шаг не продвинулись в понимании Востока, его подлинной сути. Нет, надо искать людей с четкой программой в государственной структуре,

и Сабир-бобо с каждым днем все больше убеждался, что пора действовать, налаживать связи в Ташкенте. И первым человеком, на кого он решил выйти лично, оказался Салим Хашимов, чиновник из Верховного суда, старый друг, однокашник и многолетний сослуживец Сухроба Акрамходжаева, так неожиданно свалившегося однажды на голову хана Акмаля...

#### IV

Новый год, как и предугадал прокурор Камалов, Миршаб провел в страхе, хотя, на взгляд родных и близких, веселился как никогда. Вернувшись домой из «Лидо», он застал у себя брата и сестру с семьями, а чуть позже приехали родственники жены. С тех пор как Салим круто поднялся по службе, большие праздники отмечали только у него, этим в Средней Азии отдается дань тому из клана, кто добился наибольшего успеха.

Нужно жить на Востоке, чтобы понять, что означает родня в судьбе каждого. Человек без родни, без рода, по местным понятиям, — ничто. Тут, чтобы узнать о ком-то, прежде всего спрашивают — откуда, из каких мест происхождения, с кем состоит в родстве, — и сразу становится ясно, почему тот или иной в почете, при должности.

Хашимов первым поднялся из своего клана, стал заметной фигурой и, получив возможность, с особым рвением помогал продвижению по службе многочисленному роду, видимо, помня, как трудно вершилась собственная карьера.

Опять же, надо жить на Востоке, чтобы понять отношение к гостям. Тут им действительно искренне рады — дом, в котором не бывают люди, даже богатый, благополучный, не пользуется уважением. Такие традиции имеют многовековую историю, и европейцу трудно представить, что бедняк, например, мечтает не автомобиль приобрести, а принять хоть раз в жизни полный двор гостей за щедро накрытым столом. Эта национальная черта в крови и у дехканина, гнущего спину под нещадно палящим солнцем на хлопковых плантациях с утра до ночи за гроши, и у таких людей с рафинированным воспитанием и образованием, как Салим.

Встретив нежданно-негаданно прокурора Камалова в «Лидо», он забыл и про новогодний подарок для прелестницы Наргиз, и о том, что сегодня в его доме по традиции соберется многочисленная родня. Но долг хозяина дома заставлял его время от времени забывать о на-



висшей над ним угрозой. Даже в такие минуты гость — превыше всего. Он помнил о загодя приготовленных подарках сестрам, братьям, кузинам, племянникам, своякам и свояченицам — каждого в богатом и щедром доме Миршаба ждал сюрприз. Такое не забывается, а в эту ночь Салим Хасанович был воистину щедр, понимал, что, случись с ним беда, родня, клан никогда не оставит в горе ни жену, ни детей.

Обычно после встречи Нового года по московскому времени гости начинали разъезжаться, но в этот раз хозяин дома, неистощимый на выдумку и фантазию, не отпускал никого до утра. Он боялся остаться в огромном доме наедине с собой, со своими мыслями, которые то и дело возвращались к угрозе прокурора Камалова.

Под утро гости, не привыкшие к такому длительному и обильному марафону за столом и вокруг елки, буквально валились с ног, и Салим, присевший на минутку в глубокое кожаное кресло перевести дух, тут же, в зале, мгновенно заснул. Только тогда родные и близкие стали покидать гостеприимный дом, благодаря хозяйку за удивительно веселый праздник.

Проснулся Миршаб в полдень, встал свежим, с ясной головой, словно и не было накануне сложного дня и бурной новогодней ночи. Он давно заметил за собой эту странность: чем жестче брала его жизнь в оборот, тем четче, аналитичнее работала голова, словно вся его энергия аккумулировалась в эти дни, — он действовал хладнокровно, разумно и быстро. Позже, когда нашу жизнь захлестнут волны гороскопов и всяческих предсказаний-прогнозов, однажды, в день его рождения, вместе с утренней почтой секретарша положит на стол его подробный гороскоп. И только тогда Миршаб узнает, что он — Скорпион, и что люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, лучше других проявляют себя именно в экстремальных ситуациях. И тут скептический Салим не мог не согласиться с выводами астрологов.

Приняв душ, он решил позвонить Коста, хотя не надеялся, что тот окажется дома. Но Джиоев тут же поднял трубку, и Хашимов расценил это как добрый знак. Расспросив, как прошла встреча Нового года в «Лидо», не было ли эксцессов в зале, — уж Миршаб-то знал, какие крутые люди собираются у Наргиз, — он попросил Коста заехать домой. Тот обещал приехать через час.

Коста, уже знавший от Карена, что прокурор Камалов побывал в ресторане и нагнал страха на всех, поспешил к Миршабу не по этому поводу. Вчера, когда он уже собирался на гулянье, из Мюнхена позвонил Шубарин.

Артур Александрович поздравил Коста с наступающим Новым годом, коротко справился о делах и сумел поведать о главном в своей излюбленной иносказательной манере, понятной только Джиоеву: тут ему успели сесть на хвост. Он коротко описал человека, изъяснявшегося по-узбекски на стадионе мюнхенской «Баварии». Этого гонца следовало вычислить, а главное, установить тех, кто за ним стоит. Вот о чем, как полагал Коста, пойдет разговор в доме работника Верховного суда.

Но любой зов Миршаба Коста игнорировать не стал бы: он помнил, что именно Салиму и его другу Сенатору обязан жизнью, ведь это они выкрали его из института травматологии и уберегли от тюрьмы. И только благодаря им уцелел хозяин Коста — Шубарин, ведь кейс убитого прокурора Азларханова со сверхсекретным компроматом на самых влиятельных людей в республике и высочайших сановников из Москвы, даже из Кремля, тоже выкрали Миршаб с Сенатором. Теперь, как говорится, по гроб жизни обязан, какие уж тут праздники...

Коста приехал к Миршабу на скромной белой «Волге» Шубарина, но мало кто знал, что на ней стоит дизельный двигатель от «вольво», темные, с зеленоватым отливом, пуленепробиваемые стекла с бывшей машины самого Рашидова, а все четыре двери вполне выдерживают автоматные очереди. Машиной шефа Джиоев стал пользоваться совсем недавно, после того, как тот обмолвился, что непременно пригонит из Германии какую-нибудь престижную машину — он знал, что Ташкент не по дням, а по часам наводняется роскошными автомобилями, а хозяину коммерческого банка сам Бог велел держать марку.

Коста знал толк в машинах и поставил несколько условий: пуленепробиваемые стекла, хотя бы одна бронированная дверь (в стране теперь такое творилось!) и обязательно кондиционер, без него машина в Средней Азии летом превращается в душегубку.

Коста до этого дня у Миршаба не бывал. Едва он просигналил у тяжелых окрашенных под серебро ворот, как в доме включили автоматику, и массивные створки мягко раздвинулись, впуская машину, неоднократно бывавшую в этом дворе. Салим встречал на пороге, и Коста лишний раз удостоверился, что предстоит не только серьезный разговор, но и, скорее всего, неотложные дела. Хозяин провел гостя через огромный зал с наряженной елкой прямо к себе в кабинет, где на столике, стоявшем между двух кресел, уже дымился традиционный чай, а рядом в вазочках — свежий виноград с чуть



потемневшей, пожухлой кожицей, сухофрукты, орехи, изюм и печенье — скромно и со вкусом.

Коста, переступив порог кабинета, отметил про себя, какие влияния имели на Сенатора и на Миршаба вкусы его патрона — Шубарина. Тщательно отреставрированная изысканная мебель прошлого века; за стеклами тянущихся вдоль стен высоких книжных шкафов рядом со старинными фолиантами — древняя бронза Китая и Бенина, собранная с толком; игрушки и жанровые сценки немецкого фарфора, фигурки хрупкого русского фарфора кузнецовских и гарднеровского заводов. А на стене напротив, задрапированной зеленым бильярдным сукном, с полдюжины картин в великолепных палисандровых рамах с резной золоченой лепниной — все невольно напоминало рабочий кабинет Шубарина. Видимо, неплохо потрясла местная таможня для Миршаба отъезжающих на жительство за рубеж, такого и в коммиссионной торговле не увидишь.

Расспросив Коста о жите-бытье, здоровье, настроении, без чего не начинается ни один разговор на Востоке, каким бы срочным и важным он ни был, Миршаб подробно рассказал об «обмене любезностями» с прокурором Камаловым в «Лидо». Коста тут же сделал для себя неожиданный вывод: Хашимову ничего не известно о странной встрече Артура Александровича с земляком на стадионе в Мюнхене...

Неожиданно Хашимов спросил Коста в лоб: можно ли в недельный срок серьезно скомпрометировать прокурора Камалова. Коста без раздумий ответил — нет. Тут, по мнению Коста, был только один путь — убрать, и без шума, чтобы не всколыхнуть общественность, — Камалов слишком заметная фигура в республике.

Салиму пришлось согласиться, что времени для шельмования прокурора у них действительно нет и выбор средств сводится к минимуму... Но тут он как бы невзначай перевел разговор на Беспалого, находящегося в следственном изоляторе КГБ. От этого важного свидетеля в руках прокурора Камалова могла потянуться цепочка и к нему, Салиму, и к Артуру Александровичу, да и к самому Коста...

Джиоев невольно усмехнулся в душе словам Миршаба. Он хорошо знал Парсегыяна: тот никогда бы не показал на него, они оба воров в законе, а это ко многому обязывает. Догадался Коста, и почему Артем сдал только Сенатора: получив срок, тот начнет через родню и дружков шантажировать Миршаба, и тому волей-неволей придется помочь, — работая в Верховном суде, сделать это несложно. Беспалый выбрал, казалось бы, верный расклад, но... Свои быстро

мелькнувшие мысли гость вслух не высказал. Понял Джиоев и другое: судьба Парсегына решена, у него самого тоже нет выбора — настал час рассчитаться по векселям. Вчера они его вынули из петли, сегодня его очередь спасать связку Сенатор — Миршаб.

Коста угадал верно: Миршаб действительно завел разговор о том, что Парсегына необходимо ликвидировать. Но все упиралось в КГБ — достать там Беспалого казалось невозможным. Больше трех часов они разрабатывали версию за версией, но все выходило не то, не то... Уже когда собирался уходить, Коста неожиданно осенило:

— Мы изначально неверно выбрали тактику. Зря ищем человека в КГБ, на которого есть или возможен выход. Даже если и найдем такого, что само по себе сложно, может оказаться, что он и при желании помочь нам не будет иметь доступа к Парсегыну... А значит, нам нужен человек вне системы КГБ, но имеющий доступ к Беспалому... Врач, например, или банщик...

Поняв, что он наткнулся на дельную мысль, Джиоев вернулся в кресло и молчал минуты три. Миршаб никак не решался прервать паузу. И вдруг Коста пробормотал потухшим голосом: «Оминь», сделав при этом многозначительный жест — так по мусульманскому обычаю провожают в последний путь покойников:

— Все, приехал Парсегян. Я уже знаю, как от него избавиться, но нужна будет неделя-другая кропотливой работы...

— Ну-ка, ну-ка, изложи,— оживился Миршаб.

— КГБ имеет для сотрудников мощную медсанчасть, она в центре города, примыкает к их главному корпусу, напротив железного Феликса. По моим сведениям, единственная на всю столицу японская аппаратура по экспресс-анализу болезней почек находится именно у них, но туда многие проникают по блату. От вас требуется одно: завтра же позвонить главному врачу медсанчасти КГБ и попроситься к ним на обследование почек. По другим болезням не поверят, вы ведь на учете в правительственной поликлинике состоите, где есть все, кроме этого аппарата,— за это головой ручаюсь. Постарайтесь сделать туда хотя бы две ходки. На первый случай, уговорившись, придите без анализов, скажете, что позабыли дома, в общем, чем дольше пробудете там, тем лучше.

Цель вашего похода — узнать побольше фамилий врачей, человек десять — двенадцать, чтобы я вычислил тех, кто может иметь доступ к следственному изолятору. Я знаю, у Парсегына зимой сильно болят ноги, жесточайший радикулит, в тюрьме он орал по ночам так,



что его выводили без конвоя из камеры. А дальнейший план я расскажу вам, как только остановлю на ком-то из вашего списка свой выбор,— сказал Коста и поднялся, считая свой визит законченным.

По глазам Миршаба он понял, что заронил в нем надежду на успех. Хозяин даже отправился проводить гостя. Разогревая во дворе застывший мотор машины, Джиоев вскользь добавил:

— А с Москвичом проблем поменьше,— он ведь по-прежнему лежит на третьем этаже, и окно его выходит в темный двор...

В первый же рабочий день нового года утром Салим позвонил главному врачу медсанчасти КГБ республики и договорился об обследовании. По разговору Миршаб понял, что Коста располагал верной информацией, и его посещение поликлиники ни в коем случае не должно вызывать подозрения, мог же он позволить себе проверить почки, даже если они вполне здоровые.

Собираясь в медсанчасть, Хашимов захватил на всякий случай небольшой, со спичечный коробок, диктофон, впрочем, записывающая аппаратура всегда находилась при нем, в верхнем кармане пиджака, и не раз оказывала неоценимую услугу. Помогла она ему неожиданно и на этот раз.

В проходной он получил уже выписанный пропуск, и вахтер подсказал, что кабинет главного врача находится на четвертом этаже. Как только Хашимов уяснил, что никто не будет его сопровождать, он понял, что надо делать. В таком случае можно вообще обойтись одним посещением, не понадобится даже трюк с забытыми анализами: Миршаб знал, что почки, как и все остальное, у него в порядке.

Он поднялся на лифте на третий этаж и, как бы отыскивая нужную дверь, прошелся по длинному коридору, вдоль кабинетов, на дверях которых были прибиты таблички с указанием специальности врача и его фамилии, имени, отчества. Шепотом он надиктовал на магнитофон не десять фамилий, как просил Коста, а восемнадцать, и еще двенадцать прибавилось на четвертом этаже. Выходило, что теперь и заходить к главному врачу не было нужды, но повеселевший Миршаб, подумав, решил все-таки заглянуть в кабинет. Потом он не раз пытался осмыслить удачу, выпавшую случайно. Он чуть не повернул назад, увидев в приемной очередь, но что-то остановило его, и терпение вознаградилось сторицей. После краткой беседы и обмена традиционными восточными любезностями главный врач сам вызвался проводить высокого гостя на экспресс-анализ. Как только они вышли в длинный коридор, который Миршаб десять минут назад прошел из конца в ко-

нец, их остановил, извинившись, корректный офицер в форме пограничных войск и попросил подождать две минуты.

Салим увидел, что из кабинета какого-то врача одновременно, словно в связке, вышли двое мужчин, один в военной форме, и быстро направились к лифту в конце коридора, возле которого тоже стоял человек в погонах. Опытный глаз Миршаба сразу заметил, что человек в гражданском соединен наручниками с офицером — есть такая форма сопровождения для особо опасных преступников. Всегда хладнокровный Владыка ночи потерял дар речи: преступник, которого с такими предосторожностями сопровождали к лифту, был... не кто иной, как Беспальный, Артем Парсегян...

Все длилось какую-то минуту, и вряд ли кто обратил внимание на этот эпизод, но Салим словно пребывал в шоке, ему хотелось ущипнуть себя — нет, он не ошибался: арестант с седой курчавой головой, без сомнения, был тем самым человеком, за которым он охотился. Проходя мимо кабинета, откуда вывели Парсегыана, Миршаб даже успел увидеть зубного врача, чья фамилия уже была записана им среди прочих других.

Наверное, следовало смолчать, но Салим не выдержал и спросил у словоохотливого главврача:

— У вас тут и подследственных лечат?

— Нет, это особый случай, да и пациент, честно говоря, не наш. Прокурор республики, говорят, спрятал его у нас, какой-то важный свидетель, берегут как зеницу ока. Кажется, сегодня первый визит...

Вечером того же дня, когда врач-стоматолог шагал с работы в сумерках по слабоосвещенным улицам к метро, его вдруг окликнули сзади из стоявшей у обочины машины:

— Ильяс Ахмедович, садитесь, я подвезу вас...

Стоянка для личных машин сотрудников была во дворе КГБ, но туда имели доступ лишь высокие чины, остальные оставляли автомобили на свой страх и риск на улице. Зубного врача частенько подвозили домой его пациенты, и всегда это выходило случайно. Приглашение было неожиданным и приятным: ехать сейчас в переполненном метро, а потом ждать на морозе еще автобус не доставляло радости, и он поспешил к заиндевелой от мороза машине, где ему любезно отворили заднюю дверь.

Он с удовольствием ввалился в темный и теплый салон «Волги», и она, звякнув цепями на шинах задних колес, от гололеда, легко и сильно взяла с места, что, в общем, не удивило Ильяса Ахмедовича,



он знал, что на многих машинах чекистов стояли форсированные двигатели, а то и вовсе моторы с мощных иномарок. В «Волге», кроме водителя, находились еще двое, один на переднем сиденье, другой рядом с ним, все они дружно приветствовали его. В салоне громко звучала музыка, но пассажиры, даже с появлением доктора, не прерывали горячий спор о последнем выступлении Горбачева по телевидению, и минуты через две стоматолог с не меньшим жаром вступил в разговор.

За спором, становившимся все острее и жарче, Ильяс Ахмедович не заметил, сколько они проехали, как водитель произнес вдруг: «Все, приехали!» Пассажиры стали дружно выбираться, вышел и стоматолог. Машина стояла в глухом дворе, напротив сияющего огнями большого дома, а сзади закрывали гремящие железом ворота.

Ильяс Ахмедович на секунду растерялся, не понимая, почему они тут оказались, но тот, что был за рулем, бережно взяв его под локоть, с улыбкой сказал:

— Не переживайте, доктор, будете дома не позже обычного, знаем, жены у всех ревнивые. Вот ребята захотели по рюмочке хорошего коньяка пропустить, говорят, на Новый год все запасы опустошили, а сейчас со спиртным, сами знаете, туго. А у меня завалилась бутылочка армянского... Прошу в дом...

От любезного голоса, дружелюбной улыбки, что излучал хозяин дома, возникшая тревога вмиг пропала. Позже, перебирая в памяти происшедшее, стоматолог сделал для себя вывод, что все время находился словно под гипнозом этого обаятельного и властного человека. Мужчины вошли в дом. И действительно, едва сели за стол, продолжая начатый в машине разговор, хозяин внес поднос с закусками и марочным коньяком «Двин». В салоне, в темноте, доктор не мог разглядеть лица собеседников, а сейчас в хорошо освещенной комнате они показались ему знакомыми и незнакомыми, впрочем, всех и не упомнишь, в иной день он принимает до двадцати человек. А хозяин дома вполне походил на одного из молодых, энергичных руководителей с шестого этажа дома напротив облупившейся статуи ташкентского варианта железного Феликса — так же уверен, спокоен, подчеркнута культурен, с иголочки одет. После того, как выпили по рюмочке, хозяин дома глянул на часы и сказал, обращаясь к врачу:

— У нас к вам, Ильяс Ахмедович, очень большая просьба, а точнее, мы нуждаемся в вашей помощи...

— Слушаю вас, рад помочь, чем могу, — опять же ничего не подозревая, ответил стоматолог.

— У вас проходит курс лечения Артем Парсегян, и мы очень интересуемся этим человеком...

И только тут гость понял, что вляпался в неприятную историю: органы втягивают его в дело какого-то Парсегыана. Мелькнула мысль, что, возможно, его проверяют, ведь он знал, где и с кем работает. Как всякий советский человек испытывает невольный страх перед грозной аббревиатурой «КГБ», ощущал его и Ильяс Ахмедович. Этот страх завладел им еще сильнее, когда он стал работать там в медсанчасти. Нет, он не мог сказать, что его запугивали, устрашали, или он узнал что-то ужасное и конкретное о делах в здании, занимавшем целый квартал города. Нет, неуютно было из-за некоей атмосферы, царившей вокруг. Неестественность поведения отличала всех этих людей, ежедневно десятками приходивших к нему на прием. Вот отчего доктор вначале принял новых знакомых за людей из «большого дома», за своих пациентов. Но хозяин сразу поставил все на свои места.

— Доктор, мы не ваши пациенты, наши интересы не затрагивают КГБ, просто они случайно пересеклись. У вас прячут некоего Парсегыана...

— Я не знаю никакого Парсегыана! — почти истерично выкрикнул стоматолог.

Страх затуманил мозги, ему было наплевать и на какого-то Парсегыана, и на КГБ, и на государственные интересы, которые давно подавили его личные. Жаль было себя, детей, он понял, что влип в смертельную историю, нечто подобное ему рассказывали на беседах при приеме на работу. Но он действительно не знал никого по фамилии Парсегыан, хотя армяне и работали в КГБ, сам хозяин ведомства, еще недавно числившийся среди приближенных Рашидова, был армянином.

Хозяин дома, еще раз глянув на свои «Картье», словно куда-то опаздывал, внимательно посмотрел на Ильяса Ахмедовича, который был близок к истерике, и понял, что Парсегыана наверняка приводили к нему без всяких документов, без карточки, а может быть, и под другой фамилией. И он стал описывать стоматологу Беспалого подробно, напомнив, что тот был сегодня утром у него в кабинете в сопровождении конвоя.

— Да, был такой человек, но фамилию его я слышу от вас впервые,— ответил с некоторым облегчением врач, он не собирался ничего утаивать о больных зубах пациента.

— Хорошо, что вспомнили,— спокойно ответил хозяин дома, но почему-то ледяным холодом повеяло от этих слов.— У нас нет време-



ни долго уговаривать вас, ибо наша жизнь,— хозяин дома окинул взглядом давно замолчавших спутников,— в опасности, в опасности и жизнь многих высокопоставленных лиц. Все упирается в Парсегына: у него оказался слишком длинный язык, и его приговорили, его смерть — лишь вопрос времени. А жизнь его сегодня зависит от вас...

Хозяин дома разлил в очередной раз коньяк по рюмкам, многозначительно поднял свою...

Ильяс Ахмедович машинально, со всеми, выпил коньяк, ощущая себя под гипнозом серых, чуть навывкате ледяных глаз собеседника, и как бы с обидой обронил:

— Почему же от меня? Мне он не мешает, пусть живет...

Он даже удивился своему ответу, прозвучавшему, на его взгляд, смело и остроумно. Но хозяин дома, обладавший мгновенной реакцией, пояснил, словно перевернув пластинку:

— Если вам не нравится такая редакция, скажу по-другому: ваша жизнь зависит от смерти Парсегына.

— Я должен его убить? — испуганно прошептал побледневший стоматолог, и было видно, как у него задрожали руки.

— Какие ужасы вы говорите, доктор... Он умрет своей, естественной смертью, и ни одна экспертиза не докажет обратного, проверено не раз. Но только вы имеете к нему доступ, иначе мы бы обошлись без вас. Если вы фаталист — считайте, это ваша судьба, ее не объехать...

Он достал из кармашка жилета тоненькую пробирочку, на манер тех, в которых продают пробные партии духов. В ней на доньшке перекатывался черный шарик размером с треть самой маленькой горошины.

— Вот этот катышек вы должны положить ему завтра под пломбу. Он отойдет в мир иной ровно через пять дней — и наши проблемы решатся сами собой. Таким сроком мы располагаем... Ну, конечно, услуги подобного рода всегда высоко оплачивались, не будем мелочиться и мы...

Один из сидевших за столом молодых людей, кавказской внешности, подал черный пластиковый пакет, и хозяин дома выложил перед Ильясом Ахмедовичем пять пачек сторублевых в банковской упаковке.

— Здесь пятьдесят тысяч, сумма немалая, даже в инфляцию.

Доктор никак не реагировал на подношение, он словно пребывал в шоке. Обрывая затянувшуюся паузу, «водитель» вдруг зло добавил:

— Наверно, если бы КГБ попросило подложить то же самое Парсегыну как врагу народа, вы сделали бы это не задумываясь и бесplatно...

— Я не могу этого сделать... Вы ведь сказали, что он умрет... — Руки доктора продолжали выбивать дрожь, он не поднимал глаз от пола, боясь взглянуть на собеседников.

— Да, конечно, умрет, гарантированно, — жестко подтвердил хозяин дома. — Но вы должны понять: вы загнаны в тупик, отступать вам некуда. Если вы не согласитесь, живым отсюда не выйдете. Причем на раздумья у вас осталось лишь полтора часа, иначе жена позвонит на работу, и вас начнут разыскивать, а там могут догадаться, что исчезновение связано с сегодняшним посещением вашего кабинета тщательно оберегаемым Парсегяном. Но мы не дадим появиться такой версии. Вы погибнете случайно, после выпивки, под угнанным самосвалом, он уже стоит на обычном вашем маршруте от автобусной остановки до дома. Мы повязаны одной цепью, так что подумайте, доктор...

— Нет, нет, я не могу убить человека! — закричал доктор и попытался рвануться к двери.

Но его ловкой подножкой сбили с ног, затем подняли, надели наручники, заткнули кляпом рот и отвели в комнату без окон.

— Извините, доктор, у вас теперь остался только час, поймите нас, — сказал напоследок уже не столь любезный и обаятельный хозяин.

Минут через сорок, осознав весь ужас своего положения, неизбежность своей гибели за чьи-то непонятные интересы, стоматолог забарабанил ногами в дверь.

Судя по картам и деньгам на столе, играли по-крупному, но не это удивило Ильяса Ахмедовича. На столе стоял будильник, и стрелка подходила к назначенному сроку. Этот будничный красный будильник вселил в него больше страха, чем все суровые слова хозяина дома, и доктор обреченно выдохнул:

— Я согласен, давайте вашу пробирку...

Дома он был через полчаса. Когда вешал пальто в прихожей, увидел, что из внутреннего кармана высовываются пачки сторублевки...

## V

Прокурор Камалов, вернувшийся в больничную палату, выжидал, что же предпримет Миршаб, которому он открыто предъявил счет. Заканчивалась третья неделя нового года, но никаких событий не последовало. Правда, Камалов уже знал, что после его появления



в «Лидо» Миршаб звонил в травматологию, якобы желая поздравить с Новым годом и занести праздничный ужин, этим звонком он выяснил, выписался прокурор или нет. Конечно, пока он лежит в больнице, Миршаб располагает большей свободой маневра, сейчас он лихорадочно что-то соображает, организовывает — но что он затевает? Сведений на него почти не поступало, впрочем, этого и следовало ожидать. Салим Хасанович, без сомнения, учел промахи своего друга Сенатора, просто так в руки прокурору не дастся. Это человек, привыкший загребать жар чужими руками...

Лежа долгими часами на больничной койке и размышляя о покушении на трассе Коканд — Ленинабад, о гибели жены и сына, смерти Айдына, когда тот, читая по губам, записывал на магнитофон секретное совещание у него в кабинете, — прокурор постепенно выстроил четкий треугольник: Сенатор, хан Акмаль и Миршаб. Конечно, в эту компанию надо было записать и Артура Александровича Шубарина, но отъезд в Германию задолго до ферганских событий ставил его несколько особняком. Прокурор помнил сказанное полковником Джураевым: «Шубарину нет смысла желать вашей гибели. Он понимает: ни Миршабу, ни Сенатору не нужны ни рынок, ни свободное предпринимательство, а путь к правовому государству, в котором он заинтересован как банкир, лежит через вас...»

Размышляя о Шубарине, чье подробное досье до сих пор находилось у него в палате под рукой, Камалов вспомнил, что тот чрезвычайно высоко ценил прокурора Азларханова, оказывал ему внимание, любил появляться с ним на людях. С Азлархановым дружил и полковник Джураев, тоже лестно отзывавшийся о его человеческих и профессиональных качествах. Жаль, нет его в живых, думал Камалов, как хотелось бы пообщаться с умным человеком, и не только потому, что тот много знал, а потому, что они были люди одной крови, для которых есть один бог — Закон. «Надо заехать к нему на могилу», — подумал Камалов. Он помнил, как полковник Джураев, хоронивший Азларханова, рассказывал, что когда он в годовщину смерти посетил кладбище, то на месте могильного холмика увидел прекрасный памятник из зеленоватого с красными прожилками мрамора, где под словом «прокурор» чуть ниже было выбито: «настоящий». Полковника тогда очень заинтересовало, кто бы мог поставить памятник. Это тоже следовало выяснить, хотя, судя по всему, памятник поставил не кто иной, как Шубарин.

Азларханов, Шубарин, Джураев — почему-то эта цепь совершенно разных людей не шла у него из головы, интуитивно он чув-

ствовал, что с ними связана отгадка многих мучающих его тайн. Но... Азларханова нет в живых, Джураев, начальник уголовного розыска, поведал все, что знал, оставался Шубарин, да и тот далеко, в Германии. И вдруг блеснула шальная идея, скорее мечта — вот бы заполнить Шубарина в союзники, уж этому человеку был известен не только весь расклад сил — кто за кем стоит, он сам некогда был причастен к формированию той командно-административной системы, для которой ныне любые перемены означают крах. А почему бы этой мечте и не сбыться? Ведь Джураев абсолютно верно угадал: при сегодняшних устремлениях Шубарина вчерашние его друзья-прихлебатели — только путы на ногах, ярмо на шее. Теоретически выходило верно, но на практике...

И все же ход этот был логически верным. Камалов вспомнил анонимное письмо на свое имя от некоего предпринимателя, который, наблюдая откровенный грабеж государства (автор писал несколько высокопарно — «держава»), сообщал прокуратуре бесценные факты, конкретные фамилии и организации, наносящие ущерб народу. Немедленные меры, предпринятые прокуратурами страны и республики, дали поразительные результаты, перекрыли десятки каналов, по которым шли миллионные хищения. А ведь писал человек вроде бы из противоположного лагеря, какой-то собрат Шубарина, не иначе...

Не давала покоя Камалову и давняя странная смерть прокурора Азларханова, казалось бы, не имевшая отношения к событиям сегодняшнего дня. Ведь для ее разгадки и зацепиться было не за что: убийцу выкрали в ту же ночь из больницы, дипломат, доставленный в прокуратуру ценою жизни прокурора, тоже исчез. И вдруг в непонятной еще связи с убийством Азларханова память выудила... фамилию Акрамходжаева.

Полковник Джураев, рассказывая о трагедии, разыгравшейся в холле прокуратуры республики, обронил, что видел там в тот момент Сухроба Ахмедовича. Мысленно Камалов хотел отмахнуться от Сенатора, казалось, тот не имел никакого отношения к Азларханову, ведь уже было точно известно — никогда эти люди не встречались прежде, никогда их интересы не пересекались. В то застойное время они стояли на разных ступенях общественного положения, и ничего не могло быть общего между образованным, эрудированным, окончившим московскую аспирантуру областным прокурором, которого юристы республики величали «реформатором», и вороватым, тщеславным, мелкого пошиба районным прокурором.



Все вроде так... Но вдруг через год ярко возшла звезда Акрамходжаева, серия статей Сухроба Ахмедовича о законе и праве, о правовом нигилизме власти сделала его самым популярным юристом в республике. А ведь общаясь с ним по службе, Камалов не слышал от него ни одной свежей мысли, оригинальной идеи, хотя чувствовал его природный ум и хватку. Отчего же произошла столь странная метаморфоза?

Камалов досконально изучил докторскую диссертацию Сенатора — удивительно современная, емкая, аргументированная работа. Народу пришлись по душе его выступления в печати, он, конечно, взлетел наверх на первой популистской волне перестройки. Но Камалову всегда казалось, что Сенатор, если судить по его делам и поступкам, не имел ничего общего со своим научным трактатом. Так оно и вышло: Акрамходжаев оказался не тем человеком, за которого себя выдавал. Это выяснилось в связи со случайным арестом уголовника Артема Парсегына, с которым чиновник из ЦК давно состоял в дружбе, и Беспалый сделал такие признания прокурору республики, что пришлось немедленно арестовать Акрамходжаева. Но Парсегян, знавший многое о своем покровителе, не мог сказать ничего внятного о научных изысканиях Сенатора, прояснить эту сферу его деятельности.

Все рассуждения, варианты действий заходили в тупик, но Камалов интуитивно чувствовал: путь к Шубарину лежит только через Азларханова, — он много значил для Японца, поэтому такой внушительный, от сердца, памятник, оттого и появилась в эпитафии на могильной плите необычная оценка — «настоящий»...

От Парсегына Камалов узнал, что Акрамходжаев замешан в ограблении прокуратуры в день убийства Азларханова. Но если Сухроб Ахмедович охотился за дипломатом Азларханова, не причастен ли он и к его убийству? После ночного происшествия во дворе прокуратуры осталось два трупа: охранника и взломщика сейфа из Ростова по кличке Кощей. Парсегян утверждал, что Кощей пристрелил милиционер, а Сенатор был вынужден стрелять, спасая дипломат. Но Камалов догадывался, что Кощей тоже на совести Сенатора. Он, скорее всего, понадобился, чтобы запутать следствие: в те дни в прокуратуре как раз находились следственные дела нескольких жесточайших банд рэкетиров из Ростова, и татуированный с ног до головы Кощей оказался как нельзя более кстати для иезуитского плана Акрамходжаева. Но если Сенатор причастен к убийству близкого Японцу человека,

почему Шубарин водил с ним дружбу, поддерживал? Этот вопрос возник впервые, и Камалов отметил его в записной книжке. Вопрос был закономерен, и пока ответа на него не было. Но если Акрамходжаев действительно причастен к убийству Азларханова?.. Может быть, наконец-то забрезжила единственная возможность вбить клин между Миршабом, Сенатором и Шубариным? Это открытие даже как-то взбудрило Камалова. Нет, еще не все потеряно, далеко не все...

Была пятница, конец недели, и он ждал начальника отдела по борьбе с мафией — они готовили операцию и собирались обсудить ее с глазу на глаз. Не терпелось прокурору и узнать, приступила ли к службе Татьяна Георгиевна, которую он пригласил на работу. Камалов мельком глянул на часы. До прихода бывшего чекиста оставался час, и он, вновь расчертив чистый лист бумаги, обозначил на нем волнованный его треугольник и тут же переделал фигуру в квадрат — над всеми, как тень, нависал Сенатор...

Задачу прокурор ставил локальную — найти ход к неприступному Шубарину, чтобы хоть однажды вызвать того на доверительный разговор, встретиться, пусть тайно, один на один. А значит, надо отыскать посредника, того, кто сведет их вместе. Но на эту встречу он должен прийти не с пустыми руками, блефовать с Японцем не имело смысла, нужны только факты, железно изложенная логика событий. Следовало во что бы то ни стало изолировать такого умного и влиятельного человека от Хашимова. Может, для этого даже стоило что-то специально организовать, спровоцировать, но это на крайний случай. С Шубариным он хотел играть открытыми картами.

И вновь его мысли вернулись к застреленному прокурору Азларханову. Как ему не хватало сегодня рядом такого человека!

Может, следовало изучать не докторскую Акрамходжаева, а все, что сохранилось в стенограммах от выступлений Азларханова, его докладных записок, которые, говорят, он часто адресовал прокуратуре республики и Верховному Совету? Видимо, можно отыскать его статьи в юридических журналах, затребовать его работы из московской аспирантуры. Камалов не надеялся, да и не старался устанавливать идентичность докторской Сенатора с работами Азларханова — время и ситуация в стране резко изменились, но важны были суть, методология, стиль, наконец. А может, эти материалы из стола, где так долго ждали своего часа? Эту версию следовало проверить, и как можно скорее. В случае успеха можно было бы искать подходы к Шубарину.



Полковник, которого он ждал, обычно педантичный, что-то запаздывал, и Камалов,— ему через полчаса следовало спуститься на второй этаж на процедуры,— решил позвонить в прокуратуру. Он еще не доковылял до телефона-автомата в конце коридора, как в вестибюле появился начальник отдела по борьбе с мафией. По его лицу прокурор сразу понял — что-то случилось.

Как только они вернулись в палату, тот доложил:

— Сегодня ночью в следственном изоляторе КГБ умер Артем Парсегян.

— Вы сами видели труп? — жестко спросил прокурор, сразу оценив неблагоприятный поворот ситуации.

— Да. Потому и опоздал, ждал заключение экспертизы.

— Отчего умер Беспалый?

— Специалисты утверждают, что нет никаких признаков насилия или отравления. Естественная смерть — инфаркт.

— Видеопленки с допросами в сохранности?

— Я тоже об этом беспокоился, но все на месте. Я их забрал к себе.

— Сделайте на всякий случай копии и положите в мой сейф. Да, ситуация... — глухо обронил Камалов. Опять заныло переломанное бедро, и боль острыми иглами пошла по ноге, по всему телу.

Полковник, много лет проработавший в КГБ, ни на минуту не сомневался в верности выводов экспертов, и Камалов, понявший это сразу, не стал обсуждать с ним никаких других версий смерти Парсегяна. Обговорив намеченную накануне операцию, они распрощались. Успел Камалов дать ему и новое задание: раздобыть по возможности все теоретические работы убитого когда-то прокурора Азларханова.

Как только за полковником закрылась дверь, у прокурора невольно вырвалось вслух:

— Так вот какой удар ты нанес мне, Миршаб!..

Ничто, никакая самая авторитетная экспертиза не убедила бы Камалова, что Беспалый умер своей смертью. Не сомневался он и в том, что этот мощнейший, почти нокаутирующий удар — дело рук человека из Верховного суда. Не зря он почти десять лет отдал охоте за оборотнями и в своих работах с грифом «Совершенно секретно», застрявших на уровне Политбюро и руководства КГБ, утверждал, что организованная преступность имеет своих людей на всех этажах власти и даже в КГБ. Может, оттого его работы и оказались под сукном?

Конечно, он завтра же позвонит своему бывшему ученику — генералу КГБ Саматову и попросит, чтобы без шума, с привлечением опытных специалистов расследовали смерть Парсегяна. Здоровый как бык Беспалый, с которым насилу справлялись трое надзирателей, страдал лишь приступами радикулита, а тут вдруг инфаркт... Умер, когда требовалось умереть...

Опять заныла нога, и прокурор огорченно подумал, что без лекарства сегодня не заснуть. Но больше всего Камалов страдал не от боли, а от бессилия, от невозможности сию же минуту напрямую схватиться с Миршабом. Оглядывая голые стены палаты с выцветшими обоями и высоким окном, выходящим во двор, он понимал, что здесь ему находиться еще долго, а Хашимов, оказывается, умел ценить время...

К ночи поднялась температура, начались сильные боли, и Камалов катался с боку на бок, не находя себе места, пришлось сделать инъекцию сильнодействующего реланиума. Но боль была настолько сильна, что он время от времени просыпался и долго глядел в морозные окна без занавесок. Ночь выдалась лунной, ясной, и прокурор хорошо видел присыпанные снегом ветви могучего орешника, поднявшегося до самой крыши больницы. Проваливался он в короткий и тревожный сон так же внезапно, как и просыпался.

Снились какие-то кошмары: инженер связи, картежник Фахрудинов, прослушивавший его телефон, хан Акмаль, с которым он успел выпить чайник чая в краснознаменной комнате, покойный прокурор Азларханов, с которым он никогда не встречался, но испытывал к нему не только интерес, но и всевозрастающую симпатию. Многократно снилась ему сцена на трассе Коканд — Ленинабад: из белых «жигулей» разом выходят трое наемных убийц с автоматами в руках, и среди них снайпер Ариф, уже стрелявший в него накануне, а еще чуть раньше пославший пулю в сердце Айдына, читавшего по губам ход секретного совещания у него в кабинете с крыши дома напротив...

Сегодня нет в живых легендарного Арифа, и за его прокурорской жизнью наверняка охотится другой снайпер, нанятый Миршабом. Во сне он и пытался отыскать его среди сонма лиц, круживших вокруг него в каком-то мистическом хороводе.

Сквозь рваный, зыбкий сон ему чудилось, что кто-то скребется к нему с улицы, и он невольно открыл глаза. На подоконнике его высокого окна стоял человек с широким монтажным поясом на бедрах, от него слева и справа свисали два витых нейлоновых каната в палец толщиной. Судя по всему, мужчину, стоявшего снаружи, страховали



с крыши. Камалову почудилось, что он видит продолжение тех кошмаров, что снились ему всю ночь, и, улыбнувшись, он закрыл глаза, но тревога, уже вселившаяся в сердце, заставила вновь приоткрыть их. Человек, стоя на подоконнике в белых шерстяных носках, вырезал стеклорезом предварительно обклеенный липкой лентой квадрат напротив единственной ручки-защелки в левой створке рамы,— обычно в таких случаях стекло не ломается... Ночь была светлой, рядом горел фонарь, и человек в окне просматривался хорошо, у него на груди, рядом с переговорным устройством, висел пистолет на кожаном ремешке с длинным глушителем.

«Сон в руку»,— констатировал прокурор и осторожно, стараясь не делать лишних движений, нашарил свой именной макаров под подушкой. Человек, вырезав стекло, бережно прислонил его к правой створке и стал аккуратно открывать защелку, не распахивая окна. Он, видимо, понимал, что порыв холодного воздуха может преждевременно разбудить спящего. Опустив защелку, ночной пришелец, что-то сказав шепотом по рации, взял пистолет в правую руку.

«Нужно стрелять так, чтобы он упал в палату»,— успел подумать Камалов и, как только распахнулось окно, выстрелил дважды.

Убийца, выронив пистолет на пол, как бы нырнул следом в палату, но в тот же миг, словно подхваченный невидимым краном, взмыл вверх. Страховавшие поняли, что прокурор опередил их и на этот раз...

Утром, осматривая место происшествия, нашли под окном лишь рукописный картонный плакат на турецком языке. «Кровь за кровь»,— значилось на нем. Но Камалов знал, что и за убийцей с крыши стоял все тот же Миршаб...

## VI

Прошло лишь две недели после странной встречи с земляком на мюнхенском стадионе, как с Артуром Александровичем приключилась новая история, не менее интригующая, чем первая. Если появление представителя международной мафии, после некоторых размышлений, показалось Шубарину не столь уж и неожиданным,— он-то знал, что наш преступный мир уже давно, с застойных лет, готовил себе плацдарм за кордоном,— то вторая встреча не могла привидеться, кажется, даже в бредовом сне.

По пятницам, если никуда не уезжал на уикенд, он ужинал в русском ресторане на Кайзерштрассе, неподалеку от отеля «Риц», где

останавливался мистер Гвидо Лежава, большой любитель футбола. Иногда и среди недели, назначая с кем-нибудь деловую встречу, он заказывал столик именно в этом ресторане, и к нему скоро привыкли в «Золотом зале», где постоянных клиентов было не так уж много.

В этот день Шубарин, как обычно, занял свой столик в глубине зала за колонной, откуда хорошо просматривался вход, хотя, став завсегдатаем, он знал, что можно войти и выйти при необходимости и мимо кухни, через служебный ход, который, впрочем, строго контролировался.

Не успел он перелистать объемистую роскошно отпечатанную карту вин и напитков, как за спиной раздался удивительно знакомый голос, и кто-то совсем уже по-нашенски по-русски поинтересовался:

— У вас здесь не занято?

Продолжая машинально вглядываться в меню, Шубарин подумал, что это, наверное, опять кто-то из тех, что отыскиали его на стадионе «Баварии».

Артур Александрович неторопливо отложил карту вин в сторону, поднял взгляд и остолбенел... Рядом с его столиком стоял Анвар Абидович Тилляходжаев, хлопковый Наполеон, бывший первый секретарь Заркентского обкома партии, отбывавший на Урале пятнадцатилетний срок.

Еще неделю назад, разговаривая с Коста, Шубарин поинтересовался, как обстоят дела у Тилляходжаева, и его заверили, что у того все в порядке. С первого дня заключения Анвара Абидовича в лагерь туда отправились Ашот и Коста, люди «авторитетные» в уголовном мире. Кажется, они захватили с собой еще одного «уважаемого» человека, курирующего Урал. Их задачей было обеспечить бывшему секретарю обкома, личному другу и покровителю Шубарина, нормальную жизнь в заключении. Во-первых: никаких унижений ни со стороны уголовников, ни со стороны администрации,— Анвар Абидович к такому обращению не привык. Во-вторых: нормальные условия работы и жизни и регулярные передачи.

Все годы, что Анвар Абидович находился в заключении,— а он загремел одним из первых, в начале перестройки,— два гонца, сменяя друг друга, постоянно возили передачи хлопковому Наполеону из Ташкента на Урал. И вот он сам, собственной персоной, стоял перед Артуром Александровичем! Было от чего остолбенеть... Они, не сговариваясь, обнялись, по-восточному похлопывая друг друга по спине, что не осталось незамеченным в чопорном зале.



Но вряд ли в это время их волновало, как они выглядят со стороны, слишком многое их связывало. Анвар Абидович знал, что его семья обязана Шубарину жизнью: трижды пытались подпалить его дом, и трижды поджигателей в ночи ждал бесшумный и точный выстрел снайпера Арифа. Разве такое забывается?..

Странно, но тюрьма как бы пошла Анвару Абидовичу на пользу: исчез лишний вес, густые, вьющиеся волосы, не так давно лишь тронутые сединой, сегодня были совершенно седыми, что придавало ему импозантный вид. Четче, жестче обозначились черты лица, ярче стали глаза, появилась строгая, аскетическая мужская красота. Экипировали Анвара Абидовича, видимо, поспешно, хотя и основательно, но чувствовалось, что он уже отвык от галстука и цивильного костюма, в местах не столь отдаленных быстро вырастают в ватник и отучаются от нормального быта. Шубарин знал, что людям, просидевшим в тюрьме несколько лет, нужны годы, чтобы вновь приучиться к стулу, креслу, они автоматически присаживаются на корточки.

— Какими судьбами? — вырвалось у Шубарина, он мог поклясться, что более неожиданного сюрприза для него придумать просто нельзя было.

— Не спрашивай, Артур. Давай-ка выпьем, закусим, как в старые добрые времена. Ты не представляешь, как я обрадовался вчера, в лагере, что завтра увижу тебя. Я ведь не знал, что встреча будет тут, в Мюнхене, в этом роскошном зале. Ты почаще бывай в Европе, и мне шанс, видимо, выпадет ее повидать...

Анвар Абидович говорил весело, с задором, как в то застойное время, когда он был хозяином области, по площади равной Германии и Франции, вместе взятым.

Официант уже давно стоял наготове у стола, и Артур Александрович, зная, что парень родом из Казахстана, сказал ему по-русски:

— Неси все лучшее, что есть, да побыстрее, старый друг приехал!

И тот без слов отошел от колонны: он помнил, как гуляют русские.

Через полчаса, сделав паузу в ожидании горячего, Артур Александрович спросил нетерпеливо:

— И все-таки — как вы тут очутились и сразу нашли меня?

— Я солдат партии, вот потому и оказался здесь, выполняю ее приказ, — ответил Анвар Абидович несколько высокопарно.

Но Шубарин понял, что тот не шутит, да и вряд ли без согласования с самыми верхами он мог выйти на свободу, даже временно, и тут же отправиться на Запад. За этим перемещением человека из лагеря, безусловно, стояли какие-то высшие силы, а то и государственные интересы, Шубарин почувствовал это.

— Хорошо, что ты не вышел из партии, как поступили многие приспособленцы, перевертыши, иначе бы ко мне не обратились. Хотя кто знает, теперь я уж совсем не понимаю, что творится на воле, хотя регулярно смотрю телевизор и читаю газеты.

— Какой я коммунист, Анвар Абидович? Я предприниматель, теперь вот становлюсь банкиром, открываю в Ташкенте коммерческий банк. Я чужд идеологии, любой, и левой, и правой, и даже серединой, я за правовое государство, за верховенство закона, за права личности, гражданина. Зная реальное положение в стране, в ее экономике после шести лет перестройки, общаясь лично с теми, кто пришел сегодня к власти и кто рвется к ней, я убежден, что только настоящие коммунисты, узнавшие о том, сколько от их имени делалось преступлений за семьдесят лет, способны спасти эту великую страну от краха, потери государственности, ведь все к этому катится...

— Спасибо, Артур, примерно так я и аттестовал тебя, сказал, что ты наш человек...

Шубарин хотел возразить, сказать — я вовсе не ваш человек, но тут же передумал: не стоило разочаровывать старого друга, сбивать его с толку, ясно было, что он объявился в Мюнхене с серьезными намерениями. Но даже если бы Тилляходжаев сбежал из тюрьмы и каким-то немыслимым образом оказался рядом с ним, он в любой ситуации, даже на чужой территории, предпринял бы все меры, чтобы спасти жизнь своего бывшего патрона, — в этом была вся суть его натуры — он не предавал друзей.

Принесли горячее, и они по традиции выпили еще по рюмке «горбачевской» водки немецкого разлива. Анвар Абидович охарактеризовал ее кратко: гадость, до нашей, любой областной «Русской» или «Столичной», ей тянуть и тянуть.

«Барин остается барином, — подумал Артур Александрович, — шесть лет сидел, наверное, уже забыл вкус спиртного, а вот «горбачевку» не признал...» Да и вообще Тилляходжаев с каждой минутой держался все свободнее, вальяжнее, невольно вызывая в памяти давние дни в Заркенте.



— Я очень рад, что когда-то не ошибся, разгадал в тебе предпринимателя, бизнесмена, хотя это и шло вразрез с нашей идеологией. Воистину нет правил без исключения. Иногда я думаю, что все мои прегрешения перед партией, за которые я отбываю справедливое наказание, перевешивают одно мое деяние, тоже как бы противоправное, — я открыл тебя, создал в области режим наибольшего благоприятствования всем твоим начинаниям, и, говорят, ты сегодня вполне официальный миллионер. Теперь в тебе нуждается страна, народ... — Тут Анвар Абидович слегка понизил голос, воровато окинул взглядом зал и добавил тихо, но торжественно, по слогам: — И пар-ти-я!

Японец подумал, что гость опьянел, но, глянув повнимательнее на Анвара Абидовича, понял, что ошибся, тот просто переходил к делу, а важность возложенной на него миссии, в случае успеха которой, вероятно, ему пообещали свободу, подвигла его на патетику, высокопарность.

Артур Александрович внимательно оглядел ресторан и сразу отыскал людей, вероятнее всего, сопровождающих Тилляходжаева, заметил еще двух-трех подозрительных, на его взгляд, гостей и решил не искушать судьбу: разговор их легко могли прослушивать и записывать, а Анвару Абидовичу не терпелось скорее перейти к делу.

Как только гость попытался вернуться к главной теме разговора, Японец бесцеремонно перебил его, сказав, что о делах они побеседуют у него дома за чашкой кофе, и оживленно заговорил о том, как они сегодня вечером приятно проведут время в известном загородном клубе, куда он был приглашен заранее... Рассказывая о ночной жизни Мюнхена, Артур Александрович наблюдал, как один за другим исчезли все люди, вызвавшие его подозрения, видимо, он не ошибся, их прослушивали, и Шубарин вместе с Тилляходжаевым поспешил убраться из ресторана.

Выезжая со стоянки, Артур Александрович увидел, как серый «порше» тронулся вслед за его белым «мерседесом». Шубарин ехал не спеша, рассказывая гостю о магазинах, салонах, театрах на Кайзерштрассе, он двигался по направлению к дому, усыпляя бдительность следовавших за ним людей. Поймав на каком-то светофоре момент, когда «порше» не успевал на «зеленый», он резко прибавил газ и свернул в ближайший же переулок, потом повернул еще раз и опять оказался на Кайзерштрассе, правда, ехал уже в обратном направлении и минут через пять припарковал машину на хорошо знакомой ему стоянке отеля «Риц».

Оказавшись в уютном номере на седьмом этаже, Артур Александрович заказал по телефону зеленый китайский чай «лунь-цзинь» и, устроившись в кресле, обращаясь к гостю, сказал:

— Вот теперь, дорогой Анвар Абидович, мы можем спокойно поговорить о делах. Я слушаю вас...

Гость начал сразу, без предисловий:

— Вчера утром у меня в каптерке предстоял горячий день, меняли белье четвертому и пятому баракам. Благодаря тебе, если не предстоит какая-нибудь проверка или комиссия, я обычно и ночую у себя на складе при прачечной. Ты не представляешь, какое это счастье — иметь там такую работу и жить в отдалении от озверевших людей, хотя в зоне знают, что за меня держат мазу самые крутые уголовники, но все равно... Едва я отобрал самое лучшее, по лагерным понятиям, белье для «выдающихся» людей из этих бараков, — не приведи господь кого-нибудь из них запомнить, — как вошли двое штатских без сопровождения нашей администрации. По тому, как они держались, говорили, были одеты, сразу чувствовалось, что они не имеют никакого отношения ни к прессе, ни к прокуратуре, ни к МВД, ни к юстиции вообще — мы ведь все там пишем жалобы день и ночь... Они поздоровались, на восточный манер поинтересовались здоровьем, жизнью, настроением и предложили поехать с ними пообедать в одной компании, где будут знакомые мне люди. В нашем положении отказываться и задавать вопросы не принято, и я, представляя, что за «обед» мне предстоит, молча вышел вслед за ними. Машина, стоявшая у проходной, тут же рванула в город. Мы приехали, как я понял, на какую-то загородную дачу местных властей, где в зале действительно был накрыт богатый стол, и среди прогуливавшихся вокруг него я увидел двух знакомых мне прежде мужчин. Впрочем, ни фамилий их, ни должностей я так и не вспомнил. Да и как вспомнить, ведь я в Заркенте принимал тьму людей, членов Политбюро, и даже зятя Брежнева, красавчика Юру Чурбанова, которого я время от времени встречаю в соседнем лагере, он шьет для нас простыни... Но то, что эти люди из аппарата ЦК КПСС, я не сомневался. Сомневался в другом: то ли я их принимал у себя, то ли бывал у них по делам. Позже я вспомнил, что один из них был помощником Кручины, управляющего делами ЦК КПСС, и я решал с ним вопрос о строительстве нового дома улучшенной планировки для работников обкома. Вот эти двое встретили меня радушно, вспомнили, как бывали у нас в Заркенте, как щедро мы их принимали и одаривали, по-хански, как они выразились. Объясни-



ли, что, оказавшись здесь в командировке, прослышали, что я отбываю тут срок, и решили увидеться, помочь хоть чем-нибудь и заодно представить людям, которым я вдруг оказался нужен...

Трое незнакомых мне мужчин, назвавшись наверняка вымышленными именами, пожали мне руки и пригласили за стол. Обед длился долго, вспоминали прежние времена и прежних хозяев, ныне оказавшихся не у власти. Я старался изо всех сил поддерживать разговор, не понимая, что может означать для меня эта встреча с соратниками по партии,— о «сердечной» привязанности моих коллег мне постоянно напоминал мой смертный приговор, которого я чудом избежал.

Когда подали десерт, раздался телефонный звонок, и двое моих бывших коллег, сославшись на неотложные дела, торопливо распрощались, и я остался наедине с новыми знакомыми. У них, наверное, со временем тоже была напряженка, и мы тут же перешли в гостиную, где состоялась беседа. Хотя, если точнее, первую часть разговора без обиняков можно было назвать допросом. Меня новые знакомые усадили в глубокое кожаное кресло с высокой спинкой, отгородив от себя длинным журнальным столиком, а сами уселись так, что я видел перед собой только одного из них, а двое других, задававших больше всего вопросов, сидели сбоку от меня. Тактика не новая, так поступают всегда, когда идет перекрестный допрос...

Тилляходжаев сделал паузу, чтобы передохнуть. Шубарин слушал его, не перебивая.

— Первый же заданный вопрос касался тебя, Артур. И второй, и третий, и целый шквал последующих — тоже. Они не оставляли мне время для раздумий, требовали точного и быстрого ответа, порою мне казалось, что меня усадили на искусно замаскированный детектор лжи. Я не понимал, что им от меня нужно, одно стало ясно: досье на тебя составлено доскональное, внушительное. Временами я думал, что ты влип в какую-то историю, связанную с государственными интересами, ты ведь по-мелкому не играешь, иначе не занимались бы тобою на таком уровне. Но я же регулярно получал от тебя информацию и знал, что ты «на плаву», процветаешь, да и по другим каналам доходили сведения, там «деловых» сидит немало. И, как бы ловко ни формулировались вопросы, я скоро понял: они ищут вовсе не компромат на тебя, а подтверждение тому, что знают о тебе, ты почему-то был очень нужен им. Вскоре я разгадал тайну допроса: их интересовал твой коммерческий банк, который ты, оказывается, намерен открыть на паях с немцами в Ташкенте, хотя слово «банк»

произнесено не было. Ни разу. С той минуты нить разговора я держал в руках твердо, подтверждение чему — мое пребывание здесь.

— Банк? Которого еще нет? — изумился Шубарин.— Вы не ошиблись?

— Да, да, Артур, банк. Оттого им понадобился посредник. Знают: на такую щекотливую тему ты с каждым разговаривать не станешь. К тому же им нужна гарантия,— а в нашем случае ею служит моя жизнь, они хорошо все взвесили, учли твои слабые стороны.

— Мерзавцы! — гневно вырвалось у Японца.

— В такое критическое для страны время не должно быть однозначных оценок, не горячись, Артур. Если в данной ситуации моя жизнь стала разменной монетой, я не жалею, даже рад, что вновь понадобился партии,— гостя явно снова потянуло на патетику.

— Партии? — снова с удивлением переспросил Шубарин.

— Да, Артур, партии. Разговор идет о партийных деньгах, партийной кассе,— пояснил Тилляходжаев.

И только тут для Шубарина стал проясняться смысл этой странной беседы.

— Сегодня, когда настали трудные дни не только для страны, но и для партии, она должна подумать о тылах,— продолжал Тилляходжаев.— Не исключено, что при разгуле такой оголтелой реакции, которая прикрывается видимостью демократии и щедро финансируется из-за границы, партия может временно самораспуститься, уйти в подполье. Но это будет вынужденной мерой, крайней. Идеи социализма, коммунизма, справедливости и равенства глубоко укоренились в обществе, и, поверь мне, у коммунистов будет еще шанс вернуться на политическую арену, их еще позовут. Расслоение общества на бедных и богатых идет уже не по дням, а по часам... Но возвращение немислимо без организации, без финансов, и партия должна сохранить то, что у нее накопилось за семьдесят лет, а набралось, поверь мне, немало...

— Откуда же у партии взялись деньги? Партийные членские взносы вряд ли покрывали расходы на содержание высокопоставленного аппарата в стране и помощь всем компартиям за рубежом. Не говоря уже о финансировании любой левацкой идеи или движения и даже намека на него. А огромная собственность в стране: лучшее жилье, помпезные здания райкомов, обкомов, горкомов, поликлиники, издательства, больницы, санатории, курорты — это же огромное, многомиллиардное состояние? — в голосе Шубарина слышался неподдельный интерес.



— Ну вот, это разговор банкира,— довольно пробормотал гость.

Поскольку он находился ближе к двери, то пошел ее открывать на стук. Официант вкатил тележку с чайными приборами и высоким чайником, прикрытым белоснежным полотенцем. Анвар Абидович сам стал разливать чай. Шубарин чувствовал, как радуют его после лагерного быта трогательные мелочи жизни: изысканная посуда, интерьер, аромат хорошего чая...

— Откуда у партии деньги, Артур? Я могу рассказать тебе многое, но боюсь, что и я всего не знаю. Тут нужно отметить, что сегодня трудно отделить партийные деньги от государственных, партия все считала своей собственностью: недра, леса, горы, моря, народ и деньги тоже... Но это не ответ, тем более для банкира. Существовало немало источников, официальных и неофициальных, и даже тайных, о которых знали лишь единицы — это доверенные люди партии, в числе которых был и... я.

Шубарин не смог скрыть изумления на лице.

— Да, да. Я был облечен высоким доверием партии, и возмездие мне, отчасти, за злоупотребление им. Помнишь, когда ты предупредил меня о предстоящем аресте, я без сожаления вернул государству, а значит — партии, более ста пятидесяти килограммов золота и свыше шести миллионов рублей наличными. Однако тогда, шесть лет назад, я не открыл своей тайны, но сегодня настал час, и ты должен знать...

Тилляходжаев, смакуя, выпил пиалу душистого чая, восхищенно поцокал языком:

— Да, это не тюремное пойло... Так вот, еще в бытность секретарем обкома я ежегодно перечислял на тайные счета партии крупные суммы, этого, повторю, требовали не от всех, только от доверенных лиц. Однажды в области нашли клад, два больших кувшина с золотыми монетами, весом что-то около семидесяти килограммов, меня тотчас вызвали на место. Через день я вылетел на сессию Верховного Совета СССР и решил сделать партии, накануне ее съезда, подарок. Нигде не оприходованный клад повез в Москву и сдал в Управление делами ЦК КПСС, а вскоре получил первый орден Ленина. Но это так, к слову.

Доверенные люди партии существуют не только в стране, но и за рубежом, есть «штирлицы», работающие не по линии разведки, а в экономике. Их основная деятельность — анонимные фирмы в развитых странах, всевозможные сделки с ценностями, хранящимися в крупнейших мировых банках. В подтверждение могу сказать, что я, возглавляя однажды делегацию во время визи-

та в Грецию, лично доставил в Афины шесть миллионов долларов наличными в симпатичном кейсе...

Второй раз с похожим поручением я летал в Германию, где тайно передал одному бизнесмену, тоже наличными, полтора миллиона долларов,— его фирма оказалась в сложном финансовом положении.

Управление делами ЦК хорошо усвоило азы рынка и давно занимается многомиллиардным ростовщичеством как у себя дома, так и за рубежом. Особенно финансовая деятельность партии усилилась в перестройку. Она вложила деньги в малые и совместные предприятия, ассоциации, концерны. Сейчас, пока мы пьем этот чудесный китайский чай в Мюнхене, сотни советских и зарубежных предприятий и фирм, десятки советских и зарубежных банков лелеют и приумножают собственность партии. Основными владельцами малых и совместных предприятий в стране становятся, как правило, бывшие работники КГБ, МВД, МИДа и партаппарата, вместе с женами, тещами и детьми. Они становятся учредителями, обращаются в Управление делами ЦК и получают сотни миллионов рублей в кредит и «зеленую улицу» всем своим начинаниям.

Большие надежды возлагаются и на коммерческие банки, в них уже вложены многие миллиарды рублей. Десятки миллионов находятся в уставных фондах Банка профсоюзов СССР и Токобанка. От тебя, Артур Александрович, не будет тайн, ты, конечно, получишь список банков, причастных к партийным деньгам. Крупнейший из них — «Автобанк», он получил от партии под проценты один миллиард. Схема его создания типичная: председатель правления банка Наталья Раевская — жена первого заместителя министра финансов СССР Владимира Раевского. Может, СССР скоро перестанет существовать, а банк Раевских будет процветать.

Есть на Западе фирмы, созданные целиком на средства КПСС, они обычно открывались в развитых странах со щадящим налогово-обложением, а на советском рынке им обеспечивалось преимущество перед другими инофирмами. Например, на рынок выбрасывают определенное количество нефти или оружия, мехов или леса, алмазов или золота. Продаются они по невысокой цене, устанавливаемой для «своей» западной фирмы или для фирмы братской партии. Затем эта фирма, естественно, перепродает товар по нормальным мировым ценам, а разница откладывается на счет в банке. В этом случае партия напрямую зарабатывает на государстве, вот почему я говорил, что партийные деньги сложно отделить от народных.



— Для чего же понадобился именно мой не существующий пока банк, ведь у партии под контролем, как я понял, уже десятки коммерческих банков? — не преминул задать вопрос Шубарин, слушавший рассказ Тилляходжаева со все возрастающим интересом и удивлением.

Анвар Абидович, окончательно освоившийся со свободой, ослабив узел шелкового галстука, улыбнулся:

— Я знал, что последует этот вопрос. Ответу на него издалека. Когда-то покойный прокурор Азларханов, которого ты старался заполучить к себе юрисконсульту, на твое предложение сказал: «Почему именно я? Нашего брата-юриста кругом полным-полно». На что ты ответил: «Мне не всякий юрист нужен, мне нужны вы...» Помнишь?

Шубарин согласно кивнул головой: конечно, он помнил.

— Да, у партии есть банки, но искусственно созданные, и вряд ли им всерьез удастся выйти на международную арену. А твой банк, еще не открыв дверей, уже притянул к себе внимание делового мира. Вкладчиками банка, как нам известно, уже сегодня готовы стать могучие корпорации, а идея привлечь Германию к поддержке двух миллионов немцев у нас в стране просто гениальна. Вот до этого доверенные люди партии не додумались...

Но главное не в этом. Нужен банк, в который мощным потоком пойдут вклады в конвертируемой валюте, и такой банк необходим на территории нашей страны. Валютные средства партии находятся в основном на счетах в зарубежных банках, и контролируют их подданные других стран. В этом партия видит опасность, особенно в переломное для страны, да и всего мира, время, когда рушатся структуры власти и непонятно, кто чему хозяин. В общем потоке долларов, которые потекут в твой банк, и мы без шума в течение двух-трех лет перевели бы миллиардные суммы. Валютные средства должны быть возвращены на родину, находиться под рукой у партии, без конвертируемой валюты ныне и шага не сделать. Вот почему выбор пал на тебя, вот почему я здесь...

— А если я не соглашусь, чтобы мой банк стал базовым для партийной кассы? — Артур Александрович пристально смотрел на бывшего патрона.

Анвар Абидович сразу сник, сжался, и Шубарин легко представил его в ватнике, стоптанных, не по размеру сапогах. Но гость нашел в себе силы и быстро сформулировал ответ.

— А почему бы тебе не согласиться? Во-первых, какой здесь криминал? Какое тебе дело, откуда взялись деньги, кто заложил их перво-

основу? Это все-таки деньги не наркобизнеса, не мафии. Как хозяин банка ты можешь и не знать, кто их истинный владелец. Во-вторых, оказать партии услугу, даже если она сегодня и не в чести, дело благородное и беспроигрышное. Поясню: зная тебя, я оговорил одно существенное условие — нигде, ни в каких бумагах, не будет упоминаться твоя фамилия. Тебе не придется подписывать никаких обязательств, достаточно твоего слова. А считать, что коммунисты ушли навсегда, опрометчиво, они в шоке, в нокдауне, но скоро оправятся. Нет худа без добра — партия очистила ряды от попутчиков, карьеристов, перевертышей. А как банкир ты сможешь оперировать чужими миллиардами, разве это не удача для финансиста? Деньги будут возвращены в нашу страну навсегда, и тебе дадут на этот счет гарантии...

И, в-третьих: кто не с нами — тот против нас, это придумал не я. Со мной ясно, я поручился за тебя. Я, возможно, никогда не вернусь домой, лишусь каптерки, передач, покровительства уголовников и администрации лагеря, а это равносильно смерти. Что касается тебя... Став причастным к тайнам партии, ты тоже оказался в опасности. В большой игре сантиментов нет... Тебе ли этого не знать...

Они долго сидели молча, думая каждый о своем. Шубарин увидел, как снова сник, сжался Анвар Абидович, и ему стало жаль старого друга, он присел рядом на диван и по-дружески обнял его за плечи.

Все возвращалось на круги своя... Давно, когда он только начал подниматься как предприниматель, и партия, и уголовка не оставляли ни один его шаг без внимания, — следовало кормить и тех, и других.

Все повторялось сначала... Но сегодня за ним был опыт жизни, и всегда, при любых обстоятельствах, он оставался хозяином своего дела. И вдруг он улыбнулся, вспомнив, как однажды записал в дневнике: «Мой удел — постоянный риск. Я ставлю на карту жизнь почти ежедневно, а если точнее — она всегда там и стоит»...

## VII

В тюрьме «Матросская тишина» Сенатор стал видной фигурой, заметной не прежней должностью, а тем, как держался, как вел себя. Вот где сгодились двойственность его натуры: ведь он уже давно вжил-ся в образ просвещенного, демократически настроенного юриста.

В тюрьме свободного времени много, и все разговоры вертелись вокруг политики, власти, Горбачева. Кто он: коммунист или демо-



крат? Сторонник империи или ее могильщик? Об этом задумывался и Сенатор. Куда этот «меченый» ведет страну: к западной демократии или к обновленному социализму? Если к социализму, то методы, выбранные им, — перестройка, гласность, новое мышление — оказались столь чудодейственными, что привели не к обновлению социализма, а к его гибели. Макиавеллист в тактике, Горбачев из-за веры в магию собственной риторики потерял цель — удержание власти. Он плохо знал историю партии, еще хуже — историю становления тоталитарной диктатуры. Дилетант в этом деле, он начал экспериментировать с ее механизмом, с детищем Ленина — Сталина, гениальным для данного режима, и загубил его, не найдя ему адекватной замены. Горбачев часто, к месту и не к месту, цитировал Ленина, наверное, уподобляя себя вождю, но не принял во внимание его главный тезис: «При советской политической системе дать свободу слова и печати — значит покончить жизнь самоубийством». Еще он не учел, что русский народ ненавидит советскую власть за тиранию и нищету, а нерусские народы желают только развала империи с ее унижительной великодержавной политикой русификации. Он стал жертвой свободы, которую сам же дал стране.

Для Сенатора это было столь очевидным, что он уже не вступал в диспуты о прорабе перестройки, отце нового мышления. Странно, но сегодня многие граждане, заурядные журналисты, не говоря уже о политиках, видели дальше Горбачева, чувствовали скорый крах коммунистической партии, за которую генсек держался стойко, несмотря на то, что она была главным противником его реформ. Многие чувствовали, что именно при Горбачеве настал для сепаратистов всех мастей исторический момент, когда любую нацию, так или иначе оказавшуюся в составе Российской империи и двести, и триста лет назад, стало легко подтолкнуть к выходу из нее. Пример стран соцлагеря, в одночасье сбросивших навязанные им режимы, мог вот-вот повториться от Балтики до Тихого океана, от Белого до Черного моря. Но Акрамходжаев, как ни странно, молил Аллаха, чтобы... Горбачев продержался как можно дольше.

Он понимал: приди другая, твердая власть, — а хаос и развал, как правило, приводят на трон жестких и даже жестоких людей, — обитателям «Матросской тишины» рассчитывать на суд, где можно легко отказаться от прежних показаний, давить на судью и свидетелей, уже не удастся, придется отвечать по всей строгости закона. Сенатор даже знал, сколько примерно должен еще продержаться Гор-

бачев, чтобы государство перестало существовать,— примерно год, и в этот срок необходимо вырваться отсюда, чего бы это ни стоило. Хотя существовал еще один выход: этот шанс был связан с обретением независимости бывшими союзными республиками. Тогда суд в России оказался бы неправомочным над гражданами другого государства, и он вместе с ханом Акмалем на белом коне вернулся бы домой, в таком случае он поборолся бы и за президентский пост.

Но Сенатор не был бы Сенатором, если рассчитывал бы только на не зависящие от него обстоятельства, плыл по течению. Он всегда считал себя кузнецом своего счастья и, рассчитывая на развал советской империи благодаря Горбачеву, могильщику социализма, на суверенитет республики, не сидел сложа руки. При первой возможности он дал на волю команду — уничтожить прокурора республики Камалова и Беспалого — Артема Парсегыяна. Парсегыяна следовало ликвидировать любой ценой, каких бы денег и жертв это ни стоило, и он знал, что Миршаб правильно понял его приказ. Вскоре дошли вести, что на Москвича дважды совершали покушение, значит, Миршаб четко следовал его инструкции, правда, удачливым и живучим оказался проклятый прокурор. Как ни строго охранялась «Матросская тишина», сведения к Сухробу Ахмедовичу поступали регулярно. Правда, основную роль тут играли деньги, и немалые. Время шло, Сенатор держался стойко, от всего отпирался, но главный свидетель обвинения оставался жив, и прокурор, хотя и находился в больнице, полномочий с себя не слагал. И Сенатор все чаще и чаще жалел, что нет в Ташкенте Шубарина, уж он наверняка подсказал бы Миршабу, как разрешить проблему, хотя они с Салимом уговорились никогда не впутывать банкира ни в политические, ни в уголовные дела. Но... ведь сейчас вопрос касался собственной жизни!

Сухроб Ахмедович даже поставил себе срок — если в течение месяца он не получит долгожданных вестей из Ташкента, то попросит Миршаба связаться с Артуром Александровичем в Мюнхене, медлить не следовало. В последнее время он был настолько осведомлен о событиях, происходящих в стране, что поражал «постояльцев» «Матросской тишины», особенно земляков. Широкая информированность Сенатора отчасти и была причиной его привилегированного положения за решеткой. Но этим он был обязан только Миршабу.

Хашимов, искавший наиболее короткую связь со своим другом и шефом, придумал гениальный ход. Гласность, которую раньше всеми силами зажимали почти все нынешние высокопоставленные



обитатели «Матросской тишины», обернулась для них несказанным благом: газеты, например, читали любые. Этим и воспользовался Миршаб. Вместе с передачами Сенатору регулярно приносили газеты, в основном из республики, и на русском, и на узбекском языках. Трюк заключался в следующем: в одной из газет на узбекском языке вместо какой-нибудь статьи набиралось все, что адресовалось Сенатору, вплоть до подробных писем из дома и от родни. Первую такую газету Сухроб Ахмедович получил в день рождения и был поражен сказочностью подарка, а еще больше возможностями человеческого ума — действительно, безвыходных ситуаций не бывает, нужно только думать, искать. В камере, где сидел Акрамходжаев, его земляков не было, и на узбекские газеты никто внимания не обращал.

Когда до срока, намеченного Сенатором, чтобы вызвать Шубарина из Мюнхена, оставалось чуть меньше недели, он получил долгожданную весть из Ташкента. Новость умещалась в одну строку в газете «Голос Востока»: «Умер Артем Парсегиан, мир праху его».

Забрезжил реальный шанс на свободу, и Сухроб Ахмедович день и ночь строчил жалобы. Высокооплачиваемые адвокаты, поднатервшие в скандальных и политических процессах, тут же доставляли их по назначению на самые верха, и бумаги немедленно получали ход, ведь Сенатор абы кому и зря деньги не платил, да и дорожка была хорошо проторена в коридорах власти ушлыми людьми. Шли жалобы на прокурора Камалова и в Верховный суд республики на имя Хашимова, и Салим сразу закрутил дома карусель, требуя вернуть всех подсудимых для расследования их дел на месте, в республике.

Неожиданно Сухроб Ахмедович получил поддержку, оказавшуюся решающей в его судьбе.

А выручил... хан Акмаль. Да, именно аксайский Крез, сам находящийся под следствием в подвалах Лубянки уже который год. Опять же под давлением прессы Прокуратура СССР вынуждена была передать часть законченных материалов по Арипову в суд, хотя за ханом Акмалем дел числилось уйма, разбираться годы и годы. У обывателя, читавшего газетные статьи, складывалась мысль: что же это за дело такое, если подследственного без суда держат столько лет? Мысль вроде верная, но вряд ли нормальный человек мог представить себе масштаб навороченного ханом Акмалем. Один перечень предъявленных ему обвинений составлял тома и тома, а свидетелей — тысячи. Такого уголовного дела страна еще не знала, и оттого процесс ожидался скандальный. Могли выплыть такие фамилии, такие факты,

такие суммы, что народ, узнавший за годы перестройки о многом и, казалось, разучившийся удивляться, содрогнулся бы: как такое могло вершиться, пусть даже и в застойное время?

Процесс действительно начался с сенсации, с громкого скандала, когда Акмаль Арипов попытался дать отвод суду, якобы неправомочному судить его, не скрывая при этом желания придать процессу политическую окраску. Подсудимый демонстративно отказался отвечать суду по-русски, хотя то и дело поправлял своих московских и ташкентских адвокатов на блестящем русском языке, затем три дня подряд с утра до вечера зачитывали ту часть обвинения, что была выделена в отдельное уголовное дело. Но переломным оказался четвертый день процесса.

Как только Акмалю Арипову представилась возможность сказать слово, он закатил на русском языке яркую, эмоциональную речь на целый час. Речь имела дальний прицел, и хан Акмаль не промахнулся.

Переполненный зал, судьи, прокурор внимательно слушали тщательно выверенную речь хана Акмаля. Судя по всему, его мало волновала их реакция, ну, может быть, пресса и входила в его планы, но адвокаты еще до начала судебного заседания раздали журналистам текст речи подзащитного, чтобы те в отчетах далеко не уходили от сути излагаемого аксайским Крезом. Речь, артистично зачитываемая подсудимым с мелованных листов финской бумаги, явно предназначалась для других ушей — она была, так сказать, для внешнего пользования. Конечно, бывший дважды Герой Соцтруда ни словом не обмолвился о своих преступлениях, возможно, посчитав их в такой исторический момент пробуждения национального самосознания несущественными, не стоящими внимания. С места в карьер он ринулся осуждать командно-административную систему, великодержавный шовинизм центра, жертвой которого стал.

Разве справедливо, вопрошал он затихший зал, что за последние пять лет в республике второй прокурор, назначенный из Москвы, и разве мог, по его словам, пришлый, ставленник Кремля знать народ, его обычаи, чтобы верно определить, кто есть кто, а не сводить счеты с людьми, желающими Узбекистану счастья и процветания? Особенно зло он честил прокурора республики Камалова, которого Москва отыскала аж в самом Вашингтоне. Намекнув на его связь с КГБ, естественно, как явно порочащую, он обвинил того чуть ли не в геноциде собственного народа.

Но когда хан Акмаль от прокурора Камалова перешел к другому, по его словам, выродку, заведующему отделом административных

органов ЦК партии Сухробу Ахмедовичу Акрамходжаеву, обвинения против прокурора республики показались цветочками. Вот кто, оказывается, являлся в республике истинным дирижером и режиссером геноцида, развязанного против лучших сынов края! Это он подкладывал манкурту Камалову списки все новых и новых жертв. Это под его давлением суды выносили только обвинительные приговоры. Приводились такие дикие примеры произвола, чинимого Сухробом Ахмедовичем, что ставленник Москвы Камалов в сравнении с ним казался мальчиком на побегушках, тупым исполнителем указаний темных сил из ЦК партии.

Заканчивая пламенную речь, хан Акмаль уверил присутствующих, что его родина рано или поздно получит независимость и что первый суд суверенного государства будет над предателем собственного народа, лизоблюдом Москвы — Сухробом Акрамходжаевым и его покровителями и приспешниками.

Конечно, хан Акмаль давно знал, что человек по кличке Сенатор, которому он незадолго до своего ареста передал в Аксае пять миллионов наличными, находится в «Матросской тишине». Но до невероятного трюка с речью на суде додумался все-таки не он, а адвокаты. Таких людей, как хан Акмаль и Сенатор, защищают если не одни и те же люди, то компания одних и тех же юристов, вот они-то и рассчитали выигрышный ход в защиту узника из «Матросской тишины». Не зря говорят в народе: за хорошие деньги всегда найдутся хорошие адвокаты.

## VIII

Полковника Джураева подняли еще затемно. Звонок из дежурной части МВД оказался серьезным — совершенно очередное покушение на прокурора Камалова. Накануне утром, когда он узнал о неожиданной смерти Парсеяна в следственном изоляторе КГБ, чувство розыска подсказало ему, что смерть Беспалого, которого он сам задержал, имеет прямое отношение к прокурору, кто-то продлил или открыл новую лицензию на его отстрел. Он собирался захватить к Камалову, но несколько жестоких убийств и десятков дерзких грабежей в тот день не дали ему возможности даже пообедать. Однако, уходя с работы, он связался с патрульными службами города и велел в эту ночь взять под особый контроль институт травматологии. Он предчувствовал беду. Его наказ даже записали в дежурную книгу, но...

Да что там патрульная служба! Два пистолетных выстрела в ночи не зарегистрировала ни одна дежурная часть милиции, хотя само МВД находится в квартале от места происшествия. Полковник лишний раз убедился, что и милиция работает с каждым днем все хуже и хуже...

Обследовав место происшествия, Джураев пришел к выводу, что человек, оставивший кровавые следы на крыше института травматологии, наверняка имел альпинистскую подготовку,— налицо были явные приметы использования специального снаряжения. И ни точку эту следовало потянуть немедленно: скалолазание — спорт редкий, возможна и удача. Полковник уже не один год требовал ввести в компьютер данные о спортсменах, ставших профессионалами, ибо спортивная среда, по опыту Джураева, давно и повсеместно стала главной и нескудеющей кузницей кадров для преступного мира. Но в ответ ему твердили что-то о демократии, правах человека,— в общем, обычная демагогия. Сейчас такие данные могли бы стать неопенимыми: ситуацию можно было прояснить в считанные минуты, если, конечно, киллер из местных. В том, что наемника уже нет в живых, полковник не сомневался. Операция была тщательно продуманной и в ней задействованы профессионалы,— на эту мысль наводил и плакат, намеренно забытый на месте преступления, чтобы навести на турок-месхетинцев. Джураев, как и прокурор Камалов, сразу отмел версию о мести со стороны турок, хотя оценил изощренность мотива. Он постарался, чтобы сведения об этом не попали в печать, ибо могли вызвать новую волну насилия.

Переговорив с Камаловым, полковник встретился с профессором Шавариным, лечащим врачом прокурора, вместе они отыскали безопасную палату на другом этаже, подходы к которой хорошо проглядывались. Появился рядом и медицинский пост с телефоном. «Медбрата» на это место выделил Джураев, теперь стало ясно, что прокурора без охраны оставлять нельзя, следующий «визит» мог состояться и днем.

«Обложили человека»,— думал Джураев, направляя служебную машину, которую водил сам, в сторону городского управления милиции. И ему вспомнился другой прокурор, Азларханов,— тот тоже боролся с преступностью без оглядки, невзирая на чины и звания, не на жизнь, а на смерть, как оказалось. Запоздало полковник узнал, что преступный мир однажды поставил Азларханова на колени из-за его, Джураева, жизни, точнее, двух, включая жизнь молодого парня Азата Худайкулова, отбывавшего срок за убийцу из знатного



и влиятельного в крае рода Бекходжаевых. В обмен у него вырвали обещание не настаивать на пересмотре дела об убийстве жены.

Джураев всегда ощущал в душе какую-то смутную вину оттого, что не уберег ни того, ни этого прокурора, ибо они были дороги ему, потому что, как и он сам, служили закону.

Въехав на стоянку перед городским управлением милиции, он припарковал машину на единственном свободном месте, рядом с «вольво» вишневого цвета. Об этом роскошном перламутрового оттенка лимузине много говорили в столице, и полковник знал, кому он принадлежит. Но, увидев на стоянке серебристый «порше», «мерседес» и патрульный вариант джипа «ниссан», которых так не хватает милиции, Джураев мысленно взорвался: «Шакалы! Уже не стесняются на работу приезжать на машинах стоимостью до миллиона при окладе в триста рублей». Такую же картину можно было наблюдать и перед зданиями районных прокуратур, и любого исполкома, банка, — везде, где требовалось решение какого-либо вопроса...

Первый этаж помпезного здания, облицованного газганским мрамором, занимал ОБХСС, и взвинченный Джураев, заметив на одной из дверей табличку «Кудратов В. Я.», решительно дернул ручку на себя: может, этот блатной майор, отиравшийся возле сильных мира сего, мог прояснить ситуацию, в розыске ведь любое «а вдруг» имеет свое значение.

Хозяин кабинета, увидев полковника, сорвался с места, и лицо его засветилось льстивой улыбкой. На Востоке уважают силу, а Джураев олицетворял именно ее, — у многих облеченных властью людей его фамилия вызывала зубовой скрежет. О его храбрости, неподкупности ходили легенды, редкий случай, когда человек из органов пользовался авторитетом и в уголовном мире, и среди своего брата милиционера. Кудратов кинулся к полковнику не только по этим причинам, он помнил, что, не подоспей вовремя Джураев со своими ребятами, вряд ли он остался бы жив, когда на его дом «наехали» рэкетеры.

— Везучий ты человек, — начал с порога полковник, — зашел тебя поздравить, твои обидчики уже оба на том свете...

Видя удивление на лице обэхаэсника, пояснил:

— Ну, Варлама ты пристрелил сам, а Парсегян вчера умер в следственном изоляторе КГБ...

— Как умер? — тревожно переспросил Кудратов, и полковник сразу понял, что он действительно не знал о смерти Беспалого.

— Я вижу, ты не рад? — безжалостно добавил Джураев.

— Я не знаю ничего о смерти Парсегыяна, клянусь вам! — взмолился майор.

— Хорошо, поверил. Но если что узнаешь, позвони, чтобы я не думал, что его смерть выгодна тебе.— И задал еще один вопрос: — Скажи, откуда у тебя нашлось двести двадцать пять тысяч на машину? О стоимости мне Парсегян на допросе сказал...

— Тесть дал,— ответил, не моргнув глазом, Кудратов,— вы, наверное, его знали?

Но намек на некогда высокое положение тестя полковник не оставил без едкого комментария, злость от бессилия сегодня особенно душила Джураева.

— Знал я твоего тестя. Видел на него дело в прокуратуре, большой жулик был...— И уже у самой двери почему-то добавил: — А я своему тестю, участнику войны, когда женился, целый год копил на инвалидную коляску...

Из управления он выехал куда более взвинченным, чем приехал. Рация, включенная в машине, сообщала о происшествии за происшествием, дежурные читали их монотонно, буднично. Еще года три назад каждое второе из нынешних привычных преступлений становилось ЧП, и меры принимались на самом высоком уровне. Поистине, все познается в сравнении.

Энергия и злость, клокотавшие в нем, искали выхода. Он чувствовал: сегодня, после неудачной ночной попытки покушения на прокурора Камалова, где-то, возможно, в эти самые минуты обсуждают следующий план, и новый наемный убийца в небрежно накинутом на плечи белом гостевом халате вскоре пойдет отыскивать палату Москвича. Вдруг, нарушив правила движения, он развернул машину посреди улицы и рванул назад. Вспомнил, что в одном из уважаемых районов частных домов живет Талиб — вор в законе, получивший это звание не так давно, в перестройку. Полковник знал его еще юнцом, мелким карманным воришкой и неудачным картежным шулером, вечно бегавшим от долгов. Но то было давно, и не в Ташкенте, Джураев носил в ту пору еще погоны капитана, но уже тогда заставил местных уголовников считаться с собою.

Теперь Талиб ездил на белом «мерседесе», жил в двухэтажном особняке, на двадцати пяти сотках ухоженной земли с роскошным садом. Дом этот он купил у вдовы известного художника, и в нем некогда собирался цвет узбекской интеллигенции,— хозяин, имевший



всемирную славу, слыл человеком щедрым, хлебосольным. Теперь у Талиба собирались другие люди...

Джураев, занимавшийся в милиции самым опасным делом — розыском и задержанием преступников, конечно, хорошо знал уголовный мир, ведал о его нынешней силе и власти, не говоря уже о финансовых возможностях. Имел информацию из надежных источников, из первых рук, что стратеги и идеологи преступного мира мгновенно реагируют на любое ослабление власти, и свои «указы» и «законы» издадут куда оперативнее, чем издыхающая власть, не говоря уже о том, что их приказы обсуждению не подлежат, а тотчас же претворяются в жизнь.

Конечно, зная, какой властью ныне обладает Талиб, не следовало ехать к нему без страховки, без конкретной зацепки, серьезного повода хотя бы для затравки. Талиба, как, впрочем, и любого его собрата подобного ранга, нынче практически невозможно ни за что арестовать, даже если и знаешь, что они стоят за каждым преступлением в городе. Сами они ничего не делают, да и никто никогда не даст против них показаний. Но сегодня Джураева не могли удержать никакие аргументы — душа требовала действия. Талиб мог знать, кто и зачем неотступно охотится за прокурором Камаловым.

Он подъехал к глухому дувалу с высокими воротами из тяжелого бруса, обитого внизу листовым железом, и поставил машину рядом с новенькой «девяткой» цвета «мокрый асфальт», особенно почитаемой среди «крутых» ребят Ташкента. Ворота оказались заперты, но Джураев не стал стучать, он хотел появиться неожиданно, чтобы хозяин «девятки» не успел скрыться в соседней комнате: профессиональный интерес брал свое.

Отмычкой он легко открыл дверь, вошел во двор и сразу увидел, как в окне сторожки у входа метнулся от телевизора охранник. Джураев опередил его, оказался на пороге первым:

— Встань в угол, ноги на ширину плеч, руки за спину, — приказал он, доставая наручники. Тот попытался потянуться к матрасу на железной кровати, но тут же после удара жесткими наручниками отлетел в угол, сметая со стола посуду. Джураев достал из-под матраса нож и, забирая его с собой, сказал: — Об этом поговорим попозже. Шуметь не советую, — и, шелкнув наручниками, подпер дверь снаружи доской.

Оглядев двор, прислушавшись, он быстро пошел к дому. По громкому смеху, доносившемуся со второго этажа, он вычислил

комнату, где Талиб принимал хозяина «девятки», и поднялся наверх. Талиб и гость резались в нарды,— играли азартно, по-крупному, и оттого не сразу заметили появившегося Джураева. Конечно, полковник мысленно высчитывал, кто же мог быть у Талиба, но теперь он понял, что ошибся бы, даже назвав сотню людей: с хозяином дома играл один из самых известных адвокатов города. Доходили до Джураева слухи, что тот давно состоит главным консультантом у ташкентской мафии, но как-то не верилось: кандидат наук, коммунист, уважаемый человек...

И вдруг вся копившаяся ярость Джураева прорвалась, он жестко, как при задержании, схватил адвоката за волосы и резко развернул голову к себе.

— Вот вы с кем, оказывается, водите компанию, уважаемый председатель коллегии адвокатов! Вчера мои ребята взяли в «Вернисаже» Вагана, мы за ним давно охотились. У него с собой был пистолет, а в кармане собственноручное заявление каракулями, что он нашел его час назад и несет в отделение милиции. Теперь понятно, почему так поумнел тугодум Ваган, вы ведь с ним старые знакомые... Вон отсюда, мерзавец, пока цел!

И, как ни странно, вальяжный адвокат, доводивший в судах до инфаркта судей, прокуроров, заседателей и потерпевших своей наглостью, схватил стоявший рядом дипломат и бегом скатился с лестницы. Со страху он, видимо, решил, что Ваган «сдал» его: идея, как и многие другие, ставившие следствие в тупик, действительно принадлежала ему. Оказывается, ярость и несдержанность тоже имеют свои преимущества, успел подумать Джураев. Талиб, уже пришедший в себя, нервно поглаживая холеные усики, зло процедил:

— Нехорошо врывать в чужой дом, оскорблять уважаемых в городе людей. Кончился ваш ментовский беспредел — перестройка, демократия в стране.

— Да, Талиб, ты прав, ваша берет, воровской беспредел наступает, но народ до конца не осознает, что это значит для него. Верно, что у твоих ног валяются нынче и депутаты, и министры, ибо они твои депутаты, твои министры. Но со мной тебе и твоим друзьям придется считаться, законы отменить твои дружки пока не решились, хотя и кроют их уже в угоду себе...

— Что вам от меня нужно? Вы ведь знаете, я теперь вам не по зубам,— перебил Талиб, чувствуя, как взвинчен полковник.



— Скажи, кому нужна смерть прокурора Камалова, кто охотится за ним?

— Откуда я могу знать? — теряя интерес к разговору, ехидно улыбнулся Талиб, и его постоянно срывающиеся в бег глаза вдруг застыли.

— Ты знаешь, я редко обращаюсь к вашему брату за помощью и дважды прошу редко, поэтому подумай, чтобы не пожалеть потом.

Джураев, повернувшись спиной к хозяину, направился к двери.

— Ты, наверное, забыл, к кому пришел. А вдруг не выйдешь из ворот этого дома?.. — сказал вкрадчиво Талиб.

Полковник услышал слабый щелчок хорошо смазанного выкидного ножа и в ту же секунду, несмотря на свою грузность, ловко, словно в пируэте, развернулся, — в руке у него поблескивал ствол.

— Брось сюда нож! — скомандовал гость. — Время вскружило тебе голову, а зря. С этой минуты можешь считать, что жизнь твоя не стоит и копейки! — и, подняв брошенную финку, двинулся к лестнице.

— Что ты можешь мне сделать, мент поганый? Да у меня друзья — лучшие адвокаты города, и повыше кенты есть! — закричал истерично Талиб. — Вот тебе сегодняшний день не пройдет даром, это точно...

Джураев молча спускался по крутой лестнице, а Талиб следом кричал в истерике:

— Ничего ты не можешь! Нет у вас власти, на понт берешь... Просить прощения еще у меня будешь, у ног валяться...

Полковник вдруг резко развернулся и, в два шага одолев расстояние, разделявшее их, схватил Талиба за грудки:

— Заткнись, падла, отныне ты приговорен. Забыл, как восемь лет назад ты сдал мне Фаруха и он получил на всю катушку? Сегодня Фарух тебе не чета, хотя и ты не последний человек в городе. Такое никогда не прощается. Предательству нет срока давности, кажется, так гласит одна из главных воровских заповедей? — Он повернулся и не спеша двинулся к дверям.

У самого порога его достал голос Талиба:

— Пойдите! Мы оба погорячились. Я не знал, что этот прокурор ваш друг. Но мы не имеем к нему отношения, дело, похоже, пахнет политикой, борьбой за власть...

— Кто? — обернувшись, жестко спросил Джураев.

— Миршаб... — тихо прошептал хозяин дома.

## IX

В новой палате кровать прокурора расположили иначе,— Камалов видел входную дверь, хотя догадался, что полковник Джураев распорядился насчет охраны. Прошло три недели после ночного покушения. Прокурор почти каждый день настаивал, чтобы его выписали, события требовали контроля, он чувствовал, как теряет время... И вот как будто забрезжила надежда: медсестра проговорила, что через неделю его выпишут с оформлением инвалидности.

Время в больнице он все-таки зря не терял: тут за долгие часы бессонницы пришло в голову немало идей, обозначились неожиданные ходы. Вынужденная праздность позволила ему тщательно проанализировать, вариант за вариантом, действия каждого, кто попал в орбиту его внимания. Он не знал, что предпринимает в тюрьме Акрамходжаев, наверняка получивший известие о смерти Парсеяна, но знал о реакции хана Акмаля,— Камалову тотчас передали из Москвы стенограмму его речи на суде. Значит, Акмалю Арипову было известно о смерти Беспалого, и ход он придумал гениальный. Теперь освобождение Сенатора — лишь вопрос времени, такого шанса Акрамходжаев не упустит. Адвокаты, наверное, день и ночь снуют между Москвой и Ташкентом. Оставалось загадкой, существовала ли регулярная связь в Москве между Сенатором и ханом Акмалем. Хотя прокурор знал, что содержатся они раздельно, но смерть Парсеяна и неожиданное выступление на суде Арипова подтверждали, что ныне гарантий не даст даже всесильный КГБ. Показания Беспалого теперь ничего не значили для суда, да и дело Сенатора вряд ли дойдет до него, теперь все стали осторожными, пуще прежнего держат нос по ветру, выжидают, чья возьмет, хотя в республиках уже ясно, кто пришел к власти.

«Как ловко хан Акмаль отмежевал меня от других ответственных лиц в республике,— не без восхищения думал Камалов.— Ставленник Москвы, манкурт, не помнящий родства, человек, виновный в геноциде против лучших сынов республики... Лихо! Этим как бы дается команда другим: вам всем грядет прощение, а этого отдадите на заклятие. Силен хан Акмаль, даже из тюрьмы определяет политику на завтра!» Но выступление хана Акмаля на суде только внесло ясность в какие-то рассуждения Камалова. Иного от Арипова он и не ожидал, не тот человек. А угрозами его не удивишь, привык, такая работа, он сам выбрал опасный путь,— вот этого хану Акмалю



никогда не понять, трагедия его в том, что он свято убежден: все продается и покупается. Он покупал всегда и везде, оптом и в розницу, и никогда не знал осечки. Да и ситуация сложилась в его пользу: любое уголовное преступление сегодня можно оправдать, переведя его в национальную плоскость, придав ему политическую окраску. Но то, что не все продается и не все покупается, хан Акмаль, как ни крути, испытал на своей шкуре — оказался в тюрьме, хотя наверняка был уверен, что люди его круга, его связей — неподсудны. Камалов понимал, что, открывая дорогу на волю Сенатору, хан Акмаль думал прежде всего о себе. «Долг платежом красен» — пословица русская, но она на Востоке в особой чести — словно одна из главных заповедей Корана. Вот почему прокурор торопился покинуть стены института травматологии.

Подгонял его и еще один повод — близился срок возвращения из Германии Шубарина, к которому он долгие месяцы искал подходы и, кажется, нашел. Даже беглое знакомство с трудами убитого прокурора Азларханова, особенно последних лет, когда тот неоднократно обращался в Прокуратуру республики и Верховный Совет с обстоятельными докладными, и сравнение их с докторской диссертацией Сенатора не оставляло сомнений в идентичности работ. В свободное от процедур время Камалов сделал тщательный сравнительный анализ работ. В докладных Азларханова встречались целые абзацы, разделы, слово в слово повторявшиеся в диссертации Сенатора. Нашел он и черновик одной из статей, возможно, тоже предназначавшейся Азлархановым для печати, но появившейся позже, в первые годы перестройки, уже за подписью Сухроба Ахмедовича, и вызвавшей в республике небывалый резонанс. Тут, как говорится, он схватил Сенатора за руку — не отпереться. Оставалось загадкой, как попали научные труды опального прокурора к Сенатору? Не мог же Шубарин сам передать их Сухробу Ахмедовичу.

Можно сказать, что время в больнице Камалов зря не терял, одна разгадка тайны взлета Сенатора чего стоила. Конечно, он не ожидал от встречи с Шубариным чуда, ответа на все вопросы, просто интуитивно чувствовал, что многое крутится вокруг Японца. Новое время давало Шубарину шанс достойной жизни, реализации собственных возможностей, ведь он уже в 1986 году объявил в финансовых органах о личном миллионе, и никто к нему претензий не имел. А идею коммерческого банка поддержали на правительственном уровне, горисполком сдал ему в аренду на девяносто девять лет старинный особняк в центре

столицы, в нем сейчас спешно вели реставрационные работы. А ведь при возврате к прошлому о каком официальном личном миллионе, частном банке могла идти речь? Уж об этом Шубарин, наверное, догадывался. Вот почему в нем надо искать союзника. Во всяком случае, следовало изолировать его от Миршаба и от Сенатора, который, возможно, даже раньше Японца окажется в Ташкенте,— такое единство представляло силу, темную, страшную силу, способную на многое...

Мысли о Шубарине не давали покоя Камалову, и он на всякий случай решил по своим старым связям с Интерполом получить кое-какие данные о жизни Японца в Мюнхене: как проводит свободное время, с кем общается, кто навещался к нему. Он допускал, что такой неординарный человек мог попасть в поле зрения местных органов правопорядка, немцы — народ аккуратный. На особый успех он, конечно, не рассчитывал, просто у него сложилась привычка работать тщательно, основательно, тем более, если позволяло время. Да и Шубарин сам по себе стоит того, чтобы знать о нем как можно больше.

Ответ из Мюнхена пришел в день выписки Камалова из больницы, и по тому, как начальник отдела по борьбе с организованной преступностью, приехавший за ним, передал тоненькую папку еще в машине, не дожидаясь, пока они доедут до прокуратуры, Камалов почувствовал важность сообщения. Так оно и было. В документах, пришедших по каналам Интерпола, отмечалось, что Шубарин в Мюнхене вел активный образ жизни: учеба, встречи с деловыми людьми, визиты, приемы в престижных клубах, театр, бассейн, корты... Частые выезды на уикенд в Австрию, Голландию, Швейцарию, Италию... Интерес представлял и список людей из разных стран, посещавших Шубарина в Германии. Камалов догадался, что почти все они — наши бывшие граждане, с которыми Японец раньше имел дела. Но в длинном списке встретились две фамилии, видимо, и заставившие полковника поскорее ознакомить прокурора с ответом Интерпола. Для людей несведущих эти фамилии не говорили ничего, но для Камалова...

Фамилии находились рядом, в самом конце: Анвар Абидович Тилляходжаев и Талиб Султанов. Прилагались и фотографии.

Камалов долго всматривался в снимок мужчины со знакомой фамилией в модном мешковатом костюме, с холеными усиками. В кабинете он достал альбом — многие, наверное, хотели бы заглянуть в него — и отыскал похожий снимок. Подпись гласила: Талиб Султанов, 1953 года рождения, дважды судим, вор в законе.



— Что нужно уголовнику Талибу от будущего банкира? И как оказался в Мюнхене Анвар Абидович Тилляходжаев, находящийся в заключении на Урале? — спросил прокурор у чекиста, но тот в ответ лишь пожал плечами.

## Х

Татьяна Георгиевна, Танечка Шилова, поступала в Ташкентский университет на юридический факультет три года подряд, а в год окончания школы сделала еще и попытку стать студенткой МГИМО в Москве. Она не была избалованным и бездарным ребенком, который рвется в престижный вуз. Таню воспитывала мать-одиночка, работавшая уборщицей на местном авиационном заводе, правда, на две ставки, поскольку поставила перед собой цель дать дочери высшее образование. Школу Таня окончила без золотой медали, хотя медалистки ее класса понимали, что им до Шиловой далеко. Но жизнь есть жизнь: родители, их положение, учителя, родительский комитет, — все здесь играло свою роль, да и мать Танечки отличалась строптивым, сильным характером, а кто у нас любит людей с норовом, да еще не имеющих кресла? А тут и вовсе — уборщица. Но Таня особенно не переживала, верила в свои силы. Она была комсоргом школы, и как человек активной жизненной позиции избиралась и делегатом на съезды, и в горкоме комсомола представляла учащуюся молодежь. Удалась Танечка и ростом, и фигурой, и характером, и внешностью... Мать ее где-то вычитала, что есть в Москве Институт международных отношений, где готовят дипломатов и прочих людей для государственной службы. Смекнула, что туда, наверное, умные дети требуются, и, по ее мнению, Таня туда как раз подходила — грамот всяких в шкафу уйма скопилась. В стране было немало людей, безоговорочно веривших официальной пропаганде: в «планов громадье», в то, что «молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет», в «светлое будущее коммунизма», в «общество равных возможностей», в «самое справедливое на земле общество», короче, «я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» и тому подобное. Мать Танина, да и она сама принадлежали именно к таким.

В школе учили английский, и хотя Таня вполне успевала, мать подыскала ей репетитора, преподавательницу института иностранных языков. Ходили к ней вдвоем. Пока Таня шлифовала трудное произношение, мать занималась хозяйством: стирала, прибирала,

гладила, белила, красила — в богатом доме дел всегда невпроворот. К выпускному балу Таня знала английский, по словам преподавательницы, не хуже ее студенток, окончивших институт. Бойко говорила она и по-узбекски.

Как только Татьяна получила аттестат, мать побежала в дирекцию, — каждую неделю в Москву летал служебный самолет, в особо важных случаях разрешали воспользоваться бесплатным рейсом и рядовым рабочим, не отказали и ей. Вернулась она тем же самолетом на другой день. Оказалось, что в МГИМО, как в обычные институты, документы не брали. Нужно было иметь специальное направление из республики, требовалась куча других бумажек, вплоть до рекомендации ЦК комсомола. Приуныли мать и дочь всерьез. Но выручила, как ни странно, вера в общество равных возможностей, в социальную справедливость — они ринулись сломя голову на штурм казенных кабинетов. Добыли они направление — эта эпопея сама достойна романа, и только за муки, героизм Танечку следовало зачислить в престижный вуз. Через месяц, опять же заводским самолетом, счастливая Таня Шилова улетела в Москву, где в рабочем общежитии дали ей комнатку на время экзаменов. По этому случаю в столицу из Ташкента звонил сам директор авиапредприятия — удивительный по нынешним временам поступок.

То были годы семимильных шагов к коммунизму, эра Брежнева, эпоха застоя, как говорят нынче историки. В МГИМО учился внук самого Леонида Ильича...

Уже на первом экзамене Таня поняла, что тут учатся не простые люди. Ее общежитие находилось в пригороде Москвы, в Монино, и, чтобы не опоздать, она выезжала семичасовой электричкой. Когда же стали съезжаться абитуриенты, ей показалось, что все до одного они приехали на черных правительственных «чайках» или в роскошных иностранных машинах, каждого сопровождала целая свита дедушек, бабушек, дядюшек, важных и вальяжных родителей, еще каких-то шустрых молодцов, то и дело бегавших в здание, хотя доступ туда официально был запрещен. Среди сопровождающих Таня узнавала людей, чьи фотографии печатались в газетах, а лица мелькали на экране телевизора. Ее, стоявшую в сторонке, с бумажной папкой в руках, в жарком кримпленовом платье, вряд ли кто принимал за абитуриентку, у нее одной швейцар потребовал документы и заметно удивился, увидев в руках экзаменационный лист.

В тот день писали сочинение, и Татьяна видела, как слева и справа от нее, особенно не таясь, списывали будущие светила диплома-



тии. Чувствовалось, тему почти все знали заранее, готовые работы были под рукой. Около Тани с подозрением прохаживалась разодетая преподавательница, но девушка, увлеченная работой, не замечала ее. Первый экзамен она сдала на пятерку. И второй, и третий... Ее заметили и с недоумением поглядывали — откуда такая взялась, не маскарад ли, не ловкий ли розыгрыш — голубое платье, скромные босоножки?..

После каждого экзамена Татьяна отбивала короткую телеграмму в Ташкент с единственным словом «пять», понимая, как переживает дома мать. Перед последним экзаменом — историей — она чувствовала себя уже победительницей, предмет этот она не только знала, но и любила, и даты ее не пугали, памятью она обладала феноменальной.

По спискам поступающих, вывешенным в холле, она, конечно, узнала, кто есть кто. И, воспитанная на вере в справедливость, думала: а меня должны принять не только за пятерки, но и социальное происхождение, будет, мол, чем козырять деканату — в таком вузе дочь уборщицы учится.

Возможно, мог случиться и такой расклад. Но к последнему экзамену число соискателей студенческих билетов оказалось гораздо больше вакантных мест. На экзамене она отвечала первой, даже особенно не готовилась, билет, на ее взгляд, попался удачный. Когда она заканчивала, в аудиторию уверенно вошел средних лет мужчина, член приемной комиссии, и, спросив у экзаменаторов разрешения присутствовать, стал внимательно слушать. Когда Татьяна закончила отвечать, вошедший задал ей один дополнительный вопрос. Таня ответила на него менее уверенно, чем на билет, за что и получила оценку «удовлетворительно». Тут-то она и поняла, что ушлые дяди ловко подставили ей подножку.

В ближайшем скверике она дала волю слезам, в голову лезли всякие дурные мысли — ей было стыдно возвращаться в Ташкент. Как показаться на глаза матери, соседям, подружкам, ведь в нее все так верили. Но выручил какой-то парень, он, видимо, сразу догадался, в чем дело, протянув конфетку, участливо спросил:

— Что, двойку получила?

И, узнав обо всем, вдруг весело сказал:

— Хочешь анекдот про экзамен, очень похожий на твой случай.— И, не дожидаясь ответа, затараторил: — Экзаменатор спрашивает: «Скажите, пожалуйста, сколько советских людей погибло в Великой Отечественной войне?» Абитуриент уверенно отвечает:

«Двадцать миллионов...» Тогда профессор, сверкнув очками, потребовал: «Назовите всех поименно...»

Татьяна от неожиданности расхохоталась, черные думы отлетели с души, а с глаз словно спала пелена...

Вот тогда она твердо решила стать юристом, чтобы каждый мог рассчитывать не только на свои силы и возможности, но и на закон. Она, по сути провинциалка, впервые попавшая в Москву, вчерашняя школьница, сразу ощутила, какое огромное преимущество имеет перед ней каждый москвич, вступающий в жизнь. За эти дни пребывания в Москве она узнала, что в столице есть более десяти крупных институтов, не имеющих общежитий, в том числе и МГИМО,— значит, это только для москвичей. Да и остальные институты в основном ориентировались на местных. А если прикинуть перспективу? Кто мог работать в тысячах солидных организаций и министерств союзного значения, решавших вопросы жизни всей страны от Балтики до Тихого океана, судьбу таджика на Памире или чукчи на Крайнем Севере? Опять же москвичи, ибо прописка, полученная при рождении, открывала путь в эти организации, прописка, а не ум, давала им ход, и они решали все и за грузина, и за узбека, и за татарина...

В каждом народе живет инстинкт самосохранения, он следит за обновлением крови, боится кровосмешения, а тут фактически оно из года в год сознательно, законодательно поощрялось. На какой же результат в таком случае можно было рассчитывать? На деградацию, вырождение и только. В том же МГИМО она не раз слышала, как некоторые абитуриенты с гордостью, с осознанием какого-то личного, унаследованного права говорили: это, мол, наш семейный вуз, его окончили отец, дядя, мама, брат, сестра...

Юности свойствен максимализм, и Татьяна верила, что когда она станет юристом... Но чтобы стать юристом, нужно было сначала окончить университет. Вернувшись в Ташкент, Таня поступила на работу на тот же авиазавод, инструментальщицей в мамин цех. Умные люди посоветовали обзавестись на всякий случай стажем, лучше — рабочим.

Юридический факультет, как поняла Таня Шилова после первого провала дома, в республиках Средней Азии и Кавказа был чем-то вроде МГИМО для москвичей. Нет, здесь не привозили своих чад в «чайках» и «мерседесах», тут все решалось тихо, через посредников, за глухими дувалами и закрытыми дверями, без внешней мишуры и ажиотажа — на Востоке свои правила и традиции. В первый раз она



не прошла мандатную комиссию: сказали, не хватает производственного стажа... Во второй — объяснили, что в этом году наплыв золотых медалистов, воинов-интернационалистов и вообще отслуживших армию, в общем, вполне убедительно. Но опять же, как и в МГИМО, ее заметили, даже записали в какой-то резерв, обещали вызвать, но так и не позвонили...

Возможно, со своими знаниями и упрямством она одолела бы, наконец, приемную комиссию, но тут ей просто повезло.

В день первого экзамена она встретила в вестибюле одного из секретарей ЦК комсомола, знавшего ее еще по школе, он же некогда подписывал ей рекомендацию в МГИМО. Услышав ее историю, тот сделал какую-то запись в блокноте и, прощаясь, сказал, что этот год для нее непременно будет удачным. Так оно и вышло. Набрала она максимум баллов и, как отличница, с первого курса до самого окончания института получала специальную стипендию.

Студенческие годы Татьяны пришлись на период перестройки. Наверное, ни в одном ташкентском вузе перестройку не приняли в штыки так, как здесь. Родители многих студентов привлекались к уголовной ответственности за взятки, приписки, злоупотребления служебным положением, казнокрадство. Одни пытались скрыть этот факт, и порою это удавалось, но большинство громких дел получало широкую огласку в прессе и становилось достоянием всех.

Конечно, на этом факультете узнали о переменах и в МВД республики, и в Верховном суде, и в Министерстве юстиции, и особенно в Прокуратуре, ибо многих поступающих на юридический привлекает работа именно прокурора. Кто из молодых в юности не желает выступить в роли обличителя! Таню и ее товарищей интересовали пути к правовому государству, они с упоением читали проблемные статьи на эти темы, публиковавшиеся чуть ли не еженедельно. Конечно, они обсуждали и знаменитые статьи Сухроба Ахмедовича Акрамходжаева, ведь его выступления в местной печати касались и проблем республики, и подготовки юристов.

Студенты, как и все общество, раскололись по своим убеждениям, принципам, симпатиям, молодежь металась, не находя себе места, запутавшись среди огромного количества новоявленных пророков и оракулов. Рушились учебные программы, устаревали законы и установки, но Татьяна была убеждена, что ее выпуск оказался как никогда сильным. Они — первое поколение студентов в республике, ощутивших огромную ответственность юристов перед обще-

ством,— понимали, что перестройка с ее четкой направленностью к правовому государству возлагает на них большие надежды: ведь всему требовалось юридическое обеспечение, все должно было теперь определяться законом, а не приказом райкома партии. Оттого они внимательно следили за успехами и неудачами реформ в республике. Но скоро стало ясно, что перестройка, так и не развернувшись в полную силу, задыхается, умирает...

В конце восьмидесятых годов, когда один за другим стали досрочно освобождаться из мест заключения казнокрады, чьи судебные процессы еще недавно вызывали такую шумную реакцию и одобрение общества, поняла и Татьяна, что реформам, переменам, ожиданиям приходит конец. Вчерашние герои скандальных газетных статей и телерепортажей, заснятые на фоне награбленного и наворованного в немыслимых количествах, не только возвращались, но и шумно требовали вернуть им прежние хлебные места. И все это на фоне поникшего, безмолвного, безголосого большинства, поверившего было, что перестройка — единственный шанс на лучшую долю. Выходило, что лучшая доля вновь возвращалась к тем, кто ее имел прежде. Изменились и настроения студенчества: теперь уже откровенно козыряли родителями, пострадавшими от нового курса партии, все это преподносилось как произвол Москвы над республикой, над ее лучшими сыновьями, цветом нации, желавшим краю счастья, процветания, самостоятельности, суверенности.

Вновь произошли крупные кадровые перемены во всех правоохранительных органах Узбекистана, и вся эта чехарда со сменой кресел пристрастно обсуждалась в институтских коридорах.

В это переломное время Шилова впервые услышала фамилию прокурора Камалова. По-разному к нему относились и студенты, и преподаватели, особенно после ареста всесильного хана Акмаля из Аксая, друга Рашидова. Одни говорили с уважением и восторгом, сознавая, на кого он замахнулся, другие отреагировали по-иному — ставленник Москвы, предатель своего народа...

Конечно, пора студенчества — время взросления, но время учебы Татьяны, совпавшее с перестройкой, ускорило этот процесс многократно, а главное, он отличался иным качеством, важным оказывались принципиальность, собственное убеждение, без чего невозможно состояться юристу. Если раньше гражданская позиция формировалась в человеке все-таки позже, в ходе работы, то в нынешний период она складывалась уже в университетских стенах. Трудно было отсидеться



за чужим мнением, лавировать — все равно наступал день, когда следовало определиться: вечные нейтралы оставались не у дел, вызывали презрение и «правых», и «левых». По отношению к происходящему, к тем или иным людям Таня, будущий юрист, догадывалась, кто ей близок и кому она подходит как специалист. Своим героем, задолго до личного знакомства, Шилова в душе называла Камалова. Когда перед дипломной практикой ей как лучшей студентке курса предложили место на выбор, она, конечно же, выбрала прокуратуру республики. Ей хотелось поработать рядом с человеком, чьи взгляды она разделяла, а действия одобряла. Позже Татьяна назвала этот выбор судьбой...

Практику она проходила в следственном отделе, на первом этаже прокуратуры, а кабинет Камалова располагался на четвертом, и она сожалела, что не имеет возможности видеть его. Работой ее завалили сразу, — в следственном дел всегда непочатый край. Таня приходила на работу на час раньше, минут на десять опережая Камалова, и сразу бежала к окну, боялась пропустить его приезд. Когда она увидела его в первый раз, он показался ей гораздо моложе своих лет — несмотря на раннюю седину, подтянутый, быстрый; решительность, независимость чувствовались в каждом движении, шаге. Одевался он с небрежной элегантностью, и во всем его облике, манерах чувствовался «человек не отсюда». Позже, узнав, что большую часть жизни он прожил в Москве и Вашингтоне, и даже год с небольшим в Париже, Таня порадовалась своей проницательности.

За всю практику они ни разу так и не столкнулись лицом к лицу. Он, конечно, даже не догадывался о существовании практикантки, своей единомышленницы, всегда желавшей ему удачи. И неожиданное приглашение в знаменитый ресторан «Лидо», куда она пошла с одним из молодых сотрудников прокуратуры, и тот разговор, невольным свидетелем которого она там стала, хотя говорили по-узбекски, — собеседники наверняка не догадывались, что Татьяна владеет этим языком, — теперь трудно было назвать случаем.

Из беседы, состоявшей из недомолвок, недоговоренностей, где часто упоминался некто, зашифрованный под именем Москвич, Татьяна поняла, что из прокуратуры утекает какая-то информация, служебные тайны, она ощущала это сердцем, ибо уже отдавала себе отчет, где работает. Ныне тот поход в ресторан она считала не случайным, а чем-то predeterminedным свыше, чтобы как-то уберечь, обезопасить человека, к которому испытывала уважение и симпатию.

В тот вечер в ресторане она не придавала особого значения тайному разговору, невольной свидетельницей которого оказалась, но стала остерегаться человека, пытавшегося за ней ухаживать. А когда во время ферганских событий, связанных с турками-месхетинцами, она узнала из газет о покушении на Камалова на трассе Коканд — Ленинабад, тот давний разговор, который она не забыла, вызвал у нее смутную тревогу. Через несколько дней, когда произошло новое покушение, уже в Ташкенте, где погибли жена и сын прокурора, Татьяна поняла, наконец, что в разговоре речь шла о Камалове...

Недели три не решалась она пойти в больницу и рассказать о своих подозрениях Камалову, словно чувствовала, что с этим шагом круто изменится ее жизнь. О ценности своего сообщения она догадалась сразу, предатель в прокуратуре и был главным недостающим звеном в расследовании прокурора, посвятившего годы борьбе с оборотнями в милиции. Камалов, выслушав ее, тут же достал из прикроватной тумбочки пухлую папку и, показав ей фотографию, спросил, не этот ли мужчина подсаживался к ним за столик. Ее ответ словно склеил две половинки фотографии незнакомого человека.

После этого разговора с Камаловым она уже месяц работала в прокуратуре республики. По странному стечению обстоятельств, она занимала тот же самый кабинет на первом этаже, где проходила практику.

Сейчас она тоже стояла у окна, так как знала, что ее шеф, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью, поехал за прокурором в больницу. Почти через полгода Камалов, на котором уже кое-кто поставил крест, возвращался в свой служебный кабинет. На улице у прокуратуры, как обычно, выстроились ряды машин, возле них прохаживались незнакомые люди. «Каждый из них может быть охотником за прокурором», — сказал вчера шеф, невольно бросивший взгляд в окно.

Она и не заметила, как подъехала машина прокурора. Первым выскочил водитель Нортухта, парень, прошедший Афган, — это с ним Камалов одолел банду наемных убийц на трассе Коканд — Ленинабад. Афганец мгновенно повернулся спиной к входу и быстрым взглядом окинул ряды машин. Под тонкой пижонистой замшевой курткой внимательный человек легко углядел бы оружие и понял, что парень умеет им пользоваться.

Камалов взглянул на высокое парадное и стал медленно одолевать мраморные ступени, чувствовалось, каждый шаг давался ему не-



легко. Она разглядела его осунувшееся лицо, свежий рваный шрам, пересекавший высокий лоб, отметила, что он зарос, похудел и стал походить на голливудских киногероев, но тут же устыдилась такого пошлого сравнения. По лестнице поднимался мужчина, настоящий человек, шел, чтобы довести начатое дело до конца. Она не заметила, как губы сами прошептали: «Храни вас Господь!»

## XI

Газанфар Рустамов, прокурор отдела по надзору за исправительными учреждениями, пребывал в скверном настроении. Третью неделю подряд не везло в карты, улетучились с риском добытые деньги на машину. Во всех зонах и тюрьмах, то тут, то там, возникали стихийные бунты, захватывали заложников, участились побег, и ему приходилось мотаться из края в край республики, — исправительно-трудовые колонии располагаются не в курортных местах. Ночевки в грязных провинциальных гостиницах, обеды в скудных казенных столовках, вечная нехватка транспорта — все это действовало на нервы, раздражало, вызывало зависть к коллегам из других отделов. «Почему я должен отдуваться за несправедливость, жестокость, убожество в местах заключения?» — часто спрашивал он себя и клял на чем свет стоит Сенатора, за его нерасторопность, медлительность. Ведь, работая заведующим отделом административных органов ЦК партии, тот обещал, и не раз, сделать его прокурором одного из районов Ташкента. Твердо обещал, да что вышло? Сам загремел. Но Рустамову было жаль только себя — Сенатор хоть пожить успел в свое полное удовольствие.

Газанфару предстояла поездка в Таваксай, там произошел групповой побег, конечно, не без участия людей из охраны. «Какой же нормальный человек, да еще за такие гроши, пойдет работать с заключенными?» — рассуждал он, как никто другой знавший тамошние нравы. Удивлялся он не побегу, а тому, что до сих пор эта система действует. Он бы не удивился, если какой-нибудь поселок, городок, где есть крупная тюрьма или лагерь заключенных, вышел бы на забастовку, узнай вдруг, что «заведение» переводится в другое место, ибо тут каждый второй кормится с бедных арестантов. Одни сдают комнаты на постой приехавшим на свидание или добивающимся его, другие промышляют извозом, доставляя освободившихся и их родственников на железнодорожный вокзал или в аэропорт ближайшего

города, третьи занимаются посредничеством, вольно или невольно все завязаны на тюрьме. Тут все обслуживают зону, каждый как может, в зоне денег всегда больше, чем на воле, и эки не торгуются, впрочем, на все существует твердая такса.

Всех способов наживы с заключенных не знает даже он — пере-чень их обновляется с каждым днем. Вот недавно был случай. В одном городке четырехэтажная «хрущевка» буквально нависала балконами над заборами с колючей проволокой, и юная девица, чья лоджия оказалась как раз напротив мужского барака, однажды вышла туда в купальнике. И вдруг услышала из-за «колючки» рев восторга. Женщина есть женщина, ей любое внимание в радость, даже из-за «колючки», и девчонка минут пять пококотничала, принимая по просьбе высыпавших из бараков мужиков всякие пикантные позы. Когда она собралась уходить, кто-то крикнул ей: «А это тебе за доставленное удовольствие!» — и бросил на балкон рабочую рукавицу, — там вместе с камнем оказалась сторубливка. С тех пор девушка уволилась с работы и трижды в день выходит на балкон под восторг ревущей толпы, — говорят, стриптиз у нее получается не хуже, чем в порнофильмах. Весь город завидует обладательнице счастливого балкона. Выезжал он и по этому случаю, даже встретился с героиней истории — грамотная, как и все ныне, попалась девушка. Заявила, я, мол, живу в демократическом государстве и на своем балконе вольна делать зарядку как хочу и когда хочу... Вот и привлеки ее попробуй — не за что.

Кормился с заключенных и сам Рустамов, и у него порой случались «навары» не меньше, чем у работников ОБХСС. За доставку важного послания в тюрьму, особенно подследственному, до суда, с заинтересованной стороны требовали десятки тысяч. Однажды он сорвал куш в сто тысяч — и это в те годы, когда деньги еще имели силу! Правда, ему пришлось поделиться с начальником тюрьмы. К обвиняемому по хищению в особо крупных размерах, взятому под стражу, рвался на свидание, всего на пять минут, один из сообщников и предлагал за это сто тысяч. Но свидание требовал с глаз на глаз, передача послания его не устраивала, — за это и плата. Речь шла, конечно, о том, чтобы запутать следствие, определить линию поведения на суде. Свидание это состоялось глубокой ночью и длилось ровно пять минут.

Носил он письма и «авторитетам», воров в законе, находившимся в тюрьмах усиленного режима, передавал и из зоны «инструкции», «рекомендации» на волю, — среди уголовников у него была даже



кличка «Почтальон». Платили за это тоже хорошо, но нынче, в перестройку, занятие это стало опасным. Раньше высокое ворье держалось за него, уважали покладистого человека «наверху», а сейчас словно взбесились, постоянно шантажируют, на гласность намекают. Но это скорее оттого, что у него появились конкуренты — нынче ничем не брезгуют, лишь бы деньги. Один вор в законе, угощавший его в тюрьме французским коньяком, так объяснил перестройку: это время, когда все покупается и все продается, и пожелал, чтобы оно дольше продлилось, — за это и выпили.

Что-что, а деньги Газанфар в жизни имел, много прошло их сквозь его руки, да счастья не принесли, и виной тому карты. С них у него и беды пошли. Играть он начал, как и большинство, студентом, в общежитии, и вряд ли кто в нем мог предполагать в ту пору столь азартного человека. Первые десять лет после университета пришлось на самый пик застойных лет. Тогда и расцвела махровым цветом картежная игра среди должностных лиц. В какой город он ни приезжал в командировку, повсюду вечерами приглашали куда-нибудь на игру, впрочем, чаще всего в областях «катают» при гостиницах, тут уж точно мода из Москвы пришла, там почти в каждой гостинице обнаружишь катран.

В ту пору нравы не были так суровы, как ныне; картежные долги, особенно крупные, легко прощали, никто посторонний учет их не вел, не переводились проигрыши на других, не включались «счетчики» за каждый просроченный должником день. Но потом внезапно и повсюду, — словно за всем этим стоял некто коварный и умный, втягивавший в игру все больше и больше людей, — появились правила, и картежники оказались в мышеловке. Зная масштабы преступного мира и гениев, осуществлявших его стратегию, Газанфар ныне часто задавался вопросом: случайно это произошло или нет?

Он сам оказался заложником игры. В первые годы он стабильно выигрывал. С шальных денег купил пятикомнатную кооперативную квартиру в престижном районе, прозванном в народе «дворянским гнездом». Работнику прокуратуры это не составляло труда, тем более что пайщиком он оказался солидным, выплатил всю сумму сразу, в ту пору разного рода начальники норовили жилье урвать за казенный счет и с успехом это делали, но Газанфар не хотел и дня ждать в очереди. И кооперативный гараж, и первая машина, можно сказать, с взяток и выигрышей появились, на зарплату прокурора особенно не разгуляешься.

Рос и его авторитет «каталы» — так игроки между собой называют картежников. Тут главное в срок гасить долги, если проиграл, каталы, не обремененные долгами, имеют право на отыгрыш даже без наличных, гарантией тому их авторитет. Газанфар долго был уверен, что он в любое время без труда может оставить карты, ибо в игре особенно не зарывался и видел в этом свою силу. В картах, как и в жизни, был расчетлив, обладал холодным разумом и при внешней эмоциональности легко контролировал свои чувства. Успех за карточным столом можно было объяснить и аналитическим складом ума, он ведь закончил знаменитую сто десятую математическую школу Ташкента и обладал феноменальной памятью, в игре такой человек имеет фору, ибо великолепно помнит сброшенные карты. Если бы не карты, Рустамов мог стать выдающимся шахматистом. Он так был уверен в своих силах, что мечтал, если вдруг повезет и выиграет миллион (такое по тем временам случалось, но редко), плавно «сойти с игры». Купил бы себе спокойное, но денежное место и вел размеренную жизнь буржуа — миллион в нашей стране, при повальной нищете, все-таки большие деньги.

Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает... Женится Газанфар, по местным понятиям, несколько поздновато, в двадцать восемь, но ему и тут повезло, взял девушку хорошего и знатного рода, прямо со школьной скамьи. Но через полгода — первый звонок судьбы: в игре можно не только выиграть, но и все потерять...

Вскоре после свадьбы он впервые крупно проигрался, причем крутому человеку, от которого отмахнуться было невозможно. В минуту отчаяния Рустамов даже замыслил его убить, но это оказалось ему не по зубам. Больше того, тот словно читал его мысли: однажды, встретив у прокуратуры, угрюмо сказал:

— Другому бы я, может, и скопил долг, но менту — никогда. Меня не поймут... — И, выдержав паузу, глядя прямо в глаза, добавил: — Если задумал подлянку, предупреждаю: к вашему брату я жалости не знаю.

Договорились, что в счет долга он отдаст свою пятикомнатную кооперативную квартиру с обстановкой, гараж с машиной и съедет в трехкомнатные апартаменты панельного дома в двадцать шестом квартале Чиланзара, рядом с обводной дорогой. Пришлось готовить жену к переезду, сроки поджимали. Та, естественно, в слезы, кинулась к родителям. Тут он получил еще один удар: отец жены, видимо, хорошо знавший, что такое муж-картежник, тихо, но быстро устро-



ил дочери развод и вернул ее домой. Но судьба в первый раз лишь просигналила ему: в тот самый день, когда ушла жена, он выиграл гораздо больше, чем проиграл. Конечно же, уладил дела со своими долгами, остался все-таки в престижном доме, но без жены. Потом он женился еще раз, но, не прожив и года, развелся — теперь по своей инициативе. Жена попалась ленивая, ни готовить, ни стирать, ни вести дом не умела и не хотела, одни косметические салоны и портнихи на уме, домой не дозвонишься, вечно висела на телефоне, а о детях и вовсе слышать не желала.

Вскоре он обнаружил, что положение вечного жениха в большом городе имеет свои преимущества. Обычно он держал в поле зрения трех-четырёх девушек, они и стирали, и квартиру убирали тщательно — конкуренция обязывала. Кого такое положение не устраивало — уходили, но, как ни странно, вакансия тут же занималась другими, зачастую подружками предыдущей соискательницы. Он так и говорил строптивым: свято место пусто не бывает. А женихом он казался завидным: молодой, спиртным не злоупотребляет, не курит (картежники следят за своей формой строго), работает в солидном учреждении, при машине, пятикомнатная роскошно обставленная квартира в хорошем районе, словом, от женщин Рустамов отбоя не знал, а точнее, знал им цену... Но вряд ли могла бы найтись девушка, которая сумеет завладеть его сердцем, — он давно с ног до головы принадлежал дьяволу, картам.

Сохранив квартиру, он, поверив в свою удачу, быстро забыл о том, что готов был пойти на убийство из-за денег. Правда, случались и проигрыши. Однажды, узнав, что он улетает с инспекцией в Навои, где много исправительно-трудовых колоний, его попросили передать заключенному письмо, а в награду списали картежный долг. Он, набравшись наглости, потребовал еще пять тысяч наличными, якобы для подкупа тюремной администрации, и, к своему удивлению, получил эти деньги. Так открылся еще один источник дохода, и тогда он получил тайную кличку «Почтальон».

Говорят: предавший однажды уже не остановится ни перед чем. Вряд ли Газанфар, доставив в зону письмо-инструкцию для «хозяйна» лагеря, предполагал, что это только первая ступень его предательства. В Ташкенте в те годы существовало около двадцати катранов, где играли по-крупному высокие должностные лица, и чем выше поднимался Рустамов как катала, тем реальнее становилась его встреча за карточным столом с Сенатором и Миршабом. И, в конце концов, они встретились.

В тот вечер в катране оказалось многолюдно, Сенатор с Миршабом долго не задержались, но парня из прокуратуры республики заметили, да и тот, хорошо знавший обоих, наверняка углядел их, хотя не вставал из-за стола, где шла азартная игра. Вторично они встретились уже через месяц, там же, но уже в игре. Возвращаясь поздно ночью, Миршаб вдруг сказал Сенатору:

— Этого парня из прокуратуры надо как-нибудь хлопнуть основательно и, подведя к краю жизни, заставить рыться для нас в нужных кабинетах.

— Блестящая идея! — оживился дремавший шеф. — Мне давно хотелось иметь своего человека в прокуратуре, а этот Газанфар производит впечатление хваткого парня. Но как его хлопнуть? Играет он здорово, а главное, не зарывается, я наблюдал за его ставками и его картами.

— Я тоже об этом думал. Вдвоем нам его не одолеть, к тому же он очень осторожный, сразу почувствует тандем. Нужно нанять двух игроков-профессионалов, тех, что постоянно отираются в катранах, хорошо их финансировать и внушить им, что мы из-за женщины хотим наказать его и потому нуждаемся в их помощи. Конечно, подходящего момента придется ждать месяца три, а то и больше, надо, чтобы все выглядело как бы случайно.

— Прекрасно. Я попрошу Беспалого, чтобы он подобрал нам двух классных игроков, и тут же начнем охоту на Газанфара, как знать, он может нам понадобиться...

Профессиональные каталы готовят свою жертву, которую они между собой называют «лохом», иногда годами. Приваживают, приучают, дают выигрывать, и даже по-крупному. Долги «лохам» возвращают в оговоренные сроки, обязательно при свидетелях. Весь этот сценарий продуман для будущего: обычно «лохи» — состоятельные хозяйственные работники, должностные лица, сколотившие миллионы на взятках. Но наступает час пик, одна крупная игра, которая опять же не назначается директивно: ловят момент, когда «лох» вдруг распухнет, тут его и накрывают сразу на миллион, а то и полтора. А до этого каталы вкладывают в «лоха» в виде наживки тысяч сто — сто пятьдесят.

Рассчитываются проигравшие по-разному: одни сразу, а другие, понимая, что попали в заранее приготовленную западню, начинают уклоняться, искать иные пути, как и Газанфар, замышлявший убийство. Особенно не любят отдавать долги крупные партийные функ-



ционеры и работники правоохранительных органов. Но каталы это хорошо знают и готовы ко всему, у них просчитаны все варианты до мелочей. Если «лох» не отдает добром, в дело вступают другие — так называемые вышибалы. Они есть в каждом городе, основной их костяк составляют бывшие спортсмены и бывшие работники органов. Вышибалы обслуживают не только картежников и предпринимателей, но и любое частное лицо, если дело связано с возвратом долга. Тут тоже твердая такса, до сорока процентов с вышибаемой суммы. Не брезгают вышибалы и заказными убийствами.

Возможность сесть за один карточный стол с Газанфаром в нужной компании появилась только через семь месяцев. Квартет, до этого тщательно отрепетировавший игру дома у Миршаба, сыграл виртуозно: Рустамов проигрался в пух и прах, как никогда в жизни. С профессиональными картежниками Газанфар рассчитался сразу, а своих коллег-прокуроров попросил подождать, — получилось, как и задумал Сенатор. Месяц, оговоренный Газанфаром, промелькнул быстро, крупный выигрыш, которого он так жаждал, не выпал. К нужному сроку он собрал только треть суммы. Встретившись с коллегами, Рустамов вернул часть долга и попросил продлить срок еще на месяц, но получил жесткий отказ. А это означало, что ему включили «счетчик», об этом завтра будут знать все, кому следует, и путь к карточному столу для него отныне закрыт.

Понимая, что объект «созрел», Сенатор предложил Рустамову в счет погашения долга давно задуманное — снимать копии с некоторых интересующих их документов, прослушивать разговоры коллег по внутреннему телефону, изымать из некоторых дел важные бумаги, в общем, заниматься шпионажем в пользу победителей. К их удивлению, Газанфар наотрез отказался. Тогда Сенатор с Миршабом, которым позарез был нужен свой человек в прокуратуре, решили поугатать коллегу вышибалами, но проблема неожиданно разрешилась сама собой. Когда вызвали Коста и разъяснили ему ситуацию, чтобы не перусердствовал, Джиеов вдруг рассмеялся и сказал, что Газанфар давно свой человек для уголовки и даже имеет кличку «Почтальон» — за соответствующую плату выполняет деликатные поручения авторитетных людей. Удивлению Сенатора с Миршабом не было предела — такого расклада даже они не могли предвидеть. Информация Коста облегчала задачу, но Миршаб тут же придумал коварный ход: позвонил Рустамову и велел немедленно приехать для серьезного разговора к нему домой. Ход оказался прост и гениален: увидев Коста,

дружески беседующего с коллегами, Газанфар все понял и сдался. Так он стал агентом в собственном стане.

Да, именно агентом, потому что для выполнения задания требовались поистине шпионские навыки, и Сенатор с Миршабом, зная это, основательно занялись его подготовкой.

Рустамова снабдили миниатюрным автоматическим фотоаппаратом «Кодак», диктофоном, как у Миршаба, японским устройством, легко прослушивающим разговор сквозь стены. Пришлось прокурору брать уроки и у классных домушников, квартирных воров — эти научили пользоваться отмычкой. «Ученик» оказался способным и на экзамене все десять замков открыл раньше нормативного времени. Но Сенатор потребовал, чтобы при любой возможности он снимал слепки со всех доступных ему ключей, — как профессионал он знал, что отмычки оставляют специфические следы. Это задание больше всего увлекло Газанфара. Первые десять образцов он добыл без затруднения — ключи частенько торчали в дверях кабинетов. Сняв слепок, он возвращал ключи владельцам и журил их за беспечность. Но чаще он пользовался другим приемом: заходил поболтать в интересующий его кабинет и дожидался, когда хозяина комнаты на минуту вызывали наверх. Никто ни разу не попросил его покинуть комнату, ключи, в том числе от сейфа, как правило, лежали на столе. Позже без особого труда он в отсутствие хозяев снимал также копии с нужных документов. В экстренных случаях они работали в паре с Акрамходжаевым: тот приходил к одному из замов прокурора и оттуда вызывал какого-нибудь начальника отдела, в чьих бумагах нужно было порыться, — в момент звонка Газанфар уже сидел в нужном кабинете.

Однажды Газанфар добыл очень важные документы, и Сенатор на радостях назвал его «Штирлицем», с тех пор они с Миршабом между собой так его и называли. Но эта рискованная работа стала вдвойне опасной, когда появился новый прокурор из Москвы — Камалов. «У него глаза — рентген», — как-то с испугом сказал Газанфар Сенатору. Дважды Рустамову казалось, что он на грани провала. В первый раз, когда он сообщил Миршабу, что прокурор Камалов проводит секретное совещание с вновь организованным отделом по борьбе с мафией. В тот день, когда совещание началось и он считал свою миссию выполненной, Газанфар увидел, что в приемную прокурора неожиданно явился начальник уголовного розыска республики полковник Джураев, с которым Камалов в последнее время, на взгляд Сенатора, общался подозрительно часто. Вот тогда похолодело сердце у Газан-



фара,— он почувствовал, что Джураев, хитрый лис, о чем-то пронюхал. Он боялся, что Айдын, турок-месхетинец из Аксая, читавший по губам с крыши соседнего дома выступления на секретном совещании, попадет в руки неподкупного Джураева. Но выручил снайпер Ариф, пристреливший Айдына, когда того вели розыскники Джураева. Тогда целую неделю Рустамов не мог прийти в себя...

Вторично он получил шок через месяц, когда, спускаясь к выходу, увидел, как ведут в наручниках знакомого каталу Фахрутдинова, работавшего инженером связи на центральной телефонной станции. Но Аллах миловал и в этот раз: оказывается, Фахрутдинов прослушивал городской телефон Камалова и был пойман с поличным. Конечно, Газанфар догадался, кто и каким образом завербовал Фахрутдинова, ибо знал о крупном проигрыше инженера некоему залетному катале из Махачкалы, которого больше никогда не видели в Ташкенте. Вот тогда, натерпевшись страха, Рустамов потребовал от Сенатора за услуги место районного прокурора в любой части столицы, и тот согласился, пообещав устроить это назначение, когда Камалов покинет кабинет на улице Гоголя. Но вышло иначе: Сенатор сам из кресла в «Белом доме» — здании ЦК партии республики пересел на жесткие тюремные нары в «Матросской тишине»...

Во время обмена сто- и пятидесятирублевых купюр при премьер-министре Павлове Газанфар находился в инспекционной поездке в золотодобывающей долине,— там лагерь на лагере. Узнал он об этом утром, находясь в одной крупной исправительно-трудовой колонии, и тут же решил вернуться в Ташкент, ибо дома у него самого лежало тысяч двадцать в сторублевках, а в одни руки меняли не более пяти тысяч рублей, следовало поспешить. Когда он шел к проходной, вахтенный передал, что авторитетные люди из зоны просили на минутку заглянуть к ним по важному делу. Он подумал, что будет обычная почта, и завернул в указанный барак, но ждали его, оказывается, по другому поводу. Тут тоже проведали об обмене денег и оттого не находили себе места: у многих на воле остались на черный день припрятанные суммы, и, конечно, в крупных купюрах. О них и пошел разговор. Предлагали половину за спасение денег, и каждый давал адреса, где у кого находится кубышка.

Газанфар в те три дня обмена обогатился несказанно, даже замыслил купить за миллион престижную модель «мерседеса», но опять вышла незадача: за неделю он проиграл шальные деньги — подарок Павлова.

Поздно ночью Хашимов позвонил Рустамову и предупредил, что на днях прокурор Камалов выписывается из больницы и его жизнь следует взять под жесткий контроль. Требовал поискать возможность перехода в новый отдел по борьбе с организованной преступностью, в основном укомплектованный бывшими работниками КГБ. Но в этом отделе недавно появилась новая сотрудница, Татьяна Шилова, проходившая в прокуратуре практику. Шилову он однажды приглашал в знаменитый ресторан «Лидо», где у него была назначена встреча с Сенатором. Газанфар надеялся, что это знакомство позволит ему чаще заглядывать в отдел, интересующий Миршаба. «Штирлиц» чувствовал, что предстоят горячие дни, но отступить ему было некогда — он давно загнал себя в тупик.

## XII

Строительство мечети на Красной площади Аксая, напротив величественного памятника Ленину, шло полным ходом, от зари до зари, без выходных и праздничных дней. Хотя наемных рабочих, подрядившихся сдать мечеть, что называется, под ключ, хватало, стар и млад мужской половины Аксая и близлежащих кишлаков в свободное время приходили на строительство, а ведь никто воскресников и авралов не объявлял.

Возможно, за все время перестройки люди увидели, наконец, одно реальное дело и спешили приложить к нему руки. Могли тут быть и другие резоны: поговаривали, что возвращение хана Акмаля не за горами, некогда могучая страна разваливалась на глазах. А кое-кто, вспоминая эйфорию первых лет перестройки, теперь клял себя за несдержанность, длинный язык, и на стройке, под неусыпным оком Сабира-бобо, вроде как искупал грех, думал, забудется, что некогда, наслушавшись сладкоголосого Горбачева, усомнился во власти хана Акмаля, посчитал ее несправедливой.

Иные ходили по другой причине — дважды в день тут кормили от пуза. Каждое утро прямо у бетономешалок резали двух баранов, чья кровь шла в замес, а мяса хватало и на плов, и на шурпу, и на шашлыки, и на каурму, и на самсу. Выгода казалась двойной: вроде и святому делу помогал, и сыт был за счет Аллаха, а прокормиться здесь, как и повсюду, с каждым годом становилось все труднее. Никто и не призывал жертвовать баранов на строительство мечети, а везли и везли их отовсюду. Сабиру-бобо даже пришлось в одном



из близлежащих домов устроить загон, где, дожидаясь своей участи, стояли на откорме три десятка породистых каракучкаров. И всяк даящий норовил появиться на стройке с баранами именно в то время, когда там находился Сабир-бобо, видимо, у них тоже были свои резоны на будущее. Пошли регулярно дары и из города, областные чины, видимо, надеялись на скорый возврат хана Акмаля. Глядишь — машина то с мукой, то с рисом, то с овощами прибывает, ведь прокормить две-три сотни людей в день — дело непростое.

Когда стали крыть куполообразные своды мечети сверкающей оцинкованной жстью и островерхий шпиль главного, праздничного минарета поднялся в жаркое небо, гораздо выше величественного монумента Ленина, начали поступать подарки и для обустройства просторного молельного дома. Тут уж с щедростью бывшей и нынешней номенклатуры простой люд вряд ли мог тягаться. Прежний директор областного торгового центра лично сам, тайком, завез на дом Сабиру-бобо десять огромных хрустальных люстр югославского производства, судя по коробкам, перепрятывавшихся много раз от конфискации. Видимо, хозяин хотел отблагодарить Аллаха за то, что уцелел в первые годы перестройки, когда казнокрадов, несмотря на чины и звания, десятками отправляли в тюрьму. Сразу по три и по пять штук дарили в мечеть ковры, да не какой-нибудь ширпотреб Хивинского коврового комбината, а настоящие, ручной работы: афганские, текинские, персидские, а один торговый работник, приехавший издалека, пожертвовал целую дюжину ковров «Русская красавица», наверное, тоже отмаливал какие-то немалые грехи.

То вдруг раздавался телефонный звонок, и некто участливо спрашивал: как с материалами на строительстве, не нужно ли чем помочь? И при необходимости тут же появлялась машина с цементом, или целый тягач прямоствольного кедра, или же сотня банок отборной масляной краски, которой давно не отыскать ни за какие деньги. А один хозяйственник из Намангана более всего угодил Сабиру-бобо. Узнав, что облицовочная плитка для мечети и сантехника — отечественные, быстренько поменял их на перуанский кафель сказочных расцветок и финскую сантехнику, предназначенную для областного концертного зала, заявив при этом, что мечеть для народа куда важнее, чем искусство. Последнее обрадовало духовного наставника хана Акмаля куда больше, чем расписной рельефный кафель из Перу и унитаза из Финляндии.

Многие чиновники, щедро жертвовавшие аксайскому храму, полагают, что старик в белом форсирует строительство, чтобы встретить

хана Акмаля новой мечетью, воздвигнутой по проекту известного турецкого архитектора, с которым Сабир-бобо случайно познакомился во время паломничества в святую Мекку. Но Сабир-бобо вкладывал энергию, душу, средства в строительство мечети совсем по иной причине и славой основателя первого святого храма в области не хотел делиться ни с кем, даже с ханом Акмалем.

Денно и ночью он молил Аллаха о том, чтобы мечеть назвали его именем, оттого ему было как бальзам на душу любое упоминание храма вместе с его именем. Он старался поощрить каждого, кто при встрече интересовался: как идет строительство вашей мечети? Изю дня в день при любой подходящей ситуации Сабир-бобо исподволь внедрял в сознание будущих прихожан, что это его мечеть, его дар землякам, и его главное назначение на земле — возвести этот храм.

Но дело это оказалось совсем не простым. Хитрый Сабир-бобо понимал, что мечеть должна приобрести имя еще до возвращения хана Акмаля, ведь тот мог назвать мечеть своим именем, поскольку все вокруг, включая и людей, считал собственностью, дарованной ему свыше. Теперь возвращение Акмаля Арипова зависело вовсе не от того, виноват он или не виноват, и не от показаний потерпевших и свидетелей, фигурировавших в шестисоттомном уголовном деле — ныне все решалось в плоскости политики, зависело только от нее. И тут были возможны разные варианты, при которых хан Акмаль мог выйти на свободу.

Если Горбачеву не удастся сохранить целостность государства, у Акмаля Арипова появлялся первый шанс. Об этом Сабир-бобо не нагадал на кофейной гуще: даже без хана Акмаля не стал Аксай захолустьем, горным кишлаком, как считали многие недаленовидные люди. В последнее время зачастил в Аксай старый приятель хана Акмаля Тулкун Назарович из ЦК, уж он-то, прожженный политикан, знал, откуда ветер дует, чувствовал, наверное, что хозяин Аксая вернется домой на белом коне. Тулкун Назарович, крутившийся в самых верхах, сомневался в положительном итоге новоогаревских встреч, где вырабатывалось новое союзное соглашение, говорил: вряд ли отныне быть единому государству, Горбачев, мол, упустил момент, республики увидели перед собой иную перспективу и не хотят иметь над собой никакой центральной власти. Хотя Тулкун Назарович приезжал, как всегда, за деньгами и жаловался на дороговизну жизни — это верный признак того, что Аксай и его хозяин возвращают себе утраченное положение, уж этот никогда не про-



махнется, ни при каких властях, проверено временем. Старая лиса чует погоду лучше любого барометра.

Но если бы велеречивый и косноязычный президент и уговорил республики подписать соглашение о едином государстве, для Арипова оставался другой шанс, о котором весьма тонко намекнул Тулкун Назарович. Суверенитет, независимость, которых добились республики Прибалтики, теперь казались реальными и для других окраин страны. Москва, судя по всему, смирилась с потерей прибалтов, нет прежней силы и мощи, а значит... Но тут не следовало спешить, как говорят русские: не лезть поперед батыки в пекло; Восток в этом деле собаку съел, не зря же тут в ходу другая поговорка: сиди спокойно, жди, и мимо пронесут труп твоего врага. На штурм целостности государства уже кинулись нетерпеливые: Молдавия, Грузия, Армения... Нужно подождать, посмотреть, как пойдут у них дела, учесть их промахи и ошибки, рассуждал опытный интриган из ЦК, а там, на финише, можно нетерпеливых и обогнать.

Это был второй шанс для освобождения хана Акмаля. Отделится ли Узбекистан, останется ли в составе обновленного государства — власть Москвы над республиками потеряна навсегда, это Сабир-бобо ощущал все более. Влияние центра сходило на нет с каждым днем. Местные партийные боссы вдруг дружно заговорили на ломаном родном языке, а ведь еще вчера кичились знанием русского. Как, оказывается, был прав Сухроб Акрамходжаев, когда вразумлял хана Акмаля, что только перестройка приведет к суверенности, независимости республик. Он говорил: доедем на трамвае перестройки до нужной остановки, а там сорвем стоп-кран или соскочим на ходу. Какой прозорливостью обладал Сухроб Ахмедович! Действительно, в пресловутом трамвае перестройки, считай, один вагоновожатый Горбачев и остался.

Независимость, суверенитет... Еще вчера это казалось несбыточным, невероятным, а теперь с каждым днем все четче обозначались черты новой реальности. Готов ли к ней народ? Как это будет выглядеть на самом деле? Об этом все чаще задумывался Сабир-бобо, не в пример иным государственным мужам, понимал, как вросли народы Союза друг в друга, как нелегко будет рвать связи, отлаженные десятилетиями. А сама государственность Узбекистана — в каких формах, каких границах будет существовать? Хороши ли, плохи коммунисты, какова бы ни была идея социализма, но только в рамках этой системы и идеологии появились государственность, границы

республики. Не раздробится ли, как прежде, на Хивинское, Бухарское, Кокандское и прочие карликовые ханства Узбекистан, скроенный большевиками при личном участии Ленина?

Желающих стать удельными князьками хоть отбавляй, но выиграет ли от этого нация, найдет ли свое место в новом мировом порядке? Вот о чем все чаще и чаще задумывался Сабир-бобо,— уж он-то знал, что сегодня нет такого сильного, дальновидного и авторитетного политика, как Рашидов. Он бы лучше многих других воспользовался историческим моментом, о котором и мечтать не смел, нашел бы для узбекского народа достойную нишу в мировом сообществе. Ведь в свое время Узбекистан был витриной советской Средней Азии, и сам лидер — не последним человеком в руководстве страны. Возможно, чтобы сдерживать его влияние, столько лет и держали в предбаннике Политбюро. Как нужен был бы сегодня человек масштаба Рашидова!

Но из всех тех, кого знал Сабир-бобо, никто не тянул на лидера, больше того, в первые годы перестройки, когда следственные органы страны стали уделять особое внимание краю, многие руководители республики повели себя недостойно, спасая свое кресло. Мало кто выдержал испытание, многим теперь стыдно смотреть людям в глаза. Тут Акмалю Арипову нет равных, ему не откажешь в мужестве, хотя на его долю выпали самые трудные испытания, им персонально занимались опытниейшие следователи КГБ, на него пытались свалить все свои грехи секретари ЦК и обкомов, признавшие свою вину и покаявшиеся. А хан Акмаль — следствие по его делу велось почти семь лет — все обвинения отвергал, никого не «сдал» и своим многомиллионным состоянием с государством не поделился.

Вот почему, наверное, прожженный политикан Тулкун Назарович вновь зачастил в опальный Аксай, чувствовал, что хан Акмаль, и раньше смотревший на других свысока, теперь, по возвращении, станет чуть ли не героем. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай, и Сабир-бобо не сидел сложа руки,— готовил час освобождения хозяина Аксая. Это по его настоянию трижды меняли адвокатов, пока не вышли на тех, кто согласился, что отныне защита Акмаля Арипова станет для них единственным делом, чтобы не расплылись силы, и они были обязаны раз в месяц посещать Аксай, чтобы с документами на руках отчитываться перед Сабиром-бобо. А тот, в свою очередь, привлек не менее ушлого юрисконсульта из местных, чтобы адвокаты из столицы не создавали видимость активности, а работали на совесть. За те деньги, что платили им в Аксае, можно было



защищать обладателя двух «Гертруд», не щадя живота своего,— такому заработку позавидовал бы и сам президент страны. А чтобы ежемесячная командировка из столицы в горный Аксай сделалась необходимой, Сабир-бобо выплачивал содержание только на месте, он любил повторять пословицу: хлеб за брюхом не ходит.

Прокуратура страны, видимо, не сбрасывая со счетов развал государства, неожиданно решила ускорить суд над Ариповым и стала спешно выделять завершенные материалы в отдельное производство. Такой поворот событий грозил обвиняемому суровым приговором, вплоть до высшей меры. И тут в Аксае адвокаты выработали новую тактику — сорвать процесс во что бы то ни стало. А для этого необходим был скандал, самый что ни есть базарный, вульгарный, не включающий оскорбления самого суда и государства,— хану Акмалю терять было нечего.

Но Сабир-бобо не был бы духовным наставником Акмаля Арипова, если бы не попытался использовать и эту ситуацию. Это он подал мысль выступить на суде с резкой критикой Сухроба Акрамходжаева, адвокаты зацепились за идею и довели ее до совершенства. Как и рассчитывали, судебный процесс был отложен на неопределенное время. Увенчалась успехом и коварная задумка Сабира-бобо: освобождение Сенатора из «Матросской тишины», как уверяли столичные адвокаты, теперь дело трех-четырёх недель.

Сухроб Ахмедович, авторитет которого невероятно вырос в глазах Сабира-бобо из-за его сбывшихся пророчеств о судьбе перестройки, независимости республики, ох как нужен был сейчас старику в белом. В его планах Сенатор теперь стоял даже выше хана Акмаля, только вдвоем, как единомышленники, они представляли бы реальную силу. Сабиру-бобо были известны не только планы, но и мечты своего послушника — Акмаль Арипов всерьез не задумывался о независимости, суверенности Узбекистана. А республика, судя по всему, уже становилась самостоятельным государством — так складывалась политическая обстановка. Но к подобному повороту событий хан Акмаль готов не был, да к тому же выпал из жизни на целых семь лет — да каких, иной день равнялся году! Старику позарез был нужен молодой политик, ориентирующийся не только в сегодняшней сложнейшей ситуации, но и видящий перспективу на много ходов вперед.

Таким человеком Сабиру-бобо представлялся Сухроб Акрамходжаев. Как же был прав и дальновиден Сенатор, когда говорил хану Акмалю: в случае успеха перестройки мы станем подлинными хозя-

евами, а не как сейчас, тайными и временными, зависящими от каждого окрика из Кремля. В такое не мог поверить даже хан Акмаль, крепко державшийся за свое депутатство в Верховном Совете страны, за своих влиятельных друзей и покровителей из Москвы, без которых власть даже на месте, в Аксае, казалась ему невозможной.

Конечно, говоря «мы», Сенатор имел в виду вовсе не народ, избирающий верховную власть, даже не интеллигенцию, подготовившую перестройку, а прежде всего себя и людей, обладавших властью. И они вряд ли избрали бы для нового суверенного государства демократические нормы жизни, общепринятые в мире, их вполне устраивала коммунистическая модель, но только без указующего перста Москвы.

И тут Сабиру-бобо, многолетнему и страстному футбольному болельщику, припомнился знаменитый испанский нападающий Альберто Ди Стефано из мадридского «Реала». Когда тот начал стареть, потерял скорость, но все еще представлял грозную силу, тренеры придумали специальную тактику, чтобы сохранить легендарного игрока на поле. Два полузащитника, названных «подпорками», подстраховывали, а вернее — обслуживали великого маэстро: прикрывали зоны, куда тот не успевал возвращаться, постоянно адресовали ему пасы, держали его всегда на острие атаки, и «Реал» даже со стареющим Ди Стефано дважды подряд становился обладателем Кубка европейских чемпионов. Вот и Сухроб Ахмедович, по замыслу человека в белом, должен был стать такой же подпоркой хану Акмалю.

### ХІІІ

Вернувшись поздно с совещания директоров банков Баварии, на которое получил персональное приглашение, ибо одним из пунктов обсуждения был вопрос об оказании финансовой помощи этническим немцам в России, Артур Александрович Шубарин первым делом глянул на факс. Сообщение, пришедшее из Ташкента, оказалось предельно лаконичным: «Поклонник мюнхенской «Баварии» не объявлялся».

Второе, пришедшее семь часов спустя, более подробное, прибавило настроения, — этого известия он ждал уже неделю: «Четыре большегрузных «магируса» с банковским оборудованием, сейфами, компьютерной системой сегодня прибыли в Ташкент. Водители просят передать их семьям, что они живы и здоровы, позвонить с дороги не имели возможности, в Москву въезд им запретили. О причи-



нах задержки при встрече. Трое механиков наотрез отказались гнать машины обратно, требуют отправить самолетом. Вопрос с билетами на рейс «Люфтганзы» в четверг, до Франкфурта, решен. С ними же летят два перегонщика для вашей личной машины. Реставрация, переоборудование бывшего «Русско-Азиатского банка» подходят к концу и закончатся одновременно с монтажом прибывшего сегодня оборудования. Банк ждет хозяина. Джигоев».

О том, что водители «магирусов» откажутся наотрез гнать свои машины обратно, Артур Александрович догадывался, ибо знал, что кошмары на наших дорогах немцы не могли представить в самом бредовом сне, ни у какого Хичкока не хватило бы фантазии описать сервис, быт, вымогательства чиновников разного ранга, откровенный разбой, грабеж днем и ночью, в городе и деревне, на трассе и на стоянке в кемпинге, не говоря уже о ночевке в пустыне, степи или лесу. Знай механики об этом, даже за десятикратную плату вряд ли согласились бы доставить срочный груз в Ташкент, хотя немецкие дальнебойщики, колесящие по Европе, получают огромные деньги.

С перестройкой уголовный мир как бы встряхнулся и развернулся во всю — делай что хочешь, и ни за что не будешь отвечать. И беспредел, покотившийся от Балтики до Тихого океана, заставил содрогнуться людей. А новые власти делали вид, что ничего особенного не происходит, и время от времени напоминали своим гражданам, что в Чикаго или Нью-Йорке еще хуже. Правда, в последние годы перестройки пропаганда уже не ссылалась на «жуткие времена брежневщины», когда, оказывается, человеку жить было невмоготу и все прозябали в «равной нищете», ибо граждане, то бишь по-новому господа, в полной мере на себе ощутили прелести демократических перемен и могли сравнить «вчера» и «сегодня» и особенно оценить перспективы на «завтра».

Артур Александрович, зная, какая дорога выпадет водителям, тем не менее другим путем важный груз отправить не мог — ни поездом, ни паромом, ни транспортным самолетом. В любом случае гарантий ему дать не могли, — груз мог и вовсе пропасть без следа, а стоил он миллионы и миллионы долларов. Да что там доллары, — страховку он бы вырвал и страховал бы, конечно, не в Госстрахе, а у «Ллойда», — ему важен был груз, без которого не открыть банка, а каждый день его работы — это десятки, сотни тысяч долларов, дело он замыслил с размахом. Поэтому уже на границе, в Чопе, караван «магирусов» ждали восемь человек — по двое на каждую машину. На наших дорогах немцы за рулем почти не сидели.

У конвоя имелось пять автоматов, не считая оружия, положенного немецким водителям при сопровождении особо ценного груза. Люди в конвой отбирались тщательно, тут мало было водить большегрузную машину и владеть калашниковым, ставка делалась на парней, умеющих предвидеть, избегать конфликтов, ладить в долгой дороге с несметным числом местных чиновников и работников ГАИ.

Старшим по конвою, ответственным за караван, назначили Карена, брата погибшего Ашота, который долгое время служил телохранителем у Шубарина. Давая наставление Карену в дорогу, Коста упорно внушал главную заповедь: все вопросы решать только деньгами, угрозы, силовое давление, оружие применять в крайнем случае. На Востоке искусство дачи взятки доведено до совершенства, и в команде Карена были двое таких асов, мужчин бывалых, тертых, — они ехали всегда в головном «магирусе», мгновенно оценивая ситуацию, а Карен находился в последней машине. У каждого сопровождающего груз на шее болталось переговорное устройство, и машины на трассе держали постоянную связь, она особенно помогала, когда пытались сесть на хвост «магирусов», вынырнув из какой-нибудь засады на боковом ответвлении трассы.

В Чоп караван прибыл уже в сумерках, но ночевать в Закарпатье не стали. Поужинав, заправив машины, тронулись в путь. Карен, имевший официальные документы от банка, как хозяин транзитного груза из Германии участвовал в осмотре каравана таможенниками и тут же понял по репликам вертевшихся вокруг без дела ребят из технических служб, что они попали в поле зрения местной мафии, — не зря говорят: рыбак рыбака видит издалека. Ушлая обслуга, находящаяся на государственной службе, тут же оповестила кого следует, что появился заслуживающий внимания транспорт, — их заинтересовали слова «компьютеры» и «сейфы» в сопроводительных документах. Казалось бы, мудрее остаться и заночевать, а в путь тронуться на рассвете, по прохладе, но Карен, зная, что от них только этого и ждут, решил поступить иначе, — так он лишал противника возможности тщательно подготовиться.

В «магирусах», предназначенных для трансконтинентальных рейсов, кабины приспособлены для водителей не хуже, чем комфортабельные купе вагонов «СВ». Над сиденьями даже имеются задрапированные подвесные полки для отдыха одного из шоферов. На них, как только тронулись из Чопа, отправили спать немцев-водителей. Едва они выехали за черту города, Карен, следовавший в авангарде колонны, передал по рации:



— По моим подсчетам, в первый раз нас должны тормознуть часа через четыре, будьте предельно внимательны, без моей команды не останавливаться.

Машины, выбравшись на загородную трассу, с ревом рванулись в ночь. «Магирусы» отличаются не только маневренностью, но и хорошим ходом. Около трех часов ночи, — лучшее время для преступлений, высчитанное некогда доктором юридических наук по кличке Сенатор, — проезжали обыкновенный пост ГАИ на окраине ухоженного закарпатского городка. По тому, как постовой тщательно вглядывался в хвостовой номер машины и тут же бегом кинулся в дежурку, Карен понял, что засада ждет их в ближайшие полчаса, о чем и предупредил товарищей по радиации. Едва они въехали по сужающейся дороге в низину, поросшую лиственницей, конвой и без предупреждения старшего понял, что тормозить их будут тут. Так оно и вышло. Мощные фары «магирусов» издали высветили тяжелогруженный лесовоз, перегоревший дорогу, а по обе стороны разбитого шоссе возле приземистых иномарок шевелились рослые молодые люди в традиционных кожаных куртках.

— Пропустите меня вперед! — раздался в машинах голос Карена. Этот маневр был оговорен при случаях явной опасности, и его машина резко рванулась в голову колонны. Карен сказал по-узбекски: — Стрелять только в крайнем случае, первый выстрел за мной.

Сбавив скорость, он издали мягко подкатывал к лесовозу, стараясь получше разглядеть встречавших ночной караван людей. Как только «магирусы» стали тормозить, к каждому грузовику кинулись по два-три человека, а к головной машине сразу пятеро. В прибор ночного видения они заметили маневр и поняли, что хозяин каравана находится в этой машине. Встав, водители «магирусов» одновременно выключили свет, лишив нападающих на время ориентации, но фары машин на обочине осветили трассу. Встречавшие, видимо, по опыту надеялись, что из грузовиков, попавших в ловушку, тут же станут выходить на переговоры люди, но из «магирусов» с мерно работающими двигателями, судя по всему, никто выходить не собирался. Тогда мужчина в кожаной кепочке, стоявший у белого «мерседеса», подал команду:

— Вытряхните мне хозяина каравана из первой машины, если он добром не желает разойтись!

Два парня, вскочив на подножку высокого «магируса», рванули дверь. Прямо в лицо им уткнулось холодное дуло калашникова,

и один нападавший от неожиданности неловко свалился на асфальт, а его товарищ, выматерившись, зло крикнул:

— Бурый, у него автомат...

— Трясите вторую, третью машины, а этого, из головной, возьмите на прицел, не давайте ему выходить из кабины...

Нападавшие с шумом, подбадривая друг друга, кинулись на оставшиеся машины, но из каждой распахнутой дверцы грозно торчал ствол. И вновь возникла заминка. Карен в пуленепробиваемом жилете из кевлара, подаренном некогда ханом Акмалем Шубарину, спрыгнул на землю и, направив автомат на Бурого, сказал, чеканя слова:

— Или вы сию минуту освобождаете дорогу и пропускаете нас с миром, или мы для начала изрешетим все ваши пижонские машины. Откроете ответный огонь — пеняйте на себя, нам пуль не жалко.

Вдруг в наступившей тишине за спиной Бурого клацнул затвор обреза, но Карен, опережая выстрел, дал над их головами очередь, и рванувшийся в сторону Бурый истерично крикнул водителю ледовоза:

— Освободи трассу! Психи какие-то попались...

Это была первая организованная по наводке встреча, а сколько раз их пытались остановить, по выражению Карена, «на шап-шарап», то есть неожиданно, предполагая в большегрузных транспортах ценный груз! Приметив караван где-нибудь у столовой или на заправочной станции, банда местных рэкетиров, собрав пять-шесть машин, бросалась в погоню. Но ни разу не было случая, чтобы парни из конвоя Карена не заметили, что на груз «положили глаз». В таких случаях колонна сразу перестраивалась, и замыкал караван «магирус» с прицепом, куда перебирались двое с автоматами. Когда преследователи, угрожая оружием, требовали остановиться, поверх машин давали мощные очереди из двух автоматов, если это не помогало — стреляли в колеса, по радиаторам.

Разбой царил повсюду — от Чопа до самых южных ворот Ташкента, пытались грабить и на Украине, и в каждой из областей России, в Татарии, Башкирии, на всей огромной территории Казахстана. В последний раз их тормознули в двадцати пяти километрах от конечной цели, в Келесе, но тут уж, на своей территории, Карен с дружкой отвел душу. Никого ни на мгновение не остановила мысль, что груз может быть государственным или принадлежать чужой стране — даже выдавшим виды парням из конвоя показалось, что повсюду



на территории бывшего СССР перестали действовать какие-либо законы. Бросилось в глаза, что многие работники ГАИ состоят в створе с бандитами, орудовавшими на шоссе.

Дожидааясь каравана в Чопе, Карен купил у таможенников сорок ящиков водки — тут ее конфискуют тысячами бутылок в день. У конвоя существовал сухой закон, спиртное требовалось для гаишников, но водки хватило только на половину пути. Хотя сопроводительные документы на груз были в порядке, печати и штампы таможни четкие, ясные, их часами держали на дорожных постах, особенно свирепствовали на стыке областей, республик. В Казахстане лютовали на территории каждого района. Тут, конечно, оружие не применяли. Карен, скрипя зубами, отходил в сторону, в дело вступали Сумбат с Хашимом с головной машины. Они много лет шоферили дальнобойщиками, доставляли бахчевые в Россию и знали, как надо ладить с хозяевами дороги.

Только однажды, на въезде в Оренбург, когда Сумбат с Хашимом два часа не могли уломать гаишников, затребовавших за проезд двадцать тысяч, нервы у Карена не выдержали. Он ворвался в дежурку с пистолетом, и, выхватив из рук Сумбата две пачки двадцатипятирублевых, сумму, которую они соглашались заплатить, сыпанул их веером по тесной комнате, крикнув при этом:

— Или вы соглашаетесь на эти деньги, или я сейчас перестреляю вас, как собак!

И тут же мордастый офицер испуганно нажал на кнопку автоматического шлагбаума, освобождая проезд...

Но самый крутой разбой ожидал их впереди, в Иргизской степи, за Актюбинском, и они об этом знали. В степи рано поутру они застряли у одного могильника на пять часов — там Сумбат получил пулевое ранение в плечо. Дорога блокировалась по всем правилам военного искусства и по краям имела окопы в полный рост, у нападавших имелись и два автомата. В конце концов, после перестрелки и взаимных угроз, проезд выторговали за автомат с тремя рожками патронов и пятьдесят тысяч рублей. Правда, Карен, зная восточное коварство, оговорил, что главарь засады должен сопровождать колонну, пока они не выберутся к Челкару. Водители-немцы, парни бывалые, не робкого десятка, сталкивавшиеся с разбоем и в Африке, и в Европе, и Америке, только диву давались и постоянно твердили, что хваленая итальянская мафия, да и американская, в сравнении с советской, только зарождающейся, — просто детский сад. После стычек, пере-

стрелок, погонь, долгих переговоров в голой степи у какого-нибудь веревочного шлагбаума немцы уже не жаловались ни на питание, ни на отсутствие связи, ни на «комфорт» наших гостиниц.

Вот почему большинство немецких водителей наотрез отказалось гнать машины обратно, и Карен, понимая их, посоветовал сомневавшемуся Коста купить им авиабилеты, добавив при этом:

— Они и под расстрелом не захотят повторить обратный путь.

Сообщение Коста о том, что водители «магирусов», побросав машины, возвращаются самолетом, только подтвердило мысли Шубарина, что за последние полгода, пока он находился в Германии, преступность в стране резко возросла, в нее втянулись тысячи и тысячи новых людей, для которых разбой стал нормой жизни.

Вот отчего Шубарина беспокоила утренняя весть Коста: «Поклонник мюнхенской «Баварии» не объявился». Поиски человека, заинтересовавшегося его еще не открывшимся банком, затягивались. Кто он? И кто за ним стоит? Дома крупные уголовники уже давно влились в новейшие коммерческие и финансовые структуры, а за спиной этих структур стояли в большинстве случаев все те же, вчерашние, власть имевшие люди. Многих из них он хорошо знал, так почему же они не вышли на него напрямую, без посредников, а решили действовать через уголовку? Что это могло означать? Или уголовка, почувствовав себя настолько уверенно, сама, без протекции властей предрержащих, хочет взять под контроль часть финансовых операций в республике? Или же те, что появились у руля власти в последние годы, не желают связываться с ним? А он, как ни крути, вроде и был сам по себе, но принадлежал к клану Верховного, и, конечно, для новых он чужой, а при своей финансовой мощи представляет явную опасность. Но шок у клана Рашидовых быстро прошел, многие бывшие лидеры уже вернулись из тюрем и жаждут реванша, и тут его деньги могут оказаться весьма кстати, хотя он себе таких целей и задач не ставил, однако события развивались не по его воле. Ведь посланник международной мафии сказал ему прямо: «В Ташкенте большие перемены, и вам там теперь не на кого опереться. Мы и только мы можем оценить ваш талант, помочь стать банкиром. Ваши друзья и покровители не сумели удержаться у власти, теперь в крае новые хозяева...»

Конечно, посланец хотел нагнать страху, оттого и неожиданность встречи, но он еще молод, неопытен не только в финансах, но и в политике, откуда ему знать истинный расклад сил в Узбекистане. Да, прежние кланы потерпели сокрушительное поражение, прежде



всего потому, что на них обрушилась вся карательная мощь Прокуратуры СССР. Тысячи пришлых следователей расследуют все стороны жизни республики. Попади в подобную ситуацию любая другая республика, вряд ли она выглядела бы краше. Тут следствию помогли и те, кто давно жаждал реванша, хотел перехватить власть, но даже при такой ситуации, будь жив Рашидов, вряд ли бы Узбекистан понес столь тяжелый урон. Республика потеряла лидера, и все посыпалось.

Но теперь, когда стали возвращаться один за другим сподвижники Рашидова, — а у них было время проанализировать свои ошибки и просчеты, — ситуация, конечно, изменится. По прогнозам Шубарина, новые власти должны потесниться, уступить многие важные посты, утраченные прежним кланом. Ведь теперь, по завершении перестройки, возвращающиеся в глазах народа выглядят жертвами великодержавной руки Москвы. К тому же надо знать жизнь в крае — тут всегда правили и будут править люди, рожденные властвовать, и случайный человек никогда не попадет на вершину власти, разве что в революцию, перестройку или смутное время.

Когда после форокского фарса Горбачев вернулся в Москву, он обронил фразу, ставшую крылатой: «Я вернулся в другую страну». Вышло, что и Артуру Александровичу предстояло вернуться тоже в иное государство. Узбекистан, по его сведениям, со дня на день должен был объявить о своей независимости, суверенитете. Уезжал он в Мюнхен из бурлившей, но единой страны, а возвращался в еще более накаленную обстановку. Десяток новых государств своим появлением мгновенно породили тысячи проблем и забот, порою трудноразрешимых.

Задумывая свой банк, Шубарин догадывался о предстоящих сложностях, но того, что он станет вдруг нужен диаметрально противоположным силам, предвидеть не мог. Он не хотел втягивать свой банк, мечту всей жизни, в политику, но, желая спасти жизнь Анвару Абидовичу, невольно связал себя с партией, которая, скорее всего, перейдет на нелегальное положение, то есть станет незаконной: судя по прессе, ее либо распустит собственный генсек, либо запретят пришедшие к власти демократы. Руководящие структуры у всех объявивших суверенитет республик одинаковы, и повсюду в них — от райисполкома до саночистки с двумя дерьмовозами — правили коммунисты.

Запрет партии при едином государстве не грозил Шубарину дополнительным риском, ибо коммунисты повсюду не сомневаются, что они еще вернутся на политическую арену и снова станут правящей партией. Но он смотрел дальше Анвара Абидовича, бывшего се-

кретаря обкома: коммунистическая идея настолько дискредитировала себя, особенно в национальных республиках, что наверняка новые политические силы начисто отметут коммунистическую идеологию, ее цели, хотя и сохранят структуру правящей партии, ее имущество. В общем, лишь сменят вывеску, перекрасятся, не сделав даже малейших кадровых перемещений, и вместо «коммунистическая» в названии новой, естественно, правящей партии появятся слова «народная» или «демократическая», или оба слова вместе, они для слуха простого человека пока звучат обнадеживающе. Таким образом, скорее всего, поступят во многих национальных республиках, и лишь в России коммунисты лишатся реальной власти и, возможно, подвергнутся гонениям. В таком случае он вынужден будет помогать не только заграничной партии, но и чуждой идеологии.

Вот в какое положение Артур Александрович ставил свой банк, где, судя по сообщению Коста, уже всюду шел монтаж оборудования.

Получив сообщение о смерти Парсегиана, Шубарин не сомневался, что Сенатор не упустит этот шанс и выйдет на свободу, ведь с развалом государства влияние его соперника, прокурора республики Камалова, убывало с каждым днем. Суверенитет республики даст свободу и хану Акмалю; его дело, наверное, передадут в Ташкент, а дома не найдется судей, которые решатся объявить аксайского Креза виновным, хотя в их распоряжении будут шестисоттомное дело и тысячи свидетелей. А оказавшись на свободе, хан Акмаль и дня не станет мириться со сложившейся обстановкой, попытается вернуть власть и положение, благо людей, желающих стать под его знамена, хоть отбавляй. Вероятнее всего, и эти попытаются втянуть его и банк в политические игры. Ведь Анвар Абидович заявил прямо: кто не с нами — тот против нас.

Оставался еще и преступный мир, первым предложивший сотрудничество и тоже обещавший покровительство. Они жаждали на выгодных условиях отмывать деньги от наркобизнеса и темных дел.

Срок возвращения на родину близился, и Шубарина беспокоило, что Коста до сих пор не мог отыскать человека, подошедшего к нему на стадионе. Установи они гонца, потянулась бы цепочка и к тем, кто за ним стоит, а это, видимо, люди серьезные, если обязывались гарантировать безопасность банка, работающего с «грязными» деньгами.

Выходило, что первый клиент еще не поднялся по высоким мраморным ступеням бывшего здания «Русско-Азиатского банка», а его хозяина уже обложили со всех сторон...



## XIV

— Я видел вчера «мазерати»,— встретил утром Нортухта неожиданной новостью прокурора Камалова. Видимо, он не забыл разговор, состоявшийся полгода назад у ресторана «Лидо».

— Где? Какого цвета? И кто ее хозяин? — с интересом стал расспрашивать Хуршид Азизович.

— Вечером я был у родственников в Тузеле. Там есть аэродром военного округа, так на нем приземлился транспортный самолет ВВС из Москвы. А из его чрева выкатился роскошный автомобиль перламутровой окраски сиреневого оттенка. Тут набежала толпа, окружила ее, и я услышал: «мазерати». Оказывается, действительно до сих пор одна из самых дорогих марок. Из Мюнхена до Москвы машину гнали своим ходом, а дальше не рискнули, решили доставить по воздуху.

— И кто же хозяин этой красавицы? — повторил свой вопрос прокурор, хотя уже догадывался, кому принадлежит престижный автомобиль.

— Хозяина с машиной не было, только двое перегонщиков, говорят, купил какой-то банкир.

«Значит, появится на днях и Артур Александрович Шубарин»,— заключил Камалов.

Предположение прокурора объяснялось просто: в газетах, на радио, телевидении, в частных разговорах, повсюду в последнее время говорили об открытии крупного коммерческого банка «Шарк». В газетах и телевизионных новостях часто появлялись снимки роскошно отреставрированных кассовых и операционных залов бывшего «Русско-Азиатского банка». Поговаривали и о трех подземных этажах, где вроде бы в четыре ряда до самого потолка тесно стоят бронированные сейфы известной немецкой фирмы «Крупп», впервые после революции банк снова намерен принимать от частных лиц на хранение ценные бумаги, драгоценности.

В Ташкенте открытием коммерческого, частного банка теперь вряд ли кого удивишь, тут уже справили первую годовщину владельцы «Ипак юли», частного банка «Семург», а известный банкир из Уфы Рафис Кадыров, хозяин «Востока», готовился отметить с помпой вторую годовщину преуспевающего филиала в Ташкенте. Но «Шарк» Шубарина, еще не открывшись, привлекал внимание тем, что получил в центре города, в престижном районе особняк, пред-

ставлявший историческую ценность, где с размахом велись не просто ремонтные, а реставрационные работы. В банке все — от охранной сигнализации, единой компьютерной системы, специального оборудования и приборов, определяющих подлинность любых денежных знаков, вплоть до униформы служащих — было на уровне мировых стандартов, и поставлялось оборудование из Германии, где банковское дело имеет вековые традиции. Частные и земельные банки Баварии выделяли щедрые кредиты «Шарку», потому что он должен был представлять интересы всех этнических немцев на территории бывшего СССР. Без головного банка немцы вряд ли могли контролировать в вороватой стране свои вложения, в первую очередь адресованные землякам. Вот отчего в прессе постоянно появлялись статьи, заметки о предстоящей презентации по случаю открытия нового банка.

Знал Камалов, что на презентацию приедет много гостей из-за рубежа. Прокурор даже получил из МИДа список людей, попросивших въездные визы, и сличил его со списком, поступившим из Интерпола. Почти все друзья, навещавшие Шубарина в Мюнхене, прибывали в Ташкент, они наверняка знали о давней мечте Артура Александровича и хотели разделить с ним радость. Трое-четверо из гостей уже имели имя в финансовых кругах Запада. Этих, видимо, тянуло в Ташкент не только старая дружеская привязанность, но и открывающиеся возможности в новом государстве.

Конечно, Камалову хотелось не только увидеть презентацию, но и получить видеозапись, наверняка на богатое торжество будут приглашены интересные люди. Но чего нельзя, того нельзя, он не будет снимать и тех, кто придет в ресторан «Лидо», где тоже, по его сведениям, уже неделю работают дизайнеры, переоборудуя второй этаж, — там пройдут основные мероприятия и банкет. А любопытное получилось бы кино, ведь там появятся не только друзья и покровители Шубарина, но и враги, конкуренты. Но и при желании заснять все это оказалось бы непросто. Японец — чрезвычайно осторожный человек, да и профессионалами, обеспечивающими охрану его дела, говорят, обзавелся задолго до перестройки, когда частного сыска в помине не было и личных телохранителей не имели даже многие руководители республики. Впрочем, в больнице он дал себе слово в отношении Шубарина действовать честно, открыто — что-то привлекало его в отечественном миллионере. Камалов верил, что найдет ключи к нему, он не мог позволить своим врагам — Сенатору и Миршабу — иметь в друзьях такого человека, как Шубарин.



Сличая список Интерпола со списком из МИДа, Хуршид Азизович вновь наткнулся на упоминание бывшего секретаря обкома Тилляходжаева и вора в законе Талиба. Появятся ли они на презентации? Хлопковый Наполеон — вряд ли, потому что прокурор навел справки, отбывает ли он свой срок в пермском лагере и не отлучался ли из зоны в сроки, указанные Интерполом на его запрос. Официальный ответ начальника тюрьмы порождал только новые вопросы, ибо Интерпол Камалов доверял куда больше, чем отечественным коллегам. Откуда в Германии знать, что тот отбывает срок в тюрьме, да и фотография прикладывалась к делу, так что путаница исключалась. Значит, кому-то, весьма могущественному, было выгодно, чтобы находящийся в заключении бывший секретарь обкома тайно встретился за границей с человеком, открывающим крупный банк. Скорее всего, его на презентации не будет, вряд ли ему резон рекламировать свое появление на свободе, тут многие точат на него зуб, не могут простить его откровений на следствии. Чистосердечное признание хлопкового Наполеона многим стоило больших хлопот и денег, а кое-кому — даже свободы. Нет, его в «Лидо», конечно, не будет.

А Талиб, возможно, и появится — ныне ни одна презентация ни в Москве, ни в Ташкенте, ни в Санкт-Петербурге не обходится без участия преступного мира, его главарей, воров в законе, — их теперь открыто величают представителями делового мира. Да так оно и есть — две трети коммерческих магазинов и совместных предприятий принадлежат им, если даже официально и имеют других хозяев. И только после приватизации, которую так спешат провести новые власти, можно будет узнать, кто всему окажется хозяином, и ахнуть. Но под какой бы личиной ни появился на презентации Талиб, какую бы «крышу» ни имел, для него, Камалова, он навсегда остается вором, и только вором. Волка в овечью шкуру рядить бесполезно, повадки, зубы — все равно выдадут. И для него, прокурора, как можно скорее следует разгадать загадку — почему Талиб навестил в Мюнхене Шубарина? Камалов мог поклясться, что инициатива встречи вряд ли исходила от Артура Александровича, она была явно навязана Японцу. Вот только что же пытались добиться от него и почему в Мюнхене? На эти вопросы тоже следовало поискать ответы до встречи с Шубариным. Возможно, отгадки и сократят дистанцию между ним и банкиром, которого так хотелось заполнить в союзники.

Узнать доподлинно, будут ли на широко разрекламированной презентации Талиб и хлопковый Наполеон, прокурору не удалось,

но один неожиданный гость, не числившийся в списках приглашенных, объявился в Ташкенте накануне торжества. Камалов точно знал, что тот обязательно будет присутствовать в «Лидо» и всячески постарается использовать прессу и телевидение, чтобы заявить о своем возвращении домой.

Человеком, попавшим с корабля на бал, оказался Сенатор, освобожденный из-за недостатка улик из известной московской тюрьмы «Матросская тишина». О восторженной встрече, организованной Миршабом в аэропорту, о жертвенном баране, зарезанном чуть ли не у трапа самолета, прокурору доложили тотчас.

В день презентации начальник отдела по борьбе с организованной преступностью сказал прокурору Камалову, словно читал его мысли:

— Сегодня на открытие банка отовсюду слетаются гости, даже из-за рубежа. Чует мое сердце, что он для многих станет яблоком раздора. Слишком лакомый кусочек лежит готовенький на блюде с голубой каемочкой. Найдутся горячие головы, которые растреляют, что лучший в крае банк принадлежит инородцу, и под Шубариным может зашататься кресло управляющего, эта фишка сегодня, увы, повсюду срабатывает безотказно. По крайней мере, если палки ставить в открытую не решатся, то и помогать гласно поостерегутся.

— Ты считаешь, что его банк может приглянуться Сенатору или Миршабу?

— А почему бы и нет? Но кроме них и тех, кого мы еще не знаем, есть и хан Акмаль. Вот ему при его амбициях банк нужен будет позарез.

— А Шубарин? Ведь он вроде в дружбе с ними? — спросил Хуршид Азизович, догадываясь, каким будет ответ.

— Времена нынче другие. Дружба дружбой, а табачок врозь. Мавр сделал свое дело и может уходить. Но Шубарин не тот человек, чтобы легко уступить свое дело, тем более, как мне кажется, банк — мечта его жизни. Вот отчего я чувствую, что со дня открытия «Шарка» работы у прокуратуры прибавится.

В вечернем и ночном выпусках телевизионной программы новостей Хуршид Азизович внимательно просмотрел кадры, посвященные презентации, и даже записал их на видео. Отметил про себя, что открытию банка телевизионщики посвятили чересчур много времени, хотя обширный материал порадовал прежде всего его, Камалова. С нетерпением он ждал и выпуска утренних газет. Эти, види-



мо, тоже не пожалеют страниц, ведь газетчиков и телевизионщиков в «Лидо» угощали, что называется, от пуза, шампанское лилось рекой. Для них даже специально накрыли столы и им, как и всем высокопоставленным гостям, вручали памятные подарки. Шубарин давно понял, что с прессой лучше дружить. И пресса уже целый месяц выражала восторги по поводу предстоящей презентации, ибо Шубарин, не скупясь, заплатил крупные суммы многим столичным газетам за размещение рекламы своего детища — банка «Шарк». По едкому замечанию прокурора Камалова, современная пресса все больше уподобляется блудливой женщине: если она раньше подпевала только государству, ибо являлась его содержанкой, то теперь, долго не думая, пересела на колени предпринимателям и готова петь дифирамбы всем щедрым рекламодателям. Обе стороны поняли это и без заключения брачного контракта, а читатель как был, так и остался в дураках.

Прокручивая в замедленной съемке кадры торжества в «Лидо», прокурор Камалов внимательно вглядывался в лица гостей. Произвел впечатление на всех собравшихся, да и на него самого, гость из США, некто Гвидо Лежава — видимо, старый друг Японца, прекрасно говоривший по-русски. Он сразу объявил, что сию минуту подпишет чек на 375 тысяч долларов — на такую сумму заокеанский гость покупал акции банка «Шарк». Жест бизнесмена, передавшего на глазах миллионов телезрителей чек Шубарину, вызвал в ресторане шквал аплодисментов. Прокурор подумал, что если так пойдут дела у узбекских банкиров, то проблемы республики решатся в ближайшие годы.

На приеме в «Лидо» мелькали знакомые прокурору лица из прежней и новой власти, многих находившихся раньше у руля людей телезрители после завершения «перестройки» вновь увидели на экранах. Были люди с верхних этажей Белого дома, министры, но чаще других в кадрах мельтешил Миршаб — то один, то тенью следовавший за Сенатором. После тюрьмы тот показался постройневшим, энергичным. Людям, не знавшим его, Акрамходжаев в ультрамодном шелковом костюме, видимо, казался артистом — столь элегантно он выглядел. Как и предполагал прокурор, Сенатор воспользовался присутствием телевидения на банкете и дал небольшое интервью. Но тон его выступления несколько удивил: бывший заведующий отделом административных органов ЦК говорил мягко, непривычно долго подбирая слова, а на провокационный вопрос, касавшийся нынешней прокуратуры республики, ответил сдержанно. Заявил, что он ни к кому не имеет претензий, мол, время трудное, переломное, и враги, пользуясь случаем, оговорили его.

Конечно, прокурор понимал, что это заявление — только для публики, такая позиция позволяла Сенатору сделать попытку вернуться в строй: ведь если произошла ошибка, значит, надо восстановить человека во всех правах, вернуть должность, а пост он занимал ох какой высокий — курировал работу самого прокурора республики. Далекое метил Сухроб Ахмедович, в душе он, конечно, догадывался, что прокурор Камалов видит в нем только преступника, убийцу, и будет искать новые факты, чтобы отправить его за решетку. Да, сделав такую подробную запись, Камалов понимал, что телевидение сослужило ему добрую службу.

Утром, когда он, просмотрев газеты, делал выписки из наиболее интересных статей — журналисты действительно расстарались,— раздался телефонный звонок.

— Что-то я вас вчера не заметил среди именитых гостей в «Лидо»? — пошутил, поздоровавшись, начальник уголовного розыска республики полковник Джураев.

— На празднике жизни, где другие пьют шампанское и щеголяют в шелковых костюмах от Кардена, нам уготована роль мусорщиков. Они заваривают кашу, нам ее расхлебывать,— в тон ответил Камалов.

Но на другом конце провода собеседник вдруг резко, без перехода, сменив интонацию, сказал:

— Да, некоторые еще и не проснулись после грандиозного банкета, а у нас уже возникли проблемы.

— Какие? — встрепенулся прокурор, он почему-то решил, что Сенатор все-таки что-то выкинул на торжестве, воспользовался случаем.

— Это не телефонный разговор, лучше я сейчас подъеду,— ответил полковник, и в трубке раздалась короткая гудки.

Эркин Джураевич весьма кстати положил трубку, ибо, услышав его последнее слова: «Это не телефонный разговор, лучше я сейчас подъеду»,— Газанфар Рустамов, занимавший кабинет этажом ниже, прямо под прокурором Камаловым, подсоединившись к его телефону, очень пожалел, что не сделал этого на две-три минуты раньше. Его очень заинтересовало, кто же это сейчас явится по срочному делу на третий этаж. Но проследить не удалось: его самого затребовали «наверх», к одному из замов прокурора, и он просидел на экстренном совещании почти полтора часа. А когда он, выскочив первым, заглянул в приемную, Камалова в прокуратуре уже не было. Спрашивать у его помощника, кто был



на приеме, куда отбыл шеф — бесполезно: осторожный прокурор ввел с первого дня появления в должности жесткие порядки. Расстроенный Газанфар чувствовал, что проворонил какую-то важную информацию. А жаль! Вчера по телевизору он увидел, как Сенатор давал интервью. Значит, уже на свободе и завтра-послезавтра наверняка потребует с отчетом, ведь он никогда не простит Камалову ни тюрьмы, ни потери должности, положения, и в этой борьбе, конечно, не будет ничьей...

Положив трубку, Джураев бегло просмотрел сводку происшествий за минувшую ночь, где не было отмечено взволновавшее его событие, и поспешил в прокуратуру республики. То, что он собирался доложить Камалову, он оценивал как чрезвычайное событие, и следовало немедленно предпринять какие-то шаги. Преступление касалось Шубарина и его банка, только вчера ставшего известным всей республике. Мотивы случившегося не были до конца понятны опытному розыскнику, хотя и напрашивалась банальная версия — деньги, но что-то интуитивно подсказывало Джураеву: тут нечто совсем иное, непонятное ему. Прокурор Камалов давно проявлял интерес к жизни Японца, ставшего банкиром, возможно, то, что он знал, прольет свет на событие, могущее стать еще более сенсационным и шумным, чем само открытие банка «Шарк».

Камалов, положив трубку, еще раз бегло просмотрел газеты — может, он не придал значения какому-нибудь материалу, факту, — но ничего не насторожило его. А ведь статьи в газеты ставили после полуночи, ни один журналист не спешил покинуть роскошно организованный прием, и все мало-мальски интересное попало в прессу. Так что же насторожило полковника Джураева — тот никогда за время их совместной работы не говорил, как сегодня: «Не телефонный разговор...»?

Полковник появился в кабинете, как всегда, бесшумно и стремительно. Плотнее прикрыл дверь, попросил включить стоявший сбоку приемник и, заняв место у стола спиной к окну, сказал после короткого приветствия, без восточных эквивоков:

— Сегодня ночью в «Лидо» в разгар торжества пропал гость Шубарина Гвидо Лежава, гражданин США...

Прокурор, связывавший предстоящий приход Джураева с чем-либо касающимся Сенатора, ну, на худой конец, Миршаба, несколько растерялся — новость для него оказалась совершенно неожиданной, но он быстро взял себя в руки и спросил:

— Вы не ошибаетесь? Вот у меня на столе сводка происшествий за минувшую ночь по линии МВД и КГБ, тут нет ничего по-

добного, хотя презентация по случаю открытия банка «Шарк» отражена в обоих отчетах.

— Я уже видел сводку МВД, — ответил полковник.

— Значит, вам позвонил сам Шубарин? — заинтересованно спросил прокурор, сразу почувствовав, что появился реальный шанс на встречу, без всяких ухищрений.

— Нет, — ответил гость хозяину кабинета и, желая быстрее ввести того в курс дела, продолжил: — Я узнал по своим каналам. Среди ночи меня поднял с постели неожиданный звонок. Звонил один из моих осведомителей из уголовной среды, просил срочно встретиться. По тону я понял: случилось что-то чрезвычайное. Это человек далеко не сентиментальный и не путает угрозыск с собесом. Он звонил из автомата на углу, так что я спустился вниз в пижаме. Человек спросил: смотрел ли я вчера по телевизору передачу из ресторана «Лидо»? Получив утвердительный ответ, любопытствовал, понравился ли мне американец, очень смахивающий на грузина. Я ответил: «Побольше бы нам таких гостей, одним росчерком пера вкладывающих в нашу экономику почти полмиллиона долларов». Тогда он огородил меня: «Этого человека через час после интервью, в разгар торжества, выкрали». — «Откуда тебе известно?» — спросил я, понимая, что сегодня мне в постель уже не вернуться. Он сказал, что в тот вечер играл в карты в одном катране, и уже через час после происшествия туда ввалились Коста с Кареном, люди Шубарина, а на улице остались еще две «тойоты», сопровождавшие их, битком набитые парнями. Они долго трясли тех, кто мог прояснить ситуацию. Только за наколку, любой след предлагали сразу двести тысяч. По словам ночного гостя я понял, что парни Шубарина жестко прочесали город. Я попросил держать меня в курсе дел, не обольщаться в случае удачи двухсоттысячным гонораром и поставить в известность меня прежде Шубарина, а сам кинулся домой, к телефону. Но куда бы я ни звонил: в дежурную часть города, МВД республики, дежурному вашей прокуратуры, КГБ — данных о том, что похитили гостя Шубарина, не было, хотя, конечно, я в лоб и не спрашивал...

Затем я поднял всех осведомителей, даже тех, к кому не обращался уже года три, но никто из них не ведал о случившемся в «Лидо». По моей просьбе они сейчас рыщут по всему городу, как и люди Шубарина. Вызвав машину, я отправился в махаллю, где проживает Шубарин. Оставив джип на соседней улице, я прошел к его особняку. Все два этажа его дома, несмотря на глубокую ночь, сияли огнями, но это были не огни



праздника, а огни тревоги, судя по хлопающим дверям подъезжавших и отъезжавших автомобилей. По обрывкам доносившихся разговоров, приказов, раздававшихся с крыльца, я понял, что американец Гвидо Лежава действительно пропал и предпринимаются отчаянные попытки отыскать его. Утром я получил сообщение, что Шубарин уже пообещал пятьсот тысяч за информацию о месте нахождения своего друга.

— Как вы думаете, почему он не обратился в милицию, в КГБ, ведь пропал иностранный гражданин? К тому же я знаю, что и руководство республики, и правительство относятся вполне доброжелательно к банку. Записка Шубарина в Верховный Совет об экономическом положении республики и путях развития при переходе к рыночной экономике была размножена и роздана депутатам, а позже подробно обсуждалась на сессии... Так почему ему надо скрывать случившееся, пытаться самому отыскать этого грузина-американца? — спросил Камалов, по привычке включая диктофон.

— На презентацию прибыло много гостей из-за рубежа, некоторые из них готовы вложить деньги в Узбекистан, и похищение человека, купившего акций почти на полмиллиона долларов на презентации банка, конечно, отпугнет всех — это зловещий символ. Обратись он в органы за помощью, это тут же станет достоянием прессы, ныне она падка на сенсации. Тогда сразу станет ясно, что мафия, уголовный мир положили глаз на детище Шубарина. Кто же будет вкладывать деньги в такой банк, иметь с ним дело? Тут надежность, репутация, гарантии — прежде всего.

— Резонно. Вполне резонно, — ответил задумчиво прокурор. — А почему Шубарину нанесли удар именно в день презентации, или это вышло случайно?

— Знать точный ответ на этот вопрос — значит прояснить многое. Если не случайно, то существуют силы, которые уже вначале не поладили с Шубариным. Кому-то не по душе его размах, выход на Германию, — то ли отвечал, то ли размышлял вслух Джураев, и вдруг он сам спросил прокурора: — А может, у Шубарина есть еще какой-то резон не ставить органы в известность о похищении гостя, а действовать самому? Подумайте, Хуршид Азизович, ведь, судя по вашей папке, которую я видел в больнице, вы о нем знаете куда больше меня...

— Да, я собрал большой материал на Японца, фигура противоречивая, его еще предстоит разгадать. Одна дружба его с покойным прокурором Азлархановым о многом говорит. Не скрою от вас,

я очень ждал его возвращения из Мюнхена, готовился к встрече... Мне не нравится, что он якшается с Сенатором и Миршабом, я хочу вбить между ними клин. И кажется, нашел весомый аргумент. Я проанализировал докторскую диссертацию Акрамходжаева и смею утверждать, что это опубликованные и неопубликованные труды вашего друга прокурора Азларханова. Я собрал по крупицам работы Амирхана Даутовича, и любая официальная экспертиза подтвердит мою точку зрения.

— Тогда не Сенатор ли стоит за убийством прокурора Азларханова? — встрепнулся начальник уголовного розыска, столько лет мучившийся тайной смерти своего друга.

— Но это для начала мы предоставим выяснить банкиру. Не завидую я теперь ни Сенатору, ни Миршабу,— спокойно продолжал прокурор.— А сегодня нам и по долгу, и по службе, и по-человечески надо помочь Шубарину. Исчезновение гражданина США может обернуться проблемой государственной. И мне кажется, теперь я знаю, откуда начинать, только, пожалуйста, не удивляйтесь, должна же хоть иногда фортуна улыбаться и нам, мусорщикам, когда кругом пьют шампанское...— И Камалов, улыбаясь, вынул из шкафа знакомый полковнику альбом с фотографиями особо опасных преступников в республике, который достался ему от предыдущего прокурора. Отыскав страницу, на которой красовался Талиб Султанов с краткими данными о нем, прокурор передал альбом Джураеву со словами: — А этот молодой человек вам хорошо знаком?

Еще не успев глянуть, полковник пошутил:

— Они тут все мне как родные, это же я собрал сей трогательный голубой альбом и подарил вашему предшественнику. Чтобы не расслаблялся ни на минуту, зная, что в нашем крае воров-«авторитетов» лишь чуть меньше, чем в огромной России, а значит, удельный вес наших представителей в «воровском парламенте» — а он существует и работает куда эффективнее государственного — огромный...

Но в первую секунду, увидев фотографию Талиба, полковник опешил. Подумал, что председатель городской коллегии адвокатов Горский, которого он несколько месяцев назад пинком выставил со второго этажа роскошного особняка в Рабочем городке, успел пожаловаться на него прокурору, и тот хочет попенять ему за некорректное обращение с известным юристом: ведь хитрющий адвокат мог придумать десятки веских причин, почему он оказался в доме у вора в законе. И полковнику ярко припомнилась вся встреча у Талиба, где



он узнал, что за охотой на Камалова стоит человек из Верховного суда — Миршаб... Голос прокурора вернул его в действительность.

— Этот человек встречался с Шубариным в Мюнхене. Может, сей факт натолкнет вас на какую-нибудь мысль?

— Талиб?.. В Мюнхене?.. Что ему нужно от Шубарина? — искренне удивился полковник. — И откуда у вас такие сведения? Я получаю регулярные выписки из ОВИРа, слежу за передвижением интересующих меня лиц. Могу заявить со всей ответственностью: Талиб Султанов не оформлял выезда в Германию.

— Это важная новость, полковник, я не догадался проверить таким образом. Но Талиб был в Мюнхене. Информация надежная, из Интерпола. Вполне вероятно, что визу ему оформляли в Москве, теперь частные туристические фирмы за деньги кого хочешь и куда хочешь отправят, нынче рай для преступников. Но должен отметить, и вы тут правы, по наблюдениям немецких коллег, они вряд ли раньше были знакомы, хотя встреча и была неплохо организована.

— В таком случае, Шубарин и до сих пор может не знать, кто к нему приезжал, как и мы не знаем, почему Талибу понадобился Японец, да еще на чужой территории. Отчего такая спешка? Ведь из газет давно ясно, что Шубарин скоро вернется в Ташкент... — рассуждал полковник вслух, пытаясь вовлечь в решение кроссворда и прокурора — вдвоем им часто удавалось найти неожиданный ход.

— Одно теперь ясно: похищение связано только с банком, банком, не работавшим и дня, и украли близкого Японцу человека, купившего акции на крупную сумму. О чем это говорит?..

Перебивая Камалова, Джураев вставил:

— Ясно для чего: чтобы сделать большее и финансово ощутимее — возможно, кто-то хотел войти в долю или что-то в этом роде. Если бы просто похитили богатого человека, каким, безусловно, является мистер Лежава, то уже позвонили бы и попросили выкуп, и Шубарин, не желая шума, конечно, отдал бы деньги, хотя после отъезда гостей начал бы крутую разборку.

— Пожалуй, вы правы, нащупали верную причину, но это еще не след, — сказал прокурор и вновь потянулся к газетам, лежащим на столе. — Давайте снова внимательно посмотрим список тех, кого вчера Шубарин представлял как руководителей банка, учредителей — нет ли среди них людей, бросивших вызов Японцу?

Но не успел он прочитать до конца фамилии учредителей банка, как Джураев вскрикнул:

— Там должна быть фамилия Горского, председателя городской коллегии адвокатов, или же Файзуллаева, тоже пройдохи из областных прокуроров, докатившегося до юрисконсульта в одной сомнительной частной туристической фирме.

— Нет здесь таких фамилий, как и нет явно подозрительных личностей,— остудил Камалов пыл начальника угрозыска республики.

Джураев секунду сидел сосредоточенный, но потом тихо засмеялся, сорвался с места и пустился в бесшумный пляс. Прокурор, не понимая, что происходит, растерянно улыбался. Полковник вдруг заговорщически подмигнул ему и сказал нараспев, в такт танцу:

— Оттого Лежаву и выкрали, что этих людей в списках не оказалось,— не подпустили людей Талиба к престижному банку. Теперь я знаю не только кто и почему похитил американца, но даже знаю, где он содержится...

— Говорите яснее,— заволновался прокурор, почувствовав, что Джураев нащупал что-то основательное.

Пришлось Джураеву подробно рассказывать, как на другой день после покушения на прокурора в больнице он в поисках ответа на вопрос, кто же охотится за Камаловым, попал в дом Талиба, кого там встретил и чем закончился этот неожиданный визит. Тогда, медленно поднимаясь по лестнице на второй этаж, где Талиб играл с Горским в нарды, он расслышал обрывки, видимо, затянувшегося разговора. В тот миг он не придавал этому значения, у мафии ныне сотни дел, связанных с финансами и банками, с арбитражем, где требуются опытные юристы. Но сегодня вспомнилась не сцена в комнате, когда он пинком вышиб Горского, поняв, кому тот служит верой и правдой, и даже не угрозы Султанова и его нож, а всплыли ясно только несколько фраз хозяина дома и ответ гостя: «Марк Семенович, повторяю еще раз, сродняк решил, что в банк нашим представителем должны пойти вы. Там нужен умный, изворотливый человек. Или же Файзуллаев...» — «Нет, я не хочу работать рядом с ним. Пусть лучше Файзуллаев, он же из местных...»

— Пожалуй, так оно и есть,— согласился прокурор, и они оба сразу глянули на часы.

Следовало поторопиться, Шубарин и сам мог выйти на след Гвидо Лежавы, тогда они упускали бы шанс оказать помощь Японцу, чего так хотелось прокурору, думавшему о дальнейшей борьбе с Сенатором и Миршабом, да и люди банкира могли наворотить дел, и опять же американский гражданин...



— Мы освободим американца и подарим его Шубарину на блюде с голубой каемочкой. Или дадим Японцу возможность самому разобраться с Талибом и теми, кто стоит за ним? — спросил Джураев, уже доставший переговорное устройство, чтобы вызвать группу задержания.

— Наверное, все-таки следует дать Шубарину возможность самому освободить друга. А наша услуга... Он оценит, в какой ситуации мы его выручили. Если же Миршаб с Сенатором узнают каким-то образом, что это мы оказали Шубарину такую помощь, то между ними появится трещина. А потом я собираюсь поговорить с Японцем, и ему будет неловко уклониться от встречи.

Есть еще один резон предоставить это дело Артуру Александровичу. Если мы возьмем Талиба, тот никогда не признается, что похищение связано с банком, а скажет, что его подручные без его ведома выкрали американца, чтобы получить выкуп, и бьюсь об заклад, у Султанова уже есть человек, который возьмет всю вину на себя, вы ведь говорили, что Горский первоклассный юрист. В таком случае нам никогда не узнать, почему Талиб пытался внедрить своих людей в банк. А если Шубарин сам вызволит своего друга, ему при случае все-таки придется объяснить, почему выкрали Гвидо Лежаву, а не Сенатора, например. Но мы на всякий случай должны подстраховать банкира. Так что вызывайте своих парней, я тоже поеду с вами.

Когда к прокуратуре подкатили две ничем не примечательные «Волги» с форсированными двигателями и новыми шинами, прокурор набрал номер телефона Японца; сегодня, дома или в машине, он обязательно поднимет трубку. Раздался необычный зуммер, видимо, отозвался телефонный аппарат в «мазерати», и ровный голос, который Камалов вчера слышал с экрана телевизора, произнес:

— Я слушаю вас.

— Доброе утро, Артур Александрович. Вас беспокоит прокурор республики Камалов... — Он сделал едва заметную паузу, надеясь уловить в голосе банкира растерянность, удивление, но в ответ услышал спокойное:

— Здравствуйте, Хуршид Азизович. Чем обязан столь раннему звонку?

— Хочу поздравить с открытием вашего банка. Видел вчера по телевизору. Такого количества иностранных гостей не знала в Ташкенте, наверное, ни одна презентация.

— Спасибо. Банк рассчитывает на иностранные вклады, об этом уже сообщалось в прессе, оттого и гости из-за рубежа, но в основном это мои старые друзья, лишь недавно покинувшие наши края. Сегодня для них появился реальный шанс помочь родине и чаще бывать здесь. Поверьте, ностальгия — не выдумка писателей, и ею чаще всего болеют богатые, благополучные люди.

— И мистер Лежава тоже страдает этой болезнью?

— Как никто другой. Поэтому такой высокий вклад — чек на многих произвел впечатление, — голос Шубарина был по-прежнему ровен, но в нем сквозили нотки удивления.

— В таком случае, Артур Александрович, я считаю себя обязанным помочь вам и вашему гостю. Запишите адрес, где его можно отыскать: Рабочий городок, улица Радиальная, 12, двухэтажный особняк с глухими голубыми воротами — в нем некогда жил известный узбекский художник, не спутайте.

— Спасибо. Надеюсь, я не вам обязан столь злой шутке? — довольно жестко спросил Шубарин.

— Нет, не мне, Артур Александрович, а человеку, приехавшему к вам в Мюнхен, — это его адрес я продиктовал.

— Кто он? — прямо, без обиняков спросил банкир.

— Мы так и подумали, что вам не удалось выяснить, кто приезжал к вам в Германию, иначе бы уже потрянули его в первую очередь. Хотя мы знаем: он звонил вам, когда вы вернулись в Ташкент, и настаивал, чтобы вы включили в правление банка его людей, на что получил отказ. Вот вам и причина похищения американца. Его зовут Талиб Султанов, но мы, к сожалению, не располагаем данными, кто стоит за ним, на наш взгляд, он всего-навсего получил приказ.

— Спасибо еще раз. Я поспешу, Гвидо — человек нетерпеливый, горячий, не любит дурного обращения, не выкинул бы чего. И последнее: в нашем разговоре вы несколько раз сказали «мы». Значит, есть еще кто-то, кому я тоже обязан? Кто он, если не секрет?

— Полковник Джураев, начальник уголовного розыска республики.

— Серьезный мужик, я его хорошо знаю, у нас некогда был общий друг. Поблагодарите его...

Разговор неожиданно оборвался — Японец, наверное, срочно созывал к себе свою рать.

— Мы должны появиться там раньше Шубарина и незаметно занять позиции, чтобы в крайнем случае вмешаться в события



и освободить американца.— И прокурор с полковником поспешили вниз к машинам, где их дожидалась группа захвата.

Не успели парни из уголовного розыска, одетые в гражданское, незаметно рассредоточиться вокруг внушительного особняка, упавшего в зелени, и получить последние наставления полковника, как на Радиальной, возле дома номер двенадцать, притормозил темно-синий автомобиль-фургон «тойота» с затененными окнами, каких в Ташкенте за последние два года появилось множество и они уже не бросались в глаза, особенно в этой части города, где жили люди состоятельные.

Улица Радиальная, крученая-верченая, сплошь перерезанная проездами, переулками, тупиками, создавала максимум удобств и для группы захвата, и для людей Японца. Въезд в усадьбу плохо проглядывался с улицы, ибо ворота располагались в глубине, отгороженные от проезжей части плотным тщательно подстриженным кустарником, поверху еще затененным густым виноградником и вьющейся чайной розой. При прежнем хозяине, славившемся неоглядным гостеприимством, здесь не было высоких глухих ворот, и дом постоянно осаждали гости.

Бесшумная «тойота», вынырнувшая на Радиальную из ближайшего тупика, юркнула в тень виноградника у голубых ворот. Пневматические дверцы автомобиля отошли вбок, восемь парней, бросившихся к забору, молниеносно проделали какое-то гимнастическое упражнение, похожее на «пирамиду», и четверо вмиг оказались по ту сторону крепости. И тут же, скрипнув, отворилась кованая дверь. Последним из машины вышел Шубарин, в том же вечернем костюме, что и вчера, только наблюдательный человек мог заметить на нем другой жилет, с небольшим вырезом у горла, но высокий ворот рубашки с булавкой, прижимавшей шелковый галстук, словно предполагал такой жилет из кевлара. Пока Шубарин поднимался по крутой лестнице на второй этаж, трое мужчин, находившихся в доме, уже стояли в углу комнаты лицом к стене, закинув руки за голову, и дюжие парни следили за каждым их движением.

Войдя в зал, Шубарин развернул лицом к себе одного, второго, но, судя по его бесстрастному взгляду, они его не интересовали. Тут выдержка слегка изменила банкиру, и он торопливее, чем обычно, шагнул к третьему, одетому в спортивный костюм, видимо, хозяину дома. Шубарин рывком повернул его к себе и тут же узнал человека с холеными усиками и постоянно срывающимися в бег глазами. Задержанный невольно поправил волосы, и Японец увидел знакомый

перстень — «болванку» с бриллиантами, плохо выведенную татуировку у запястья — несомненно, это был тот самый гонец, посещавший его в Мюнхене. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Неожиданно Шубарин выхватил пистолет из рук стоявшего рядом Коста и, резко ткнув им в висок Талиба, тихо сказал:

— Считаю до трех. Где мой гость?

Талиб, не раз бывавший в подобных переделках, каким-то невероятным воровским чутьем угадал, что выстрела сегодня не будет, но, видя, что упираться бесполезно, сказал:

— В том угловом доме для приемов. Играет с охранниками в нарды. Думаю, у него нет к нам претензий, мы его принимали как высокого гостя...

Люди, стоявшие внизу и слышавшие разговор из окна, кинулись к одноэтажному домику, типичному в узбекских строениях, и через минуту кто-то крикнул:

— Шеф, все в порядке: он жив и даже в настроении...

Шубарин, забыв про Талиба, кинулся к окну и, увидев Лежаву, молча поднял сжатый в приветствии кулак. Шагнув к крутой лестнице, по которой Джураев некогда спустил адвоката Горского, он на секунду остановился и, обернувшись, сказал Талибу:

— Сегодня у меня праздник, гости, и мне не до тебя. Разговор с тобой еще впереди...

Джураев и Камалов находились в машине прокурора и из своего укрытия видели в бинокли, как на Радиальную вынырнула синяя «тойота» и тут же пропала у голубых ворот. Ровно через семь минут «тойота» так же быстро и бесшумно отъехала от дома. Ни шума, ни криков, ни беготни...

— Ловко работают! — невольно вырвалось у полковника.

— Хорошо, что обошлось без выстрелов, иначе бы не избежать внимания прессы, а это не нужно ни Шубарину, ни нам, ни тем более Талибу. Представляю, как он сейчас рвет и мечет... — и Камалов, хлопнув Нортухту по плечу, добавил: — Обошлись без нас, давай гони в прокуратуру, дел невпроворот. Сенатор вернулся...

Как только они выпутались из лабиринтов Рабочего городка на широкую дорогу, так сразу наткнулись на «мазерати», в которую из «тойоты» пересаживались Шубарин с мистером Лежавой. Деваться было некуда, и «Волга», прибавив скорость, пронеслась мимо в сторону центра города. Но мощно взявшая с места «мазерати» легко догнала «Волгу» и подала сигнал остановиться. Делать вид, что не за-



метили, было глупо. Камалов попросил прижаться к обочине и вышел на тротуар. «Мазерати» встала чуть сзади, и из нее тотчас появился Шубарин и направился к прокурору. Камалов впервые воочию видел Артура Александровича, он производил сильное впечатление: высокий, стройный, с открытым лицом; глаза, глубокие, ясные, говорили об уравновешенности характера, сдержанности, воле. Он подошел без восточной подобострастности, с достоинством, первым протянул руку и, поздоровавшись, сказал:

— Рад знакомству с вами, Хуршид Азизович, в такой важный для меня день. Благодарю и за то, что вы подстраховали меня с полковником. Спасибо, что предоставили мне возможность самому освободить гостя. Сейчас я не стану гадать, почему вы с Джураевым выручили меня, сегодня для меня это не главное — важно, что мой друг, поверивший в меня, в мое дело,— свободен. Нынче у меня праздник. Не любопытствую ни о чем, даже о том, откуда вы знаете, что этот мерзавец отыскал меня в Мюнхене. Догадываюсь, что если не вы, то полковник Джураев знает: утром я обещал за сведения о Гвидо полмиллиона. Но то, что помощь пришла от вас, от прокурора и начальника угрозыска, для меня большая неожиданность, и деньгами тут не отделаться. Однако я привык в жизни за все платить. Это, если хотите, мое жизненное кредо. И я ваш должник, прокурор. В трудные для вас дни вы с Джураевым можете на меня рассчитывать.

— Спасибо, Артур Александрович. Конечно, наша помощь выглядит для вас несколько странно, но это наш долг — помочь попавшему в беду. Мы не менее вас рады, что вызволили вашего друга, передайте ему от нас наилучшие пожелания, он наверняка догадался уже, с кем вы беседуете...

— Передам, прокурор, обязательно, он человек догадливый... — И Шубарин поспешил к своей роскошной машине. «Мазерати», обогнав их «Волгу», исчезла вдали.

## XV

Сенатор вернулся из заключения в «Матросской тишине» накануне презентации по случаю открытия банка «Шарк» и был весьма рад, что сразу попал в поле зрения журналистов и телерепортеров. Как человек суеверный и верящий в свою счастливую звезду, он считал это удачной приметой, особым знаком судьбы. Да и как не считать себя везучим, если выскользнул из рук Камалова, избежал «выс-

шей меры». Удача удачей, счастье счастьем, а выходило, что карьере придется вновь начинать едва ли не с нуля.

Вроде бы недолго пробыл он под стражей, а какие изменения произошли в стране, особенно после августовского путча, который, на его взгляд, следовало бы назвать фороским фарсом! Главным результатом фороских событий явился роспуск Коммунистической партии, причем не под воздействием внешних сил, а лично ее Генеральным секретарем. Такое ни один астролог или колдун не додумался бы предсказать, хотя развелось сегодня новых нострадамусов десятки тысяч. Многие еще не осознавали, что это значит для огромной страны, а Сенатор ликовал уже в тот час, когда узнал новость века — сей факт знаменовал крах единого государства, последней мощной империи на земле.

Генсек лишил великую державу позвоночника, стенового хребта — идеологии, на которой она держалась от океана до океана. Все были повязаны общностью коммунистической идеи: латыш и чукча, узбек и казах, украинец и русский, молдаван и еврей, армянин и азербайджанец, грузин и осетин, даже если они и не хотели жить в одном доме, есть из единого котла, молиться единому богу. Отныне, в связи с упразднением КПСС, каждый волен был выбирать свой путь, какой ему заблагорассудится, никто никому не указ. Какой гениальный ход — развалить руководящую партию в однопартийной стране руками ее Генерального секретаря! Подобное не могло прийти на ум даже самым изощренным врагам социализма. На борьбу с партией у них всегда имелись в запасе миллиарды, а тут вдруг такое, да еще бесплатно! Знали бы коммунисты, кого они так дружно, единогласно избирали своим вожаком на XXVII съезде КПСС! Вот поистине трюк, достойный истории. Едва ли какое событие XX века может сравниться с «подвигом» последнего генсека коммунистов.

— Ай да Миша! — часто говаривали в «Матросской тишине» в те сентябрьские дни девяносто первого года. Но Сухроб Ахмедович жалел не КПСС, в которой, конечно, состоял, как всякий уважающий себя человек на Востоке. Ему было жаль, что в такой исторический момент он оказался в тюрьме, да еще на чужой территории, за границей. Ведь он вместе с ханом Акмалем давно мечтал избавиться от диктата Москвы и в перестройке первым увидел такой реальный шанс. Это же ему принадлежат слова: «Доедем на трамвае перестройки куда нам надо, а там или соскочим на ходу, или сорвем стоп-кран».



А оказалось, не надо ни прыгать на ходу, ни тормозить огромный состав — свобода вдруг досталась бесплатно, без боя. Москва сама преподнесла суверенитет всем республикам на блюдечке с голубой каемочкой. А они оба с ханом Акмалем, те, кто должен был принять это блюдечко из рук в руки, оказались в этот момент за решеткой. Как тут не взвыть от досады? Хотя и радоваться надо, и Горбачеву большой «рахмат», конечно, стоит сказать, да и чапан золотошвейный не грех преподнести. Без его деяний власть Кремля еще долго бы простиралась от Москвы до самых до окраин... А долгожданное блюдечко с голубой каемочкой перехватили другие и спешат укрепиться, пока люди, сметенные вихрем перестройки, опять же благодаря Горбачеву, не опомнились и не потребовали свои теплые места обратно. А кто сегодня дорвется до власти — тот уже не отдаст ее многие годы, а может, даже никогда. Новые демократы, чтобы прийти к власти, обещают рай на земле, а свободы такие, что и Западу не снились. А на самом деле, чует его сердце, народу коммунистическая диктатура, власть номенклатуры вскоре покажется верхом свободы и демократии в сравнении с тем, что готовят ему новые режимы. Это уже видно по «цивилизованной» Прибалтике — там ныне такая дискриминация прав человека, на которую ни Пиночет, ни Салазар, ни Сталин не отважились.

Но Сенатора не волновали ни коммунистические идеи, ни идеи «демократического» устройства, ни даже исламский путь для Узбекистана. При любой власти, любом режиме, любой идеологии, под любым знаменем — зеленым, или в полоску, или даже в крапинку — ему всегда хотелось быть в правящей верхушке, а если уж совсем честно, на самой макушке верхушки.

Наблюдая за событиями, происходящими дома, да и в остальных республиках, где осуществлялся один и тот же сценарий, он видел, что многие рвущиеся к власти люди исповедуют такую же мораль, что и он, и готовы служить любому знамени, любой идее, чтобы их только оставили у кормушки. Это предвещало суровую и долгую борьбу за власть. И опять же он оказался прав, когда в первую свою поездку в Аксай сказал хану Акмалю: «В нашем краю смена коммунистической идеологии пройдет безболезненно. Люди, находящиеся в одной правящей партии с красными билетами, дружно перейдут в другую, тоже правящую, но только с зелеными или желтыми билетами, ибо на Востоке членство хоть в КПСС, хоть в исламской или в демократической партии — это, прежде всего, путь к должно-

сти, к креслу, а программы, устав, задачи тут ни при чем, и все вокруг прекрасно понимают это».

В тюрьму Сенатор загремел с партийным билетом, его даже не успели исключить из КПСС, а когда он вернулся, в тот же вечер Миршаб вручил ему билет уже новой и тоже правящей партии, чему Сухроб Ахмедович не удивился, и стал он теперь обладателем двух билетов. Он мог поклясться на чем угодно, что у них никогда, ни при каких обстоятельствах не будет двух равных партий, и вовсе не оттого, что правящая не допустит возникновения другой, конкурирующей. Тут совсем иное: работает психология восточного человека, благоговейно почитающего власть, государственность, чего так не хватает русским в их великой идее соборности, державности. На Востоке мало кто рискнет при наличии правящей партии вступить в конкурирующую, и незачем ее создавать. Но это вовсе не означает, что тут нет сложностей борьбы, только она возникает совсем не на идеологической основе, а на клановой, земляческой, родовой.

Каков бы ни был расклад политических сил на сегодня, Сухроб Ахмедович понимал, что главное — попытаться вернуть себе прежнюю должность, структуры власти не изменились, хотя люди в Белом доме на берегу Анхора имели партийные билеты уже другого цвета. Но он хорошо знал нравы, царящие наверху, никто так просто место не отдаст, тем более такое — контролирующее правовые органы. А органы — это реальная сила, люди с оружием. Для политика, метящего высоко, этот пост — лучший плацдарм для атаки.

Поэтому, еще не оглядевшись вокруг и не определив никакой тактики и стратегии, он дал осторожное интервью телевидению: мол, вышла промашка, накладка, его оговорили, но он никого не винит, ибо ошибки в правосудии в переломное время неизбежны. И жертвой становятся люди, находящиеся на переднем плане борьбы за перемены в обществе, истинные борцы за независимость республики, такова, мол, всегда и везде цена свободы. В общем, с достоинством, тактом, выдержкой. Подобное интервью на фоне огульного охаивания правосудия республики «тоталитарным режимом» Москвы выглядело благородно и не могло не броситься в глаза. К жертвам всегда есть не только сострадание, но и понимание, вот на это и рассчитывал дальновидный Сенатор.

На презентации Сухроб Ахмедович обратил внимание, как много новых, незнакомых людей появилось на поверхности общественной жизни, независимых, с иной манерой поведения, раскованных,



дорого и модно одетых. В большинстве своем это новый слой предпринимателей, коммерсантов, бизнесменов, людей, прежде державшихся в тени, незаметных, особо не претендовавших на власть и положение в обществе. Но едва для них появился маленький просвет, шанс — они объявились тут как тут, мгновенно заняв ключевые позиции в экономике, финансах, и всем сразу стало ясно, кто отныне будет иметь власть в республике. А ведь раньше человек, обладавший властью, не мог возникнуть ниоткуда, вдруг, следовало пройти немало должностных ступеней, причем не хозяйственных или административных, а прежде всего партийных. И все было ясно — кто за кем стоит, откуда корни, кого куда двигают. Но теперь вышло, что подобная расстановка сил, незыблемая иерархия канули в лету, ушли навсегда. Вот какой вывод сделал Сухроб Ахмедович в первый же вечер на свободе, правда, вечер необыкновенный, где наглядно демонстрировалось: кто есть кто.

Порадовался Сенатор и своему давнему поистине провидческому решению, когда он рискнул выручить Шубарина и ценой жизни двух людей, охранника и взломщика по имени Кощей, выкрал из прокуратуры республики дипломат со сверхсекретными документами прокурора Азларханова, касавшимися высших должностных лиц не только в Узбекистане, но и в Москве. Выходило, поставили они тогда с Миршабом на верную лошадку: Шубарин, не принадлежавший к партийной элите, но друживший с ней и финансировавший ее, как никогда упрочил свое положение, став банкиром, и в новой прослойке относился к ключевым фигурам. А судя по собравшимся со всего света гостям, вышел он и на международную орбиту, значит, у Сенатора появлялся шанс попробовать себя и в новой, предпринимательской или коммерческой, сфере, если не удастся отвоевать прежнее место. Уж ему-то Артур Александрович не должен отказать, обязан по гроб жизни, да и миллионы, взятые у хана Акмаля в Аксае, могут пойти в дело. Их можно прокрутить через банк два-три раза, вот тебе и удвоение, утроение капиталов. Вот что значит вовремя рискнуть и помочь нужным людям.

Да, перспективы Сенатору на свободе вроде светили радужные, но... Но по-прежнему оставался жив и пребывал на своем посту прокурор Камалов. Конечно, Москвич ни на минуту не смирится с поражением, для прокурора он был и остается только преступником, и от своего этот упрямец не отступится — такая уж порода, кремневая, не характерная для Востока. И прежде чем строить планы

на будущее, стоило разобраться с Камаловым раз и навсегда, иначе вновь окажешься в наручниках, тут обольщаться не следовало. То, чего не удалось сделать Миршабу, теперь придется решать ему самому, на ничью прокурор никогда не согласится.

Конечно, Акрамходжаев догадывался, что положение у Камалова ныне не то, что раньше, для многих радикалов, которыми отныне буквально кишит каждая суверенная республика, человек, назначенный из Москвы, представлялся кем-то вроде прокаженного. Не способствовало его популярности среди «демократов» и то, что прокурор некогда преподавал в закрытых учебных заведениях КГБ. Догадывался Сенатор, что пост Генерального прокурора страны (а так, видимо, будет называться должность Камалова в связи с независимостью) становится важнейшей государственной должностью, и могучие кланы наверняка уже обратили внимание, что в этом кабинете оказался чужой, пришлый, которого самое время спихнуть с кресла — многим он тут стал поперек горла. И этот вариант не следовало сбрасывать со счетов — тогда бы проблема разрешилась за счет чужих усилий, надо лишь знать, где полить бензином, и вовремя поднести горящую спичку, а по этой части они с Миршабом имели опыт. Без своего поста Камалов не представлял бы никакой опасности, в таком случае пусть живет и здравствует, но если он каким-то образом закрепится — говорят, в Верховном Совете он многим депутатам по душе, — тогда остается один путь...

Однако теперь, после трех покушений подряд, заставить Москвича врасплох вряд ли удастся, на случай надеяться не приходится, — он наверняка знает, что за ним идет целенаправленная охота. Возможно, прокурору даже известно, кто его «заказал», но догадки к делу не пришьешь, нужны факты, свидетели, суд. А до суда в наше время довести дело не просто, Сенатор это понял после неожиданной смерти Артема Парсегиана в подвалах местного КГБ. Да, Камалова теперь заманить в ловушку трудно, он всегда начеку, даже в больнице, и там выстрелил первым. Хотел Миршаб на другой день по горячим следам добить Камалова в палате среди дня — опять не получилось: и тут вмешался в события вездесущий полковник Джураев, он заставил выделить особую, беззаконную палату прокурору и выставил под видом медпоста охрану. Тесное сотрудничество этих двух людей становилось опасным. Джураев, давно работавший в органах, конечно, лучше других знал расстановку сил в республике, ее тайную жизнь, кто есть кто и на что способен, и наверняка частенько консультировал прокурора, большую



часть жизни прожившего в Москве и за границей. О частых визитах начальника уголовного розыска республики в здание прокуратуры докладывал Газанфар, попавшийся в сети Сенатора и Миршаба на ловко подстроенном крупном картежном проигрыше.

Так размышлял Сенатор в долгую бессонную ночь после возвращения с презентации, но какие бы планы ни строил, все упиралось в Камалова, и, засыпая под утро, он решил первым делом встретиться с Газанфаром: может, тот, работающий в прокуратуре, подскажет новые уязвимые места Москвича.

Однако утром, выезжая из ворот собственного дома в старом городе, Сухроб Ахмедович увидел прогуливающегося напротив в тени столетних ореховых деревьев человека. Одет он был для Ташкента несколько странно — в сияющих шевровых сапогах и, несмотря на жару, в темном, несколько великоватом, дорогом костюме, новом, но давно вышедшем из моды. И вдруг Сенатора осенило — да это же Исмат из Аксяя, он некогда доставлял его из резиденций хана Акмалля в горах прямо к этим воротам, чтобы доложить потом Шубарину по телефону: ваш друг дома, и за дальнейшую его жизнь аксайский Крез ответственности не несет. Да, это был Исмат, Сенатор даже услышал знакомый скрип добротной сшитых сапог. Понятно, человек, приехавший издалека, караулил его не случайно, и Сухроб Ахмедович, остановившись, поманил рукой гонца, чтобы тот сел в машину. Отъехав от дома, они обменялись приветствиями, и Сенатор спросил, почему не позвонили по телефону и не назначили встречу.

— Сабир-бобо не велел,— ответил кратко Исмат и добавил: — Ваш телефон может прослушиваться.

Видимо, следовало остановиться и где-то побеседовать основательно — в машине, несмотря на открытые окна, стояла духота, и он предложил заехать в чайхану. Сенатору и самому вдруг захотелось посидеть в какой-нибудь старой махаллинской чайхане. Одна такая на Чигатае, с хаузом, с клетками перепелов, развешанными на склонившихся к воде талах, часто снилась ему в тюрьме, туда он и направил машину.

Поутру чайхана оказалась почти пустой, лишь несколько седобородых старцев в одинаковых зеленых тюрбанах, означавших, что они совершили хадж в Мекку, занимали красный угол в ковровом зале. «Вот уж кто, наверное, признателен перестройке и Горбачеву,— подумал вдруг Сенатор о мирно беседовавших стариках.— Раньше хадж к святым местам мусульман не мог им присниться даже в самом фантастическом сне, а тут сразу трое из одной махалли».

Но мысль о благоденствии перестройки перебил запах самсы, уминаемой двумя молодыми людьми на айване, у входа. Глянув на гостя, который наверняка прилетел первым рейсом из Намангана, он понял, что Исмат еще не завтракал, да ему и самому вдруг захотелось самсы с бараньими ребрышками и курдючным салом. Он знал, что тут, напротив чайханы, в переулках, торгуют не только свежим бараньим мясом, конской колбасой — казы, шашлыками из печенки, но и пекут самсу в уйгурских дворах. Чайханщик, перехвативший взгляд посетителя, протягивая поднос с чайником и горкой парварды на тарелке, с улыбкой спросил:

— А может, самсы слоеной, прямо из тандыра, к чаю подать? — И, получив заказ, тут же направил крутившегося во дворе мальчика в соседний дом.

В чайхане они задержались больше часа. Заканчивая трапезу, Исмат неожиданно достал из внутреннего кармана пиджака железнодорожные билеты и, отдавая их, сказал:

— Это на завтрашний поезд Ташкент — Наманган, два места в вагоне «СВ», мы знаем, вы любите ездить один в купе.— Видя, что Сенатор собирается что-то возразить, торопливо добавил: — Сабир-бобо велел, чтобы вы прибыли немедленно. Вот это я и должен передать, хотя понимаю, что у вас могут быть дела дома. Но это приказ, не обижайтесь на меня, я человек подневольный...

Доставив Исмата в аэропорт — у того уже был обратный билет на дневной рейс,— Сухроб Ахмедович отправился к Миршабу. Ехать в Аксай тайно, как некогда, не было смысла: и ситуация изменилась, и он представлял теперь лишь самого себя, и партбилет ныне в расчет не принимался. Хотя, подруливая к зданию Верховного суда, он подумал, что и распространяться о поездке в Аксай не следует; если выбрал тактику невинно пострадавшего и хочет вернуть себе кабинет в Белом доме — лучше не козырять до поры до времени связью с Акмалем Ариповым.

Дожидаясь в приемной, пока у Салима Хасановича закончится совещание, попытался дозвониться Газанфару, но того не оказалось на месте, и он по-философски подумал о превратностях судьбы. Он собирался вызвать «на ковер» Газанфара, а вышло наоборот: его самого затребовал, да еще в приказном порядке, Сабир-бобо, и разговор, видимо, предстоял жесткий. Чувствовалось, что духовный наставник хана Акмаля оправился от шока, связанного с арестом хозяина Аксая, понял полный крах горбачевской перестройки,



уверился в потере контроля Москвы над краем, а значит, вновь осознал свою власть, силу денег.

С Хашимовым они проговорили почти до обеда, обсудили предстоящую поездку в деталях, ехать нужно было все равно, требовались деньги, и вызов Сабира-бобо даже оказывался кстати. Из обстоятельного разговора с Миршабом Сенатор сделал вывод, что передел власти в крае только начинается и им будет непросто сохранить свои позиции, не говоря уже о каком-то взлете. Ведь они оба поднялись неожиданно, при старой командно-административной системе, с помощью Шубарина и его влиятельных покровителей. Но Артур Александрович сегодня едва ли мог им помочь в борьбе за власть, разве что финансами; ему самому, наверное, теперь будет нелегко. Вряд ли кто из сильных мира сего сейчас будет открыто покровительствовать ему, как прежде. С крахом КПСС вроде как умерла идея интернационализма и нерушимой дружбы с русским братом, в воздухе витали другие идеи: о зеленом знамени, исламском и даже мононациональном государстве, и в этой новой ситуации, возможно, остерегутся открыто водить, а уж тем более афишировать дружбу с Японцем, хотя он и стал банкиром.

Радовало одно, что оказался прав некогда Сенатор, когда на свой страх и риск протянул руку помощи опальному хану Акмалю. И это в разгар перестройки, когда все отмахнулись от Арипова, посчитав, что дни его сочтены. Как далеко все-таки он смотрел! Теперь позиция хана Акмаля, хотя он и находится еще в тюрьме, куда предпочтительнее, чем у многих власть имущих на свободе, скомпрометировавших себя слишком ретивыми услугами московским следователям. Выходило, что Сенатору, как никому, хан Акмаль нужен был на воле. Как человек, имевший опыт тюремной жизни, Сенатор понимал, что только ему он отдаст предпочтение по возвращении. Друг познается в беде — это не пустая фраза для тех, кто испытал жесткость тюремных нар и вкус баланды. И хан Акмаль уже подал этот знак своим выступлением на суде, благодаря чему он и оказался на свободе. Теперь черед за ним.

...Скорый поезд Ташкент — Наманган отправлялся по старому расписанию, как и четыре года назад, когда он нанес тайный рискованный визит в Аксай к Акмалю Арипову, но как все изменилось и на станции, и на перроне, и в самом составе! Вокзал благополучного Ташкента, если бы не такие очевидные приметы сегодняшнего дня, как электрическое табло и ярко размалеванные проститутки,

явно напоминал военные и послевоенные годы: куда ни глянь — нищие, калеки, убогие, потухшие взгляды, небритые, вороватые лица. Толпы мрачных, плохо одетых и плохо обутих людей с немыслимыми узлами, тюками, грязными коробками, с испуганными детишками и жалкими старушками. Судя по всему, это транзитные пассажиры, спешно покидающие уже второй год подряд соседний Таджикистан, есть среди них и русскоязычные жители Узбекистана, в основном из глубинки.

На площади перед главным входом — цыганский бивак с брезентовым шатром, видимо, недавно прибыли из Молдавии, где идет настоящая война, чувствуется, спешат определиться к зиме, вот и потянулись в теплые края. Голодная Россия никого не прельщает, скорее всего, как и в прежнюю войну, толпы отчаявшихся людей хлынут отсюда в Среднюю Азию. Народ помнит: Ташкент — город хлебный, хотя и тут лепешка вздорожала в пятьдесят раз, сахар — в сто, а это всегда считалось едой бедняков, да и своих ртов нынче в Узбекистане двадцать миллионов. А ведь с какой надеждой народ поддержал перестройку, поверил в нее — и каков результат... Хотя, может, это еще ягоды...

Проводником оказался хитроватого вида нетрезвый человек в чапане и галошах, но при форменной фуражке. Сначала Сухроба Ахмедовича покорила его затрапезность, ведь в сознании человека железная дорога еще по привычке видится мощной и строгой организацией. Справедливости ради надо отметить, что честь мундира в перестройку железнодорожники блюли дольше всех: куда ни кинь взгляд, все работает с перебоями или вообще остановилось, а поезда все-таки ходят, но, видимо, и дорога бьется из последних сил. Отсутствие униформы у проводника напомнило Сенатору статью, читанную еще в «Матросской тишине». В ней говорилось, что во многих российских областях милицейская форма оказывается не по карману ее сотрудникам и каждый ходит на службу в чем придется. Обитатели тюрьмы, конечно, от восторга улюлюкали дня три, ерничали: «Менты без штанов остались»...

Едва миновали пригороды Ташкента, как человек в галошах, но уже без форменной фуражки, попытался посадить к нему в купе попутчика, шустрого молодого парня с двумя огромными тюками. Обилие «челноков» с багажом бросилось Сенатору в глаза еще на вокзале, и, дожидаясь, пока подадут состав, он старался определить, откуда какая группа прибыла. Он увидел большую команду из Турции — из Ташкента до Стамбула имелся прямой авиарейс, и для граждан Узбекиста-



на даже не требовалось въездных виз, не существовало и языкового барьера, оттого узбекские «челноки» дружно осваивали турецкий рынок. Но тот, которого попытался подсадить проводник, был из Китая, об этом свидетельствовал яркий китайский псевдоадидас, а поверх еще и кожаная куртка, запах которой тут же заполнил купе. Но полупьяный проводник, встретившись со стальным взглядом Сенатора, тут же извинился, быстро ретировался и больше его уже не беспокоил, хотя в вагоне всю ночь шла какая-то непонятная ему возня.

Поезд отходил уже в сумерках, ночь надвигалась быстро, с каждым набегавшим километровым знаком, выкрашенным, как и шлагбаумы на переездах, но скоро темнота съела и эти полосатые бетонные столбы. В купе стояла кромешная тьма, только огни станций и разъездов на миг освещали дальние углы. Встать, зажечь свет у Сухроба Ахмедовича не было ни желания, ни сил, хотя и захватил он в дорогу интересные газеты.

Он отправился в путь не с пустыми руками, как в прошлый раз, а взял небольшую дорожную сумку, кожаную, на молниях, купил он ее некогда в Австрии, в Вене. Жена, наслышанная о нынешнем обслуживании в поездах и зная, что муж человек ночной, положила ему в дорогу много вкусной еды, которую наготовила для встречи из тюрьмы, а муж, не побыв дома и двух дней, снова сорвался по делам, но она не отговаривала, понимала, видимо, что так нужно.

Состав, как и четыре года назад, кидало из стороны в сторону, из-за просадки колеи подбрасывало не только на стыках и стрелках, но и на ровных местах. Но Акрамходжаев сегодня не сравнивал железные дороги Австрии, по которым ему довелось некогда проехаться, с дорогами бывшего МПС СССР, другие мысли владели им, хотя время от времени он проваливался памятью в то давнее путешествие в Аксай, задуманное как чистейшая авантюра, но обернувшееся такими неожиданными результатами.

Сегодня он понимал, как важно для политика предвидеть, предугадать, предвосхитить события, ведь он единственный тогда попытался помочь хану Акмалю. Время подтвердило его дальновидность, и это радовало Сенатора. Глянув на светящиеся стрелки «Ролекса», он подумал: как хорошо, что не надо просыпаться на рассвете, как в прошлый раз, когда он сошел на глухом полустанке, где его ожидали, чтобы отправить в Аксай на стареньком вертолете. Теперь он ехал до конечной остановки, Намангана, и там, на вокзальной площади, его должна была ждать белая «Волга» с златозубым Исма-

том за рулем, он-то и доставит его в бывшую вотчину хана Акмаля. Однако на этот раз встреча была не по его собственной инициативе, и не с хозяином Аксая, а с его духовным наставником, Сабиром-бобо. Но что мог означать приказной тон человека в белом? «Я что, его подчиненный? — наливаясь, как всегда, внезапной злобой, подумал Сенатор. — Мальчик на побегушках?»

Но злоба как неожиданно возникла, так и пропала: перед глазами встал кожаный чемодан с пятью миллионами, некогда полученный им в Аксае, а казначеем у хана Акмаля был Сабир-бобо! За деньги ответ держать надо, хотя вроде так и не уговаривались. На Востоке счет деньгам знают, особенно личным, это не партийную или государственную кассу растратить, тут ответ не перед партией придется держать. Почему Сабир-бобо велел ему прибыть в Аксай именно сегодня, как будто у него дел в Ташкенте нет? Ведь он еще толком не отъелся и не отоспался после тюрьмы. Мысль эта показалась Сенатору такой интересной, что он неожиданно встал и включил свет. «Да, да, партия, — размышлял он, — вот где отгадка поведения тихого богомольного человека в белом. Нащупав причину, можно и подготовиться к встрече», — уже веселее подумал он и, открыв дорожную сумку, прежде всего вынул коробку с чаем. Несмотря на продовольственный кризис, он своих привычек не изменил, пил черный английский чай «Эрл Грей — Серый кардинал», — ему нравился ароматный привкус бергамота. Доставая пакеты, кулечки, свертки, он тепло подумал о жене — она учла все его вкусы, вплоть до жареного миндаля к его любимому чаю. «Надеюсь, с кипятком еще не наступили перебои», — подумал Сенатор и отправился к титану, — чайник и две пиалы по давней традиции еще сохранились в привилегированном вагоне.

За чаем он не спеша обдумывал неожиданно возникшую мысль. Выходило все верно: Сабир-бобо думает, что с упразднением КПСС Сухроб Акрамходжаев навсегда лишился своего положения и влияния. На Востоке человек прежде всего оценивается по должности, поэтому здесь такое гипертрофированное почитание чина, кресла и власти в целом. Но старику, даже такому мудрому, как Сабир-бобо, с высоты его библейского возраста уже не понять всех хитросплетений, возникших с перестройкой, а главное, с обретением республикой государственности. И тут он пожалел, что не догадался захватить с собой новый партбилет, вот это был бы козырь, лучшее доказательство, что партия была, есть и будет, а как она теперь называется, какие у нее ныне лозунги — не суть важно. Главное, несколько



не изменились структуры власти: если раньше всем в крае заправлял секретарь обкома, то теперь правит хоким. Но он-то назначается правящей партией, а она как была, так и состоит из прежних членов, хотя и сменила название, а горлопаны, так называемые «демократы», как ничего не имели, так и остались при своих интересах. Пусть поговорят, на Востоке говорунов не жалуют. Так что зря Сабир-бобо думает, что он выпал из обоймы и ему можно приказывать.

Да, деньги, родословная, связи, протекция важны, но сегодня, в исторический момент, это еще не все — нужны люди с опытом управления государством, с государственным мышлением, популярные в массах, — таким был для народа покойный Рашидов. А сейчас подобным человеком Сенатор видел себя, и, конечно, рядом с Акмалем Ариповым, — без него, Акрамходжаева, хану Акмалю в Ташкенте не обойтись. Слишком далек Аксай от эпицентра схваток, слишком надолго выпал аксайский хан из политической борьбы и интриг. Вот и выходит, что нет у них в столице более достойного представителя, чем Сухроб Акрамходжаев, а значит, приказывать, помыкать собою он не позволит. Эта мысль успокоила Сенатора: теперь он знал, как вести себя с духовным наставником и главным казначеем хана Акмаля.

Одного чайника оказалось мало, и он заварил еще один — чай всегда помогал ему в ночных бдениях, ему так не хватало его в тюрьме, может, оттого часто снились уютные чайханы Ташкента, Хорезма, Ферганы — повсюду у них свой колорит, особенности. Однажды приснилась ему чайхана родной махалли, в жизни которой он принимал активное участие, правда, в последние годы все меньше и меньше, отделялся крупными взносами на общественные нужды. Он даже проснулся в слезах и, находясь в плену минутной слабости, подумал: вот если вырвусь из «Матросской тишины» — никакой политики, никакой борьбы за власть, только дом, семья, дети, долгие вечера в любимой чайхане за нардами, шахматами. Как же он мало знал себя! Прошло всего несколько часов, как он переступил порог дома после тюрьмы, а уже надо было собираться в «Лидо» на открытие банка Артура Александровича, а через сутки он уже оказался в дороге, спешит в Аксай выхватить очередные миллионы — и не на жизнь, а на борьбу за власть, за место в Белом доме. Какая же она сладкая вещь — власть, философски рассуждал он, если ради нее уже забыты тюремные нары, ночные допросы, дети, жена, уют дома и любимой чайханы!

— Власть! — тихо, но внятно произнес Сенатор, пытаясь на слух почувствовать магию манящего слова. — Власть, власть... — повторял

он как заклинание, и вдруг новый виток мыслей закрутился вокруг вожделенного слова, звучащего коротко, как выстрел: — «Власть»!». Но вся власть, которую он знал до сих пор, не шла ни в какое сравнение с тем, что сулила нынешняя, в суверенном, независимом государстве. Какие открывались возможности! Дух захватывало.

Поехать в Париж, Лондон, Амстердам или отдохнуть на Канарских островах, на Фиджи — извольте, только пожелай, не надо согласовывать ни с какой Москвой, ни от кого не надо ждать разрешений. Нужны доллары — позвони министру финансов или председателю Госбанка, если они твои люди, а можно и Артуру, в его банке наверняка валюты будет больше, чем в государственном.

Надумаешь хадж в Мекку совершить, замолить грехи, — а их ох как много! — опять же не надо за партбилет, за кресло дрожать, заплатить и прямым рейсом в Джидду, а там, может, тебя и на правительственном уровне примут, как-никак один из членов правительства независимого государства прибыл. Можно построить виллу, дворец, загородный дом в три этажа, с бассейном, теннисным кортом, сауной — и никакого партийного или народного контроля. Можно ездить на «мерседесе», «вольво» или даже, как Шубарин, на «мазерати». Вот что значит настоящая власть в суверенном государстве!

Помнится, он когда-то втолковывал хану Акмалю у водопада Учан-Су в горах Аксая: мол, какие же вы с Рашидовым хозяева в своем крае, если в приватном разговоре не решаетесь лишнее слово сказать, боитесь — до Москвы дойдет, а у нее рука длинная, хлыст жесткий! Живете по указке Кремля, пляшете под его дудку. И какая же ныне перспектива открывалась для тех, кто оседлает пятый этаж Белого дома на Анхоре, даже дух захватывает. Ныне власть не могли насадить ни из Москвы, ни из Стамбула, все решалось в Ташкенте, и не только с трибун Верховного Совета. Решалось на базарах и площадях, в тысячах мечетей, возникших словно по мановению волшебной палочки, почти во всех махаллях городов и в кишлаках.

Еще вчера какой политик всерьез принимал религию, считал себя верующим? Наоборот, кичился своим атеизмом, ибо этого требовал устав партии. А сегодня не принимать всерьез влияния духовенства на массы — опасная самоуверенность. Один мулла в пятничный день в большой мечети стоит сотни партийных агитаторов, а влияние Духовного управления мусульман уже ощущает и правительство, и каждый гражданин. Хотя сам муфтий неоднократно заявлял и в печати, и по телевидению, что исламу чужда политика и он не намерен



заниматься ею. И то правда: надумай Духовное управление создать исламскую партию, зашаталась бы и правящая, не говоря уже о новых партиях и движениях, а у духовенства средств на это достаточно и интеллектуальный потенциал не беднее, чем у бывших коммунистов, а главное, она еще не скомпрометировала себя перед народом, усталые массы поверили бы ей, ибо ислам во многом повторяет несбывшиеся идеи социального равенства и справедливости.

Сухроб Ахмедович не мог философствовать отвлеченно даже о религии, все переводил в практическую плоскость, поэтому, достав записную книжку, сделал важную пометку, что если завтра он вырвет в Аксае десять-двенадцать миллионов, то обязательно должен отыскать в Ташкенте строящуюся мечеть, которую намерен посетить муфтий. Вот в эту мечеть он внесет или крупную сумму, или купит нечто материально или духовно ценное для ее обустройства. Такой жест не останется незамеченным, дойдет до слуха муфтия, нынче в трудные времена мало кто позволяет себе щедрую благотворительность. Такой поступок в нужное время откроет путь к духовенству, и благословение муфтия будет не лишним...

Скорый натужно рвался сквозь бархатно-вязкую темноту азиатской ночи, выхватывая дальним светом мощных тепловозных фар убогие постройки на полустанках и разъездах. Даже выплывшая из-за туч полная луна не скрашивала нищеты и бедности строений вдоль дороги, а в тесных дворах, жавшихся плотно друг к другу, как в малоземельной Японии, не было места ни саду, ни огороду. Так — одна орешина, корявая яблоня у ограды или вместо нее тутовник с обрубленными ветвями да грядка зелени — не то лука, не то редиски. Прежние власти людей землей не баловали. «Как они здесь живут? И как все это терпят?» — вдруг подумал Сенатор, но докапываться до причин не хотелось. Он, однако, отметил, что и коммунистам, и новым силам, рвущимся к власти, крайне повезло — такого терпеливого, безропотного, доверчивого народа, наверное, нигде больше нет. Обещали ему туалеты из золота, чтобы унижить презренный металл, как это пророчил Ленин, коммунизм в восьмидесятых, как Хрущев, или каждому квартиру к двухтысячному году, как Горбачев, — всему поверят и будут ждать.

Правда, глашатаи подобных пустых обещаний давно живут как при замышленном ими же коммунизме, Москва наплодила целый легион таких глашатаев-наместников и для России, и для всех окраин. Приезжает такой сказитель легенд о коммунизме, — а назывался он се-

кретарем обкома, — скажем, в Актюбинск, как некто по фамилии Ливенцов, или в Краснодар по фамилии Медунов, в Алма-Ату — Колбин, в Кишинев — Смирнов, в Ташкент — Осетров, а дальше для любого города, края, республики можно добавить свои фамилии, схема одна, давняя и проверенная. И вот сидят такие сказители в своих креслах по десять — пятнадцать лет, разваливая все до основания, повторяя, как заклинание: «Для нас главное — идеология!» А когда чувствуют запах жареного, спешно снимаются с насиженных мест, бросают шикарные квартиры, дачи, загородные дома и бегут в Москву, где для каждого из них уже готово жилье в престижном доме и привилегированном районе, с обязательной дачей в Барвихе, Переделкино, с прислугой, автообслуживанием и пайком до конца жизни. Сколько их понаехало в Москву только за последние пятьдесят лет! Не счесть! Вот бы нашлась какая сила, чтобы вымела всех обратно из Москвы в свои бывшие «вотчины», чтобы остаток жизни они прожили там, где княжили, где обещали светлую жизнь. Какой бы нравственный урок был для новых властителей! Но ведь ворон ворону глаз не выклюет!..

Сухроб Ахмедович на минуту даже испугался своих праведных мыслей, случались с ним такие срывы. В нем спокойно, без угрызений совести, уживались сыщик и вор, черное и белое. Это давно, еще со студенческих лет, заметил в нем его друг и соратник Миршаб. «Горазд ты на праведные речи», — говорил он иногда с восторгом, ошарашенный неожиданной позицией своего друга. Впрочем, теперь подобное раздвоение личности он считал нормальным для политика состоянием. Говоришь одно, думаешь другое, делаешь третье — это ведь сказано о всех политиках, а не только о нем, подмечено, кажется, учеными мужами, философами еще в Древнем Риме.

Сенатор не забывал первых уроков, полученных им в Аксае от хана Акмаля в самом начале политической карьеры. Главное — никогда не теряться, учил обладатель двух «Гертруд», даже если сказал глупость или еще что-то похуже, всегда можно отказаться или уверить, что не так поняли. А для этого следовало научиться говорить витиевато, долго, с отступлениями от поставленного вопроса.

Несравненным мастером говорить ни о чем, уходить от вопросов самых цепких репортеров был, на взгляд хана Акмаля, Горбачев. Аксайский Крез знал силу слова, сам был непревзойденным словесным дуэлянтом, и это он сказал о Горби в самом начале карьеры генсека самой многочисленной партии мира. Не зря тогда же, с интервалом в неделю-другую после слов хана Акмаля, канцлер Коль,



с которым Горбачев позже подружится и даже благодаря ему получит звание «почетного немца», назвал его пропагандистскую активность геббельсовской. На что Горбачев сильно обиделся, и между нашими странами на какое-то время установились прохладные отношения. Дипломаты с обеих сторон постарались загладить скандал.

Конечно, Сенатор понимал, что ему в красноречии с Горбачевым никогда не сравниться, как далеко ему и до возможностей хана Акмаля, не раз загонявшего в тупик ташкентских краснобаев, упивавшихся звуками собственного голоса. Но и он одерживал победы в словесных турнирах. Незадолго до своего освобождения он двое суток провел в большой общей камере, где содержались в основном москвичи. С первых же часов пребывания в новой камере он почувствовал к себе высокомерно-пренебрежительное отношение. Возможно, его появление и спровоцировало «общество» на разговоры о Средней Азии — в тюрьме все темы быстро исчерпываются. Теперь разговор хоть в тюрьме, хоть на свободе об одном — о политике. И сокамерники, кто во что горазд, прохаживались по суверенитету азиатских республик. Как и большинство москвичей, они путали Таджикистан с Туркменией, Казахстан с Киргизией, Ташкент с Алма-Атой или Ашхабадом. Для многих его сокамерников оказалось откровением, что тут проживает почти шестьдесят миллионов человек, причем больше половины в возрасте до восемнадцати лет, что пятьдесят процентов золота страны добывается в Узбекистане, и что за тонну хлопка на мировом рынке можно купить двенадцать тонн пшеницы. Именно в этом регионе почти все залежи урановой руды и добывается большая часть цветного металла: меди, алюминия, свинца, вольфрама, титана, молибдена.

Наверное, такого осторожного человека, как Сенатор, не удалось бы втянуть в горячий спор, после которого редко расходятся мирно и дружелюбно, если бы кто-то из оппонентов цинично не отозвался об интеллектуальных способностях жителей Средней Азии — им якобы не прожить без квалифицированной помощи извне. Вот тут-то Сухроба Ахмедовича и зацепило, хотя он знал, как говорится, что вопрос имеет место. Но тогда, вспомнив хана Акмаля, он не растерялся и ответил в манере навязанного разговора.

— Это без интеллектуальной мощи Москвы мы не проживем? — спросил он с коварным добродушием и, дождавшись утвердительного ответа, продолжил: — Как же вы собираетесь помогать нам, темным азиатам, если в самой России паника, ни одна газета, ни одна передача на телевидении, ни одно парламентское слушание не обходится

без панического разговора о катастрофическом оттоке мозгов на Запад, прежде всего из Москвы и Ленинграда? И отток был бы еще больше, если б не астрономические цены на авиабилеты — единственное, что удерживает многих российских специалистов, особенно молодых, готовых за доллары работать в любой стране и на любой работе. Так что, господа москвичи, подумайте о себе, прежде чем нас жалеть.

А у нас такой проблемы не существует. Даже при бесплатных билетах и гарантиях комфортной жизни ни один казах, узбек, киргиз, таджик не покинет родные места. Наоборот, с обретением независимости ожидается мощный приток восточной диаспоры, вынужденной в революцию под страхом смерти эмигрировать на Запад. Вот в чем гарантия нашего возрождения, господа жалельщики, — с торжеством закончил Сенатор.

Сказанное раскололо единую вначале московскую братию на несколько групп, но, главное, сбило спесь, они все-таки согласились, что это немаловажный фактор.

Сухроб Ахмедович считал, что в тот день он одержал важную для себя победу. Она укрепила в нем уверенность, а случай этот он припас для какого-нибудь публичного выступления, верил, что история вновь поднимет его на гребень очередной популистской волны.

Поезд все дальше и дальше втягивался в золотую долину, жемчужину земли узбекской, даже воздух тут ночью напоминал крымский. Обилие садов, виноградников, близость гор, речушек, знаменитого Ферганского канала резко отличали этот край от степного Джизака или северного Хорезма, из этих благодатных мест был родом и Москвич, прокурор Камалов, заклятый враг Сенатора. Но сегодня, в поезде, он не хотел возвращаться мыслями к Камалову, он понимал, сколь многое зависит от встречи с Сабиром-бобо, от того, какую сумму удастся вырвать в Аксае, — любое убийство теперь стоит немалых денег, а уж смерть Генерального прокурора республики... С мыслями о том, сколько же ему перепадет на расходы от духовного наставника хана Акмаля, Сенатор и заснул. Спал он спокойно, ибо разгадал тайну повелительного тона человека в белом; правильно говорили древнегреческие эскулапы — установите диагноз...

## XVI

Утром, когда скорый точно по расписанию прибыл в Наманган, он несколько задержался в купе, чтобы не столкнуться лицом к лицу



с кем-нибудь из попутчиков и встречающих. Столь скорое путешествие в Наманган человека, только что освободившегося из тюрьмы, могло вызвать не только любопытство, но и кривотолки, а они наверняка дошли бы до слуха Москвича. И тот понял бы сразу, в какую сторону он наострил лыжи, а еще хуже, получил свидетельство того, что выступление хана Акмалья на суде, послужившее одним из весомых аргументов освобождения Акрамходжаева из «Матросской тишины», — четко выверенный ход, обманувший правосудие и открывший двери тюрьмы его сообщнику. Засними люди Камалова его визит в Аксай — трудно было бы найти объяснение этому путешествию, ведь хан Акмаль объявил его манкуртом, врагом номер один узбекского народа, и обещал ему суровый суд. Поэтому, когда Сухроб Ахмедович появился на привокзальной площади, она уже была пуста, только вдали у закрытого газетного киоска стояла светлая «Волга». К ней неторопливо и направился высокий человек в черных очках. «Волга» с затемненными окнами, поджидавшая с работающим мотором, легко взяла с места и мощно рванула к центру города.

— Я уже решил, что вы передумали ехать к нам, — сказал Исмат, улыбаясь. — Вы последним появились на перроне, хорошо, что я не поспешил позвонить, расстроил бы старика, он очень ждет вас... — И золотозубый шофер, извинившись, остановил машину. Набрав телефонный номер прямо из «Волги», не то в Намангане, не то в Аксае, он сказал кому-то радостно: — Гость приехал, будем через час...

Когда-то по этой же дороге Исмат вез его к поезду Наманган — Ташкент, но полюбоваться пейзажами ему тогда не удалось, он анализировал встречу с ханом Акмалем, пытался подсчитать, в чем выиграл, в чем проиграл, да и досье на него, отданное хозяином Аксае в последний момент и лежавшее рядом, не давало покоя, хотелось заглянуть, что же о нем знает всеильный Арипов. Но запомнились часто встречавшиеся и обгонявшие машины. На этот раз трасса оказалась пустынной, и Сенатор любопытствовал, отчего бы это, на что Исмат дал бесхитростный ответ: «Бензина нет...» А на въезде в Аксай попались даже две повозки, запряженные осликами, — чем-то довоенным или послевоенным дохнуло на Сенатора не только на столичном вокзале, но и в глубинке.

Еще четыре года назад с вертолета он обратил внимание на прямую, как стрела, главную улицу Аксае, носившую имя Ленина. Она была обсажена с обеих сторон стройными чинарами и пирамидальными тополями и упиралась в огромную площадь, претенциозно

названную Красной, посреди которой высился огромный памятник вождю. Не во всяком областном городе стоял такой внушительный памятник. Раньше он украшал главную площадь Ташкента и уже тогда считался самым высоким в Азии, но...

Гигантский, самый большой в мире памятник Ленину, выполненный известным скульптором Николаем Томским, специализировавшимся преимущественно на Ильиче, не сумел выкупить какой-то иноземный заказчик, — то ли обанкротился, то ли лишился власти. Вождя революции и мирового пролетариата, попавшего в «пикантную» ситуацию, «выручил», не торгуясь, Шараф Рашидов. Так памятник появился в Ташкенте. А оставшуюся не у дел скульптуру Ильича Арипов сумел выпросить у своего друга.

Конечно, он возжелал поставить памятник вовсе не из-за горячей любви к Ильичу, а хотел доказать влиятельным секретарям обкомов, что Аксай — второй по значению после Ташкента центр в Узбекистане. Рядом, в тени бронзового вождя, в уютном скверике, обсаженном густым кустарником, располагался просторный айван, крытый текинским ковром ручной работы кроваво-красного цвета. На нем, как рассказали Сенатору в первый приезд, любил сиживать с четками в руках сам хан Акмаль — думу великую думал, наверное, как по-ленински жизнь в Аксае организовать. В его отсутствие на этом месте появлялся двойник, напоминавший землякам, что хозяин все видит, все слышит, но вот какие он думы думал, трудно представить. В прошлый раз Сухроб Ахмедович прямо на это лобное место, на кроваво-красный ковер, и спустился из вертолета. И сейчас ему захотелось вновь глянуть на аксайскую Красную площадь, и он попросил Исмата проехать мимо памятника, на что шофер глубокомысленно и важно ответил:

— А Красную площадь, Ленина в Аксае объехать невозможно, так задумано, — видимо, золотозубый вассал повторял любимую фразу хозяина.

Еще не выскочили они на простор Красной площади, как Сенатор невольно ахнул: перед ним, напротив знакомого памятника Ленину, высилась почти законченная мечеть. Только строительные леса кое-где да японский автокран «Като» с пневматической выдвижной стрелой у одного из минаретов указывали, что там еще идут какие-то работы. Подъехав ближе, он удивился еще больше: Ленин с призывно поднятой рукой напротив высоких резных дверей мечети словно страстно призывал правоверных на утренний намаз, от этого ощущения невозможно было избавиться, гость почувствовал это сразу. Странно, но пу-



гающая громадность площади, которую он ощутил в прошлый раз, в долгом ожидании приема, сейчас исчезла, мечеть удивительно гармонично вписалась в нее, убери даже Ленина с высокого гранитного пьедестала — пропали бы пропорции, соразмерность двух культовых сооружений, словно хан Акмаль специально замыслил ежедневно, еженощно унижать борца с «религиозным дурманом».

С первого взгляда чувствовалось, по крайней мере Сенатору, что мечеть спроектировал талантливый человек, современный, такие сооружения он встречал только за рубежом: в Турции, Кувейте, Саудовской Аравии. Наши, знакомые ему по Бухаре, Самарканду, Хиве, Хорезму, явно проигрывали этой, вобравшей в себя весь современный архитектурный изыск. Высоки, стройны и изящно-ажурны были оба минарета, наверняка оснащенные мощной аудиоаппаратурой. А купола главного молельного зала и крытого двора мечети серебристо блестяли хорошо отполированной цинковой жстью. Особенно хороша, словно морская волна или чешуя какой-то диковинной громадной рыбы, оказалась жсть на перекрытиях внутреннего двора, где опорами служили резные прямоствольные корабельные листовенницы.

Заметив неподдельный интерес гостя, Исмаг притормозил «Волгу». Сенатор не стал выходить из машины, только приспустил оконное стекло. Мечеть действительно понравилась ему, жаль, подобной не строилось в Ташкенте, в нее он обязательно вложил бы деньги, на открытие такой красавицы наверняка прибыл бы сам муфтий. Но вслух он спросил:

— Кто же задумал богоугодное дело: власти, народ, духовное управление?

— Нет, Сухроб-ака, не отгадали. Это Сабир-бобо, в нее он вложил все свои сбережения, он — человек богатый, вся казна хана Акмаля у него в руках, но деньги нужны были лишь вначале. Потом подключились все: и народ, и власть, везут и несут день и ночь, и деньги, и материалы, и оборудование. И вам бы следовало сразу объявить о каком-нибудь подарке на обустройство мечети, старику приятно будет.

— Наверное, он решил открыть мечеть в день освобождения хана Акмаля. А может, он даже назовет ее именем своего ученика?

— Хорошо, что вы об этом заговорили. Мечеть — самая большая радость в жизни старика и самая большая его тревога. Он спит и видит, что мечеть назовут его именем, оттого он дважды подряд хадж в Мекку совершил, чтобы не оказалось в крае конкурентов по святости, ради этого готов он и в третий раз поцеловать святой черный камень Каабу.

Из святых мест он и привез домой проект этой мечети. Один паломник, оказавшийся известным архитектором из Стамбула, — с ним старик познакомился в Медине, — подарил его, обещал приехать на открытие. Все вокруг, зная Сабира-бобо, его преданность хану Акмалю, считают, что он строит мечеть в его честь, но это совсем не так. Старику очень нравится, когда его спрашивают: как ваша мечеть? Как мечеть Сабира-бобо? Учтите это, если хотите что-то заполнить от него...

— Спасибо, Исмат. Это очень важная для меня информация. Мне действительно лучше польстить старику, от него многое теперь зависит в моей судьбе.

Прежде чем уехать с площади, Сенатор еще раз глянул в сторону памятника, но, сколько ни всматривался, айвана в тени бронзового вождя не было, значит, в перестройку одним «святым местом» в Аксае стало меньше. Глянул он и в сторону четырехэтажного здания правления агропромышленного объединения, принесшего столько славы, наград и доходов хану Акмалю, хотел спросить у Исмата, сняли ли грузовой лифт для автомобиля Арипова, на котором тот поднимался прямо к себе в приемную, но в последний момент передумал. Лифт, конечно, как и айван, давно демонтировали и продали на сторону, и скорее всего какой-то более удачливый чиновник из новой «перестроечной» волны установил его у себя в особняке — нынче быстро строятся не только мечети. «Видимо, результаты перестройки в Аксае можно увидеть только на этой площади», — озорно заключил Сенатор и велел трогаться.

В прошлый раз Акмаль Арипов принимал его в резиденции, расположенной в яблоневом саду, в гостевом доме, а на второй день перебрались высоко в горы, к водопадам, поближе к тайникам. Тогда двухэтажный охотничий домик, выстроенный в ретро-стиле тридцатых годов, поразил его простотой и уютом, каминным и бильярдным залами, просторными верандами, где в хорошую погоду накрывали столы, и, уезжая, он сказал себе: если доберусь до власти, сумею отправить хана Акмаля в эмиграцию, то оставлю это здание нездешнего архитектора за собой. Как ни было любопытно, но он опять воздержался расспрашивать Исмата о судьбе охотничьей усадьбы у водопада Учан-Су. Скорее всего, пользуясь безвременьем и решив, что хан Акмаль навсегда сгинул в подвалах Лубянки, давно растащили громоздкую тяжеловесную арабскую мебель из столовой, огромные gobelены со сценами охотничьей жизни, не говоря уже о коллекции ружей и тщательно подобранной посуде.



Машина, пропетляв улицами Аксая, въехала в какой-то зеленый тупичок на окраине и остановилась у одноэтажного дома за высоким глухим дувалом из желтого сырцового кирпича. С улицы дом мало чем отличался от соседских, хоть слева, хоть справа, хоть любого напротив, но Сенатор знал традиции своего края: тут не принято жить напоказ, фасадом, подавлять соседа величием и богатством. Здесь живут «окнами во двор», как мудро выразился один англичанин о Востоке еще в начале двадцатого века.

Как только машина остановилась, створки старых скрипучих деревянных ворот тут же распахнулись, словно управлялись волшебной электроникой, как в западных аэропортах и отелях. Ему показалось, что они въехали в какой-то тоннель, так внезапно потемнело, но он понял сразу, что двор затенен густорастущим виноградником вперемежку с вьющейся чайной розой, да так искусно, что солнечному лучу не удастся пробиться сквозь листву. Да, есть еще на Востоке мастера своего дела, видимо, такой и следил за садом Сабира-бобо.

Дом стоял чуть в глубине двора, и вряд ли его можно было разглядеть хоть с улицы, хоть из-за соседнего забора, он утопал в зелени, цветах. Но поражал прежде всего не дом, а территория, по узбекским меркам просто громадная, и потому внушительное одноэтажное строение на высоком фундаменте, выдававшее подвальный этаж, не бросалось в глаза на таком пространстве, хотя при ближайшем рассмотрении резных колонн открытой веранды обнаруживались солидные размеры здания. Вся огромная площадь усадьбы была разбита высокими стенами из живой ограды — плотного вечнозеленого кустарника и все той же чайной розы вместе с виноградом, дорожки, проходы, главная аллея оказались затененными, как и несколько беседок, чуть возвышающихся над землей. Слышался шуршащий ток воды, но арыков он не видел, а прохлада, свежесть ощущались.

Стояла такая первозданная тишина, что, как и в прошлый раз, он подумал, что его привезли в пустой дом, ведь учитель мог оказаться таким же мистификатором-иллюзионистом, как и его знаменитый ученик, но эту мысль Сенатору до конца додумать не удалось. С шумом распахнулась одна из дверей на веранде, и прежде чем увидеть, гость услышал знакомый скрип сапог и, обернувшись, встретился взглядом еще с одним золотозубым человеком, кинувшимся к нему навстречу с улыбкой. Это был Ибрагим, тот самый, что в прошлый раз по приказу хана Акмаля пинал его но-

гами. При виде Ибрагима у Сенатора невольно заныло в боку, но он все же с улыбкой шагнул навстречу.

— Ассалам алейкум, Сухроб-ака, с приездом, с возвращением в наши края,— обняв его, приветствовал гостя погрузневший и поседевший Ибрагим.

Сенатор слышал, что после ареста хана Акмаля у него было много неприятностей и с земляками, и с властями, даже содержали несколько месяцев под стражей в Ташкенте. Пытались дознаться, где же хан Акмаль спрятал свои миллионы, но верный вассал выдержал многочасовые ночные допросы, и вот вроде на его улице сегодня праздник — вернулся из тюрьмы один из влиятельнейших друзей Аксая, значит, и сам хозяин должен вот-вот объявиться.

— Выглядите вы прекрасно! — с восхищением сказал, оглядывая гостя, Ибрагим.— Я ведь знаю, что вам довелось испытать в «Матросской тишине». Даже того, что на мою долю выпало, могу пожелать лишь врагу.

— Спасибо! — с волнением ответил Сухроб Ахмедович, невольно ощутив признательность за сочувствие. И вдруг он понял, что копившаяся несколько лет злоба на Ибрагима за избиение в краснознаменной комнате пропала навсегда, а Ибрагим, столько лет боявшийся этой встречи, тоже почувствовал, что прощен, и оттого еще раз сгрел гостя в свои могучие объятия. Разговаривая с Ибрагимом, он невольно ловил себя на мысли, что поглядывает за спину собеседника, на веранду, не распахнется ли еще раз дверь и не появится ли сам Сабир-бобо, хозяин великолепной усадьбы.

Но Ибрагим, хотя и был взволнован встречей, а главное, своим прощением, все же заметил этот взгляд, уловил желание гостя скорее увидеться с хозяином и, глянув на часы, очень тактично сказал, помня, что Сухроб Ахмедович человек крайне обидчивый:

— Хозяин ждет, и с нетерпением, но сейчас час молитвы, это время принадлежит только Аллаху, нет таких дел на земле, ради которых следует прерывать утренний намаз.

— Извините, я не учел это обстоятельство, хотя должен был догадаться, мы с Исматом по дороге заезжали в мечеть,— сказал, как бы оправдываясь, Сенатор, но в душе он обрадовался объяснению, ибо уже начинал нервничать, полагая, что его опять решили выдержать в предбаннике, как в прошлый раз.

— Пиалушку чая с дороги? — предложил Исмат и показал рукой в направлении одной из шатрообразных беседок.



К ней втроем и двинулись. Пол беседки устлала ковры с разбросанными поверх яркими курпачами и подушками, а посередине высился низкий столик хан-тахта,— по запаху горячих лепешек чувствовалось, что накрыли его за несколько минут до их приезда. Гостю предложили почетное место, и вновь, как и четыре года назад, за утренним чаем они оказались в прежнем составе. Ибрагим напомнил о той давней встрече и даже достал из кармана пиджака визитную карточку, которую некогда Сенатор вручил им обоим. Опять ели горячие лепешки с джиззой, присыпанные слабым красным перцем, макая их то в густую домашнюю сметану, то в молодой горный мед с личных пасек Сабира-бобо, снова он восхищался вкусом чая, и вновь ему напоминали о воде из Чаткальских родников. В общем, легкий светский разговор ни о чем: ни о хане Акмале, томящемся в подвалах Лубянки, ни о самом Сенаторе, только освободившемся из тюрьмы, ни даже о Сабире-бобо — сотрапезники, как и в прошлый раз, показывали поразительную выдержку, такт, считая, что только важный гость вправе затронуть серьезную тему. «Да, выучка у людей хана Акмаля отменная, ее не подпортила даже перестройка...» — с улыбкой подумал гость.

Вдруг среди вялотекущего разговора о достоинствах ташкентских и наманганских лепешек они услышали что-то наподобие гонга, только звук был чуть мягче, мелодичнее. Оба сотрапезника как-то сразу подобрались и чуть ли не в один голос объявили:

— Ходжа закончил молитву, и он ждет вас.

Сухроб Ахмедович рассчитывал, что они направятся к дому, а получилось наоборот, пошли вглубь сада, и тут гость увидел широкий и полноводный арык. Беседка, сплошь увитая ярко цветущими розами, в которой их ждал Сабир-бобо, стояла на сваях прямо над водой. Доведя гостя до высокого крыльца, устланного потертой ковровой дорожкой, сопровождающие молча, жестами, велели подняться, а сами, развернувшись, заскрипели сапогами по асфальтовой тропинке к дому.

Шатрообразная беседка, стоявшая над широким арыком, пробивалась утренними лучами солнца и свежим ветерком с поверхности быстротекущей горной воды, оттого в ней оказалось светло и прохладно. И только переступив порог, он увидел сидевшего в углу человека, задумчиво перебиравшего четки, рядом — невысокую подставку на манер музыкального пюпитра из резного красного дерева, на ней раскрытую старинную книгу с пожелтевшими пергаментными листа-

ми, косо пересеченную широкой шелковой закладкой. «Коран», — подумал Сенатор и не ошибся. Старик, услышав слабо скрипнувшую половицу, отрешенно поднял голову, но, увидев гостя, улыбнулся и легко поднялся.

— Салам алейкум, сынок, с приездом, с возвращением на свободу, — поприветствовал он гостя, обнимая и похлопывая того по плечу.

Не по возрасту молодой, приятный голос с властными нотками вовсе не вязался с худощавым, тихим на вид благообразным старцем. Но Сухроб Ахмедович тут же нашел объяснение этому раздвоению образа — он впервые слышал его речь. В прошлый раз до самого отъезда он был уверен, что безмолвный служка — глухонемой. Старик то отпускал гостя из своих объятий, то снова крепко прижимал к груди, и Сенатор, ощущая взволнованность Сабира-бобо, не прерывал долгой традиционной церемонии.

Старика так близко, рядом, он видел впервые. Как и в прошлый раз, одет тот был только в белое. Но сейчас Акрамходжаев понял, что белое белому рознь. Прижимаясь лицом к груди старика, он чувствовал приятную прохладу очень дорогой одежды, ее запах, фактуру. Как человек неравнодушный к своему гардеробу, Сенатор оценил это сразу, понял, что и в строгой, аскетичной на вид одежде есть свой шик.

По традиции расспрашивая гостя о житье-бытье, семье-детях, хозяин жестом пригласил к столу, к такой же низкой хан-тахте, за которой они только что пили чай с Исматом и Ибрагимом. Столик стоял у него за спиной, и он не увидел его при входе, а теперь, усаживаясь на мягкие верблюжьи курпачи, он успел внимательнее рассмотреть беседку-шатер. Чувствовалось, что она хорошо обжита и что хозяин тут часто проводит время, Сенатор даже увидел вдалеке, у подставки для Корана, японский радиотелефон «Сони», точно такой он таскал дома за собой в ванную и во двор.

Продолжая автоматически отвечать на традиционные общие вопросы, гость внимательно разглядывал собеседника, замечая все новые и новые изменения в нем со дня последней встречи, когда именно он, Сабир-бобо, внес в столовую охотничьего дома в горах чемодан с деньгами и жилет из кевлара в подарок Шубарину. Старик как-то помолодел, посвежел, держался с таким естественным достоинством, что ему позавидовали бы многие власть имущие люди. «Отчего такая глубокая метаморфоза произошла с человеком?» — подумал Сенатор, и тут же нашел ответ — взгляд его случайно упал на зеленую чалму, видимо, снятую на время молитвы. Да, два хаджа подряд в Мекку



наложили твердый отпечаток на духовного наставника хана Акмаля, и прежде державшегося независимо, с гордыней.

На пороге бесшумной тенью появилась девушка с подносом, оставив чайник на хан-тахте, молча удалилась. И Сухроб Ахмедович, принимая из рук старика пиалу с чаем, сказал:

— Я должен вас поздравить, в вашей жизни за это время произошли большие и важные изменения. Вам удалось выполнить самую желанную мечту каждого мусульманина — посетить святы места пророка Мухаммада, Мекку и Медину, и коснуться лбом черного камня Кааба. А сделать это дважды удастся и вовсе немногим поистине святым людям, и я счастлив, что беседую с таким человеком. По дороге сюда я остановился возле вашей мечети. Прекрасная мечеть — вы оставляете единоверцам достойный след на земле, и наши потомки даже через десятки, сотни лет будут чтить ваше имя. Построить мечеть в смутное время — это подвиг. Нынче все думают о животе, о дне насущном, а вы — о душе, я восхищаюсь и преклоняюсь перед вами...

Произнося взволнованную тираду, Сенатор исподволь наблюдал за реакцией старика и понял, что Исмаг не обманул. Бальзамом, музыкой звучали для старика слова: «ваша мечеть», «ваше имя». Для начала он нашел верный тон беседы, и быстро выяснилось, почему Сабир-бобо затребовал его в Аксай в приказном порядке. Мудрый старик, видимо, заметил, что гость все-таки обеспокоен поспешным вызовом, хотя и старался не подавать вида, поэтому, выслушав восторги по поводу архитектурных красот и выбора места строительства мечети, сказал:

— Дорогой Сухроб-джан, вы должны меня простить за то, что я поступил с вами жестоко, не дал и трех дней побыть дома, с семьей, с детьми. Но другого способа испытать вас, проверить, я не знал. А дело, которым мы с вами заняты, требует людей сильных, которых не могут надломить обстоятельства. И я, грешным делом, подумал: может, тюрьма сломала вас, может, вы уже раскаялись, что ввязались в рискованные дела? Тем более, я слышал по телевидению ваше более чем сдержанное интервью на открытии банка Артура. И я подумал: если «Матросская тишина», в которой сегодня сидят многие уважаемые люди, испугала вас, если вы сожалеете, что когда-то стали доверенным человеком Акса, вряд ли явитесь по первому требованию. Только человек, рвущийся в бой, готовый к новым испытаниям, желающий исправить ошибки и жаждущий поквитаться с врагами, поспе-

шит в Аксай, ибо здесь он, как всегда, получит помощь и поддержку. Вот отчего мне понятно и ваше сдержанное интервью — вы намерены вернуть прежнюю должность. Что ж, структуры власти не изменились, и мы поможем вам и деньгами, и людьми...

Улучив момент, когда старик склонился над чайником, гость с облегчением перевел дух, расслабился. Как бы хорошо ни держался Сенатор, как он ни храбрился, поездка в Аксай все-таки вызывала тревогу. Да и без денег хана Акмаля, как уже рассчитал Миршаб, рваться к власти бессмысленно.

— Но это не значит, что я без повода вызвал вас в Аксай,— продолжал ходжа, протягивая пиалу.— Дел у нас, дорогой Сухроб, невпроворот. После ареста Акмаля вашим «другом» прокурором Камаловым мне одному пришлось тянуть груз забот, а это в мои годы нелегко. Самое главное — мне удалось сберечь деньги. Ведь Акмаль там, в тюрьме, думает: подорвана наша финансовая мощь, он-то знает, что основная сумма хранилась в тайниках в сто- и пятидесятирублевых купюрах, но я пережил павловскую реформу без особых потерь, хотя, на мой взгляд, Павлов далеко не дурак, каким хотят выставить его московские демократы...

И опять Сенатор вздохнул с облегчением, он-то был уверен, что аксайская казна сильно пострадала от январской реформы,— известна тяга восточных людей к крупным купюрам.

— Деньги есть, дорогой Сухроб-джан,— продолжал после паузы Сабир-бобо.— И главная задача сегодня — вызволить Акмаля из тюрьмы. Чувствую, сейчас самое время, в Москве разброд, безвластие, все продается-покупается, многие крупные чины уже откровенно смотрят на Запад и за доллары готовы на что угодно... А доллары у нас тоже есть, имейте в виду. Можно сказать, по этому поводу я и позвал вас, и спешка оправданна.

Раздался слабый зуммер «Сони», и старик, поднявшись, подошел к столу с телефоном.

— Да, да, пригласите адвоката после обеда, отсюда они и выедут к поезду, думаю, им есть о чем поговорить...

Сенатор внимательно прислушивался к разговору.

— ...Вот и звонок кстати,— хитро улыбнулся ходжа.— А спешка заключается в следующем: завтра прилетают из Москвы адвокаты Акмаля, у меня такой порядок — деньги они получают в Аксае. Это дисциплинирует их, а мне дает возможность быть в курсе дел, я не люблю решать вопросы по телефону. Знаете, старая школа —



делать все с глаза на глаз. Но я не специалист в юридических делах, и поэтому для страховки нанял еще одного толкового адвоката из местных, с которого могу спросить в любое время, да и ему нет резона водить меня за нос, норюв хозяина ему хорошо известен. Так что я принимаю московских юристов со своим адвокатом, и каждый раз мы составляем план-задание на месяц. Не знаю, насколько удачна наша совместная работа, но один пункт вполне удался...— Старик вдруг остановился и опять лукаво улыбнулся.— Вам никогда не догадаться, что наш план касался вашего, Сухроб, освобождения.— Видя удивление гостя, ходжа повторил: — Да, да, вашего, и я рад, что Аллах подсказал мне эту идею. Когда из сообщений адвокатов стало ясно, что прокуратура Союза выделяет отдельные материалы Акмаля для передачи в суд, я решил, что нужно использовать трибуну высокого суда хотя бы для вашего оправдания, и подал мысль, чтобы хозяин Акса я обвинил вас во всех смертных грехах, назвал ставленником Москвы, эта карта нынче беспроигрышная. Ну, а речь, конечно, выверив до запятой, написали адвокаты, вы с ними встретитесь послезавтра в Ташкенте.

— Спасибо, Сабир-бобо, никогда бы не подумал, что помощь придет мне отсюда,— вымолвил благодарно Сенатор, прижав руку к груди.

— Мы служим одному делу,— ответил старик, спокойно перебирая четки.— Вы должны взяться основательно за освобождение Акмаля, вы юрист, вам и карты в руки. После обеда сюда приедет наш адвокат из Намангана, он и введет вас в курс дел, но, подумав, что до поезда вам не уложиться, я решил, что он будет сопровождать вас до Ташкента. В дороге, я считаю, вы обговорите все вопросы, чтобы быть информированным, когда послезавтра встретитесь с московскими адвокатами и получите новые данные. Нужен быстрый результат. Сегодня, как и в прошлый раз, вы получите чемодан рублей и солидную пачку долларов. Мы купили их давно, лет десять назад, теперь, как мне кажется, они могут сыграть важную роль в освобождении Акмаля.

И последнее: через неделю после отъезда адвокатов, которых вы загрузите заданиями до предела, вам, видимо, самому придется вернуться в Москву. Если надо, подключите и ваших личных адвокатов, оказавшихся весьма способными людьми. Нужно спешить! Я чувствую, в России назревает новая революция, или еще хуже, гражданская война, и то, и другое грозит морями крови. И разъя-

ренная толпа, доведенная «реформами» до нищеты, может без суда и следствия перестрелять многих узников «Матросской тишины», а уж нашего Акмаля в первую очередь...

Для первой встречи я не хотел бы вас больше утомлять, дорогой Сухроб-джан, и приглашаю вас осмотреть мечеть изнутри. Хорошие мастера там работают, с душой... А после пообедаем вместе, наши повара запомнили, что вам понравилось в прошлый раз,— и старик потянулся за зеленой чалмой...

В мечети они пробыли больше двух часов, и гость понял, каким влиянием будет пользоваться она в округе, а значит, власть хана Акмаля во много крат усилится. Несколько раз Сухроб Ахмедович хотел напомнить о прокуроре Камалове, но не представлялось подходящего случая. И вдруг пришла неожиданная мысль, что о прокуроре и говорить не стоит, в Аксае знают, что в освобождении хана Акмаля больше всего не заинтересована прокуратура, ведь арестовал Арипова лично Москвич. Выходит, убирая Камалова, своего смертельного врага, он еще и наживает на этом капитал, вроде как делает это не ради своей шкуры, а спасая Акмаля Арипова, не говоря уже о том, что еще и за аксайские деньги.

«Вот что значит уметь выдержать паузу»,— похвалил себя Сенатор, этот ход он считал главной для себя победой, ведь денег ему дали даже без просьбы.

В поезде, при обсуждении с адвокатом дел хана Акмаля, Сенатора все время беспокоила мысль — сколько же денег подкинули в этот раз и не забыли ли положить обещанные доллары? Заглянуть при попутчике в чемодан он не рискнул. Поэтому, войдя в дом, он сразу же закрылся в своем кабинете, но распахнуть чемодан не успел. Затрещивал телефон. Подняв трубку, он услышал голос Газанфара. Тот взволнованно сказал:

— Не могу отыскать вас второй день. Есть чрезвычайная новость для вас. У Японца на презентации выкрали важного гостя-американца. Его люди вывернули в ту ночь Ташкент наизнанку, но человека найти не смогли. И кто же, вы думаете, пришел ему на помощь? Не ломайте голову, вам этого никогда не отгадать. Мой шеф... Камалов...

— Что бы это значило? — спросил глухо Сенатор, забыв и про чемодан с деньгами, и про доллары.

— Сам не пойму. Вам эта информация — для серьезного размышления...



## XVII

Вернувшись в прокуратуру после освобождения американского гражданина Гвидо Лежавы, Камалов тщательно анализировал неожиданно возникшую ситуацию, особенно незапланированную личную встречу на дороге с Шубариным, которая произошла, кстати, по инициативе Японца. А о такой встрече прокурор давно мечтал, ломал голову, как ее устроить. С какой меркой он ни подходил к происшедшим событиям, все складывалось в его пользу, следовало лишь правильно распорядиться случившимся. Поэтому он позвонил на первый этаж Татьяне Георгиевне, которую коллеги за глаза, как и сам прокурор, называли Танечкой. Она оказалась на месте, и Камалов попросил ее подняться к нему. Справившись о текущих делах отдела, он поинтересовался, не проявляет ли интерес к новому отделу прокуратуры Газанфар Рустамов, на что Татьяна ответила:

— Да, он пытается это делать, но осторожно, никак не может найти контакт с коллегами, бывшими работниками КГБ. О том, кем укомплектован наш отдел, в прокуратуре знает каждый. Но в отсутствие коллег, что бывает крайне редко, он заходит непременно, и чувствуете, что он караулит это время.

— Хорошо,— довольно отметил прокурор и продолжал с улыбкой: — Я поговорю кое с кем из ребят, чтобы они менее ревниво относились к его визитам к вам.

Татьяна обиженно вскинула голову, на щеках ее вспыхнул румянец. Прокурор примирительно сказал:

— Не обижайтесь, я в шутку, никакой предатель не может рассчитывать на ваши симпатии, я это вижу и чувствую. А всерьез: надо, чтобы он чаще стал заглядывать к вам в отдел, приближается развязка кое-каких событий, и я думаю, через него мы сможем передавать нашим противникам нужную дезинформацию. А для начала у меня к вам просьба: постарайтесь сегодня же сообщить ему, как бы случайно, об одном важном событии, о нем мало кто знает. Кстати, вы смотрели по телевизору открытие банка «Шарк»?

— Да, конечно,— кивнула Шилова, не понимая, куда клонит прокурор.

— На презентации один американский гражданин грузинского происхождения, бывший москвич, старый приятель хозяина банка, купил на крупную сумму акции «Шарка».

— Да, помню,— подтвердила Татьяна,— почти на полмиллиона долларов...

— Верно. Так вот, этого человека выкрали во время банкета. У Шубарина есть своя служба безопасности, как теперь заведено почти у всех солидных предпринимателей, она по своим каналам, прежде всего уголовным, перевернула в ту ночь весь город, но американца не нашла. Но информация об этом похищении по неофициальным источникам тут же стала известна полковнику Джураеву, с чем он сразу явился ко мне. Не найдись американец день-два, все равно бы нам пришлось заниматься им официально. Дальше не буду вдаваться в подробности, но мы с полковником безошибочно вычислили того, кто выкрал гостя Шубарина, и помогли освободить его... Так вот, ваша задача: располагая такой конфиденциальной новостью, следует как-то ловко проболтаться Рустамову, что Шубарину помогли прокурор республики и начальник уголовного розыска. Эта информация должна вас сблизить. А условия мы вам создадим — после обеда весь отдел разгоним по делам.

Еще в больнице, задолго до возвращения Шубарина из Мюнхена, Камалов твердо решил вбить клин между Японцем и Сенатором с Миршабом. Теперь же ему выпал редкий шанс вбить сразу два клина: настроить враждебно обе стороны одновременно или хотя бы посеять недоверие друг к другу. Конечно, ни Сенатор, ни Миршаб не обрадуются, узнав, что прокурор республики и начальник уголовного розыска, их заклятые враги, оказали столь неоценимую услугу Шубарину. И Сенатор, и Миршаб, строившие свою жизнь только на выгоде, исповедовавшие принцип «ты — мне, я — тебе», никогда не поверят, что Камалов выручил Японца просто так. И как бы ни объяснял им Шубарин неожиданную помощь правовых органов, все равно не поверят, почувствуют какой-то подвох, тайный сговор, а именно этого прокурор и хотел добиться. Слишком большую опасность представляли Сухроб Акрамходжаев с Салимом Хашимовым, имея в друзьях такого влиятельного и умного человека, как Шубарин.

Удачным казалось и то, что Артур Александрович из-за учебы банковскому делу в Германии не был в Ташкенте уже год и связи его с бывшими друзьями невольно оборвались, а время всегда вносит коррективы в отношения. Пока они не возобновились, следовало рассорить их как можно скорее — ныне банкир Шубарин для Сенатора и Миршаба становился еще более притягательной фигурой. Конечно, Газанфар Рустамов если не сегодня, то завтра непременно донесет до Сухроба Ахмедовича нужную новость, он понимает



важность информации. А вот передать Артуру Александровичу экземпляр докторской Сенатора и неопубликованные работы покойного прокурора Азларханова, которые прокурор тщательно изучил и даже написал подробное заключение, следовало сразу, как только разъедутся именитые гости из-за рубежа. По прикидкам Камалова, первым кинется выяснять отношения Шубарин. Сенатору спешить некуда, он вряд ли признается Японцу, что наслышан, кто помог ему освободить американца Гвидо Лежаву. Сухроб Ахмедович будет терпеливо искать и ждать косвенных улик связи Японца с прокуратурой республики, тем более, там у него есть свой человек — Газанфар Рустамов.

Камалов чувствовал, как ему с каждым днем становится все труднее и труднее работать. Из мест заключения возвращались крупные взяточники и казнокрады, не говоря уже о партийной элите. Едва только зашел разговор в России, что из мест заключения осужденных надо разбирать по «национальным квартирам», самым первым оказался дома преемник Верховного, тот, кого Акмаль Арипов за вкрадчивые манеры называл Фариштой — Святым. Вместе с ним вернулся его сокамерник, тоже секретарь ЦК, тот самый, что в интервью газете «Известия» сразу после осуждения откровенно признался: «Я был уверен, что людей моего уровня ни при каких обстоятельствах и ни за какие преступления привлекать к суду не будут». Это он заявлял: «...Мы были убеждены: пока Рашидов, как Герой и верный ленинец, покоится в центре столицы и его именем названы колхозы, города, улицы и площади, — нас, его сподвижников, учеников, никогда не посмеют тронуть».

Понимал Камалов и то, что его пост в связи с объявлением республикой суверенитета обретает совсем иной статус, и роль прокуратуры вырастает в десятки раз. На Востоке любят сводить счеты со своими врагами не лично, а через закон, пользуясь услугами правовых органов, и оттого пост Генерального прокурора страны становился чрезвычайно притягательным для многих влиятельных кланов.

Судя по многочисленным письмам в прокуратуру, простые люди отнюдь не одобряли повального и досрочного возвращения казнокрадов из мест заключения, не считали их жертвой правосудия и недоумевали, что же происходит?

Знал прокурор, что народ, будь то в России или Узбекистане, или где-то еще по соседству, за годы перестройки разуверился в законе окончательно. Ни одно правительство — и в России, и в Узбе-

кистане после Брежнева и Рашидова — не уделяло преступности и десятой доли прежнего внимания, уголовщина захлестнула города и села. Ему рассказывали, что простые люди на заводских и сельских собраниях, когда речь заходила об обнаглевшей преступности, о поднявшей голову уголовщине и мягкотелом законе, не однажды с горечью говорили: «Пусть прокурор хоть сам себя защитит и найдет, кто убил его жену и сына». Конечно, в Ташкенте многие знали о том, что произошло с семьей прокурора республики, да и с самим Камаловым — тоже. И горечь разуверившихся в справедливости людей заставляла его удесятерять свои слабые силы, но пока выходило, что он напрасно расставлял кругом силки — крупная дичь ловко избегала его западни. Ему трудно было ориентироваться в обстановке, слишком долго он отсутствовал на родине, а тут все сплелось в такой тугий клубок... Теперь, когда перестройка явно провалилась, когда люди утратили идеалы и надежды, ждать помощи было неоткуда, приходилось рассчитывать только на себя, на таких же одержимых соратников, как сам, для которых существовал один бог — Закон.

Надеясь внести разлад между компаньонами по «Лидо», Камалов почему-то интуитивно полагал, что Шубарину отнюдь не по душе то, что творилось вокруг, не мог этот умный человек не видеть, куда скатывается страна, какие беспринципные, вороватые люди рвутся к власти и уже ухватились на нее. В иные дни ему даже казалось, что все же удастся сделать Японца своим союзником, ведь банковское дело, которым он теперь занят, нуждается в твердых законах, правовом государстве, порядочных компаньонах. Поэтому, как только он узнал, что Артур Александрович проводил своих последних гостей и находится в банке, он тут же позвонил ему и спросил, нельзя ли ему заглянуть в «Шарк» через час.

— Хотите у нас открыть счет? — поинтересовался Шубарин.

— Я человек небогатый и вряд ли как клиент могу быть вам интересен. Я хочу передать вам кое-какие бумаги, они, как мне кажется, могут заинтересовать вас.

Ровно через час Камалов появился в бывшем здании Русско-Азиатского банка. Уже при входе человек в униформе, наверняка исполняющий не только традиционную роль швейцара, а прежде всего охранника, показав в сторону служебного лифта, умело скрытого архитектором-реставратором от посторонних глаз, сказал, даже не взглядывая в служебное удостоверение:



— Прошу вас, господин прокурор. Артур Александрович ждет вас на третьем этаже.

В просторной прихожей взгляд входящего сразу упирался в огромную, на всю стену, картину известного узбекского художника Баходыра Джалалова, она много раз экспонировалась на Западе, а в Японии даже дважды выставлялась на престижных вернисажах, воспроизводилась на страницах многих популярных журналов. Вот наконец-то и она обрела себе постоянное место. На привычном месте секретарши находился молодой человек, по тому, как он профессионально окинул взглядом вошедшего, прокурор понял, что референту тоже вменены функции стражи. Под просторным двубортным пиджаком, несмотря на безукоризненность и элегантность костюма, Камалов легко угадал оружие, так примерно выглядели и его ребята, когда он в Вашингтоне возглавлял службу безопасности советской миссии. Ему даже почудилось, что молодой человек сейчас обратится к нему по-английски, но тот любезно сказал по-русски:

— Вас ждут, господин прокурор,— и распахнул массивные двойные двери из мореного дуба. Такими же хорошо отполированными и навощенными панелями до потолка были отделаны и две другие стены приемной управляющего банком.

Как только прокурор появился в дверях, Шубарин поднялся и пошел навстречу гостю.

— Здравствуйте, Хуршид Азизович. Считайте, что в этом кабинете я принимаю вас одним из первых и, как говорят на Востоке, хочется, чтобы нога ваша оказалась легкой.

— Хотелось бы,— ответил в тон гость.— Но мы с вами заняты такими делами и втянуты в водоворот таких событий, что вряд ли вписываемся в нормальную человеческую жизнь с ее поверьями и традициями. Уж я-то точно живу в перевернутом мире, но удачи вам и вашему делу желаю от души.

— Спасибо,— ответил хозяин кабинета и показал на два глубоких кресла у окна, выходящего во двор.

На столике между ними уже стоял традиционный чайный сервиз «Пахта», а из носика чайника тянулся едва заметный на свету парок. Они секунду сидели молча, не решаясь ни заговорить, ни перейти к традиционной банальности: расспросов о житье-бытье, здоровье домочадцев. В их устах такие вопросы, а тем более ответы прозвучали бы фальшиво. Почувствовав одновременно неловкость ситуацию, Шубарин принялся разливать чай, а Камалов, подняв с пола на колени

неброский атташе-кейс, щелкнул замками. Гость достал две пухлые, невзрачные на вид, на веревочных завязках, картонные папки приблизительно одинакового объема и, положив их поближе к Шубарину, заговорил:

— Меня всегда, с первого дня пребывания в Ташкенте, мучила одна тайна: несоответствие «устного» и «печатного», если можно так выразиться, образа мыслей моего шефа, куратора в ЦК — Сухроба Акрамходжаева. Ну никак не вязались его громкая слава известного юриста, автора нашумевших газетных выступлений на правовые темы, доктора наук — с тем, что я каждодневно слышал от него, общаясь по службе. Сначала я не придавал этому значения, зная, что встречаются косноязычные в жизни писатели, а в книгах своих — блестящие стилисты, и наоборот, иные краснобаи не могут письма толково написать. Но однажды мне пришлось убедиться, что в жизни Сухроб Ахмедович далек от своих теоретических работ. Почувствовав такое раздвоение личности, — а это случилось в день, когда я арестовал в Аксае Акмаля Арипова, — я решил присмотреться к его жизни. Чем закончилась история моего прозрения для него, вы знаете. Пусть он сегодня оказался на свободе, но для меня он был и остается навсегда преступником, убийцей. Хотя он самонадеянно убежден, что со смертью главного свидетеля обвинения Артема Парсегиана по кличке Беспалый он теперь вне подозрений. А смерть Беспалого, я убежден, дело рук Хашимова: он знал, какую опасность представлял для него Парсегиан. Но я верю, что у меня появятся и новые факты, и новые свидетели, и он со своим дружкой все равно окажется за решеткой, — оборотни в нашей среде опаснее любых преступников.

— Простите, прокурор, — спокойно прервал его монолог Шубарин. — Зачем вы мне все это рассказываете? Я не интересуюсь ни жизнью Сухроба Акрамходжаева, ни жизнью Салима Хашимова, и если в них есть для вас белые пятна, я не собираюсь их вам освещать, даже если бы мог знать. У меня иные принципы, и к тому же я сам далеко не праведник и на роль судьи вряд ли подхожу. Мне кажется, у вас сложилось неправильное мнение обо мне.

Прокурор словно ожидал этого выпада от хозяина кабинета и тоже вполне спокойно продолжил:

— Не спешите, Артур Александрович, делать выводы. Я знал, к кому шел. И я не собираюсь вульгарно вербовать вас в осведомители. И не думайте, что я явился только потому, что недавно оказал вам важную услугу. Просто случайное стечение обстоятельств, вы же



понимаете, что я не мог предвидеть похищение вашего гостя. Эти бумаги я собирался передать вам давно, а инцидент с Лежавой лишь сократил время и дистанцию между нами.

— Извините, прокурор,— настойчиво перебил Шубарин гостя,— если в этих бумагах какой-то компромат на Сухроба Ахмедовича, можете их забрать, я не притронусь к ним.

— Не горячитесь, Артур Александрович. Я скажу вам, что находится в этих двух папках, а уж вам решать, притрагиваться к ним или нет. В одной — докторская диссертация бывшего заведующего отделом административных органов ЦК партии Акрамходжаева, в другой — теоретические работы Азларханова за разные годы и мое подробное заключение об идентичности этих материалов, я ведь тоже доктор наук и преподавал специальные дисциплины в закрытых учебных заведениях КГБ, был такой факт в моей жизни, после тяжелых пулевых ранений в уголовном розыске. Ума не приложу, откуда взялись у Сенатора — я полагаю, вам известна эта кличка Акрамходжаева — научные работы убитого прокурора Азларханова, ведь они никогда не были знакомы, это я выяснил досконально. Иногда я думаю, что, возможно, работы Амирхана Даутовича находились в том самом дипломате, что был при Азларханове в момент его убийства в вестибюле прокуратуры и который в ту же ночь выкрал Сенатор... — Прокурор говорил неторопливо, не глядя на собеседника, порою даже казалось, что он просто рассуждает вслух, но он все-таки успел уловить какую-то реакцию на свои последние слова: Шубарин слишком хорошо владел собой, чтобы не выдавать волнения, но что-то в нем в этот момент дрогнуло. Прокурор продолжал развивать свою мысль: — А может, за убийством вашего друга Азларханова и стоит Сенатор? Вот поэтому я считаю своим долгом передать вам эти бумаги. Так оставить вам документы, Артур Александрович, или я ошибся, назвав Азларханова вашим другом?

— Нет, не ошиблись. Амирхан Даутович был моим другом, и я посмотрю эти материалы...

Пытаясь закрепить маленький успех, Камалов произнес несколько эмоциональнее:

— Этим шагом я хочу как-то прояснить наши отношения: мне кажется, на многое мы с вами смотрим с одной колокольни...

— Не обольщайтесь, прокурор,— вдруг засмеялся хозяин кабинета.— А за бумаги спасибо. Впрочем, похвалюсь: и я замечал разницу между «устным» и «печатным» Акрамходжаевым.

— Почему же я обольщаюсь? — спросил прокурор, вставая.— Вы не совсем обычный предприниматель и банкир. Если бы большинство наших новых дельцов имело таких друзей за рубежом, как у вас, к тому же располагало вашими финансовыми возможностями плюс знанием языков, они давно бы оказались за кордоном. Все нувориши спят и видят себя где-нибудь во Флориде или Майами, или, на худой конец, в Хайфе или Тель-Авиве. А вы имели возможность оказаться там и десять, и пятнадцать лет назад, вы часто выезжали за границу, даже с семьей, не говоря уже о первых годах перестройки, когда официально объявили о своих миллионах. Вы даже не стали перебираться в Москву, а построили дом в Ташкенте, в традиционной узбекской махалле, где вас очень уважают и стар, и млад, а мать ваша с сестрами и родней до сих пор живут в Бухаре. Вот видите, я все знаю про вас. И уверен, этот край и этот народ для вас не чужие...

Протянув на прощание руку, Камалов ловко подхватил атташе-кейс и шагнул к выходу. Уже у самой двери он остановился и обратился к Шубарину, вернувшемуся за свой массивный стол с компьютером, телефонами и еще какими-то приборами, не знакомыми прокурору.

— Всю беседу меня мучил один вопрос: сказать или не сказать? Сейчас решил — скажу. Когда мы еще с вами увидимся, да и увидимся ли вообще? Вы правы: мы все-таки стоим на разных берегах. А хотел я вам сказать следующее. У меня, да и у полковника Джураева есть ощущение, что люди, стоящие за Талибом, да и он сам, не оставят вас в покое. Ну, он у нас давно числится в специальной картотеке и теперь, конечно, будет взят под особый контроль. Но вы ведь в курсе, как нынче юридически подкован уголовный мир, какие видные адвокаты консультируют преступников. Непросто их взять за бока. Даже сегодня, когда Гвидо Лежава улетел, мы не знаем, чего они от вас хотели. Нам же известно — они не требовали выкупа, не ставили никаких условий. Если мы будем знать, почему Талиб Султанов прилетал в Мюнхен на встречу с вами, нам будет легче действовать. И как бы вы ни открещивались от нас с Джураевым, все равно получается: ваши враги — наши враги. Новое время рождает новые преступления. Возле вашего банка завязывается новый клубок преступности, о котором мы пока ничего не знаем, но догадываемся,— он уже дал о себе знать. Поэтому нам лучше сотрудничать. Поверьте, вам одному с этим не справиться... Извините, я не так выразился. Не сотрудничать,— я на это не рассчитываю. Вы должны поставить меня в известность сразу, если произойдет нечто серьезное, как, например,



с Гвидо Лежавой. Пока вы были в Германии, у нас резко изменилась ситуация. Вы вернулись в другую страну, как выразился один высокопоставленный оборотень. У вас могут появиться враги не только среди уголовников. Держите ухо востро. Ваш банк слишком лакомый кусок для многих влиятельных кланов, вы ведь знаете, у нас любят прибрать к рукам готовенькое...

В прошлый раз, на дороге, я передал вам визитку, где все мои телефоны: служебный и домашний. Но если вас не устроит такой вид связи, запомните — моего шофера зовут Нортухта, он мой человек, проверен, я его предупрежу. Найдите его, он организует встречу хоть среди ночи, если этого потребуют обстоятельства. Запомните — парня зовут Нортухта... — и прокурор шагнул в провал бесшумно открывшейся двери.

## XVIII

После ухода прокурора Шубарин долго расхаживал по просторному кабинету, не отвечая на телефонные звонки. «Не догадался ли Москвич, что это я в свое время направил ему подробное письмо о злоупотреблениях в банках, о дикой коррупции чиновников, о тотальном разграблении страны совместными предприятиями и лжекооперативами, о том, кто и как обналичивает миллионы, усугубляя инфляцию и приближая крах экономики? — задумался он и тут же ответил себе: — Нет, не догадался. Знай об этом прокурор, наверное, и разговор шел бы по-иному». Ведь после того письма многие загремели по этапу и в Москве, и в Ташкенте, в ту пору прокуратура еще имела силу и распорядилась фактами с толком и оперативно, а наколки Шубарин дал верные. Он и тогда, зная цену своему сообщению, предполагал, какие будут последствия. Да и сегодня не жалел об этом, хотя помнил, что писал: «Отступничество и ренегатство в нашей среде карается особо сурово, и плата одна — жизнь».

Запоздало он понимал, что ни его письмо, ни десятки подобных, которые наверняка были, ни сотни людей, похожих на Камалова, не могли уже ни спасти страну, ни остановить круглосуточный, из месяца в месяц, из года в год, ежесекундный грабеж отечества, вывоз всего и вся. И он удивлялся и «левой», и «правой» прессе, и либералам, и новоявленным «демократам», но больше всего коммунистам, не задавшим Горбачеву всего один вопрос: «Где золотой запас страны?»

Когда генсек пришел к власти, страна имела золотой запас в триста пятьдесят тонн и все годы его правления не снижала ежегодной добычи в сорок тонн. В конце же правления осталось всего двадцать-тридцать тонн золота. Куда оно девалось? Ведь с Горбачевым народ и дня не жил счастливо и сыто.

Можно, конечно, и еще много чего спросить с этого человека. Все пять лет его правления день и ночь по газопроводам и нефтепроводам на Запад шел газ и текла нефть. Эшелонами, опять же день и ночь, туда шли лес, руда, металл. Страна не пропустила ни одного пушного аукциона, вывезла миллионы редчайших шкур. Где деньги за все это? Где насыщенный рынок и магазины, в которых полки ломаются от товаров? Ведь прежде, во времена Брежнева, каждая советская женщина могла позволить себе и французские сапоги, и французские духи, а ныне это доступно лишь первой леди страны и ее подружкам, ну, еще и валютным проституткам.

Много, много чего можно было спросить с Горбачева и его сподвижников. Но на этой дутой фигуре останавливаться не хотелось. Однако сегодня о чем ни думай, что ни делай,— все упирается в его деяния, их конечный результат — не объехать, не обойти... И это надолго, на десятки лет. Шубарин как предприниматель, как банкир, понимал это лучше других. Однако хорошо,— отметил Японец,— что они с Камаловым одинаково оценивают Горбачева, ведь только что прокурор сказал: «Один высокопоставленный оборотень». А он, наверное, знает, что говорит, ведь, считай, всю жизнь охотился за оборотнями в мундирах.

«Нет, он не предполагает за мной такого греха,— вспоминал Шубарин о давнем своем письме в прокуратуру,— иначе бы мог действовать прямолинейнее. Например, мог бы потребовать сдать Миршаба и Сенатора с потрохами. Догадывается прокурор, что он знает про них такое, о чем не ведал даже Парсегян, главный свидетель обвинения».

— Знает — не знает,— невольно раздражаясь, заметил хозяин просторного кабинета,— а мне не легче. Обложили со всех сторон — и уголовники, и бывшие коммунисты, а теперь еще и прокурор сел на хвост. Чувствует или знает, что вокруг его только что родившегося детища уже начали сгущаться тучи...

Теперь, после неожиданного визита Камалова, следовало определиться и с Сенатором, а значит, и с Миршабом. Действительно, как попали научные работы убитого прокурора Азларханова к Сенатору? В том, что пресловутая докторская и работы Азларханова иден-



тичны, Шубарин не сомневался. Ему захотелось взглянуть и на вердикт прокурора, и на ранние работы своего бывшего юрисконсульта Азларханова, и он вернулся к журнальному столику. Первая, взятая наугад папка, оказалась докторской диссертацией Сенатора, но Артур Александрович отложил ее, не открыв,— с ней он уже давно ознакомился, не менее внимательно, чем Москвич, но прокурору о своих изысканиях ничего не сказал. Взяв вторую папку, он вернулся за стол и просидел, не отрываясь от бумаг, больше часа. Читая заключение, Шубарин то и дело возвращался к статьям, докладным, выступлениям, на которые ссылался Москвич, и удивлялся глубине мыслей, проницательности, предвидению своего друга прокурора Азларханова — как свежо, современно звучала каждая его строка! Сомнений не было: Сенатор присвоил работы его бывшего юрисконсульта.

— Ах, Амирхан Даутович... — вырвалось вслух у Шубарина, и он в волнении вновь стал шагать из угла в угол. Как сейчас он был нужен ему самому, а прежде всего обществу!

«Надо съездить к нему на могилу,— решил банкир, пряча папки в стальной крупновский сейф.— Что дает мне это открытие? И что я должен предпринять в связи с этим? И почему Москвич хочет мне помочь, а заодно и рассорить с Сенатором и Миршабом? Зачем я ему нужен? — закрутился новый рой вопросов, едва он захлопнул стальную, с секретом, дверцу сейфа, упрятавшую тайну взлета Сенатора.— Может, считает: дни Сенатора и Миршаба сочтены? Ведь он прямо заявил — они для меня преступники, убийцы. Возможно, он располагает какой-то информацией, что «сиамские близнецы» затеяли коварный ход против него, где и мне отведена не последняя роль? Поэтому и пытается отсечь меня от Сухроба и Салима, догадывается, что в той борьбе, которая ведется против него, ничьей быть не может. Или — или, а точнее: кто кого. Нет, он прямо не сказал, что мне не по пути с его врагами, как и не предлагал открыто перейти на свою сторону, но ясно дал понять, кто есть кто,— продолжал анализировать беседу Артур Александрович.— А мою жизнь он знает хорошо, иначе какой бы смысл передавать мне докторскую диссертацию Сенатора, понимает, что значил в моей жизни Азларханов. Наверное, знает и о памятниках в Бухаре и Ташкенте, поставленных мною... Ну, об этом, конечно, ему рассказал полковник Джураев, тот тоже в молодые годы работал с Амирханом Даутовичем...»

Но вот откуда Камалов узнал о встрече на мюнхенском стадионе «Бавария» с Талибом Султановым, чью фамилию и род занятий Шу-

барин впервые услышал от прокурора? Это предстояло еще разгадать, и непременно, размышлял Артур Александрович. А может, прокурор знает и о визите в Германию хлопкового Наполеона, находящегося в уральском лагере?

А если он знает и это, то, видимо, располагает какими-то новыми сведениями по его банку, что, разумеется, неприятно. Оттого и решился прокурор открыто прийти в банк, отсюда и все попытки наладить отношения. Было над чем задуматься Шубарину — такие люди, как Камалов, обычных визитов вежливости не наносят. Что знает и чего не знает о его жизни Москвич — это для Шубарина оставалось загадкой. Одно ясно: знал он немало, а догадывался о еще большем. Хотя не во всем Камалов ориентировался правильно. Зря он думал, что за смертью Азларханова стоит Сенатор, — прокурора убил Коста. Он вынужден был стрелять — Амирхан Даутович, даже раненный, не выпускал кейс из рук. А выкрал документы Сенатор, верно, благодаря этому они и познакомились тогда.

Но вдруг мысли о Камалове отодвинулись на второй план. Он понял (наконец-то!), как могли попасть материалы Азларханова к Сенатору, несмотря на то, что они никогда прежде не встречались. Видимо, Амирхан Даутович, располагая временем, занимался и теоретическими изысканиями, тем более что его личная жизнь, нелегко складывавшаяся судьба давали весомый повод для анализа: что есть Закон для отдельно взятого гражданина, даже если он сам — областной прокурор. Покидая поспешно и тайно заштатный городок «Лас-Вегас» в те часы, когда Шубарин вместе со своим покровителем из Заркента хлопковым Наполеоном срочно отправился в Нукус, чтобы первыми оказаться возле неожиданно умершего Рашидова, Азларханов захватил с собой только самое, на его взгляд, необходимое и ценное. Видимо, в кейсе, за который его и пристрелил Коста, кроме бумаг по коррупции и теневой экономике в масштабах страны, находились и научные труды — итог многолетней практики крупного юриста и должностного лица.

Когда Сенатор, невольный свидетель убийства Азларханова в здании прокуратуры республики, узнал, что кейс остается на ночь в сейфе на втором этаже, он решил его похитить. Однако, украв кейс, Сенатор вернул документы хозяину, Шубарину, не сразу, а спустя четыре часа после налета на прокуратуру, где ему пришлось застрелить двоих: такой кровавой ценой достался ему кейс.

И вот только теперь открылась тайна докторской диссертации Сенатора. Но это открытие навело Артура Александровича и на другую,

М

более неприятную мысль. Сенатор обманул его, и обманул крепко, лихо. Он не только присвоил себе труды убитого прокурора, но и снял копии со всех документов. Вернув подлинники, он заслужил доверие Шубарина и получил от него мощную поддержку. Конечно, он, Шубарин, попался на том, что кейс был опломбирован, а главное, на том, что тогда о возможности снять копии на ксероксе он и подумать не мог. О том, что в районной прокуратуре есть ксерокс — в ту пору большая редкость — он узнал позже и совсем по другому поводу, но сейчас в цепи фактов это был весомый аргумент. А как он быстро в его отсутствие добился для себя немислимого по тем временам поста в ЦК, взяв за горло Тулкуна Назаровича! Теперь-то яснее ясного, что здесь сыграли свою роль бумаги из кейса.

«Что за день черных открытий? — чертыхнулся про себя Шубарин и вернулся за стол. Запоздалое прозрение папахивало сенсацией, да и обидно было, что провели его, как мальчишку.— А ведь ныне бумаги из этого кейса обретают куда большее значение, чем тогда, при стабильной власти, когда резкие перемены и новые люди у руля были просто немислимы. Сегодня, когда идет новый и основательный передел власти, иная бумажка из моего досье может вызвать правительственный кризис или отставку с ключевого поста. При наступившей гласности материалы из дипломата представляли убойную силу. А эти бумаги находятся теперь в руках Сенатора и Миршаба, людей крайне тщеславных и беспринципных, больше того, они наверняка думают, что я не догадываюсь об этом, ведь столько времени прошло...» — трезво оценивал Шубарин неожиданное открытие.

Неожиданный приход прокурора наталкивал на мысль, что неведомые ему события вокруг него и его банка набрали необратимый ход, и следовало действительно быть начеку. На столе звонил то один, то другой телефон, но Артур Александрович не обращал на них внимания, он все осмысливал неожиданный визит Камалова, особенно его последние слова у двери: «У нас резко изменилась ситуация... Вам одному уже не справиться...» Порой рука вдруг тянулась к телефонной трубке, хотелось позвонить Сенатору домой, пригласить на обед в «Лидо» и там в привычной обстановке спросить прямо: зачем он присвоил труды прокурора Азларханова и выдал их за свои и для чего снял копии с его секретных бумаг? Но в самый последний момент что-то останавливало его: так грубо, в лоб, на Востоке не поступают, нужно было искать другой путь. Но какой? Ничего путного в голову не приходило.

На одном из телефонов то и дело раздавались настойчивые звонки, словно звонивший знал, что он находится у себя. Глянув на определитель номера, он понял, что звонит кто-то из ЦК: три первые цифры «395» принадлежали только Белому дому. Он не ошибся, на том конце был старый политикан Тулкун Назарович, сохранивший кресло даже в перестройку, а начинал ведь еще при Хрущеве...

— Добрый день, Артур. Поздравляю с открытием банка,— приветствовал его прожженный пройдоха.

С ним Шубарин не виделся давно, больше года, но голос по-прежнему был полон важности и достоинства, хотя льстивые нотки все равно проскальзывали. Японец никогда не ошибался в интонациях, на Востоке для человека со слухом они многое значат и порою бывают куда важнее слов. «Видимо, будет что-то просить»,— подумал он и вновь оказался прав.

— Я, Артур, к тебе за помощью. Тут неожиданно выпала командировка в Турцию, грех не побывать в Стамбуле за госсчет. А командировочные — десять долларов в день, при моих-то привычках — гроши. Выручай, говорят, какой-то американец тебе уже полмиллиона «зеленых» отвалил...

Вначале Шубарин хотел отказать,— действовал стереотип поведения и мышления, обретенный в Германии,— но тут же сориентировался, что он уже не в Мюнхене, а в Ташкенте, и Тулкун Назарович не тот человек, которому отказывают, а главное, он сообразил, что партийный бай из Белого дома сейчас, сию минуту, может прояснить для него нечто важное, что мучает его после ухода прокурора.

— Тысяча долларов вас устроит? — спросил он коротко.

— Вполне,— радостно ответил проситель.

— Тогда приезжайте сейчас же, завтра я могу улететь в Москву.

Шубарин был убежден, что гость теперь ответит на все вопросы, а его откровения стоили тысячи долларов. Положив трубку, он снова набрал шифр сейфа, из начатой пачки стодолларовых купюр отсчитал десять банкнот и, вернувшись к столу, вложил их в фирменный конверт банка.

Человек из ЦК не заставил долго себя ждать, машина у него была всегда под рукой, и банк находился рядом. Не успел Артур Александрович распорядиться по телефону насчет чая, как услышал в приемной знакомый голос, и тут же, гремя двойными дверями, гость появился в кабинете.



— Ну и отгрохал ты себе апартаменты, кругом зеркала, красное дерево, полированная медь, хрустальные люстры... Раньше бы всыпали тебе за барство на первом же бюро,— начал он с порога.

— Не всыпят, это же частный банк, и никакой партии он неподвластен, так что бюро, пленумы, съезды мне теперь не страшны,— ответил шутя хозяин кабинета, направляясь из-за стола к гостю,— традиции чтить следовало, это он понимал. Они обнялись, расспросили друг друга о жите-бытье.

Вдруг улыбка сбежала с лица гостя, и он, словно вспомнив что-то важное, назидательно сказал:

— Частная собственность, западные учредители, инвесторы — это все верно. Но что ты никому неподвластен — забудь. Это я тебе как другу говорю. И по секрету добавлю: мы никому не позволим игнорировать правящую партию — ни миллионеру, ни миллиардеру. И я тебе рекомендую вступить. Как же без нее? Впрочем, надо проверить, может, я на правах старого друга тебя уже переоформил из КПСС в нашу новую партию... Вот так-то, любезный Артур Александрович, надеюсь, воздух Европы не совсем тебя испортил.— Тулкун Назарович, видимо, предвкушая путешествие на берега Босфора, был в добром расположении духа.

Шубарин жестом пригласил гостя к столику между двумя высокими креслами у окна, где уже стоял наготове свежесваренный чайник. Тулкун Назарович выбрал место, которое часа два назад занимал прокурор Камалов, а хозяин кабинета вернулся к письменному столу и взял конверт с долларами. Положив его перед человеком из Белого дома, сказал с улыбкой:

— Желаю приятного времяпрепровождения в Стамбуле, там такие дивные кофейни... Да и вся страна зеленая, ухоженная, с мягким климатом, омывается четырьмя морями...

— Жаль, ты не можешь составить мне компанию,— ответил гость, принимая из рук Шубарина пиалу с ароматным китайским чаем.

— Не огорчайтесь, теперь другие времена, у вас постоянный заграничный паспорт, и я непременно захвачу вас как-нибудь с собой в Европу, по делам банка я теперь часто вынужден буду бывать там...— И сразу, без вступления, Шубарин перешел к тому, ради чего он и вызвал гостя, не пожалев тысячи долларов: — Я давно соби-рался расспросить вас об одной давней истории. Теперь-то она вроде и не имеет особого значения, как говорится, из-за срока давности.

Но любопытство порою меня гложет, хочется и на всех архивных делах расставить точки над «и», такая у меня аналитическая натура, вы уж извините.

Тут гость, видимо, ошалевший от неожиданно щедрого подарка, который по местному обменному курсу тянул тысяч на триста с гаком, пришел ему на помощь:

— Дорогой Артур, какие могут быть между нами секреты? Буду рад прояснить для тебя любую туманную ситуацию.

— А история действительно давняя, связанная с головокружительным взлетом бывшего районного прокурора Акрамходжаева. Я в ту пору находился в Париже, а вернувшись, застал его уже в Белом доме. Такие взлеты в наших краях случаются не часто. Пост, на который он метил и который заполучил тогда, зависел от вас. Почему вы ему помогли, почему он в вас нашел покровителя? А если еще жестче — какие аргументы он нашел против вас, чтобы вы стали его союзником? Как он вынудил вас отдать этот пост ему?

Гость, чьи мысли, видимо, уже витали в Стамбуле, с удовольствием рассмеялся:

— Артур, не перестаю удивляться тебе, твоей проницательности. Ты что, под столом сидел в моем кабинете, когда он меня битых два часа шантажировал?

— Шантажировал?! — вырвалось у Шубарина.

— Да, самым натуральным образом. И скажу тебе, очень профессионально.

— Можно подробнее? — попросил Японец, откинувшись на спинку кресла.

— Конечно, иначе ты ничего не поймешь. Теперь-то, задним числом, я понял, они с Миршабом хорошо подготовились, собрали на меня подробное досье, а еще больше материалов на моих родственников. Особенно на моего брата Уткура, которого ты хорошо знаешь. В то время Сухроб с Миршабом работали уже в Верховном суде, куда они попали только благодаря тебе, я навел тогда справки. В один прекрасный день у меня на работе раздается звонок, и Сухроб настойчиво просит принять его. Является он с двумя папками и с места в карьер просит рекомендовать его кандидатуру на вакантное место в ЦК. Получив мой отказ, придвигает ко мне две папки с уголовными делами на моего брата Уткура. Особенно опасным казалось последнее уголовное дело, заведенное на Уткура уже в перестройку, когда почти вся автобаза, опьяненная гласностью и горбачевскими реформами, потре-



бовала завести на директора дело за поборы с каждого выгодного рейса. А Уткур руководил крупнейшей в области автобазой с огромным парком рефрижераторов, большегрузных автомашин с прицепами, совершающих рейсы в соседние республики и даже за границу. Но выручил тогда Уткура ты, а точнее, люди Ашота и Коста — они заставили водителей взять заявление обратно. Вот это дело Сухроб с Салимом собирались вновь открыть, если я не помогу заполучить им желанный пост. Разве это не шантаж? Впрочем, если быть до конца откровенным,— продолжал гость после некоторой паузы,— то я помог ему не только из-за боязни огласки дела, связанного со взятками Уткура, но прежде всего потому, что хотел видеть на этом ключевом посту, контролирующем правовые органы, своего человека. Он сам дал понять, что будет служить мне верой и правдой на этой должности, если я помогу. К тому же он тогда показался мне интересной личностью, я тоже был восхищен его статьями в прессе. И еще: Белый дом нуждался в притоке свежей крови, в людях неординарных, широко мыслящих, демократически настроенных — таким он виделся мне в ту пору.

— А позже у вас изменилось мнение о нем? — бесстрастно спросил Шубарин, хотя ответ его очень волновал.

— То, что он человек хваткий, неглупый — это точно, но не более. Позже, работая с ним, я не однажды поражался широте его взглядов в статьях и узости мировоззрения в конкретных делах. Я ведь ожидал, что с его приходом и с перестройкой мы основательно переворошим законодательство и даже Конституцию — какие же толковые были у него статьи о правовом нигилизме властей! Позже я понял, что за него, так же как и за меня в свое время, написал докторскую диссертацию какой-то умный человек. Я даже однажды попытался узнать по своим каналам — кто? Но мне ответили, что, скорее всего, это человек не из республики, но хорошо знающий наши проблемы. А скажи, Артур, зачем тебе понадобилось узнать, каким образом Сухроб оказался в Белом доме? — вдруг без перехода спросил Тулкун Назарович. Старая лиса, дремавшая в нем, проснулась, очнувшись от стамбульских предвкушений.

Артур Александрович прекрасно знал, с кем имеет дело, и не обольщался временной эйфорией собеседника, догадывался, что тот обязательно задумается, почему вдруг банкир заинтересовался Сенатором. Он даже обрадовался этому вопросу: лучше уж тут, в приятные минуты, получить ответ из первых рук, чем строить догадки наедине или наводить справки через третьих лиц.

— Я не знаю, в курсе вы или нет, но он недавно вернулся из тюрьмы. Сейчас он не у дел, хотя мечтает занять прежнее положение, а пока хотел бы поработать в моем банке на достойной должности. Вот почему я должен знать, каким образом, какой ценой он заполучил кресло в Белом доме. Да, я помог ему и Миршабу занять ключевые посты в Верховном суде. Но, беря вас за горло, он не мог не знать, что мы с вами давние приятели, мне не нравится, когда за моей спиной шантажируют моих друзей,— закончил несколько провокационно Шубарин.

— Не огорчайся, Артур, дело давнее, я уже забыл эту историю. Вся наша жизнь состоит из компромиссов. Он бы, наверное, далеко пошел, если б не прокурор Камалов. Думаю, что, по большому счету, ему уже не подняться, опять же из-за Камалова. Пока тот остается прокурором республики, Сухроба считать свободным человеком нельзя, хотя он и на свободе. Я знаю Камалова, компромиссы его не устраивают, и я вот что думаю: не спешి официально приближать Акрамходжаева к себе. Другое дело помощь, деньги, личные контакты. А там видно будет, нынче события быстро разворачиваются: или арба развалится, или ишак умрет, или падишах...— И гость поднялся, видимо, времени было в обрез: рейс на Стамбул был раз в неделю, в среду, завтра.

Как только гость ушел, Шубарин глянул на платиновые стрелки «Ролекса» — до обеда было еще далеко. «Ну и денек, а точнее деньки»,— вздохнул Шубарин, такого старта в Ташкенте он не ожидал, а ведь шел всего пятый день по возвращении его из Мюнхена. «Да, старый политикан отработал тысячу долларов сполна»,— решил Артур Александрович. С Сенатором все встало на место: знаменитая диссертация и статьи в прессе — украденные труды его бывшего юриконсультанта, это и Тулкун Назарович подтвердил. Все сомнения, версии, варианты, предположения в отношении Сенатора отпали сами собой.

Но визит человека из Белого дома был ценен и тем, что тот свое отношение к Сенатору определил четко: его нельзя считать серьезной фигурой в сегодняшней борьбе за власть до тех пор, пока Камалов занимает пост прокурора республики. А ведь он считал, что за время работы в Белом доме Сенатор крепко сблизился с Тулкуном Назаровичем и сейчас, выйдя на свободу, может рассчитывать на его поддержку в борьбе за возвращение утерянных позиций. Сенатор без такой поддержки многое терял, многое, если не все...



Косвенно гость прояснил и положение Камалова. С прокурором, видимо, считались всерьез, чувствовали силу. Конечно, Артура Александровича так и подмывало расспросить всезнающего человека как можно больше о Генеральном прокуроре, час назад сидевшем в том же кресле, но боялся вспугнуть, насторожить Тулкуна Назаровича, тот мог и обрезать напрямик: «Слишком много ты хочешь знать за тысячу долларов». Однако это хорошо, что неожиданная командировка в Стамбул вновь свела его с таким всеильным во все времена политиком, как Тулун Назарович.

«Обязательно надо захватить его с собой в Европу, и в самое ближайшее время, там в долгой дороге и уюте первоклассных отелей, возможно, удастся прояснить положение Камалова и, может, даже узнать про тех, кто положил глаз на мой банк»,— решил Шубарин, возвращаясь за письменный стол, на котором разом зазвонили все телефоны.

## XIX

После неожиданного звонка Газанфара Сенатор на время потерял интерес и к чемодану, и к долларам. Шубарину помог Камалов... «Что бы это могло значить? — надолго задумался он в глубоком кожаном кресле.— Вырвал из рук мафии,— продолжал рассуждать он,— значит, не обошлось тут и без Джураева, не стал же он сам его отбивать, дело это рискованное...

Джураев хорошо знает Шубарина, и у них был общий друг — покойный прокурор Амирхан Азларханов, чьи труды мне такгодились... А ныне начальник уголовного розыска тесно сотрудничает с Камаловым, и тандем этот представляет для меня существенную опасность,— констатировал Сенатор.— Значит, Японец вошел в контакт с тем и другим. Остается узнать: давно ли они нашли точки соприкосновения и почему прокурор и полковник помогли банку? Что за этим кроется? Заключен ли был этот неожиданный союз до поездки Шубарина в Германию или все вышло случайно, выкрали все-таки гражданина США?»

Как юрист, он не должен был сбрасывать со счетов столь важный факт, тут вполне мог возникнуть вопрос о чести нового суверенного государства, отсюда, вероятно, и помощь. Все это предстояло выяснить, и не спеша, осторожно: ныне и Шубарин с его финансовой мощью, и прокурор республики, и начальник уголовного розыска,

которого, говорят, прочили в министры внутренних дел и даже шефом Министерства национальной безопасности, представляли силу. «Но как, каким образом вызнать это?» — мучился хозяин дома, скрипя добротной кожей старого австрийского кресла.

Вдруг забрезжила мысль... Надо найти тех, кто дерзнул выкрасть гостя всесильного Японца, — это мог быть или сумасшедший, или человек, считающий себя ровней Шубарину и даже сильнее его. Да, именно сильнее, вряд ли ровня рискнет тягаться с Артуром: в Ташкенте преступный мир хорошо знал, какой силой обладает Японец. После гибели Ашота и жестокой расправы с бандой Лютого Коста с Кареном упрочили свое положение в столице. И если Артур Александрович втайне от него и Миршаба вошел в контакт с Москвичом, следовало сблизиться с теми, кто решил в самом начале помешать его банковской деятельности. Но это только в том случае, если американца не выкрали какие-нибудь сумасшедшие, новые волчата, ошалевшие от вида разового чека почти в полмиллиона долларов, выписанного небрежно Гвидо Лежава. Могло быть и такое: ныне и в Ташкенте полный беспредел. После убийства Нарика Каграняна и Вали вместе с телохранителями у ресторана «Ереван» в столице не стало единого хозяина уголовного мира. Хаос, как и во всем — что ни день, объявляется новая банда, причем из вполне добропорядочных, казалось бы, граждан, еще вчера ни в чем не замешанных и не замеченных в уголовной среде. Или заезжает в благополучный город на гастроли залетная компания крутых рэкетиров, в таком случае и вовсе ищи ветра в поле. Поистине смутное время, беспредел...

Поэтому следовало не спешить, действовать осторожно, — Шубарин не тот человек, на котором можно без раздумий ставить крест, правильно говорят русские: не руби сук, на котором сидишь. Но если выяснится, что Артур действительно спелся за его спиной с Москвичом и против него действуют серьезные люди, вот тогда и переметнуться от него не грех... А пока... нужно прежде всего встретиться с Миршабом, рассказать обо всем. Если понадобится, через Газанфара и через уголовные связи выйти на тех, кто решил тягаться с Шубариным и выкрал его американского гостя.

Это решение несколько успокоило Сенатора, и он, вспомнив про чемодан, резво сорвался с места — сколько же ему положили долларов и положили ли вообще? Судя по весу, «деревянных» денег не пожалели, чемодан, перехваченный поверху бельевой веревкой, сегодня был куда тяжелее, чем в первый раз. Откинув крышку, Сенатор



ахнул: чемодан доверху был заполнен... конфетами, редкими ныне шоколадными конфетами. На минуту он растерялся — что бы это значило? Лихорадочно сунул руку вглубь чемодана и вытащил плотную банковскую упаковку, она оказалась пачкой долларов. Судя по толщине пачки, оценил он привычно, — сто штук! Десять тысяч долларов! А может, это еще не все?

От волнения, нетерпения он не стал рыться, а вытряхнул содержимое чемодана на ковер, но среди пачек долларов больше не было. Однако рублей было гораздо больше, чем в прошлый раз, миллионов пятнадцать, как прикинул на глазок Сенатор, хотя мог и ошибиться: его визуальный опыт все-таки строился на сторублевках, а тут купюры были покрупнее, к таким он еще не привык. Но в любом случае — пятнадцать миллионов или двадцать — количество радовало, он ведь рассчитывал на сумму гораздо меньшую, а о долларах даже не мечтал, не предполагал, что хан Акмаль, оказывается, давно знал им цену.

Сенатор повеселел, и мысль об альянсе Японца с его кровными врагами перестала тревожить душу. Власть и деньги магически действуют на человека, философствовал он, укладывая вновь в чемодан миллионы из Аксая. Доллары он определил в особый ящик старинного двухтумбового письменного стола, ловко переоборудованного под домашний сейф, чувствовал, что они скоро пригодятся. Ведь он обещал Сабиру-бобо после встречи с московскими адвокатами самому выехать в Первопрестольную, чтобы на месте руководить операцией по вызволению хана Акмаля из подвалов КГБ — с такой пачкой долларов и миллионами «деревянных» можно было рассчитывать на успех.

Упрятав «деревянные» в чемодан, доллары в сейф, он раздумывал: то ли самому собрать конфеты с ковра, то ли позвать кого из домашних, как вдруг снова раздалась настойчивая трель звонка, очень похожая на междугородку, и он рванулся к телефону. Но звонок оказался местным, звонил Миршаб. Даже не расспросив о здоровье, поездке, так же как и Газанфар час назад, он сказал с тревогой:

— У меня есть важная новость. Не возражаешь, если я подъеду через полчаса?

Сенатор машинально обронил «да», и разговор тут же оборвался. «Ну и денек, что ни новость, то какая-нибудь пакость...» — чертыхнулся Сенатор и поспешил на кухню, чтобы распорядиться насчет завтрака и насчет конфет, разбросанных на полу.

Миршаб появился чуть раньше назначенного срока. Еще в окошко Сухроб Ахмедович увидел, какое озабоченное лицо у его верного соратника, заметил он и то, как Салим нервно хлопнул дверцей новенькой «девятки», а ведь умел держать себя не хуже Шубарина, чья манера поведения у них почиталась за образец. Но, войдя в дом, Миршаб любезно поздоровался с женой Акрамходжаева, пошутил с детьми, и, глядя на этого улыбочивого человека, с иголки одетого, вряд ли можно было сказать, что его одолевают какие-то проблемы, заботы... Салим держался прекрасно, и хозяин дома порадовался за своего друга. И тут Сенатор вспомнил однажды оброненное Шубариным: мужчина должен нести тревогу в себе, хранить ее тайну, не расплескав из нее ни капли, ибо тревога, словно ртуть, опасна для окружающих, особенно для близких, домочадцев. Но как только они остались одни, у него в кабинете, беспечность, любезность, радушие тут же слетели с лица Салима. Он, конечно, сразу заметил чемодан у письменного стола, даже приподнял его, сообразив, что там деньги из Аксая, но расспрашивать о поездке не стал.

Миршаб устало плюхнулся в кресло и поспешил сообщить явно обеспокоившую его новость.

— После твоего отъезда в Аксай вечером я узнал из неофициальных источников сногшибательную весть, что в «Лидо» во время презентации выкрали важного гостя Шубарина, того самого американца, что сидел на банкете рядом с тобой. В тот день, когда ты встречался с Сабиром-бобо, Шубарин перетряс весь город, но тщетно, американец словно сквозь землю провалился. И тут происходит невероятное: прокурор республики и начальник уголовного розыска каким-то образом тоже узнают об этом факте, хотя официальных сообщений о пропаже гражданина США нигде не было. Ко мне, как и к Камалову, поступают сводки происшествий и по линии КГБ, и по линии МВД. Но Камалов и Джураев знают не только о похищении, но даже располагают сведениями о том, кто решился испортить Артуру праздник, и выручают Шубарина. И я сразу насторожился: с чего бы это Камалову делать столь щедрый жест в отношении Японца? Ведь он не может не знать, что мы с тобой числимся у него в друзьях, а мне на Новый год в ресторане он прямо сказал: «Я включил счетчик, слишком много вы с Сенатором мне задолжали». Так не спелся ли за нашей спиной Артур с прокурором и этим вездесущим полковником Джураевым? Если так, мы должны быть с Японцем предельно осторожны и ни в коем случае не делиться



планами в отношении Москвича. Судя по весу чемодана, судьба Камалова решена,— для Сабира-бобо смерть прокурора равна жизни хана Акмаля...

Миршаб вдруг замолк и потянулся к чайнику, о котором они забыли.

— Да, денег на это Сабир-бобо не пожалел,— ответил Сенатор, как бы освобождая себя от отчета за поездку в Аксай, а главное, от упоминания о пачке долларов. Но вдруг, словно разгадал какую-то тайну, встрепенулся и спросил: — А не может быть так: Камалов сам специально подстроил похищение, чтобы найти зачем-то ход к Артуру, внести между нами разлад? Тем более, если в деле замешан полковник Джураев, большой мастак по части головоломок для криминальной среды. Тут все надо взвесить... Теряя Артура, мы теряем многое, особенно сейчас, когда он стал банкиром, вышел на Европу.

Миршаб как-то странно посмотрел на своего однокашника, но без раздумий ответил:

— Рассуждаешь ты логично, я тоже об этом подумал, но, наверное, я не стал бы тревожиться, беспокоить тебя с дороги, если не позаботился узнать, кто же попытался наступить на хвост Шубарину.

— И кто же такой дерзкий? — вырвалось нетерпеливо у хозяина.

— Некий Талиб Султанов, вор в законе. Живет в Рабочем городке, где и Наргиз, там и держали этого американского грузина.

— Значит, Артур отказался платить выкуп за своего гостя? Обычный рэкет — за чем же иначе Талибу рисковать?

— Не спеши. Я вначале тоже так думал, но в том-то и дело: никто выкупа и не требовал, Артур не стал бы рисковать жизнью друга, ты ведь знаешь его щепетильность, заплатил бы. Хотя потом, после отъезда гостей, устроил бы крутую разборку — Коста с Кареном нынче в большом авторитете. Кроме того, известно: ночью Артур давал двести пятьдесят тысяч только за след своего друга, а к утру уже полмиллиона. Нет, тут дело не в деньгах.

— Зачем же тогда выкрали, если не из-за выкупа, как обычно?

— Вот этого я пока понять не могу, и при случае нам не мешает выяснить ответ — почему? Слишком много появляется у Артура тайн от нас, хотя ясно, что прокуратура с уголовным розыском к похищению отношения не имеют.

— Да, дела... Хотя, признаться, за полчаса до твоего звонка я уже знал об этом,— ошарашил вдруг Сенатор гостя.

— Как знал? — удивился Миршаб. — И даже знал, кто выкрал?

— Нет, этого я не знал, но очень заинтересовался людьми, дерзнувшими стать поперек дороги Артуру. При определенных обстоятельствах они могут нам с тобой сгодиться или мы сможем разыграть эту карту в своих интересах.

— Кто же тебе сообщил? — перебил нетерпеливо Миршаб.

— Газанфар.

— А я про него как-то забыл. Молодец! Вот ему и следует поручить тщательнее присмотреться к прокурору, может, тогда и найдется отгадка тайны — почему Камалов помог банкиру.

## XX

Газанфар Рустамов не обрадовался возвращению Сенатора из «Матросской тишины» не только из-за того, что понимал: отныне работы, и рискованной, у него прибавится. Рустамов был в обиде, что тот не выполнил своего обещания в пору работы в ЦК, — тогда, занимая высокий пост, он легко мог продвинуть его на место одного из районных прокуроров столицы, а если в какую-нибудь область, то и прокурором города. А теперь он сам без портфеля, сам почти никто, но сведений из прокуратуры все равно будет требовать, и даже в большем объеме, чем прежде, ведь пока Камалов — прокурор республики, Сенатор не может чувствовать себя свободным человеком, хотя и вырвался на волю.

Как юрист Газанфар догадывался об этом, ибо знал за ним немало грехов, и даже за часть этих прегрешений Сенатору светила высшая мера. Вряд ли смерть Парсегына, главного свидетеля, заставит Камалова отступить, опустить руки — не тот человек. Пока Сухроб Ахмедович пребывал в «Матросской тишине», Миршаб редко беспокоил его, может, оттого, что с первого дня он работал как бы на Сенатора, а может, человеку из Верховного суда было не до Газанфара: Камалов наверняка сел и ему на хвост, ведь он-то знает, что Сенатор с Миршабом друзья не разлей вода, еще со студенческой скамьи, и ныне сподвижники, так сказать, а прокурор, видимо, поставил цель сделать их сокамерниками, об этом многие догадываются.

Узнав от Татьяны Шиловой сногсшибательную новость о похищении американского грузина, а главное, о неожиданной помощи прокурора банкиру Шубарину, он тут же позвонил Сенатору, ибо знал цену сообщению. Важной информацией он как бы напоминал о себе, что работает, не дремлет, но имел еще и дальний прицел: думал,



что Сенатор переключится на Японца, заподозрив того в связи с прокуратурой, и надолго оставит его в покое, но не тут-то было.

Уже на другой день у него на работе раздался звонок: Сенатор приглашал его в гости, давно, мол, не виделись, не ели плов из одного лягана. Газанфар представлял, что за угощение предстоит, хотя плов приготовили на самом деле — из красного риса «девзера» и мяса свежезабитого барашка. В гостях он оказался не один, пожаловал и Хашимов.

За дастарханом о делах не говорили, вскользь вспоминали о событиях минувших дней, беседовали больше о личном, о женщинах, кулинарии, благо щедро накрытый стол позволял поддерживать эту тему. Нарочито избегали политики, а значит, дня сегодняшнего и завтрашнего. Но как только перебрались в просторный кабинет Сенатора, куда на заранее сервированный стол подали зеленый китайский чай, пластинку словно перевернули. Разговоры пошли только о политике, о насущных проблемах, о дне сегодняшнем, но больше о завтрашнем... И Газанфар, уже было засомневавшийся, что его пригласили не только на плов, понял сразу, что зван ради какого-то конкретного дела. Он не ошибся. Сухроб Ахмедович вдруг без перехода спросил:

— Перед самым моим арестом мы говорили с вами о новом отделе по борьбе с организованной преступностью в прокуратуре, куда Камалов набрал сотрудников из КГБ. Этот отдел нас и тогда интересовал, интересуется и сейчас, он — главная опора Камалова в прокуратуре. Удалось ли вам сблизиться с его работниками и есть ли у вас шанс каким-то образом перевестись туда?

Газанфар понял, что не ошибся в своих предположениях. Сенатор не успокоится до тех пор, пока не сведет счеты с Москвичом, и в этой борьбе, как он полагал, ничьей быть не может: или — или. А для него самого такое развитие событий становилось слишком опасным — Камалов не тот человек, кого можно легко поставить на колени, таких останавливает только смерть. Газанфару была известна судьба легендарного снайпера Арифа, погибшего в собственной западне, да и судьба специально привезенного из Домбая «альпиниста», не успевшего сделать даже выстрел в больнице. Нет... он хотел жить.

Но и отказаться прямо Рустамов не мог — Сенатор с Миршабом жалости не знали, от них тоже жди пули хоть в лоб, хоть в спину, поэтому он сказал:

— Важную информацию, что я передал вам накануне, мне поведали именно в этом отделе. Помните, я говорил, что у меня там ра-

ботаает знакомая девушка — Таня Шилова, вы ее видели со мной когда-то в «Лидо», она-то случайно и проговорилась...

— Вот и прекрасно. Значит, все-таки нашли лазейку туда. А общение действительно важное, и мы его оцениваем по достоинству,— Сенатор протянул гостю запечатанную пачку тысячерублевок, оказывается, заранее приготовленную на столе и прикрытую салфеткой.— Возьмите, вы заслужили.

Газанфар, не рассчитывавший на такую щедрость, поблагодарил и спрятал деньги в карман пиджака. «Сто тысяч! Не мало, но это скорее аванс за что-то рискованное, надо ухо держать востро»,— подумал он, а вслух сказал:

— Да, мне казалось, что я нашел ключ к отделу, Таню там уважают, ценят. Но случилось непредвиденное: в нее влюбился парень, ее коллега, тоже бывший сотрудник КГБ, Костя Васильев, и, кажется, пользуется взаимностью. Вот этот капитан, возглавлявший главную группу захвата при задержании хана Акмаля, любимец Камалова, и перечеркнул все мои труды. Эта неожиданно сложившаяся обстановка напрочь исключает теперь возможность перейти в отдел, разве что по личному приказу Камалова, иначе меня не поймут. А я у него не пользуюсь уважением, чувствует он что-то, иногда так посмотрит...

— Да, брат, ситуация...— вздохнул Хашимов.

— Как близко ты был у цели! — огорченно поддакнул Сенатор.— Но ты не теряйся, не опускай руки, ведь женское сердце изменчиво. Продолжай оказывать знаки внимания, не скупись на цветы там, на подарки, а вдруг... Тогда и переход в отдел будет понятным и закономерным.

Разговор как-то вдруг увял, словно пропал к нему интерес, и Газанфар почувствовал, что приятели пожалели о щедром авансе, но деньги были в кармане, и это радовало, грело. Выпили еще чаю, вновь вернувшись к достоинствам зеленого китайского чая «лунь-цзинь», и когда все катилось к пристойному завершению, Миршаб вдруг спросил:

— Газанфар, а вы не слышали, кто же все-таки подложил такую свинью Артуру?

Гость ответил, что не знает, не слышал. И тут Сенатор на всякий случай, как он позже объяснит Миршабу, поинтересовался:

— А вы, случайно, не знаете ли Талиба Султанова, он недавно в Мюнхене побывал?

Оба невольно впились взглядами в гостя. Но Газанфар, уже видевший себя за карточным столом со ста тысячами в кармане и оттого не заметивший жгучего интереса собеседников, беспечно ответил:



— О том, что Талиб побывал в Мюнхене, не слышал, да и что ему там делать? А его хорошо знаю, он в уголовном мире имеет вес.

— Вы с ним лично знакомы? — вырвалось у Акрамходжаева, не поверившего в такую удачу.

— Да, конечно. А зачем вам Талиб понадобился? Я знаю людей и покруче, — оживился Газанфар, ему хотелось быть ближе к уголовникам, чем к прокурору Камалову, и порадовать не мешало своих хозяев за щедрый аванс.

Миршаб с Сенатором быстро переглянулись, словно сговорились, обменялись какими-то знаками, как за карточным столом, и Сенатор, получив «добро» компаньона, сказал жестко:

— Это Талиб выкрал гостя Шубарина.

Газанфар побледнел: решил, что опять вляпался в какую-то историю. Он ведь хорошо знал, чем были обязаны эти два человека Шубарину. Значит, они подозревали его в сговоре против них.

— Зачем же он «наехал» на Шубарина? Японец мало кому по зубам в Ташкенте. В городе помнят, как Коста один из «узи» завалил всю банду Лютого, решившего обложить данью «Лидо», а потом сжег их всех, как собак... Не понимаю... — покачал головой Рустамов.

— Вот мы и хотим знать, почему этот Талиб дерзнул поднять руку на нашего друга, а значит, и на нас. Кто стоит за ним? — вмешался в разговор Миршаб и вдруг, неожиданно не только для Газанфара, но и для Сенатора, достал из внутреннего кармана пиджака точно такую же пачку тысячерублевков и пододвинул их к «Штирлицу» со словами: — А это от меня лично. Постарайся узнать, что к чему, а главное, что он намеревается предпринять против нашего друга. Но... сведения, даже если они будут касаться жизни Артура, прежде должны поступить к нам, не стоит отвлекать и беспокоить Шубарина, он большие дела затеял, а Талибом мы займемся сами, понял?

— Да. Я знаю, что вы друзья с Артуром Александровичем, он и мне глубоко симпатичен. И с Коста мы приятели, я часто выручал его, когда он сидел, — бормотал вконец растерявшийся Газанфар, но пачку денег торопливо прибрал.

«Что-то они сегодня слишком щедры», — мелькнула на секунду тревожная мысль, но думать — почему? — не хотелось, двести тысяч не давали сосредоточиться, приятно грели душу...

— Ну, теперь, когда у нас появился шанс обезопасить нашего дорогого Артура, мы можем сказать и «оминь», — подытожил встречу Сенатор, и они дружно встали из-за стола.

## XXI

Таня Шилова, передав важную для Газанфара информацию, поняла, что и она втянулась в схватку, где ей отведена не последняя роль. Осознавала она и то, что в борьбе, затеянной прокурором республики, ничьей быть не может, все зашло слишком далеко: три подряд покушения на Камалова — наглядное тому подтверждение.

Не могла она не понимать, что отныне пост Генерального прокурора приобрел невероятную значимость, и человек, занимающий большой кабинет в здании на улице Гоголя, становился ключевой фигурой в политической и экономической жизни республики. Поэтому кресло Камалова вдруг стало притягательным для многих кланов, желающих поправить свое общественное положение, подняться на такую ступень власти, откуда можно было бы расправляться, опять же руками закона, с соперниками и недругами.

Камалов, конечно, ощущал нараставшее день ото дня давление со всех сторон, но имел он и прочную, мало заметную для посторонних глаз поддержку первого законно избранного президента Узбекистана, человека достаточно жесткого, властного, видевшего далеко вперед, кстати, и разгадавшего предательство Горбачева одним из первых среди руководителей союзных республик. Это он, Ислам Каримов, экономист и финансист по образованию, имевший громадный опыт государственной и хозяйственной работы, своими конкретными, четкими вопросами всегда ставил косноязычного красноречивого Горбачева в тупик, разбивая его маниловские мечты в пух и прах, а иногда и вовсе загоняя в неловкое положение как человека некомпетентного. Мстительный Горбачев заметил это сразу и держал Каримова на расстоянии, приближая к себе людей легковверных, необязательных, неверных, что и подтвердил август 1991 года, когда за него не вступился ни один из секретарей ЦК союзных республик.

Но у президента Узбекистана были связаны руки каждодневными заботами: как одеть-обуть, накормить многомиллионный народ, живший все хуже и хуже из-за оборвавшихся хозяйственных связей — результата псевдодеятельной горбачевской «перестройки». Только благодаря его личному авторитету сохранялся межнациональный мир в крае, быстро гасились возникавшие то тут, то там на границах этнические конфликты, каждый из которых без твердой руки перерос бы в куда более мощный Карабах. Он хотел сохранить гражданское согласие любой ценой и добивался этого. У Камалова не было времени,



да и обстоятельства не способствовали тому, чтобы сблизиться с президентом, но как прокурор он ощущал, что в тяжелые минуты, когда его окончательно загонят в угол, может обратиться к первому лицу и наверняка получит помощь. В этом Москвич не сомневался.

Часто на совещаниях своего отдела по борьбе с организованной преступностью, на которых присутствовала и Татьяна, он говорил: «Я думаю, президент одобрит наше решение». Догадывалась она и о том, что борьба подошла к какой-то решающей фазе, события набрали ход, и, видимо, ей придется теперь регулярно снабжать Газанфара дезинформацией. Но тут, когда она понадобилась Камалову как никто другой, случилась неожиданная накладка, способная свести на нет все планы прокурора. В нее влюбился — причем по-настоящему, она это чувствовала — ее коллега по отделу Костя Васильев, и это заметили все вокруг, включая Газанфара. Если он и прежде остерегался заходить в отдел оттого, что не мог найти контакт с ее коллегами, кстати, в большинстве своими ровесниками, то теперь, когда все вокруг связывали ее имя с Костей, объяснять его визиты стало просто невозможно. Не могла же она сказать влюбленному коллеге, что Газанфар сотрудничает с мафией, что перед ней поставлена задача снабжать его ложной информацией, и чтобы Костя не вздумал устраивать здесь сцен ревности.

Конечно, будь у нее иной склад характера, держать двоих молодых людей на дистанции, не выпуская обеих из поля зрения, не составило бы особого труда. Девушки сплошь и рядом поступают именно так, но Шилова не была кокеткой, и ей приходилось трудно. Ей было уже двадцать пять, в этом возрасте в Средней Азии большинство ее сверстниц готовили своих детей к школе, а она только была впервые серьезно влюблена.

Единственный мужчина, который ей нравился до сих пор, был Камалов, но это отношение к нему она воспринимала как любовь к киногерою или киноартисту, понимая, что их разделяет время, целая эпоха. В Косте она чувствовала цельную, себе подобную натуру, ценила в нем безоглядную верность долгу и даже преданность Камалову. Гордилась тем, что он занят серьезным мужским делом и в своей среде пользуется авторитетом. Заметила Таня, что окружающие сразу единодушно восприняли их как достойную пару, что еще более осложнило ее положение. Она понимала, что не может сказать Камалову: извините, я не в состоянии любезничать с Газанфаром, у меня иные личные планы. И Костю, который ей нравился, терять не хотелось, но и Камалова подвести не могла.

Газанфар,— впрочем, как и многие другие, видимо, знавшие за собой кое-какие грехи,— враждебно встретил появление нового отдела, хотя, казалось, одним делом заняты; возможно, он чуял, что отсюда может исходить угроза и ему. Отдел по борьбе с организованной преступностью, укомплектованный полностью бывшими работниками КГБ, существовал в прокуратуре как бы сам по себе, и потому частые контакты старых сотрудников с новичками бросались в глаза. И Газанфар, на чьих глазах развивался роман Шиловой, вдруг растерялся: он действительно побаивался ребят из ее отдела. Они казались ему куда опаснее больного Камалова, и обретать личного врага при его двойной жизни, да еще такого, как Васильев, ему не хотелось. Рустамов даже решил, что канал в столь важный для Сенатора отдел перекрыт для него навсегда. Отчасти он даже обрадовался сложившейся ситуации, уж слишком рискованная затея — вести двойную игру с таким отделом. И для «сиамских близнецов» случившееся должно было послужить весомым аргументом, чтобы не рассчитывали впредь на возможность утечки информации из главного отдела прокуратуры.

Поначалу ожидания Газанфара вроде оправдались — сообщение вызвало шок, но всего лишь получасовой, к концу беседы Сенатор сказал, что не стоит опускать руки, мол, сердце девичье переменчиво, следовало ненавязчиво оказывать знаки внимания, продолжать играть роль влюбленного, а вдруг... В общем, Сенатор с Миршабом понимали важность работы ключевого отдела прокуратуры республики и любой ценой желали иметь информацию о его ближайших и перспективных планах.

Татьяна по-женски чувствовала, что Газанфар побаивался ребят из их отдела, ощущала это еще до романа с Костей, а уж как пошли разговоры, он стал и вовсе обходить их отдел стороной. Но Шилова не была бы Шиловой, если в таком деле поставила бы личное выше служебного, а точнее — долга. В минуты отчаяния она даже искала повод, чтобы поссориться с Костей, не навсегда, конечно, а месяца на два-три. К тому времени, как она думала, события получат какую-то развязку, держать предателя в прокуратуре республики было делом рискованным, даже в интересах важной операции, об этом Камалов однажды обмолвился сам. Видимо, Газанфар Рустамов оставался на свободе не только ради достижения тайных целей прокурора, а из-за того, что на него собирали серьезный материал, факты, чтобы не ускользнул от правосудия, как Сенатор,— Камалов уже был научен горьким опытом. Возможно, Газанфар по планам прокурора мог стать



главным свидетелем обвинения вместо отравленного в подвалах КГБ Артема Парсегыяна. Вполне вероятно, что коллеги уже собирали компромат на Рустамова. В общем, обе стороны имели побудительные причины не обрывать связей, но как это сделать?

Первой нашла все-таки ход Шилова, придумала повод, чтобы обращаться к Газанфару регулярно. Юриспруденция — дело волокитное, изводятся горы бумаги на постановления, решения, проекты законов, указов, предписаний, не говоря уже о томах уголовных дел, из которых то и дело требуются выписки, копии. Лучшие переплетчики города мечтают попасть работать хоть в штат прокуратуры, хоть по договору, тут в год переплетают тысячи и тысячи томов, простоя не бывает никогда — ни зимой, ни летом. Плодил бумаги и отдел, в котором работала Татьяна, и здесь то и дело требовались то копия, то выписка, а всякую бумажку наверх вынь да подай срочно, сию минуту — хоть разорвись, и каждый раз Шиловой приходилось бежать на поклон к молодому человеку, обслуживавшему в подвале прокуратуры множительную технику. Но туда бегала не она одна, и всем хотелось быстро. Раньше она в таких случаях обращалась за помощью к Газанфару, ибо он часто подвозил и с работы, и на работу на своей машине Улугбека, парня, обслуживавшего мощный ксерокс, — тот и выручал.

На бумагах из ее отдела часто стоял гриф «Секретно», и по инструкции она должна была присутствовать рядом при размножении. Так она и поступала, хотя и Газанфар, и Улугбек посмеивались над ней, над ее пунктуальностью, показывая на пачки документов с таким же грозным грифом, дожидавшихся своей очереди и день, и два. Вспомнив про ксерокс, она поняла, что нашла способ поддержания отношений с Рустамовым. Больше того, поняла, как, не вызывая подозрений, сможет снабжать его дезинформацией — будет оставлять под каким-нибудь предлогом документ для размножения минут на десять-двадцать. Этого времени вполне достаточно, чтобы Газанфар уяснил суть бумаги; копии, наверное, ему не требовалось. Но этот вариант надо было еще согласовать с Камаловым.

Приняв решение, Шилова решила тут же опробовать свою идею. С Газанфаром она не виделась уже больше месяца и переживала: вдруг получит указание от Камалова передать Рустамову очередную срочную дезинформацию, а ее система еще не задействована. Костя отсутствовал — выехал на задержание особо дерзкой и жестокой банды рэкетиров, действовавших на границах двух республик.

Выбрав наугад из папки документ без грифа «Секретно», она поднялась на третий этаж к Газанфару без предварительного звонка, хотя в прокуратуре была и местная телефонная связь,— ей хотелось нагряться к нему неожиданно. Подойдя к кабинету Рустамова, Татьяна решительно, как бы беззаботно, с улыбкой на лице рванула дверь на себя, но та оказалась закрытой, хотя полчаса назад в окно она видела, как Газанфар вошел в здание прокуратуры. «Наверное, вызвали к начальству»,— решила она и уже собиралась ретироваться, как вдруг услышала за дверью слабый шорох. Таня склонилась к замочной скважине — кабинет оказался заперт изнутри. «Что бы это значило?» — мелькнула мысль, и она решила прояснить ситуацию до конца, постучала и весело крикнула:

— Газанфар, это я!

Шилова почти прильнула ухом к полотну двери и отчетливо услышала, как громыхнуло что-то железное, а затем последовал скрип задвигаемого ящика письменного стола, и сразу — быстрые шаги по направлению к двери и мягкий скрежет хорошо подогнанного замка.

— А я уже подумала, что ты прячешь хорошеньких практиканток в шкафу,— сказала, входя, Татьяна и шутя заглянула под стол.

Все получилось мило, естественно, в высшей степени кокетливо, и с лица Газанфара сползла заметно старившая его тревога.

— Да вот «молния» на брюках забарахлила, ремонтом занялся,— нашелся он наконец и пригласил Татьяну сесть.

«Что-то для «молнии» тяжеловатый грохот»,— подумала Шилова, но вслух, продолжая кокетничать, чего прежде за собой не замечала, изложила свою просьбу. Все время разговора ее так и подмывало спросить напрямик: чем же ты, мерзавец, занимался за закрытой дверью и что спрятал в столе? Возможно, такое желание возникло оттого, что на столе лежала явно забытая крышка от какого-то прибора, на которой она четко прочитала «Сони», но, как ни силилась отгадать, от чего она, так и не поняла, хотя чувствовала, что это деталь от той вещи, которую спрятали. Улыбаться, кокетничать у нее больше не было сил, и она встала, но в эту минуту пришел в себя окончательно и Газанфар, вспомнил наставления «сиамских близнецов» и попросил ее на секунду задержаться. Загородив собой зев распахнутого сейфа, он достал роскошно упакованную коробку итальянских конфет «Амаретто» и протянул гостье:

— Говорят, очень вкусные, специально для красивых девушек...

Татьяна, поблагодарив, приняла подарок и выпорхнула из кабинета, считая, что контакт она может возобновить в любое удобное



для себя время. Приблизительно то же самое подумал и Газанфар, но крышку от аппарата, прослушивающего разговор сквозь стены, спрятал все-таки с тревогой: ему показалось, что Шилова заметила его беспокойство именно по поводу этой детали на столе, да и его байку про «молнию» вряд ли приняла всерьез.

## XXII

Прошло только десять дней после показа по телевидению презентации по случаю открытия банка «Шарк», как на Шубарина обрушилась прямо-таки лавина предложений о размещении все новых и новых капиталов: звонили, приходили лично, передавали по факсу. Шквал неожиданных заявок приободрил Артура Александровича: он все-таки опасался, что похищение Гвидо Лежавы получит огласку и банк, еще толком не открыв дверей, окажется в изоляции. Возможно, и вся затея с американцем была задумана, чтобы запугать серьезных, солидных вкладчиков, но даже если так, заговор с треском провалился — деньги текли полноводной рекой. Он видел это и по географии предложений, и по тому, от кого они поступали — многие могучие организации республики решили иметь с ним дело. Особенно радовал Шубарина список желающих сотрудничать с его банком, который появлялся на дисплее компьютера. Ведь он-то хорошо знал, какой клан контролировал ту или иную отрасль в крае или кто конкретно стоял за тем или иным крупным заводом, объединением, преуспевающим хозяйством, трестом, концерном. Предложения были не только из Ташкента, Бухары, Джизака, где его хорошо знали, но даже из самых дальних регионов: Каракалпакии, Хорезма, Сурхандарьи, Кашкадарьи. Даже без его усилий появились первые сигналы и от немецких землячеств Киргизии, Казахстана, Алтая. Он уже воочию видел на ежегодном собрании пайщиков многих влиятельных людей края — вот, оказывается, что может служить реальной точкой соприкосновения и объединения многих непримиримых кланов — деньги! Все хотели вкладывать обесценивающиеся деньги в беспроигрышное дело, все мечтали об удвоении, утроении капиталов, замахивались на валютную прибыль.

Вроде рассеивалось и мрачное пророчество прокурора Камалова, который предупреждал, что банк стал лакомым куском для многих влиятельных кланов республики и при первой возможности они постараются оттеснить его или вовсе отобрать любимое дети-

ще. Вглядываясь в дисплей компьютера, он ясно видел представителей почти всех влиятельных кланов, поспешивших застолбить себе место в многообещающем банке, рассчитанном в основном на крупных западных вкладчиков, и вряд ли при таком раскладе им резон резать курицу, несущую золотые яйца. Однако он хорошо знал Восток, чтобы не особенно обольщаться даже при самой безупречной логике складывавшихся событий. Восток — тонкая штука! А может, они все и ринулись открывать счета, чтобы при случае войти в правление, совет директоров, президентский совет, а уж оттуда, оглядевшись, начать штурм кабинета на четвертом этаже бывшего «Русско-Азиатского банка», обитого тяжелым мореным дубом, тем более если к тому времени, бог даст, банк с опытным капитаном, словно корабль с поднятыми парусами, уйдет далеко в бурном океане финансов. Тут при любых удачах, успехах следовало держать ухо востро, с высокого коня больнее всего падать — так гласит восточная пословица.

Банк на удивление быстро, почти с места, набрал скорость, что, конечно, не могло не радовать Шубарина, ведь делать политику в области финансов, стать главным дирижером денежных потоков, по крайней мере на территории от Балтии до Тихого океана, было главной мечтой его жизни. Просто деньги, личное богатство его не волновали, он и так был богат, причем личные капиталы его неожиданно и стремительно увеличивались, чего он, даже будучи финансистом, не предвидел. Дело в том, что в начале семидесятых годов, когда он стал заметным «цеховиком», или, как говорят нынче, одним из хозяев теневой экономики в крае, возникла проблема: куда девать сотни тысяч ежемесячных доходов? В ту пору нельзя было отгрохать трехэтажный особняк, купить «мерседес», не говоря уже о «мазерати», уехать отдыхать с семьей на Канарские или Болеарские острова, а на Рождество — в горы, в Швейцарию. Тогда любая заметная свадьба, юбилей в дорогом ресторане брались на карандаш, и за все спрашивали строго. Не высывался особенно и он. Выделиться — значило потерять дело, возможность реализовать себя как инженера и предпринимателя, главное в ту пору его жизни.

Кто знал его хорошо, те ведали, что он вкладывал огромные личные средства в модернизацию государственных предприятий, находящихся под его контролем и влиянием, тогда о грядущей приватизации на территории могущественной сверхдержавы СССР не решился бы обмолвиться ни один предсказатель ни у нас, ни за рубежом, все



они поумнели потом. В те годы и надоумил его хан Акмаль, бессменный депутат Верховного Совета страны и республики, покупать доллары, и даже путь подсказал.

Тогда за доллар давали официально всего шестьдесят пять копеек и он мало для кого представлял интерес, тем более для тех, кто работал за рубежом. Для власть имущих в стране существовала система магазинов «Березка», где лучшие мировые товары продавались во много раз дешевле, чем на Западе, а чек для приобретения товара, называвшийся сертификатом, стоил в самое дорогое время в два раза дороже номинала, так что особой необходимости в долларах не было. Они могли быть нужны только людям с дальним прицелом, мечтавшим эмигрировать и не потерять несправедливо нажитые деньги. В общем, валютой интересовались тогда редко, и в основном очень богатые люди, как хан Акмаль, например. Стоил доллар в ту пору на черном рынке от трех до четырех рублей. Конечно, были и люди, немало зарабатывавшие на его продаже.

Валютой занимался в стране всего один «Внешэкономбанк», товарищи оттуда и вышли на хана Акмаля, часто бывавшего в Москве. Уже в ту пору кое-кто догадывался, что на Кавказе и в Средней Азии, не говоря уже о Москве, Киеве и Ленинграде, есть очень богатые люди, которые могут заинтересоваться таким способом размещения капиталов. Через этот канал раз-два в году покупал доллары и Японец, и к началу восьмидесятых годов у него незаметно накопилось их чуть больше миллиона.

Когда с первой волной эмиграции уехал в Америку Гвидо Лежава, его многолетний компаньон в теневой экономике, Шубарин ссудил товарища тремястами тысячами долларов на раскрутку на новом месте. Деньгами Гвидо распорядился более чем толково, можно сказать даже — талантливо. В тот же год после какой-то удачной операции в Москве Шубарин довел счет долларов до полутора миллионов и на том остановился. Изредка из этой бесполезной кассы он ссужал отъезжавших за рубеж друзей, но таких крупных сумм, как Гвидо, больше не давал никому. Долларовых страстей не было до самой перестройки, он мог утверждать, что «баксовая» лихорадка — результат горбачевских реформ.

К концу правления «великого реформатора» дремавший доллар вдруг стал медленно, но верно ползти вверх, и Японец вспомнил о своих полутора миллионах «зелененьких», лежавших без движения, без прироста, просто мертвым грузом. После форосского фарса

«процесс пошел» по-настоящему: доллар стал расти как на дрожжах. Артур Александрович подозревал, что оставшаяся от меченого «отца перестройки» знаменитая фраза «процесс пошел» больше всего применительна к доллару, из всех его процессов он оказался самым существенным, самым непредсказуемым, судьбоносным — опять же по его терминологии. Даже он, Шубарин, считавший, что как-то контролирует финансовые скачки, прогнозирует их, не предвидел, что доллар с пяти-восьми рублей в конце 1989-го скакнет за два года до шестисот. Сбылся чей-то гениально разработанный план — таким образом добить, поставить на колени Россию.

Благодаря невиданному взлету доллара полтора миллиона «зелененьких» неожиданно, без всяких усилий, превратились в миллиарды «деревянных». А миллиарды в нищей стране, даже в инфляцию, — огромные деньги. Но Артур Александрович не собирался обменивать их, пусть и по самому высокому курсу. Став владельцем банка, он мог пустить их в оборот, он-то знал, кому можно ссудить с выгодой и без риска, и за год, при нынешнем диком банковском проценте, кстати, установленном не им, мог удвоить и даже утроить свои «баксы». Такое баснословное настало время для банкиров — только не зевай!

Так что финансовые дела банка не волновали Шубарина, как и его личные, точнее, с проблемами он вполне мог справиться. Беспокоила суета вокруг банка, и эти дела нельзя было откладывать в долгий ящик. Визит прокурора Камалова не шел у него из головы. С прокурором следовало определиться как можно быстрее. Тот явно протягивал ему руку помощи, руку для сотрудничества, хотя и не сказал всего, что знал, особенно о том, что связано с «Шарком». Впрочем, не стоило держать на прокурора обиду, Шубарин ведь и сам не открылся, для чего приезжал к нему в Мюнхен вор в законе — Талиб Султанов. Как не сказал и другого — почему выкрали Гвидо Лежаву, ведь этим «почему» Камалов обеспокоен больше всего. Но пока он не разобрался с Сенатором и Миршабом, не узнал их дальнейших планов, вряд ли стоило вводить прокурора в курс дел, как бы тот этого ни хотел и какая бы опасность ни угрожала банку. Артур Александрович все-таки рассчитывал только на себя, привык так, ибо никогда не доверял государству, не искал у него защиты. Не мог же он сейчас без особого повода сказать Камалову, что после возвращения из Мюнхена, как раз накануне открытия банка, ему позвонил незнакомец и, напомнив про недавнюю встречу на стадионе «Баварии», заметил,



что сейчас, когда формируется руководство банка, он должен зарезервировать одно место среди членов правления и для них.

— Для кого? — тут же стараясь поймать на слове, спросил Шубарин. Но в этот раз с ним говорил человек более опытный, чем гонец в Германию, он спокойно ответил:

— Когда получим ваше принципиальное согласие, тогда и узнаете. Впрочем, человек этот, возможно, и знаком вам.

Он тогда не воспользовался советом подумать день-два, а ответил сразу, довольно-таки жестко:

— Есть страны, в которых банк сравнивают с церковью, где не выдают тайн исповеди. Для меня же свято и то, и другое. Так что не только на место в правлении, но и на любое другое, рядовое, можете не рассчитывать, я играю только со своей командой. А что касается нашего разговора на стадионе в Мюнхене... Если есть реальные предложения, заходите, поговорим. Банк открывается на днях.

Этим приглашением он хотел заманить людей, севших ему на хвост, к себе в резиденцию, важно было знать — кто? Уж там он что-нибудь придумал бы, организовал достойную встречу. Но на другом конце провода, видимо, разгадали его ход и, поблагодарив за приглашение, завершили разговор.

На следующий день примерно в то же время, что и накануне, вновь раздался телефонный звонок, и знакомый голос сделал новое предложение.

Напрасно Шубарин вглядывался в определитель номера, чтобы уточнить, откуда звонят,— говорили из автомата, как и вчера. Незнакомец и на этот раз был краток:

— Мы тут, Артур Александрович, посовещались,— звучал тихий голос,— и решили: если вы не берете нашего представителя на работу, то будете обязаны регулярно информировать нас о своих крупных вкладчиках и акционерах. Вы понимаете, о чем речь: откуда идут деньги им и куда переводят они. Дни, когда поступают и изымаются крупные суммы. Ну и, конечно, патронировать две-три наши фирмы, куда время от времени будут загоняться солидные деньги.

Шубарин выслушал спокойно, хотя все в нем клокотало от возмущения. Как и некогда на стадионе «Бавария», ответил сдержанно:

— Мне кажется, мы вернулись к вчерашнему разговору, а вчера я ясно сказал — нет. Если я не беру вашего человека, который делал бы то, о чем вы просите меня сегодня,— разве я сам дам та-

кую информацию? Я ведь сказал вам, для меня банк что церковь, и я не предаю своих прихожан, чего бы мне это ни стоило.

— Ваше упрямство, или ваша старомодная любовь к ближнему, может вам дорого обойтись,— перебил его человек из телефонной будки.

— Возможно. Но я готов к такому исходу. Повторяю, можем вернуться только к разговору в Мюнхене, и ничего больше.

— Ну, смотри, Японец, не прогадай, для начала мы испортим тебе праздник... — и разговор неожиданно оборвался.

Шубарин, конечно, предпринял меры безопасности в «Лидо», но Гвидо все-таки выкрали. Они сдержали свое слово, и теперь ответ был за ним. Если каким-то образом прокурор Камалов прознал, что Талиб Султанов отыскал его в Мюнхене, не знал ли он также, что там Шубарин встречался и с бывшим секретарем Заркентского обкома партии Анваром Абидовичем, отбывающим за казнокрадство пятнадцатилетний срок заключения на Урале? Это тоже следовало выяснить как можно скорее, прямо или косвенно, хотя после визита прокурора Камалова он тут же связался с людьми, регулярно встречающимися с Анваром Абидовичем, и они подтвердили, что у хлопкового Наполеона все нормально, жив-здоров, по-прежнему заведует каптеркой. Кстати, они не подозревали, что заключенный успел побывать в Мюнхене, такое им и в голову не могло прийти. Так оно и должно быть, ведь за визитом Анвара Абидовича в Германию стояли высшие государственные интересы, впрочем, не государственные, так мы говорим и мыслим по инерции, а точнее — влиятельные силы, спецслужбы, о мощи которых мы не догадываемся до сих пор. Эти если берутся за дело, то основательно, странная смерть бывшего управляющего делами ЦК КПСС Николая Кручины и нескольких высокопоставленных чиновников, ушедших из жизни почти одновременно с много знавшим и много решавшим Кручиной, или новейшая история — смерть следователя по особо важным делам при Генеральном прокуроре России, занимавшегося делом нашумевшего АНТа, тому прямое подтверждение. Но в связи с распадом СССР дело, в которое втянули Анвара Абидовича и которое он, Шубарин, обещал поддержать ради жизни своего друга и покровителя, становилось рискованным.

КПСС и в самой России стала почти подпольной организацией из-за гонений на ее деятельность со стороны президента Ельцина, а уж в суверенном Узбекистане она тем более вне закона. Коммунисты вряд ли когда-либо вернуться к власти в Средней Азии, слишком



они дискредитировали себя, и не только тем, что проворовались, а тем, что подавляли все национальное, запрещали религию, не считались с традициями и обычаями народов, не умели хозяйствовать — плачевные результаты их семидесятилетнего правления налицо. Хотя делать подобные прогнозы тоже опрометчиво. Новые люди, пришедшие к власти, мало отличаются от прежних: те же манеры, те же вороватые привычки, та же беспринципность — после нас хоть потоп.

Но сегодня представлять финансовые интересы бывшей КПСС на территории суверенного Узбекистана оказывается делом куда более рискованным, чем противостоять откровенной уголовке. При малейшей огласке фактов финансовые дела свяжут с политикой, скажут: хотел реставрировать власть коммунистов, Кремля, и никаких аргументов выслушивать не станут. Тем более если его имя будет фигурировать рядом с именем Тилляходжаева, которого иначе чем предателем и не называют, знают, что свои пятнадцать лет вместо расстрела тот выторговал за помощь следствию.

О посещении Анваром Абидовичем Мюнхена следовало думать и думать, это ведь не вор Талиб Султанов, с которым проще разобратся. А вдруг Камалов знает о встрече с хлопковым Наполеоном, оттого и заявился лично в банк, наверное, чувствует, что приперли Японца к стенке какие-то неведомые ему обстоятельства. Вполне может быть и такой вариант. Но Камалов почему-то решил, что сейчас ему, банкиру, не по пути с Миршабом и Сенатором, и пытается вбить клин между ним и «сиамскими близнецами». Отсюда откровенные намеки, что прокурора Азларханова мог убить Сухроб Акрамходжаев, отсюда и тщательный анализ его докторской диссертации. Догадывается, что из этого он, Шубарин, должен сделать выводы, и они вполне будут его устраивать, размышлял банкир, пытаясь определить задачи на ближайшие дни, — времени на раскачку у него не оставалось. Прежде чем определить свою позицию по отношению к прокурору Камалову, стоило проанализировать действия Сенатора и Миршаба, и тут предстояло ставить жесткие вопросы, без восточного тумана и цветистости. Изменилась жизнь, каждодневно меняется и политическая, и экономическая ситуация, поменялись у людей цели в жизни, да и сами люди за годы перестройки стали другими — иные горизонты, перспективы замаячили перед каждым, и нужно было решать, с кем идти дальше.

Но надо было разобратся и с Талибом, ведь тогда, уходя из его дома на Радиальной, где упрятали Гвидо, он пригрозил Султанову: «А с то-

бой мы поговорим позже, не до тебя сегодня». Талибом уже занялись вплотную, собрали достаточно материалов, но, как всегда, не хватало главного: до сих пор не было ясно, кто же стоит за ним. А вчера Коста доложил, что Талиб неожиданно вылетел в Москву. А не собирается ли он оттуда махнуть в Германию? Ведь банк уже открыт, и Шубарин сам накануне презентации говорил незнакомцу по телефону: «Если есть реальные предложения, я готов вернуться к разговору на стадионе «Бавария» — заходите...» Значит, нужно связаться с чеченцами в Москве, у которых международный аэропорт «Шереметьево» давно под контролем, те могли проследить за вылетом Талиба к немцам. Да, необходимо срочно связаться с Хожа, чеченским доном Корлеоне в Москве. Коста в молодости сидел с ним в одной зоне, его помощь они не раз использовали в столице. Неожиданный отлет Талиба несколько путал карты: выходит, сначала придется разобраться с Сенатором и Миршабом, и от итога этой разборки зависело, куда качнется маятник его интересов. Но Шубарин интуитивно чувствовал, что, видимо, ему не миновать сближения с Москвичом, все чаще он вспоминал обретенную тем фразу: «Вам одному не справиться...»

Возвращаясь мысленно к единственному разговору с прокурором, Шубарин вспомнил свое письмо, некогда адресованное Камалову в прокуратуру, где он беспощадно сдал многих «математиков», бизнесменов, делающих деньги из воздуха, а точнее, разворовывающих государство и заставляющих граждан платить баснословные суммы за десятикратно перепродаваемый товар. Он тогда указал адреса многих фиктивных фирм, подобных тем, что на днях упомянули друзья Талиба, куда ему предложили бесконтрольно перегонять крупные суммы. Тогда еще существовало единое государство, и Прокуратура СССР имела силу, не то что теперь, когда стараниями новых политиков следственный аппарат разваливали повсюду, на радость преступному миру, а может, даже по его заказу, особенно в самой столице державы. И тогда Камалов воспользовался письмом толково, оперативно. Многие ходы и лазейки перекрыли казнокрадам, особенно в балтийских портах, многие высокопоставленные взяточники оказались за решеткой. Идя на такой шаг, Шубарин не мог не понимать, чем рискует, наверное, догадывался об этом и Камалов, возможно, он рассчитывал, что анонимный патриот объявится или поможет еще, ведь результаты реакции на письмо оказались весьма ощутимыми...

Тогда Шубарин поначалу испытывал удовлетворение от того, что сообщил прокуратуре, как разворовывают Отечество. Но та опе-



рация, ее результаты оказались песчинкой в Сахаре, каплей в Байкале по сравнению с тем грабежом, что набирал силу день ото дня. Тащили за кордон за бесценок все и вся, и даже тот валютный мизер, что причитался стране, оставался за рубежом на личных счетах: сеяли, пахали, добывали нефть, газ, металл миллионы людей, а получали за него деньги единицы при голых прилавках для тех, кто работал день и ночь.

В Мюнхене в отеле «Риц» он дал согласие хлопковому Наполеону на возвращение валюты с зарубежных счетов партии на родину, в его банк, только по одной причине — было жаль патрона, который когда-то помог ему подняться, реализовать в себе талант инженера, предпринимателя. Его отказ мог стоить бывшему секретарю обкома жизни — спецслужбы безжалостнее уголовников, у них тоже волчьи законы. Но он никогда не оставлял друзей в беде, такова была его натура. После отъезда хлопкового Наполеона из Мюнхена Шубарин постоянно возвращался к разговору в отеле «Риц», понимая, в какую авантюру неожиданно был втянут и чем рискует. В случае какой-то утечки информации — потерей банка, это уж точно, а банк был его целью, мечтой всей жизни. Как финансист он знал способы изменения мира вокруг себя, понимал, что мир преобразуют капиталы, это он впитал с молоком матери, получил генетически от прадеда, деда, отца. Возвращаясь к разговору в уютном номере за чашкой китайского чая после обеда в «золотом зале» русского ресторана, Шубарин жалел, что не записал тот разговор на диктофон, а он ведь был в машине. Вспоминалась одна фраза, заставившая его позже по-новому взглянуть на партийные деньги на зарубежных счетах. Тогда Анвар Абидович с нескрываемой тревогой сказал: «Беда не в том, что огромные партийные средства, на которые, впрочем, существовала и самая мощная и многочисленная разведка в мире, лежат на зарубежных счетах, а в том, что они принадлежат иностранным гражданам, некогда увлекавшимся левацкими идеями или притворявшимся марксистами и ленинцами. И сегодня, когда коммунизм потерпел крах повсюду, лишился привлекательности даже в Италии, Испании, есть реальная опасность потерять эти деньги навсегда. Ведь капиталы эти складывались десятилетиями нелегально, в обход законов и своей, и чужих стран. У нас есть сведения, что некоторые из владельцев крупной собственности партии за рубежом уже поспешили ликвидировать фирмы, распродали имущество, сняли многомиллионные накопления и скрылись в не-

известном направлении. И пока наша агентурная сеть на Западе существует, мы должны любой ценой, если понадобится, даже силой, вернуть деньги домой, они еще пригодятся партии. Но нам нужно спешить, чтобы не остаться у разбитого корыта...»

Шубарина тогда все подмывало поправить патрона, что деньги эти — не партии, а народа, тем более что Анвар Абидович сам же минутой раньше, объясняя источники возникновения валютной кассы, говорил, что партийные деньги трудно отделить от государственных, настолько все сплелось, ведь продавали богатства недр, принадлежащие народу и добываемые им же, но тогда он не хотел перебивать разговор. Наверное, взглянуть на доллары коммунистов иначе его отчасти заставил двадцатичетырехмиллиардный кредит Международного банка развития и реконструкции, обещанный нашей стране, но оговоренный тысячами условностей: по-русски это соответствовало поговорке — пойдти туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Приблизительно на таких условиях Запад был готов дать пресловутый кредит, хотя он-то отлично знал, куда идти и что нести. А ведь по мировым стандартам сумма была мизерная, одна Америка ежегодно в течение десятилетий подкидывала более крупные суммы крошечному Израилю. Небольшой она была даже в сравнении с теми деньгами, что имелись у партии на тайных зарубежных счетах, ведь ему-то обрисовали примерные контуры капиталов и недвижимости, принадлежащих КПСС.

Финансист Шубарин быстро догадался: Запад не даст и этих двадцати четырех миллиардов, только шаг за шагом будет требовать все новых и новых уступок — полного разоружения, вывода войск отовсюду, оплаты существующих и несуществующих российских долгов чуть ли не со времен царя Ивана Грозного, и все это до бесконечности. Так и произошло. Как русского человека, гражданина великой державы, с которой еще вчера считались все, вплоть до Америки, не говоря уже о ее прихлебателях или карликовых государствах, его задевало это барское отношение Запада, почувствовавшего слабость Российской империи, и в какой-то момент он сам загорелся идеей вернуть партийные деньги в страну. Через своих немецких коллег-банкиров он начал осторожно зондировать почву на этот счет и вскоре выяснил, что суммы, и немалые, есть и в немецких банках. Чтобы добыть эти сведения, потребовались деньги, и немалые, но Шубарин, загоревшийся идеей вернуть стране хоть часть разворованных средств, денег не жалел. Считал для себя святым делом добыть валюту для страны,



попавшей из-за предательства Горбачева в труднейшее экономическое положение.

Но прокатившийся после форосского фарса «парад суверенитетов» осложнил задуманное Шубариным. Особенно после позорного сговора в январе 1992 года в Беловежской Пуще, когда три руководителя — Украины, Белоруссии и России — в нарушение Конституции, за спиной других бывших братских республик, самолично распустили СССР и подписали соглашение о так называемом Содружестве Независимых Государств, СНГ, не считаясь с результатами всенародного референдума, когда весь народ — от края и до края, несмотря на старания националистов всех мастей,— проголосовал за единое и неделимое государство с предоставлением всем бывшим республикам небывалых ранее прав и свобод.

Многие дальновидные люди оценили это событие как развал единого государства, единой экономической зоны с единой финансовой системой. Шубарин понял это сразу, находясь еще в Германии. Но про себя подумал и другое: ничтожные политики, не поделив власть или ошалев от нее, принесли в жертву само государство. А если жестче, по-мужски: не зная, как выкинуть из Кремля хитроумного красная Горбачева, они упразднили вместе с ним и державу, формировавшуюся тысячелетиями, раскидали по разным краям-квартирам народы, спаянные кровными узами, не делимые по национальностям.

В связи с развалом СССР у Шубарина неожиданно возникли проблемы: если первоначально он замысливал вернуть единой стране и единому народу украденные у него деньги, то сегодня, возвращая их в суверенный Узбекистан, он как бы обирал другие народы. Нечестно как-то получалось. Даже рассуждая теоретически, он не мог прийти к какому-то конкретному решению. Ну, например, вернет он эти деньги и разделит между всеми пятнадцатью республиками, получившими независимость,— тогда могут обидеться автономии, тоже ставшие самостоятельными государствами, скажем, Чечня или Татарстан. Или, если давать Молдавии, как же отказать Приднестровью, а это уже политика, и если вернуть Грузии, то она вряд ли поделится с осетинами и абхазами, а это ведь тоже несправедливо.

Россия с Украиной могли заявить, что в их рядах коммунистов было больше, чем во всех республиках Средней Азии и Казахстана, вместе взятых, такой должна быть и их доля. В общем, выходило по пословице: куда ни кинь, всюду клин. А если сумма, исчислявшаяся миллиардами долларов, могла попасть к нему в банк, в неза-

висимом Узбекистане вполне могли сказать: «Это наши деньги»,— и тут же вчинить иск бывшей КПСС на еще большую сумму и тоже в долларах: одна загубленная дефолиантами узбекская земля стоила любых триллионов.

Особенно остро почувствовал эту проблему Шубарин, вернувшись из Германии и открыв свой банк. Оттуда, из-за границы, все-таки виделись какие-то просветы, перспективы, на месте все оказалось куда жестче. Финансовая и кредитная политика, не говоря уже о валютных операциях, менялась чуть ли не ежемесячно, государство искало свой путь, и путь этот, как и повсюду, состоял из проб и ошибок. А банковское дело требует ясной финансовой политики и твердых законов — это азбука бизнеса. Без этого рассчитывать на успех, на западные инвестиции бесполезно, все стараются вложить деньги не просто в надежное и прибыльное, но и стабильное дело.

Уже в Ташкенте после отлета Гвидо и визита прокурора Камалова Шубарин вдруг ясно понял, что без страховки на самом высоком уровне ему вряд ли удастся осуществить задуманное — вернуть деньги КПСС из-за рубежа. Как он ни раскладывал варианты, при постоянно менявшихся законах все представлялось чистой авантюрой. Человеком, который мог его подстраховать, виделся пока только Камалов, но тогда его придется держать в курсе дел, а главное, сделать эту часть работы банка тайной, не подлежащей ни проверке, ни огласке, и связать это с интересами государства, что, в общем-то, не ново в мировой практике банковского дела. Но вот хватит ли на подобное решение полномочий Генерального прокурора, Шубарин очень сомневался.

Вопрос, мучивший Шубарина, вдруг неожиданно обострился, не оставляя ему времени на раздумья. Однажды днем у него в кабинете раздался обычный телефонный звонок, и знакомый голос, который он никогда бы не спутал с другим, без обычных восточных церемоний сказал:

— Как дела, Артур? Поздравляю с открытием банка. Не забыл о нашем разговоре? Не передумал? — Получив короткий утвердительный ответ, абонент продолжал: — Желательно, чтобы ты в конце следующего месяца появился в Италии, там один старейший банк отмечает свое трехсотлетие. Ты получишь официальное приглашение как финансист из Узбекистана. Этот банк давно представляет наши интересы, мы дважды спасали его от разорения. Желаю приятной поездки в Милан, возможно, мы там увидимся... — И разговор оборвался так же внезапно, как и начался.



Звонил Анвар Абидович, хлопковый Наполеон, находившийся официально за лагерной проволокой.

После звонка Шубарин машинально глянул на настольный календарь — до встречи в Италии оставалось шесть недель. Времени вроде достаточно, но не для таких грандиозных планов, что он построил. Конечно, если бы он на самом деле намеревался вернуть КПСС награбленные у собственного народа деньги, то наверняка при встрече в Италии поставил бы в известность подельщиков о своих сомнениях, возникших из-за развала государства. Но он не собирался возвращать деньги коммунистам, как и не думал отступаться от идеи вернуть капиталы на родину. Вопрос был в одном — как? Проблема заключалась в том, что он ни с кем не мог посоветоваться, поделиться планами, а они возникали почти ежедневно, но ни один не выдерживал критики.

Вернувшись в Ташкент, Шубарин сразу почувствовал, что оказался в столице суверенного государства: дыхание перемен ощущалось на каждом шагу, здесь времени зря не теряли. И с первых дней возвращения он пытался понять механизм действия новой власти, ее ключевых структур, и быстро оценил, что тут, как и в России, еще полностью не набрала силу ни одна ветвь власти, все находится в зачаточном состоянии. Повсюду, на всех этажах шла борьба, хотя президентская власть была несоизмеримо крепче, чем в России, на которую республики по инерции держали равнение. И выходило, что пока в Узбекистане окончательно не разобрались с властью, он вряд ли мог получить откуда-либо поддержку, тем более что операция должна была храниться в строжайшей тайне. Из тех, кого он знал, лишь прокурор Камалов сидел пока на месте прочно и мог оценить масштаб затеянного им. «Вот если бы Камалов был на коротке с президентом», — думал иногда Шубарин, но отметал эту версию сразу, зная, что Москвич не любитель мельтешить перед глазами руководства и без надобности не бывал в Белом доме. Кто вхож к президенту, кто у него в милости, быстро становилось известным, хотя бы для тех, кто интересовался этим, и Камалов в ряду таких ни разу не упоминался, но и среди тех, кем президент не был доволен, тоже не числился. Может, оттого, что жесткий хозяин Белого дома на Анхоре чувствовал, что в прокуратуре республики тоже сидит человек, знающий свое дело и по характеру близкий ему. «А если бы я знал президента, как раньше Рашидова, как воспринял бы он мою идею?» — подумал Шубарин однажды, но тут же отбросил эту мысль. Вряд ли поддержал бы.

Желание вернуть награбленное из-за рубежа, возможно, и поприветствовал бы, а дальше — ничего, кроме проблем и неприятностей. Нет, это нанесло бы молодой республике и первому ее президенту только урон. У нас кто делает добро, тот больше всего и страдает от этого. Вот если бы, как прежде, увязать эти деньги с какой-нибудь всеобщей идеей — сохранения Байкала, например, или целиком направить на освоение космоса, или на новый БАМ, но где теперь всеобщая идея? Даже если все отдать жертвам Чернобыля, вряд ли это найдет единодушное одобрение — скажут: у нас куда ни кинь, везде Чернобыль, и ведь будут правы. Но и деньги, отнятые у бедняков, оставлять заживевшему Западу не хотелось, потому Шубарин и не отступался от идеи вернуть капиталы. После разговора с хлопковым Наполеоном он понял, что до отъезда в Италию обязательно должен получить «добро» своей затее, и желательно сверху, иначе мог засветить, а то и провалить всю операцию с самого начала. А может, государство и отмежевалось бы от него официально, зная о его планах? Ведь разговор шел о суммах нешуточных. Но мысль, что нужна идея, охватывающая всеобщую проблему, прочно засела в голове Шубарина, под такую программу можно было попытаться уговорить кого-то поддержать банк.

Однажды в часы долгих раздумий Шубарин поймал себя на мысли: если бы его банк находился на Украине, он попытался бы напрямую выйти на президента Кравчука и предложить деньги бывшей КПСС на ликвидацию последствий Чернобыля, — вряд ли бы тот отказался. Но то ведь Чернобыль — мировая трагедия, катастрофа, размышлял Шубарин, подыскивая другую уважительную причину, чтобы средства КПСС остались в его родном Узбекистане, раз он не может поделиться со всеми поровну, и чтобы все выглядело убедительно, как в случае с Чернобылем. И в эти дни, когда он бился над мучившей проблемой, ему бросился в глаза заголовок газетной статьи «Чернобыль республик Средней Азии и Казахстана», набранный жирным шрифтом на первой полосе молодежного еженедельника. В какой-то момент он даже подумал, что ему померещилось — увидел то, что тщетно искал. В статье речь шла об умирающем Аральском море, колыбели многих народов Средней Азии и Казахстана. По мнению ученых с мировым именем, специалистов, трагедия Арала по масштабам ее воздействия на экологию огромного региона равнялась Чернобылю, и от нее уже страдали и жители далекого Алтая, и хлеборобы Оренбуржья, и овощеводы Ленкорани в Азербайджане — следы соленых пыльных бурь со дна усыхающего моря уже стали обнаруживать и там.



В статье указывалась и виновница экологической катастрофы — КПСС, ее неумение хозяйствовать, пренебрежение к людям и природе, ее волюнтаристские решения. Одним росчерком пера в эпоху Хрущева край роз засадили монокультурой — хлопчатником. В одночасье регион лишился животноводства, бахчеводства, производства собственного зерна, сахарной свеклы, виноградарства, уничтожили сотни тысяч гектаров яблоневых садов, ореховых рощ, производства табака, масленичных культур, а с ними и пчеловодства. На полив хлопчатника в сезон до последней капли вычерпывались две великие среднеазиатские реки — Сырдарья и Амударья, кормилицы и поилицы миллионов людей вдоль ее берегов. Веками эти реки стекали в Арал, в уникальное внутреннее море, делавшее весь край щедрым и благодатным для жизни. Теперь без притока воды Арал усыхал на глазах. Вода ушла от берегов на десятки, а кое-где и на сотни километров, и в спасении нуждались уже и сами реки. Приводились в статье и цифры международных экспертов, чего может стоить человечеству возвращение Арала к жизни. Сумма каждого варианта, даже самого дешевого, поражала: наворованного КПСС (если удалось бы его вернуть) хватало лишь на часть работ. Долго еще придется расхлебывать человечеству эксперименты большевиков.

Газетная статья обрадовала Шубарина и вселила в него уверенность, что под такую идею ему, возможно, и удастся уговорить прокурора Камалова попытаться получить поддержку на правительственном уровне, остальную часть операции и риск он брал на себя. Имелся еще один существенный нюанс, но его он собирался конкретно обговорить в Милане: с первой же крупной суммой, возвращенной из-за рубежа, Анвар Абидович должен быть освобожден. Такое наверняка по силам тем людям, что беспрепятственно доставляли заключенного то в Мюнхен, то в Милан, и освобождение Анвара Абидовича не выглядело бы неожиданным — уже вернулись домой почти все крупные казнокрады, осужденные на такие же сроки, что и он, и даже приговоренные к расстрелу. Если бы прокуратура Узбекистана наложила арест на незаконные валютные операции банка, связанные с запрещенной КПСС, то первое, что наверняка сделают люди, стоящие за этими деньгами, — ликвидируют хлопкового Наполеона, это ведь он дал гарантии, что Шубарин тот человек, с кем можно вести столь крупные и рискованные дела. Шубарин знал: пока он не вернет Анвара Абидовича домой и не спрячет надежно, операцию закруглять

не будет. Впрочем, этот вариант он собирался обговорить не только в Мюнхене, но и в Ташкенте с Камаловым.

Сформулировав значительную цель, на достижение которой следует передать деньги бывшей КПСС, Шубарин немного успокоился, ибо твердо решил сразу после разговора с Миршабом и Сенатором встретиться с Камаловым. Пути их рано или поздно должны пересечься, он это смутно чувствовал, еще когда отправлял свое анонимное письмо. Шубарин был уверен, что Камалов, поняв суть предлагаемого дела, не станет выспрашивать его, как другие: а зачем тебе хлопоты, риск, зачем тебе ценою жизни добывать деньги для умирающего Арала? Ибо прокурор сам занимался каждодневно тем же и так же рисковал жизнью.

### XXIII

Московских адвокатов хана Акмаля Сухроб Ахмедович прождал три дня — то ли задержались в Белокаменной, то ли Сабир-бобо устроил какое-нибудь новое испытание, а может, загуляли в Аксае после голодной столицы. Там сейчас жизнь далеко не сахар, не стекаются, как прежде, в Москву реки избытка со всех концов неоглядной страны, отпала нужда в пропагандистской витрине, а в Аксае принимали всегда по-хански. Приятно, конечно, день-другой провести в горах, в заповеднике, подышать свежим воздухом, обойти за прогулку три-четыре водопада, а после вернуться к богатому дастархану — ныне такие застолья по карману только очень состоятельным людям. Сенатор с наслаждением вспоминал день, проведенный в Аксае, и жалел, что не было времени выбраться в горы, к охотничьему домику, где его некогда принимал сам хан Акмаль и где они наконец-то ударили по рукам, нашли путь к взаимопониманию.

Но на четвертый день, когда он уже собирался связаться с Сабиром-бобо, рано утром раздался телефонный звонок. Звонили с Южного вокзала, куда прибыл наманганский поезд, московские юристы, просили о встрече. Через час Сухроб Ахмедович уже принимал их дома за накрытым столом. Сенатор оказался прав в своих предположениях: гости действительно не хотели уезжать из хлебосольного Аксая и наперебой вспоминали оказанный им приём. Весь день, до самого отлета самолета, с небольшим перерывом на посещение махаллинской чайханы, где Сухроб Ахмедович заказал плов, они говорили о возможных путях освобождения хана Акмаля.



Время и обстоятельства работали на Акмаля Арипова. Если бы его судили на скорую руку, как секретаря Заркентского обкома партии Анвара Абидовича в начале перестройки, приговор наверняка потянул бы на высшую меру. Самый большой срок заключения показался бы большой милостью, и ему Арипов был бы несказанно рад, ведь и тогда, шесть лет назад, материала для суда было достаточно, и свидетелей, твердо стоявших на своих показаниях, сотни, но Прокуратура СССР не спешила.

Никому и в голову тогда не могло прийти, что страну могут развалить, а вместе с ней будет упразднена и сама Прокуратура СССР, главный обвинитель Арипова. За годы затянувшегося следствия прокуратура подготовила на хана Акмаля более шестисот томов уголовного дела и выявила сотни свидетелей. Вот свидетелями и занимались вплотную адвокаты. Тщательно изучив тома дела и видеозаписи очных ставок, они составили подробный список тех свидетелей, которых нужно было заставить изменить показания, хотя, по правде сказать, желающих дать показания против хозяина Аксая с каждым годом перестройки и так становилось все меньше и меньше. И в адвокатский список входили наиболее стойкие люди, в большинстве своем имевшие личные счета с ханом Акмалем. Свидетелями по делу проходили в основном жители Аксая или близлежащих кишлаков, несколько чиновников из Намангана, крепко и прилюдно битых ханом Акмалем. Ну, еще несколько журналистов из Ташкента и областной газеты, робко пытавшихся донести до народа правду о порядках, царивших в знаменитом орденоносном хозяйстве.

Списки свидетелей давно, еще в первый визит адвокатов в Аксай, были переданы Сабиру-бобо для «профилактической работы» со строптивыми. Кроме списков, Сабир-бобо получил копии всех свидетельских показаний против Акмаля Арипова. Теперь ни один дехканин не мог заявить ему: я этого не говорил, не помню. Сам факт, что Сабиру-бобо было известно, о чем они говорили следователю за двойными дверями, действовал на колхозников магически. Они лишний раз получали подтверждение, что с властью имущими бороться бесполезно, на кого жалуешься, тот и будет разбирать твою жалобу. Да и обстановка вокруг, результат провалившейся перестройки, действовала на людей удручающе, ведь с перестройкой связывали столько надежд! А выходит, все вернулось на круги своя.

Люди уже без особого нажима писали то, что советовал им Сабир-бобо, а того научили московские адвокаты. С кем обходились

без давления, кого откровенно запугивали, а кое к кому пришлось предпринять меры. Иных задабривали: кого бараном, кого деньгами, кого должностишкой какой, кому помогли устроить детей в институт. Отказались от показаний почти все, и от всех имелась собственноручно написанная бумага об этом; даже журналисты отступились от своих прежних публикаций, «признавшись», что их ввели в заблуждение и они не поняли глубинных процессов в передовом хозяйстве страны. В общем, к суду, если бы такой состоялся хоть в Москве, хоть в Ташкенте, адвокаты были готовы и считали, что обвинения они расшатывали основательно, и если избрать правильную тактику на процессе, агрессивную, наступательную, и все перевести в политическую плоскость, — то тяжбу можно будет считать выигранной.

Но после августовских событий обстоятельства вновь изменились. Сбылись пророческие слова аксайского Креза, зафиксированные на одной из видеопленок во время допроса. Поняв раньше других, что могильщик Горбачев похоронил единую страну, он в эйфории высокопарно заявил следователю:

— Я вечен! А Прокуратура СССР — это жандармский орган Российской империи, и время сметет вас!

Так оно и вышло. Республики одна за другой обретали суверенитет, независимость, а союзные структуры медленно отмирали сами собой, и Прокуратура СССР — тоже. Неожиданно появилась реальная возможность если не сразу освободить хана Акмаля из-под стражи, то передать его скандальное дело домой, где вряд ли нашелся бы суд, способный осудить его.

Но даже на случай суда над Ариповым московские адвокаты подготовили сценарий — признать за ним кое-какую вину, ну, например, злоупотребление властью, и даже осудить, дав срок, равный тому, что он уже отсидел, находясь под следствием, и прямо из зала заседаний — на свободу, в объятия родных и близких. Причем этот вариант известные юристы считали наиболее разумным, не возбуждающим общественного мнения, чтобы врагам хана Акмаля когда-нибудь не пришлось в голову потребовать нового суда над ним.

Просоветовавшись целый долгий день, просмотрев вместе основные материалы, они решили, что нужно срочно заручиться письмом из Верховного суда, где будет изложена просьба передать уголовное дело гражданина Арипова А. А. на рассмотрение по месту совершения преступления в связи с изменившейся политической ситуацией. Письмо это следовало поддержать и ходатайством из Верховного Со-



вета республики, и несколькими личными просьбами бывших депутатов Верховного Совета страны, как обычно принято в демократических государствах.

Когда Сенатор на всякий случай переспросил, не нужно ли еще чего, адвокаты переглянулись, и один наиболее шустрый, специалист по защите особо богатых и влиятельных чинов, улыбаясь, подсказал:

— Ну, если к этим бумагам присовокупить десятку-другую тысяч «зелененьких», я думаю, хан Акмаль тут же окажется на свободе, мы уже расчистили пролом... — Видимо, они знали, что Сабир-бобо отвалил и доллары за освобождение своего ученика.

С тем гости и улетели. С письмом из Верховного суда проблем не возникло никаких, там работал Миршаб, были и депутаты, готовые подписать бумаги в защиту хана Акмаля; могла возникнуть лишь заминка с ходатайством из Верховного Совета нового созыва. Когда Сенатор посоветовался с Миршабом, к кому можно обратиться в Верховном Совете за помощью, тот неожиданно предложил не рисковать. И они вспомнили свой старый испытанный прием — подлог, которым часто пользовались на районном уровне, будучи прокурорами. На ксерксе отсняли бланк Верховного Совета с новой символикой, а текст придумали и отпечатали сами, в этом деле они считали себя асами.

Бумаги, как обещал Сенатор московским адвокатам, он подготовил за три дня и стал собираться в дорогу. События нынче происходили с калейдоскопической быстротой: случись еще один переворот, никакие ходатайства, не говоря уже о подложных, хану Акмалю не помогут, и Сухроб Ахмедович, зная это, спешил. Но прежде чем уехать в Москву, Сенатор хотел прояснить отношения Японца с прокурором Камаловым. Если такая связь существует и если они спелись на какой-то почве, то он там же, в бывшей столице, или по пути в самолете постарается выставить Шубарина в дурном свете перед ханом Акмалем, сразу настроить его против Японца.

На свободе хозяин Аксяя будет опять представлять силу, Сухроб Ахмедович не сомневался в этом, отчасти потому и спешил лично встретить у ворот «Матросской тишины» опального Арипова. Но Газанфар, от которого он требовал каких-то подтверждений связи Японца с Москвичом, никак не мог нащупать ничего существенного, впрочем, даже и не существенного, а хотя бы ниточку, но и она не давалась в руки. И вариант — вбить с ходу клин между ханом Акмалем и Шубариным — Сухроб Ахмедович временно отбросил. Во-первых,

их связывали давние отношения, во-вторых, аксайский Крез всегда высоко ценил Японца, знал его силу, а главное, он потребовал бы ясных и четких доказательств, которых, увы, пока не было. Да и опережать события не следовало, Сенатор любил повторять русскую поговорку: поспешишь — людей насмешишь.

Энергия была в Сенаторе ключом, и тогда он решил прозондировать до отъезда другой фланг, откуда Шубарин уже получил предупредительный удар. Он попытался связаться с Талибом, опять же с двойной целью: если останется с Шубариным — нанести Султанову и тем, кто за ним стоит, существенный урон, расстроить их планы, а если их пути с Артуром Александровичем разойдутся — использовать эту силу против человека, поднявшего его на вершины власти. Таился во втором варианте и материальный интерес: страви он Талиба с Японцем в смертельной схватке, и крупный пай Шубарина в пресупевающем ресторане «Лидо» они бы поделили с Миршабом, а там, по нынешним ценам, разговор шел о миллионах, о десятках миллионов, их ресторан не имел конкурентов в столице, вовремя они подсутились, поставили все на колеса, отладили его ход.

Но тут вышла осечка: то Газанфар несколько дней не мог выйти на Талиба, то его самого отправили на два дня в командировку в какую-то зону, где случился очередной побег, а когда Рустамов вернулся, выяснилось, что Талиб срочно улетел в Москву. «Срочно» и «в Москву» — это насторожило Сенатора: не оттуда ли тянется хвост к Шубарину? Но о том, что Талиб скоропалительно улетел в Первопрестольную, он решил Японцу не сообщать, так же как и сам собирался улететь, не ставя Шубарина в известность, но в последний момент передумал, и опять же из-за хана Акмаля. Арипов однажды уже попенял ему за то, что поездку в Аксай, самую первую, он провернул за спиной Шубарина, а ведь тогда полуночный телефонный звонок Артуру Александровичу спас ему, Сенатору, жизнь. Иначе аксайский Крез зажарил бы его живым вместо тандыр-кебаба или спустил бы в подвал с кишашими ядовитыми змеями. Наверняка хан Акмаль и в заключении был осведомлен о делах Японца не меньше, чем он, знал и об открытии банка, и при встрече мог спросить: «Как дела у нашего друга Артура?»

Нет, до поры до времени хан Акмаль не должен знать, что между ними пробежала черная кошка, и от Шубарина не стоит скрывать поездку в Москву. Возможно, он даже чем-то поможет, у него друзей в столице не меньше, чем у хана Акмаля. Кстати, высокопоставлен-



ные московские друзья Арипова, оправившиеся после первого шока, чувствовали перед ним вину — ведь, как ни крути, тот никого не сдал, а продать мог многих — знал такое, что могло затмить его собственные деяния. Но он вел себя по-мужски. Сегодня, когда, словно карточный домик, в одночасье рухнули и партия, и КГБ, и прокуратура, и армия, они осмелели и могли через свои связи реально посодействовать освобождению хана Акмаля. Список кремлевских друзей своего ученика Сабир-бобо в последний приезд тоже передал адвокатам, те даже опешили, узнав, какие люди были на крючке у их подзащитного, и тот все-таки устоял от искушения потянуть их за собой. Но Сухроб Ахмедович не стал вслух комментировать рассуждения московских коллег, только, как восточный человек, подумал: а может, поэтому хан Акмаль и остался жив?

Купив билет, Сухроб Ахмедович решил навестить Шубарина на работе, заодно и посмотреть, во что превратился бывший «Русско-Азиатский банк», о котором так много писали. Причину поездки он может объяснить тем, что Сабир-бобо попросил подтолкнуть работу адвокатов. Ни о ходатайстве из Верховного суда, ни тем более о подложном письме из Верховного Совета республики он решил на всякий случай не говорить: а вдруг это станет известно их ярому врагу прокурору Камалову? За одно подложное письмо можно надолго задержать хана Акмаля в «Матросской тишине». Но пока Сенатор собирался посетить отреставрированный особняк, где разместился банк «Шарк», однажды поутру у него дома раздался телефонный звонок.

Это был Шубарин. Расспросив о жите-бытье, здоровье, детях, настроении — как и положено по полному списку восточного ритуала, — он попросил Сухроба Ахмедовича заглянуть к нему в банк, и Сенатор предложил: если не возражаешь, готов заехать через час. На том и порешили. Положив трубку, Сухроб Ахмедович долго ходил по комнате возбужденный. Через час он и сам собирался нагрянуть к Шубарину неожиданно — не вышло. Японец, словно читая его мысли, перехватил у него инициативу, а это он посчитал дурным знаком и почувствовал смутную тревогу.

Через час в шелковом костюме от Кардена и ярком итальянском галстуке Сухроб Ахмедович появился в банке. Старый особняк из красного жженого кирпича он узнал лишь по рельефно выложенной на фронтоне цифре «1898» — так преобразилось здание и все вокруг него. Сам особняк был украшен изысканным декором из местного мрамора светлых тонов, сменил обветшавшие почти за столетие

оконные переплеты на большие по размеру из дюрала, что придавало строению очень строгий, официальный вид. А кованые ручной работы кружева решетки, без которых теперь не обходится даже газетный киоск, возвращали к мысли о прошлом веке, когда умели так замечательно строить. Небольшая площадь и скверик перед банком поражали нездешней чистотой и ухоженностью, и всяк проходящий невольно поднимал глаза, отыскивая вывеску, — кто же это так расстарался, буквально вылизал за квартал все подходы к «Шарку»?

Но еще больше поразило Сенатора внутреннее убранство банка. Он словно попал в совершенно иной мир, и хотя слышал о великолепно проведенной реставрации, но невольно тянулся глазами то к старинной люстре, свисавшей с высокого потолка, отделанного хорошо отполированным красным деревом, то к массивным, прошлого столетия, бронзовым ручкам дверей кабинетов, выходящих в просторный овальный холл первого этажа. Притягивали взгляд и картины, в которых Шубарин знал толк. Они были развешаны в хорошо освещенных длинных коридорах, на азиатский манер выстланных ковровыми дорожками строгих расцветок, впрочем, дорогие восточные ковры никогда не имеют кричащих тонов. Наверное, не один он, любой посетитель, впервые попавший в банк, невольно останавливался, столбенел перед непривычным для учреждения великолепием и роскошью, и служивые люди на входе, привыкшие к этому, давали время на адаптацию и лишь потом провожали к лифту или указывали на широкую лестницу, спускающуюся в холл откуда-то сверху, из-за поворота.

Сенатора уже ждали, потому человек без униформы, исполняющий привычную роль милиционера при входе в любой банк, не требуя от него никаких документов, негромко сказал:

— Вам, Сухроб Ахмедович, на третий этаж. Лифт за колонной, слева...

Но он выбрал лестницу... Не оттого, что ему не понравился хромированный, в зеркалах (он как раз стоял с открытыми дверями) финский лифт всемирно известной фирмы «Коне». Он просто хотел успокоиться, прийти в себя, акклиматизироваться в этом здании, возрожденном словно из небытия трудом и фантазией Шубарина. Сухроб Ахмедович надеялся: пока поднимется на третий этаж, с его лица сбегут невольный восторг и зависть, которые он неожиданно испытал, распахнув массивную дубовую дверь в залитый теплым светом холл. Но, одолев лишь первый этаж по роскошной лестнице, на по-



воротах которой стояли бронзовые скульптуры, статуэтки на изящных мраморных подставках-консолях или диковинные карликовые деревья-бонсай в просторных каменных вазах на античный манер, он перестал вдруг видеть окружающее его великолепие — и картины в дорогих рамах с тяжелой золоченой лепниной, и настенные бра с матовыми плафонами венецианского стекла на массивных бронзовых кронштейнах, гармонировавшие и со старыми рамами картин, и литой бронзой затейливых решеток, петлявших по пролетам лестницы, явно доставшихся банку от первых его владельцев. Он вдруг ясно ощутил какую-то приближающуюся опасность, понял, что не зря Шубарин вызвал его в свою вотчину и не простой разговор ожидает его двумя этажами выше.

Сухроб Ахмедович всегда знал, что он человек не ума, а чувства. Он редко утверждал: я предвидел, он говорил: я предчувствовал. Вот и сегодня на просторной лестничной площадке между первым и вторым этажами банка, где рядом с бронзовой скульптурой богини Ники, кажется, благоволившей к финансистам, стояла еще и живая свежесмытая пальма в стилизованной под старину кадке, отчего Ника оказалась то ли в тени раскидистой пальмы, то ли в привычной ей райской обители, у него словно включился сигнал опасности, и он невольно остановился в раздумье, как бы разглядывая редкостную пальму рядом с крылатой богиней. Но через минуту он взял себя в руки — назад хода не было, и Шубарин, наверняка предупрежденный охранником у входа, под пиджаком которого он углядел оружие, уже ждет его. Уйти — значит признать за собой недобрые намерения, а их Сенатор пока таил даже от Миршаба. И он стал быстро подниматься наверх.

Хозяин банка действительно ждал его, он как раз сам принимал из рук секретарши поднос с чайником и пиалами. В этот момент Сенатор и вошел в кабинет. Шубарин радушным жестом пригласил гостя к креслам у окна, на столик между которыми собственноручно и определил чайные приборы.

Акрамходжаев, перед которым был выбор, сел в то самое кресло, что неделю назад занимал Тулкун Назарович из Белого дома, поведавший Шубарину, как Сухроб Ахмедович некогда взял его за горло. Шубарин, не забывавший об откровениях старого политика, стоивших ему тогда тысячу долларов, невольно улыбнулся — круг замкнулся.

Разговор начал Сенатор... Он не удержался, высказав восторженное впечатление от увиденного, и такое начало сняло с него нервное напряжение, возникшее на лестнице, — сейчас он держался куда увереннее.

От глаз Артура Александровича это не ускользнуло. Когда охранник доложил, что Акрамходжаев пришел и поднимается по лестнице пешком, Шубарин сидел за компьютером и работал. На письменном столе стоял небольшой экран монитора телевизионной охраны, и он легким нажатием клавиш мог вызвать на дисплее любой операционный зал, зал хранения ценностей и ценных бумаг, собственную приемную, холл на первом этаже и даже площадь и сквер перед входом — впрочем, такой системой оборудован на Западе любой мало-мальски серьезный банк. Он невольно щелкнул переключателем, и перед ним появилась лестница, которая очень нравилась самому Шубарину, из-за нее он много спорил и с архитектором, и дизайнерами, и реставраторами, и теперь сам любил подниматься пешком, что служащие уже отметили. И он, конечно, успел заметить минутную растерянность Сенатора на площадке второго этажа, рядом с одной из любимых скульптур Японца, крылатой богиней Никой, — Акрамходжаев словно почувствовал, что сегодня его ждет неприятный разговор.

Выслушав восторженный отзыв об интерьерах и убранстве банка, Шубарин, в свою очередь, расспросил о здоровье и семье, о делах, поинтересовался, не нужно ли помочь деньгами. Тут нервы Сухроба Ахмедовича слегка дрогнули: в начале беседы он не упомянул о поездке в Аксай по требованию Сабира-бобо, но сейчас, когда Шубарин спросил о деньгах, признался, что ездил в вотчину хана Акмая и с финансами проблем не имеет. Сенатору показалось, что Японец знает о поездке, и потому он поторопился все рассказать и даже о завтрашнем вылете в Москву доложил.

В какой-то миг Сенатор с удивлением почувствовал, что сам невольно перевел разговор в допрос. Шубарин заметил его реакцию, и оба моментально вспомнили свою первую встречу в кабинете Сухроба Ахмедовича, где хозяин тут же попал под влияние Шубарина, хотя тогда ситуация была явно на стороне Сенатора, а точнее, Артур Александрович был у него в руках. Но Сенатор и тогда не сумел воспользоваться случаем, и сейчас чувствовал, как упустил инициативу. Шубарин ощутил эту растерянность гостя.

Посчитав, что этикет соблюден, Шубарин неожиданно для Сенатора сразу перешел к делу, чем еще больше разоружил гостя, ожидавшего, как обычно, долгой прелюдии к серьезному разговору. Это давало бы ему шанс сориентироваться — почему Артур Александрович настоял на официальной встрече, а не просто пригласил на обед в «Лидо» или в какую-нибудь чайхану, как прежде, ведь они так давно не виделись.



— Дорогой Сухроб Ахмедович,— сказал Шубарин,— мы с вами давно не виделись, а за это время изменилась обстановка вокруг нас, да и мы сами уже не те, что были несколько лет назад, когда судьба свела нас. Мы живем в другой стране, нас окружает совсем иной мир. Я теперь не предприниматель, а банкир, да и вы больше не партийный чиновник высокого ранга, хотя, я вижу, большая политика увлекает вас еще больше, чем прежде. Ваша поездка к хану Акмалю косвенно подтверждает это. Аксайский Крез всегда хотел влиять на судьбы края, думаю, этот зуд у него не прошел, тем более что сегодня нет политиков уровня Рашидова, а остальных он не считает себе конкурентами, уж я-то хорошо знаю хозяина Аксяя.

Сухроб Ахмедович, внимательно слушавший хозяина, неопределенно кивнул головой, то ли соглашаясь, то ли нет...

— За эти годы вы достигли того, к чему стремились, о чем говорили при нашей первой встрече,— продолжил Шубарин.— Вы стали человеком известным и нынче вряд ли нуждаетесь в моей опеке, как прежде. Я невольно ощущаю, как расходятся наши дороги, вы, почувствовавший власть, попытаетесь ее вернуть, значит, с головой уйдете в политику. Раньше и я невольно был втянут в нее, ибо любая деятельность контролировалась партией. Теперь стали действовать законы экономики, и думаю, что наша жизнь уже в скором времени будет деполитизирована, деидеологизирована, иначе впереди нас будет поджидать очередной тупик. Я по-настоящему хотел бы заняться финансами.

Без эффективной банковской системы суверенному Узбекистану не стать на ноги, и наш президент как финансист понимает это, банкиры ощущают его внимание, хотя не все идет гладко. Хочется верить, что Узбекистан желает стать правовым государством, где закон превыше всего, и перед ним будут равны все граждане: банкир и шофер, президент и прачка, еврей и узбек, мусульманин и католик. По крайней мере, первые шаги молодого государства говорят об этом, обнадеживают, да и Конституция подтверждает это.

В прошлом, когда жизнь регламентировалась партией, а закон существовал сам по себе, для проформы, я часто нарушал его, или, точнее, лавировал всегда на грани фола. Впрочем, если откровенно, многие мои деяния носили вполне уголовный характер, но я никогда не нарушал закон преднамеренно, сознательно, меня постоянно вынуждали к этому, всегда вопрос выживания моего дела, да и меня самого, физически, ставился ребром: или-или, другого не было дано.

Но сегодня, когда все и для всех начинается сначала, с нуля, я хотел бы уважать законы моей страны, этого требует и моя новая работа. Банк с сомнительной репутацией, с двойной бухгалтерией, общающийся с клиентами сомнительной репутации, — не банк, нонсенс, и рано или поздно разорится или будет влачить жалкое существование. У меня иные планы.

В связи с этим я провожу ревизию прошлой жизни, хочу, как говорится, где возможно, даже задним числом, расставить точки над «и». Я не желаю, чтобы меня шантажировали моим прошлым. Это не от боязни, просто я хочу жить иначе и говорю об этом открыто всем своим старым друзьям, у которых, возможно, иной путь, и они не одобряют моих новых планов. Поверьте, чертовски противная процедура — копаться в прошлом, порою приходится переворачивать тяжкие пласты, возвращаться к неприятным событиям, абсолютно мерзким людям. Должен добавить, ничто не дает мне гарантии от шантажа в будущем, и я это прекрасно понимаю. Я даю возможность каждому взвесить свой шанс, прежде чем стать на моем пути. Я не хочу воевать ни с кем, хочу работать, воспользоваться историческим шансом, выпавшим и на долю Узбекистана, и на мою лично — я всегда мечтал стать банкиром. Но... «если я обманут» — помните, у Лермонтова в «Маскараде»? — «закона я на месть свою не призову...» В общем, у меня достаточно сил, чтобы постоять и за себя, и за... банк. Вы меня понимаете? — Сухроб Ахмедович опять неопределенно кивнул.

— Я даю шанс своим оппонентам уточнить что-то в наших прошлых связях, чтобы не оставалось никаких недомолвок. Например, нас с вами, Сухроб Ахмедович, объединяет не простое сотрудничество и не короткая мимолетная связь, мы владеем общей собственностью, я имею в виду «Лидо», который процветает и приносит в столь кризисное время завидную прибыль. Наргиз с Икрамом Махмудовичем оказались прекрасными работниками, поэтому, если у вас есть какие-то сомнения в наших отношениях, а может быть, и претензии, я готов выслушать вас. Видит бог, я был искренен с вами с первого дня нашего знакомства, и вы единственный, кого я впустил в свой круг без тщательной проверки. То, что вы сделали для меня в ту пору, было неоценимой услугой. Не скрою, меня порою охватывали сомнения по поводу каких-то ваших поступков, но всякий раз я вспоминал добытый вами дипломат из прокуратуры республики и отметал серьезные подозрения, считая это случайностью или относя на счет вашей сверхактивности, не имевшей выхода долгие годы.



— Пожалуйста, пример,— перебил глухим голосом Сенатор, пытаясь сбить хозяина кабинета, поймавшего верный тон в разговоре.

— Ну, хотя бы ваша первая, тайная поездка в Аксай,— ответил спокойно Шубарин.— Вы почему-то, не поставив меня в известность, за моей спиной решили получить поддержку хана Акмаля, и политическую, и финансовую. Вы же не могли не знать, что мы с ним старые компаньоны. Этот опрометчивый шаг чуть не стоил вам жизни... Разве такой поступок не должен был вызвать подозрение?

— Вы правы, Артур Александрович,— смиренно ответил Сенатор,— меня бы тоже насторожила подобная выходка...

— Конечно, я не столь наивный человек, чтобы отнести все на случай или вашу излишнюю эмоциональность. После того, как вы вернулись из Аксая, получив пять миллионов на политическую деятельность, я очень пожалел, что не навел о вас справки, как поступаю всегда и со всеми.— Шубарин помолчал, будто собираясь с мыслями.— Второй шок не заставил долго ждать. Он явился неожиданностью не только для меня, но и для всех, кто знал вас, кажется, вы удивили даже вашего друга Миршаба...

Видя, как напрягся от волнения Акрамходжаев, Шубарин намеренно сделал паузу, и в это время раздался телефонный звонок. Он взял трубку радиотелефона, предусмотрительно перенесенную на журнальный столик.

Переговорив, Шубарин спросил рассеянно:

— На чем мы остановились, Сухроб Ахмедович?

Сенатор, потерявший вальяжность, нервно поправил яркий шелковый галстук и хрипло обронил:

— На вашем втором шоке...

Он действительно не знал, о чем пойдет речь,— Артур Александрович, как всегда, был непредсказуем.

— Ах, да...— кивнул Шубарин.— Так вот, я имею в виду докторскую диссертацию, а еще раньше ваши статьи о законе и праве, сделавшие вас популярным в крае юристом. При нашей первой встрече вы не упоминали ни о научной карьере, которой не дают хода, ни о том, что пишете или уже написали серьезную теоретическую работу, докторскую диссертацию. Согласитесь, наряду с тем, о чем вы просили меня тогда, эти факторы были куда важнее, а вы и словом не обмолвились об этой стороне вашей жизни... Признаться, я бы сам не догадался обратить на это внимание. Но я слышал не только восторг по поводу ваших выступлений в печати, но и недоумение: не может

быть... Люди, близко знавшие вас, не верили ни в вашу докторскую, ни в одну строку ваших статей, говорили — нанял умного человека. Докторская, написанная чужой рукой, — явление не редкое для нашего края, скорее уж наоборот. В этом поступке кое-кто увидел лишь ваше тщеславие — стать доктором юридических наук, чтобы реально претендовать на самые высокие посты в республике.

Сухроб Ахмедович сидел, затаив дыхание, не в силах возразить ни единым словом, да Шубарин и не ждал этого от него.

— Наверное, не сиди мы с вами в одной лодке, не будь повязаны тайной дипломата, похищенного из стен прокуратуры, так же думал бы и я, но мы уже действовали сообща. Я пересадил вас из районной прокуратуры в Верховный суд, и вы должны были хоть словом обмолвиться о своих программных выступлениях в печати, о защите диссертации. Как-то по возвращении из Парижа, когда мы отмечали мой приезд и ваше высокое назначение в Белый дом на Анхоре, в усадьбе Наргиз, я мельком, без особого интереса, спросил у Миршаба — знал ли он о вашей докторской диссертации? На что тот вполне искренне ответил: это сюрприз, как снег на голову. А последние пятнадцать лет вы никогда не разлучались, разве что только на ночь, не зря ведь вас со студенческой скамьи зовут «сиамскими близнецами».

Позже я многократно слышал от разных людей сомнения в авторстве вашей диссертации и ваших статей. У меня существует принцип: я должен знать людей, с которыми имею дело, впрочем, так, наверное, поступают все занятые серьезной работой. К тому же меня беспокоило, что вокруг вас столько разговоров, мне лишний шум, лишнее внимание к моим людям ни к чему. Для начала я достал вашу докторскую и с большим интересом прочитал; высокопрофессиональная, грамотная, своевременная работа. Но все время, пока я с ней знакомился, меня не оставляла мысль, что я когда-то уже слышал или читал подобное. Тогда же я подумал: какая большая разница между «устным» Акрамходжаевым и «печатным», «докторским», ничего подобного я не слышал от вас ни в личных беседах, ни в компании, где заходили разговоры о законе и праве...

Шубарин исподволь наблюдал за Сенатором, но тот словно окаменел в своем кресле, храня молчание.

— Любопытство толкало меня дальше, и я нашел ход к людям, куящим докторские для высокопоставленных чиновников. Я был уверен, что сразу получу ответ на мучивший меня вопрос, но вывод оказался неожиданным: автора никто не назвал, хотя работу оцени-



ли по высшему разряду, сказали, что автор докторской, несомненно, из местных, очень уж хорошо знает внутренние проблемы. Но иногда отрицательный результат важнее положительного, так случилось и на этот раз. Я все чаще и чаще стал возвращаться к мысли, что ваша докторская напоминает мне давние разговоры... с убитым прокурором Азлархановым, нечто подобное, несвоевременное в ту пору, я не раз слышал от Амирхана Даутовича. Но я никак не мог найти связь между вами, по моим тщательно проверенным сведениям, вы никогда не были знакомы, не общались, слишком разный уровень по тем годам.

Да, я упустил еще одну деталь: ведь работа над докторской диссертацией требует не только фундаментальных знаний и подготовки, но и частого посещения серьезных библиотек. В ваших трудах много ссылок на известных философов, правоведов, выдержек из законодательства стран, широко известных своей юридической основательностью, таких как Англия, Италия, Греция, Германия. Я даже проверил некоторые ваши цитаты по редким книгам, имеющимся у меня в библиотеке, — все точно, до запятой. Однако выяснилось, что вы никогда не пользовались библиотекой, ни государственной, ни даже библиотекой юридического факультета университета и прокуратуры республики, нет книг у вас и дома, тем более такого плана. Не правда ли, странно, Сухроб Ахмедович?

Сенатор невольно съезжился, почувствовал себя неудобно, но отвечать не стал, ему было важно уяснить, знает ли Японец о том, что он снял копии с его сверхсекретных документов, открывших ему, Сенатору, путь в высшие эшелоны власти. То, что он украл научные работы, статьи убитого прокурора Азларханова, его не волновало, он готов был этот грех признать и покаяться, тем более — дело прошлое, да и где теперь тот ВАК, утверждавший его докторскую?

— Я был убежден, — продолжал Шубарин, — что у вас нет причин таить столь важные факты своей биографии. И я хотел понять, что за тайна кроется за вашей высокой научной степенью и что вас побуждает скрывать это от меня, хотя во мне вы видите не только нужного и надежного компаньона, но и друга. Пожалуй, вот эти нюансы заставили меня изучать вашу работу вновь и вновь. Вы ведь знаете мою натуру, я не отступлюсь, пока не получу ответ на волнующие меня вопросы.

Однажды, когда я в очередной раз в компании, где были видные юристы, услышал скептическое мнение об авторстве ваших трудов, в голову мне пришла вдруг мысль, что надо изучать не ваши нетленные

манускрипты, а творческое наследие Амирхана Даутовича, возможно, там и найдется отгадка этой тайны. Я так и поступил. Во-первых, раздобыл кандидатскую диссертацию Азларханова, которую он защитил в Москве. Там же отыскиались и другие его работы. А главное, все годы, работая прокурором в Узбекистане, он активно сотрудничал в крупных юридических изданиях страны. Интересные проблемные статьи он успел опубликовать при жизни, жаль, что они опережали время и не были востребованы обществом. Нашлись серьезные материалы и последних лет, когда он неоднократно и как депутат Верховного Совета республики, и как областной прокурор писал обстоятельные докладные о состоянии закона и права в стране. Писал в прокуратуру республики и Верховный суд, обращался в Верховный Совет Узбекистана — любопытные ракурсы высвечивал он в нашей жизни. Кое-какие работы отыскивались в нашем городке Лас-Вегас, где он обитал в последний год жизни и где, оказывается, всерьез работал над новым законодательством, словно предчувствовал суверенитет республики.

Артур Александрович вдруг неожиданно встал, отошел к письменному столу, взял аккуратно переплетенную папку с документами и еще один, отдельно лежавший бумажный скоросшиватель, и вернулся с ними к журнальному столику.

— Возьмите,— протянул он Сенатору ту, что потолще,— она должна представлять для вас интерес.

Шубарин вернулся в кресло, не выпуская скоросшивателя из рук, словно раздумывая: отдать, не отдать? Потом, положив его рядом с собой, продолжил:

— Собрав все наследие Амирхана Даутовича, я внимательно изучил его и могу с уверенностью утверждать, что ваши труды — компиляция работ прокурора Азларханова.

Тут долго молчавший Сенатор взорвался:

— Мало ли что вам могло показаться! Научные открытия, идеи, мысли носятся в воздухе. Возможно, у нас могли быть общие взгляды на закон, на право, на государственность...

Артур Александрович снова взял в руки тоненькую папку.

— Может быть и такое, согласен. Но чтобы вы не обвинили меня в предвзятости из-за моей дружбы с прокурором Азлархановым, а также в субъективной оценке, я отдал вашу докторскую и работы убитого прокурора, разумеется, без фамилий, на экспертизу. И вот вам результат: это самый что ни на есть беззастенчивый плагиат! — И он протя-



нул Сенатору через стол заключение доктора наук прокурора республики Камалова, правда, отскерокопированный вариант и без подписи.

Сенатор нервным жестом схватил папку,— то ли от волнения, то ли неловко взял, она выпала у него из рук, чувствовалось, что такого оборота он не ожидал, на лице его читалась явная растерянность. Торопливо подняв бумажный скоросшиватель, он хотел что-то сказать, но Шубарин остановил его жестом.

— Пожалуйста, не возражайте, не ознакомившись с заключением и тем, что мне удалось собрать из работ Азларханова. У меня времени в обрез, да и у вас тоже, вы ведь завтра улетаете в Москву. Если мы зашли так далеко в неприятном разговоре, я должен высказаться до конца, у меня к вам еще есть претензии, и более серьезные, чем эти.

Внимательно глянув на обескураженного собеседника, Шубарин налил ему в пиалу чаю и чуть мягче добавил:

— Успокойтесь, возьмите себя в руки. Я не собираюсь заставлять вас давать опровержение в печати, признаваться публично, что автором статей и вашей докторской диссертации является прокурор Азларханов. Я даже не возражаю, что мой компаньон по «Лидо» стал популярным политиком, сделав себе карьеру на материалах моего друга Амирхана Даутовича. Единственное, что я хочу знать,— почему втайне от меня? Чем я заслужил это недоверие?

Произнося эти слова, Шубарин цепко глядел на собеседника и почувствовал, что тот задышал спокойнее, ровнее. Он вовсе не желал, чтобы с Сенатором случилась истерика, а дело, похоже, шло к тому. Но это было всего лишь тактикой — бросать то в жар, то в холод, или, точнее, по пословице: из огня да в полымя. Шубарин хотел, чтобы Сухроб Ахмедович потерял ориентиры, запутался вконец, ибо то, что он желал выяснить напоследок, действительно было важнее, чем фальшивая докторская Сенатора. Поэтому, не давая Акрамходжаеву прийти окончательно в себя, сориентироваться, куда все-таки ветер дует, Шубарин жестко продолжил разговор:

— Перефразируя одну известную пословицу, можно сказать: одно открытие тянет за собою другое, так сложилось и в нашем случае. Отыскивая одно, я наткнулся совсем неожиданно на другое, причем крайне неприятное для меня. Наверное, вот это второе открытие и есть главный повод для нашей сегодняшней встречи.

Сенатор инстинктивно затих в кресле, выпрямился. Шубарин понял, что гость догадался, о чем пойдет речь, и поэтому начал напрямую, без обиняков.

— Однажды мне представился случай спросить у Миршаба: знали ли вы прокурора Азларханова? Он ответил, что нет, и я не имею оснований не доверять ему. По другим каналам я уточнил, что и вы никогда не были знакомы. Вы не общались, пути ваши никогда не пересекались, а вот творческое наследие известного юриста оказалось у вас. Оставалось выяснить, как оно к вам попало? Над этим я долго ломал голову, шаг за шагом восстанавливая в памяти наше знакомство. Особенно с первых минут, когда вы ночью выкрали кейс с документами в прокуратуре и позвонили мне из своего служебного кабинета почти через пять часов, хотя прекрасно знали, кто стоит за этим бесценным дипломатом и что мои люди ищут пропавшего. И отгадка нашлась, хотя в этом случае у меня нет четкого заключения аналитиков, как по поводу вашей докторской.

Сухроб Ахмедович все время пытался перебить Шубарина, вставить что-то свое, возможно, даже увести разговор в сторону, но хозяин банка не давал такой возможности, и Сенатор, поняв, что дело движется к кульминации, попытался собраться, чтобы его не раздавили окончательно.

— Азларханов,— продолжал напирать Шубарин,— покидая Лас-Вегас в день смерти Рашидова, захватил с собой самое важное, связанное с высшими должностными лицами республики, состоявшими у меня на довольствии. Он был человек идеи, для которого существовал только закон, и его интересовало только дело. В сейфе, где находились тщательно оберегаемые расписки, хранилось более двух миллионов рублей в крупных купюрах, он не взял из них ни пачки. А вот свои работы, послужившие основой вашего взлета, он захватил, видимо, рассчитывая продолжить работу над ними. Таким образом они и попали к вам, Сухроб Ахмедович.

Сенатор вновь попытался что-то вставить, но Шубарин жестом остановил его:

— Вот тут-то и зарыта собака... Открыв дипломат, скорее всего без Миршаба, вы обнаружили труды Азларханова и сразу смекнули, что это готовая научная работа, и спрятали ее, даже не сказав об удачной находке Салиму Хасановичу, хотя материала там на две докторские хватало. Мне понятно ваше любопытство: что же лежит в кейсе, из-за которого в течение суток убили трех человек на территории прокуратуры республики? Вы и заглянули в него, ведь для этой цели и выкрали его с таким риском. Очень хотелось обладать тайной кейса, это открывало вам путь наверх, многие высокопоставленные чинов-



ники оказались у вас под колпаком или на mine, которую вы могли подорвать в любое удобное вам время. Но не вернуть кейс хозяину вы не могли, это стоило бы вам самому жизни.

В начале операции вы поступили опрометчиво, предупредив подельщиков Коста о засаде, устроенной полковником Джураевым, обозначили себя. Да и тем, что выкрали Коста из травматологии — тоже, мы бы в этом случае все равно вышли на вас, часом позже, часом раньше. Собираясь на операцию в доме Наргиз, вы уже знали номера моих телефонов и в машине, и в доме, и на работе, Коста передал их вам сразу. План вы разработали гениальный: выкрасть дипломат из прокуратуры и вернуть его хозяину, который в долгу не останется. Но прежде чем вернуть, вы решили снять копии со всех документов, вот для чего вам понадобились эти три с половиной часа — между ограблением прокуратуры и моим появлением у вас в кабинете. Я тогда, конечно, увидев знакомый дипломат опечатанным, об этом и подумать не мог, слишком высока была ставка из-за секретов, таившихся в нем, особенно в те дни, когда решался вопрос о преемнике Рашидова, да и ксероксы в ту пору только входили в обиход, я и предполагать не мог, что он имеется в районной прокуратуре. А позже выяснил, опять же через Миршаба, что он появился у вас раньше, чем у других — вы конфисковали его у каких-то дельцов.

Шубарин на минуту замолчал и потянулся к чайнику, ему захотелось пить. В этот момент Сенатор торопливо задал вопрос, боясь, что его опять перебьют:

— Любопытная версия. А как насчет фактов, есть у вас конкретные доказательства, свидетели? Вы все время ссылаетесь только на моего друга Миршаба. Но он...

— Факты есть,— заверил Артур Александрович.— Такие разговоры ни с того ни с сего не начинаются, Сухроб Ахмедович. Вот только я не знаю, сколько копий у вас есть, а может, и Миршаб на всякий случай запаса экзemplаром — вы ведь человек скрытный, непредсказуемый. А насчет свидетелей... Есть один человек, весьма влиятельный и по сей день, неделю назад он сидел в том же кресле, что и вы, и рассказал подробно, в деталях, как вам удалось заполучить пост в ЦК партии, еще при коммунистах. Основательно вы его шантажировали, а ключ к его тайнам получили все из того же украденного кейса, такие сведения на улице не соберешь, их под семью замками держат. Хотите послушать запись беседы с Тулкуном Назаровичем? Его самого сегодня нет в Ташкенте, улетел в Стамбул на две недели...

Тут Сенатор неожиданно для Шубарина резко поднялся и, чеканя каждое слово, пытаясь не сорваться в крик, сказал:

— Я не знаю, кто и почему хочет нас рассорить, кто сочинил для вас эти небылицы. Я думаю, время нас рассудит и все встанет на свои места. И разве можно верить таким людям, как Тулкун Назарович? За доллары, что ему могли понадобиться для поездки в Турцию, он мог что угодно наговорить, и не только обо мне!

Закончив свой резкий монолог, Сухроб Ахмедович стремительно направился к двери. Шубарин, не ожидавший столь поспешного бегства, а главное, такой неопределенной концовки разговора, весьма удобной для Сенатора, остановил его окриком, уже в тамбуре:

— Как бы вы ни расценивали нашу встречу, я даю вам срок — ровно десять дней, и то из-за поездки в Москву, чтобы вы вернули мне, в присутствии Миршаба, все копии моих документов. В противном случае я вынужден буду поставить в известность всех тех людей, на кого у вас оказались документы, что они есть у вас и как они к вам попали. Ничего другого предложить не могу. До свидания!

#### XXIV

Едва Сенатор покинул кабинет, Артур Александрович вызвал секретаршу и попросил свежего чаю — отчего-то мучила жажда, а сам, подойдя к окну, выходящему на площадь перед парадной дверью, распахнул створки, и сразу шум города ворвался на третий этаж. Неподалеку от банка находился авиатехникум, старейшее учебное заведение Ташкента, и стайки молодых девушек в ярких национальных платьях направлялись то туда, то оттуда, словно приливная и отливная волна одновременно. «Отчего вдруг местные девушки потянулись к авиации?» — мелькнула и тут же пропала мысль.

Он еще весь был во власти недавнего разговора и автоматически продолжал рассуждать: что же следует извлечь из поспешного бегства Сенатора? Выходило, что Сухроб Ахмедович своим поведением сам подсказал решение проблемы: если он по возвращении из Москвы не вернет документы, то придется действительно поставить в известность людей, чьи тайны оказались в руках у Акрамходжаева. В первую очередь надо обратиться, конечно, к тем, кто и ныне у власти, и можно быть уверенным, что они больше никогда не дадут Сухробу Ахмедовичу подняться — на Востоке такие трюки не прощают, особенно слабым, а сегодня Сенатор не на коне. Ведь даже Тулкун



Назарович, обмолвившийся неделю назад, что Сухробу вряд ли ныне подняться из-за Камалова, не знал, что у того имеется еще достаточно компромата на него самого, вороватый братец Уткур — лишь эпизод, и шантаж из-за вакантного места в ЦК партии в свое время — не последнее, что может выкинуть тщеславный Сенатор. Ух, и взвоется Тулкун Назарович, когда узнает, как коварно обставил всех Сенатор.

Человека, сидящего на пороховой бочке с горящим фитилем, стоило ликвидировать, не дожидаясь взрыва. Чтобы снова вернуться к власти, Сенатор никого не пожалеет. И если Сухроб Ахмедович не покается и не вернет документы, заинтересованные лица могут без колебаний отдать его «на съедение» Камалову — на Востоке любят расправляться с врагами чужими руками, найдут для этого подходящий повод — так рассуждал Шубарин, не обращая внимания ни на журчавший внизу фонтан, ни на подъезжавшие к банку и отъезжавшие от него роскошные иномарки. Вернет, не вернет документы — ясно одно: Сенатор оказался человеком ненадежным, и вряд ли с ним стоит иметь дело в будущем, большой бизнес все-таки строится на порядочности.

И тут, у распахнутого окна, ему неожиданно пришло и решение насчет ресторана: рвать — так рвать сразу, по всему фронту, не жалея о выгодах от доходного дела. Как-то неловко быть вместе с «сиамскими близнецами» совладельцем курочки, несущей золотые яйца, и вместе с тем желать отмежеваться от них окончательно и навсегда. Какие бы доходы ни приносил «Лидо», принципы для него всегда были важнее, да и деньги никогда не заслоняли жизнь, к тому же с открытием банка они увеличивались в геометрической прогрессии. Желających купить его пай найдется сколько угодно, нынче и в Ташкенте появились официальные миллиардеры, но, опять же, он свою долю не всякому уступит. Он мог предложить пай Коста, если тот захотел бы заняться делом, но ресторан Джиеова не привлекал, по его понятиям «барыга» — не столь достойное занятие для настоящего мужчины, а ведь для многих это нынче венец мечтаний. Скорее всего, он уступит свой пай, между прочим, самый крупный, Наргиз и Икраму Махмудовичу, они многое сделали для «Лидо» и вряд ли забудут его щедрый жест, понимают, что это такое — уступить ни с того ни с сего контрольный пай в доходах лучшего ресторана столицы.

Неожиданное решение покончить с делами ресторана подняло настроение, и Шубарин с удовольствием откликнулся на приглашение секретарши, сообщившей, что чай готов, мысли о Сенато-

ре, так долго преследовавшие его, улетучились мгновенно. Бывали у него такие минуты, когда он твердо мог поставить точку в долгих рассуждениях и переключиться сразу на другое, впрочем, тоже мучившее его. Попивая ароматный чай, он вдруг подумал: почему так легко и даже радостно расстается и с «Лидо», и с Сенатором, и с Миршабом? Он действительно ощущал какую-то приподнятость в душе, но сразу не понял отчего, отгадка пришла чуть позже, случайно, когда минут через десять зазвонил телефон, и ему пришлось вернуться за рабочий стол.

Разговаривая по телефону, Шубарин придвинул к себе настольный календарь, где среда первой недели следующего месяца была обведена жирным красным фломастером. Положив трубку, Артур Александрович попытался вспомнить, что означает эта дата, и вдруг понял, отчего такая приподнятость в настроении впервые за эту неделю, да и вообще после возвращения из Мюнхена. Дата, обведенная фломастером, означала день, когда он должен быть в Милане, где встретится со своим бывшим патроном Анваром Абидовичем, и тот сведет его с людьми, распоряжающимися тайными валютными счетами партии. Но радовала не поездка в солнечную Италию, где он бывал и куда собирался захватить жену, чтобы доставить ей приятное, а заодно и размагнитить внимание ожидающих его наверняка людей из спецслужб, которые будут пристально изучать его вблизи, ведь дело они затеяли не только грандиозное, беспрецедентное, но и противозаконное. Присутствие рядом жены избавит его от необходимости быть в их компании постоянно, можно всегда сослаться на супругу, тем более она в Италии впервые.

Радость Шубарина была связана не с банком, о котором он мечтал всю жизнь, и не с тем, что дела пошли сразу на лад, он на это и рассчитывал, банки, впрочем, сегодня открывал не он один. Желание вернуть стране и народу украденные у них деньги, возникшее еще в Германии, неожиданно, само собой, стало перерастать в главное дело его жизни, выходило так, что и банк он вроде создал только для этого.

Все, что он сумел сделать в своей жизни, достичь до сих пор, включая и банк, не шло ни в какое сравнение с тем, что он хотел свершить сейчас, — вернуть державе, народу их достояние — кровные деньги. Это был поступок мужчины, гражданина. Решение, зревшее в нем день ото дня, грело его русскую душу. Что-то, давно заложенное в него прадедом, дедом, отцом, проснулось в нем с новой силой — в их семье ныне звучащие как насмешка слова «служить Оте-



честву» не были пустым звуком. Все Шубарины,— а род свой он знал до седьмого колена,— верой и правдой служили России, а позже и новой родине — Узбекистану. В Андижане до сих пор работает масложиркомбинат, построенный в конце прошлого века его дедом, а паровозоремонтные мастерские и вагонное депо на станции Горчаково вблизи Ферганы тоже отстроены Шубариными и до сих пор верно служат людям нового, суверенного Узбекистана, там в цехах сохранились еще станки Сормовского завода, установленные дедом сто лет назад,— раньше строили на совесть, навечно.

Вот почему легко расставался он и с «Лидо», и с Миршабом, и с Сенатором, освобождаясь от мышиной возни ради главного поступка в своей жизни, и оттого светлела душа. Конечно, он осознавал степень риска, связанного с предстоящей операцией, но не боялся, ибо шел на это не ради корысти, а ради справедливости. Сегодня Артур Александрович ощущал свою кровную связь с историей, понимал, что настал и его час послужить народу, и оттого не ведал страха, ощущал подъем сил...

Дата, обведенная в календаре красным фломастером, приближалась стремительно, вот-вот должны были поступить официальные приглашения и выездные визы в Италию, и надо было заняться билетами и заграничным паспортом для жены. Но прежде следовало заручиться поддержкой Хуршида Камалова, теперь-то он знал, что маятник его интересов, да и человеческих симпатий, резко качнулся в сторону Генерального прокурора. Откладывать встречу уже не имело смысла: Талиба в Ташкенте нет, с «сиамскими близнецами» все ясно. Вдруг Камалов отбудет куда-нибудь в командировку, надо было спешить... Шубарин потянулся к телефону, но в самый последний момент положил трубку. Он вспомнил, как, уходя из этого кабинета, Камалов сказал: «Если вы захотите вдруг со мной встретиться, шофера моего зовут Нортухта, он мой доверенный человек, он организует свидание хоть днем, хоть ночью, можете ему доверять. Запомните, парня зовут Нортухта...».

Да, звонить, конечно, не следовало. Он ведь знал, что Сенатор уже однажды организовал прослушивание телефона прокурора Камалова, да тот оказался на высоте, не только разгадал трюк противников, но даже задержал некоего инженера Фахрутдинова с центрального узла связи, откуда следили за его разговорами. Знал Артур Александрович, что Сенатор имеет своего человека, осведомителя, и в стенах прокуратуры, ведал и о том, что хан Акмаль в свое время подарил

Сухробу Ахмедовичу прослушивающую японскую аппаратуру. Нет, звонить нельзя было ни в коем случае...

В тот же день, ближе к концу рабочего дня, когда водитель светлой, не бросающейся в глаза «Волги» протирал задние стекла машины возле прокуратуры, неожиданно объявившийся рядом молодой мужчина, обращаясь по имени, попросил:

— Нортухта, дай прикурить.

Водитель цепко оглядел незнакомца и молча протянул тому коробок спичек. И тут Нортухта, не сводивший глаз с прохожего, заметил трюк, достойный иллюзиониста: за то мгновение, пока открывался коробок и вынималась спичка, в него была аккуратно вложена записка, свернутая в трубочку. Прикурив, незнакомец поблагодарил и тут же пропал из виду. В машине Нортухта прочитал следующее: «Сегодня, в полночь, буду у телефонного автомата на углу вашего дома, готов встретиться с вами, где посчитаете нужным. Важные обстоятельства». И вместо подписи две буквы — «А. А.». Шофер понял, что это гонец от Шубарина, хозяин предупреждал, что через Нортухту могут выйти на экстренную встречу с ним, видимо, час пробил. Не дожидаясь Камалова, он поспешил наверх, возможно, стоило для свидания захватить какие-то бумаги.

Ровно в полночь на Дархане напротив центральных касс «Аэрофлота» появилась машина с бесшумно работающим двигателем, хотя это была на вид самая заурядная «Волга» мышиного цвета. За рулем находился Коста. Как только Шубарин вышел у пустой телефонной будки, из темноты двора напротив шагнул навстречу ему молодой спортивного вида парень. Не приближаясь, он тихо, но внятно сказал:

— Меня зовут Нортухта, мне велено проводить вас. Шеф ждет вас у себя дома... — И на всякий случай, после паузы, добавил: — Место встречи вас устраивает?

— Вполне, — ответил Шубарин и пошел вслед за водителем Камалова вглубь двора.

Когда вошли в подъезд, темный, как и повсюду в нынешнее кризисное время, хотя дом считался престижным и находился в респектабельном районе, сопровождающий сказал:

— Третий этаж, дверь налево, — а сам остался в подъезде, видимо, он получил приказ подстраховать встречу.

Выходило, разговор с глазу на глаз страховали и с той, и с другой стороны, где-то рядом тут находился и Коста.

Едва открылись створки лифта, Шубарин увидел, как слева распахнулась дверь, и Камалов, стоявший на пороге, жестом молча



пригласил в дом. Войдя в квартиру, Артур Александрович сразу почувствовал отсутствие женской руки, хотя кругом царили чистота, порядок, но это был мужской порядок, казарменный. На столе стоял не только традиционный чай, но и бутылка коньяка «Узбекистан» с закуской, и две пузатые рюмки-баккара из тонкого цветного стекла. Цепкий взгляд Шубарина выхватил на письменном столе у окна и пишущую машинку «Оливетти», и разбросанные бумаги; чувствовалось, что хозяин дома работал, по всей вероятности, он был сова, ночной человек. Хуршид Азизович поздоровался за руку, сразу пригласил за стол и сказал как-то по-свойски:

— Чертовски устал сегодня, тяжелый день выдался. Не хотите ли пропустить по рюмочке, одному как-то было не с руки, хотя и возникло желание.— И после небольшой паузы с улыбкой продолжил: — Думаю, нам не повредит, разговор, чувствую, предстоит непростой, хотя, признаюсь, ждал его...

Артур Александрович согласно кивнул — в словах хозяина дома чувствовалась искренность, не свойственная людям его круга, Шубарин ведь хорошо знал высших лиц в правовых органах. Выпили, молча закусили. Хуршид Азизович разлил чай и, взяв свою пиалу, как-то выжидательно откинулся на спинку стула, словно приглашал гостя начать, и Шубарин заговорил, понимая, что ночь не резиновая, а обоим завтра, как обычно, предстоял до предела загруженный день.

— Меня к вам привело одно обстоятельство чрезвычайной, государственной важности. Дело, которое я задумал, в которое оказался втянут поначалу случайно, на мой взгляд, должно получить ваше одобрение и поддержку, иначе бы я не обратился к вам. Но я боюсь, что одних ваших полномочий, как бы они ни были велики, может оказаться недостаточно. Возможно, сообщая мы и найдем какой-нибудь вариант, гарантирующий поддержку задуманной мной операции. Дело в том, что я со дня на день должен получить официальное приглашение на юбилей одного старейшего банка Италии...

— Оно уже сегодня пришло в МИД, можете отталкиваться от этого факта,— мягко прервал Камалов, устраиваясь поудобнее, понимая, что разговор будет долгим и серьезным.

Шубарин чуть вскинул глаза, не выказывая ни удивления, ни растерянности из-за неожиданной реплики прокурора, и продолжал:

— Я не знаю этого банка, никогда не имел с ним дел, но меня ждут на этом юбилее больше, чем любого другого гостя, хотя юбилей настоящий, просто так удачно совпало. Не буду вас интриговать,

скажу сразу: дело касается тайных валютных счетов партии за рубежом. Сегодня об этом в печати уже появляются кое-какие инсинуации, не больше, фактов почти никаких. Да и я, оговорюсь сразу, мало что знаю, но мне предназначается не последняя роль в судьбе этих денег. Не будем тратить зря время — когда, где, как появились эти суммы, надо разбираться отдельно, но то, что они есть,— реальность, и примем это за аксиому. Беда оказалась в другом.

Огромные средства партии, а по существу государственные, народные капиталы, и значительная недвижимость за границей в силу разных причин оказались в собственности иностранных граждан, в свое время увлекавшихся марксизмом-ленинизмом или прикидывавшихся таковыми, в общем, у людей, грешивших в молодости левацкими идеями. Сегодня, с крахом коммунистической идеи повсюду, на Западе и на Востоке, с окончанием эры холодной войны, откровенной конфронтации, деньги КПСС за границей могут пропасть бесследно. Уже есть случаи, когда хранители этих денег ликвидировали дело, сняли со счетов миллионы и исчезли в неизвестном направлении. И сегодня особо доверенные люди партии и ответственные сотрудники спецслужб озабочены этим. В конце концов, подарить Западу ни за что ни про что миллионы долларов могут только совсем беспринципные или вороватые люди. И они разработали довольно-таки реальный план возвращения хотя бы части средств на родину...

— Так вот, оказывается, зачем навещал вас в Мюнхене пребывающий в лагере Анвар Абидович Тилляходжаев? — от души рассмеялся прокурор. — А я ломаю голову, почему и как ему удалось вырваться из заключения «в увольнительную» и что ему от вас надо?

Вот тут настал черед удивляться Шубарину, и он не удержался, все-таки спросил:

— Вы, значит, давно знали о нашей встрече в Мюнхене?

— Да, давно, но только об этом и ничего больше, уверяю вас. Продолжайте, пожалуйста, извините, я не удержался, прервал вас. Слишком трудная была для меня загадка.

— Люди, владеющие тайнами валютных счетов партии, каким-то образом прознали про мой банк, ориентированный на западных вкладчиков и рассчитанный на обслуживание этнических немцев, проживающих в пределах бывшего СССР. Германия готова оказывать им всяческую помощь, лишь бы остановить их массовый исход на историческую родину, что создает огромные проблемы для обеих сторон. В местах компактного их проживания, а еще луч-



ше при восстановлении автономии немцев в Поволжье, как неоднократно обещал президент Ельцин, Германия готова финансировать не только массовое строительство жилья и всей инфраструктуры, необходимой для жизни, но и возведение современных промышленных предприятий и перерабатывающей отрасли в этих районах, в общем, программа на долгие годы, на миллиарды и миллиарды марок. Видимо, они разузнали, что я некогда был близок с секретарем Заркентского обкома партии, ныне отбывающим срок в уральском лагере, — лучшего посредника они, конечно, найти не могли...

Прокурор Камалов с интересом слушал гостя, подозревая, что этот разговор приоткроет многие тайны, мучившие его. Шубарин между тем продолжал:

— Дело в том, что Анвар Абидович является одним из немногих людей, бывших доверенными лицами партии. Бывая за рубежом в составе государственных делегаций, он выполнял конфиденциальные поручения КПСС, возил наличными миллионы долларов для зарубежных коммунистических движений, для фирм и компаний, контролировавшихся левыми в разных странах. Эту работу не всякому доверяли. Мой периферийный банк по всем параметрам подходит, чтобы потихоньку, при каждой удобной возможности, перегонять валютные средства из Европы, Америки, Африки, Бразилии, Мексики, Ближнего Востока, Японии, Южной Кореи. Им нужен был не только солидный банк, но и надежный человек, кому они могли бы доверять гигантские суммы, чтобы потом, дома, так же легко их изымать для нужд партии, упраздненной ныне во всех республиках и переставшей быть ведущей в главной ее цитадели — России. Анвару Абидовичу устроили многочасовой допрос, выспрашивая все обо мне, и тот, смекнув, в чем дело, понял, что это его шанс выйти на свободу. Хотя, может быть, он вполне искренне хотел помочь партии, искупить перед ней свою вину. Тут оказалось весьма кстати, что я не вышел из КПСС, нигде публично и печатно ее не хаял и не хулил, хотя не разделял и не разделяю убеждений коммунистов, свергнувших Россию в 1917 году в десятилетия хаоса и горя.

В общем, Анвар Абидович, в надежде уговорить меня и воспользоваться шансом спасения, поручился за своего друга Шубарина. Конечно, он догадывался, что поставил на кон свою жизнь, вы ведь знаете нравы и порядки партии и зоны — несчастный случай в лагере не редкое явление, да и самоубийство организовать не проблема. Заручившись согласием Анвара Абидовича, они срочно доставили

его в Мюнхен и организовали встречу со мной прямо среди бела дня, в русском ресторане, где я имел привычку обедать по воскресеньям.

Артур Александрович, попросив разрешения закурить, достал сигареты, но, не зажигая огня, словно боясь упустить время, продолжал говорить:

— Анвар Абидович обстоятельно ввел меня в курс дела, он все-таки по образованию экономист и неплохо знает банковское дело. Можно сказать, что я согласился сразу, ибо выбора не видел: на другом конце этого предложения, как на картах, стояла его жизнь, я это хорошо понимал. Впрочем, не согласись я, наверняка и моя бы жизнь оказалась под угрозой, спецслужбы не любят шутить, тем более что цена такой тайны — миллиарды...

Но это лишь первопричина моего добровольного согласия. Позже, еще в Германии, я стал собирать сведения о наличии таких денег в немецких банках и успел напасть на их след, хотя это стоило мне немалых личных средств — на Западе информацию, тем более такую конфиденциальную, даром не получишь. Там же, в Мюнхене, я все чаще и чаще возвращался к беседе с Анваром Абидовичем в отеле «Риц», куда вывез его специально, чтобы оторваться от спецслужб, и до сих пор жалею, что не записал наш разговор на диктофон. Тогда Анвар Абидович подробно ответил на все мои вопросы, и главный из них заключался в следующем — как образовались эти средства за рубежом? Он не скрывал, что при всевластии КПСС государственные средства было трудно отличить от денег партии, коммунисты все считали своей собственностью. Постепенно я пришел к твердому и единственному убеждению, что эти деньги принадлежат вовсе не КПСС, а обобранному и обманутому народу, и мой долг вернуть их на родину.

Прокурор Камалов вдруг встал и нервно прошелся по комнате, потом, вернувшись к столу, глядя на Шубарина в упор, спросил:

— А вы представляете, что может случиться с вами, если они почувствуют подвох, я уже не говорю о том, если вам удастся эта операция?

— Я понимаю, что задумал и чем придется заплатить при любом раскладе, но отступить не намерен. Слишком высока ставка, чтобы думать о себе. Вам ли объяснять, что редкому мужчине выпадает такой шанс — послужить народу, Отечеству...

— Ну, что касается вас, вы уже рискуете во второй раз на моей памяти, Артур Александрович, — ошарашил вдруг хозяин дома.



— Почему во второй? — не сообразил сразу Шубарин, все его мысли были заняты предстоящей встречей в Милане, он рвался в бой.

Камалов вернулся на место, взял предложенную Шубариным сигарету и, разминая ее в пальцах, объяснил:

— Разве ваше письмо, адресованное мне в прокуратуру, в котором вы сообщали о конкретных хищениях, экономической диверсии и валютных операциях в Москве, Прибалтике, в портах Дальнего Востока и у нас в Ташкенте, когда чуть было не похитили через подставных лиц три миллиарда рублей, предназначенных на развитие Кашкадарьинской области, было меньшим риском, чем ваша новая затея? Ведь мы тогда успели предпринять жесткие меры, и результат вам известен. И в первом, и во втором случае расплата одна — головой. Я помню ваши слова в начале письма, вы говорили, чтобы я не обольщался, вы, мол, человек из противоположного лагеря, просто не можете спокойно видеть, как разворачивают державу, и что наши пути в определенных обстоятельствах могут сойтись. Я верил в нашу встречу и рад, что вы решились сделать ответный шаг. Мы с вами одинаково смотрим на судьбу Отечества...

Шубарин, протянув огонек зажигалки прокурору, спросил:

— И о том, что я написал письмо в прокуратуру, вы тоже знали давно?

— Нет, представьте себе, об этом я догадался только сейчас. Я уже лет десять, если не больше, не встречал человека, который бы с волнением произносил слова «Отечество», «держава»... В письме вашем тот же тон, те же интонации, что я слышу сейчас, та же боль за Отечество, державу, и слова эти вы написали с большой буквы...

— Наверное, об этом можно было бы еще поговорить, — сказал Шубарин, — но ночь коротка, а мне еще долго рассказывать, так что продолжу, с вашего позволения...

Теперь я перехожу к сложностям, нравственным и политическим, возникшим неожиданно. Разговор в Мюнхене произошел до известных августовских событий в Москве, или форосского фарса, как вам будет угодно, до парада суверенитетов, образования СНГ. Сегодня выясняется, что нет никакого СНГ, мы все предоставлены сами себе. Нравственная сторона ситуации для меня немаловажна, ибо не из-за денег я ввязался в эту историю. Когда в Германии я пришел к окончательному выводу, что постараюсь вернуть деньги на родину, я имел в виду всю огромную страну — от Балтики до Тихого океана. Но как теперь поделить эти деньги, принадлежащие всем, если се-

годня на территории бывшего СССР появилось столько суверенных государств? В любом случае справедливо не получится, ибо наша жизнь политизирована до крайности.

Мой банк находится на территории суверенного Узбекистана, и я должен считаться с его законами, его авторитетом, и международным в том числе. Верни я деньги в Узбекистан и попытайся разделить их справедливо, это все равно вызовет раздражение в каких-то регионах, что навредит нашему молодому государству. Я долго ломал над этим голову и даже хотел отступить от задуманного, но оставлять зажившему Западу миллиарды, украденные у обнищавшего народа, мне тоже не по душе, не по-мужски это, не по-русски. И я думал, думал: куда направить деньги в случае удачи, чтобы это послужило на благо общества, интересам максимального количества жителей бывшего СССР? Иначе меня не поймут нигде, особенно в Узбекистане, где живет уже пятое поколение Шубариных. И я, кажется, нашел выход, который должен получить поддержку...

Шубарин видел, с каким интересом слушал его Камалов, видимо, и не предполагавший такого поворота в чисто финансовой операции.

— Я решил в случае удачи все деньги направить на восстановление погибающего Арала, его судьба конкретно касается более семидесяти миллионов человек, живущих в регионах и зависящих от этого уникального внутреннего моря, а последствия его гибели уже отражаются на климате всей территории бывшего СССР. В Ташкенте, оказывается, уже несколько лет существует комитет по спасению Арала... Я немедленно связался с ним, получил обстоятельные материалы, доклады, подготовленные для ЮНЕСКО, заключения международных экспертов, особенно в той части, что касается финансирования программы спасения. Положение настолько серьезно, что я, не дожидаясь результата задуманной операции, уже перевел им четыре миллиона рублей на текущие дела, на привлечение экспертов. Это нравственная часть проблемы, возникшая в ходе подготовки операции...

Другая проблема — можно назвать ее технической — уже вне моей компетенции, мне одному с ней не справиться. Возникла она из-за политической ситуации, изменения границ. Раньше существовала единая банковская система, и рычаги ее находились в Москве. Сегодня я живу в другом государстве, с собственной банковской концепцией, которая еще не устоялась, да что там — еще не сформировалась. Идет поиск, законы принимаются и тут же отменяются, все делается путем проб и ошибок. А мое дело не должно зависеть от случая,



и откладывать его нельзя, наверняка у заказчиков есть запасной вариант, и не один, при малейшем моем колебании они поставят на мне крест. При такой нестабильности банковской системы мне необходима надежная страховка на государственном, правительственном уровне, причем поддержка тайная, негласная. Повторяю, дело идет о миллиардах долларов. Как вы понимаете, первый же ревизор-взяточник засветит всю операцию...

Шубарин замолчал и потянулся к чайнику. Молчал и прокурор, делая быстро какие-то записи на клочке бумажки.

— Хватит ли у вас полномочий, Хуршид Азизович, чтобы подстраховать такую операцию, и насколько это будет законно? — спросил Артур Александрович после затянувшейся паузы.

Камалов встал, взял пустой чайник и, прежде чем направиться на кухню, сказал с улыбкой:

— Ну и крепкий арбуз вы выкатили к середине ночи, господин банкир, без нового чайника да, пожалуй, и рюмки, не разобраться. Я сейчас...

Он исчез на кухне, где на маленьком огне у него кипел чайник, а вернувшись за стол со свежим чаем, прикрыл чайник бархатным колпаком, на манер русской чайной бабы. Плеснул в бокалы еще немного коньяка, и они выпили молча.

— Что касается моих полномочий — их явно недостаточно, — прервал молчание прокурор. — Насчет законности... Уже будучи полковником, отслужив семь лет в угрозыске, проработав прокурором и в Ташкенте, и в Москве, защитив докторскую диссертацию в закрытом учебном заведении КГБ, я год стажировался в Интерполе, в главной штаб-квартире в пригороде Парижа. На Западе — и во Франции, и в Италии, и в Германии — с согласия Генеральной прокуратуры страны иногда ведутся игры с наркомафией или иными криминальными структурами, пытающимися отмыть несправедливо нажитые деньги. Там ведь иметь деньги — еще не все: чтобы вложить их в дело, надо подтвердить, откуда они к вам попали и учтены ли в ваших декларациях о доходах. Мало кто знает, что в США, например, любая покупка свыше десяти тысяч долларов автоматически фиксируется и для ФБР, и для налоговой инспекции. Вот отчего у них казна не пустует, ничто не проходит мимо налоговой инспекции, хотя и нарушений сколько хочешь, но попался — заплатишь сполна. Как вы выразились, мы — молодое государство, и все у нас в стадии становления, нет пока законодательной базы, и, видимо, долго еще каждый конкретный случай

будет рассматриваться отдельно. Ваше предложение неординарное, и оно заслуживает не только внимания, но и поддержки. По крайней мере, меня ни уговаривать, ни убеждать не нужно, я — уже сторонник вашей идеи. Но нас мало, вы правы, нужна поддержка на государственном уровне, но как ее без шума заполучить?

— Вы не вхожи к президенту? — попытался сразу взять быка за рога Шубарин.

— Нет, не вхож,— спокойно ответил прокурор.— Думаю, на этом этапе он запретил бы и мне, и вам проведение подобной операции. Он думает о престиже молодого государства, а эту вашу инициативу могут истолковать по-всякому. Вот если бы нам удалось повернуть возвращение крупных сумм из двух-трех стран, возможно, тогда и следовало поставить его в известность. Особенно если будем располагать документами, что бывший генсек Горбачев до последнего дня пребывания в Кремле финансировал из тайной кассы все левацкие движения в мире, вплоть до самых одиозных, и это в то время, когда собственным пенсионерам не хватает денег для физического выживания.— Видя, как приуныл Шубарин, он сказал веселее: — Не вешайте носа, я ведь не сказал, что вы затеяли безнадежную игру. Ясна только наша с вами судьба: в случае провала вы рискуете лишиться жизни, а я, к радости многих, должен буду уйти в отставку. Давайте думать, может, у вас есть другое предложение, чтобы не обременять президента...

— Говорят, новый отдел по борьбе с мафией, который вы организовали, как только появились в Ташкенте, полностью укомплектован работниками КГБ, и это, мол, вам удалось лишь потому, что почти все руководители этой могучей организации в прошлом ваши студенты, или, точнее, курсанты...

— Да, отделы по борьбе с организованной преступностью — одна из тем моей закрытой докторской диссертации. Она имела гриф «Совершенно секретно» и дальше Политбюро и высших чинов МВД и КГБ не пошла, хотя я защитился в 1975 году, столько лет мы упустили,— в голосе Камалова прорвалась горечь.— На стажировке в Интерполе, о которой упомянул, я уже тогда обнаружил следы нашей мафии на Западе и описал это в обстоятельном докладе, направленном по тем же адресам. Нельзя сказать, что мои работы остались совсем не замеченными, меня стали включать в комиссии по разработке стратегических программ борьбы с организованной преступностью. В общем, признали специалистом по мафии.



Внимательнее всех с моими работами ознакомился Андропов, я с ним встречался дважды с глазу на глаз, думаю, КГБ кое-что использовало из моих разработок. Когда в Москве, работая районным прокурором, я наступил на хвост одному из кланов, приближенных к Брежневу, и у меня были крупные неприятности, спас меня именно Андропов. Отправил в Вашингтон руководителем службы безопасности нашей миссии в США, оттуда меня и вытянули в Ташкент. Да, я короткое время вел курс специальных дисциплин в закрытых учебных заведениях КГБ, был единственным преподавателем-узбеком, и, естественно, слушатели из Узбекистана тянулись ко мне, бывали дома. Так случилось, что нынешний шеф службы безопасности республики генерал Бахтияр Саматов и оба его зама — мои студенты, и я пользуюсь их поддержкой. Только благодаря Саматову в свое время я арестовал хана Акмаля... Впрочем, какое отношение служба безопасности имеет к нашим баранам? Ведь по Конституции я стою выше службы безопасности, она поднадзорна прокуратуре.

— Чувствуется, что вы долгое время не жили на родине, — улыбнулся гость. — По моим данным, Саматов и президент выходцы из одной махаллы, одногодки, учились в одной школе и даже окончили один и тот же факультет экономики известного транспортного института. А англичане говорят, что школьный галстук выше родни... И шефом КГБ Саматов стал раньше, чем его одноклассник президентом, так что двигались они параллельно и своими путями, оттого у них добрые отношения...

— Я понял, на что вы намекаете, но на этом этапе нельзя подключать президента, иначе загубим задуманное вами... — Камалов помолчал, потом задумчиво сказал: — А что, зерно в вашем предложении есть. Поступим, как и в случае с ханом Акмалем: проигнорируем высшую власть, сделаем вид, что это в нашей компетенции. Думаю, генерал Саматов поддержит нас, и мы вдвоем возьмем ответственность на себя, сославшись на тайну операции. Для этого вы уже сегодня с утра должны изложить письменно на мое имя и на имя шефа службы безопасности все, о чем сейчас рассказали, и приложить все документы, полученные от комитета по спасению Арала, теперь они вам не нужны. Это будет секретный документ, которому мы дадим ход, и, сославшись на государственную тайну, изолируем от любопытных все то, что вы посчитаете нужным. У входа в прокуратуру для граждан висит особый почтовый ящик, которым, кстати, активно пользуются, ключ от него хранится у Татьяны Сер-

геевны Шиловой из отдела по борьбе с мафией. Если я получу документы к обеду, тут же встречу с генералом Саматовым и найду возможность поставить вас в известность о принятом нами решении. Не исключено, что он лично захочет встретиться с вами, уточнить какие-то детали, дело вы затеяли непростое, и оно требует продуманной страховки.— После некоторой паузы Камалов задумчиво произнес: — А я и не знал, что генерал Саматов однокашник с нашим президентом, он никогда не говорил об этом. Теперь понятно, почему мне иногда позволено самодеятельность и, по существу, не вмешиваются в дела прокуратуры...— Камалов вернулся к прежнему разговору: — Встретиться с Саматовым надо обязательно. Не исключено, что вам нужно будет вывезти семью в какую-нибудь страну, да и самому при случае придется отсиживаться там и год, и два, а без содействия службы безопасности это нелегко.— И тут же, без подготовки, словно залп, последовал вопрос: — А зачем приезжал к вам в Мюнхен вор в законе Талиб Султанов? Вы увлеклись лишь партийными деньгами, а отсюда вам уже исходила реальная угроза.

— Ну, с этим я разберусь как-нибудь сам. Приезжал Талиб за тем же, что и бывший секретарь обкома Анвар Абидович,— с предложением отмывать через мой банк деньги европейской наркомафии и доходы от преступной деятельности. Нынче в Европе и Америке проводить подобные операции становится все труднее и труднее, Интерпол повсюду наступает им на хвост. В нынешнем году и в Англии, и в Италии попало на этом несколько крупных банков. Да и деньги за это берут немалые, поэтому они потянулись сюда, к нам на Восток, хотят воспользоваться ситуацией, когда молодые государства рады любым долларовым инвестициям и не будут тщательно копать их прошлое. Верный расчет, между прочим, многие банки в Прибалтике поднялись на этом...

— И как же вы решили поступить с этими деньгами в случае удачи? — настороженно спросил Камалов, подумавший на мгновение, как и всякий прокурор, что Шубарин в благодарность за возвращение партийных денег попросит индульгенцию на незаконные операции с деньгами преступного мира, и казна государственная от этого только выиграет.

Впрочем, незаконность таких операций подтвердить трудно. Для безопасности нужно, чтобы власти смотрели на деятельность банка сквозь пальцы, тогда и овцы будут целы, и волки сыты, так поступают во многих слаборазвитых странах, чтобы любыми путями оживить приток валюты.



— Я поступлю с ними так же, как и с партийными деньгами,— они осядут здесь, в Узбекистане. Вы наложите официальный арест, так поступают во всем мире, я консультировался,— ответил, не задумываясь, Шубарин.

— Да, крутые дела замыслили, отчаянный вы человек. Собираетесь с мафией в одиночку воевать? А знаете ли вы, что Талиб вчера из Москвы по подложному паспорту вылетел в Германию? — Видя, как встрепнулся Шубарин, прокурор продолжил: — Наверняка и вы следите за его передвижением, но мне это удобнее, и у меня шансов не упустить его больше. И нынче он не в Мюнхен отправился, за ним присмотрят, как и в прошлый раз. Я ведь говорил, что мой долг оградить вас и ваш банк от уголовных посягательств, что я и делаю. Не возражаете, Артур Александрович?

— Нет, не возражаю. Но хочу пояснить, чтобы не было двусмысленности и не пахло игрой в героя. Я не искал ни партийных денег, ни воровских, так случилось, что пути наши пересеклись. И по-мужски, и по-человечески я не могу отступить, я хочу выполнить свой гражданский долг...

Впервые за время встречи Шубарин разволновался и осекся, он очень хотел, чтобы его правильно поняли.

— Хорошо вы сказали — гражданский долг,— прервал затянувшуюся паузу прокурор.— Слова эти уже становятся музейными, архивными, к сожалению. Но и я вернулся из Вашингтона на родину только по одной причине — так я понимал свой гражданский долг... — И вдруг сразу, без перехода, как случалось не однажды за эту ночь, спросил: — А почему, если у вас была предварительная договоренность, они все-таки похитили вашего американского друга?

Камалов старался разобраться во всем до конца, ведь ему придется подробно, в деталях, знакомить с ситуацией генерала Саматова.

— Они попытались вначале внедрить на одну из руководящих должностей в банке своего человека, чтобы быть в курсе дел.

— Назвали фамилию? — спросил с надеждой прокурор.

— Нет. Сказали, назовут, если я дам принципиальное согласие о назначении. На другой день они предложили другой вариант — снабжать их регулярными сведениями о богатых вкладчиках, крупных денежных потоках, куда они движутся, в какие дни изымаются. Я не согласился, хотя и угрожали. Но я сказал, что разговор, начатый в Мюнхене, готов продолжить, и это, мол, представляет для меня интерес. Тогда они и выкрали Гвидо, чтобы взять меня на испуг.

— Если у Талиба, а точнее, людей, стоящих за ним, долгосрочная программа, вам, Артур Александрович, одному на два фронта не справиться, вы где-то можете дать осечку. Мне ясно, что в Италию вас должен сопровождать человек Саматова, там есть толковые ребята со знанием языка. Он посмотрит со стороны, кто и как будет осуществлять за вами догляд, заснимут всех, кто будет прямо или косвенно связан с вами и Анваром Абидовичем. Имея портретную галерею, мы проверим всех по картотеке и очертим круг лиц. Возможно, выстроим еще два-три круга, туда войдут люди, с кем будут общаться ваши компаньоны после встречи. Эта работа для нас не в новинку. По таким крупным операциям мы сотрудничаем со всеми бывшими коллегами из СССР, потому что понимаем, чем грозит сращивание преступного мира Запада и наших мафиози. У вас своеобразная биография, уважаемое в разных слоях общества имя, а сведения, полученные нами совместно, позволят вам в дальнейшем увереннее вести игру. Теперь вернемся к Талибу. Когда он прилетит из Германии, то наверняка встретится с вами, ведь они, кроме предложения, никаких карт перед вами не раскрыли. Как только появятся варианты по деньгам наркомафии, я вызову из Москвы нескольких специалистов, они на таких операциях собаку съели. Возможно, их придется взять в штат, они хорошо знакомы с работой в банках, будут всегда при вас, и при необходимости вы сможете, не вызывая подозрений, брать их с собой в командировки и даже за рубеж. Если вы, конечно, не возражаете.

Хуршид Азизович невольно глянул в окно и сказал удивленно:

— Уже светает. Действительно, оказывается, ночь не резиновая, но нам удалось многое обговорить. Что ж, удачи вам в задуманном деле. Жду днем официального обращения...— И, встав, протянул на прощание руку.

У самой двери в тесном коридорчике, когда они стояли вплотную друг к другу, Шубарин вдруг сказал:

— Я должен поставить вас в известность, что в прокуратуре есть предатель и идет утечка информации. К сожалению, я не знаю кто, но за то, что он есть, ручаюсь головой.

— Я знаю. Сейчас идет интенсивный сбор материала на него. Человек ведет двойную жизнь, мы хотим взять его с личным и сохранить как главного свидетеля, вместо ушедшего в мир иной Артема Парсеяна. Кстати, повторное, тайное расследование, проведенное по моему настоянию, установило, что он был отравлен, но как и кем, остается загадкой до сих пор.



— Да, чуть не забыл. У предателя есть японский прибор для прослушивания разговора сквозь стены и для перехвата телефонных бесед.

— Вот это уже серьезно, спасибо. Надо бы и застукать его с этой штукой в руках.

И прокурор распахнул дверь в темноту лестничной площадки, выпуская гостя.

## XXV

Сенатор покинул банк злым и раздраженным. Все худшее, чего он опасался, сбылось: Шубарин догадался, что он в свое время снял копии с документов, похищенных в Лас-Вегасе прокурором Азлархановым. Утешало одно — он сумел скомкать концовку встречи, оставив Шубарина в крайней неопределенности, и получил жизненно важную отсрочку в десять дней, а ведь Японец наверняка рассчитывал сегодня же получить ответ на все мучившие его вопросы. В этот отпущенный Шубариным срок следовало четко определить свои позиции: прийти вместе с Миршабом с повинной и покаяться или же в позе обиженного удалиться от Японца и попытаться столкнуться с его врагами, прежде всего с неким Талибом Султановым, уже дерзнувшем встать банкиру поперек дороги. Если бы не Тулкун Назарович, разболтавший Шубарину в подробностях, как Сухроб занял пост в Белом доме, можно было бы продолжать игру в униженного и оскорбленного подозрением, но тут крыть нечем — ясно, что сведения для шантажа матерого политика-пройдохи были извлечены из похищенного кейса.

Десять дней... десять дней... Почему-то настойчиво билась в мозгу эта цифра, не давая покоя. И вдруг до него дошло, что через десять дней его обложат со всех сторон люди, чьи тайны он хранит у себя дома в подлинных записях и в памяти компьютера. Сенатор легко представил себе череду их лиц. Многие по сей день занимают видные посты, но и те, кто временно оказался не у власти, обладают огромным влиянием. Есть среди них и уголовные авторитеты, эти особенно не любят письменных подтверждений своих деяний, они и от живых-то свидетелей избавляются, особо не задумываясь, просто так, на всякий случай, а уж от человека, специально хранящего компромат на них... этому оправдания и вовсе не найти. Да и сам Тулкун Назарович, по существу сдавший его Шубарину (а партийного

коллегу Сенатор считал все-таки своим союзником), наверное, не обрадуется, когда узнает от Шубарина, сколько еще компромата, кроме историй братца Уткура, хранится на него самого в чужих руках.

Такая перспектива привела бы в уныние кого угодно, но только не Сенатора, хотя он понимал, в какой тупик себя загнал. Ведь кроме Шубарина и Тулкуна Назаровича, на него охотился и прокурор Камалов, хватку которого он хорошо знал и не обольщался своей свободой. Но пока, в эти десять дней, у него будет только один противник — Камалов (в порядочности Шубарина он не сомневался: тот начнет действовать только по истечении срока ультиматума), и этими днями следует распорядиться с толком. Достоинства Японца, которые Сухроб Ахмедович хорошо знал, сегодня оказались его слабыми сторонами, и надо было использовать именно эти уязвимые места бывшего патрона.

Рассуждая таким образом, Сенатор незаметно для себя вырулил машину к чайхане в старом городе, где еще недавно завтракал с посланником Сабира-бобо, золотозубым Исмамом. Время близилось к обеду, и он не стал спешить ни домой, ни к Миршабу, а припарковал машину в тени вековой чинары, обвешанной клетками с перепелами. Хотелось побыть одному, взвесить все «за» и «против» своих выводов и решений.

Рынок, похоже, расшевелил людей и в неторопливой Средней Азии, в чайхане оказалось на удивление малоллюдно, лишь знакомые старики в зеленых чалмах занимали почетный угол в ковровом зале, а на улице, на айванах — ни единого человека. Только чайханщик, склонившись подобострастно на его приветствие, ладил во дворе дымящийся мангал, видимо, какая-то компания должна была подъехать на шашлыки. Не успел Сенатор расположиться на самом дальнем айване во дворе, в тени виноградника, как чайханщик тут же поставил перед ним поднос с чайником и горячей лепешкой. Решился и вопрос обеда, хозяин действительно ждал компанию на шашлыки из свежей баранины, так что он вполне мог рассчитывать на дюжину палочек и для себя. Но на сей раз не думалось: какой там был баран, хорошее ли мясо? Мысли вновь вернулись к разговору на четвертом этаже банка. И неожиданно стало ясно как день, что его явка с покаянием, с возвратом копий документов Шубарину ничего не даст, кроме унижения. Вряд ли Японец простит, а главное, уже не будет доверять как прежде, — ведь он не раз говорил: обманувший однажды...

Как ни жаль, назад хода к Шубарину не было. Но и вступить открыто в конфронтацию не хватало сил, слишком разные возмож-



ности, и финансовые в том числе... И тут Сенатор осознал, в какую западню попал, такой безысходности он не чувствовал даже в тюрьме, тогда шансов на свободу у него было, казалось, гораздо больше. Неожиданно припомнившаяся жизнь в тюрьме выудила из памяти то, как Миршаб догадался через газету передавать новости с воли, даже самые тайные, включая советы адвокатов и прогнозы развития страны и республики. И он невольно улыбнулся — вспомнил, как тогда, в «Матросской тишине», уверился, кажется, на всю жизнь, что безвыходных ситуаций не бывает, всегда есть выход, путь к решению любой проблемы, только его надо найти, как гениально отыскал его Миршаб.

— Будем искать,— сказал себе Сенатор и направился к жигуленку за фляжкой с коньяком.

Несмотря на громадные штрафы ГАИ, он позволял себе водить машину под хмельком. Впрочем, его редко останавливали, а точнее — никогда. В Ташкенте гаишники имеют особый нюх на власть имущих людей, хотя тут, на Востоке, надо честно сказать, не прячутся за правительственными номерами, как в Москве, скажем, или в Тбилиси, не охотятся за особыми правами в пластиковых обложках и не козыряют служебными удостоверениями, таких видят издали, чувствуют за версту, понимают без объяснений, с одного взгляда: Восток — штука тонкая.

Обед в одиночку удался на славу не только из-за шашлыков из мелкорубленых бараньих ребрышек и нежнейшей печенки, но и потому, что он вновь собрал свою волю в кулак, определился, с кем ему по пути. Акрамходжаев ощутил, что внутри него включился счетчик, равный десяти дням, за которые он должен был найти способ нейтрализовать или уничтожить Шубарина, тут, как и в случае с Камаловым, поставлена на кон его судьба, ничьей быть не может, ибо на прозябание он не согласен. И первое, что он надумал — до вечернего самолета в Москву увидеться с Миршабом и постараться внушить тому, какая смертельная опасность грозит ныне и ему от их прежнего покровителя и компаньона Шубарина.

Сенатор понимал: чем больше людей он убедит в опасности, исходящей от Шубарина, тем легче ему будет бороться с ним, а Миршаб пока обладал и официальной властью — ее обычно используют в борьбе с личными врагами. Вдвоем с Миршабом ему надо придумать повод, чтобы сразу рассорить выходящего из тюрьмы хана Акмаля с Шубариным, и потому он мысленно благодарил Сабира-бобо за то, что тот заставил его поехать в Москву. Вышло, что он един-

ственный печется об опальном хане, а люди, изведавшие жесткость тюремных нар, ох, какое придают значение даже малейшему вниманию, и, наоборот, любое равнодушие возводят до таких высот!

Из чайханы уезжать не хотелось, хотя время и поторапливало, и он вдруг понял, отчего не спешит к Миршабу, своему закадычному другу со школьной скамьи, компаньону и подручному. Да, ему льстило, что их называют «сиамскими близнецами», верят в их дружбу, в преданность Миршаба. Но после разговора с Шубариным в банке на память пришла фраза из какого-то американского боевика: «из беды выбираются в одиночку», или «каждый спасается сам», или что-то в этом роде, очень похожее на знаменитую фразу О'Генри: «Боливар не выдержит двоих». Во всех планах, что промелькнули в голове тут, на айване махаллинской чайханы, присутствовал вариант только собственного спасения, ставка делалась на свое благополучие, свободу, карьеру — и Сухроб честно признался себе в этом. Хотя знал, что для Камалова они с Миршабом идут в одной связке, ведь прокурор наверняка догадывался, кто стоит за смертью главного свидетеля Артема Парсегиана, да и для Шубарина они составляют единое целое, поэтому он потребовал, чтобы пришли вдвоем с Миршабом на покаяние через десять дней и вернули бумаги. Собираясь на встречу со своим другом, он знал, что ради спасения собственной жизни, политической карьеры он не остановится ни перед чем, если надо будет, пожертвует и Миршабом — больше в тюрьму ему не хотелось.

Откровения насчет Миршаба, с которым он мысленно уже распрощался, придали как бы второе дыхание его фантазии, раскрепостили сознание, которое и без того не обременяло себя моральными, нравственными запретами. Он вспомнил, как среагировал на сообщение Газанфара о Шубарине после своей удачной поездки в Аксай к Сабир-бобо. Тогда он решил: если каким-то образом обнаружится связь Шубарина с прокурором Камаловым, помогшим освободить Гвидо Лежаву, то он постарается непременно сравнить человека, выкравшего американца, с Японцем. Сегодня, после неприятной беседы с глазу на глаз с Шубариным, необходимость в подтверждении такой связи отпала: время и обстоятельства уже развели их по разные стороны баррикад, а значит, он должен найти убедительный повод для Талиба или людей, стоящих над ним, поквитаться с Шубариным. И он вновь пожалел, что Талиба нет в Ташкенте. Но, развивая эту версию, резонно подумал: «А с чем бы я пошел к Талибу? У него ведь не исключены общие с Шубариным финансовые интересы, которых он никогда



не будет иметь со мною, у меня же нет за спиной могущественного банка». Тут, желая заполучить союзника, следовало действовать осторожно и наверняка — он мог в лице Талиба обрести и врага. Значит, все упиралось не только в Газанфара, которому он поручил выведать, почему Талиб встречался с Шубариным и почему выкрал его гостя на презентации в «Лидо». Все требовалось уместить в прокрустово ложе десяти дней, определенных Японцем. Вряд ли он сможет действовать быстро и оперативно за гранью отпущенного срока, когда Шубарин натравит на него многих власть имущих людей и уголовников. И Сенатор порадовался, что среди бумаг нет компромата на Талиба Султанова, иначе контакт был бы невозможен ни при каких обстоятельствах.

«А может, следует настропалить Талиба и против прокурора Камалова? — пришла неожиданно дерзкая мысль. — Ведь это он подсказал Шубарину, кто выкрал Гвидо Лежаву, и даже назвал адрес, где тот содержится. Хорошо бы руками Талиба расправиться со всеми моими врагами», — подумал Сенатор, пытаясь шире развить тему, и вдруг нашел применение Талибу при любом раскладе, даже если и не войдет с ним в сговор.

«Вот уж обрадуется этой идее Миршаб!» — возликовал Сенатор. Миршаб после трех неудачных попыток покушения на жизнь прокурора Камалова остро переживал провалы и искал новых стрелочников, на которых можно было бы переложить очередное покушение. Турки-месхетинцы, чьи следы якобы остались на месте преступления, уже не казались убедительными и не принимались всерьез. И вот на такую роль Талиб, которого он еще и в глаза не видел и на чью помощь рассчитывал в борьбе с Шубариным и с Камаловым, вполне подходил — фигура достойная, авторитетная. Тут нужную версию и варианты отработать нетрудно — при их-то с Миршабом опыте следственной и прокурорской работы. Мог помочь и Газанфар. И если уж выпадет самому сводить счеты с Москвичом, а не исключался и такой вариант, то ему не составит труда запутать свой след, как случилось во время ограбления прокуратуры, когда он организовал похищение кейса Шубарина с секретными документами и направил внимание следствия на Ростов из-за татуированного взломщика по кличке Кощей.

«Ай да Сухроб! Молодец!» — похвалил себя Сенатор и в хорошем настроении поехал к Миршабу в Верховный суд. Мысль о готовности предать его, как и Талиба, уже спряталась где-то в глубинах памяти до подходящего случая.

С Миршабом он пробыл до вечера, они многое обсудили и даже наметили несколько вариантов, как рассорить хана Акмаля с их бывшим патроном Шубариным, но каждый из планов годился лишь при удобном случае и при определенном настроении аксайского Креза, они хорошо знали его нрав. В одном решении «сиамские близнецы» оказались едины: не идти на покаяние к Японцу и не признаваться в том, что вскрыли кейс и сняли копии с его сверхсекретнейших документов. Это признание рано или поздно могло стать чьим-то достоянием, кроме Шубарина, и на их карьере, а то и жизни можно было бы поставить крест. А пока оставался шанс избавиться и от Камалова, и от Шубарина.

Одним убийством больше, одним меньше, срок один — как говаривал иногда их подельщик покойный Артем Парсегян. С тем Сенатор и отбыл в Москву — освобождать хана Ахмаля из подвалов Лубянки.

## XXVI

Покинув дом прокурора Камалова почти на рассвете, Шубарин вернулся в свой особняк в старом городе, но укладываться спать не стал, хотя отдохнуть не мешало. Он напрямик направился в крытый бассейн, примыкавший к его знаменитому саду, и с наслаждением поплавал, то и дело возвращаясь мыслями к полуночной встрече на Дархане. Позади была бессонная ночь, впереди трудный день, но усталости Артур Александрович не чувствовал, наоборот, ощущал прилив сил.

Теперь стала понятна причина этого подъема: наконец-то он определился и тут же обрел так необходимое душевное равновесие. Обнадёживало и то, что его непростые решения были поняты и одобрены, а ведь могло выйти и по-иному — наверху не часто встречаются самостоятельные люди. После плавания он принял контрастный душ и, стараясь не разбудить домашних, поднялся к себе, в рабочий кабинет на втором этаже. Изящная итальянская кофеварка, с которой он не расставался и в командировках, стояла на сервировочном столике рядом с письменным столом, и он стал готовить себе большую чашку кофе с пенкой, мысленно обдумывая послание на имя шефа службы безопасности республики генерала Саматова и Генерального прокурора. Затем набирал текст на компьютере и работал долго, часа два, пока снизу не позвали к завтраку. В это время он загонял гото-



вый материал в память компьютера, а два экземпляра хорошо отпечатанного текста на шести страницах уже были тщательно вычитаны и подписаны.

После разговора с прокурором Шубарин понял, что встречи с генералом Саматовым ему не избежать. Дело, которое они затевали, было не только государственного, скорее международного масштаба. Если в работе с деньгами преступного мира у правоохранительных органов имелся какой-то опыт, впрочем, до сих пор только теоретический,— но об этом всегда можно было получить консультацию хотя бы в Интерполе, где, оказывается, некогда стажировался Москвич,— то с партийными деньгами придется иметь дело впервые, продвигаться вслепую, отрабатывая детали в ходе операции. И тут, конечно, прокурор Камалов прав: необходимо иметь для страховки мозговой центр, состоящий из специалистов, которых в бывшем КГБ с избытком, они-то и выработают и стратегию, и тактику.

Разговор с прокурором пошел на пользу, Артур Александрович увидел затеянное как бы со стороны, а точнее, как в голографии — объемно и насквозь, и понял, что одному ему не справиться. Действовать на два фронта без страховки — чистый авантюризм, впрочем, он это понимал, оттого и настоял на встрече с Камаловым. Идея насчет специалистов по борьбе с отмыванием преступно нажитых за рубежом денег, которую предложил Москвич, конечно, разумная, о такой поддержке он и мечтать не смел. И семью спрятать где-нибудь в Европе на время, пока не утихнут страсти, без Саматова тоже будет нелегко. Поэтому письмо оказалось столь подробным, с планами, выкладками, чтобы можно было сразу, не теряя времени, подключить специалистов к операции, ведь день отлета в Милан приближался.

Два письма в одном конверте оказались в почтовом ящике у входа в прокуратуру республики к началу рабочего дня, и Татьяна Шилова, предупрежденная Камаловым, принесла их ему сразу после утреннего совещания, объявленного накануне. Принимая пакет, прокурор поинтересовался:

— А как у вас отношения с Газанфаром?

Получив ответ, предупредил:

— Возможно, на днях появится необходимость передать ему кое-что важное, пожалуйста, будьте готовы...— И после паузы добавил: — От этой информации очень многое зависит, и даже жизнь близкого мне по духу человека. Я думаю, у вас еще будет возможность познакомиться с ним...

После ухода Татьяны Камалов вскрыл конверт, достал адресованное ему послание и внимательно прочитал; написано было толково, гораздо шире, чем вчера сообщено при личной встрече. И сегодня, знакомясь с планами, изложенными на бумаге, Камалов понял и по-настоящему оценил масштаб и опасность предстоящей операции, хотя ночью тоже осознавал, чем может обернуться неудача, срыв на любом этапе, и прежде всего для ее исполнителя — Шубарина. Затеянное им дело было сверхопасным, и за провал он платил бы только одним — жизнью.

Прокурор машинально поднял трубку и вместо генерала Саматова набрал номер полковника Джураева, хотя еще минуту назад это не входило в его планы. Начальник уголовного розыска республики был на месте и тепло поприветствовал своего друга. В последние дни они не виделись, и Джураев, конечно, не знал о неожиданной встрече прокурора с банкиром.

— А вы оказались правы, — быстро перешел к делу прокурор, — когда накануне презентации по случаю открытия банка «Шарк» предсказали, что вокруг этого лакомого кусочка еще разгорятся страсти.

— Что, еще кого-нибудь выкрали у Японца? — прямо спросил полковник.

— Нет, пока все на месте. И чтобы этого не случилось, я попрошу вас в ближайшие два-три дня подобрать четырех толковых ребят. Двоих — хорошо знающих уголовный элемент по части разбоя, грабежей, рэкета, а двоих других — хорошо ориентирующихся в мире мошенников, аферистов, картежников, кидал. Я пришлю официальное письмо секретного характера, и мы командирuem их на полгода поработать в «Шарк», а с Шубариным договорюсь, чтобы он взял их в штат, они будут дежурить по двое, посменно. Задача ребят на первое время ясна, а возникнет тревожная ситуация — скоординируем цели. Я сейчас ни о чем конкретном не могу сказать, но после встречи с генералом Саматовым, которая наверняка состоится сегодня-завтра, карусель, я думаю, закрутится...

— Что, обыкновенный банк может заинтересовать и ведомство Бахтияра Саматова? — удивился полковник.

— Обыкновенный? Не скажите. Вы забываете, кто его хозяин. Не вы ли мне говорили о нем как о незаурядном человеке, финансовом гении? Тут глобальные масштабы, если сказать одним словом.

— Значит, мы поступили верно, когда помогли Японцу в трудную минуту? — спросил полковник напоследок, пытаясь уяснить главное для себя.



— Да, конечно. Оттого и новая просьба: отобрать лучших из лучших, работа в банке предстоит тонкая...

Положив одну трубку, прокурор поднял другую, правительственного телефона, и соединился напрямую с генералом Саматовым.

— Добрый день, Бахтияр Саматович,— начал он без привычного церемониала, сразу приступая к делу.— Через полчаса, если вы будете на месте, я пришлю к вам нарочного с очень важным документом. Бумага настолько ценна и секретна, что я вручу ее только вашему доверенному человеку, и он должен передать пакет вам лично. Примите его сами, хотя я понимаю ваши строгости.

— Надеюсь, я не должен дать ему расписку,— пошутил генерал, видимо, он был в хорошем настроении, и продолжил уже всерьез: — Да, я еще буду на месте час, пусть подъезжает. Вы не в претензии к людям, которых я передал вам по вашей просьбе?

— Нет. Не жалею. Спасибо. Они профессионалы, хорошо знают свое дело, а главное, порядочны, и я им доверяю, а в нашем деле в наше время это половина успеха. Я убежден, что сообщение не оставит вас равнодушным, и если захочется уточнить кое-что, готов встретиться с вами немедленно, дело не терпит отлагательств.

— А мы другими и не занимаемся,— опять пошутил генерал и добавил: — Значит, так. Подъезжайте к шестнадцати часам, я знаю, по пустякам вы не станете отвлекать, а вопросы всегда возникают в нашем деле, вопросами только и живем.— И шеф службы безопасности тепло попрощался со своим бывшим преподавателем, к которому всегда относился с почтением.

Переговорив с генералом, Камалов мельком взглянул на часы: до шестнадцати было еще далеко. Он поймал себя на мысли, что заразился азартом, исходящим от Шубарина, и ему хотелось быстрее запустить операцию, ведь лишить преступность финансовой мощи — все равно что обескровить ее. Да и возвращение капиталов, награбленных КПСС, обнищавшей стране, задыхающейся в тисках экономического кризиса, он, как и Шубарин, считал долгом чести мужчины, офицера, гражданина — в этом они были солидарны. Видимо, так оценит ситуацию и генерал Саматов.

Как и всякий здравомыслящий человек, анализирующий результаты «перестройки», в которую он, как и большинство советских людей, поверил, сейчас Камалов чувствовал себя обманутым и обобраным. А ведь он был не совсем простой человек, знал немало и догадывался о гораздо большем, чем обычные, рядовые граждане.

Он знал, что такое внешняя разведка и что такое внутренняя, ведал, какая мощная скрытая борьба в области идеологии шла между двумя системами и какие люди обеспечивали ее базу, опять же отдельно для внутреннего и внешнего пользования. И сейчас, де-факто, он признавал, что нас переиграли по всем статьям, и прежде всего благодаря «пятой колонне», «агентам влияния» внутри страны, которых давно ловко и умело насаждали еще с годов хрущевской оттепели, особенно в среде либеральной интеллигенции, связанной со средствами массовой информации, идеологией, культурой. И уж, конечно, самой главной удачей наших противников стал сам генсек правящей партии коммунистов. Вот он-то и есть главный Герострат родного Отечества.

Поддержав Шубарина в рискованной затее вернуть партийные деньги на родину, Камалов мечтал не о возрождении проворовавшейся никчемной КПСС, оказавшейся неспособной защитить не только страну, но даже саму себя; он надеялся, что с деньгами партии откроется и тайна ренегатства Горбачева, появятся документы о его предательстве, сознательном разрушении государства, и прежде всего России. Вот тогда бы Михаил Сергеевич не отмахнулся от необходимости явки в суд, как уклонился от заседания Конституционного суда страны, где рассматривался иск к КПСС и куда его пригласили лишь свидетелем, как первого руководителя коммунистов. Появись такие свидетельства в России, им не дадут хода, многие там и сейчас повязаны одной веревочкой — не отсюда ли роскошный Горбачев-фонд, в который он не внес даже несчастных десяти тысяч уставных рублей? Как говорят в народе: ворон ворону глаз не выклюет.

Добудь Шубарин такие доказательства, он, Камалов, тут же предъявил бы разрушителю государства обвинение: материала, касающегося только Узбекистана, будет вполне достаточно. За одну войну в Афганистане, которую можно было закончить в апреле 1985 года, когда Горбачеву никто уже не мешал, ибо умерли все затеявшие ее, сегодня расплачивается весь среднеазиатский регион. Кстати, совсем недавно в журнале «Огонек», явно сменившем ориентиры после бегства еще одного ренегата — Коротича, бывший депутат союзного парламента от Армении Галина Старовойтова, которую никак не причислишь к державникам, патриотам, сказала в пространным интервью, как бы подтверждая решение Камалова, о государственной казне, дословно, без купюр: «Но ведь казна-то на самом деле разворована. Разные осведомленные люди указывают адреса: Швейцарию, Лондон, Дюссельдорф... (Шубарин в ночном разговоре с прокурором

*М*

упоминал именно Дюссельдорф, где ему удалось найти кое-какие концы партийных денег.— *Р. М.*) Но у меня нет ощущения, что это золото, вывезенное, между прочим, при Горбачеве, всерьез кто-то ищет. За разоренную казну рано или поздно кому-то придется отвечать». А Старовойтова, бывший «мудрый» советник Ельцина по национальному вопросу, ныне отстраненная коллегами-демократами от большой и доходной политики, знает, что говорит. Покрутилась она в перестроечной кухне и возле Горбачева, и «демократов», и вот сегодня такое интервью — может, в отместку за то, что оттерли от государственной кормушки?

Азарт словно подхлестывал прокурора изнутри, и он вновь вернулся к письму, адресованному на его имя, хотелось явиться к генералу Саматову с готовыми предложениями по развернутому плану Шубарина. И вдруг, как бы некстати, он вспомнил о Сенаторе, который вчера вылетел в Москву вслед за адвокатами хана Акмаля, из чего следовало, что аксайский Крез, некогда арестованный им лично, скоро окажется на свободе. Значит, Сенатор ищет союза с Ариповым, надеется на его финансовую мощь и связи. Ведь, по существу, хан Акмаль никого следователям не сдал, а оказавшись на воле, он многим может предьявить и счет, и претензии, или то и другое вместе. И хан Акмаль, и Сенатор — оба знают, — рассуждал прокурор, — что для него они были, есть и остаются преступниками, и пока он занимает этот пост, им рассчитывать на высокое официальное положение в республике будет трудно, если точнее — невозможно. А с этим не смиритесь ни первый, ни второй, значит, следующего, четвертого покушения осталось ждать недолго. «Может, от этого неосознанного ощущения я и спешу помочь Шубарину?» — подумал вдруг прокурор.

Впрочем, ни вчера дома, ни сегодня, когда прокурор занимался делами Шубарина, ему не пришла в голову мысль напрямую обратиться за помощью к Артуру Александровичу, ведь тот мог прояснить ему многие тайны. Когда речь зашла о важных государственных делах, мысль о собственной безопасности отодвинулась на задний план, и возвращаться к ней было неудобно, не по-мужски, даже если бы и вспомнил. Впрочем, и сам Шубарин намеренно избегал разговора о своей безопасности, хотя и понимал, на что идет. В одном Камалов был теперь уверен: Шубарин не станет участвовать в каких бы то ни было акциях, затеваемых против него Сенатором, Миршабом или ханом Акмалем. У него некогда появилась сверхзадача: выйти на Шубарина, встретиться хоть раз с ним с глазу на глаз, и если удаст-

ся — вбить клин между ним и «сиамскими близнецами». Удалось добиться большего: они действуют совместно в крупной государственной акции. А как избежать четвертого покушения — это его проблема, и он не привык перекладывать свои заботы на плечи других. В конце концов, не сегодня, так завтра закончат собирать материал на Газанфара, дающий право на его арест, и можно считать, что песня Сенатора спета — недолго музыка играла, хотя он пока на воле, щеголяет в шелковом костюме от Кардена. На этот раз он уж доведет дело до суда. Вряд ли Газанфар Рустамов окажется крепче Парсеяна, все-таки сдавшего своего покровителя. Спасая свою шкуру, Газанфар не пожалеет «сиамских близнецов», тем более если узнает, что те специально охотились за ним и в сговоре организовали ему крупный проигрыш, чтобы заставить его рыться в кабинетах прокуратуры и вынюхивать секреты. А человек, игравший против него в тот злополучный для Газанфара вечер, которого Сенатор с Миршабом наняли специально, ныне отбывал срок и готов был подтвердить на очной ставке сведения и про саму игру, и про многомесячные репетиции на дому у Миршаба. Неожиданным свидетелем Камалов был обязан полковнику Джураеву, его личным связям в уголовной среде.

Сегодня Газанфар становился для Камалова ключевой фигурой, без него он не имел хода ни к Сенатору, ни к Миршабу, а посадить их за тюремную решетку, устроив широкий открытый процесс, он считал делом чести, своим профессиональным долгом. Доведи он дело до суда, наверняка выплыли бы многие и многие фамилии желающих в переходное время дестабилизировать обстановку в крае. Не исключено, что хан Акмаль, освобождающийся на днях в Москве, может снова загреметь на скамью подсудимых на этом процессе, пауки вряд ли станут жалеть друг друга.

Если бы ему, Камалову, удалось довести задуманное до конца, в республике надолго воцарился бы покой, ведь на Востоке уважают решительность и силу, а процесс показал бы мощь новой власти. Отсеки голову мафии в высших эшелонах власти, и с обнаглевшей уголовщиной можно справиться куда быстрее. Наконец-то наверху поняли, что, не сломав хребет преступности, нельзя вершить никакие перемены: ни политические, ни экономические. Даже сама идея будущего могущественного Узбекистана, провозглашенная президентом и принятая народом, может оказаться под угрозой. Нужно избавить и народ, и предпринимателей, да и саму власть от страха перед преступным миром, охватившим общество в последние пять лет.



С этой целью вместе с генералом Саматовым прокурор разрабатывал обширную программу, ведь он не зря еще со времен Брежнева привлекался союзным правительством к составлению стратегических планов борьбы с преступностью и слыл в этой области крупным авторитетом. Программа пока держалась в секрете, и если она получит поддержку президента и парламента, то порядок в Узбекистане наведут в считанные недели, тут исполнительная и законодательная власть, не в пример российской, действует слаженно и эффективно.

Роль Газанфара в предстоящих событиях представлялась Камалову столь важной, что он невольно забеспокоился за его судьбу: при двойном образе жизни этого человека с ним могло случиться все что угодно. На всякий случай он позвонил одному из своих замов, в непосредственном подчинении которого находился Газанфар, и попросил, чтобы в ближайшие дни его не командировали ни на какие ЧП в колониях и тюрьмах, там ведь тоже всякое может стрястись. Пришлось сказать, что Рустамов может понадобится для важной поездки в Москву, где намечалось совещание работников прокуратур бывших союзных республик. Камалов был уверен, что новость станет известна Газанфару, а значит, расслабит его в оставшиеся перед арестом дни.

На этом он не успокоился, позвонил полковнику, сначала поинтересовался встречей с генералом Саматовым, а затем спросил, сколько дней еще нужно, чтобы подписать ордер на арест Газанфара. Тот сообщил — дней десять. На вопрос, почему так долго, — получил ответ: в деле не хватает необходимых снимков, где Рустамов будет заснят в компании известных уголовников, картежных шулеров, Миршаба. Камалов понимал, что снимки и видеозаписи заставят Газанфара не тянуть с откровениями, а от сроков его признания будет зависеть арест «сиамских близнецов». Но тревога за жизнь Газанфара, вселившаяся в него, уже не отпускала: он понимал, что не уберет Парсегыяна, и то же самое вполне могло случиться с Почтальоном, почувствуй Сенатор, что Рустамов попал в поле зрения прокуратуры. Поэтому он еще раз позвонил на первый этаж Шиловой.

— Татьяна, — обратился к ней сразу, ибо она сегодня уже была у него с пакетом от Шубарина, — вы давно видели своего подопечного?

— Дня три назад, — отвечала Шилова, понимая, что шеф специально не называет фамилию Газанфара.

— Мне важно знать его самочувствие, настроение, ближайшие планы. Многие наши сотрудники, и он в том числе, разъезжаются на обед кто куда. Сейчас в Ташкенте много мест, где можно вкусно

поест. Он часто ездит на Чорсу, к уйгурам на лагман, напросись с ним в компанию.

— Хорошо, Хуршид Азизович, спасибо за идею, мне действительно давно лагмана отведать хочется,— пошутила Шилова и положила трубку.

Смутная тревога за Газанфара все-таки не убывала, и он пожалел, что нельзя сейчас, сию минуту, выписать ордер на его арест, только тогда он мог быть спокоен за жизнь Рустамова.

Обедал прокурор в Белом доме, куда его неожиданно вызвали в связи с разрабатывавшимся проектом борьбы с преступностью и где он встретился с парламентариями, юристами, участвующими в создании новых законов. Когда он появился в прокуратуре, помощник предупредил, что звонил генерал Саматов, и Камалов набрал номер шефа службы безопасности республики.

— Я ознакомился с присланными бумагами,— сказал генерал,— они действительно требуют безотлагательных действий, и если располагаете временем, приезжайте сейчас же, обговорим наедине. На шестнадцать часов я пригласил двух толковых экспертов и одного правоведа-международника, вам наверняка понадобятся их консультации.

— Пожалуй, не обойтись,— согласился прокурор, обрадованный тем, что генерал поддержал его рискованную затею, и поспешил добавить: — Минут через десять я буду у вас.

Вышел Камалов из главного здания бывшего КГБ на Ленинградской, когда уже стемнело. Возвращаться в прокуратуру было бессмысленно, хотя дел там накопилось невпроворот. Как только отъехали от резиденции Саматова, он набрал номер телефона Шубарина на работе, дома телефоны молчали. Тогда прокурор вспомнил про «мазерати» и набрал номер в машине. Бодрый голос Шубарина, который он теперь вряд ли спутал бы с чьим-то другим, ответил: «Слушаю вас...»

Камалов сообщил, что разрешение на операцию получено всего десять минут назад, после долгих дебатов и споров, и что завтра в первой половине дня к нему в банк занесут пакет, где содержатся перечни вопросов, на которые нужно четко и ясно ответить или хотя бы прояснить вопросы. После чего он должен будет встретиться с человеком, который даст окончательное «добро».

— А пока оформляйте документы на выезд, на себя и на жену,— сказал прокурор напоследок, и они тепло распрощались.

С этой минуты операцию «Банкир», как окрестили ее на Ленинградской, можно было считать запущенной.



## XXVII

В Москве Сенатор убедился, что столичные адвокаты не зря получали гонорары, равные президентским, — путь хана Акмаля на свободу оказался протаранен связями и деньгами. Особенно помогла последняя мощная долларовая инъекция. Сработали и правильно выработанные стратегия и тактика, решалось все на высоком официальном уровне, и письма-ходатайства из Верховного суда и Верховного Совета Узбекистана, настоящие и подложные, пришлись весьма кстати, без них и взятки не помогли бы, а так все делалось как бы законно. Формальности и задерживали день выхода хана Акмаля из тюрьмы: неожиданно понадобился человек из Верховного суда Узбекистана, который должен был официально принять все шестьсот томов обвинения, а к ним еще и кучу сопутствующих бумаг, хранящихся в разных ведомствах и в разных концах Москвы. Только чтобы вывезти их, требовались бригада грузчиков, транспорт и большегрузный контейнер: с размахом попирал на свободе законность «верный ленинец». И те, кто передавал «томов громадь», и кто принимал, отлично понимали, что увесистые кипы свидетельских показаний и бесстрастные заключения экспертов отныне никому не нужны, но протокол есть протокол, а если откровенно, чем крупнее взятка, тем пышнее всякий официоз и камуфляж. Сенатор понял, что в неделю, даже в десять дней, как он рассчитывал, не уложиться, но Шубарин тоже установил жесткий срок, и срок этот ему очень хотелось продлить.

Ведь в отпущенное Шубариным время он собирался расправиться с ним или хотя бы нейтрализовать Японца, а бесценные дни приходилось тратить на хана Акмаля. Правда, Сенатор чуть ли не каждый день звонил в Ташкент, то Миршабу, то Газанфару, но существенных желаемых событий не происходило: Талиб по-прежнему находился в Москве, а о планах Камалова Почтальон не ведал. В последний раз Газанфар обмолвился, что, возможно, объявится в Москве на каком-то совещании и попытается отыскать Талиба в столице. Но с чем бы он пришел к вору в законе? Удачный повод, причина пока не давались в руки. Нервничал в Москве Сенатор, нервничал, и это заметили окружавшие его люди, особенно московские адвокаты хана Акмаля, с которыми он, как угорелый, носился по столице. Не мог же он сказать им в открытую о своих проблемах, что ему поперек горла стали Генеральный прокурор Камалов и видный в республике банкир Шубарин? Поневоле занервничаешь, если жизнь твоя зависит от их пребывания на земле.

Так не хотелось Сенатору, чтобы Шубарин через десять дней натравил на него людей, с чьими тайнами он расставаться не желал, как не желал и признаться в том, что украл их. Он надеялся, верил, что обязательно найдет выход из тупика, а для этого требовалось одно — время. Зная характер Шубарина, открыто объявившего им войну, он не сомневался, что в день истечения срока ультиматума тот позвонит ему домой, а если он не вернется из Москвы, то Миршабу, и, конечно, напрямик спросит: как вы решили поступить? И он попытался оттянуть срок расплаты — предупредил Миршаба: если позвонит Артур Александрович, тот должен сказать одно: давайтеждемся возвращения Сенатора с ханом Акмалем, тогда и поговорим. Вроде и объективно, просительно звучит, они как бы раздумывают, и угроза чувствуется: «...с ханом Акмалем, тогда и поговорим...» Получается так, якобы хан Акмаль на их стороне, готов замолвить слово за Сенатора и дать понять, что вернулся настоящий хозяин. В общем, в такой редакции поле для фантазии оказывалось обширным, понимай как хочешь.

Словом, как ни исходил ядом и желчью Сенатор в Москве, реально угрожать ни Камалову, ни Шубарину он не мог, хотя дома, в Ташкенте, и Миршаб, и Газанфар не сидели сложа руки. Но Сенатор был уверен, что не зря суетится в столице: хан Акмаль, выйдя на свободу, мог разрешить и его проблемы, ведь он-то, наверное, не забыл, кому лично обязан тюремными нарами — Камалов тоже стоял у него поперек горла. Нужно было терпеть и ждать, как его учил мудрый ходжа Сабир-бобо.

## XXVIII

Получив «добро» на операцию, Шубарин обрадовался — до последнего момента он не был уверен, что заручится поддержкой властей. Власть, которую он знал прежде, сплошь была перестраховочной, любые мало-мальски важные решения принимались на самом верху — так было и в Москве, и в Ташкенте, и в Тбилиси. А тут ситуация с выходом на границу, — рискованная, с непредсказуемыми последствиями, — одобрена в двух ведомствах без согласования с Белым домом. Но этим он, конечно, обязан Камалову, да и «добро», судя по позднему звонку, было вырвано к ночи, он чувствовал радость победителя в голосе прокурора.

На другой день, незадолго до обеда, неулыбчивый молодой человек, предъявивший на входе удостоверение корреспондента местной



газеты, принес ему пакет, из-за которого он не покидал банк. Вопросов оказалось немало, двадцать три, и Шубарин понял, что органы взялись за дело всерьез и страховка будет надежной. Некоторые вопросы наводили банкира на мысль, что уже заранее, до начала операции, они подыскивают ему страну-убежище, где он сможет спрятаться с семьей, если такая необходимость возникнет. Были там вопросы относительно посредника, его бывшего покровителя Анвара Абидовича, — на Ленинградской словно чувствовали, что он потребует гарантий для хлопкового Наполеона. Большинство вопросов касалось его друзей, выехавших на Запад с первой и второй волной послевоенной эмиграции, но это, видимо, на тот случай, чтобы знать, где он может объявиться в любой момент и откуда есть надежда всегда получить поддержку.

Некоторые вопросы заставляли глубоко покопаться в памяти, а другие требовали даже времени, чтобы порыться в архивах, в общем, на хлопоты нужно было дня три, хотя конкретных сроков ему не устанавливали. В те дни, когда он готовил ответы, состоялись два важных телефонных разговора. Один из них — с Анваром Абидовичем: он уточнял дату прибытия в Италию. Настроение у него было отличное, значит, операция не отменялась. Второй звонок оказался местным, звонили поздно ночью домой, когда он уже спал. На другом конце провода был тот самый человек, который грозил ему накануне открытия «Шарка». Голос на этот раз звучал дружелюбно, говорил незнакомец достаточно открыто.

— Извините меня за полуночный звонок, — начал он, — но я должен получить последнее «добро» от вас. Через час мне снова позвонят из Гамбурга, и я обязан ответить Талибу — возвращаться ему одному или с немцем, с которым вы будете иметь дело.

Разговор шел начистоту, видимо, ему пока еще доверяли.

— Предложение Талиба для меня остается привлекательным, пока длится неразбериха с суверенитетами, мы год-два можем работать без риска. Но мы никаких деталей с Талибом не обговаривали, пусть приезжают те, кто уполномочен вести переговоры, я думаю, найдем общий язык.

— Когда конкретно нам можно встретиться с вами?

— Если бы человек из Германии был в Ташкенте, то хоть завтра, но его здесь нет, а я через пять-шесть дней вылетаю в Италию, в Милан, на юбилей одного из старейших банков, куда приглашен официально с семьей, и уже оформляю документы на выезд. Значит, только

по возвращении, а это дней через десять-двенадцать, к этому сроку и вызывайте своих людей в Ташкент.

В трубке возникла пауза, и говоривший на другом конце провода вдруг обрадовано предложил:

— Италия?.. Прекрасно... Вы не возражаете, если назначим встречу в Милане? Талиб ведь знает вас в лицо? — Видимо, этот человек здесь и решал все вопросы, стоял над Талибом.

— Нет, в Италии не могу. Я же сказал, что еду с семьей, а ее я не хочу подвергать риску, ведь за вашими людьми может быть хвост. Потерпите неделю, и Ташкент для вашего гостя покажется не хуже Милана, а тут мы даем гарантии безопасности, все схвачено.

— Вы правы, не будем рисковать,— согласился собеседник.— Я желаю вам приятно провести время в Италии и достойно влиться в семью банкиров Европы...

Закончив разговор, Шубарин вытер холодную испарину на лбу, выступившую мгновенно, когда предложили встречу в Милане. Положив радиотелефон, он пошел в другую комнату, к параллельному телефону с определителем номера, но на экранчике остались только штрихи, похожие на те, что бывают при междугородном звонке, хотя этот явно был местный.

Позже, когда Шубарин встретится с генералом Саматовым один на один и скажет ему о ночных звонках, тот ответит:

— Мы записали эти разговоры, не предупредив вас о том, что отныне ваши телефоны прослушиваются. Это для вашей личной безопасности и для безопасности всей операции. А что касается местного звонка, вы правильно заподозрили что-то неладное с телефоном. Наши специалисты засекали координаты, это не квартирный телефон и не телефон-автомат. Скорее всего, сохранился специально затерявшийся в городской неразберихе номер телефона-автомата, и теперь он находится в чьем-то доме, в том районе в основном частные усадьбы. Этот квадрат взят на учет, в следующий раз точно установят адрес, откуда звонят и кому принадлежит строение.

Рано или поздно нам придется наведаться туда, и адресок в кармане не помешает. Координаты мы передадим и Камалову, и Джураеву, возможно, по этому адресу проживают их старые знакомые, Ташкент все-таки не Мехико и даже не Токио. При удаче мы бы могли установить до вашего приезда, кто говорил с вами, хотя он вряд ли объявится у тайного телефона, вы ведь назвали сроки. Интересен и междугородный звонок. Тилляходжаев звонил из Москвы, с дачи



одного высокопоставленного должностного лица. А на наш запрос в лагерь ответили, что заключенный на месте, повез сдавать белье в прачечную.

Во время этой встречи, происходившей в номере одной неприметной ташкентской гостиницы, генерал подтвердил, что в Италии Шубарина будет сопровождать человек с Ленинградской, кандидатура которого к тому времени еще не определилась.

Дня через три, когда Шубарин поехал в ОВИР получать заграничные паспорта и документы на выезд, он случайно узнал своего визави.

В помещении ОВИРа шел затянувшийся ремонт, и документы выдавали в крошечной комнате, у окошка которой, как всегда, толпилась очередь, в основном отъезжающих на постоянное место жительства в Израиль, Грецию, Германию и Америку, народ шумный, бесцеремонный. Стоять в очереди, которую и очередью-то назвать нельзя, он не собирался, и потому вышел во двор, раздумывая, кому бы позвонить, чтобы поскорее заполучить документы. Не успел он выкурить сигарету, как его окликнул полковник, подъехавший к ОВИРу на милицейской машине. Шубарин поздоровался с ним за руку, обменялся приветствиями на узбекском языке, никак не припоминая его, хотя, конечно, знал многих милицейских чиновников, да и полковник мог видеть его прежде рядом с уважаемыми людьми или на высоких приемах, или на престижных свадьбах. На Востоке любой нормальный разговор заканчивается фразой — чем могу быть вам полезен, или чем помочь, — если дословно с узбекского. Шубарин и выложил свою просьбу. Полковник на несколько минут исчез в здании, а затем провел Артура Александровича через черный ход внутрь тесного кабинета, где выдавали вожделенные для многих бумаги.

Выписывала паспорта издерганная жизнью женщина лет сорока, она равнодушно посмотрела на Шубарина, видимо, привыкла и к такому обслуживанию, и предложила сесть у края стола, из-за тесноты почти рядом с собой, — полковник к тому времени откланялся. Женщина курила, и когда она потянулась к невзрачной пачке дешевых сигарет, лежавшей на столе, Шубарин остановил ее жестом и предложил «Мальборо» вместе с огнем зажигалки. С этой минуты хозяйка кабинета как-то потеплела к нему и, пустив колечко дыма в потолок, сказала игриво:

— Значит, в Милан едете, где тут у нас Италия?

Из стопки лежавших навалом папок она вытащила довольно тощую и, открыв ее, достала документы на его имя и имя жены, стала

что-то вписывать в разные толстые амбарные книги, а открытую папку небрежно бросила в его сторону, прямо перед ним, и ему не стоило никаких трудов ознакомиться с лежавшими наверху бумагами.

«Стрельцов Сергей Юрьевич», — прочитал он на анкете с крупной, четкой фотографией молодого тридцатилетнего мужчины приятной внешности в звании подполковника. Подполковник службы безопасности командировался в Италию, в Милан, и сроки их пребывания за рубежом совпадали. Шубарин понял, что этот молодой человек с модной стрижкой, смахивающий на разбитного журналиста, и будет страховать его в чужом городе.

В суматохе предотъездных дней Шубарин забыл и о Сенаторе, и о Миршабе, забот хватало, его теперь занимали больше всего партийные деньги, да и банк требовал внимания. Но о неприятном разговоре с Сенатором напомнил ему Тулкун Назарович, вернувшийся из Стамбула. Он откуда-то прознал, что Сенатор отправился в Москву освобождать хана Акмаля, и поспешил доложить об этом Артуру Александровичу — на всякий случай. Отношение старого политика к Сенатору было крайне негативным.

— Мерзавец! — горячился он по телефону. — Хочет показать хану Акмалю, что все мы, старые друзья Арипова, и ты, и я, сидели сложа руки, спасали свои шкуры, пока тот томился в тюрьме. А он, Акрамходжаев, едва выйдя на свободу, помчался выручать аксайского Креза. Будет теперь стравливать в своих интересах хана Акмаля со всеми нами, — заключил прожженный интриган.

— Ну, хан Акмаль не такой дурак, чтобы слушать кого попало, — попытался успокоить человека из Белого дома Шубарин, — наверное, он понимает, что Сенатор хочет вернуть себе прежнее положение и особенно место, а оно уже занято. Боюсь, что и хану Акмалю теперь придется поубавить амбиций. Другие времена — другие люди пришли к власти...

— То-то и оно, ты здорово рассуждаешь, — уже более спокойно закончил разговор Тулкун Назарович и стал рассказывать про Стамбул...

После беседы со старым политиком Шубарин и вспомнил, что назначил Сенатору десятидневный срок, в который тот должен вернуть все копии, снятые с его документов из похищенного в прокуратуре кейса. Отпущенный «сиамским близнецам» срок ультиматума истекал, и Артур Александрович позвонил домой Сенатору, поинтересовался, не вернулся ли тот из Москвы. Ответила жена, с большой



симпатией относившаяся к Шубарину, она сказала, что муж звонит домой почти каждый день, но когда вернется, не знает, удерживает то одно, то другое, хотя вопрос об освобождении Акмаля Арипова в принципе решен. Артур Александрович не стал говорить с ней ни о чем конкретно, передал привет и, попросив позвонить ему тут же по возвращении мужа, закончил разговор. Не стал звонить он и Миршабу, на его взгляд, последнее слово в дуэте всегда оставалось за Сенатором, нужно было дожидаться его приезда, да и в сравнении с тем, чем он занимался в последние дни, проблема копий с украденных у него документов или покаяние вороватых компаньонов по «Лидо» не казались ему теперь столь уж важными. Главными сегодня были поездка в Милан и, по возвращении, встреча с Талибом.

## XXIX

Прилетел он в Милан утром из Гамбурга. Ташкент пока не имел прямого рейса на Италию, можно было через Москву, там есть прямой рейс, но он решил через Германию, поскольку этот маршрут уже хорошо обкатал. В Германии он пробыл с семьей семнадцать часов, встречался с немецкими коллегами, которым привез первые отчеты о деятельности своего банка, результаты впечатляли. Привез он и видеофильм о презентации банка, множество фотографий самого здания, его интерьеров. Начало путешествия оказалось не только приятным, но и полезным. В старом аэропорту Милана встречал их Анвар Абидович в сопровождении молодого человека, которого он представил как служащего банка.

Хлопковый Наполеон был в шикарном белом костюме и тонкой шелковой рубашке, которыми так славится сегодня Италия. Но, несмотря на модную одежду, внимательному человеку бросилась бы в глаза его тюремная бледность, худощавость тела, давно не знавшего хорошего питания. Тем не менее, Анвар Абидович чувствовал себя прекрасно, улыбался, держался с былым достоинством, и вряд ли кто-нибудь мог представить, что он еще несколько дней назад ходил в арестантской робе.

Особенно обрадовался хлопковый Наполеон, когда увидел жену Шубарина, которую помнил еще по Бухаре, он никак не ожидал встретить ее тут, в Италии. Видимо, она послужила лучшим напоминанием о его прошлой жизни, ее тепле, уюте, и на глаза его невольно навернулись слезы. Но он быстро взял себя в руки. И потом всякий раз, в ком-

пани, на прогулке, — а гуляли они порою до глубокой ночи, — Анвар Абидович старался быть рядом с женой Шубарина, видимо, женские рассказы о жизни на свободе давали его уставшей душе куда больше, чем все газеты, вместе взятые, и лаконичные ответы не склонного к сантиментам Артура Александровича.

Всех гостей, приехавших на юбилей, поселили в одном отеле, название которого Шубарин знал еще до отъезда. Пятиэтажный старинный особняк в виде буквы «П», видимо, неоднократно перестраивавшийся и вобравший в себя разные стили и эпохи, с большим внутренним двором-патио на испанский манер, по-узбекски увитый от жары виноградником и чайными розами, даже вблизи не походил на гостиницу, скорее имел вид правительственной резиденции. Респектабельный район, не загруженная сумасшедшим движением улица, тишина, не свойственная городскому кварталу, хорошо вышколенная обслуга, встречающая у подъезда каждую машину — все свидетельствовало о высоком уровне приема.

Шубарин приехал одним из первых, и в холле его приветствовали руководители банка. Получая ключи от своих апартаментов, Шубарин увидел в просторном вестибюле за стойкой бара парня, обвешанного фотоаппаратами, чья прическа показалась ему знакомой. Когда тот слегка повернулся, он узнал Стрельцова. Вчера в аэропорту Гамбурга он потерял его из виду, и вот человек, к которому он мог обратиться в крайнем случае, находился рядом. «Где же он поселился? Здесь или где-нибудь поблизости?» — подумал Артур Александрович, но его отвлекли, и мысль как бы повисла в воздухе. Но зато вспомнился почему-то Сенатор, повстречавшийся ему в международном аэропорту Ташкента, когда пассажиров гамбургского рейса как раз пригласили в таможенный зал на досмотр. Сенатор прилетел в Ташкент с ханом Акмалем тоже международным рейсом Москва — Дели с остановкой в узбекской столице. Как он объяснил, на обычный рейс мест не оказалось, а оставаться в Москве даже лишний час хан Акмаль не пожелал, пришлось раскошелиться на валюту.

Акмаля Арипова, оказывается, встречала огромная толпа родственников, друзей, земляков. Несмотря на строгости международного аэропорта, толпа прорвалась к трапу самолета и даже приволокла жертвенного барана, черного крутолобого каракучка с огромным курдюком, которому и перерезали горло на летном поле в честь возвращения хана Акмаля на родину. Сценарий встречи, как понял Шубарин, был давно и тщательно разработан. Сенатор объяснил: ему,



мол, сказали, что Артур Александрович с семьей отбывает сегодня в Италию на какое-то торжество, поэтому он оставил хана Акмаля наедине со встречающими и примчался, чтобы пожелать удачной дороги, — все пристойно, тактично, как и принято на Востоке.

Сенатору же хотелось узнать одно — надолго ли отчаливает за границу банкир? Недельный срок, конечно, мало устраивал его, но это лучше, чем завтра же отвечать на объявленный ультиматум. Однако Сенатору повезло куда больше, чем он рассчитывал. Когда он помог донести чемоданы чете Шубариных до зала таможенного контроля и, распрощавшись с ними, поспешил на первый этаж, откуда до сих пор доносился шум бурной встречи хана Акмаля, то увидел в углу зала ожидания мужчину, чье лицо показалось ему знакомым. Как только он на бегу попытался взглянуть в него внимательнее, заметил, что тот намеренно отвернулся в сторону окна. Сенатора неожиданно охватило любопытство, и он, спустившись на первый этаж, пересек зал и вновь поднялся на второй, но уже с той стороны, где находился заинтересовавший его человек. Успев подняться на три четверти лестницы, увидел, как мужчина быстро встал и двинулся в сторону таможенного контроля, куда он недавно проводил Шубарина с женой.

Сомнения развеялись: Сухроб Ахмедович, конечно, знал этого молодого человека и даже помнил его фамилию — Стрельцов, Стрельцов Сергей Юрьевич. В ту пору, когда он курировал КГБ, не раз встречался с ним на Ленинградской, а еще больше слышал о нем как об очень талантливом офицере, которому поручались самые ответственные и деликатные задания. Его часто использовала Москва, когда для особо важной заграничной операции нужен был человек, не засветившийся в столице и для чужих, и для своих.

Разумеется, у Стрельцова не было повода бросаться ему в объятия, но и демонстративно прятаться нет причин, он ведь знает специфику его службы и никогда бы не сказал прилюдно: здравствуйте, товарищ Стрельцов! — или что-то в этом роде. Хотя гудевший внизу, у его ног, зал не давал сосредоточиться, Сенатор вдруг отрезвился от всего, как бы отключил все звуки вокруг. Он мог в особо опасные минуты сконцентрировать внимание, собрать волю в кулак, и что-то скорпионье проступало в его лице, не зря он, как и Миршаб, родился под этим знаком Зодиака. Сенатор пытался вернуть в памяти прошедшие двадцать минут, когда узнал, что Шубарин отбывает в Милан, и поспешил на второй этаж. Шаг за шагом он восстанав-

ливал сцены, словно привычно отматывал ленту на видеокассете, чтобы внимательнее взглядеться в нужный кадр. Хотя за двадцать минут прошло не так много событий, чтобы было за что зацепиться, он продолжал упорно искать, напрочь позабыв о хане Акмале, о людях, его встречавших, понимая, однако, что надо вернуться в холл, пробиться к хозяину — все должны увидеть, запомнить, с кем он стоит в обнимку. Но что-то удерживало его на лестнице, подсказывало: ищи! ищи! А он всегда доверял своему чутью.

И вдруг вспомнил, вспомнил — не видение, а ощущение. Когда он говорил с Шубариным и его женой, то чувствовал на себе затылком чей-то упорный взгляд, словно кто-то хотел развернуть его к себе лицом, и он обернулся машинально. Вот тогда-то Сенатор и заметил стриженный затылок успешного повернуться к нему спиной мужчины, и в глаза ему бросилась новомодная, еще не прижившаяся в Ташкенте стрижка. Значит, Стрельцов хотел знать, с кем разговаривает Шубарин — появился первый вопрос. Да, да, только Шубарин, — подтвердил он свою догадку, ибо о его возвращении в КГБ еще не могли знать: решение лететь рейсом Москва — Дели пришло случайно, в последний момент, в аэропорту, и домой, в Ташкент, чтобы встречали, позвонить не успели, — сделали это за них московские адвокаты. Впрочем, интересуйся Стрельцов им конкретно, не отбыл бы он тут же прямым рейсом в Гамбург. А не спелся ли Японец и с КГБ, ведь Москвич ходит на Ленинградскую как к себе домой и оттуда набрал целый отдел по борьбе с организованной преступностью?

«Спокойно, спокойно — не может так просто выпасть большая удача», — решил Сухроб Ахмедович и поспешил вниз, в холл международного аэропорта. Откуда-то появился богато накрытый стол, куда беспрерывно подавали роскошный коньяк «Узбекистан» и золотое шампанское, уже то и дело вспыхивали блицы набежавших невест откуда репортеров. Вот этот миг упускать не следовало, и он, бесцеремонно растолкав окружавших хана Акмаля людей, встал с ним рядом. Арипов, опьяненный не только помпезной встречей, но и полными бокалами коньяка, по-братски обнял его и, понимая, что их снимают журналисты и телевизионщики, поворачивался вместе с Сенатором в разные стороны. В аэропорту торжества продолжались больше часа, и когда процессия машин направилась в центр города, к гостинице «Узбекистан», где хану Акмалу и его родственникам зарезервировали целый этаж, Сенатор отвел в сторону Миршаба и сказал:

— Давай поднимаемся в зал вылетающих, дело есть.



Несмотря на шум-гам внизу, Сенатор слышал сообщение диктора, что самолет на Гамбург поднялся в воздух. В зале регистрации Миршаб предъявил свое служебное удостоверение дежурной, а Сенатор спросил:

— Извините, мы опоздали к рейсу и не знаем, улетел ли в Гамбург наш друг Стрельцов Сергей Юрьевич?

— Сейчас, одну минуту,— ответила девушка, раньше работавшая в депутатской комнате и знавшая в лицо обоих мужчин.— Да, не беспокойтесь, улетел. Но он в Гамбурге делает только пересадку, а место в Милан мы ему тоже забронировали.

Миршаб, ничего не понимая, стоял рядом.

— Значит, предчувствие меня не обмануло. Какой я молодец! — воскликнул Сенатор, как только они вышли из здания аэропорта.

— Да объясни ты толком, что произошло? Бросил хана Акмаля, выясняешь — улетел, не улетел какой-то Стрельцов,— спросил раздраженный Миршаб.

Сенатор повернул к нему возбужденное лицо и, не замечая недовольства своего приятеля, ответил:

— Ты даже не представляешь, как нам повезло, если я не ошибаюсь. Помнишь, когда Газанфар сообщил нам, что Камалов помог Шубарину освободить американского гостя, мы оба, не сговариваясь, подумали: а не спелся ли за нашей спиной Японец с Москвичом? Развивая эту тему, можно утверждать — если спелся с прокурором, то спелся и с КГБ, о связях, влиянии Камалова на нынешних руководителей службы безопасности республики знает каждый. Логично?

— Вполне,— подтвердил ничего не понимавший Миршаб.

— Я не знаю, что могло бы послужить причиной их скоропалительной дружбы, но Шубарин со своей так называемой порядочностью всегда хотел жить по закону и по совести. Я не раз слышал это от него сам. Вот сегодня Шубарин неизвестно почему вылетел в Италию, на юбилей какого-то банка, словно у него здесь дел мало. Опять же я чувствую, что за этой поездкой что-то кроется. Не исключено, что визит в Европу имеет какое-то отношение к Талибу. Если это так, то с помощью вора в законе, через уголовку, как обычно, мы решим все свои проблемы.

— Не понял. Каким образом? — еще больше удивился Миршаб.

— Дело в том, что Стрельцов Сергей Юрьевич, о котором мы наводили справки, служил в бывшем КГБ, и я его хорошо знал. Его, на моей памяти, никогда по мелочам не использовали, а сегодня

ня они улетели в Гамбург одним рейсом, дальше Шубарин летит в Милан, кэзгэбешник туда же. Наверняка он едет подстраховать его по какому-то делу.

Тут Миршаб откровенно захохотал.

— Тоже мне Шерлок Холмс! А не думаешь ли ты, что бывшее КГБ само пасет Шубарина за какие-то грехи? Вон ведь на презентацию сколько иностранцев подвалило, а может, кто из них связан с ЦРУ, ФБР или МОССАД, или с тем, с кем Штирлиц воевал?

— А мне все равно, я выигрываю в любом случае, с ним ли КГБ или против него.

Миршаб, привыкший к парадоксальности друга, к его цинизму, на этот раз остолбенел.

— Как это все равно? В одном случае получается измена, в другом — попал в беду.

— В любом случае мне нужно только доказать, что между ними есть какая-то связь, и Шубарину — конец.

— Кого ты должен убедить, и кто организует этот самый «конец» всесильному Шубарину?

— Уголовный мир... Талиб... Уверен, у них на банкире завязаны какие-то интересы, и им смертельно опасно, если он якшается с людьми генерала Саматова.

— Я начинаю что-то понимать и чувствую логику, правда, жестокую и циничную. Не пойму одного — зачем уголовникам нужен банк Шубарина?

— Сначала о циничности. Мы ведь вместе решили: Японцу ничего не отдавать и ни в чем не каяться. Значит, он по приезде натравит на нас пол-Ташкента. Представляю одного только Тулкуна Назаровича, дрожь берет. Так что, дорогой, или он нас, или мы его. Как говаривал частенько Горбачев: альтернативы нет... А уголовка... Для чего им понадобился банкир? Я этим вопросом две недели в Москве маялся, и ответ нашел... в газетах. Читал про фальшивые чеченские авизо? Там гуляют сотни миллионов и миллиарды рублей, а ведь таким же образом можно нагреть и на валюту, на Западе до такого еще не додумались. Представь, если одновременно провести операцию в нескольких странах Европы и снять несколько сот миллионов, но не рублей, а долларов? Каково?

— Да, убедил. Тебя бы в Интерпол, — польстил Миршаб возбужденному от удачи другу и, глянув на часы, предложил: — А теперь поспешим в «Узбекистан», пока ты отсутствовал, хан Акмаль рас-



порядился снять зал, он дает банкет по случаю своего возвращения, пригласил всех, кто пришел его встречать.

Но Сенатор отмахнулся от предложения, как от чего-то несущественного, вздорного, и сказал с раздражением:

— Ты ничего не понял. У нас считанные дни, а вернее, часы, мы ведь не знаем точно, сколько он пробудет в Италии. Необходимо немедленно связаться с Талибом, неважно, находится ли тот в Ташкенте или в Германии. А он должен передать нашу информацию своим подельщикам за рубежом, чтобы те, в Милане, взяли под наблюдение связку Шубарин — Стрельцов. Для них, я чувствую, это так же жизненно важно, как и для нас. А сейчас — на поиски Газанфара, мы должны достать его хоть из-под земли. И если останется время, заглянем в «Узбекистан», там уж как загуляют, так до утра, я знаю привычки хана Акмаля.

### XXX

Газанфара дома не оказалось. Тогда они стали объезжать один за другим знакомые катраны, но Почтальона в них не было, и Сенатор занервничал. В последнем заведении знакомый содержатель подсказал адрес нового катрана, где собираются представители бизнеса, новая для Ташкента элита, там они и отыскали Рустамова. Видимо, Газанфару шла масть, и он никак не хотел покидать игру, но Сенатор вдруг, наклонившись, что-то зло сказал ему на ухо, и тот стал поспешно собираться. Как только Почтальон сел в машину, Сенатор объявил непререкаемым тоном:

— А теперь слушай внимательно и не перебивай. Талиб, возле которого ты крутишься по нашему заданию, затеял какую-то крупную финансовую операцию с Шубариным, деталей которой мы не знаем. Афера, на наш взгляд, связана с деньгами из Европы или с банками, не зря сам Талиб дважды слетал в Германию, да и Шубарин час назад улетел в Италию, но тоже через Германию. Мы думаем так, потому что на сегодня банк Японца — единственный частный банк в Узбекистане, имеющий правительственную лицензию на валютные операции. У нас неожиданно появились предположения, что банкир связан и с прокуратурой республики, и с КГБ. И мы немедленно должны поставить в известность об этом Талиба, где бы он ни находился.

— Так вы же с Шубариным старые друзья! — с опаской выдал из себя растерянный Газанфар.

— Все течет, все меняется,— философски изрек долго молчавший Миршаб.

— Мы не можем быть в компании с человеком, сотрудничающим за нашей спиной с КГБ,— веско заметил Сенатор, словно всю жизнь, с рождения, был вором в законе, а не человеком, курировавшим все правовые органы в республике, и спросил: — Куда ехать?

— В Рабочий городок. Радиальная, двенадцать, дом с голубыми воротами,— подсказал Рустамов.— Но он вряд ли вернулся из Гамбурга, я на днях видел кое-кого, с кем он общается, его ждут со дня на день,— ответил Газанфар без особого энтузиазма, понимая, что влип в еще какую-то опасную историю и наживает очередного врага — Японца. «А если эти двое по привычке блефуют и затевают что-то против Талиба?» — мелькнула у Рустамова внезапная мысль, от которой вмиг похолодело все внутри, а вслух он неожиданно для себя спросил: — Нет ли у вас чего-нибудь выпить?

Сенатор приоткрыл «бардачок» машины Миршаба и нашарил в нем фляжку, они имели одинаковую привычку возить с собой спиртное, особенно с тех пор, как оно стало дефицитным.

— Если Талиб не вернулся, дело осложняется, но ты должен будешь обязательно найти людей, с кем он крутится, тех, кто стоит над ним или под ним, желательно первых. Мы им передадим информацию, а они пусть срочно свяжутся с Германией,— сказал Сенатор, передавая Газанфару хромированную фляжку с коньяком, из которой он сделал несколько внушительных глотков.

Въехали в Рабочий городок уже в темноте,— улицы, как и повсюду в нынешнее время, не освещались, лишь на Радиальной, возле дома Талиба, на высоких фонарных столбах ярко горели огни. У высоких кованых железных ворот было в беспорядке припарковано с десяток новеньких автомобилей модных расцветок: «мокрый асфальт», «брызги шампанского», «сирень», «металлик», в основном последней модификации «девятки», но среди престижных «лад» стояли и два «мерседеса» строгих, не бросающихся в глаза цветов. У некоторых машин стекла оказались припущенными, хотя ни в кабинах, ни возле лимузинов никого не было, но это особый воровской шик — мол, у меня никто не посмеет угнать тачку. Впрочем, у дома Талиба такого действительно не могло случиться.

Когда машина остановилась, Сенатор попытался выйти вместе с Газанфаром, но тот осадил его на место, сказав не без издевки:



— Не в ЦК приехали, тут ждать придется. Хорошо, если согласится принять сразу после дороги.

Он направился к калитке в высоком заборе, которую тотчас приоткрыли со двора, словно ждали, и за Рустамовым раздался лязг задвигаемого засова. «Как в тюрьме»,— почему-то подумал Сенатор. Прождали больше часа, к дому никто не подъезжал и никто из него не выходил. В сердцах они допили вдвоем оставшийся во фляжке коньяк. Сенатор уже порывался уехать, но Миршаб вполне логично урезонил:

— Ты что, думаешь, после такого сообщения тебе дадут спокойно уснуть?

— Обнаглела шпана, обнаглела,— запалился вдруг злобой Сенатор,— что он себе позволяет, вор несчастный!

Миршаб, сидевший за рулем машины, бесстрастно покачивал головой в такт ритму, раздававшемуся из магнитофона,— он обожал горячие танцевальные мелодии.

Через некоторое время, когда начал терять терпение и невозмутимый Миршаб, дверь скрипнула, из нее бочком вывалился Газанфар,— вид у него был довольно-таки безрадостный,— и чуть ли не бегом бросился к машине.

— Почему так долго? — спросил Сенатор.

— Я же сказал, что это не ЦК, и я не вор в законе, чтобы меня принимали с почестями. У богатых свои причуды,— вот и у воров свои традиции, свой ритуал, особенно для ментов,— остудил он Сенатора и устало откинулся на спинку «Волги».

— Что он сказал, как среагировал? — вмешался Миршаб.

— А никак. Не знаю, мол, ваших дел и знать не хочу. Я только передал, кто вы, и что у вас есть к нему срочное, неотложное дело. Не хочу, говорит, встречать в ваши личные дела. Представляете, что будет, если Шубарин узнает, что вы его заложили? Или вы вдруг ошибаетесь? Нет, увольте, без меня. Я за этот час, наверное, килограммов десять потерял.

— Кто у него в гостях? — спросил нетерпеливо Акрамходжаев.

— Зайдете — узнаете, меня в зал не приглашали,— опять дерзко ответил Рустамов.

Понимая, что у парня от страха может случиться срыв, вмешался Миршаб:

— Оставь «Штирлица» в покое. Он свое сделал, и он прав: ему лучше подальше держаться от наших дел с Японцем, да и с Талибом тоже, если они завяжутся.

Сенатор поправил галстук и двинулся к распахнутой настежь калитке, где его нетерпеливо дожидался какой-то парень, скорее всего телохранитель, он и повел гостя внутрь двора.

Принимал Талиб Сенатора в том самом одноэтажном домике, где некогда прятал выкраденного Гвидо Лежаву. Как только Сухроба Ахмедовича ввели в усталую коврами комнату без окон, Талиб, одетый в спортивный костюм, приподнялся с курпачей у стены, поздоровался и сказал:

— У вас в распоряжении пять-семь минут. У меня гости, и я только сегодня вернулся из зарубежной поездки. Пожалуйста, будьте кратки, я слушаю вас.

Сенатор, прождавший больше часа, не предполагал, что аудиенция будет столь краткой и сухой, ему даже не предложили сесть, они, стоя друг против друга, так и продолжали говорить. Неожиданный прием несколько охладил Сенатора, поколебав его надежды, он уже отчасти жалел, что сделал ставку на Талиба, но отступить было поздно, да и чем иначе он объяснит свой визит? А вдруг Газанфар рассказал обо всем? И он несколько сбивчиво, но подробно изложил все и о Шубарине, и о Стрельцове.

Талиб, поглаживая свои холеные усики, слушал внимательно, и как только гость замолчал, спросил прежде всего:

— Насколько я знаю, это Японец дал вам с Миршабом высоко подняться, занять заметное положение в республике, а сейчас вы пускаете его под нож, как я понимаю. Почему так получилось?

— Это совсем другая история, к тому же она долгая, не на один час, но вы правильно поняли нашу цель,— ответил лаконично уже освоившийся Сенатор.

— А вы представляете ясно, к кому вы пришли за помощью, какие у нас законы и что случится с вами, если вы оговорили человека, моего компаньона? — чуточку сблефовал Талиб.

— Я думаю, что наши законы уже сравнялись с вашими, но за выполнением ваших законов есть контроль и есть суд, куда можно обратиться, где решают все без проволочек и без учета, кто есть кто,— подольстил Сенатор, не глядя в глаза хозяину.

— Вы правы, и вы находитесь в том доме, где вершится такой суд. Ваша информация заслуживает внимания, тем более, если вы добровольно ставите в противовес ей свою жизнь. Но если вы ошибаетесь, я отдам вас Японцу, пусть он разбирается со своими друзьями как хочет. А чтобы у него не возникло сомнений в искренности сво-



их компаньонов, я записал наш разговор,— и он достал из-за пояса под курткой диктофон.— И напоследок еще раз повторите фамилию и приметы парня из КГБ, я сейчас же, напрямую, позвоню в Милан, как раз в этом городе у нас есть большие интересы.— И он откровенно, как при интервью, придвинул диктофон к лицу Сенатора.

## XXXI

Утром из местных газет люди Талиба в Милане легко узнали, какой банк столь пышно отмечает свой трехсотлетний юбилей и в какой гостинице намечены основные торжества. Быстро нашли и постояльца по фамилии Стрельцов, поселившегося накануне вечером в отеле «Парадиз», в пяти минутах ходьбы от места проживания четы Шубариных. Когда Артур Александрович увидел в холле гостиницы за стойкой бара Стрельцова, то его и Сергея Юрьевича, не мудрствуя лукаво, уже снимали потайными видеокамерами. Причем одна команда снимала только Шубарина, другая — только Стрельцова, не ведая друг о друге. Человек, давший задание, знал толк в слежке и любил перекрестное наблюдение; наложение материала из двух источников один на другой порой давало значительный эффект.

Погода в Италии в то лето стояла замечательная, условиям проживания позавидовал бы и самый придирчивый сноб. Отель оказался примечательным не только тем, что он был пятизвездочным, но и тем, что здесь часто останавливались коронованные особы. Говорят, в дни крупных футбольных матчей, особенно с участием немецких команд, часто жилал тут небезызвестный Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, баварец по происхождению.

Культурная программа торжеств оказалась составленной с большим знанием дела, говорят, по просьбе банка были отсрочены на неделю летние каникулы знаменитого оперного театра «Ла Скала», и гости смогли попасть на самую знаменитую его постановку — «Тоска» Пуччини, с выдающимися певцами Лучано Паваротти и Монтсеррат Кабалье. Повезло и футбольным болельщикам, в эти дни легендарный миланский «Интернационале», в рамках Кубка европейских чемпионов, принимал мюнхенскую «Баварию», особенно любимую команду Киссинджера, и они действительно видели в холле гостиницы бывшего госсекретаря, за которым приезжал сам Франц Беккенбауэр, работающий ныне в Италии.

А знаменитые итальянские музеи, картинные галереи, в которые организаторы торжеств заблаговременно заказали на определенные часы экскурсии! А поздние каждодневные ужины в ресторане своего отеля, из-за особых развлекательных программ не походившие один на другой и превращавшиеся в праздник, карнавал, затягивающийся до полуночи! Жена Шубарина, редко сопровождавшая мужа в заграничных поездках, была в восторге от путешествия. Каждое утро вместе с газетами супруга Артура Александровича получала увесистый пакет, а то и два, первоклассных фотографий за прошедший день, на которых они были запечатлены вместе, хотя вроде и не замечали, что их снимают.

Анвар Абидович проживал на том же этаже, что и Шубарины, и апартаменты их находились рядом, дверь в дверь через просторный коридор, так что они постоянно были вместе. В этот раз он держался куда увереннее, чем в Мюнхене, и на свободе освоился тоже быстрее. Он как-то вскользь заметил, что до Италии больше недели находился в Москве, и Артур Александрович вспомнил разговор с генералом Саматовым, когда тот сказал, что телефонный звонок был из столицы.

Как-то после ресторана они допоздна засиделись вдвоем у Шубарина, и бывший секретарь обкома издалека, намеком, выразил надежду, что удачно проведенная операция, возможно, что-то изменит в его судьбе, он ведь хорошо знал, что почти все осужденные в перестроечное время уже вернулись домой. Тогда Артур Александрович не выдержал и сказал, что одним из условий своего участия в долговременной операции он поставил обязательное его освобождение. Как обрадовался, как был растроган Анвар Абидович, он признался, что очень хотел попросить Шубарина об этом, да никак не решался.

В первые дни Анвар Абидович о делах не заговаривал, и Шубарин тоже выжидал, впрочем, спешить было некуда. Судя по апартаментам, снятым для бывшего секретаря обкома, и по тому, как он сорил долларами, нигде не давая возможности рассчитывать Шубарину, приговаривая при этом: «А мне они зачем? Останутся — возвращать придется», люди, стоявшие за партийными деньгами, себе в тратах не отказывали. На четвертый день Артур Александрович не выдержал, спросил, когда же произойдет встреча с деловыми людьми. Анвар Абидович развел руками:

— Мне сказали: живи, радуйся, общайся со своими друзьями, когда надо будет, мы позвоним.— Потом, после паузы, добавил: — Те, кого я знаю, кто привез меня сюда, не проживают в нашем отеле, я их не встречал. Может, главные люди еще не прилетели?



Возможно, Артур Александрович спросил об этом потому, что в тот вечер, когда перед ужином, дожидаясь лифта, он стоял и прикуривал сигарету, какой-то молодой человек, вдруг неожиданно объявившийся, попросил его на английском прикурить. Когда Шубарин машинально поднес ему огонь зажигалки, тот быстро выдохнул по-русски: «Вас почему-то постоянно снимают, будьте осторожны...» — и он тут же признал Стрельцова.

Артур Александрович подумал, что встреча задерживается оттого, что его изучают на месте, отсюда и надзор. Но он не мог предположить, что снимают совсем другие люди и совсем по другому поводу, и этот момент, что свел их на доли секунды вместе, зафиксировали обе команды. Это будет тот самый миг, на который и рассчитывал человек, получивший задание присмотреть и за Стрельцовым, и за Шубариным.

Дни в Италии убывали, программа сокращалась как шагреновая кожа, уже и билеты на обратную дорогу заказали. Шубарин стал нервничать: неужели что-то сорвалось или в чем-то усомнились и наводят дополнительные справки? Но однажды утром Анвар Абидович влетел к Шубарину довольный, с улыбкой, и радостно сказал:

— Сегодня вечером вы званы на виллу президента банка, где дается прием для узкого круга людей, поздравляю! — А когда они остались наедине с Артуром Александровичем, добавил: — Там-то и произойдет встреча, из-за которой и вы, и я оказались тут. — И заключил устало: — Наконец-то, а я уж стал переживать, подумал, что они изменили свои планы.

— Вы будете присутствовать на приеме? — спросил Шубарин, просчитывая свои варианты.

— Нет, конечно. Я всего лишь посредник, а точнее — заложник, главная фигура — вы.

Вилла находилась далеко за городом, и за ними прислали машину с открытым верхом. Шубарин, уже второй день не видевший поблизости Стрельцова, подумал в долгой дороге, что главные люди могут и не попасть сегодня в его поле зрения. На прием не пригласили даже Анвара Абидовича, не исключено, что там не будет и тех, кто вышел на хлопкового Наполеона в лагере. В игру вступил, по всей видимости, второй круг людей, в том числе и он, — тайна партийных денег охранялась надежно.

Вилла располагалась в большой оливковой роще, и когда Шубарины прибыли туда почти в сумерках, у высокой железной огра-

ды на стоянке уже оказались припаркованными шесть-семь машин, но гостей, суда по всему, еще ждали. На аллеях зажгли огни, и гости неторопливо прогуливались по парку. Президент банка сеньор Сальварани, напомнивший Шубарину фамилией знаменитого итальянского велогонщика, встречал подъезжающих сам и тут же знакомил с теми, кто оказывался поблизости.

Через полчаса всех попросили пройти на сиявшую праздничными огнями виллу, сразу за накрытые столы. Шубариных посадили рядом с банкиром из Германии и его супругой, и Артур Александрович обменялся с ними несколькими фразами на немецком. Всего за столом оказалось двенадцать пар и трое мужчин без дам. Все время ужина, пока шел живой, интересный разговор, Шубарин, вглядываясь в лица окружающих его людей, думал: кто же из них уполномочен говорить с ним? Ведь среди гостей он один был русским. Тут, конечно, обольщаться не следовало, ведь, как утверждал Анвар Абидович, за партийными деньгами из бывшего СССР стоят, к сожалению, в основном подданные других стран. Больше всего, по предположению Шубарина, на назначивших ему встречу людей подходили трое мужчин без дам. Они и сидели рядом, и по тому, как общались, видно было, что знали друг друга давно, хотя большинство гостей виделись впервые, это и сеньор Сальварани в своей приветственной речи отметил.

Шумный прием катился к концу, и Шубарин уже смирился с тем, что встреча не состоится и на этот раз, как вдруг в перерыве между тостами служащий банка, встречавший их в аэропорту, отвел Артура Александровича в сторону:

— С вами хотят переговорить наедине. Пожалуйста, поднимитесь на второй этаж в каминный зал.

«Наконец-то!» — обрадовался Шубарин и, оставив жену на попечение немецкой пары, с которой сблизился за вечер, поспешил наверх.

На втором этаже он ткнулся в одну дверь, потом в другую, и лишь третья оказалась нужной. В каминном зале с высокими потолками горели только приглушенные огни напольных светильников, и он не сразу увидел в глубине комнаты небольшой стол, за которым в высоких кожаных креслах сидели трое мужчин, о чем-то оживленно беседуя. Толстый ворс ковра скрадывал шаги, и они могли не слышать, как он вошел, — двери тут тоже отворялись без привычного скрипа и грохота. Как только он приблизился к столу, все трое дружно поднялись и поприветствовали по-русски:



— Добрый вечер, Артур Александрович, мы рады вас видеть,— и каждый обменялся с ним рукопожатием.

Заняв предложенное место, Шубарин внимательнее оглядел сидевших за столом и еще раз убедился, что никого из них на приеме не было и он их прежде никогда не видел. Собравшиеся в каминном зале стали расспрашивать Артура Александровича о том, доволен ли он поездкой, завел ли нужные связи, полезной ли оказалась встреча в деловом плане. На все эти вопросы Шубарин ответил положительно и поблагодарил за предоставленную возможность напрямую познакомиться с известными банкирскими домами Европы.

— Это в наших интересах,— коротко ответил за всех сидящий брюнет лет сорока пяти в светлом двубортном костюме, в лацкане которого кокетливо алела роза из сада сеньора Сальварани, ему наверняка принадлежала главенствующая роль в компании, как успел заметить Шубарин.

Потом на Шубарина посыпался шквал вопросов о его банке, причем чувствовалось, что все трое прекрасно ориентировались в финансовых делах, были профессионалами. Артур Александрович ожидал такого разговора и, готовясь к встрече, почти все вопросы предугадал. Задали и несколько неожиданных вопросов, но он и на них ответил четко. Потом вдруг прозвучало несколько вопросов личного характера, например, не желает ли он перебраться на Запад, зная языки и имея немало довольно богатых друзей, живущих ныне в Европе и Америке, обязанных ему в прошлом, и напомнили про Гвидо Лежаву. Шубарин заметил, что даже в застойные годы бывал на Западе с семьей, но мысли остаться никогда не возникало. И позже, когда находился на стажировке в Германии, ему предлагали место в одном крупном банке, экспертом по России, сулили такие условия, от которых даже у банкира могла закружиться голова, но он отказался. Напоследок спросили: как к нему относятся сегодня в высших эшелонах власти? Шубарин ответил, что его проект экономических и финансовых реформ на переходный период для республики еще два года назад рассматривали на очередной сессии Верховного Совета, он без особых хлопот получил лицензию на открытие банка, ему выделили помещение, представляющее архитектурную ценность,— бывшее здание «Русско-Азиатского банка».

Подытоживая беседу, человек с розой в петлице сказал:

— Мы не ошиблись в вас, и ваш банк представляет для нас интерес, будем сотрудничать... Но когда мы впервые вышли на вашего бывшего патрона, находящегося ныне в заключении, в стране была дру-

гая ситуация, наш разговор происходил до объявления Узбекистаном суверенитета. Нестабильность политической обстановки на всей территории бывшего СССР заставила нас искать новые пути, менять готовые планы. Для тех сумм, которые мы готовы были уже в следующем месяце перегнать к вам из Италии и Германии, неожиданно нашелся новый адрес с абсолютной гарантией. Все решилось буквально на днях, на этой неделе, оттого и на встречу мы опоздали, только сегодня прибыли в Милан. У нас от вас, Артур Александрович, секретов нет: новые адреса — это Куба и Северная Корея, и мы, для начала, переводим деньги туда. Существует правило: не складывать все яйца в одну корзину, ему мы и будем следовать. Работайте, набирайте мощь и авторитет, и ваш час настанет, мы объявимся снова, не предупреждая, верим — вы наш человек. А за то, что пошли навстречу нам, партии, спасибо.— И они дружно поднялись, давая понять, что аудиенция закончилась.

Возвращались Шубарины домой опять же через Германию, на этом настоял их новый знакомый, немецкий банкир из Дюссельдорфа,— только из-за встречи с ним поездку в Милан можно было считать удачной. Как банкир Артур Александрович много выиграл от знакомства с коллегами, теперь он мог напрямую обращаться к президентам десяти крупных банков в Европе, чьи визитки увозил с собой. Шубарин уже договорился с немецким коллегой, что сразу по возвращении пришлет на стажировку в Дюссельдорф пятерых служащих из своего банка. И все коллеги, без исключения, проявили интерес к его банку, к сотрудничеству с ним, как же тут считать поездку неудавшейся.

Но главными для Артура Александровича на сегодня были только деньги партии, он заразился этой идеей, и ему так хотелось быстрого результата, ведь он втянул в эту авантюру прокурора Камалова и генерала Саматова. Где-то в глубине души он лелеял еще одну надежду — вырвать из лагеря Анвара Абидовича. В Ташкенте он опекал его сыновей и обещал им перед отъездом в Италию, что скоро отец будет на свободе. Не удалось и это. Результаты встречи в Милане больше всего расстроили Анвара Абидовича, дожидавшегося до глубокой ночи возвращения Шубариных с виллы, теперь ему оставалось только ждать, а ведь он уже рассчитывал, что через месяц-другой покинет свою опостылевшую лагерную каптерку. В оставшиеся дни в Италии Артур Александрович не встречал нигде и Стрельцова, хотя внимательно вглядывался в людей и на прогулках, и в ресторане. Может, у него срок командировки кончился, а может, он выполнил свою про-



грамму, ведь Шубарина в детали операции не посвящали.

В день отъезда он долго плескался в овальной ванне из розового мрамора, больше похожей на мини-бассейн, подводил итоги и отметил, что обе цели, поставленные им дома, слишком велики и значительны, чтобы реализоваться с первого захода. Эта мысль несколько успокоила его. Главное, теперь он точно знал, что партийные деньги есть, и их немало.

Из-за непредвиденной задержки в Дюссельдорфе Шубарин вернулся в Ташкент чуть позже, чем планировал. Самолет прилетел глубокой ночью, но утром он уже был в банке. Артур Александрович часто звонил из Италии на работу и знал, какие дела ждут дома, многие из них требовали его личного участия. Первым делом он проверил автоответчик своего телефона и убедился, что уже три дня подряд ему названивает незнакомец, с которым они договорились встретиться сразу по возвращении. Значит, клиент из Германии прибыл, довольно потирая руки, улыбнулся Шубарин, уж очень он желал форсировать хоть эту операцию с деньгами преступного мира. Во второй половине дня он хотел созвониться с Камаловым и договориться о встрече, чтобы рассказать ему о поездке, и новость о прибытии из Германии людей Талиба оказалась бы кстати.

Незадолго до обеда раздался телефонный звонок. Звонил тот самый человек, встречи с которым он так жаждал. Незнакомец поздравил с возвращением домой, поинтересовался, какие из банкирских домов Европы были представлены на торжествах, чем подтвердил, что с банковским делом знаком не понаслышке и знает, что творится в финансовом мире не только у нас, но и за кордоном. Затем плавно перешел к делу и сказал, что звонит четвертый день подряд, поскольку человек из Германии прибыл к назначенному сроку и очень нервничает, ибо завтра ему позарез нужно быть в Гамбурге.

— Ну, мы сегодня и решим все дела, а на Гамбург у нас теперь ежедневный рейс,— успокоил Артур Александрович.

На другом конце провода предложили:

— Прекрасно. Сейчас время обеденного перерыва. Не возражаете, если мы встретимся и пообедаем в «Лидо», на вашей территории, говорят, этот ресторан принадлежит вам? Заодно и гостя обрадуем, он в восторге от узбекской кухни и счастлив, что мы вытащили его в Ташкент, а не в Милан, как я предлагал. Если вас устраивает время и место, через час встречаемся в «Лидо»,— заключил вдруг незнакомец, несколько убаюкав внимание Шубарина.

От неожиданности Артур Александрович только и нашелся, что спросить:

— А сколько вас будет?

— Трое. Но вы можете захватить с собой кого хотите.

— Нет, я буду один,— ответил Шубарин и откладывая, переносить встречу не стал: и немец спешил домой, да и к Камалову хотелось прийти с реальным результатом.

Отдав кое-какие распоряжения по банку, подписав бумаги, он позвонил прокурору, чтобы сообщить о прибытии и назначенной через час встрече с Талибом и его людьми в ресторане «Лидо», но Москвича на месте не оказалось. На встречу он решил ехать с Коста, но когда попросил вызвать его наверх, того тоже не было на месте — поехал в аэропорт добывать авиабензин, «мазерати» требовала топлива высокого качества. Предупредив людей на входе, чтобы Коста, как только появится, подъехал к «Лидо», Артур Александрович отправился на встречу с незнакомцем.

В «Лидо» он не был больше года, в последний раз отмечал тут свой день рождения перед отъездом на стажировку в Германию. Собираясь в ресторан, Шубарин решил сообщить Наргиз и Икраму Махмудовичу, что намерен уступить им свой пай в «Лидо», чтобы они стали полновластными хозяевами престижного заведения. На территории ресторана он заметил изменения — появилась хорошо оборудованная платная автостоянка, наверняка, как и большинство их в Ташкенте, контролируемая мафией. Артур Александрович не стал въезжать во двор, а оставил «мазерати» на стоянке.

Швейцар на входе не был знаком Шубарину, как не был знаком и новый метрдотель, любезно встретивший его у лестницы. Как стремительно все меняется, подумал Артур Александрович, отмечая и новый интерьер, и новые занавески, а главное — новых людей, сновавших взад и вперед и не признававших его. Когда он поднялся на второй этаж, его уже поджидал Талиб в золотистом дакроновом костюме, при бабочке, в белых штиблетах — ну, прямо эстрадная звезда. Он любезно поздоровался с Артуром Александровичем, согласно восточному ритуалу расспросил о жите-бытье и широким жестом показал в сторону закрытой кабинки, где их ждали.

Шубарин, сказав, что подойдет туда минут через пять, направился в кабинет Наргиз, надеясь встретить там и Икрама Махмудовича, с которым некогда начинал в Лас-Вегасе. Но никого из них он не нашел. В приемной исправно работал огромный телевизор «Шарп»,



его подарок Наргиз к ее дню рождения, новая секретарша тоже не знала его, и он не стал ей представляться. Неожиданно пришла в голову поэтическая строка:

Я никому здесь не знаком,  
А те, что помнили, давно забыли.

В кабинете за щедро накрытым столом Артура Александровича дожидались трое мужчин: Талиба он знал в лицо, полноватого, лысеющего блондина лет тридцати пяти отгадал по голосу, а третий, высокий накачанный парень, смахивавший на отставного регбиста, выходит, был немцем. Талиб представил обоих: человек, говоривший с ним по телефону, назвался Станиславом, а немец — Юрой, и объяснил, что восемь лет назад эмигрировал из Актюбинска. Судя по небольшой наколке между большим и указательным пальцами, в молодости он имел судимость за хулиганство. Разлили шампанское, выпили за знакомство и начало делового сотрудничества. Закусывая, стали обговаривать условия сделки, и опять, как в Милане, на Артура Александровича посыпались вопросы, которые задавал в основном лысеющий блондин Станислав. Время от времени вставлял свой вопрос и немец Юра, он тоже был в курсе дела, но почему-то намеренно уступал инициативу толстяку. Молчал лишь Талиб. Шубарин еще тогда, при первой встрече на стадионе в Мюнхене, понял, что тот всего лишь связной и представляет уголовный мир в чистом виде.

В этой кабинке с окном, выходящим во двор, Артур Александрович сживал не раз, особенно любил ее Сенатор, ее и называли прежде сухробовской. «Ведал ли об этом Талиб или он избрал ее случайно?» — мелькнула вдруг мысль и тут же пропала. Немец задал главный вопрос — он касался процента за отмывание. После поездки в Милан, где Шубарин окольными путями и из судебных хроник узнал цену таких сделок в Европе, он решил не уступать, потому сказал твердо — треть суммы. Как тут взвились его сотрапезники! Даже долго молчавший Талиб наконец заговорил, видимо, они хотели привлечь капиталы преступного мира в Азию низким процентом. После некоторых препирательств и взаимных уступок сошлись на четверти. Да и четверть от суммы, которую Юра-немец обещал перевести через три дня, была огромной. Толстяк не удержался, достал карманный калькулятор, тут же подсчитал. Цифра в свободно конвертируемой валюте, даже не перемноженная на дикий курс обесценивающегося

рубля, впечатляла. Артур Александрович увидел, как жадно блеснули и забегали вороватые глазки Талиба, наверное, он подумал, как выгодно иметь банк — раз-два, и миллионы твои! Он получал наглядный урок того, как делаются деньги.

Но Талиба в этот момент волновало совсем другое. Юра-немец предложил открыть еще одну бутылку шампанского, чтобы обмыть главный пункт соглашения, и в этот момент в кабину неслышно вошел официант с подносом, на котором стоял обыкновенный сифон для газированной воды. Встав за спиной Талиба, он склонил сифон над его стаканом, словно намеревался налить шипучки, и вдруг могучая струя нервно-паралитического газа ударила в лицо Артура Александровича, сидевшего за столом напротив, и он, не успев даже вскрикнуть, тихо сполз со стула на мягкий ворс ковра. Откуда-то появилось большое покрывало, и сотрапезники в мгновение ока закатали в него банкира, обвязав припасенными альпинистскими веревками, уже побывавшими в деле во время последнего покушения на прокурора Камалова. Затем аккуратно спустили тюк в распахнутое окно, прямо на высокую крышу японского джипа «ниссан патруль», оттуда другие люди тотчас перенесли его в салон, и машина рванула в сторону шоссе Луначарского, на днях переименованного в улицу Тамерлана.

## XXXII

В последнее время Газанфар Рустамов сильно разочаровался в своей работе в прокуратуре республики: надоели вечные командировки, бунты и побеги из тюрем, каждая поездка в зону становилась рискованной. Исчез весомый приварок за работу «почтальоном», теперь и в зону, и из зоны носили все кому не лень, кто ж сегодня станет отстегивать тысячи, да и тысячи нынче перестали быть деньгами. Раньше, до перестройки, сама зарплата в прокуратуре что-то значила, теперь же по сравнению с некоторыми заработками, даже на заводах и фабриках, стала похожа на пособие по безработице, а требования, особенно с приходом Камалова, резко повысились, тот сам работал сутками и от других требовал предельной отдачи. Газанфар решил уйти из этого ведомства, пока Сенатор с Миршабом не довели до беды или не поймал его кто-нибудь с поличным в прокуратуре. Работая там, он не мог отказать «сиамским близнецам», слишком глубоко сидел у них на крючке, хотя понимал, что они тоже у него в руках, он про них знал такое!.. Но сдать их он, наверное, сам, добровольно,



никогда не решился бы — у них руки длинные, вон и до Парсеяна в подвалах КГБ добрались!

В эти же дни осенила и другая, более страшная мысль — о том, что он, зная столь много, представляет реальную угрозу для Сенатора с Миршабом, и заподозри они его в чем или хотя бы испугайся подобной перспективы, просто-напросто уберут его, и делу конец. Ведь война с прокурором Камаловым не кончилась, зачем же ему давать в руки такого свидетеля? От неожиданного поворота рассуждений ему стало страшно — нужно было бежать из прокуратуры, и как можно скорее. Особенно сейчас, когда узнал еще одну опасную для себя тайну, — что Сенатор с Миршабом хотят расправиться с Шубариным руками Талиба. Нет, работая в прокуратуре, он только наживал себе врагов с каждым днем. С его юридическим опытом и со связями можно устроиться в какую-нибудь частную фирму, коих и в Ташкенте расплодилось без числа, тогда и Сенатор сразу отстанет, и заработок будет во много раз больше.

Рабочий день близился к концу, на него напала такая тоска, что вдруг захотелось где-нибудь посидеть, выпить, отметить мудрое решение — расстаться с опасной прокуратурой. Как и большинство южан, Газанфар был человек эмоциональный, нетерпеливый, не особо раздумывая, он набрал номер Татьяны Шиловой и пригласил ее сразу после работы в ресторан.

— В «Лидо»? — радостно спросила Шилова, — как раз сегодня утром Камалов предупредил ее, что наступили ответственные дни и желательно находиться поближе к Газанфару.

— Я тоже давно не был в «Лидо». Как там вкусно начиняют перепелок свежей бараньей печенкой — объеденье! — сразу загорелся Рустамов. — Решено, идем ужинать в «Лидо». Я сейчас же закажу столик у Икрама Махмудовича, вечером к ним без записи не прорваться, и насчет перепелок обговорю...

Положив трубку, он посмотрел на часы. До конца работы оставался целый час, и он начал рыться в письменном столе, шкафу и вдруг минут через пятнадцать поймал себя на мысли, что отбирает бумаги так, словно завтра же освобождает кабинет и навсегда покидает прокуратуру, где проработал столько лет. Эта мысль приободрила, и он с усердием стал складывать в угол бумаги, которые следовало сжечь. Он делал это так рьяно, что забыл про время. Оторвал от дел неожиданный звонок. Звонил Талиб, прежде никогда не беспокоивший его на службе.

— Очень хорошо, что застал тебя на работе,— сразу заговорил Талиб.— Тут сложились неожиданные обстоятельства, и Японец оказался у меня в руках. Опасения твоих дружков подтвердились. Но в последний момент мы тут решили, зачем нам всю ответственность брать на себя, за Японцем стоят серьезные люди, вместе будет легче отбиваться. Найди Сенатора и Миршаба и передай, чтобы они сегодня, когда стемнеет, приехали ко мне, но не в Рабочий городок, а в Келес, я там загородный дом построил. Запиши адрес: улица Восточная, 13. Если заплутаются, пусть к чайхане завернут, она до глубокой ночи работает, там подскажут, как к дому Талиба подъехать. Время конкретно не оговариваю, но ты должен поднять их хоть с постели и доставить обязательно.

— Почему доставить?! — чуть не завизжал в испуге Газанфар, нервы у него были на пределе.

— Успокойся, я оговорился, твое дело сказать, они сами примчатся, у них есть интерес, я чувю,— и разговор оборвался.

«А если бы телефон был на прослушке?» — с ужасом подумал Газанфар и достал из сейфа прослушивающее устройство «Сони», чтобы забрать домой,— больше он в прокуратуре не работает и никого прослушивать не собирается. Последнее, что будет связывать его с «сиамскими близнецами»,— приглашение Талиба на встречу в Келесе. Уже пора было спускаться вниз, заводить машину, но он задержался, хотел избавиться от неприятного поручения. Позвонил Сенатору — того не оказалось дома, набрал номер Миршаба — тот, оказывается, отбыл на совещание в Министерство юстиции и сегодня уже не вернется.

«Что ж, позвоню из «Лидо»,— решил Газанфар и, захватив бумажку с адресом в Келесе, быстро сбежал вниз. Татьяна поджидала его возле машины.

Когда через полчаса они оказались в «Лидо», предупрежденный Икрамом Махмудовичем метрдотель провел их в дальний угол зала за двухместный столик,— кабинки сегодня, и большие, и малые, и банкетные — все были заняты. «По какому поводу? — подумал Газанфар, но тут же нашел ответ: — Пятница, самый загульный день в больших городах».

Плохое настроение, накипевшее среди дня, не покидало Газанфара, и он предлагал тост за тостом. Татьяна не сдерживала, чувствовала, что Рустамова мучает какая-то проблема, но затронуть ее трезвым он не решался. Когда принесли долгожданных перепелок, Газанфар вместо тоста вдруг объявил:



— Татьяна, я решил оставить прокуратуру.

— Почему? Зачем? — не показывая особого интереса, спросила Шилова.

— Устал. Запутался. Заврался. Да разве это сейчас работа! Ты ведь не знаешь, что значило раньше служить в прокуратуре республики! — ответил с пафосом Газанфар и, безнадежно махнув рукой, как несмышленишу, выпил залпом очередную рюмку коньяка.

— Ты хорошо подумай, может, все и образуется,— по-женски участливо произнесла Татьяна,— такие дела сгоряча не делаются...

В этот момент у столика возник официант: он с улыбкой поставил перед ними две бутылки французского шампанского.

— Что же ты такое шампанское сразу не принес?! — взвился Рустамов.

— Это подарок. Прислали ваши друзья, они нагрянули часом раньше, гудят по-черному. Так они позвонили в валютный магазин, он тут рядом, через площадь, оттуда три ящика привезли.

— Что-то я не видел в зале знакомых,— удивился Газанфар.

— Они в большом банкетном зале пируют, а Сухроб Ахмедович выходил звонить, вас и увидел. Презент вам от него.

— С кем он так широко гуляет и кто так валютой швыряется?

— Это хан Акмаль пирует, возвращение на свободу отмечает. Там желающих за него заплатить много, да вы их всех знаете, а Сухроб Ахмедович с Салимом Хасановичем, как я понял, приглашены в гости.

— И этот здесь? — изумился Газанфар и пьяно рассмеялся.— А мне сказали, что он на совещании в Минюсте. Передай Сухробу спасибо, и еще: пусть не уходит, не встретившись со мной, у меня к нему есть важное дело, а то любит он по-английски исчезнуть, особенно когда уже счет выписывают...

В зале загремела музыка, и самые нетерпеливые сорвались с мест. Ресторан дошел до кондиции — так любил выражаться его старший метрдотель Икрам Махмудович, как никто другой тонко чувствовавший публику.

Газанфар попытался открыть новую бутылку, но Татьяна остановила его, сказала: давай потанцуем. Она видела, как Рустамов быстро пьянеет, кроме того, ей хотелось увидеть, кто же так щедро отмечает возвращение хана Акмаля из тюрьмы, большой банкетный зал как раз находился рядом с эстрадой. Оркестр играл почти без пауз, и за три танца подряд Татьяне удалось увидеть кое-кого из сановных лиц, входивших и выходивших из банкетного зала. Были среди них не по-

следние люди из Верховного суда, Министерства юстиции и Совета министров республики, о них следовало доложить прокурору Камалову, он должен знать, на кого из нынешних власть имущих людей опирается хан Акмаль.

Шилова много слышала про легендарного хана Акмаля, и ей было интересно увидеть вблизи, каков он, оставивший с носом и хваленое КГБ, и могучую Прокуратуру СССР с ее умнейшими следователями, не вернувший казне и рубля, когда у каких-то завмагов сплошь и рядом изымали миллионы еще в доперестроечных рублях! Но ей не повезло, хан Акмаль ни танцами, ни танцующими не интересовался и свое тронное место во главе огромного богато накрытого стола не покидал весь вечер — уж очень сладко было выслушивать тост за тостом о себе, о своем мужестве, мудрости. Какие тут могут быть перекуры, если к тому же учесть, что славили аксайского Креза не рядовые граждане.

Вернулись за стол передохнуть и открыли бутылку французского шампанского. Татьяна делала вид, что ей сегодня безумно хочется танцевать, она желала запечатлеть в памяти больше гостей хана Акмаля. Когда они допили первую бутылку, приятный мужской голос из-за спины Татьяны любезно спросил:

— Ну, как шампанское?

— Спасибо, Сухроб Ахмедович, замечательное! — как-то суетливо, подобострастно, трезвея на глазах, ответил вскочивший Газанфар.

— Я не буду вам мешать, но бокал шампанского за приятный вечер с вами выпью, — добродушно сказал Сенатор, присаживаясь на стул, любезно подставленный официантом.

Сухроб Ахмедович уверенно, как хозяин, взял со стола вторую бутылку. Пока он снимал ножом сломавшуюся проволоку на пробке, Татьяна склонилась под столом, над тувелькой, чтобы поправить сбившиеся в танце подследники, и в этот момент Газанфар тихо сказал по-узбекски:

— Сухроб-ака, у меня важное сообщение. Звонил Талиб и передал, что Японец у него в руках и что какие-то ваши опасения подтвердились. Он обязательно просил заехать к нему сегодня ночью, вот адрес... — И, достав записку, торопливо сунул ее в карман пиджака Сенатора.

— Мог бы и наедине сказать, — недовольно заметил Сухроб Ахмедович тоже по-узбекски и тут же радостно произнес по-русски: — Подставляйте бокалы!



Татьяна, слышавшая всю беседу, подняла лицо к своим кавалерам и, мельком обронив «извините», подыграла Сенатору, с восторгом произнеся:

— Как приятно пить настоящее шампанское!

Как только Сенатор ушел, Татьяна, пытаясь перевести разговор на Сухроба Ахмедовича, сказала мечтательно:

— Какой приятный и умный человек этот Акрамходжаев! Мы в институте, в перестройку, зачитывались его знаменитыми статьями. Я рада, что у вас такие друзья, ведь не каждому он присылает подобные презенты.— И добавила после паузы: — А может, лучше с ним посоветоваться, уходить вам из прокуратуры или нет?..

Но Газанфар вдруг ответил:

— Да, наверное, не каждому, я ведь его давно знаю, но советовать с ним не буду, у нас разные пути.

— Почему разные? Он — юрист, вы — юрист,— Шилова старалась втянуть Газанфара в разговор, но тот вдруг улыбнулся трезвой улыбкой и предложил:

— Давай лучше потанцуем, ты же хотела, а серьезный разговор оставим для другого раза. А что касается Сенатора, запомни, он далеко метит, мы для него всего лишь пешки, или, как говорят коммунисты,— винтики...

На танцевальной площадке перед банкетным залом теперь творилось невероятное, публика, действительно дошедшая до кондиции, с остервенением бросалась в пляс. Высокие двери зала, где гулял хан Акмаль, то и дело открывались и закрывались, но Татьяна из-за плотной стены танцевавших вокруг людей не смогла увидеть на этот раз никого и потеряла интерес к танцам. Как только она вернулась на место, ее словно обожгло — вспомнила разговор, услышанный за столом: «Обязательно приезжайте сегодня ночью, Талиб сказал, что ваши подозрения в отношении Японца оправдались...» За окном стояли густые летние сумерки, и она поняла, что такую информацию до утра откладывать не следует — нужно срочно связаться с прокурором Камаловым.

Она тут же встала и смущенно сказала Газанфару:

— Мне нужно выйти на минутку...

— Куда? — вдруг слишком строго спросил Рустамов.

Татьяна нашла в себе силы кокетливо улыбнуться и капризно ответить:

— Я сегодня выпила столько шампанского...

Газанфар наконец-то понял и, рассмеявшись, махнул рукой — мол, иди.

Уходя с работы, Таня позвонила домой, чтобы предупредить мать, что сегодня задержится, но той не оказалось дома, и она собиралась сделать это из ресторана. Поэтому, когда поднималась с Газанфаром на второй этаж, высматривала телефон-автомат, но так и не обнаружила его.

Нынче содержание телефонного аппарата обходится дорого, и большинство заведений избавляется от лишних затрат, но в таком престижном ресторане, как «Лидо», телефон должен был быть обязательно.

Встретив в безлюдном холле официанта с подносом, уставленным коктейлями, поднимавшегося из бара первого этажа, она спросила:

— Где у вас тут телефон?

Тот, подтверждая ее мысли, словоохотливо пояснил:

— Раньше два автомата стояли внизу, и два тут, в холле, но теперь осталась одна кабина, о ней знают лишь завсегдатаи. Пройдите в конец холла, сразу за колоннами приемная директрисы, в трех метрах от ее двери в стену встроена кабина такого же цвета мореного дуба, что и обшивка вокруг, оттого и незаметная.

Поблагодарив любезного официанта, она направилась в сторону приемной, ей казалось, что в безмолвном холле на вошеном паркете ее каблочки цокали слишком громко.

В приемной как раз находился Сенатор, он звонил со служебного телефона домой, предупреждал, чтобы не ждали к ужину и что сегодня вообще приедет поздно. Для него было ясно, что хитрый Талиб затеял официальную разборку вместе с «авторитетами», чтобы «законно» приговорить к смерти Шубарина, а такие дела скоро не решаются. Он уже собирался закрыть кабинет и вернуться в банкетный зал, как вдруг услышал в тишине холла дробное цоканье каблучков, кто-то явно спешил. Он подумал, что это Наргиз приехала, и выглянул за дверь. Из-за колонны увидел девушку Газанфара, которая с тревогой в лице решительно направлялась в его сторону, но понял, что она торопилась к телефону. Рустамова поблизости не было.

Как всегда, профессиональное любопытство взяло верх — кому звонит, зачем звонит? И он, тихо прикрыв дверь, прошел в конец просторной приемной, где в закутке, за платяным шкафом, за обшивкой перегородки висели телефонные провода из кабины. Отсюда легко

М

прослушивались разговоры — задумал этот трюк любвеобильный сердCEED, главный администратор ресторана Икрам Махмудович, подслушивавший своих любовниц. Девушка, с которой он любезно пил шампанское всего полчаса назад, быстро набрала номер, и мужской голос на другом конце провода по-служебному четко ответил:

— Слушаю вас.

— Это Татьяна Шилова из отдела по борьбе с организованной преступностью, пожалуйста, соедините с Хуршидом Азизовичем,— попросила она взволнованно.

— Не могу. У него генерал Саматов из КГБ,— ответил помощник прокурора.

— Все равно доложите, дело не терпит отлагательств, передайте, что это касается Японца. Завтра может быть поздно.

— Хорошо, я попробую,— ответили из прокуратуры, и было слышно, как помощник, положив трубку на стол, направился в кабинет.

Сенатору было ясно, о чем она хочет доложить, и в тот момент, когда Камалов произнес: «Я слушаю вас», он разъединил тонкие телефонные провода.

Напрасно Татьяна еще минут пять пыталась дозвониться в прокуратуру, связь прервалась...

### XXXIII

Прокурор Камалов, положив трубку, сразу почувствовал недоброе и спросил помощника:

— Она не сообщила, по какому поводу звонит?

— Речь шла о каком-то Японце, она просила соединить немедленно, ибо завтра, сказала, может быть поздно...

Генерал Саматов, еще находившийся в кабинете прокурора, обронил вслух:

— Может, они что-то пронюхали? Стрельцов доложил, что Шубарина постоянно снимали скрытой камерой какие-то люди,— и после паузы сокрушенно добавил: — Вот что значат наша бедность и наша техническая отсталость, будь все телефоны в прокуратуре с определителем номера, мы без труда узнали бы, откуда звонила ваша Шилова по поводу Японца.

Потом, подумав, генерал попросил придвинуть ему спецсвязь — «вертушку» и позвонил к себе на Ленинградскую. Как только там подняли трубку, он сказал:

— Пожалуйста, на ближайшие сорок восемь часов возьмите на прослушивание все телефоны прокурора Камалова: на работе, в машине, дома. Фиксировать не только с какого номера звонят, но и устанавливать адреса звонков.

Попросив держать его в курсе событий, генерал откланялся. Камалов задержался на работе еще час, все надеялся, что Татьяна прорвется к нему откуда-нибудь звонком, но телефон молчал. Стараясь не занимать свой телефон, Камалов из соседнего кабинета позвонил Шубарину на работу, в машину — никто не отвечал. Из дома сообщили, что после обеда он ни разу не звонил. Тогда Камалов вспомнил еще один телефон Шубарина, в старой «Волге», он пользовался им до того, как появилась у него «мазерати». Этот ответил. Камалов назвал и объяснил, что разыскивает Артура Александровича. Человек, представившийся именем Коста, сказал, что все послеобеденное время находился в поисках авиабензина для «мазерати» и только в конце рабочего дня появился в банке, где ему велели подъехать к «Лидо». На автостоянке он нашел сиреневую «мазерати», но Артура Александровича нигде не было. Появлялся ли он один или с кем-нибудь в «Лидо» — в ресторане никто толком подтвердить не мог. Попросив Коста держать его в курсе дела, прокурор назвал ему свои телефоны.

— Опять всплыло это поганое «Лидо»! — сказал в сердцах Камалов, положив трубку.

Для него стало очевидным, что пропал не только Шубарин, но и Татьяна. Попросив дежурного по приемной переговорить с Шиловой, если та позвонит, и поставить его об этом тут же в известность, прокурор поехал домой. Подъезжая к Дархану, он обратился к своему шоферу:

— Нортухта, чувствую, что ночь предстоит нам бессонная, поэтому ставь машину у подъезда, поужинаем, если удастся, вместе и будем ждать телефонного звонка хоть от Артура Александровича, хоть от Татьяны, хоть от Коста, а может, люди Саматова позвонят. Мне кажется, генерал уже поднял на ноги своих сотрудников.

Не успели они приготовить ужин, как в доме раздался телефонный звонок. Камалов метнулся с невероятной скоростью от горячей газовой плиты к подоконнику, на котором стоял аппарат. В трубке раздалось тяжелое дыхание и невнятный, нечленораздельный звук. Прокурор подумал вначале, что какой-то пьяный мужик ошибся номером, и хотел уже положить трубку, как вдруг его озарило, и он крикнул:

— Артур, дорогой, говори, говори, я слышу тебя...



И тут он уловил слабый звук из разбитых губ: «я... я...»

Прокурор узнал какие-то оттенки голоса Шубарина, хотя назвал его по наитию. Видимо, у Шубарина не было сил или возможности говорить, Камалов слышал только тяжелое, болезненное дыхание. Он снова закричал:

— Артур, держись, я буду у тебя через двадцать минут, не клади трубку, брось ее, я все понял, я в курсе дела...

Как бы подтверждая, что его услышали, на другом конце провода замолчали, и прокурор уловил какой-то шум, словно звонивший упал.

Прокурор кинулся в другую комнату, к другому телефону, и набрал номер на Ленинградской. Он еще не успел спросить, как дежурный офицер выпалил:

— Товарищ Камалов, это тот самый адрес, заброшенный дом с телефоном-автоматом, откуда Шубарину не раз звонили, на Луначарском шоссе... — но прокурор уже бросил трубку.

— Быстро вниз, заводи машину, — приказал он Нортухте, а сам кинулся вначале к серванту, откуда досталменной пистолет, а затем к платяному шкафу, вытащил автомат, оставшийся со дня покушения на него на трассе Коканд — Ленинабад, и побежал вслед за шофером.

Включив на всю мощь милицейскую сирену, «Волга» рванулась в сторону Кибрая. Минут через двадцать, выключив сирену и погасив огни, они подъезжали к дому, за которым полковник Джураев давно установил догляд, но после отъезда Шубарина в Италию никто сюда не наведывался и никто не пользовался хитрым телефоном. Сегодня, видимо, Джураев оплошал, ослабил бдительность, снял наблюдение. Оценив обстановку во дворе, подошли к дому. Кругом стояла тишина, и ничто не напоминало засаду. Дверь оказалась крепкой, из толстой лиственницы, и на всячем замке. К тому же открывалась наружу, и вышибать ее пришлось бы долго и шумно. Нортухта, с автоматом в руках, показал взглядом на окно, его и решили выбить. В теплых краях рамы хлипкие, одинарные, от удара прикладом она вывалилась, и Камалов с Нортухтой нырнули следом в оконный проем. Ворвавшийся первым шофер отыскал в темноте выключатель. В просторной захлавленной комнате с пустыми бутылками на неубранном столе никого не было, и они кинулись в смежную, откуда раздался стон.

Возле телефона-автомата давнишней конструкции, помнившего еще пятнашки пятидесятих годов, прибитого над обшарпанным письменным столом, чтобы можно было разговаривать сидя и делать записи, в луже крови почти нагишом лежал Шубарин. Следы попыток

изменили его до неузнаваемости, но это был Артур Александрович. Камалов рывком оказался рядом и, положив голову Шубарина на колени, не обращая внимания на кровь, пытался привести его в чувство.

— Артур, я здесь... Артур, очнись, рядом я, Камалов...

Нортухта снова бросился к выбитому окну и вернулся с нашатырным спиртом из автомобильной аптечки. Камалов показал ему взглядом на телефон с болтающейся трубкой и сказал:

— Срочно вызови сюда реанимационную машину, позвони Саматову, чтобы приготовили палату в госпитале КГБ и собрали консилиум, мы будем там через полчаса.

Видимо, сильный раствор нашатыря подействовал или Шубарин слышал разговор, он вдруг открыл заплывшие в страшном кровоподтеке глаза и прошептал:

— Спасибо, вы всегда успеваете вовремя...

Камалов понимал: пока Шубарин в сознании, надо что-то узнать, чтобы действовать, и еще раз поднес тампон к лицу освобожденного пленника.

— Где мы просчитались? Почему?

— Не просчитались. Сенатор увидел Стрельцова в аэропорту,— выдохнул с трудом меж выбитых зубов Шубарин.

— Чего они хотели?

— Узнать, почему Стрельцов следовал за мной и что меня связывает с вами и с Саматовым, а еще их интересовало, почему оказался в Италии Анвар Абидович.

— Они добились своего?

— Нет, вы же видите,— тяжело выдохнул Шубарин.— Я сказал, что, может, КГБ пасет меня самого и что не знаю никакого Стрельцова. А насчет Анвара Абидовича сказал, что за его деньги устроил тому миланские каникулы. Вы переведите его срочно куда-нибудь, иначе они доберутся до него, а он пыток не выдержит... Я думаю, дело с партийными деньгами мы еще провернем.

На краю жизни Артур Александрович думал о бывшем патроне и не забывал о своем долге. У Камалова навернулись на глаза слезы...

— Какие деньги, Артур, успокойся, а Тилляходжаевым мы сегодня же займемся, я обещаю. Потерпи, сейчас «скорая» прибудет...

Чувствуя, что Шубарин, борясь с уходящим сознанием, пытается еще что-то сказать, Камалов вновь поднес к его лицу тампон с нашатырем. Шубарин вздрогнул, чуть приподнялся и слабым, едва заметным движением поломанной руки показал в дальний угол.



— Там какую-то девушку час назад привезли, когда ее вносили, я и очнулся, увидел над собой телефон.

Прокурор, осторожно подложив под голову Артура Александровича свой пиджак, медленно направился в угол. Он уже догадывался, кто эта девушка. Когда откинул грязное одеяло, увидел лежавшую навзничь Таню Шилову. Она была мертва. Он долго в оцепенении, на время забыв про Шубарина, смотрел на ее прекрасное молодое лицо, застывшее словно в недоумении — за что? И вдруг, сжав кулаки, с надрывом закричал:

— Ну, все, гады, оборотни проклятые, теперь судить буду я!..

### XXXIV

Почти одновременно подъехали реанимационная и «скорая» из госпиталя бывшего КГБ. Нортухта монтировкой сорвал замок с двери, и Камалов вместе с врачами вынес сначала Шубарина, а затем сам, один, Татьяну. Как только машины уехали, шофер спросил застывшего в прострации прокурора:

— Хуршид-ака, куда вас теперь доставить — к Саматову, он просил заехать или позвонить, или вначале в госпиталь, определим Артура Александровича окончательно?

— Ты разве не слышал, как я поклялся Татьяне? — ответил Камалов непонятно и продолжил: — Поезжай к моему соседу...

— К какому соседу? — испуганно спросил Нортухта, решив, что с прокурором случился нервный срыв.

Камалов понял, отчего вдруг испугался шофер, и пояснил:

— К Газанфару. Он через дом от меня живет. Эта мразь может знать, как заманили Артура в ловушку, может, и про Татьяну что-то поведаст, она ведь за час до смерти хотела меня о чем-то срочно предупредить.

Когда подъехали к престижному кооперативному дому, Нортухта, подняв глаза на второй этаж, сказал радостно: «Дома...» — он не раз подвозил Газанфара с работы. Поднялись вместе, позвонили. Когда спросили: «Кто?», Нортухта небрежно ответил: «Свои», — и дверь распахнулась. Увидев входящего следом за шофером прокурора, Газанфар кинулся в комнату, но Нортухта одним прыжком настиг его.

Камалов в ярости схватил Рустамова за грудки и выпалил, не в силах сдержать злость:

— Подлец, из-за твоего предательства сегодня убили человека, и я поклялся, что буду сам судить оборотней. Но прежде ты должен мне ответить на несколько вопросов. Кто выкрал Шубарина?

— Талиб,— мгновенно выдал Газанфар, даже не подумав отпираться.

— А кто убил Шилову?

— Как убили?! — лицо Газанфара искажил неподдельный ужас.— Я же с ней недавно расстался, мы ужинали в «Лидо»...— Рустамов съезжился, и прокурору стало ясно, что это дело рук не Газанфара.

— В «Лидо»? А кто еще сегодня там был? — спросил в упор Камалов.

— Сенатор. Миршаб.

— Они еще в ресторане?

— Нет, я думаю, сейчас они у Талиба, в загородном доме, ночью большой сходняк, решают, что делать с Японцем.

— Адрес?

— Не помню. Записку с адресом я отдал Сенатору в ресторане, но это точно в Келесе. Талиб мне по телефону сказал — если не найдете мой дом, спросите в чайхане, там, мол, любой подскажет.

Камалов переглянулся с водителем и приказал хозяину дома:

— Ты пойдешь с нами.

— Нет, только не в Келес! — забился в истерике Газанфар.

— А мы тебя туда и не собираемся везти,— отрезал грубо Камалов.

Он пошел к двери, Нортухта следом повел Рустамова. Когда подошли к машине, Камалов велел:

— Отвези его к Саматову, он ведь ждет от нас вестей, а я пойду домой, с меня на сегодня хватит. Завтра займемся и Талибом, и Сенатором, и Миршабом тоже...— Подав на прощание руку Нортухте, он долго не выпускал его ладонь, словно хотел что-то сказать, но потом вдруг обнял его и произнес: — Прощай, ты хороший парень, Нортухта.

Достав из кабины автомат, не таясь, темной аллеей через дворы он пошел к себе...

Растроганный шофер долго глядел ему вслед, а затем тронул машину, где съезжился на заднем сидении Газанфар.

...Дома прокурор принял душ, словно смыл с себя грязь долгого дня, побрился, надел свежую сорочку и спортивный костюм. Потом быстро набрал 062 и заказал такси, на вопрос: «Когда?» ответил: «Сейчас же»,— и назвал адрес. Порывшись в платяном шкафу, достал



бронежилет, оставшийся у него с ферганских событий, взял дополнительный рожок с патронами к автомату. Все это он уложил в большую теннисную сумку, которой ни разу после Вашингтона не пользовался. Пистолет аккуратно засунул за пояс и застегнул молнию куртки. Выключив свет, спустился вниз. Машина уже ждала у подъезда. Таксисту он протянул пятитысячную купюру и сказал: «В Келес, к чайхане». Как только выбрались на улицу Амира Тимура, добавил: «По-быстрее, если можно...»

Подъехав к чайхане, Камалов попросил водителя подождать и вышел из машины. В ярко освещенном зале трое мужчин играли в нарды, один из них поднялся и пошел навстречу позднему гостю. Камалов дождался хозяина на улице и спросил, как проехать к дому Талиба.

Чайханщик, оглядев темно-синий адидас гостя — традиционную экипировку отечественных рэкетиров, довольно улыбнулся:

— Что же вы опаздываете? Я еще час назад отвез большой казан плова домой Талибу. Сегодня у него много гостей, одни мужчины, наверное, большая игра предстоит, — ответил словоохотливый чайханщик и показал в сторону темнеющего оврага, где на взгорке ярко горели огни внушительного особняка.

— Да, вы правы, большая игра. Пожелайте мне удачи... — сказал в ответ прокурор и протянул чайханщику тысячерублевку, чтобы у того развеялись последние сомнения.

— Спасибо, спасибо, — зачастил вслед старик, но Хуршид Азизович мыслями был уже далеко от чайханы.

Не доезжая метров ста до указанного адреса, Камалов остановил машину и, поблагодарив шофера, отпустил такси. Дождавшись, когда «Волга» исчезнет в темноте, он огляделся. Район оказался новостройкой, кругом, зияя пустыми глазницами окон, стояли недостроенные дома, лишь один, нужный ему, сверкал огнями. «Да, при нынешних ценах на стройматериалы так могут строиться только воры и взяточники», — зло подумал Камалов, но не задержался на этой теме. Подойдя ближе, он понял, что Талиб отгородился от соседей большим оврагом, где внизу журчала вода. Туда он и спустился, чтобы незаметнее подойти к дому. В овраге достал из сумки бронежилет и надел его под куртку, проверил автомат и направился в сторону светящихся окон.

Окна первого этажа оказались темными, а вот весь огромный второй этаж полыхал огнями, и оттуда слышались громкий разговор и смех, судя по всему, с пловом там еще не расправились. Из овра-

га Камалов поднимался осторожно, боялся собак, но их, на счастье, не оказалось. Он дважды обошел особняк со всех сторон, пытаясь найти лучшее место, откуда бы можно было быстрее ворваться на второй этаж, и пожалел, что у него с собой нет гранаты, вот она бы пригодилась. От волнения взмокли руки, и он, чуть отойдя, закурил, решил позволить себе последнюю в жизни сигарету. В тот момент, когда он сделал заключительную затяжку, собираясь выбросить уже выкуренную сигарету, слабый луч фонарика осветил его сзади с ног до головы.

«Так нелепо погибнуть, не сделав попытки отомстить за жену, за сына, за Татьяну, за Артура Александровича и весь попираемый закон», — с тоской подумал прокурор, слыша за спиной приближающиеся шаги, но страха, как ни странно, не ощущал. Он нащупал рукоятку пистолета за поясом, надеясь, что до последнего момента его могут принимать за своего, тогда, воспользовавшись этим, он и выстрелит в упор. Вкрадчивые шаги за спиной приближались, казалось, его и незнакомца отделяет еще метра три, как вдруг тяжелая рука легла на плечо, а другая жестко перехватила кисть правой, упреждая любое движение, и знакомый голос сказал шепотом:

— Вам одному не справиться, прокурор...

— Что ты тут делаешь? — спросил строго Камалов улыбнувшись в темноте Нортухту, вытирая холодный пот со лба.

— То же самое, что и вы, — и он показал на лежавший у его ног ПТУРС — противотанковый управляемый реактивный снаряд. — Таким оружием я пользовался в Афганистане, — сказал спокойно водитель.

— Где ты его взял? — удивился прокурор.

— Выменял в Чирчике у военных за два ящика водки, не думал, что так скоро может пригодиться.

— Да, из такой штуки и одного выстрела хватит. Дай его сюда! — потребовал Камалов.

Но афганец уже поднял ПТУРС к плечу и вразумительно ответил:

— Эта штука требует опыта и сноровки. Но они одним выстрелом не отделаются, у меня два снаряда. Первый выстрел я сделаю в фас, а второй в профиль, как учили нас в Афгане. Вся ташкентская сволота, похоже, сегодня съехалась к Талибу в гости, весь двор забит иномарками — ни пройти, ни проехать...

Видя, что Нортухта уже изготовился сделать выстрел, Камалов заметил с сожалением:

— Обидно, что они не узнают — это моя месть, мой приговор...



— Так доставьте себе эту радость, прокурор, скажите им что-нибудь ласковое. Они не успеют ничего предпринять — сегодня за нами полное преимущество, они проиграли вчистую.

Камалов сделал шаг к дому и громко крикнул:

— Эй, Талиб!

Тотчас в освещенном проеме окна появился франтоватый человек с усиками.

— Позови Сенатора, хочу пару слов ему сказать.

— Кто ты такой, чтобы приказывать моим гостям? — зло бросил Талиб в темноту.

— Прокурор республики Камалов, — спокойно представился стоявший в тени дерева человек.

И в это время рядом с хозяином дома появился знакомый силуэт Сенатора.

— Я даю возможность тебе и твоим друзьям помолиться Аллаху перед смертью, у вас в распоряжении полминуты.

Сенатор, увидев вышедшего из тени человека с ракетным снарядом на плече, вдруг торопливо заговорил:

— Постой, прокурор, не спеши. Мы можем договориться, тут не самые бедные люди собрались...

— Нет, я вас всех приговорил к высшей мере, и приговор обжалованию не подлежит...

— Ты не имеешь права, это незаконно, это самосуд! — в истерике завопил Талиб.

— Для вас я и есть закон, его карающая десница, о которой вы самоуверенно забыли, считая, что все покупается и продается...

В этот момент раздались сразу два выстрела из соседнего окна, пули просвистели рядом, и тогда прокурор приказал водителю:

— Давай, Нортухта!

— Ля илля илляха, — произнес вдруг как заклинание строку из Корана Нортухта и сделал первый залп.

Затем, перебежав в торец здания, он выпустил второй снаряд. Огромный особняк словно подпрыгнул и стал оседать, рассыпаясь как карточный домик, вмиг вспыхнув огнем пожара.

— Бежим! — крикнул Нортухта и, схватив прокурора за руку, кинулся к стоявшей внизу машине...

Когда подъезжали к городу, уже светало. Камалов попросил вернуть к Салару, и Нортухта направил машину к реке, протекавшей среди угодий пригородного винсовхоза. Утренняя река несла свои

слабые воды в город, казалось, она, как и все вокруг, еще дремлет. Возможно, ей снился прекрасный сон, когда она была полноводной, рыбной и над ней с утра до позднего вечера звенели звонкие голоса ребятни, радостный смех. Теперь из-за пестицидов-гербицидов и дна, превратившегося в свалку, в ней не купаются уже лет двадцать.

Как только Нортухта припарковал машину у раскидистой кряжистой ветлы, помнившей давние счастливые дни реки, Камалов острожно, словно боялся спугнуть тишину вокруг, вышел из кабины. Подойдя к берегу, сел на какой-то валун и долго, очень долго сидел, обхватив голову руками. Потом, неожиданно вскочив, достал из машины автомат, ПТУРС и пошел с ними в густые заросли на берегу. Спустя минуту Нортухта услышал тяжелый всплеск воды.

...Когда утром, ровно в девять, Камалов появился у себя в кабинете, одновременно звонили все пять телефонов на столе. Он поднял правительственный, на проводе был министр юстиции.

— Вы в курсе, что сегодня произошло в Келесе? — взволнованно говорил он. — Бандиты взорвали дом известного бизнесмена, совладельца нескольких крупных фирм Талиба Султанова. У него в гостях было много уважаемых людей: председатель коллегии адвокатов города Горский, зампред Верховного суда республики Салим Хасанович Хашимов, бывший заведом ЦК партии Акрамходжаев, известный юрист...

Министр еще долго перечислял фамилии знатных людей, оказавшихся в доме Талиба, но прокурор уже не слушал. Отодвинув трубку, он дождался, пока эмоциональный министр выскажется. Когда в трубке на секунду воцарилась пауза, прокурор сказал:

— Спасибо за информацию. Я записал наш разговор об уважаемых людях на диктофон. Дело принимаем на расследование... — и положил трубку на рычаг аппарата.

Звонки раздавались, не переставая, и Камалов, вызвав помощника, сказал:

— Пожалуйста, отключите... телефоны...

*Коктебель — Переделкино — Коктебель.  
27 января 1992*



# Повести





# Из Касабланки морем

Повесть

Он прилетел в Касабланку рано утром на клепаном-переклепаном «Боинге» частной авиакомпании. Страна, в которой Мансур Атаулин работал последние три года, своей авиакомпании пока еще не имела.

В Касабланке он бывал не раз: получал грузы в местном порту, провожал и встречал большие группы специалистов, прибывавших на стройку. Из этого же аэропорта не раз вылетал в Париж, а оттуда на родину, в Москву, на высокие и зачастую неожиданные совещания.

Похоже, таможенники — народ с цепкой памятью — заприметили его, поэтому в документах не копались, а сразу проставили штамп и пожелали счастливого пути. Едва он выкатил хромированную тележку с чемоданом и дорожной сумкой из здания таможни, ему засигналили сразу несколько такси — в этот ранний час, пока не приземлились большие самолеты из Европы, каждый пассажир был желанен.

Мансур Алиевич, обходя новенькие машины, направился к старой, немало побегавшей «вольво», чем-то напомнившей ему «Волгу», — она и по цвету была горчично-желтой, как наши такси.

— В порт, — сказал Атаулин, и машина резво взяла с места, вызвав удивление и зависть у двух стоявших рядом таксистов на новых, последней модели «мерседесах».



Таксисты в Касабланке общительные, как и везде, и всю долгую дорогу вдоль моря они говорили о футболе,— впервые марокканские футболисты удачно выступали в отборочных играх на первенство мира.

За десять лет пребывания в Африке Атаулин работал и в англоязычных странах континента, и во франкоязычных, поэтому знал хорошо оба языка, хотя когда впервые ступил на африканскую землю, владел только немецким. Да и немецкий, сгодившийся на первых порах, он не учил специально. Так сложилось, что в маленьком захолустном райцентре на западе Казахстана, где он родился и вырос, жили двор ко двору русские, немцы, татары, казахи. А соседями Атаулиных, что слева, что справа, были немцы — Вуккерты и Штайгеры. Семьи российских немцев многодетны, не были исключением и их соседи. И, общаясь с соседскими Генрихами, Сигизмундами, Вальтерами, Мартами и Паулями, он выучил их язык, а может, у него и склонность к языкам была.

Порт Касабланки — старейший на континенте. Кого только не принимали его гавани и причалы,— вот и сейчас не только порт, но и вся обширная акватория его были забиты судами, суденышками, могучими танкерами, сухогрузами под разными флагами — удивительно, как только лоцманы управляют в такой толчее?

Лето — время морских путешествий. И на дальних причалах порта, отстроенных недавно, стояли, покачиваясь на легкой утренней волне, роскошные яхты, парусники — частные суда с самыми немислимыми названиями, вместо привычного флага страны на корме развевались полотнища с туманными символами и геральдическими знаками владельцев этих морских красавиц. Издали причалы напоминали знаменитые акварели Марке.

Подъезжая к порту, Атаулин подумал, что в морских портах расставания и встречи гораздо острее, чем на вокзалах и в аэропортах. Однако Атаулин решил возвратиться домой из Касабланки морем во все не потому, что был восторженным романтиком,— все объяснялось гораздо проще. Когда он заказывал билет на самолет, ему вдруг предложили вернуться домой морем: трехпалубный теплоход «Лев Толстой» с советскими туристами на борту как раз совершал круиз вокруг Европы,— на него можно было сесть в порту Касабланки. Лететь снова в Париж и больше полутора суток дожидаться рейса на Москву было тоже не совсем удобно, а маршрут теплохода оказался «северным» — через Барселону, Марсель, Неаполь, Пирей, Стам-

бул,— и Атаулин, почти не раздумывая, согласился. Была и еще одна причина, в которой Мансур Алиевич не хотел признаваться даже себе: он устал, а тут комфортабельный теплоход, одноместная каюта первого класса, бассейны, спортивные залы, танцевальные холлы и целых восемь дней праздник вокруг — круиз у людей все-таки. Восемь дней повсюду родная речь, от которой, честно говоря, стал отвыкать. А какие библиотеки на наших теплоходах! Для человека, прожившего десять лет за рубежом, не считая коротких наездов в Москву по делам, представлялся редкий шанс адаптироваться перед возвращением на родину. Как тут было не согласиться!

Покидал чужой берег Атаулин без грусти и сожаления, хотя и отдал ему десять лет, а для взрослого человека это немалый срок. И на море смотрел, выискивая силуэт «Льва Толстого», тоже без слез на глазах, без комка в горле. Атаулин, сорокапятилетний мужчина, которому по выправке и энергии можно было дать на десять лет меньше, принадлежал к тому типу людей, для которых работа — все, и они в ней как в родной стихии. Чтобы выразить себя, им нужны простор и самостоятельность, и во имя этого они порой жертвуют всем: личной жизнью, свободным временем, комфортом и прочими благами, хотя, если поразмыслить, на самом деле ничем они не жертвуют, раз успех дела заслоняет все остальное.

На Западе таких работников называют технократами: они двигают вперед материальную сторону жизни, и с них за это спрос крутой. И если они не кланяются в пояс каждому лютику-цветочку в поле, не льют слезы при виде опадающего по осени платана и не числятся большими поклонниками камерной музыки, то общество к ним особых претензий не предъявляет: быть гармоничной личностью — дело частное, но знать свое дело до тонкостей — изволь! Конечно, и швец, и жнец, и на дуде игрец — это замечательно, да в жизни, к сожалению, такие на все руки мастера редки.

Здесь, в Африке, руководителей подобного ранга именуют менеджерами, подразумевая тех же самых технократов,— в умении и мастерстве им не откажешь, знают свое дело не хуже западных фирмачей. Не один крупный заказ потеряли известные строительные фирмы, как только наши начали строить на континенте. Потому что строить надо не только быстро, но и с гарантией, а в строительстве крупных гидроэлектростанций и металлургических комбинатов конкурентов у нас оказалось и того меньше. Оттого и уезжал Атаулин спокойно: все, что он строил, сделано на совесть, надолго,



можно было срок гарантии и вдвое увеличить. Уезжал, не испытывая особой гордости за содеянное, хотя построенным можно было гордиться — и качеством, и количеством. Он делал то, что мог и должен был делать, — в этом заключался смысл его жизни. Может быть, где-то в душе и теплилась гордость, но и гордость эта была особого свойства, лично-профессиональная, что ли, — за какие-то чисто инженерные удачи в работе...

...Как ни всматривался Атаулин, ни у причалов, ни на подходе «Льва Толстого» не было, и таксист высадил его у диспетчерской порта, где ему любезно разъяснили, что теплоход пришвартуется через два часа на восьмом причале.

О том, что стоянка шестичасовая, Атаулин знал: лайнер брал на борт в Касабланке питьевую воду, продукты, а туристов ожидала четырехчасовая экскурсия.

Мансур Алиевич оставил вещи в камере хранения и вышел на портовую площадь. Солнце уже припекало, но здесь, у воды, еще чувствовалась утренняя прохлада, — к тому же садовники поливали из шлангов клумбы и газоны, — и неожиданно остро пахло землей и садом. Под яркими матерчатыми тентами за пластиковыми столиками завтракал, судя по униформе, технический персонал. В этот ранний час запах крепкого кофе витал над всей громадной площадью порта. Запах этот дразнил, притягивал. Атаулин за годы жизни в Африке тоже пристрастился к кофе, хотя когда-то был уверен, что вряд ли есть напиток более приятный, чем хороший чай. Присев под тентом, он взял кофе с бокалом ледяной воды. За чашкой Атаулин подумал, что хотя и не раз бывал в Касабланке, по-настоящему города так и не видел: все дела, дела, и дни были расписаны по минутам, а тут целых восемь часов до отплытия теплохода!

«Устрою-ка и я себе экскурсию», — весело решил Мансур Алиевич и махнул рукой проходившему неподалеку такси. День пролетел быстро. Атаулин не только осмотрел город, пообедал в ресторане на открытом воздухе, но даже успел часок поваляться на пляже. О том, что «Лев Толстой» прибыл вовремя, он знал: видел автобусы с нашими туристами в торговых рядах Касабланки. Туристы, возбужденные от впечатлений и покупок, возвращались шумные, веселые, не замечая жаркого послеполуденного солнца. Атаулин, дожидаясь посадки, жалел, что не купил соломенную или мягкую фетровую шляпу на манер ковбойских — сейчас она была бы кстати. Посадки на теплоход в таможенном зале порта, кроме него, ожидали четверо испанцев —

по всей вероятности, коммерсанты. Из обрывков их шумного разговора Атаулин понял, что плывут они только до Барселоны. Таможенный досмотр занял минут десять, и Мансур Алиевич поднялся на борт задолго до отплытия. Каюта на средней палубе оказалась вполне комфортабельной. Атаулин, не раскладывая вещи, расстелил постель и, когда «Лев Толстой» отчалил от африканского берега, тут же уснул — сказались бессонная ночь, перелет в Касабланку на разъезженном «Боинге», незапланированная экскурсия в город. Так что и последнего «прощай» он не сказал африканской земле, — за него махали жаркому берегу земляки-туристы.

Проснулся он неожиданно, скорее всего, от качки — теплоход был уже в открытом море. Наскоро умывшись и переодевшись, Мансур Алиевич поспешил на палубу. Из проспекта, полученного вместе с билетом, Атаулин знал, что теплоход, построенный по специальному заказу польскими корабелями в Гданьске, ходит лишь вторую навигацию. Лайнер, не уступавший лучшим мировым образцам, конечно, впечатлял: повсюду царил изысканный комфорт, кругом все сверкало и блестело.

Ужинать его определили во вторую смену, посадив за столик к двум милым девушкам из Кишинева, — и неожиданный для Атаулина круиз начался. Как Мансур Алиевич понял за первым же ужином с соотечественницами, адаптация ему просто необходима. За годы работы за рубежом он отвык от той непосредственной общительности, которая так присуща советскому человеку. Нигде так быстро, наверное, не сближаются люди, как у нас, этим мы отличаемся в первую очередь. Да, решил Атаулин после ужина, многому нужно учиться заново, ко многому привыкать. Дома следовало жить как дома...

После ужина, когда рано пала вязкая темная южная ночь с яркими крупными звездами, корабль вдруг словно вспыхнул изнутри яркими огнями, и тут же загремела музыка — началась вечерняя жизнь на теплоходе, может быть, самое памятное время в любом морском круизе. Атаулин, минуя танцевальные залы и шумные бары, нашел на корме коктейль-холл, где было потише, и, усевшись напротив открытой двери, наслаждаясь ночной прохладой, собрался тихо скоротать время. Но минут через сорок его нашли подружки из Кишинева.

— А мы весь теплоход обыскали. Думаем, куда это запропастился наш сосед — радостно выпалили они разом.

И Атаулин, отвыкший от чужого участия и внимания к собственной персоне, вдруг тоже обрадовался. Вечер они провели лихо, обо-



шли все бары и последними покинули палубу. Проснулся он среди ночи и, одевшись, поднялся на верхнюю палубу. Был тот час, когда кромешная тьма вот-вот начнет светлеть, гася одну за другой крупные южные звезды. Вдруг он увидел вдали яркие сполохи, фейерверк огней,— казалось, весь огромный бессонный город собрался на берегу. Атаулин догадался: они уже шли у испанских берегов, и скорей всего это были огни respectable курорта Аликанте, где съехавшиеся со всего света толстосумы гуляли до утра.

Совсем рассвело, когда он продрог и вернулся к себе в каюту. Разделся и блаженно нырнул под одеяло — после завтрака теплоход прибывал в Барселону, и девушки просили его взять на себя обязанности гида, а следовательно, нужно было быть в форме.

Осталась позади Испания, теплоход повернул к французским берегам. Соседки по столу жили ожиданием встречи с Францией. Доволен был и Атаулин: удобная каюта, приятное общество, прекрасная, а главное — привычная кухня... И родная речь вокруг — она-то более всего и радовала Мансура Алиевича. Днем, в жару, он пропадал со своими соседками в бассейне на верхней палубе, а когда те, разомлев от солнца, уходили к себе отдохнуть, спускался в библиотеку теплохода. Взяв старую годовую подшивку газет, внимательно читал статью за статьей. Нельзя сказать, что там, в Африке, он обходился без газет, просто читал их нерегулярно,— в его суматошной работе, когда суток не хватало, часто находились дела поважнее. А тут вот они: одна за другой следом — жизнь страны, которая шла без него. Газеты возвращали его к событиям прошедшего десятилетия. Никогда он особенно не задумывался, не слишком ли много времени отдал Африке, да и само уходящее время не очень ощущал,— может, оттого, что постоянно был до предела занят? И только сейчас, листая старые подшивки, Атаулин понял, как долго он жил вдали от дома. И впервые в читальном зале пришла мысль: «Наверное, эти десять лет были для меня годами роста, обретения себя, но что-то я потерял безвозвратно. Какая жизнь прошла стороной!»

Газеты то радовали, то огорчали, то вызывали улыбку,— ни одна статья не оставляла его равнодушным. Он хотел во все вникнуть сам: понять, например, что такое агропромышленный комплекс. Это началось уже без него. Взволнованно искал материалы по Нечерноземью: когда он уезжал, там все только начиналось, по большому счету, а теперь хотелось знать о результатах; десять лет — все-таки срок. О БАМе ему было известно больше — стройка эта не была обделена внима-

нием прессы, и газеты вскоре обещали укладку последнего, золотого звена. А вот множество статей о качестве товаров,— да и не только товаров, а и о качестве работы целых отраслей народного хозяйства настораживали. И это было не совсем понятно, ведь он уезжал, когда провозгласили пятилетку качества, и был убежден, что вопрос этот уже снят с повестки дня.

Мансур Алиевич поймал себя на мысли о том, что с интересом читает статьи о Прибалтике. А ведь когда-то, до отъезда, эти республики казались ему такими далекими. Не понимал он их поэзию, литературу, страсть к хоровому пению, а их живопись и скульптура казались ему лишенными изящества. Замкнутость, сосредоточенность прибалтийцев он принимал за высокомерие. Но теперь вся страна, от края до края, воспринималась целостнее, роднее, и все, что происходило в ней, волновало, трогало; пожалуй, это щемящее чувство Родины он в полной мере ощутил там, за рубежом, и, возможно, это обретение — немалая плата за то, что потерял.

Атаулин порадовался, что Узбекистан уже собирает более пяти миллионов тонн хлопка в год,— что такое хлопок, он знал,— видел, как выращивают его в Египте, Судане, Марокко. Перед отъездом он видел первые модели «Жигулей», а теперь промелькнуло сообщение, что готова к серийному выпуску спортивная, двухдверная модель, а марка «Нива» в ежегодных ралли по Сахаре оставляет позади машины многих признанных в мире автомобильных концернов.

Конечно, встречаясь с девушками у бассейна или вечером в баре, он не говорил им о часах, проведенных в читальном зале. Не выказывал радости и удивления по поводу взволновавшего его сообщения, не просил прокомментировать то или иное событие, о котором прочитал в тех же газетах, потому что кратчайший путь познания не считал самым верным. И разве он, умудренный жизнью мужчина, мог положиться на мировосприятие этих милых, не лишенных воображения девушек? К тому же у них гуманитарное образование, они работают в каких-то далеких от реальной жизни учреждениях и сами-то видят жизнь из окна комнаты с кондиционером. А он — прагматик, хозяйственник, человек аналитического инженерного ума — даже в статьях без подтекста чувствовал второй план, видел картину порой яснее, чем сам автор, потому что автор — тоже гуманитарий и опирается больше на то, что увидел, что ему показали, чем на реальное знание предмета. Причину неубедительности журналистики Атаулин видел в слабой компетентности ее представителей и как технократ верил,



что не за горами то время, когда в газете каждая статья будет писаться специалистами и только специалистами. Он не понимал, почему между газетой и темой нужен посредник-журналист: излишество, анахронизм в век поголовной грамотности.

«А все-таки как прекрасно, что так вышло — домой теплоходом!» — подумал Атаулин, нежась в шезлонге на палубе. Закрыв глаза, подставив лицо ласковому солнцу и ветру, он невольно прислушивался, о чем говорили рядом. Чаще всего эти разговоры, свидетелем которых он становился, потому что тайны из них говорящие не делали, были не о кризисе, не о романтических портах, в которые они заходили или зайдут, не о странах с внешним изобилием — разговоры были о земле, откуда люди родом и куда вскоре вернуться, о насущных делах, что ждут их, когда закончится отпуск. И этим неумением, нежеланием отстраниться от повседневных проблем, наверное, тоже отличается наш человек. То, о чем говорили случайно оказавшиеся рядом, волновало Мансура Алиевича, ибо все это завтра должно было стать и его заботами.

Прошли Сет, теплоход приближался к Марселю,— у всех с уст не сходило: Франция, Франция...

Атаулин как-то задумался: отчего это при слове «Франция» человека охватывает особое волнение. Разумеется, известно, что наша культура и история связаны с этой страной как ни с какой другой. Но главное, наверное, в том, что вся русская классическая литература, на которой мы воспитаны, пронизана любовью к Франции.

Из Марселя «Лев Толстой» отбыл с опозданием на полтора часа. Дело в том, что когда туристы вернулись с экскурсии по городу, на теплоход пришли гости: активисты местного общества «СССР — Франция». Такая встреча, конечно, не могла закончиться в запланированное время. Она вылилась в шумный праздник с импровизированным концертом, где Мансуру Алиевичу пришлось быть переводчиком. Теплоход отплывал из Марселя поздно вечером, когда на причалах уже горели огни. И каждодневная вечерняя жизнь теплохода на этот раз была еще более бурной — Франция словно оставила на борту часть своего веселья, неиссякаемого юмора и жизнелюбия.

Наутро, после завтрака, кишиневские девушки пришли к бассейну с кипой французских журналов и газет. Мансур Алиевич и не помнил, когда они их закупили, потому что в Марселе они, кажется, ни на шаг не отходили от него. Красочные иллюстрированные журналы были большей частью о модах, светской жизни, спорте. Наугад отыскав ту или иную статью с любопытной фотографией, девушки

просили Мансура Алиевича перевести ее. После журналов пришел черед газет, но газеты, по мнению девушек, оказались скучными, без светской и скандальной хроники. Не волновали эти газеты и Атаулина, его мысли были о тех газетных подшивках, что ждали его в библиотеке на нижней палубе. После обеда он направился в читальный зал, к которому уже привык и куда его больше всего тянуло на корабле.

В читальном зале стояла приятная прохлада, бесшумно работали кондиционеры. Мансур Алиевич прошел вдоль стеллажей, где аккуратно лежали подшивки газет. Он не выбирал газету специально, не смотрел на год, брал что под руку попадет, — для него все представляло интерес.

Он прошел мимо стеллажа с «Правдой», «Известиями», «Комсомолкой» — эти газеты, хоть и нерегулярно, с большими перерывами, Атаулин читал. И вдруг на глаза ему попала подшивка «Литературной газеты». Эту газету Мансур Алиевич действительно видел редко. Может, в посольство она приходила и регулярно, но к ним, в глубинку, на объект, не попадала — это точно. Атаулину случалось читать ее три-четыре раза в год, не больше, когда кто-нибудь приезжал с Родины, — все приезжающие знают тягу к родным газетам и везут их кипами, — да в редкие наезды в Москву. Но среди его коллег-строителей эта газета была хорошо известна и пользовалась популярностью, пожалуй, большей, чем их профессиональная. Конечно, большинство привлекала вторая ее часть, где ставились и квалифицированно обсуждались хозяйственные проблемы, эксперименты, поиски. Правда, кое-кого не оставляла равнодушным и первая половина газеты, где обсуждались чисто литературные, творческие проблемы. Среди коллег Атаулина, безусловно, были люди, которые, несмотря на те же условия, читали «Литературку» гораздо чаще, чем он. Но тут уж каждому свое. Зато у Атаулина можно было получить практически любую техническую консультацию, его так и звали шутя: «ходячая энциклопедия», а африканские коллеги за глаза, между собой окрестили его «Мистер Гост», потому что он помнил наизусть практически все ГОСТы на изделия, материалы и строительные конструкции.

И споры у них по поводу статей в «Литературной газете» бывали горячие. Издалека, из Африки, они острее ощущали проблемы родной страны. Может, дома на что-то они бы и внимания не обратили, а здесь, на чужбине, все воспринималось острее. Сейчас, держа в руках подшивку, Атаулин вдруг припомнил горячую давнюю дискуссию в культурном центре Найроби.



В Найроби он тогда только прибыл, мало кого знал, поэтому по существу в споре не участвовал. В культурном центре по субботам устраивались вечера, а главное, люди приходили обменять книги. Там была прекрасная библиотека: книжные новинки, журналы, газеты — все в первую очередь доставлялось туда. В небольшом холле при библиотеке и разгорелся спор о книгах, об авторах...

Из заинтересовавшей его дискуссии Атаулин понял, что разговор идет об ответственности перед читателем не только автора, но и издателей и рецензентов, чтобы выходило меньше книг слабых, серых. Поскольку народ в холле собрался деловой, хваткий, тут же были высказаны и кое-какие соображения, показавшиеся Атаулину вполне логичными.

Например, кто-то предлагал указывать в книге не только фамилию редактора, но и фамилии рецензентов, с одобрения которых пошла к читателю слабая книга, а если у иного рецензента таких книг наберется многовато, то такого ни за что нельзя и за версту подпускать к книжному делу.

Кто-то сетовал, что иную повесть, а то и роман бездарный автор умудряется и в журнале напечатать, и в «Роман-газете» тиснуть, не говоря уж об отдельных книгах то в одном, то в другом издательстве, а через год-два, глядишь, уже выходит переиздание. У неискушенного читателя, повсюду встречающего одну и ту же книгу и фамилию, складывается мнение, что книга эта — значительная, а ее автор — большой писатель. Хотя все объясняется просто — служебным положением автора. Тогда же сгоряча решили, что не мешало бы в каждой книге, каждой журнальной публикации в обязательном порядке давать небольшую справку об авторе с непременно указанием должности — в справке такой ничего оскорбительного для автора нет, даже наоборот: если он профессиональный писатель — укажи, если он директор издательства или заведующий отделом в журнале — тем более укажи. Читатель наш самый подготовленный в мире, он поймет, лучше и быстрее любой ЭВМ подсчитает, кто кого и за что печатает. Обо всем этом в итоге решили написать в «Литературку».

Дальнейшей судьбы многочисленных предложений Атаулин не знал, но недавно в какой-то книжке увидел фамилию рецензента и порадовался. Значит, не зря тогда шумели. Вот какая история, связанная с «Литературной газетой», припомнилась сейчас Мансуру Алиевичу.

Атаулин устроился поудобнее, разложил подшивку и стал подряд просматривать газету за газетой. Часа через два он вышел на палубу

покурить и, вновь вернувшись в читальный зал, взял подшивку за следующий квартал. На палубе от обилия проблемных статей в «Литературке» ему вдруг пришла в голову такая мысль: «То ли проблемы, словно лавина, неожиданно навалились на страну, то ли они всегда были, а мы не хотели обременять себя, отмахивались от них и откладывали их решение в долгий ящик, а сегодня уже откладывать некуда, все ящики полные, или, может, настало то самое время, о котором мечтал Ленин — «время творческой зрелости масс». Ведь многие проблемы, и нештучные, подняты по инициативе и силами читателей.

Поразила и обрадовала его рубрика «С разных точек зрения» — два различных мнения об одном и том же произведении. И, конечно же, мысль автоматически перекинулась на хозяйство: «Жаль, что так оценивают только литературу... Не мешало бы подходить с такой же меркой ко всем народнохозяйственным проблемам. Выслушивая обе стороны, мы избежали бы многих скоропалительных решений, когда сиюминутная выгода, застилающая глаза, оборачивается через годы такими невосполнимыми потерями, что только диву даешься». Какие-то статьи вызывали в нем неведомый доселе азарт, рождали шальную мысль: «Может, и мне поделиться своими соображениями на страницах газеты? Наболело за эти годы, да и опыт что-то значит».

Построил он на своем веку немало — и за рубежом, и дома, хотя в Африке, конечно, больше. И дело свое, наверное, знал, если не раз давали ему на оценку, на сравнительный анализ проекты всемирно известных фирм, желающих получить подряд на строительство в развивающихся странах. Да, не раз международные организации привлекали Атаулина в качестве эксперта. А по истечении срока работы в Африке ему официально предложили должность эксперта в ООН. Но Мансур Алиевич не согласился — это означало, что ему еще долго придется мотаться по свету, — контракт предлагался на десять лет. А ему хотелось домой. Почему-то часто вспоминалось письмо матери, где она писала: «Много важных дел на земле, сынок, но главное, мне кажется, — сгодиться земле родной, на ней оставить след. Школа наша, в которой ты учился и где я проработала сорок пять лет, валится. Вот вернулся бы, пожил дома, перевел дух. А заодно и школу новую построил. При твоём опыте, наверное, это нетрудно. Небось не откажут, если хлопотать за школу станешь, ведь вон у тебя сколько наград».

Это письмо старой матери что-то задело в душе Атаулина, что-то разладило в его четко отлаженном механизме жизни, где впе-



реди и позади были только стройки, стройки, работа, работа. Вспомнив о письме, о школе, в которой учился, Мансур Алиевич отложил газету и задумался об Аксае, о своей малой родине. Он редко возвращался мыслями к тому периоду жизни, о котором большинство любит погрузиться, повздыхать, как о времени невозвратном. Ведь в той прекрасной юности у каждого навсегда остается своя река, свой лес, свой аул, друзья, любимая. Большинство вспоминают об этом часто, даже если и отчий дом где-то рядом, в двух-трех часах езды поездом. А Атаулин вспоминал редко даже там, за рубежом, где ничто, ни один кустик, ни даже цвет земли и неба не напоминали о родном крае...

...Мальчиком в голодные послевоенные годы он смотрел однажды трофейный, скорей всего, голливудский фильм о каком-то знаменитом архитекторе. Может, фильм был талантливо снят, а может, в бедном, вросшем по окна в землю поселке, где и кино-то показывали в колхозной конюшне, все творения архитектора казались ему гениальными, фантастическими. Тогда он не мог ни знать, ни даже представить, что существуют павильонные съемки и целые города можно выстроить из папье-маше. Ему казалось, и нарисовать такое трудно, не говоря уже о том, чтобы построить. Вот тогда он и вбил себе в голову, что непременно будет архитектором. Тогда он не отделял одно от другого: проектировать для него означало строить. Мечта его могла показаться дерзкой, потому что из их маленького поселка в те послевоенные годы все ребята шли только двумя давно проторенными путями: в Гурьевскую мореходку и Алгинское ремесленное училище, где готовили слесарей-аппаратчиков для местного химвкомбината. Эти пути считались самыми верными, потому что и в ремеслухе, и в мореходке кормили, одевали и давали специальность. В Аксае даже объявления о приеме вывешивать перестали, потому что после окончания семилетки ребята дружно шли на станцию и на крышах вагонов добирались до Гурьева и Алги. И так каждую осень, почти до шестидесятых годов, когда жизнь стала потихоньку налаживаться и у них. Никто из тех ребят, ушедших в «море» или на «химию», больше не возвращался в родной Аксай. Странная судьба — сухопутный Аксай дал несметное количество моряков и, наверное, до сих пор по всем морям и океанах ходит немало земляков Атаулина штурманами, механиками, матросами. Ну, конечно, не на таких роскошных теплоходах, как «Лев Толстой», а на рабочих судах: сухогрузах, танкерах и рыбацких сейнерах. А он вдруг задумал стать архитектором! Правда, мечтой своей Мансур не делился ни с кем, даже с домашни-

ми — был уверен: не поймут, засмеют — архитектор! Живя в землянке, нелегко воспарить в мечтах. Наверное, та ранняя тайна, зревшая в нем, и наложила отпечаток на его характер: скрытный, не особенно общительный, самостоятельный, Мансур ни к кому в душу не лез и к себе особенно не подпускал. Но был в его жизни момент, когда он отступился от своего правила, и это едва не обернулось бедой. Об этом эпизоде Атаулин не любил вспоминать, и, может быть, это было главной причиной того, что он никогда не навещался в Аксай. Мать, как никто другой знавшая, как переживал все случившееся сын, никогда не настаивала, чтобы он приезжал в отпуск домой. Вот только теперь, в последние годы, когда прошло столько лет и сама она крепко сдала, нет-нет да и просила приехать.

Задумавшись об Аксае, Мансур Алиевич отложил газету в сторону — читать уже не хотелось, интерес пропал. Он поднялся на палубу. Небольшой ветерок трепал матерчатые спинки пустых шезлонгов, — туристы, после бурного прощания с Францией, отдыхали — час сиесты, как стали говорить на теплоходе после Испании. Странно, до сих пор он почти не задумывался об отчем доме, где не был уже более двадцати лет. «Что ж, время и место самые подходящие, спешить некуда», — усмехнулся Атаулин, прогуливаясь по безлюдной палубе.

О том, что произошло тогда в Аксае, на первой в его жизни стройке, он никогда никому не рассказывал. Никто из коллег не знал об этом, но сам он всю жизнь если и не вспоминал постоянно, то уже точно не забывал. И кто знает, может, это и стало самым необходимым уроком в начале жизни.

Институт он закончил в Москве и в числе лучших студентов выбирал направление одним из первых. Выбрал Казахстан. Не потому, что родные края, а потому, что тогда, в самом конце пятидесятых, эта республика, ставшая на ноги с освоением целины, строилась из края в край — и стройки велись на любой вкус, хоть гражданские, хоть промышленные.

В Алма-Ате, в Министерстве строительства республики, конечно, поинтересовались, откуда он родом, из каких мест, почему решил работать в Казахстане? И когда он назвал родной Аксай, велели прийти завтра: кажется, в тех краях, почти дома, найдется подходящая работа. Работа — и впрямь интересная, а главное — самостоятельная — нашлась не где-то рядом, а в самом Аксае. Шла шестая целинная осень, и страна в том далеком пятьдесят девятом году ждала первый казахстанский миллиард пудов хлеба. С целиной связы-



валось решение хлебной проблемы, и в степях обживались надолго и всерьез. Оттого и развернулась большая стройка в богом забытом степном Аксае. На сотни верст кругом — ровная, неоглядная степь с редкими овражками и чахлыми перелесками. Аксай стоял вдали от больших дорог, до железнодорожной станции и райцентра Нагорное — двадцать верст. По нынешним меркам, кажется, всего ничего, а по степному бездорожью, особенно когда по осени задождит, развезет проселочные дороги, никакая машина без трактора до райцентра не доберется. А Аксай и сам хлеб растил, и вокруг — совхоз на совхозе, что появились опять же с освоением целины. Вот и оказалось, что его район стал в области самым хлебным, и решено было возвести там два элеватора. Один в Нагорном, при железной дороге, чтобы сразу отгружать вагоны с хлебом, другой в Аксае, чтобы принимать хлеб из глубинки. В Нагорном, доселе тоже не знавшем большого строительства, создали строительно-монтажное управление, а в Аксае — хозрасчетный участок этого СМУ, хотя возводили и там и тут два одинаковых, как близнецы, элеватора. В это недавно организованное СМУ и получил направление молодой инженер Мансур Атаулин.

Управление уже с полгода как создали, а работы толком еще и не разворачивались, едва-едва разбивку по осям закончили да обноску территории завершили, — шел нескончаемый организационный процесс. Атаулину в СМУ обрадовались, и прежде всего потому, что он местный: за полгода из Аксая сбежали уже два начальника участка. Да и то сказать: ни гостиницы в поселке не было, ни приличной столовой, а одна-единственная чайная работала только днем — приедем здесь было несладко. Мансура сразу оформили начальником участка. Конечно, сейчас, когда дипломированных специалистов хоть пруд пруди, вряд ли такое может случиться, прорабом поставят — уже удача. Наверное, учитывали и московский диплом, а главное, тогда ни у кого не возникало вопроса: потянет или не потянет. Инженер — значит инженер, обязан работать и тянуть. Да и у самого Атаулина страха не было, даже радовался, что будет сам себе хозяином. «Не каждому так везет», — решил он тогда.

Сейчас, на палубе теплохода, идущего по Средиземному морю, Атаулин словно воочию увидел ту свою первую в жизни стройку. Начинал он практически с нуля: и кадры пришлось набирать, и здание прорабской спешно возводить, и склады, и подъездные пути к элеватору строить.

Может, он идеализировал своих первых подчиненных, но таких рабочих — умелых, исполнительных — у него никогда больше

не было, разве что в Африке, да и то их можно было сравнить лишь в безотказности, аккуратности, а вот в мастерстве, инициативности, самостоятельности разве сравнишь!

Поначалу у него не было кадровых рабочих-строителей — все только местные, и каждый пришел с заявлением: «Прошу принять разнорабочим», иные писали печатными буквами «чернорабочим». Атаулин за голову схватился, увидев гору таких заявлений. Ему же срочно требовались плотники, арматурщики, бетонщики, каменщики — эти профессии в первую очередь, позарез, без них элеватора не построишь. Он подумал было об управлении в Нагорном, но молодым умом понял, что на помощь оттуда надеяться не приходится и нужно действовать самому.

«Прекрасное, требовательное время», — думал иногда Атаулин, вспоминая начало трудового пути. Они сами искали выход из любого трудного положения, а не ссылались на причины, пусть и самые что ни на есть объективные.

Когда Атаулин вступил в должность, на участке числилось восемьдесят рабочих, из них четыре пятых разнорабочими, а остальные, имевшие специальность, были прикомандированными, и особенно рассчитывать на них не приходилось. Свои должны быть кадры, свои — это Мансур понял сразу.

На другой день к концу смены он попросил всех без исключения рабочих собраться на пустой строительной площадке, где только делали обноску. Прежде всего он рассказал о том, что они будут строить, показал, как будет выглядеть готовый элеватор. Накануне он просидел, рисуя его цветными красками на листе ватмана всю ночь, — старался, чтобы впечатляло. Люди должны ясно представлять, что они строят, во что вкладывают свой разум и силу. Потом объяснил: чтобы построить такую махину, им нужно учиться, овладеть новыми профессиями. И увидел, как его «гвардия» на глазах сникла — средний их возраст был ближе к пятидесяти, большинство фронтовики, с грамотой у всех нешибко. Куда уж нам учиться, поздно — так можно было обобщить хмурое молчание земляков.

На иную реакцию Атаулин и не рассчитывал, знал, какой неодолимый страх вызывает у человека неграмотного, тем более пожилого, напоминание о необходимости учиться. Но знал он и другое. Стройка для поселка, где были не избалованы постоянной работой и твердыми заработками, расценивалась в каждой семье как надежда на лучшую жизнь.



Поэтому Мансур пошел на хитрость.

— Поймите меня правильно,— сказал он веско.— Стройке не нужно столько разнорабочих. А если вы не хотите получить специальность, я вынужден буду уволить вас или командировать в Нагорное, где вы будете работать на станции грузчиками. Ну, а учиться... Я не требую, чтобы вы вели конспекты, не стану устраивать экзамены, чтобы присвоить вам разряд,— достаточно и того, что скажут ваши инструкторы — получается у вас работа или нет. Я и сам буду заниматься с вами, рассказывать о каждом предстоящем цикле работ: его объемах, цене, о нормативных сроках стройки и нормативном расходе материалов. К тому же, если кто запишется в плотники, а дела у него не пойдут — не беда, можно перейти в бетонщики или каменщики. Но через месяц-два, от силы три, каждый из вас должен найти свое место на стройке.

Он внимательно взгляделся в лица окружавших его людей и увидел на них уже не испуг, а интерес и надежду. И гораздо увереннее продолжил:

— А сейчас тех, кто умеет держать в руках топор и пилу,— попрошу в одну сторону, тех, кто хоть однажды сложил себе сарай или печку,— в другую. Тем, кто помоложе и у кого силенок побольше, ну и кому как следует заработать нужно,— рекомендую в бетонщики. Самая тяжелая и почетная работа, будете ударной силой. Может, слышали: бетон — хлеб стройки! Тут уж учеба самая простая — не разгибай спины.

Заработать нужно было каждому, и из подавшихся было в плотники и каменщики кое-кто тут же переметнулся к бетонщикам. Но Атаулин остановил их.

— Не спешите, везде будет возможность заработать, это я вам обещаю. Только работать научитесь. Зарплата будет зависеть от вас — что заработаете, то и получите.

Он почувствовал, что молчание рабочих стало напряженным, и понял, что коснулся больной темы. Сказал уверенно:

— На нашей стройке, если удастся организовать дело так, чтобы одна бригада не простаивала по вине другой, заработки будут хорошие. Вижу, пришли вы не на один день, вкалывать будете до последнего, пока не въедут сюда, где мы сейчас стоим, машины с зерном. Так что, считайте, с этого месяца у вас будет приличный заработок. Но главное, мне кажется, чтобы дома у каждого из вас почувствовали, что вы стоящим делом заняты.

Он замолчал, и люди стали оживленно обсуждать услышанное.

Мансур стоял, волнуясь не меньше, чем окружавшие его рабочие, и понимая, что никто не давал ему таких полномочий — устраивать «кликбез» и тем более обещать заработки, пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Но понимал он и другое: здесь он в ответе и за элеватор, и за людей, которых должен направить и обнадежить. Толпа не расходилась, и вдруг из группы «бетонщиков» вышел его сосед, дядя Саша Вуккерт, отец многодетного семейства.

— Ты, Мансур, уж больно напугал нас ученьем. Ученье ученью рознь. Учиться работать мы будем — такая грамота каждому из нас по плечу. Ты говоришь, научат нас ремеслу приезжие, а я думаю, и среди своих, если хорошо поискать, найдутся люди, знающие толк в строительстве. Я вот в войну в Челябинске завод строил, сварочное и арматурное дело знаю. Да и кладке могу поучить, не забыл еще. А если и зарплата будет, как ты говоришь, подходящая, мы в долгу не останемся. Правильно я говорю, мужики? — дядя Саша повернулся к землякам.

— Да чего уж там, не сомневайтесь, не подведем, — вразнобой поддержали собравшиеся.

...Им навстречу — и слева, и справа — параллельным курсом шли и шли величественные, как айсберги, нарядные теплоходы под разными флагами, и ветер доносил с некоторых палуб веселую музыку — у каждого свое расписание, свой порядок на корабле. «Тесно стало и на земле, и на воде, и в воздухе, да и в космосе уже, наверное...» — почему-то подумал вдруг Атаулин. Но мысль о вселенских проблемах не прервала его дум об Аксае, где двадцать три года назад он строил элеватор...

Когда через два года Атаулин сдал приемной комиссии свой первый в жизни объект и, несмотря на молодость, круто пошел вверх по служебной лестнице, к нему стали обращаться с просьбой поделиться опытом — как это удалось раньше нормативного срока построить элеватор в степи, вдали от железной дороги; как ему удалось уложиться в сметную стоимость. Всесоюзный трест «Элеватормелестрой» выпустил информационный бюллетень, где были запечатлены на снимках не только готовый элеватор, но и отдельные этапы работ. А Атаулин рассказал о технико-экономических показателях, описал работу самой большой комплексной бригады Вуккерта, на долю которой приходилась треть выполненных работ. Бригаде же принадлежала и половина всех изобретений и рационализаторских предложений. Да, работали тогда небездумно...



В том же бюллетене были и снимки известных бригадиров, ударников стройки, но не было фотографии самого Атаулина. Наверное, начальство полагало, что не стоит афишировать, как вчерашний выпускник продемонстрировал не только инженерный талант, но и административную хватку. Атаулин не обиделся, решив, что его время еще впереди, да и к бюллетеню отнесся скептически.

Но все это было потом, и на бумаге казалось четким, убедительным, цифры, показатели и темпы просто ошеломляли, а в жизни все происходило совсем не так парадно. Ведь Мансуру тогда было всего лишь двадцать два, и эlevator стал первой стройкой в его жизни.

Как только закончили с «нулевкой», то есть поднялись из фундаментов, он ощутил, что дело пошло, и пошло по какому-то скоростному графику, по сравнению со строительством в Нагорном.

Атаулин в душе был уверен, что чужой опыт нельзя внедрять повсеместно, разве что в мелочах, в том, что явно, очевидное, а в целом — никогда. Тогда молодым умом он понял для себя, что нужно не чужой опыт внедрять, а растить, поддерживать людей, способных создать свой. Может, оттого у него каждый бригадир относился к делу с такой ответственностью, какой иногда не обнаружишь у человека, облеченного властью. У него и табельщица Мария Николаевна Яблуновская «владела» общей картиной строительства настолько, что он мог доверять ей, как нынешним ЭВМ — все она знала, помнила, могла предсказать. По мышлению, энергии, хватке она была создана для такого живого, кипучего дела, как строительство. А что может быть важнее, чем человек на своем месте! Вот такие люди «на своем месте» были у него на каждом мало-мальски важном участке, — а в большом деле мелочей нет. Попадется непутевый сантехник, — а он один по штату на участке — оставит вдруг по нерадивости на один день стройку без воды — и простоят без дела почти триста человек, и полетят планы на неделю, на месяц. А слесарем-водопроводчиком был на участке Геннадий Александрович Кужелев, фронтовик. И ни разу за два года у них перебоев с водой не было, а там, где велись бетонные работы, она шла рекой. Начальство в Нагорном заинтересовалось Кужелевым, и, считай, работал Геннадий Александрович на два элеватора за одну зарплату, но Атаулин не обижал его рублем, понимал, что лучше платить одному специалисту, чем трем никчемным работникам.

Каждого из трехсот рабочих Мансур знал не только по имени, но и представлял, что они за люди, потому что сам был крепко повязан корнями с Аксаем и еще потому, что более половины из них были

отцами его друзей, сверстников, знакомых, а другая половина — молодежью, которую он тоже знал, или знал их братьев и сестер,— и о каждом он имел собственное мнение.

А женская бригада арматурщиц! Они вытеснили арматурщиков из мастерских, решив, что не мужское это дело — вязать арматуру. Как они работали! Хотя и арматура порой шла дюймовая, а она по пять-шесть метров длиной,— потаскай-ка ее целую смену. Но не жаловались, поднимали,— разумели, что мужчины нужны в другом месте. Вот такая особая была у него первая стройка — как же обобщить ее опыт для передачи другим? Любое дело переплетается с конкретными людьми, конкретными обстоятельствами и держится на начальнике — как работает он сам, так работают и подчиненные. Нельзя требовать от людей, не предъявляя требований к себе, делая себе скидку. Это он, несмотря на молодость, усвоил сразу, как только принял участок.

В том давнем сентиментальном фильме,— как ни странно, определившем его судьбу,— строились какие-то сказочно-роскошные виллы, дворцы, особняки, концертные залы, от которых невозможно было оторвать взор — так они были прекрасны. Мечтал построить что-нибудь подобное и Атаулин, но жизнь распорядилась иначе — он попал в промышленное строительство, где интересной работы для ищущего инженера хватит на долгий век. Почти через одну — такая стройка или впервые в стране, или впервые в мире, опыт, накопленный на одной, вряд ли пригодится на следующей. Каждая стройка — как новая книга у писателя: вроде и опыт есть, и в то же время — все заново. Этим и привлекало Атаулина промышленное строительство: нестандартностью, поиском новых решений, потому что новое неизбежно требует новых путей, новых материалов, новых конструкций.

Сейчас, размышляя о своей первой стройке, он вдруг вспомнил, как перед самым отъездом наткнулся в американском журнале «Архитектура» на любопытный материал.

Статья сразу бросилась ему в глаза, потому что целый разворот был отдан красочным снимкам элеваторов. Зернохранилища эти, построенные американцами еще до войны, размерами превосходили те, что строились тогда в Аксае и Нагорном, и по конструкции, конечно, отличались, потому что двадцать лет в строительстве — целая эпоха. Хотя элеваторы, о которых рассказывалось в журнале, могли служить и по сей день, но время распорядилось по-иному. Районы, некогда



бывшие зерновыми, стали чисто промышленными, и гектара посевных не найти в некоторых штатах. Огромные сооружения, словно динозавры и мастодонты из прошлого, стояли без дела: и рушить жалко — ставились-то на века, и под современную химию или что другое вряд ли приспособишь. И вот пришла идея какому-то пытливому архитектору переоборудовать элеваторы под жилье, под современные квартиры. И какие получились квартиры — просто загляденье!

Мансур Алиевич тогда поразился, как умело распорядились утратившими свое назначение сооружениями американцы, а ведь у них таких зернохранилищ, как и у нас, десятки тысяч.

Его первый элеватор и впрямь был хорош, хотя вряд ли его можно было переоборудовать под жилье, даже при самой большой фантазии. И место для него выбрали удачно — рядом с поселковым парком. Мансур предполагал тогда, что еще немало лет после сдачи в эксплуатацию элеватор, как и во время строительства, будет крупнейшим предприятием в Аксае. Потому частенько на собраниях напоминал рабочим, что им не только строить, но и работать придется на этом элеваторе.

Конечно, с первым объектом ему крупно повезло: он получил почти неограниченную свободу действий. Парадокс заключался в том, что стройку в Нагорном, где находилось строительное управление, лихорадило, там трижды за два года сменилось руководство. А это так или иначе пошло ему на пользу — не до него было, тем более, что Атаулин помощи почти никогда не просил. На участке у него было два мастера, из практиков, дело свое они знали, но на чертежи, теодолит, нивелир грамоты не хватало, да и привыкли они строить больше на глазок, чем с инструментом, поэтому все инженерные работы и документация лежали на нем одном.

Конечно, порой его решения отдавали авантюризмом, но все делалось только в интересах дела и только дела, об ином — и мысли не было. Никогда — ни до, ни после — он не слышал, чтобы где-нибудь в стране на промышленных предприятиях или на стройках в летнее время работали с четырехчасовым обеденным перерывом. Тогда в Аксае не говорили, как сейчас на теплоходе после Испании — сиеста, Атаулин тогда и слова такого не знал, как не знал и того, что практика такая где-то существует. Просто он решил, что так будет лучше и людям, и делу. Столовой на объекте не было, а если бы и была, вряд ли кто пошел бы туда: Аксай поселок небольшой, каждый обедал дома, даже командировочные столовались у хозяев. Летом в Аксае жара не меньше, чем в Средней Азии, в иные дни стол-

бик термометра за цифру сорок перескакивает, особенно в полдень. А работа на стройке требует сил — и немалых. Выходило, что рабочие в обед и дух перевести не успевают, бегом домой да обратно, вот и весь перерыв. А учитывалось рабочее время строго с первого дня, — да и не водилось тогда за трудящимся человеком этого — урвать на личные нужды от рабочего времени. Вот и решил Мансур на свой страх и риск, — конечно, поговорив с народом, — сделать большой перерыв, ведь световой день летом велик. Рабочие приняли новшество с энтузиазмом: никто не опаздывал, и возвращались люди отдохнувшими, с новыми силами. Больше всего такому перерыву были рады арматурщицы и отделочницы: они успевали и детей из школы встретить, и покормить их, и скотине домашней кое-что подбросить. Во второй половине дня производительность была даже выше, — проводил для себя хронометраж Атаулин.

Может быть, хронометраж и натолкнул его на мысль: обсчитывать все по многу раз — и объемы, и сроки, и зарплату, и расход материалов. Жаль, что когда его учили, преподаватель предмета «Сметы и отчетность» не сказал о главном лозунге, который, наверное, следовало бы повесить на стенах кафедры вместо многочисленных стандартных транспарантов: «Если не научишься считать, никогда не станешь настоящим инженером».

Он организовал подобие строительных курсов для аксайских мужиков не потому, что считал это единственным выходом. Если бы стройка стояла, рабочую силу прислали бы. Так в большинстве случаев и поступают — кто же позволит стоять государственной стройке? Но, просидев вечер с арифмометром, — был такой громоздкий предмет, который сменили нынешние удобные калькуляторы, — Мансур понял: приезжие «съедят» почти весь фонд заработной платы, и о приличных заработках для всех тогда вообще думать нечего. У командированных — опытных рабочих — всегда высокие разряды, которые он не вправе ни отменить, ни понизить, и они будут снимать пенки, работая в одной бригаде с местными, что в конце концов непременно вызовет недовольство большинства. Справедливее больше платить за выполненную работу, чем оплачивать командировочные рабочим из той же Алма-Аты. В таком случае разряд, который надо получить, стал бы в его руках мощным рычагом поощрения наиболее старательных рабочих.

И если откровенно, Мансуру хотелось дать людям заработать, хотелось помочь землякам встать на ноги. Это потом, месяца через



два-три, когда дела пошли, его охватил строительный азарт, он почувствовал себя хозяином этой громадной стройки. Радовался, что предвидел работы на много дней и месяцев вперед, текучка дел не застила ему глаза. Он начал вдруг видеть масштабно, как гроссмейстер, всю шахматную доску сразу, а если надо, представлял ее и вслепую.

Атаулин всегда знал, как идут у него дела в каждой из восьми бригад. Наверное, он не изобретал ничего нового,— просто поступал как рачительный хозяин, если в конце смены говорил какому-нибудь бригадиру: оставь человек пять после работы, пусть сделают то-то и то-то, иначе завтра с утра все бригады будут простаивать или работать вполсилы. Или вдруг какая-нибудь бригада выходила на объект и в воскресенье, чтобы дать фронт работы в понедельник другим. Все эти переработки табельщица строго учитывала, оплачивались они дополнительно, поэтому желающие подзаработать даже в воскресенье всегда находились. Выгоднее было переплатить десятерым рабочим за день, чем терять на простое сотни. Но был у Атаулина еще один и, пожалуй, самый мощный рычаг воздействия на энтузиазм рабочих, рычаг, о котором он, к сожалению, не мог рассказать никому.

Аксай, сплошь состоявший из землянок, по окна вросших в землю, большей частью даже небеленых, с глиняными или крытыми рубероидом крышами, производил на Атаулина после Москвы тягостное впечатление. В редком доме, не считая сельсовета и школы, были деревянные полы. И стройка, конечно, принесла надежду не только заработать, но и отстроиться, пусть не шикарно, но хотя бы вылезти из землянок — этого хотелось всем.

Но как строить? Если деньги и можно было теперь заработать, то с материалами дела обстояли хуже некуда,— в Аксае нельзя было даже гвоздя купить, потому что хозяйственный магазин был только в райцентре. Атаулин долго думал, как изыскать лишние материалы, ведь если рабочих лишить всякой надежды получить их легально — станут воровать, а значит, непременно попадутся: Аксай не город, здесь все на виду. А кто ж разрешит раздавать материалы, предназначенные для стройки, и как оформить такую продажу? Как ни крути, казалось, что выхода нет.

Мансуру вспомнилась преддипломная практика на большой стройке. Пропадали там из-за бесхозяйственности, халатности тонны цемента, ржавели мотки проволоки для арматуры. Пропадал лес, пиломатериалы, кирпич выгружали самосвалами, и половина его сразу списывалась как бой. Сжигались сотни кубометров опалубки —

впрочем, девать ее было некуда, технология на ответственных конструкциях требовала применять ее одноразово. Да и тащили нещадно все, кому не лень, и никого не наказывали, и у прорабов все-таки сходились концы с концами — значит, был какой-то выход. Но какой? Ведь того, что было загублено только на одной его преддипломной стройке, с лихвой хватило бы, чтобы отстроить весь Аксай. Как же сейчас-то быть, как людям помочь не в ущерб делу?!

Атаулин ощущал, как ему не хватает практического опыта. Ничего путного в голову не приходило, а заявления уже копились на столе в прорабской. На первых порах просили в основном помочь с цементом для строительства колодца. Пришла тогда в Аксай такая мода — строить собственные колодцы во дворе, раньше-то пользовались общими, до которых было шагать да шагать. А когда колодец далеко, огород нелегко содержать, а уж если надумаешь строить, без своей воды не обойтись. Цемент был нужен, чтобы лить бетонные кольца вместо недолговечного деревянного сруба, и цемента-то требовалось на колодец килограммов триста-четыреста, но и этим он не мог распорядиться по своему усмотрению.

Однако обстоятельства подсказали ему решение и этой проблемы, — а может, вопрос решился еще и потому, что в молодости риск не казался риском, молодость тем и сильна, что не умеет прятаться за чужие спины. На ноябрьские праздники пришли в Нагорное вагоны с цементом, арматурой и пиломатериалами, двенадцать из них предназначались для Аксая. Весь октябрь стояла прекрасная погода, и работали на участке, не считаясь со временем. Люди по всем статьям заслужили праздник, как же тут было объявить аврал шоферам и грузчикам из-за прибывших вагонов?

Атаулин на всякий случай позвонил на станцию, справился, во что обходится час простоя вагона с грузом. Цифра его ошеломила и напугала, надо было что-то предпринимать... Он сидел в пустой прорабской один и от волнения перебирал заявления рабочих о помощи. И вдруг его осенило... Он пододвинул к себе арифмометр, быстро подсчитал стоимость разгрузки каждого из двенадцати вагонов и тут же выписал наряд на каждый в отдельности, не поскупился. Потом, схватив наряды и заявления, побежал по домам, — в первую очередь к тем, кому доверял больше всего — к бригадирам. Объяснять положение не стал, только сказал, что, кроме оплаты, каждый, кто выйдет на разгрузку, получит цемент на колодец или пилолес. Через час, собрав всех желающих, которых оказалось немало, он выехал на станцию.



На грузовом дворе станции Мансур отозвал к пакгаузу дядю Сашу Вуккерта и попросил:

— Александр Вильгельмович, я уж попрошу вас с материалами поаккуратнее: и грузить, и складировать, и чтобы ничего не ушло на сторону. Впервые к нам поступило так много вагонов, но, наверное, это будет еще не раз, по моим подсчетам, нам нужно для элеватора только цемента вагонов двести, о лесе и пиломатериалах и говорить не приходится — целые составы. Как пойдет дело с первого раза, такой порядок и укоренится навсегда. — И закончил: — Надеюсь, вы понимаете, что мне и с тем, что наобещал вам, расхлебаться непросто...

Дядя Саша выслушал не перебивая, затем протянул самодельный портсигар, где с немецкой аккуратностью четко в ряд лежали папиросы.

— Обижаешь, Мансур, хотя, наверное, среди тех, кто пришел сегодня на разгрузку добровольно, есть разные люди. Но тех, кому можно доверять, больше, гораздо больше, это ты тоже усвой с самого начала. А принимать, складировать на месте я оставил своих сыновей, на них, своих друзей, ты, надеюсь, полагаешься. А насчет того, что сегодня придется раздать мешков триста цемента, не беспокойся: мы его беречь будем, чтобы и грамм не пропал. Так и порешим: вы — нам, мы — государству. Зато погляди, как повеселел народ, у каждого, кто откликнулся, теперь будет свой колодец.

И, легонько приобняв Мансура своей крепкой рукой, бригадир зашагал к вагонам — народ безоговорочно принимал его лидерство и, пожалуй, заслуженно. Да и слова у него никогда не расходились с делом.

Тогда, благодаря неожиданно пришедшим вагонам, Атаулин понял, как можно рачительно распорядиться материалами, как помочь отстроиться родному поселку. Выход был один — жесткая экономия, хотя слово это не совсем верно отражало намерения Мансура. Правильно было бы сказать: не допускать привычных потерь, с которыми мирятся на любой стройке, как с неизбежным злом. А теперь он должен был все замечать, не мириться ни с какими потерями — только так он мог создать некое подобие фонда помощи стройматериалами для земляков. Радуюсь, что нашел выход, Атаулин все же признавал юридическую несостоятельность избранного пути. Но отступить было поздно.

Сразу после праздника к Мансуру подошел дядя Саша.

— Давай, Мансур, собери-ка вечером бригадиров, поговорим о материалах, как нам нужно с ними обходиться, думаю, народ нас

поддержит. В Аксае не привыкли добро ногами топтать да в кострах сжигать. И если мы убережем наших людей от такой вредной привычки, значит, мы неплохие хозяева.— И вдруг, лукаво улыбнувшись обветренными губами, спросил: — А знаешь, как тебя народ называет на стройке?

Атаулин пожал плечами.

— Хозяином. А это ко многому обязывает, Мансур. Думаю, из тебя получится хозяин, я ведь многих прорабов повидал в жизни. Да и на нас, бригадиров, можешь положиться, не подведем,— и зашагал к котловану,— высокий, сильный, твердо ступавший по земле человек...

...На теплоходе сиеста, видимо, кончилась — на палубе появились пассажиры. Сегодня разговоры, что велись рядом, не волновали, они отвлекали Атаулина от воспоминаний о своей первой стройке, а ему хотелось впервые за много лет вернуться к ней, пройти ее в памяти от начала до конца. Оттого ли, что он возвращался теперь туда, к своему первому детищу и отчому дому? Давно уже он не мыслил дом без элеватора, а элеватор без дома — при упоминании Аксая у него перед глазами оживало и то, и другое.

А может, ему хотелось пристальнее взглянуть на свои истоки, на родничок в начале пути? Или оттого, что все время быстро шел вперед, никогда не оглядываясь, при первой возможности он и нырнул в прошлое? Мансур не мог объяснить себе этого, но ему было приятно вспомнить о далеком, полном забот времени...

...О многом он умолчал в том информационном бюллетене, хотя и так с трудом уложился в объем брошюрки.

Тогда была эра монолитного бетона, и все конструкции отливались на объекте. Сложная, тяжелая, трудоемкая работа: в каждой бетонной колонне или опоре сливался труд трех бригад: арматурщиков, плотников, бетонщиков. Это уже потом, через полгода, дядя Саша Вуккерт организовал первую и единственную комплексную бригаду. Создать другую такую, как ни хотелось Мансору, не удалось — и бригадира столь же высокого уровня найти оказалось невозможно, и людей подобрать подходящих было негде. И как же работала эта комплексная бригада! Попасть в нее на стройке мечтал каждый.

Разве Мансур мог рассказать на страницах бюллетеня, как старались его земляки сберечь каждую доску, каждый гвоздь... На совете бригадиров решено было использованную опалубку выделять строившимся, и в первую очередь ударникам, передовикам, остро нуждающимся. Строительные нормы не зря предусматривают одноразовое



ее использование: покоруженная, пропитанная цементом, с трещинами, а то и вовсе колотая при разборке, в серьезное дело она больше не годится. Может, выборочно что-то и можно было использовать, да кто же этим станет заниматься, рабочих рук и так всегда не хватает.

Разве он мог рассказать, что у него опалубку на объекте ставили и дважды, а порой и трижды, но не в ущерб качеству,— об этом и речи быть не могло; и даже потом она шла не в костер, а в дело. Рабочие каждый день что-то придумывали, стараясь сохранить материал, потому что прораб пообещал: все сохраненное, сбереженное — ваше. Поначалу смазывали доски соляжкой, смачивали керосином или бензином, чтобы не прихватывался бетон и не приходилось ломать опалубку. Потом привезли из Нагорного огромную, килограммов на восемьсот, бобину тончайшей вощенной бумаги, и стали ею выстилать внутреннюю часть опалубки. Поверхность бетона в этом случае получалась ровной, гладкой, и вполне можно было обойтись без штукатурки. Придумали всевозможные зажимы, струбцины металлические, чтобы не приколачивать доски кругом гвоздями. При таком способе быстрее пошла работа на сборке и разборке, и материал сберегался. Берегли опалубку, не только совершенствуя ее конструкцию, но и за счет высокого качества бетона,— в других обстоятельствах такая мысль никому и в голову не пришла бы. Качественный бетон схватывается равномерно, одновременно и отслаивается от опалубки по всей длине сразу, и нет надобности ломать ее,— а иная опалубка и по размерам, и по конструкции — целое сооружение. Доброе дело тянуло за собой цепь других добрых дел.

Спустя много лет, уже в Африке, на соседней стройке, где работали англичане и где Атаулин бывал часто, потому что они пользовались одними каналами водоснабжения, одной компрессорной станцией и одной и той же линией электропередачи, показали ему как новинку любопытный бетонный фасад здания. Из вежливости Мансур Алиевич внимательно выслушал коллег и даже поздравил их с удачным эстетическим решением. Он уже обратил внимание на то, что и немцы, и англичане не любят гладких поверхностей бетона и поэтому пускают на опалубку древесину с красивой текстурой и распиловку доски для опалубки делают редкими специальными пилами и на малых оборотах, почти как вручную, чтобы рельефнее сохранить рисунок дерева. Вот англичане и показывали ему фасад, отлитый необычным способом. Конечно, выглядело это замечательно, хотя такая ювелирно сработанная опалубка из хороших пород дерева стоит немало.

Атаулин из вежливости, но без интереса выслушал коллег, потому что уже давно это знал.

Когда они сделали разбивку административно-технического корпуса элеватора, как раз пришло вагонов двадцать досок из Красноярского края. Почти все они были из розовой сосны, только изредка встречалась среди сосны тяжелая лиственница, тоже с красивой текстурой, и распиловка оказалась такой, какую сейчас специально делали англичане. Вот тогда дядя Саша Вуккерт и предложил пустить на внешнюю сторону здания доски с необыкновенной текстурой, он даже на планерку пришел с уже отлитым образцом. Двух мнений и быть не могло, так всем понравилась идея. Конечно, помучиться им пришлось с такой опалубкой будь здоров — годилась она только ровненькая, стык в стык. О том, чтобы пустить ее в дело вторично, и речи быть не могло, хоть и ставили ее лучшие плотники — ювелиры по дереву. Все вагоны перебрали, боялись, что не хватит подходящих досок, и берегли их пуще глаза.

Почему Александр Вильгельмович предложил такой метод: о красоте беспокоился или хотел, чтобы администрация элеватора занимала красивейшее здание в Аксае? А может, сам метил восседать в этом корпусе — как заслуженному строителю нашлась бы ему работа и там... Но вряд ли подобные мысли возникали у него, все объяснялось гораздо проще...

Аксай охватила строительная лихорадка... Отрыв во дворе колодец, каждый начал потихоньку «суетиться» — кто ремонт затеял, кто строиться надумал, кто сарайчик или баню ладил... Зарплата шла хорошая, на деньги кое-что из строительных материалов покупали в райпотребсоюзе, а кое-что и со стройки перепадало. А тут еще новое увлечение захлестнуло одновременно и Аксай, и Нагорное.

Десятки лет, пока ходили паровозы, — а Оренбургская дорога полностью перешла на тепловозы только в середине пятидесятых, — вокруг станции Нагорное высились целые Монбланы шлака, многие даже думали, что название «Нагорное» от этих гор и происходит. И вдруг кто-то в Нагорном догадался отлить дом из этого шлака — раньше в Нагорном и в Аксае дома ставили только саманные. И какой же дом получился! Легкий, теплый, нетрудоемкий, и к тому же почти даром: шлака вокруг — бери не хочу. И теперь этот шлак стали спешно растаскивать по Нагорному, возили его и в Аксай. Железнодорожники на эту «эпидемию» нарадоваться не могли. Но шлак шлаком, им каждый мог обзавестись, а вот с цементом стало туго, ни за ка-



кие наличные было не достать. Вот и догадался бригадир, увидев необыкновенную красоту досок из лиственницы, обойтись без штукатурки, как было по проекту, а сделать бетон сразу качественно и художественно. Отлили они здание и после еще прошлись аккуратно жидким цементом кругом, — получилось что-то вроде фигурной штукатурки, наподобие тисненых обоев. И заказчик, и государственная комиссия, и коллеги из Нагорного приняли это за особую штукатурку. А цемент Атаулин тогда людям за старание раздал. Но об этом не расскажешь, вряд ли начальство одобрило бы такую заботу о родном поселке. Как не мог он и потом гордо сказать англичанам, что давно знает про все это, лет пятнадцать уже, — Аксай-то не на всякой карте отыщешь, могут и не поверить...

В те дни, когда он зачитывался газетами, частенько попадались ему статьи о досуге пенсионеров, молодежи и даже подростков. Таких статей было немало, рассматривалась эта проблема и в городском, и в сельском масштабе. Подобные проблемы удивляли Атаулина. В середине восьмидесятых, — когда, считай, в каждом доме телевизор, приемник, магнитофон, полно книг, пятитдневка, в конце концов, — чрезмерные заботы о досуге представлялись ему надуманными. Уделять главное внимание свободному времени казалось Атаулину еще страшнее, чем вещиизм, за вещи хоть работать надо — их так просто не приобретешь. А тут со страниц почти каждый взывал, чтобы ему организовали его собственный досуг, да притом бесплатный, постоянный, без перерывов. Он старался припомнить, как проводили свободное время в Аксае, где он проработал ровно два года: в августе принял строительство и в конце августа же, к началу хлебоуборки, сдал элеватор в эксплуатацию.

Уже, конечно, было телевидение, но до Аксая разве что слухи о таком чуде — домашнем кино — доходили. Правда, с книгами было тогда гораздо легче, но зато в библиотеках, ныне почти пустующих, хорошую книгу ждали по записи месяцами. В кино крутили фильмы, менявшиеся каждые два дня; по субботам и воскресеньям в парке, рядом со строящимся элеватором, — танцы под оркестр. Зато и оркестр был! Настоящий эстрадный, в котором играли сами рабочие, а руководил им младший сын дяди Саши — Клайф, трубач. У Вуккертов вся семья была музыкальная, а сам ее глава играл на аккордеоне, но, конечно, не в оркестре. Выступала в первенстве района футбольная команда «Строитель» из Аксая — в команде опять же играла молодежь с элеватора, включая двух-трех школьников-старшеклассников.

Тогда оркестр выступал на общественных началах, а в футбол играли только по воскресеньям. Досуг был за счет досуга. Читая теперь статьи о досуге, Атаулину так и хотелось ответить порядком подзабытой пословицей: «Делу время — потехе час». А по статьям вышло наоборот: потехе время — делу час, хотя в них зачастую даже и не упоминалось, после каких это таких трудов праведных требовался особый отдых и развлечение. И еще он заметил, что материалы эти были написаны страстно, эмоционально и, наверное, их авторы легко находили сторонников. «Так бы о работе живо и убедительно писали, наверное, дело лучше бы шло...»

...Слева от Нагорного по железной дороге лежал казахский город Актюбинск, справа, почти на таком же расстоянии, уже старинный российский город Оренбург.

Как-то так складывалась школьная, да и студенческая жизнь, что Атаулину ни разу не удалось побывать в Оренбурге, — только проезжал мимо, когда возвращался из Москвы на каникулы, да и то нечестно, потому что студенты в те годы проводили лето на целине, в Казахстане. Из Оренбурга были родом его родители — и погибший в войну отец, и мать. Когда Мансур получал назначение в Алма-Ату, подумал, что при случае будет выбираться в соседние города.

Однажды в субботу, как он и задумал, Мансур приехал, наконец, в Оренбург. Ткнулся в одну гостиницу, в другую — нигде мест не было, несмотря на субботу и на то, что он просился всего на одну ночь. Стояло лето, ночи были теплые, он был молод и за трагедию это не посчитал — проспал ночь на скамейке оренбургского парка, но уже больше никогда не ездил ни в город, что слева, ни в город, что справа. Да и времени не было — элеватор с каждым днем требовал все больше внимания.

Возвращаясь из Оренбурга — родины многих татарских писателей и известного всему миру Мусы Джалиля, Атаулин и не подозревал, что всего через несколько лет рядом найдут крупное месторождение газа, и от тихого городка с его неспешной, несуетной жизнью не останется и следа. Бурно растущий индустриальный гигант подчистую снесет тихие кварталы краснокирпичных купеческих особняков, с названиями, хранящими безвозвратно ушедшее время: Форштадт, Аренда, Татарская Слобода...

Ничего этого не предвидел Атаулин, и, возвращаясь на попутном грузовике в свой поселок, думал о таких же, как он сам, молодых инженерах, врачах, учителях, по распределению попавших в сотни тысяч



местечек, подобных Аксаю. И как они, наверное, отыскивая на карте свой райцентр, аул, кишлак, станицу, село, радовались, что рядом, в часе езды, находится город! Какие строили планы! На воскресенье — непременно в город: в музеи, театры, на выставки, в городскую библиотеку... Может, потому и бегут из маленьких местечек молодые специалисты, что городу нет до них никакого дела. Может, у некоторых надобность в этих коротких поездках постепенно бы и отпала, прошла бы со временем тоска по городу, и нашли бы они прелесть жизни в своих маленьких местечках. А если бы и не нашли, то без особых тягот отработали бы положенное — и на том спасибо. Если бы помнили о них, молодых сельских специалистах, не только об их работе заботились, но и о досуге. Вот у кого досуг — самое больное, уязвимое место. Им, в большинстве своем выросшим в больших городах, как воздуха не хватало этих городов — их шума, толчеи, театров, музеев, кино, чтобы не остановиться в своем культурном росте...

Так с горечью думал Мансур, трясясь в кузове попутного грузовика, под высоким звездным небом Оренбуржья.

Иногда в Аксае после кино заходил он в парк на танцы. Тогда танцплощадка принадлежала взрослым, подростки избегали таких мест, да их попросту и не пустили бы: еще существовало четкое правило — что можно, что нельзя. На танцплощадке обычно больше половины молодежи было со стройки. Клайф, завидев на площадке начальника, непременно играл «Тишину» — модное в те годы танго. Странно, как он догадался, что эта трошинская песня нравилась ему. И все же он не чувствовал себя здесь в своей стихии, поэтому особенно не задерживался, даже если и хотелось потанцевать.

Каждый раз, уходя с танцев, он невольно сворачивал из парка не домой, а на свою строительную площадку.

Сторож, старый казах Нургали-ага с берданкой, всегда был на посту. Он встречал Мансура приветливо и, зная его привычки, включал в проходной все прожектора стройки, наверное, далеко в степи виден был этот яркий костер света. Прожекторов для стройки Атаулин не пожалел — освещение было под стать дневному. Иногда большие конструкции приходилось бетонировать и по ночам, без перерыва, чтобы шел однородный бетон, а иногда, когда стояла невероятная жара, бетонщики просились поработать в ночь — только ночь приносила прохладу и ветерок из степи. Он не спеша обходил огромную стройку из конца в конец, и хотя, казалось, он все знал о ней, вдруг в эти ночные об-

ходы видел что-то более отчетливо, чем днем. За такие озарения он и любил бывать на элеваторе ночью...

...«Всего десять лет прошло с тех пор, как я уехал из Союза, и уже мне кое-что трудно понять и ясно представить,— думал Атаулин.— Может, следует спросить об этом у девушек из Кишинева, уж о досуге-то они наверняка все знают». Но так и не спросил. Все те, кого он знал и уважал,— а среди них были самые разные люди,— никогда не мучились вопросом, как убить свободное время. Всем им не хватало этого времени, и они считали, что это величайшее счастье, если выпадает редкая возможность отдохнуть, а уж как — учить их было не надо. Все-таки бесконечные разговоры о досуге возникают, наверное, от безделья, от нравственной пустоты, и тут никакими дискотеками не поможешь, и ломать копыя, то бишь перья, не стоит...

...Декабрь в первую зиму на стройке выдался суровым: снега, метели, температура, как и летом,— за тридцать, только ниже нуля. Стройка встала, в обычном режиме работали лишь арматурные цеха, хорошо оборудованные, теплые. В зимние месяцы у женщин даже повышалась производительность труда, и заготовками стройка была обеспечена на месяц вперед. А вязать ее впрок, подвергая коррозии, не было резона.

«Что делать?» Этот вопрос витал в воздухе на каждой планерке. И однажды Атаулин предложил:

— Я вижу только один выход — всем уйти в трудовой отпуск, а если надо будет, прихватить даже неделю-другую без содержания, но с условием, чтобы с весны сразу работать весь световой день и наверстать упущенное, иначе все наши старания по экономии и себестоимости яйца выеденного не будут стоить. Грея каждый кубометр бетона, паля костры, чтобы не смерзлся раствор, сожжем не только всю опалубку, но и весь строевой лес пустим на дрова... А если еще по какой-то случайности бетон окажется из-за холодов некачественным и конструкцию придется ломать — полетят на ветер тонны цемента, а мы здесь перетряхиваем каждый мешок, чтобы и грамма не пропадало. Товарищи, я прошу вас: идите к людям и постарайтесь объяснить, что делается это в интересах не только строительства, но и в интересах каждого рабочего. Да и что можно заработать, простаивая целый день у горящих костров?

Бригадиры поддержали Атаулина. Они и сами умели считать не хуже молодого прораба и между собой уже поговаривали о том же, но не могли подумать, что Мансур решится на такой шаг.



Конечно, не чувствуя он себя хозяином положения, не умея считать, не доверяя своему коллективу, бригадирам, вряд ли пошел бы на такое самоуправство! Эта уверенность день ото дня крепла в нем, потому что дела у них шли гораздо лучше, чем в Нагорном, где строили точно такой же элеватор. Шестнадцать вагонов, прибывшие, как и в Аксай, в праздник, простояли пять дней, и банк снял со счета строительства такой штраф в пользу железной дороги, что пришлось даже задержать зарплату рабочим. С рабочей силой в Нагорном дело обстояло лучше, но только потому, что девяносто процентов командированных оставалось в райцентре. В Аксае же требовались только специалисты: жестянщики, верхолазы, наладчики, монтажники — рабочих массовых профессий готовили они на месте, да и к тем редким залетным командированным тут же приставляли своих толковых ребят, чтобы учились. Из-за командированных снижался фонд зарплат, и заработков хороших в Нагорном у рабочих не было.

Уже весной, в год пуска, стало ясно, что в эксплуатацию к хлебоуборке войдет в строй только элеватор в Аксае. Летом, объезжая объекты в Западном Казахстане, заехал в Нагорное управляющий трестом «Южэлеватормелестрой» из Алма-Аты.

Осмотрев стройку в Нагорном, собрал совещание, на котором присутствовал и Атаулин. Правда, назвать это совещанием было трудно, потому что управляющий устроил всем крупный разнос. Заканчивая выступление, он сказал: я, мол, представляю, что творится в Аксае, если на объекте под боком у управления такие жалкие темпы и такое низкое качество работ.

И хотя начальство подмигивало Атаулину и под столом ему наступали на ноги — сиди, мол, не возникай, пусть управляющий спокойно выговорится, он все-таки попросил слова и вкратце обрисовал положение дел в Аксае. Управляющий, конечно, не поверил Атаулину, и прямо с совещания они поехали в поселок. Осмотрев объекты и внимательно пролистав журналы работ, управляющий потребовал акты на скрытые работы и вроде остался доволен, но хвалить не стал, только, усаживаясь в машину, приказал начальнику СМУ: отныне все показатели участков подсчитывать отдельно, показывать каждый элеватор сам по себе. И на прощание добавил, обернувшись к Атаулину:

— А в сентябре я жду вас в тресте, в Алма-Ате.

Почему он так пристрастно возвращался памятью к первому своему объекту, ведь типовой элеватор — не уникальная стройка, во многом как инженер он шел проторенным путем и построил по-

том еще с десяток элеваторов и даже целый комплекс в Целинограде. Наверное, он помнит о ней всю жизнь потому, что его первая стройка чуть не обернулась для него большой бедой, и из-за него, своего первого элеватора, он на долгие годы забыл дорогу домой. Когда стало ясно, что из двух планируемых элеваторов сдан к осени будет только один, в Аксае, Атаулина стали поторапливать. Предлагали снять часть рабочих с Нагорного и передать ему на объект, но Мансур с цифрами и графиками на руках доказал, что к началу уборки они элеватор сдадут.

Рос элеватор — и поднимались новые дома, целые улицы в поселке. Дома из шлака лили быстро, опыта-то на стройке набрались, а покрывать крыши, штукатурить объединялись в группы: сначала работали у одного, потом у другого. У самых хозяйственных мужиков, да у тех, у кого было по двое-трое сыновей-помощников, дома уже стояли, радуя глаз большими окнами, высокими затейливыми крышами. Сельский человек бережлив, поэтому на подворье оставались и те хибарки, из которых выбралась семья. Наглядное зрелище — вчера и сегодня.

Ничто не омрачало настроения Атаулина: дела шли успешно, до желанного пуска первого в жизни объекта оставалось от силы месяца полтора, и он уже жил ожиданием новой стройки, как вдруг повесткой его вызвали в милицию. Поступила анонимка на одного из его рабочих: дескать, тот время от времени привозит с работы то мешок, то полмешка цемента, то доску, то моток проволоки, то несколько кирпичей на багажнике велосипеда, то рулон бывшего в употреблении рубероида, то карманы, мол, у него оттопыриваются от гвоздей. В общем, анонимка была написана со знанием дела, и скорей всего соседом, из тех, что посиживали раньше на завалинке, а теперь у телевизора, сами ничего не делают, но и другим не дают, — есть и на селе, и в городе такие.

Пошли из милиции с обыском к тому рабочему, а у него уже фундамент нового дома отлит и, конечно, нашли во дворе не только то, что в анонимке было указано, но и готовые оконные переплеты, двери, косяки, подоконники — хозяин в зимний отпуск старательно подготовил все это из бросовой опалубки. Конечно, никаких бумаг, квитанций, счетов у него не оказалось, да он и не отпирался, сказал: прораб, мол, всем дает, кто строится.

Начальствовал в аксайской милиции молодой лейтенант, недавно закончивший в городе какие-то курсы. Был он всего на год-два стар-



ше Атаулина и даже приходился ему дальним родственником по отцу, и фамилию носил ту же.

Не чувствуя за собой никакой вины, — в нормы расхода строительных материалов он укладывался, ни с кого денег не брал, да и что давать людям, определял не сам (решение принимал совет бригадиров, которые к тому же являлись и членами стройкома, а Мария Николаевна на этот счет обязательно вела протоколы рабочих и профсоюзных собраний), — Мансур рассказал родственнику все как есть.

Выслушать-то начальник выслушал, но в ответ произнес неожиданное:

— Сказки, гражданин Атаулин, будешь рассказывать другим. За так и чирей не вскочит на пустом месте, — и, довольный собственной остротой, рассмеялся. — Вот мы тряхнем тебя как следует и узнаем, какой ты бессребреник. Лучше сразу признайся, где деньги хранишь!.. А то куда ни пойдешь, везде только и слышно: Атаулин, Атаулин... Ишь, благодетель выискался... Весь Аксай, понимаешь, у него работает. Что, надумал Атаулинград возвести?

Мансур слушал, как насмехается над ним лейтенант, и молчал.

— А я вот докажу, что есть в Аксае совсем другие люди — честные, принципиальные, стоящие на страже государственной собственности, хоть о них и не трубят на каждом перекрестке... — И еще долго в таком же духе.

В общем, разговор начистоту не получился, говорили они на разных языках, и разный был у них интерес к нуждам земляков и своего поселка.

Когда мать узнала, что Мансура вызывали в милицию, ударила в слезы — она и раньше не раз предупреждала его: «Ох, сынок, что-то у тебя на стройке неладно... Кого ни увижу, ни один с пустыми руками не возвращается с элеватора, ни в обед, ни вечером».

Атаулин на такие предостережения не реагировал, отшучивался: «Зато, мама, у меня территория чистая, гвоздя ржавого не найдешь, даже бумажный куль из-под цемента отыскать трудно. Говорят, вон у японцев стройки очень чистые, ничего не пропадает, но, я уверен, они с колес строят, ну, им ежедневно материал подвозят, а мы получаем материалы иногда раз в месяц, а иногда сразу на полгода, без всякой системы, как придется, но все равно у меня на стройке порядок, как у наших соседей Вуккертов во дворе. И не тащат, мама, а берут то, что отслужило свой срок на стройке. Не сжигать же мне добро, когда людям каждая доска пригодится. Пришло время вылезать на свет из землянок».

«Так-то оно так, да боюсь я»,— говорила мать, успокаиваясь на время, а увидев чью-нибудь очередную скорую стройку, принималась опять за свое.

В тот же вечер она побежала к родственникам, надеясь узнать, в чем дело, и по возможности все уладить, уж в том, что сын действовал не в корыстных целях, она была свято убеждена.

Но новоиспеченный лейтенант и разговаривать не стал со своей бывшей учительницей и родственницей. Только важно произнес:

— Закон для всех одинаков, но справедлив. Не воровал, значит, не воровал, мы как раз и хотим это выяснить.

И завертелось колесо... Хорошо, что штат милиции в Аксае был небольшим и начальнику дел хватало. Тут как раз вышел указ об ответственности за мелкое хулиганство,— и он принялся рьяно выискивать хулиганов, чтобы первым рапортовать в районе о проведении указа в жизнь. Но и дело Атаулина не забывал. Папка, надписанная красным карандашом, демонстративно лежала на столе, когда он вызывал Мансура,— а вызывал он его почти через день, требуя принести с собой то одни, то другие бумаги. Вызывал он не только Атаулина, пошли косяком повестки всем, кто строился. В иные дворы он являлся лично, лихо подкатывая на мотоцикле. Молча заглядывал в сараи, кладовки и скупо ронял: «Ждите, вызову».

И надо же было случиться такому совпадению, в эти же самые дни начали звонить Мансуру из Алма-Аты, из треста,— требовали то одни, то другие данные и зачастую те же документы, что и лейтенант. Тут уж Атаулин заволновался не на шутку... Посылая в трест отчет о стройке, докладывая о приближающемся пуске, он раздумывал: «Сказать или не сказать, что на меня завели в милиции дело», но сдерживался,— абы кому говорить не хотелось, да никого он в тресте и не знал, а управляющий сам, как назло, не звонил. «Наверное, знают, раз так дотошно требуют информацию чуть ли не с первого дня моего назначения»,— огорченно думал он и готовился к самому худшему.

По Аксаю поползли упорные слухи, что элеватором всерьез заинтересовалась милиция и что прораба наверняка ждет тюрьма. Говорили, что не минет кара и тех, кто отстроился или строится. Какой-то расторопный мужик даже срочно уволился со стройки, продал отстроенный дом денежному чабану из степи и уехал с семьей в Фергану. Сельский человек к закону и власти относится с почтением, поэтому и притихли на стройке, никто не смел взять и горсти гвоздей домой. Обходя стройку, Атаулин чувствовал, что многие избегают



его взгляда. Почти все рабочие, которых вызывали в милицию, делали вид, что ничего не произошло. Но в милиции Атаулину показывали каждый раз все новые и новые объяснения: и подлые, и двусмысленные, — чувствовалось, что лейтенант, если и не запугивал допрашиваемых, то делал какие-то намеки, напускал туману.

Поддержку Атаулин ощущал только со стороны бригадиров, — ни один не оставил его в беде. Понимая своим житейским чутьем, что сдача элеватора в срок может повлиять на ход дела, они давали невероятную выработку — элеватор, словно корабль на стапеле, стремительно рос, приближая день пуска.

Готовя документы и для милиции, и для треста, требовавшего все новых и новых данных, Атаулин вдруг обнаружил, что по стройматериалам у него в отчетах сплошь шла «краснота», что на языке прорабов означает — экономия. Пересчитал несколько раз — упорно и безошибочно шла «краснота». Если нагрянет ревизия, за экономию по головке не погладят: объясняйся, доказывай, почему да зачем экономия, — в таких случаях лучше перерасход, который всегда понятен и объясним, а главное, принимается безоговорочно.

Собрав бригадиров, Атаулин зачитал список сэкономленных материалов и сказал, что эти материалы они могут раздать строящимся.

Совет молчал, и один из бригадиров сказал:

— Напуган народ, не возьмет...

— Тогда возьмите вы сами, если вдруг нагрянет ревизия, а дело к этому идет, «краснота» у меня очевидная, и выяснить это не составит труда.

На миг в кабинете воцарилась тишина. И вдруг Вуккерт протянул руку к списку и спокойно сказал:

— Что ж, если никому не нужно, я заберу с удовольствием все сам, с этим запасом можно начать и сыну дом строить, — надумал наконец-то жениться. Кстати, приглашаю всех сразу после пуска, в первую же субботу, на свадьбу. Они хотели сыграть ее сейчас, в августе, да я ж не враг стройке — делу время, потехе час.

За столом оживились, зашумели, и уже кто-то бодро сказал:

— Что ты, Вильгельмович, все сам да сам! Герой какой! Давай дели по-братски на восемь: семь бед, один ответ. Вместе и отвечать легче.

От этих слов полегчало у Мансура на душе...

— ...И полы у тебя в доме деревянные, и забор новый. Где купил половую доску, квитанция об оплате есть или хотя бы свидетели,

что приобретено все это законно, на лесной базе в райпотребсоюзе? — спрашивал один Атаулин у другого Атаулина, развалясь в милицейском кресле и поигрывая носком ярко начищенного хромового сапога.

— Я же не говорил, что купил эти полтора куба досок в Нагорном...

— Ну вот, наконец-то истина начинает выплывать... Так и запишем. Какой бессребреник, хотел под шумок и себе натаскать, да не успел, вовремя взяли за руку. Вот сделаем ревизию, найдем, что припрятал для себя. Небось, все лучшее приберег. Нет, меня тебе не переубедить: имел ты интерес, имел. Это ясно как день, и я докопаюсь до сути, будь уверен. Вот послушай, что пишет один из твоих рабочих, Ахметзянов:

«В прошлом году летом, в июле, число не помню, ездили мы на Илек, на рыбалку, с ночевкой, с субботы на воскресенье. Взяли со склада элеватора брезентовую палатку, которой обычно накрывали в дождливую погоду цемент, купили барана у казахов в ауле, вина и закусок на базаре в Нагорном и поехали в район колхоза Жанатан. Там река и шире, и глубже, и рыбы много, и берег красивый, лесной, для ночевки лучшего места не найти. Зарезали барана, делали шашлык, варили шурпу, ловили бреднем рыбу, поймали на закидушку сома, купались, загорали,— в общем, повеселились, а в Аксай вернулись только в воскресенье к вечеру. Деньги на гулянку собирал, по пятнадцать рублей с каждого, сварщик Камалетдинов. Ездил с нами и выпивал тоже прораб Атаулин, но деньги с него не брали, Камалетдинов сказал, что неудобно...» Разрешите спросить, гражданин Атаулин, почему неудобно?

— А вы, товарищ Атаулин, спросите у них сами...

— И спросим, все спросим. Но мне нужен ваш ответ. Меня вот на пикники не приглашают, барана в мою честь не режут, и в Нагорное на базар за закуской я не езжу... Так почему неудобно с вас деньги было брать? За красивые глаза, что ли, угощали?

— Не знаю. Спросите у них. А вообще я вспомнил, как тут забыть, за два года один раз на речке побывал. Выдали в пятницу не зарплату, а вознаграждение за рацпредложения. Многие получили неплохие деньги. Вот молодые и решили отметить это событие, и заодно хоть раз за лето вырваться на речку с ночевкой. В самый последний момент решили и меня пригласить, я помню: они заехали ко мне домой уже по пути. Понимаете, пригласили,— я что ж, должен был отказаться?



— Я выясню, все выясню...

Вот так они разговаривали каждую встречу, и папка с делом Атаулина пухла день ото дня. Мансур, думая о злополучных полах в своем доме — неопровержимом доказательстве его злоупотреблений, вспомнил, как противилась этому мать, уговаривала не делать их, проживут, мол, и так, с земляным полом. Как чуяло материнское сердце беду. Хотя и досок там на две крошечные комнатки наберется от силы метров пятнадцать. И радовался теперь, что не затеял строиться, и мать категорически была против, да к тому же и времени на все не хватало. А ведь благодарные бригады не раз намекали ему: бери, мол, участок, несколько воскресников устроим — и переедешь в новый дом. Но он на это не пошел, понимал, что руководителю так поступать не следует.

«За полы и куцый забор зацепились, а уж за дом...» — думал в смятении в те дни Мансур.

Перед сдачей объекта на стройке мало-помалу сворачивались дела: не работали уже арматурные цеха, арматурщицы помогали отделочникам, приводили в порядок административное здание элеватора, мыли окна, полы... Каждый день высвобождалась то одна, то другая бригада, словно выходили из боя на отдых солдаты. Не привыкшие сидеть без дела, одни красили забор вокруг элеватора, другие дерновали зону отдыха на территории, разбивали клумбы, делали в общем-то не предусмотренные проектом работы, наводили кругом красоту. И на лицах людей Атаулин замечал странное сочетание грусти и радости. Все понимали, что сделали большое дело — построили такую махину, а с другой стороны — кончилась работа, хорошие заработки — участок ликвидируется. Молодым-то легче: они за эти два года обзавелись мотоциклами и решили поработать на элеваторе в Нагорном. Уже и бригада сколачивалась, и верховодил в ней Клайф Вуккерт — он, как и отец, набирал комплексную бригаду.

Дней за десять до ввода элеватора в строй приехал на объект без предупреждения секретарь райкома из Нагорного. Осмотрел стройку, остался доволен, предупредил, что, возможно, пуск будет торжественным, и, дав кое-какие советы, уехал. За три дня до открытия элеватора неожиданно прилетел из Алма-Аты управляющий трестом. В Нагорное заезжать не стал, а сразу направился в Аксай. Не теряя времени, осмотрел весь сдаточный комплекс. Сделали пробный пуск — элеватор работал, правда, пока вхолостую.

— Силен, брат, молодец! — сказал управляющий и на глазах у присутствующих расцеловал Мансура.

Когда они возвращались в прорабскую, Атаулин вдруг спросил:

— Вы что же, каждый элеватор лично принимаете? Управляющий, пребывавший в добром настроении, от души рассмеялся.

— Нет, конечно. Но этот элеватор особый. Во-первых, первый в вашей жизни...— А во-вторых, так и быть, открою секрет: ваш элеватор — рекордсмен. Вы побили общесоюзные нормы по срокам возведения, по себестоимости и по выработке. Разве вы сами не догадывались об этом, когда мы терзали вас, требуя то один отчет, то другой. Признаться, и цифрам не поверил бы, если бы сам не видел этот элеватор. Приедем в Алма-Ату, придется вам выступить лично, рассказать, как вам это удалось, и будьте во всеоружии цифр: трестовский народ недоверчивый, задаст вам сотни каверзных вопросов. Но и это не все... Наш трест шестой год строит в Казахстане мельницы и зернохранилища, есть у нас и кое-какие успехи. И вот к началу этой хлебоуборочной правительство республики решило наградить лучших наших строителей. Наград, правда, не так много, как хотелось бы, но... Такие элеваторы, да еще к сроку, что чрезвычайно важно в нашем деле, у нас не часто сдают. Так что смело можете пробивать дырочку в пиджаке, Мансур, заранее поздравляю...

Увидев, как неожиданно побледнел Атаулин, управляющий тревожно спросил:

— Вам плохо?

— Очень плохо, Шаяхмет Курбанович,— и от перехватившей горло спазмы Мансур чуть не заплакал.

— Не понимаю, человек от такого сообщения на крыльях лететь должен, а ты сник. В чем дело, Атаулин?

— Беда у меня, товарищ управляющий,— решился Мансур,— на меня в милиции дело завели...

— Какое дело? — удивился Шаяхмет Курбанович.— Давай-ка зайдем в прорабскую, и ты все подробно расскажешь. Только успокойся и не волнуйся,— надеюсь, ты никого не убил?

В прорабской Мансур долго рассказывал управляющему все как есть.

Шаяхмет Курбанович, выслушав Мансура, похлопал его по плечу:

— Не переживай, утрясем твоё дело...

Он тут же позвонил в Нагорное секретарю райкома, попросил принять его. Получив добро, хитро улыбнулся Мансуре:

— Выше голову, джигит! Не горюй, все уладится. За такие дела у нас не сажают. Ведь умудрился самый дешевый в стране



элеватор возвести и людей не обидел... Нет, не зря мы тебя на орден выдвинули...

Приехал он в Аксай на следующий день. Еще издали Мансур увидел у него в руках знакомую папку.

— На, держи, джигит, можешь сохранить на память. Любопытные бумажки тут есть, я все-таки посмотрел дело.

— Всего три бумажки подлых,— сказал Атаулин, еще не веря в такой поворот дела, и горько добавил: — И неплохие ведь рабочие...

Шаяхмет Курбанович обнял его по-отечески за плечи и, мешая русские и казахские слова, сказал:

— Не раскисай. Ты ведь думающий инженер... Твое дело строить, строить по большому счету. Я виделся сегодня с твоим родственничком, лейтенантом Атаулиным. Конечно, если бы ты, как иные прорабы, воровал и продавал, это было бы ему понятно, а так... А так и в самом деле, согласишься, трудно доказать свою правоту. Но ведь таких, как твой родственник, к сожалению, еще много, так что намотай на ус, джигит, и впредь думай, что делаешь...

...После отъезда управляющего Мансур долго сидел в оцепенении в прорабской один, не выпуская злополучной папки из рук, потом, увидев в окно, что неподалеку жгут строительный мусор, вышел и направился к костру. На секунду задержался у огня, но потом, словно боясь, что передумает, решительно снял держатель скоросшивателя и швырнул десятки объяснений, протоколов допросов в самую середину огня — пламя вмиг слизало разлетевшиеся бумаги: черные и белые слова горели одинаково. «Свободен! Свободен!» — хотелось кричать ему, но не было ни радости, ни сил...

После митинга, на который собрался весь Аксай, где вручали ордена и медали отличившимся и говорили много теплых слов о строителях, гости отправились на банкет, организованный по такому случаю в Нагорном — в Аксае просто негде было его провести. Пригласили на банкет и всех награжденных. Возбужденные, счастливые, они вряд ли думали тогда о скорой разлуке со своим молодым прорабом, да и Атаулин не предполагал, что не увидит их лет двадцать...

В разгар банкета, на котором энергичный Шаяхмет Курбанович был тамадой, он нашел время перекинуться несколькими фразами с Атаулиным.

— Доволен? — спросил управляющий.

— Спасибо,— ответил Мансур.

— Это я должен сказать тебе спасибо... Заставил по-новому взглянуть на привычное дело, доказал, какие возможности открываются, если работать с душой. И в твоём самоуправстве есть свой резон. Большие стройки и в самом деле должны предоставлять селу такую возможность. Поощрять, пусть даже по оптовой цене, стройматериалами лучших рабочих — это же огромная подмога делу, я уже не говорю о социальной стороне такого подхода. Но об этом мы ещё потолкуем с тобой... А сейчас я хотел сказать вот о чём... Отдохнешь дней десять, не больше, а потом прилетай в Алма-Ату, оттуда вместе двинем в Тургайскую степь, там есть элеваторы-долгострои, примешь строительство, надеюсь, добьёшь...

Подали бешбармак — главное блюдо казахского застолья, и внимание всех переключилось на голову барана — символ уважения к гостям, её и подавали-то отдельно, на самом красивом блюде. И когда Шаяхмет Курбанович, знавший все тонкости этого ритуала, стал наделять гостей кусками мяса, сопровождая каждое подношение веселыми комментариями, Атаулин потихоньку, незаметно вышел из-за шумного стола...

Все произошло так неожиданно, и радость вдруг уступила место такой тяжелой усталости, что единственным желанием сейчас было забраться на сеновал и проспать беспробудно часов двадцать подряд, не меньше.

Мать, радовавшаяся, что сына наградили орденом (во всем Аксае в те годы ни у кого не было такой высокой награды), а больше всего тому, что в милиции прекратили дело, и предположить не могла, что уже вскоре попрощается с Мансуром. Но когда сын сообщил ей об этом, она, вопреки его опасениям, не огорчилась, скорее даже обрадовалась — так велик был её страх за него. Она до сих пор не верила, что так благополучно закончилась та неприятная история. Молва — страшная вещь, уже и в школе стали коситься на неё некоторые учителя, считая, что дыма без огня не бывает. И на улице хоть не выходи, все вроде с жалостью, с пониманием — все-таки единственный, в таких трудах поднятый сын, — а все же неприятно. Разве о такой славе мечтала она для сына?

Пока Мансур рассказывал матери о банкете, стемнело. Со стороны парка донеслась музыка: Аксай сегодня гулял. Оркестр Клайфа Вуккерта наигрывал бодрые, жизнерадостные мелодии. Во всех домах, как в праздники, ярко горели огни, кругом царило веселье — редкий дом в поселке не был связан с элеватором. Кроме орденов



и медалей, вручили немало грамот и премий — так что сегодня обиженных не было.

Мансур не спеша шел вдоль новостроек, угадывая каждого хозяина за светящимся окном.

Пройдя из конца в конец поселка, Мансур невольно свернул к элеватору. На проходной дежурил все тот же Нургали-ага с берданкой, и хотя сторож знал, что Атаулин теперь здесь не хозяин, пропустил его на территорию и включил прожектора, которые решили не демонтировать, — пригодятся на элеваторе при ночной разгрузке.

Элеватор при ночном освещении казался внушительным и даже красивым. Башни отбрасывали темную, сливавшуюся с ночным парком тень, и сейчас элеватор казался Мансуру старинным волшебным замком, таким, какой хотелось построить в детстве, когда увидел фильм, определивший его судьбу.

«Что, сбылась мечта?» — неожиданно с тоской подумал Атаулин и поспешил со двора, — и разом, неожиданно погасли огни прожекторов сзади. Мансур невольно обернулся, — в кромешной тьме беззвездной ночи не было ни замка, ни элеватора...

Судьбы городов и селений сродни человеческой судьбе — взлеты чередуются с падениями, одни стремительно идут вверх и только вверх, другие не менее стремительно катятся вниз. Вот и города, некогда шумные, в наши дни живут тихой провинциальной жизнью, не претендуя на славу. Другие же, дотоле безвестные, становятся центрами алмазного, угольного или газового края, а то вдруг на пустом месте вырастает город, затмевая своим положением и значимостью расположенные неподалеку поселения со столетней историей.

Время лишь мимоходом заглянуло в Аксай, стоящий обочь больших дорог, и элеватор, казавшийся символом грядущих перемен, так и остался крупным единственным предприятием в поселке, поэтому события тех лет, связанные со строительством, надолго остались в памяти односельчан Атаулина... Подтверждением этому для нового поколения служили грамоты, висевшие в рамках под стеклом во многих домах, ордена и медали, которые надевались не только по праздникам, но и в кино, а в гости уж непременно.

Лейтенанта Атаулина года через два повысили, и след его потерялся в большом городе, а с его отъездом даже самые злые языки никогда больше не вспоминали о «деле прораба Атаулина».

А потом как-то незаметно элеватор стали называть атаулинским: «Атаулинский элеватор виден», — кричала ребятня, возвращавшаяся с речки, едва завидев с косогора башни зернохранилища. «Иду в магазин на атаулинском элеваторе», — говорили хозяйки. Привыкли так называть аксайский элеватор и в районе, и редко кто задумывался: почему атаулинский? Атаулинский и все — как народ окрестил, так и пошло...

Правда, в Аксае было еще одно заведение, носившее имя собственное, и тоже земляка, но известность эта не шагнула за пределы поселка. Да и разве могла тягаться скособочившаяся лавка с гигантским элеватором? Но, как бы там ни было, их магазинчик прозывали мардановским. Почти сорок лет проработал в нем бессменно Рашид-абы Марданов, и за сорок лет, как уверяют старожилы, магазин и сорок раз не закрывался: работал и в выходные, и в праздники, — казалось, Рашид-абы и жил в своем магазине. А еще помнят старики, что в трудное время здесь всегда можно было взять в долг, никому не отказывал Марданов, отец большого семейства, сам не понаслышке знавший, что такое нужда.

Было бы несправедливо не вспомнить еще одну стройку, тоже всколыхнувшую на время Аксай, но, конечно, не как элеватор — не те объемы, не те масштабы. К ней, правда, Мансур не имел отношения.

Лет через семь элеватор в Нагорном вышел из строя. Атаулинский элеватор стал единственным в районе, и в первую же осень встал вопрос о дороге — о тех злополучных двадцати верстах между Нагорным и Аксаем. Вот уж действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вопрос о строительстве дороги был решен в какую-то неделю — с хлебом не шутят. Организовали спешно в Аксае дорожно-строительное управление, и вновь люди дружно повалили на стройку, вновь оживился, застучал молотками поселок, ладя новенькие крыши, и на два года задержалась дома молодежь, разлетавшаяся до того по всей стране. И в эти два года частенько поминали Мансура, словно в укор дорожному начальству. Люди помнили первую большую стройку и частенько говорили: «Мансур эту дорогу за лето бы сделал», или «у Атаулина материал так не хранили». Народ-то поминал добрым словом, а задержанные прорабы кляли на чем свет стоит неведомого Атаулина и, честно говоря, мало верили, что такой прораб существовал: фольклор, мечта народная, Робин Гуд с теодолитом.

Мать, выйдя на пенсию, стала писать длинные-предлинные письма, в которых сообщала, хоть и с опозданием, и об элеваторе, и о дороге, давно связавшей поселок с райцентром, рассказывала об Аксае, о его старой гвардии, с каждым годом тихо, незаметно убывавшей...



...Вглядываясь в появившиеся на горизонте силуэты Пирея, аванпоста Афин, Атаулин мысленно видел не греческий берег, а шоссе, которое через много-много лет вскоре приведет его снова в отчий дом.

Воспоминания о доме, о юности, как ни странно, не настроили его на грустный лад, скорее наоборот. Здесь, на палубе теплохода, он почувствовал, что освободился от чего-то, всегда мешавшего ему в полную силу гордиться своей первой стройкой. Вспомнив, что на том давнем банкете в Нагорном в честь пуска элеватора он не пригубил даже рюмки, настолько был ошеломлен событиями последних дней, Атаулин весело подумал: «А почему бы сегодня вечером не отметить с девушками юбилей моей первой стройки, которой, кстати, недавно исполнилось двадцать лет. Судя по письмам матери, элеватор простоит еще лет сто».

Мысль показалась ему занятой, и он пошел заказать столик в ресторане.

В этот вечер Мансур Алиевич был непривычно весел, и девушки не могли понять причины столь резкой перемены настроения своего сдержанного, если не сказать замкнутого, соседа по столу. Предложение отметить двадцатилетие какого-то сельского элеватора в Казахстане они восприняли как розыгрыш, но, как бы там ни было, — согласились. Настроение, наверное, как инфекция: чем сильнее, тем быстрее передается другим, и вечером у них за столом царило необычайное веселье. Мансур Алиевич рассказывал о своей первой в жизни стройке, вспоминал всякие курьезы, случившиеся и с ним, и с теми, с кем он работал, — а народ подобрался тогда колоритный, с хитрецей, сельский человек не так прост, как кажется на первый взгляд.

Глядя на веселившегося от души соседа, девушки и помыслить не могли, что его приподнятое настроение все-таки связано с каким-то элеватором, вернее, даже не с самим элеватором, а с воспоминаниями о том давнем времени. Им казалось — да что казалось, они были уверены, что придуманный им юбилей — просто неуклюжий повод, чтобы пригласить их в ресторан, побыть в обществе хорошеньких девушек. И наспех выдуманный повод выдавал в нем человека, не поднаторевшего в светских ухаживаниях за женщинами; на самом деле, считали они, — каждая мысленно про себя, — что ему приглянулась одна из них, а осталось не так уж много вечеров, чтобы приударить за кем-то — Одесса, где их пути разойдутся навсегда, уже не за семью морями, а там на причале его никто не ждет.

Конечно, Мансуре Алиевичу было приятно в обществе милых, хорошо воспитанных подруг. Как губка, он впитывал любую информа-

цию о жизни на родине, которую девушки подавали с юмором, озорно и изящно, но всегда с четко выраженным женским отношением к любому предмету, о чем бы ни шла речь. Такой подход, чисто женская логика, исключающая напрочь иную трактовку, несколько удивляли Атаулина.

«Далеко шагнули наши женщины в самостоятельности, словно поменялись характерами с мужчинами»,— подумал Мансур Алиевич, не зная еще, как оценивать эти метаморфозы, произошедшие с прекрасной половиной человечества: то ли радоваться, то ли огорчаться. Но стоило взглянуть на зарумянившиеся от легкого вина и едва заметного соперничества прекрасные молодые лица, как любая серьезная мысль об эмансипации, эволюции и прочей зауми пропадала без следа.

Столик находился у стены, отделанной зеркалами, и девушки, чувствуя на себе внимательные взгляды, изящными движениями поправляли тщательно продуманные и аккуратно сделанные прически.

«Молодость прекрасна уже тем, что любой пустяк может обрадовать, поднять настроение, и хорошо, что я устроил сегодня и себе и им праздник»,— думал Атаулин, глядя на подруг.

Когда он пригласил девушек в ресторан, одна из них шутя сказала:

— Такой серьезный юбилей, как двадцатилетие, а тем более элеватора, стоит, мне кажется, отметить в валютном ресторане и нигде больше.

На теплоходе совершали круиз вокруг Европы не только соотечественники, но и многие иностранцы, и на верхней палубе располагался ресторан, где расплачивались валютой.

Атаулин согласился без раздумий и колебаний.

И сейчас девушки, давно окончившие институт и работавшие в каких-то учреждениях, радовались и веселились, как старшеклассницы, впервые попавшие в молодежное кафе.

Они танцевали с ним то поочередно, а то обе сразу, благо некоторые танцы позволяют это. Но Мансур Алиевич чувствовал, что каждой из них гораздо приятнее, когда они танцуют с ним вдвоем. Он уловил их тщательно скрываемое любопытство, интерес к нему, и ловко гасил возникавшее между ними соперничество, был внимателен к обеим. Эта давно забытая игра, неожиданно пристальный интерес к нему, волновали его, но не больше. Он ехал домой, и все его мысли были там, далеко, на родном берегу, и какой-то теплоходный роман, даже случись он, показался бы Атаулину пошлостью. Не с этого, совсем не с этого хотелось ему начинать жизнь дома,— а теплоход казался ему частью родной земли,— хотя он и не знал, с чего начнет эту новую жизнь, пла-



нов никаких у него не было — он просто возвращался домой, как солдат после демобилизации. Солдат после демобилизации — это сравнение понравилось Атаулину, все сходилось: все сначала, все с нуля. Правда, был жизненный опыт, а он дорогого стоил.

Оркестранты, одетые в костюмы в стиле «ретро», играли одно танго за другим — в Европу вернулась мода на танго, а в этом зале моды придерживались. И вдруг Атаулину вспомнился оркестр Клайфа Вуккерта, ровесника и земляка. Интересно, где он, что с ним? Играет где-нибудь в одном из несчетных ресторанов, или стал, как отец, настоящим строителем? Но думать девушки ему не дали, предложили тост за этот вечер...

— Отныне буду ходить на все юбилеи элеваторов, никогда не предполагала, что это так замечательно! — закончила тост, кокетливо озоруя, Наталья, та, что была чуть старше.

Теплоход, сияя всеми огнями, гремя музыкой, шел слегка штормящим морем. С каждой милей приближался родной берег, и кто торопил ход корабля, а кто хотел, чтобы праздник продлился дольше. И словно прочитав его мысли, Ксана грустно сказала:

— Не кажется ли вам, что в последние дни наш ковчег слишком бойко пошел, родные ветра почувствовал, что ли?

— Вам не хочется домой? — удивленно спросил Атаулин.

— И да, и нет. Но сегодня мне хорошо на корабле, в этом зале, где звучит такая музыка.— Она взяла его за руку.— Давайте потанцуем, Мансур,— хотя Атаулин помнил, что сейчас не ее черед.

Ресторан потихоньку пустел, одни уходили погулять перед сном на палубе, подышать морским воздухом, другие, записные гуляки, переходили в ночной бар продолжать веселье. Атаулин с Ксаной и Натальей покинули ресторан последними. Проводив девушек на нижнюю палубу, где была их каюта, Мансур Алиевич поднялся к себе.

Настроение у него было замечательное, неожиданные воспоминания приблизили его к родному Аксаю, порядком уже позабытому, и впервые за много лет в нем запоздало шевельнулась гордость за свой элеватор, за поселковые дома с зелеными крышами, к строительству которых он был причастен. С этими приятными мыслями он и уснул, и снился ему Аксай его молодости, парк под высоким звездным небом и молодой Клайф Вуккерт, который почему-то наигрывал на трубе звучавшее сегодня в ресторане берущее за душу танго. Утром, после завтрака, он с девушками на палубе смотрел, как «Лев Толстой», сбавив ход, медленно входил в Дарданеллы. Проход Дарданелл, относительно

широкий по сравнению с впередилежащим Босфором, местами достигает шести-семи километров, но встречаются частые мели, и «Лев Толстой» осторожно шел вслед за военным турецким кораблем с развевающимся на ветру зеленым флагом, где блестел шитый золотом полумесяц со звездой. Теплоход шел без лоцмана. Правда, когда на входе из турецкой крепости Чакаккале вышел навстречу юркий катерок, Мансур решил, что лоцман спешит на борт, а оказалось, что катер санитарный и спешил к их теплоходу с формальностями.

Утро было ясное, солнечное, с кормы обдувало легким попутным ветерком, и почти все пассажиры теплохода высыпали на палубы. Левый холмистый берег, словно искусно задернованный, горел изумрудной зеленью, трава была ровной, гладкой и казалась подстриженной, как поле для гольфа, и только на самом верху виделся редкий подлесок с резко выделявшимися на фоне неба ореховыми деревьями. Мансур знал, что там, внизу, за холмами, всего в двадцати восьми километрах от пролива, находится легендарная древняя Троя, так гениально высчитанная Шлиманом. Жаль, теплоходы не делали остановок в этих местах. Атаулин с девушками еще долго говорили на палубе о Трое и Спарте, о лежавшем впереди шумном Стамбуле, вспоминали вчерашний вечер в ресторане, попутно девушки попытались выяснить, не предвидится ли в ближайшие дни у Атаулина еще какой-нибудь юбилей. Узнав, что нет, дружно выказали неподдельное разочарование и отказались идти в бассейн, сославшись на то, что всю ночь плохо спали. Простившись, пошли к себе, пожелав Атаулину все-таки покопаться в памяти.

В бассейн Мансуру Алиевичу не хотелось — по утрам он долго принимал холодный душ, да и загорать уже было некуда, и так одни зубы блестели, как у эфиопа,— загар у него накопленный годами, африканский,— и он, вспомнив про читальный зал, отправился в библиотеку. Еще с порога кивнул хозяйке зала, уже приметившей его и ответившей на приветствие улыбкой. Тишина зала, уют, соседство мудрых книг располагали к неспешным размышлениям, и он долго сидел в облюбованном с первого раза кресле, не притрагиваясь к подшивке «Литературной газеты», взятой с самого дальнего стеллажа.

Впервые за много лет думалось о доме с непривычной для него грустью и даже нежностью. Вспоминались письма матери. Выйдя на пенсию, старики вольно или невольно начинают чаще общаться со своими сверстниками. Есть у татар давняя традиция — и по горестным событиям, и по радостным собирать в доме старых людей; такие гости необременительны, и, приглашая их, хозяева словно исполняют долг уваже-



ния перед старшими. А если уж в доме есть свои старики, это двойной праздник — и для родителей, и для их ровесников и друзей.

Мать, упоминая в письмах о таких визитах, несколько раз повторялась, что порой чувствует себя неловко в гостях, потому что речь заходит и о нем, Мансуре. Люди вспоминали о нем, жалели, что он и порадоваться не успел ни своему элеватору, ни новым домам, что поднялись не без его участия, а главное — что он ни на одном новоселье не побывал, ни в одном доме чашки чая не выпил. Мол, закрутила, завертела парня жизнь и занесла аж в Африку. Но в этих сетованиях сквозила не жалость к его судьбе, а скорее гордость, потому что беседа всегда заканчивалась мыслью, неизвестно где услышанной этими малограмотными стариками: «Большому кораблю — большое плавание». «Вот приедет, — говорили за самоваром старики матери, — большой той сделаем, быка вскладчину зарежем и не отпустим из Аксая, пока в каждом доме не побывает».

Расшитые газеты лежали на столике, но он к ним еще не притронулся; несколько раз он ловил на себе удивленный взгляд заведующей, который словно спрашивал: «Что-нибудь случилось?» Эти взгляды отвлекали его, мешали Атаулину думать, и он принялся за «Литературку».

Парадоксально, но, просматривая ее, он яснее видел состояние той или иной отрасли, чем когда читал профессиональную газету. Наверное, в «Литературке» материал вызревал на сотнях и тысячах читательских писем, а главное — такой материал подавался зачастую без посредников, самими специалистами, для которых проблема действительно была проблемой, а может, даже болью. И боль эта чувствовалась, еще как чувствовалась. Интересы газеты были поистине безграничными: от дошкольных учреждений до подробной оценки работы слесаря-водопроводчика — извечной темы нашей печати. Иные материалы представляли собой готовую программу для коллегии того или иного министерства — бери, твори, внедряй, и выдумывать не надо. Неравнодушные люди уже продумали все до мелочей. Но материалы о коллегиях по выступлениям газеты встречались пока нечасто. Это напоминало Атаулину многочисленные газетные статьи о вреде алкоголизма. Кому они адресованы? Алкоголики в большинстве своем газет не читают, и званием к совести их не проймешь, поскольку совесть давно пропитана, а трезвым такие статьи ни к чему. Получалась стрельба из пушки по воробьям, вместо того чтобы власть употребить...

По внутренней радиосети теплохода прозвучало приглашение на обед первой смены. Пора было и Атаулину покидать читальный

зал, не мешало перед обедом пройтись по палубе, глотнуть морского воздуха. Однако его внимание привлекла статья под броским названием «Потоп». «Опять про водопроводчика?» — мелькнула мысль. Но статья по объему была слишком велика для квартирного потопа, да и название знакомой реки заставило Атаулина отбросить мысль о прогулке перед обедом.

Статья потрясла его. В оцепенении он просидел неизвестно сколько, и опять его привел в чувство взгляд хозяйки зала. Журналист описывал трагедию, произошедшую по вине безответственных людей, где пострадавшей стороной оказались река и земли двух районов. Материальный ущерб был настолько велик, что с трудом поддавался исчислению. Да и кто даст гарантию, что в реке появится жизнь хотя бы через тридцать лет, и только ли во флоре и фауне дело? Как подсчитать урон от соседства с мертвой рекой, где теперь ни искупаться, ни напиток нельзя, от которой нужно оберегать и старого, и малого? А кто уберезет от воды скот, птицу, зверье всякое, которым самой природой предназначено жить у большой реки? Сколько малых рек и речушек, озер, водоемов, прудов, нерестилищ, связанных с ней кровно и многие годы, загубит по пути отравленная река? Беды, исходящие от загубленной реки, множились в сознании Атаулина почти в арифметической прогрессии: одна беда вела за собой другую... Что уготовит через годы своим неблагодарным детям мать-природа, никому не известно. Может, и уцелеет какая рыба, приспособится к отраве, будет жить ею, выделяя и множа ее, а через много лет на стол человека попадет яд-рыба. Может, уцелеет что-нибудь из флоры: кустик, трава какая подводная, мягко шелестящая в величавом речном течении, но какая произойдет с ней перемена? Где та лаборатория, которая даст гарантию, что не станет она отравой-травой, смерть-кустом, яд-цветком? Какие дожди, какие снега будут идти вдоль большой реки, испаряющей с тысяч квадратных метров отравленного водного пространства яд в атмосферу?

Какая беда ждет людей, живущих за сотни, тысячи верст от места злодеяния, в поймах реки, и пользующихся заливными лугами? Может, беда эта будет и не смертельной, приспособятся люди, не погибнет и скот, но какой скрытой, непонятной хворью заплатит все живое и живущее вдоль отравленной реки?

Атаулин часто встречал статьи о загрязнении рек и водоемов в газетах. «Загрязнение» — какое мягкое, обтекаемое, удобное слово придумали журналисты! Ведь речь в статьях шла об откровенных сбросах промышленных отходов в реки и водоемы. Упоминались и случаи,



чем-то напоминавшие подобную беду, но гораздо меньшего масштаба, хотя журналисты и описывали, как сутками шла вниз по реке брюхом вверх отравленная рыба и билась на берегах в предсмертных судорогах птица. В тех статьях,— Атаулин это чувствовал,— местные власти крепко постарались, чтобы факты эти не получили широкой огласки, оттого и отделялись газеты любимым словечком — загрязнение. Вроде и есть зло, но не смертельное, переживем.

Если бы на реки и водоемы завели такую же «Красную книгу», в какую заносят исчезающие растения и животных, люди с ужасом увидели бы, какого множества рек, известных по песням, книгам, легендам, из географии, наконец,— уже не существует в природе, и какое великое множество их стоит на грани исчезновения.

Но случай с этой рекой оказался, видимо, беспрецедентным, и скрыть этот факт, при всем желании, местным властям не удалось, все вещи в статье назывались своими именами.

«А как откликнулись на эту трагедию другие газеты?» — подумал Атаулин и кинулся к полке, отыскивая номера тех лет. Забыв про обед, он потратил более часа, листая подшивки шести или семи газет, которые, на его взгляд, не могли остаться равнодушными к судьбе упомянутой реки и загубленной на десятилетия земли, но ни в одной из них даже не упоминалось об этой беде.

«Потоп» — что-то библейское чудилось в броском и метком заголовке. Ведь гибли вечные стихии: земля и вода, дающие человеку жизнь. Для человека земля и вода всегда были бессмертными, ибо олицетворяли собою жизнь. В статье не упоминалось о человеке и его беде,— человек остался за кадром, его беда подразумевалась сама собой, ибо была понятна без слов. Конечно, людей переселят, помогут отстроиться, и, может, дома их будут краше прежних, но что с того?

Миллионы людей выросли вдоль великой Волги, но каждый из них помнит свою Волгу, знает одну, от силы две-три версты ее: свой затон, свою отмель, свою кручу, свои перекаты, свой поворот, свой изгиб, свою переправу, свои купальни, свои луга, свою рощу или лес на берегу — ничто другое, даже похожее, на этой же реке, не дает ему полноты ощущения родного края, что впитал он с детства, босоногим отмеряя шаги на своей реке. Есть вещи, ничем не заменяемые. Что заменит человеку свой берег, свой дом, свою улицу, свою околицу, где впервые назначил свидание любимой, матери своих детей?

А земля? О земле, опять же чтобы не сгущать краски, было написано скупое,— а может, это привычное журналистское целомудрие: зачем,

мол, описывать корчашуюся в муках землю-кормилицу, любой эпитет, любое меткое и удачное сравнение в этом случае оказались бы кощунственными. Но Мансур Алиевич видел все это, будто воочию: пашни и луга, по которым огненной лавой прошла, сжигая все живое на своем пути, кислота с огромных, как индейские озера, очистных сооружений местного комбината химических волокон...

После обеда Атаулин расположился в шезлонге на теневой стороне палубы — идти к бассейну, где наверняка были соседки по столу, не хотелось. Первый эмоциональный всплеск вскоре прошел, и в нем, как обычно, заговорил инженер-прагматик: отчего это случилось, кто виноват? Статья была прочитана им взахлеб, масштаб трагедии захлестнул причины, смазал детали и фамилии, хотя, помнится, излагалось все довольно подробно и толково. Теперь же он захотел проанализировать причины трагедии, разобраться как инженер, почему так, а не иначе, развивались события. Он пошел к себе в каюту, достал из чемодана калькулятор, с которым редко расставался, блокнот и вновь направился в читальный зал. Ему и раньше приходилось участвовать в расследовании причин разрушений, обвалов туннелей и мостов, но с кислотным потоком он встречался впервые.

Перечитав статью вновь, Мансур Алиевич расчертил лист бумаги по понятной ему одному схеме и против каждой фамилии должностного лица или организации ставил какие-то знаки — плюсы-минусы, цифры, даты, означавшие сроки и суммы во многих тысячах рублей, а то и в миллионах. На схеме появлялись названия тех или иных организаций, ведомств, служб контроля, не упомянутых в статье, хотя чувствовалось, что автор знал об их существовании, знал, что они прямо или косвенно имели отношение к потоку, однако, видимо, не стал распыхляться, стремясь выделить главное.

Статья возмущала Атаулина, заставляла докапываться до сути, потому что комбинат не заслуживал ни единого доброго слова — дармоед, захребетник, сидевший на шее государства со дня пуска, — самые еще мягкие определения. Конечно, нанеси вред реке даже «Азовсталь» или какое другое именованное объединение, было бы ничуть не легче, и никого бы случившееся не оправдало, но хоть понятно бы было: работали все же люди, есть результаты.

Комбинат химического волокна был пущен в эксплуатацию, судя по статье, пятнадцать лет назад в расчете на то, что он будет производить велюр, вельвет, замшу, меха, дакрон, кожу для плащей и пальто, эластик — ткань для спортивных костюмов, — в общем, то, что в по-



следнее время прочно вошло в моду. Наверное, за стройкой этой внимательно следили фабрики и пошивочные ателье в ожидании модных тканей. Но не тут-то было. За долгие пятнадцать лет работы ни разу — дотошный журналист докопался до всего — комбинат не выполнил план и выше двадцати пяти процентов планируемого месячного объема не выпускал. Можно было предположить, что уж эту продукцию потребители рвали друг у друга из рук. Но в том-то и беда, что и этот рожденный в великих муках дефицит никто не брал, так и пропадало все на складах. Спрашивается, почему? Да кто же себе враг, кто станет связываться с таким горе-поставщиком. Всеми правдами и неправдами старались откреститься от неритмичных поставок, иначе пропадешь, завалишь свой план по всем статьям, и фабрики встанут — из ничего, к сожалению, шить еще не научились. Причин неритмичной работы комбината называлось несколько. Изначально проект оказался, мягко говоря, с грубыми ошибками. Проектный институт до минимума упростил сложнейшее инженерное сооружение, добившись снижения сметной стоимости объекта — главного показателя работы проектных институтов, — не зря же за сбереженную государственную копейку их хвалят, одевают премии, ставят в пример другим. На деле же экономия в несколько десятков тысяч обернулась уроном, не поддающимся подсчету. Вторая ошибка стала следствием первой и длилась долго, до самой развязки.

После шумного пуска с фанфарами и литаврами, пышными речами и заверениями сразу стало ясно, что комбинат не в силах производить нежный бархат и ласкающий взгляд велюр, разве что какое-то подобие искусственной ваты грязных расцветок или обрывков, похожих на обтирочные концы, годных для изоляции канализационных труб и утепления крыш на фермах. Но такая перспектива никого не устраивала. Решено было довести комбинат до ума. Единственно верное решение. Но принять решение — одно, а претворить его в жизнь — совсем другое. Атаулину как инженеру было ясно, что следовало тут же остановить комбинат, чтобы не переводить дорогостоящее сырье, распустить почти девяносто процентов эксплуатационников и вновь вернуть на комбинат строителей, вызвать специалистов горе-проекта и не отпускать их до тех пор, пока комбинат не выдаст запроектированную в их трудах долгожданную продукцию.

Конечно, так, наверное, думали и на месте. Но на какие средства делать реконструкцию? Затраты на строительство и так почти вдвое превысили расчетную стоимость комбината, и для пуска уже правдами и неправдами изыскивали дополнительные средства. Кроме средств,

и немалых, нужно ведь и материальное обеспечение, и специальные людские резервы. А при плановом хозяйстве, где все рассчитано на много лет вперед, решить такой вопрос чрезвычайно сложно. К тому же комбинат уже на всю страну объявлен действующим, и еще не выпущенная им продукция уже на годы вперед расписана в широком ассортименте получателям. И комбинат решили доводить на ходу — перед героизмом, мол, никакие расчеты не устоят. Стали предприятию выделять в год когда два миллиона, когда три, когда ничего, а иногда сразу четыре, если удавалось урвать от чего-нибудь планового.

Деньги расплылись, строители, у которых хватает плановых и пусковых объектов, смотрели на дефективное дитя сквозь пальцы, уж они-то лучше других знали, что этот объект — вечен. Конечно, по ходу работ удавалось освоить ту или иную продукцию, но о качестве ее и количестве оставалось только мечтать, и так все пятнадцать лет. Автор статьи подсчитал, что за эти годы, на реконструкцию, доводку нового комбината, кстати, сданного с оценкой «отлично», ушло почти столько же, сколько он стоил первоначально.

Химические, металлургические отрасли, да и многие другие по своей технологии не могут работать без очистных сооружений. Были запланированы они и на комбинате химического волокна. Опять же в целях экономии здесь спроектировали такие сооружения, которые могли эксплуатироваться только со многими примечаниями. И примечания эти, отпечатанные мелким шрифтом, занимали целые страницы. Атаулин сразу уловил, что очистные сооружения комбината должны были быть вдвое больше. Но институт, опять же опасаясь удорожания проекта, на это не пошел, решив, что руководство комбината лет через десять само догадается их расширить. При нормальной работе комбината и при хороших хозяевах, наверное, очистные не остались бы без внимания. А при сложившихся обстоятельствах, когда руководство здесь менялось едва ли не через год, до того ли было, до создания ли специальных бригад по обслуживанию очистных сооружений, согласно одному из многих пунктов примечаний, когда фонд зарплаты трещал по всем швам и лихорадило основное производство. Все шло к трагедии. К тому же из-за неотработанной технологии хранилище заполнялось вдвое быстрее, чем предполагалось по расчетам, что выяснилось только в ходе расследования аварии. А авторский надзор проектным институтом не осуществлялся ни в ходе строительства, ни в ходе эксплуатации комбината. Последние же события, предшествовавшие трагедии, иначе как крайней без-



ответственностью, равнодушием, профессиональной несостоятельностью или преступной халатностью не объяснишь.

За три дня до потопа дежурный слесарь, по каким-то делам оказавшийся на очистных сооружениях, увидел, что хранилище наполнено до критической отметки и быть беде, если не принять экстренных мер. Он письменно, — именно письменно — уведомил не только свое непосредственное начальство, но и руководство комбината. За день до трагедии уже группа рабочих также поставила в известность руководство о назревающей катастрофе, но мер так никто и не принял. Директор отбыл на свадьбу — беда случилась в субботу, — а главный инженер уехал на рыбалку. И вот такой паршивый комбинат, сожравший сотни миллионов и не окупивший ни одного вложенного рубля, принес стране убытки, не поддающиеся подсчету.

Уж лучше бы все пятнадцать лет строители и эксплуатационники комбината, да и проектировщики тоже, сидели на берегу живой реки с удочкой, в свое удовольствие, за ту же зарплату, что они получали, чем строили и эксплуатировали такое горе-предприятие, — в таком случае даже экономия вышла бы, и тоже в миллионах.

Все было ясно как день: медленно, как раковая опухоль, зрела трагедия, все спокойно, мирно, обыденно, на глазах многих. У Атаулина, привыкшего мыслить другими категориями, прочитанное не укладывалось в голове.

«Отнять диплом, лишить права на всякую инженерную работу, — больше того, что государство уже потеряло по их вине, не потеряет, зато другим была бы наука. Глядишь, поменьше стало бы соискателей постов, ведь пост — это работа, а не блага, вытекающие из него», — с горечью думал он. Думал так потому, что финал трагедии, закончившийся судом, смахивал на шутку. Директор вообще отделался легким испугом, потому что принял комбинат недавно и был не в курсе дел (Принял и не в курсе? Не в курсе — так не принимай!). А четверо других специалистов комбината, которые вины своей не признали, были приговорены судом к денежным штрафам от двухсот семидесяти до четырехсот тысяч рублей. Вот только суд не указал, откуда же скромным советским служащим, работающим на предприятии, не выполняющем план, взять эти деньги, и реально ли вообще погашение такой суммы, ибо кому-кому, а уж юристам известно, что более одной трети зарплаты удерживать нельзя и что долги у нас, даже государству, по наследству не передаются.

Непонятно было Атаулину и то, что не только не привлекались к суду авторы проекта, специалисты, утвердившие этот проект, но даже

частного определения в адрес проектного института не было сделано. Было непонятно, по каким соображениям не упоминалось в статье, какой конкретно институт выполнил горе-проект,— по крайней мере другие заказчики поостереглись бы впредь обращаться туда, не доверялись бы слепо бракоделам. Не упоминался и город, где произошла трагедия, один ориентир — река, а она тянется на тысячи километров. Оставалось только догадываться — фамилии бездарных инженеров, приговоренных к пожизненному штрафу, ни о чем Атаулину не говорили...

Вечером за ужином девушки поинтересовались, отчего он такой хмурый... И он подробно стал рассказывать о прочитанной статье в газете...

— И из-за этого вы расстроились? — удивились подружки, выслушав его, однако, не без внимания.

Ксана тут же поведала, что нечто подобное нынешним летом случилось по вине какого-то сахарного заводика с Днестром. У девушек, как и вчера, было отличное настроение, и рассказ Атаулина их несколько не тронул, гораздо больше их интересовал грядущий вечер, и Наталья, как обычно, в своей шутливо-властной манере сказала: — Весь день проторчать в библиотеке, чтобы нарваться на статью, которая испортит настроение? Ну и занятие вы себе нашли, Мансур. Уж лучше бы покопались в памяти, как мы советовали вам днем, и вспомнили еще про какой-нибудь юбилей, подобный вчерашнему. Не один же элеватор вы построили в жизни, я готова даже отметить авансом юбилей следующего... А статью эту выбросьте из головы — неизбежная расплата за технический прогресс... — Весь день с калькулятором в руках подсчитывать убытки какого-то гадкого завода, губящего все живое вокруг, когда мы с утра выбираем наряды к сегодняшнему вечеру, высиживаем в очереди к лучшему парикмахеру, а вы даже не заметили этого, Мансур. Нехорошо... — улыбнулась Ксана, но видно было, что она несколько не разочарована им.

«Какие милые девушки, что я порчу им настроение, у них все-таки отпуск, праздник,— спохватился Атаулин, только теперь заметив, какие они сегодня нарядные.— Когда мне еще удастся побыть в таком милом обществе?» — мелькнула мысль, и он, подлаживаясь под их шутливо-ироничный тон, сказал:

— Такой уж я, девушки, не джентльмен. Дела заслоняют от меня прекрасное. Юбилеев, к сожалению, больше не предвидится, могу пригласить только на панихиду по реке. Я когда-то недалеко от нее, на севере Казахстана, ставил мельницу и элеватор. Но так был занят, поверьте,



что ни разу не удалось побывать на реке, увидеть ее, хотя она была в нескольких километрах. А теперь вот долго придется ждать...

— Пессимист! — в один голос воскликнули девушки.

— Не панихиде, а возрождению реки посвятим вечер,— добавила Ксана,— и не только за нее, но и за возрождение многих других рек, что загубил ваш брат — инженер, поднимем бокалы, идет?

Атаулин пригласил их в облюбованный ими ресторан на верхней палубе, и вновь они танцевали, веселились до самого закрытия, и, как заправские кутилы, ушли последними, прихватив с собой бутылку шампанского. Ее они распили на палубе, возле бассейна, за Принцесы острова, что обозначились справа по борту сияющими огнями, хотя и не такими яркими, как испанский Аликанте.

Но как бы ни было весело и приятно с девушками, относившимися к нему с трогательным вниманием, временами он вдруг словно проваливался памятью куда-то далеко-далеко — к неведомой реке, петляющей среди казахских аулов, русских сел и казачьих станиц, и, странно, испытывал какую-то вину. Но перед кем и за что?

Девушки тормозили его, говорили что-то ласковое, веселое... Расходиться никак не хотелось, но наверху девушкам в открытых вечерних платьях становилось прохладно, и они напросились к Мансуру Алиевичу в гости. В его каюте-люкс обе тут же принялись хлопотать, благо в холодильнике было что выпить и чем закусить, а главное, можно было приготовить кофе. Пока девушки накрывали на стол, Атаулин распаковал чемодан, достал магнитофон и кассеты. Музыка девушки обрадовались больше всего.

— Ночь отменяется, на рассвете Босфор и Стамбул! Гуляем до зари! — в восторге крикнула Ксана, глядя влюбленными глазами на Атаулина.

Стихийная вечеринка получилась не хуже, чем в ресторане; стараясь особенно не шуметь, танцевали, пели вполголоса, выходили на палубу помахать сонным Принцевым островам. А едва занялась заря, они первыми поднялись на палубу.

Теплоход медленно входил в Босфор, и сразу открывалась величественная бухта Золотой Рог, разделяющая Стамбул на старый и новый город, на деловую и жилую части. У входа в Босфор высился маяк, с которым у греков и турок связано немало преданий. По турецкой легенде султан замуровал в башне свою любимую дочь, и поэтому называется она Девичьей башней, а греки называют ее Лиандровой, опять же согласно легенде о несчастной любви. Босфор узок, местами не более се-

мисот метров, и потому теплоход шел с предписанной скоростью десять миль в час, и вели его опытные турецкие лоцманы.

Удивительное зрелище восход! В утренней дымке то исчезают, то появляются сотни минаретов Стамбула, и среди них особенно величава четырехминаретная мечеть Айе-София и шестиминаретная Голубая мечеть Султана Ахмета — чудо восточной архитектуры. Берега Босфора, набережные в любое время суток многолюдны — толпы праздного пестрого туристического люда.

Атаулина поразил прежде всего полуторакилометровый всякий канатный мост, соединяющий Азию и Европу, — гениальное и величественное творение американских, японских и немецких инженеров, архитекторов и строителей. Ажурный гигантский мост с восьмирядным автомобильным движением, словно легкая паутина, покоился на берегах, привязанный стальными канатами к четырем могучим бетонным быкам. Трехсотмиллионное сооружение, окупившее себя за два с половиной года, казалось простым и надежным, как и все гениальное.

Иные дома подступали вплотную к Босфору, и с открытых балконов, лоджий, веранд, зависавших прямо над водой, в этот ранний час молодые хозяйки встряхивали простыни. Удивительное зрелище, волнующее сердце моряка, — никогда так остро не вспоминается дом, как здесь, ранним утром, на Босфоре: утро... красивая женщина, таинственно появляющаяся и исчезающая на балконе с белой простыней.

Светало... На палубах было еще малоллюдно, большинство спали спокойно, зная, что Стамбул никуда не денется, здесь у теплохода планировалась самая большая стоянка за весь круиз. Девушки, кутаясь в ажурные шерстяные шали, восторженно вглядывались в диковинный город.

— Как в сказке! — выдохнула радостно Ксана и, поевшись от утренней прохлады, прижалась к Атаулину и тихо сказала: — Правда, Мансур, я молодец, что предложила встретить рассвет на Босфоре?

— Ну конечно, — ответил Атаулин и неожиданно для себя, склонившись, поцеловал ее в шею, — высоко подобранные волосы делали ее такой беззащитной...

Потом он гулял с девушками по шумному Стамбулу, где сгодился и его немецкий, и французский, и английский, а более всего родной татарский. Девушки, возбужденные ярким, красочным Стамбулом, где у них глаза разбегались от множества магазинов, магазинчиков, лавок, ярмарок, предлагавших что душе угодно, то и дело обращались к нему с вопросом, просили прочитать ту или иную вывеску, рекламный плакат, и мысли, угнетавшие его накануне, на время забылись.



Стамбул — последняя остановка на пути домой, все уже позади: Пирей и Тулон, Неаполь и Генуя, Барселона и Лиссабон, Роттердам и Гамбург, Плимут и Гавр, и близкий конец путешествия вызывал у девушек легкую грусть. Гораздо приятнее, наверное, ощущать, что у тебя все впереди, тем более если это Европа с ее романтическими портами; но все позади, за семью морями и океаном, и отпускные дни сгорели, как новогодняя свеча,— впереди дом, будни, заботы, проблемы. От праздника остался свечной огарок. И Ксана, выражая общее настроение, продекламировала:

— Мы и запомнить не успели того, что будем вспоминать...

Грусть у девушек прорвалась неожиданно — здесь, в Стамбуле, где они провели пять удивительных часов на турецком берегу. И теперь уже Атаулин, понимая их настроение, был предельно внимателен, исполнял маленькие капризы девушек, да ему и самому хотелось их побаловать. Побывали они в турецкой кофейне, пили замечательный турецкий кофе чуть ли не из наперстков, запивая ледяной водой. Попробовали дымные кебабы, шашлыки на метровых шампурах, пили шераб на открытой веранде ресторана на Босфоре. Здесь, на веранде ресторана, в ожидании посадки на теплоход, Ксана, вздохнув, сказала:

— Как здорово, что вы, Мансур, объявились в середине пути в Касабланке. Нам так не хватало вас в Плимуте и Гавре, Гамбурге и Антверпене. С вами так легко и приятно, благодаря вам мы ждем каждого вечера как карнавала, где шумно, весело и все полно ожидания... — И закончила вдруг, как всегда озорно: — Вы — джентльмен, даже если иногда и забываете нас ради какого-то элеватора... Но и в этом что-то есть... мужское, настоящее... За вас, Мансур.— И Ксана подняла за тонкий стебелек бокал с красным, как турецкая феска, вином.

В Стамбуле туристы садились на теплоход усталые и как будто разочарованные: меньше слышалось обычных шуток, всех вдруг охватила грусть — круиз подходил к концу, отпуск заканчивался, истрачены последние динары, не у каждого осталась монетка бросить на счастье в Босфор, чтобы еще раз вернуться, согласно примете, в город, расположенный в Европе и Азии одновременно и впитавший культуру двух великих континентов. Впереди Одесса, впереди будни...

Девушки, уставшие от долгой ходьбы, жары, обилия впечатлений, распрощались с Мансуром Алиевичем сразу, как только поднялись на борт, уговорившись, что встретятся за ужином.

Атаулин, привыкший и к жаре, и к большим нагрузкам, зашел в каюту лишь принять душ и переодеться и к отплытию уже снова был

на верхней палубе. Стамбул заслуживал того, чтобы с ним попрощаться. Лоцман, получив сигнал из порта, повел грянувший бравурной музыкой теплоход к Черному морю, и враз сбежались к причалу зеваки, туристы, детвора,— отплытие большого корабля — всегда волнующее зрелище. И вновь с десятимильной скоростью «Лев Толстой» шел мимо густонаселенных набережных Босфора, и с открытых террас кафе, ресторанов, баров дружелюбно махали им, желая счастливого пути. С берега, утопавшего в зелени и цветах, веяло свежестью. На самом выходе в Черное море, обозначая Босфор, высились два маяка: на азиатском — маяк Анадоллу, а на европейском, в живописном рыбацком поселке — маяк Румели. Атаулин стоял на палубе долго, пока теплоход не вышел на большую воду и пока лоцманский катерок, развернувшись, не ушел обратно в Босфор. Прощай, Турция!

Теплоход словно вымер, затихли шаги в коридорах, опустели палубы — сиеста после Стамбула была как нельзя кстати. Вокруг стояла тишина, и только тяжелые волны родного моря мерно бились о белый борт теплохода, торопя его домой. Вернувшись в каюту, Атаулин хотел часа два отдохнуть, но не мог ни лежать, ни сидеть без дела, хотя накануне провел бессонную ночь,— сказывался напряженный ритм всей предыдущей жизни — он не мог, не умел проводить время бесцельно.

Что-то тяготило его, не давало покоя... В памяти всплыла статья... Здесь, в каюте, ничто не мешало думать, не отвлекало. И он не удивился, когда сам собой выплыл резонный вопрос, который ни вчера, ни позавчера не приходил ему в голову. Что же предприняли, чтобы спасти реку? И где гарантия, что больше этого не случится? В подобных случаях должен быть ответ официальных органов, от такой статьи не так просто отмахнуться, и отмолчаться не получится — редакция, конечно же, тысячи писем получила от возмущенных читателей, где наверняка ставились эти же вопросы. И, скорее всего, официальный ответ уже был напечатан, потому что газета следила за судьбой своих полемических статей, а нерадивым порой даже напоминала со своих страниц, что пора ответить прессе и народу.

Атаулин опять пошел в читальный зал. Тщательно, газету за газетой, просматривал официальные ответы на всякие выступления, запросы, но нужного не находил. Просмотрев подшивку месяца за три, вышел даже покурить на палубу и вернулся с твердым намерением, если надо, одолеть газеты хоть за год, но ответ найти, какие меры приняли местные власти. Он не мог отступить,— таков уж был его характер — стремился докопаться до корня, до сути. Но просматривать всю годо-



вую подшивку не пришлось — ответили «Литературке» через полгода. Конечно, такой лаконичный ответ он вполне мог и пропустить — среди ничего не значащих общих слов нашлась одна-единственная конкретная строка: «...В связи с аварией комбинату химического волокна выделено три миллиона рублей на реконструкцию очистных сооружений», а дальше пошли заверения в любви к природе и что-то о героическом труде работников комбината, короче, словеса и крокодильи слезы...

Неожиданно для себя Атаулин так разозлился, что едва не зашвырнул подшивку на полку. Остановил его только удивленный взгляд библиотекаря. Поблагодарив учтивую женщину, он вышел на палубу. У Мансура Алиевича было ощущение, что его, лично его, обманули, причем бездарно, глупо. Ответ газете и людям, ожидавшим его, был настолько неуважительным, что смахивал на тонкое издевательство. Редакция его никак не прокомментировала, но у Атаулина уже пропало желание рыться в газетах, к тому же он понял, что ничего утешительного не найдет.

«Три миллиона на очистные сооружения! — удивляясь все нараставшему в нем возмущению, повторял Атаулин.— Три миллиона! Еще три! В очистных ли дело? Опять: лыко да мочало, начинай сначала? Комбинат пятнадцать лет переводил народные деньги на ветер, теперь уже его очистные сооружения принялись выкачивать государственную казну. И ни слова о том, нужен ли этот комбинат в нынешнем состоянии вообще! Войдет ли когда-нибудь в строй действующих и кто конкретно поручится за это? Почему пятнадцать лет комбинат не просто работал вхолостую, а находился на ежегодной дотации государства, плодя и наращивая ущерб?

Кто ответил или ответит за это? Такой ущерб по масштабности ни с каким воровством не сравнится, ни за год, ни за пятилетку. К тому же говорят в народе: что украдено, хоть в дело пущено, а тут — все на ветер, ни себе, ни людям.

Кто заказчик такого «гениального» проекта и кто его исполнитель, не враги же сотворили? Кто поручится, что не штампуются и сегодня такие же горе-проекты, от которых государству ущерб вместо выгоды? Почему только один ответ, хоть и на отписку сильно смахивает? Почему промолчали министерства легкой и химической промышленности — одно, наверное, заказывало, другое проектировало и строило? Какие санкции предъявляли заказчики исполнителям, ведь брак налицо, в карман не спрячешь? Есть же солидная организация — Государственный Арбитраж, — он, наверное, рассудил бы. Почему выгодно молчать

правому и виноватому?» Такие вопросы, один сложнее другого, задавал себе Мансур Алиевич и, конечно, не мог ответить ни на один,— он давно уже строил и мыслил по-другому.

А река? Пострадавшая река, о ней и словом не упомянули в отписке. Донесла ли она заразу до Иртыша или уберегла великую реку, приняв на себя весь удар? Кто проверит по весне заливные луга на сотнях и сотнях километрах и даст квалифицированный ответ, что луга не ядовиты и не пойдет насмарку труд сотен колхозов, не потравят они и без того скудеющие стада? А люди? Кто возместит им ущерб и не с тех ли мифических сотен тысяч штрафа виновных им причитается по счету? И что стало с землей? Как ее-то вернуть к жизни? Есть ли какие надежды, или решено оставить все страшным заповедником, как урок людям на будущее, как назидание?

Лавина нахлынувших вопросов не давала Атаулину покоя, и он продолжал взволнованно рассказывать по палубе. Хотелось сосредоточиться на себе, своей жизни, подумать об Аксае, о людях, которых он скоро увидит, о матери, наконец, ведь берег родной уже близок, до Одессы осталось чуть больше суток,— но ничего не выходило. Мысли то и дело упрямо сворачивали к загубленной реке, трагедия которой что-то поколебала в его представлениях о своей работе, работе его коллег. Сейчас, размышляя о произошедшем с рекой, он, как и в детстве, не отделял проектирование от воплощения, а под словом «коллеги» подразумевал и архитекторов, и строителей. Ведь рядовому человеку все равно, на каком этапе допущен брак, виновный для него крайний — строитель. Судя по газетам, в стране почти во всех отраслях идет экономическая реформа, сутью которой станет оплата по итогам, по конечной продукции.

Назрела, наверное, необходимость и в капитальном строительстве ввести реформы: чтобы и проектировщик, и строитель были одинаково заинтересованы в итоге, чтобы стоимость проекта оценивалась не когда он на бумаге и в макетах, а только по окончательной, реальной стоимости объекта, сдаваемого под ключ, а может, даже — и при выходе на проектную мощность. Тогда не будет ложной экономии у тех, кто проектирует, не будет громадных двойных, тройных перерасходов у тех, кто строит. Народное хозяйство будет уже в плане иметь реальную стоимость объектов, и не придется из года в год изыскивать средства для достройки дважды оплаченных сооружений. Пора понять, что плановое хозяйство может держаться только на реальных, твердых, обоснованных цифрах. И может, реальная цена объектов, пока они еще на бумаге, заставила бы нас задуматься: а стоит ли овчинка выделки? Пока же многие проекты



завлекают неискушенных плановиков дешевизной и быстрой самокупаемостью, а на деле выходит-то совсем иначе: сотни предприятий годами не могут выйти на проектную мощность, а это значит, о самокупаемости и речи быть не может. И эта чужая вина, как правило, ложится на плечи эксплуатационников, хозяйственников, и бедные директора получают попеременно инфаркты с выговорами, а ведь все зло в другом — низком качестве проекта, несовершенной технологии.

Поистине — без вины виноватые! А те, кто дал народному хозяйству никудышный проект, остаются в стороне. Где кто читал или слышал, что предприятие не выполняет план потому, что завод подвели проектировщики? В худшем случае могут еще сослаться на строителей: на низкое качество их работы, на недоделки, хотя суть совсем в другом. Даже если сдать такой завод на пять с плюсом и облицевать мрамором, он никогда не выйдет на проектную мощность, потому что мощность эта только на бумаге получилась, и вполне устраивала создателей, чтобы выпихнуть свое детище в мир.

Впервые за двадцать лет работы Атаулин задумался: а что он сам сделал, чтобы хоть что-то изменилось в порочной практике, о которой ему было известно и раньше. И тут кстати и некстати вспомнился ему случай с цементом.

Когда он уже работал в Африке, на строительстве одного объекта, вдруг пошел цемент, мягко говоря, не соответствовавший стандартам, — каждый день лаборатория давала анализы, отличавшиеся от заданных. Может, для дела эти небольшие отклонения и не имели практического значения, но не зря все кругом называли его «Мистер Гост». Стандарт не должен быть ни лучше, ни хуже, он должен строго выдерживаться, на то он и стандарт.

Атаулин проверил всю партию цемента на складах и забраковал его весь, что вызвало большой переполох. Пришлось срочно вылететь на заводы-поставщики. На месте выяснилось, что цементные заводы выпускают более пятидесяти марок цемента, тогда как в развитых странах, отличающихся интенсивным и качественным строительством, производится не более пяти марок. Этот широкий спектр и вносил путаницу: попробуй выдержать пятьдесят марок цемента строго по стандарту. Неоснованное множество только на руку недобросовестным производителям. Да и как уследишь за качеством, за стандартом, если цемент — всегда дефицит, готовы взять любой? Да и каждая ли стройка имеет лабораторию?

Атаулин же обязал своих инженеров делать анализы и обнаружил, что почти во все марки неоправданно включаются органические добав-

ки только для того, чтобы дать объем, дутую цифру, создать иллюзию благополучного выхода цемента. Но стройке нужен качественный цемент, а не органические наполнители и дутые цифры. По его докладной, конечно, приняли меры. Один цементный комбинат целиком перевели на нужды особо важных строек, оставив, по его же рекомендации, пять международно принятых марок, исключаящих какие-либо органические наполнители — такое добро, если потребуется, можно и на местах найти. И сейчас Мансуру Алиевичу стало мучительно стыдно за тот свой термин «особо важные», которым он обосновал тогда требование перевести завод на производство высококачественного цемента — нет, даже не высококачественного, а просто цемента, строго соответствующего государственным стандартам.

Особо важное строительство?! Сейчас он подумал: а разве может строительство быть другим, неважным? Разве можно плохо строить дома, школы, мосты, заводы, фабрики, детские сады, общежития — вряд ли эти жизненно необходимые объекты попадают под определение «особо важные». Да, пять лет назад, когда он выбивал для своей стройки настоящий цемент, Атаулин был убежден, что существуют особо важные стройки. Такой подход к собственной профессии сегодня казался ему постыдным... А что, если так думали и те, кто проектировал, и те, кто строил комбинат химического волокна? Если изначально эта стройка была не из особо важных? «Какой-то строительный расизм, ей-богу», — подумал Мансур Алиевич в растерянности.

Разделяя по сути одно и то же дело на важное и второстепенное, никогда не добьешься благополучия ни в том, ни в другом случае, это только развращает, порождает цинизм...

И вдруг он подумал об иронии времени, подчас смещающем представление о важном и второстепенном, опять же о деле и потехе. На каждый календарный футбольный матч, будь то в Красноярске или Владивостоке, Хабаровске или Ташкенте, вылетает бригада судей из Львова или Ленинграда, Тбилиси или Еревана, а контролировать работу этой бригады судей — из Москвы, из Федерации футбола вылетает еще и судья-инспектор матча! Какое внимание к футболу, у которого и результатов нет, одни огорчения! Вот таких бы судей-инспекторов, экспертов для нашего строительства! У Госстроя всегда было бы ясное представление о положении дел, и фундаменты бы не выдавали за сдаточные объекты, и поменьше «долгостроев» значилось бы в списках...

Так стоял он на палубе, стараясь вызвать какое-нибудь приятное воспоминание, чтобы отогнать неотвязные мысли о своей

М

работе, как вдруг кто-то, подойдя сзади, закрыл ему глаза. Атаулин сразу узнал запах духов... Ему было приятно ощущать нежные ладони, вдыхать тонкий аромат, слышать взволнованное дыхание за спиной, и он долго молчал, потом, отняв руки, поцеловал жаркие ладони.

— Ты опять чем-то озабочен, я наблюдала за тобой,— сказала Ксана.

В ее вопросе было столько неподдельной тревоги и заботы, что разом схлынули мысли, мучившие его, и он, улыбнувшись, ответил:

— Тебе показалось, у меня прекрасное настроение, а озабочен я был сегодняшним вечером, но с этим, кажется, все в порядке, все решено, хотя потерпи, пусть будет сюрприз...

Странная метаморфоза произошла с туристами: в Стамбуле поднимались на борт погрузившиеся, тихие, а сейчас, после отдыха, никого не узнать, все нарядные, торжественные и немного возбужденные от предстоящего прощального вечера на корабле.

Повсюду стихийно сбивались группы, компании... Вскоре к ним присоединилась Наталья, и они уже втроем прогуливались по палубе.

— Вы так увлеклись, что не слышали приглашения на ужин,— сказала вдруг не без тайного укора Наталья, поглядывая на часы.

— А я предлагаю сегодня обойтись без ужина,— ответил Мансур Алиевич.

Девушки вопросительно посмотрели на него. Атаулин, глядя на Ксану, улыбаясь, сказал:

— Прощальный ужин я заказал в вашем любимом зале, и, думаю, нам нет смысла перебивать аппетит, правда, ужин чуть позже обычного, но, надеюсь, вы выдержите...

— Ах, Мансур! — в один голос воскликнули они, просяив, и тут же, словно опомнились, опять же вдвоем, перебивая друг дружку, заговорили: — Вы должны были предупредить нас, это нечестно, мы не готовы к такому торжественному прощанию, нам нужно переодеться...

Обрадованные, они чуть ли не бегом кинулись к себе в каюту.

Когда девушки пришли в ресторан, гулянье там уже было в разгаре. Атаулину не понимал, почему азарт охватил весь зал,— то ли туристов волновала встреча с приближавшейся землей, то ли они столь бурно прощались с морем и кораблем? Впрочем, не все ли равно, сегодня здесь царил праздник.

На нарядно сервированном столе, крытом белоснежной крахмальной скатертью, у зеркальной стены, где обычно сидели они в этом зале, стоял в хрустальной резной вазе удивительно подобранный букет роз на высоких тонких ножках. От цветов невозможно было оторвать глаз, они невольно привлекали внимание каждого. Свежий благоухающий букет роз, был составлен очень искусно: одна половина белая, другая ярко-красная. Букет не только притягивал внимание симметрией и цветом, но и заставлял задуматься: может быть, это какой-то символ, тайный знак? Поэтому, появившись втроем у стола, Атаулин и его подруги невольно привлекли внимание всего зала.

— Какие красивые цветы... — протяжно, почти нараспев сказала Ксана, склонившись над внушительной вазой и вдыхая аромат роз. Она, конечно, уже успела заметить, что цветы только у них на столе.

Наталья все-таки не утерпела и, сторя от любопытства, еще раз, на всякий случай, величественно, как умеют только женщины, оглядела зал и спросила:

— Мансур, а почему такие роскошные цветы только на нашем столе?

Атаулин отделался шуткой и пообещал «выяснить» это к концу вечера. А все объяснялось очень просто... Когда они сидели на веранде ресторана в Босфоре, ожидая посадки на теплоход, ему вдруг захотелось сделать девушкам что-нибудь приятное. Как раз рядом, через дорогу, находился цветочный магазин, и он попросил официанта, чтобы посыльный отнес из магазина на борт, в его каюту, букет из белых и красных роз. Он даже не предполагал, что букет будет столь изысканным.

Вечер удался на славу: танцевали, веселились, вспоминали события заканчивавшегося круиза, и странно, ни слова не говорили о дне завтрашнем, хотя Атаулин знал, что прямо с парохода девушки отправятся в аэропорт, самолет на Кишинев улетал через два часа после прибытия теплохода в Одессу. Уйти из ресторана последними на этот раз им не удалось, из зала попросили всех одновременно, заранее предупредив и гася огни, — хотя никому в этот вечер уходить не хотелось. Уйти — означало признать, что праздник кончился.

Выйдя из ресторана, они и впрямь ощутили, что праздник кончился. Родное море штормило, холодные брызги обдавали палубу, теплоход сильно качало, и привычная бархатная южная ночь с высокими и яркими звездами над палубой сменилась непроглядной и неуютной мглой. В разбушевавшейся стихии огромный теплоход словно сжался — куда



девалась его величавость,— и музыки не слышно, и огни стали похожи на огни тревоги, а ведь еще вчера они сулили только праздник.

— Вот и все, я звоню вам с вокзала...— продекламировала негромко Ксана.

— Надо же, первый шторм за все путешествие...— ежась от пронизывающего ветра, попыталась поддержать разговор Наталья.

Но разговор не получался... Наверное, каждый думал о своем. И они торопливо распрощались...

Засыпая, Атаулин некстати вспомнил, что, читая официальный ответ газете, не обратил внимания, откуда исходила отписка, то есть на единственное недостающее звено в той трагедии, хотя помнил точно, что ответ был подписан женщиной, вторым секретарем обкома.

Спал он беспокойно, часто просыпался — то ли от шторма, то ли от волнения: шутка ли, завтра он тоже будет дома, самолет на Актюбинск вылетает часом позже, чем на Кишинев. И странно, в эти короткие минуты сна ему виделись не дом, не мать, а Африка, все его стройки, как в калейдоскопе, прошли перед ним, он словно еще раз оценивал сделанное...

Утром ничто не напоминало о шторме, светило мягкое солнце, появились над теплоходом редкие чайки — предвестницы близкого берега. Теплоход вновь величаво резал небольшую волну и снова был надежным и величественным.

На завтрак девушки не пришли: то ли проспали, то ли с утра пораньше побежали в парикмахерскую, чтобы сойти на берег наряженными,— все-таки возвращались из Европы.

Атаулин прошелся по палубе. Возле бассейна уже собирались заядлые купальщики, и несколько женщин, по всей вероятности, северянки, пытались и последние часы на теплоходе использовать для загара. Вспомнив, что не дочитал две последние строки в ответе, Атаулин опять направился в библиотеку. Легко отыскал нужную газету: все правильно, подписала второй секретарь обкома партии. Вернув подшивку на место, Мансур Алиевич поблагодарил хозяйку зала за внимание и попрощался с ней.

И вдруг его как током прошибло: Северный Казахстан... там же он ставил мельницу и элеватор. И по срокам выходило, что как раз в те годы... Неожиданно его озарило, что он знает этот комбинат, и хорошо знает. От волнения он даже поспешил к ближайшему шезлонгу, так вдруг стало жарко и неприятно...

В те годы в Казахстане уже достаточно понастроили элеваторов и мельниц, и трест часто получал совсем другие промышленные подря-

ды. Годы большой химии — под таким девизом разворачивались стройки середины шестидесятых годов не только в Казахстане, но и по всей стране. Сдав мельницу и элеватор, он получил неожиданную командировку на «химию».

Это сейчас, из газеты, он узнал полное название: комбинат химических и искусственных волокон, а тогда...

Стройка уже тогда тянулась третий год, и с самого начала все шло наперекосяк; не хватало то одного, то другого. Пробыл он там почти полгода, хотя должен был оставаться до завершения. А отзывали его потому, что стройка, набравшая темп, стояла из-за отсутствия дальнейшей проектной документации, которая поступала по частям. Трудно представить, как можно что-то делать, не имея целиком технической документации, но, к сожалению, в строительстве это практикуется сплошь и рядом: начинайте, мол, а потом дошлем остальное. Так было и с тем комбинатом, оттого Атаулин и не имел цельного представления о своей работе, и она выпала из памяти как не свое, не родное, вот так неожиданно, через годы напомнив о себе.

Не он начинал и не он сдавал этот объект, лишь полгода просидел там, бомбардируя Шаяхмета Курбановича телеграммами, чтобы отзывал его с мертвого дела. И вины своей не чувствовал, да и что он, действительно, мог сделать? Так стоит ли переживать сегодня, через столько лет?

В те полгода вынужденного безделья, когда жизнь на стройке едва теплилась, они с инженерами частенько обсуждали и проект, и порочную практику, из-за которой вынуждены стоять, расхолаживая людей. Понимали, что, когда пойдет настоящая работа, заплатить как следует будет нечем — все деньги поглотит мертвый сезон. Тогда еще, анализируя проектную документацию, они видели, что очистные сооружения для комбината малы. Более того, представляя масштабы вторжения химии в быт (целые камвольно-суконные комбинаты с вековой традицией подвергались тогда реконструкции под синтетические ткани, а слово «лавсан», как нечто волшебное, вмиг разрешающее все тканевые проблемы, не сходило у людей с уст), как инженеры понимали, что для таких производств очистные сооружения могут стать гораздо дороже основного производства. И это были не предположения, не гипотезы, как практики они были убеждены в этом. А что сделал он и строители постарше его, с именем и весом: написали в проектный институт, обратились в Госстрой, подняли вопрос в газете? Да нет, ничего не сделали. Разговоры эти дальше прорабской не по-



шли, хотя верны, ох как верны были эти разговоры, подтвержденные временем и жизнью. Считали, что это их не касается, есть, мол, заказчик, есть генеральный подрядчик, есть проектный институт, где одних докторов, наверное, с десятков, пусть у них голова болит. Но что тогда! Разве позже, уже имея опыт, он когда-нибудь завел об этом речь?

«Ну ладно, пусть не я... — расстроено думал Атаулин. — Но где же в нашем деле авторитетные, принципиальные люди, болеющие душой за строительство, как, например, Терентий Семенович Мальцев, который всю жизнь борется за сохранение земли, за бережное отношение к ней? Чего он только не претерпел, но от своего не отступился, и время, хоть и запоздало, подтвердило его правоту».

Да разве только об очистных он должен был поднять вопрос, при его-то опыте? Сказал, выступил, написал, возмутился ли когда? Да, писал, возмущался, говорил, но только когда дело касалось своего объекта, за который нес ответственность. Выходит, переживал только за свой огород... А ведь есть специалисты, равнодушные к своему делу, которые видят и вширь и вглубь гораздо дальше своего огорода, пытаются обратить внимание общественности на свои проблемы и, судя по реакции на такие выступления, достигают желаемого. Ведь мог и он поднять вопрос о главном принципе строительства: любые проекты, привлекающие экономичностью, дешевизной, быстрой самокупаемостью, должны подвергаться утроенной проверке... И мерой здесь должна быть только цифра, рубль — значит, считай и считай. Почему надо верить на слово? Только потому, что посулили дешево? От скольких никому не нужных проектов пришлось бы отказаться, какие бы средства сохранили! Лучше заплатить за пять вариантов проекта и выбрать один, чем строить по одному-единственному, теша себя иллюзией, что поступили по-хозяйски...

Да мало ли что можно предложить и сделать, чтобы строительное дело перестало вызывать столько нареканий. Уж кто-кто, а он знал, как дорого обходится стране капитальное строительство и какой урон несет брак, несовершенный проект, знал он и о том, что строительство год от года будет дорожать. Элементарный песок, без которого бетона не сделаешь, теперь надо составами доставлять в большие города за тысячи километров. Все карьеры: песчаные, щебеночные, глиняные возле промышленных центров давно истощились. И то же кругом, возьми хоть лес, хоть металл, хоть стекло, даже воды и энергии не всегда хватает. Настало время считать и считать, чтобы не выходило себе дороже, как с тем злополучным химкомбинатом...

Там, за рубежом, к нему ведь часто обращались, просили оценить тот или иной проект, дать свое заключение, и он делал это и никогда не ошибался. Так почему же он так оторвался от забот и проблем своей страны? Или издалека и с высоты прожитых лет все видится яснее? А может быть, именно сейчас, когда все стало так отчетливо, настала для него пора не только и строить?.. Что ж, может быть... И силы, и убеждения у него есть, а это не так уж мало...

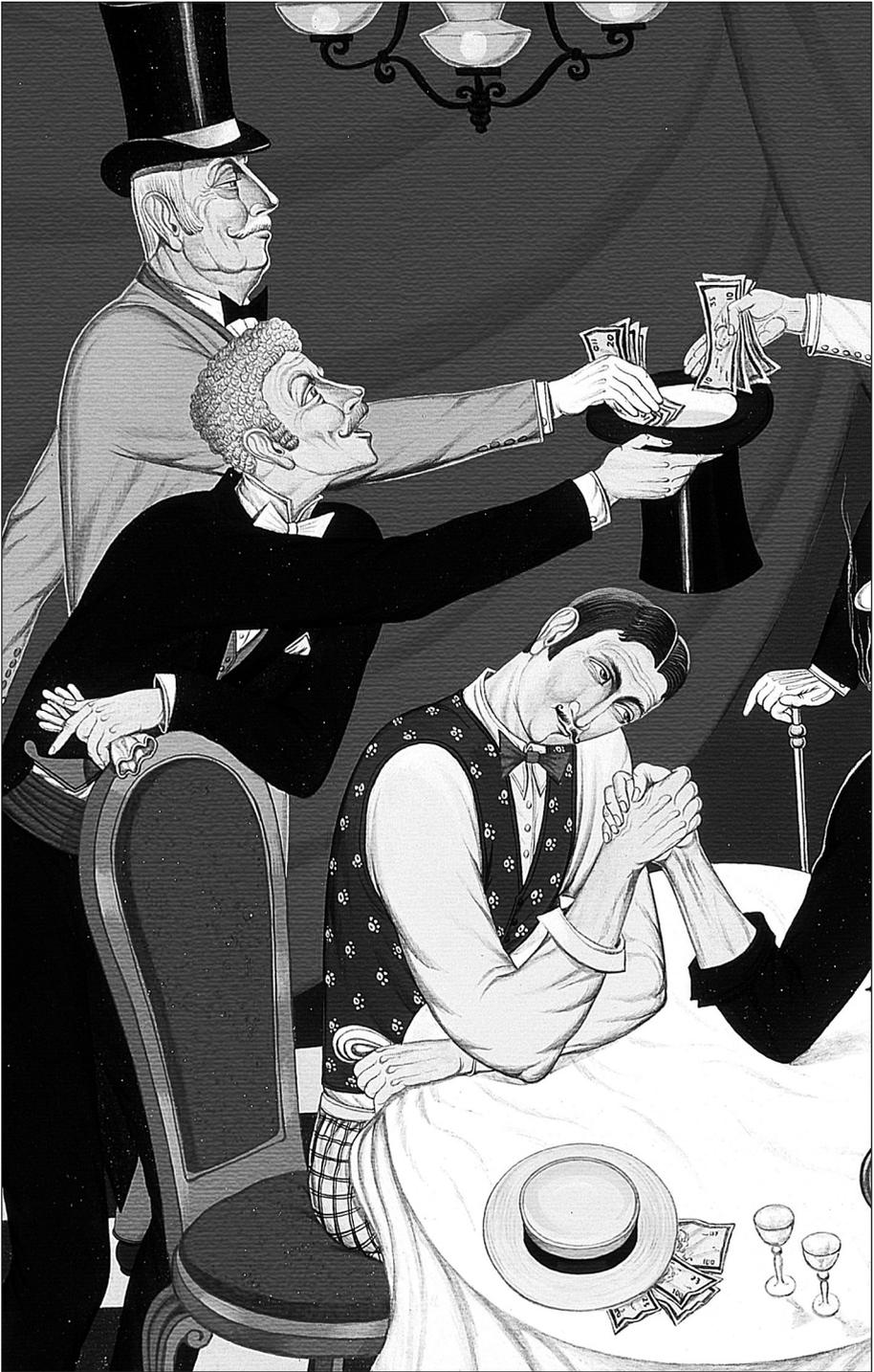
Так стоял он на палубе, и мысли, которым он никогда раньше не придавал особого значения, не давали покоя...

Он чувствовал, что с высоты нынешнего своего опыта и отношения к жизни, пожалуй, придется начинать все сначала...

Уже обозначился вдали силуэт Одессы, над палубой теплохода, заглушая музыку, стоял крик сотен жирных и всегда голодных чаек...

До родной земли, где были и атаулинский элеватор, и комбинат на загубленной реке, оставался час хода...

*Ташкент,  
октябрь 1985*



# Путь В три Версты

Повесть

**В** эту осень Камалову снились одни и те же сны... Ночная зимняя улица... Редкие фонари у школы, сельсовета, раймага и последние огоньки почти на окраине — фонари автобазы. Для подъезжающих к Мартуку со стороны Оренбурга эти робкие светлячки среди бескрайней темноты обозначались вдруг ясно и призывно, и, наверное, не было в поселке жителя, не обрадовавшегося хоть однажды столь желанным огням.

«Вот я и дома», — невольно мелькала мысль или слетала с уст фраза.

Хотя фонари сеяли скудный свет вокруг замерзших столбов, и в этом освещении можно было разглядеть только падающие снежинки, да и то в четко очерченном, в три-четыре шага, световом круге, Камалову казалось, что главная улица родного поселка, Украинская, сияла огнями. Он словно воочию видел усадьбы Губаревых, Панченко, Загидулиных, Мифтахутдиновых, Шакировых, Вуккертов, Бектемировых, Ермоланских... Видел и покосившийся соседский забор, и рассыпанную солому, еще хранившую золотой отсвет осенних полей, и припорошенные снегом осевшие скирды сена, и верблюда в казахском квартале, у Жангалиевых.

А то вдруг в свете прихваченного изморозью фонаря Камалов замечал одинокую девичью фигуру. Каждый раз, когда он пытался



подойти к ней, девушка делала несколько неторопливых шагов и исчезала в темноте. Так и не узнавшая, но до боли знакомая, переходила она из сна в сон, словно укоряя, что он никак не может вспомнить и узнать ее, и это наполняло душу тревогой и горечью...

Но чаще всего снилось раннее летнее утро. Пыльная дорога, огибая на краю села мусульманское кладбище, убегала в степь. Весь путь от кладбищенского оврага до самой речки Камалов вновь, как в детстве, проделывал пешком.

Выбитая узкими колесами арб дорога среди непаханой степи убегала, извиваясь, к темнеющим купам деревьев. Какой бесконечно долгой казалась в детстве эта дорога в три версты!

Путь этот он проделывал не спеша, с остановками, с отдыхом, с бесчисленными погонями за какими-нибудь яркокрылыми бабочками или кузнечиками, с долгими разговорами с соседом-подпаском, пока Бахыт вдруг не обнаруживал, что стадо потянулось к железной дороге. Виной тому всегда был бородатый козел Камаловых — Монгол, злой, надменный вожак, почему-то особенно любивший басовитые гудки паровозов.

Дорога к речке едва заметно поднималась, и перед самым Илеком, на последней версте, неожиданно ныряла вниз с высокого холма в луга. Для степного края, где летом даже полынь выгорала, этот огромный ярко-зеленый луг был щедрым подарком реки. Широко разливался Илек по весне, а когда уходил в берега, вся пойма покрывалась густой зеленой травой. Как ни спешила ребятня на речку или с Илека домой, не могла удержаться, чтобы не затеять возню на зеленых лужайках.

Высоко на холмах, по обе стороны от дороги, словно крепости, стояли длинные немазаные саманные сараи, и летом неподалеку от них всегда белели юрты. Ранним утром, заполняя низину бляением, спускались с фермы на луга сотни разношерстных овец. Сюда же, поближе к речке и сочным травам, напоенным влагой, выгоняли и общественное стадо из Мартука.

В этих неожиданных снах здесь, на лугах, Камалов увидел много забытых лиц, о которых он и думать не думал и никогда бы в своей жизни, наверное, и не вспомнил. Однажды приснились ему русские мужики, аккуратно нарезающие дерн. Он ясно видел их лица, слышал разговоры, шутки, смех и вспомнил, что жили они на другом краю села, у церкви. Вспомнил, что у одного из них в огороде росли огромные, со сковороду, подсолнухи.

Вспомнил, как однажды компанией, проголодавшись на речке, зашли на ближайшую ферму попросить хлеба. А просить и не пришлось. Маленькая старушка в красном бархатном жилетике, несмотря на жаркий день, увидев неожиданно появившихся у юрты ребят, сказала бритоголовому Сапару по-казахски:

— Рады гостям, приглашай-ка друзей в дом,— и откинула полог белой юрты.

В прохладе и сумраке летнего жилья, расположившись на кошах, ребята корчили друг другу рожи и смеялись по-детски беспечно и беззаботно.

Потом Камалов, забыв о голоде, не мог оторвать глаз от тонких, с пергаментной кожей рук в тугих обхватах серебряных браслетов, разливавших в деревянные тустаганы прохладный айран, щедро заправленный сметаной, и ломавших только что испеченные горячие лепешки таба-нан, слышал ласковое приглашение старушки: «Ешьте, ешьте, орлята...»

И еще он помнит, что не мог отвести взгляд от гербов на крупных монетах, пришитых к груди ее красного жилетика.

А когда они, уходя, благодарили за угощение, в тени саманной фермы Камалов увидел старика с редкой седой бородашкой. Старик чинил сбрую, а рядом с ним сидел мальчик и помогал деду сучить суровую нитку. Камалов вспомнил всех троих до мельчайших подробностей, до морщин, и даже во сне ужаснулся тому, что давным-давно нет на свете доброй бабушки и невозмутимого, согнутого годами старика, чинившего сбрую, и что живет где-то своей жизнью его ровесник, кареглазый, белозубый мальчик, которому, наверное, тогда так хотелось в компанию сверстников.

Конечно, каждый раз снилась ему и река. Здесь, на реке, под кручей, на долгих мелких перекатах с отчетливо просматривавшимся дном или у затонов, заросших у берега сочной осокой, с корягами, притаившимися в глубине, перед Камаловым возникали лица друзей и одноклассников: Хамзы Кадырова, Саши Варюты, Генки Лымаря, Ефима Беренштейна, Саши Бектемирова, Толика Чипигина, а то вдруг объявлялся кто-то, стоящий к нему спиной, вылавливающий из Илека одного подуса за другим. Между делом рыбак успевал переброситься с ним парой фраз, но вот жалость-то: никак лица не разглядеть и никогда уже не узнать, кто же это в тот день был таким счастливым.

На реке его взгляд тянулся к тому берегу. Нет, не из-за песчаных отмелей, где можно было, не рискуя загубить драгоценную леску



и крючок, легко удить рыбу. И не потому, что там, на белых дюнах, загорали нагишом, нет. За рекой, сразу за дюнами, круто в гору поднимался лес.

Потом, уже взрослым, Камалов видел удивительные леса Беларуси и Закарпатья, любовался соснами Прибалтики, и все же лес за рекой был особенным, неповторимым...

Здесь в лесных озерах каждое лето он ловил карасей, и это было серьезным подспорьем. В зарослях тальника, обжигаясь о крапиву, собирал ежевику и вместе с друзьями носил ее к ташкентскому скорому. Чего-чего, а вот вкуса ежевики не помнит, жаль... Наверное, чаще, чем Камалов, вспоминают крупную, иссиня-черную ежевику в жестяных самодельных ведерках те постаревшие пассажиры, которые покупали тогда ягоды не торгуясь.

Во снах о заречном лесе, удил ли он на озерах, копал ли червей на болоте, собирал ли хмель в оврагах, ему всегда являлся седой дед Белей. Как и в далеком детстве, он приходил в самый неожиданный момент. Появлялся бесшумно: ветка не хрустнет, трава не зашуршит... Старик сначала долго стоял, незаметно наблюдая за мальчиком, потом, покашливая, неторопливо выходил из укрытия, словно шел мимо, и, стараясь быть строгим, хмуря заросли бровей, говорил:

— А, Дамирка! Смотри у меня, не балуй в лесу!

И так же бесшумно исчезал в кустах, откуда вдруг доносилось:

— Дамир, хмель нынче у Чертова озера больно хорош...

Или:

— А на Круглом озере Петька-Тарзан вчера ведро карасей натягал.

Лесничий, живший в соседнем квартале и в праздники щеголявший в зеленой фуражке с золотыми дубовыми листьями, отражавшимися в лаковом козырьке, круглый год проводил в лесу, но каким-то чудом знал всех ребят Мартука по именам. Это удивляло всех, но не Дамира: ему казалось, что дед Белей знает каждое дерево и каждый кустик в лесу...

Во снах о заснеженных улицах и ежевичных полянах Дамир вспоминал давно забытые запахи поздней отцветающей сирени и разворошенного стога в морозное утро, васильков за огородами и спелого шиповника в стылом лесу... О них, об этих запахах, он тоже редко вспоминал наяву, словно и не было в его жизни снежных зим и теплых летних дождей, а всегда только запах серы и аммиака с медно-обогатительного и других комбинатов, пропитавших город насквозь,

и снег никогда не белел более получаса, как сейчас, потому что в нескольких километрах от города работал крупный цементный завод, которому некогда, увы, неточно рассчитали розу ветров. Изредка Камалов видел и еще один сон, не связанный с каким-то временем года и не такой праздный, как сны о зиме или о летней реке.

Ему снился ветреный, но не дождливый осенний день, а он в распахнутом ватнике и лихо заломленной кепчонке стоит среди выкопанной картошки. С делянок за пересохшим, с обвалившимися краями арыком тянется низом тонкий сладковатый дымок. На огородах жгут ботву. Через делянку, по соседству, мальчишки ладят свой костер. Как не отведать тут же, в поле, печеной в золе картошки! Мешки, какие только нашлись в доме и у соседей, в частых заплатах и все до одного перевязанные старыми чулками, стоят в ряд — мал мала меньше. Дамир почему-то стыдится и этих залатанных мешков, и чулок, которыми они перевязаны, и держится чуть поодаль. И где только мать их столько откопала! Они с матерью в поле одни. Его отчим, тяжело раненный под Сталинградом, приезжает только сажать. Радостное и легкое это дело по весне! А уж убирают они вдвоем...

Дождаясь своей очереди на промкомбинатовскую полуторку, Дамир сгребает в кучи пожухлую ботву, перекладывает ее сухой травой, и вот уже от огорода Камаловых тянутся к реке прозрачные дымные шлейфы.

Наконец-то прямо по полю идет к ним костлявый, больной грудью Мирзагали. По глазам видно, что он уже навеселе.

— Марзия-апай,— обращается он еще издали к матери,— ближе подъехать не могу, не выехать потом, арба такая же хилая, как и ее хозяин. Вот я и решил вам помочь.— И Мирзагали берется за самый большой и грязный мешок.

— Брось, дорогой, брось,— кидается к нему мать,— не дай господь, пойдет снова горлом кровь...

Весельчак Мирзагали хмурится, и с лица его сбегает улыбка.

В два шага Дамир оказывается у мешков.— Мирзагали-абы, вы с мамой только помогите мне на спину закинуть, а там я донесу...

Мать с шофером пытаются поддерживать тяжеленный мешок сзади, но куда там! Дамир, прибавляя шагу, почти бегом спешит к откинутому борту трофейной машины. Откуда только сила взялась! Во сне он почему-то не ощущает тяжести огромного мешка, ему легко и весело от сознания того, что он может справиться с такой работой.



А то снилась ему весенняя пора, когда до сенокоса еще не один день, а в Мартуке на каждом углу только и слышно: «На сено... на сено...»

В ту пору в редком сарае не было коровы, а в казахских и татарских дворах держали еще коз и овец, а то и верблюдов. Да и белые овцы, как называли в мусульманских домах свиней, были почти в каждой русской, немецкой усадьбе.

Зимы в степные оренбургские края приходят рано, а уходят ох как поздно! Сена на этот долгий срок нужно много — и на подстилку, и на корм.

На заливных лугах у реки не косили — там пасли овец с фермы и личных коров. Зарабатывать сено отправлялись в дальние казахские аулы и русские села. Расчет был простой и честный: девять машин или волокуш колхозу, десятая тебе. К этой поре взрослые приурочивали свои отпуска, а у ребятни начинались каникулы. Те, у кого в городах жили взрослые дети, ожидали их к сенокосу. Не заготовить старикам на зиму сена считалось последним делом.

В какую-то неделю съезжалась в Мартук молодежь, все больше из близлежащих городов, а то вдруг объявлялся какой-нибудь позабытый Асхат из Ташкента или Николай с шахт Караганды...

У одних были постоянные артели, работавшие из года в год в одном колхозе, но чаще всего компания сколачивалась заново. Из конца в конец села мотались подростки, чтобы попасть в ту или другую артель, да дело это было не таким простым. Одна артель была заманчивее другой. Если в компании взрослых из Мартука было легче и больше было шансов, что на недельку раньше завезешь во двор сено, то в компании сверстников, где верховодили ребята на год-два постарше, было куда веселее. Конечно, взрослые у колхоза и того потребуют, и другого, но ведь и артель ребят никогда не возвращалась домой без сена. За каждым подростком стояла семья, опаленная войной, — об этом знали издерганные председатели, которые с отцами этих ребят уходили на фронт, вот только не все солдаты вернулись назад. Самые шумные и веселые артели, конечно, сколачивали городские. У них вся работа шла с шутками да весельем, и стычек, как у местных, кто больше наработал, никогда не бывает. Городские в воскресенье, хоть и с ног валились, а вечером в колхозный клуб норовили гуртом. В такой бригаде непременно был баян, а то и аккордеон.

А сын стариков Герасимовых — Сергей — из Оренбурга непременно с гитарой приезжал. Эх, заслушаешься Серегу! Попасть с городскими на сенокос — это память и радость на всю жизнь, а все же

рискованно. Артели из местных всегда опережали городских, норовя загодя попасть в ближние и богатые колхозы, потому и сена зарабатывали побольше.

А без сена никак нельзя — пропадешь.

В первый сенокос Дамир гонял от одной компании к другой, не зная, к кому пристать, пока сосед Фатых, бесхитростный, не по годам основательный парнишка, шуря близорукие глаза, не сказал:

— Что, Дамирка, будешь Серегу с гитарой дожидаться? А то смотри, поедем с нами в Полтавку, — словно и не знал, что Дамира за малолетство и не бог весть какие силенки не очень-то зазывали в бригады. — В Полтавке Шубин безрукий — председатель. Он сам сказал матери: «Пусть приезжают орлы, без сена не останутся». А что без гитары, не горюй, у нас козырь главнее... — И уже потише добавил: — Обещал Селиван-абы, что на харчи определит нас в колхозный пионерлагерь. Ешь от пуза, да еще компот.

Эти недели сенокоса в разные годы прошли в снах перед Дамиром. Ездил он обычно в компании Фатыха в русское село Полтавка к Шубину. И на конной косилке ворон не считал, и копнил, и скирдовал не хуже других. Всплыла в памяти и давно забытая картина: полевая дорога... тишина... В степной ночи два тонких луча слабосильных фар машины. Машина загружена до предела, огромная копна придавлена толстым урлюком — длинным бревном — и перетянута со всех сторон арканами, оттого старый ЗИС и тащится так медленно.

До Мартука верст тридцать, вся короткая летняя ночь и уйдет на дорогу.

Наверху, на сене расселась вся компания, считай, звезды рядом. Никто не спит. Да и как уснешь, ведь до самого Мартука не знаешь, к кому во двор сегодня машина. Такое правило у Фатыха — жребий кидают только перед самым въездом в село. Первые памятные уроки демократии на практике.

Иногда среди ночи Камалов вдруг просыпался и, растревоженный, уже не мог уснуть до утра. Стараясь не беспокоить домашних, он осторожно выходил в тесноватую кухоньку и, не включая свет, кутаясь в просторный халат, подолгу курил. Эти ночные часы в чистенькой, с устоявшимися запахами печеного комнатке были как бы продолжением сновидений наяву или, вернее, воспоминаниями о былом. Но что-то мешало ему полностью насладиться картинами детства и юности, мысли и видения все чаще стали перебиваться событиями дня сегодняшнего.



В ванной, где по утрам, глядя в треснутое зеркало, он тщательно брился, у Камалова как-то вырвалось:

— Что же это происходит? Ностальгия? Мне ведь только тридцать пять...

Даже в рябом, порченном зеркале отражался молодой, с крепким волевым подбородком мужчина. Ни единого седого волоска, никаких залысин или намеков на плешь, ну а морщины — они волнуют только женщин. Спокойный взгляд глубоко посаженных глаз на крупном лице говорил о выдержанном, уравновешенном характере.

Но не было с осени покоя в душе Камалова.

В переполненном утреннем автобусе, по дороге на работу, которую в последнее время не без иронии он называл старым чиновничьим словом «служба», Камалов в мыслях невольно возвращался к Мартуку.

«Разве не я сам, по доброй воле, ушел от той жизни? От друзей, соседей, от многочисленной родни... из отчего дома... от свиста осеннего ветра в открытом поле, от утренних всплесков играющей на реке рыбы, от дымных костров на убранных огородах...» — думал он, стиснутый со всех сторон другими пассажирами.

В скрипевшем автобусе с астматическим мотором толкали в бока, наступали на ноги, ворчали, и Камалов невольно радовался, что нужно было что-то делать: продвигаться, уступать кому-то дорогу, передавать деньги за проезд...

Удивительно, что до той самой минуты, когда возникал этот тревожный вопрос, он не замечал автобусного хаоса.

Сойдя у медно-обогатительной фабрики, вблизи которой располагались городские строительные управления, Дамир пересекал большой двор домостроительного комбината и оказывался на территории своего дорожного управления.

Длинный одноэтажный барак, оставшийся с довоенных времен, не очень радовал глаз снаружи. Зато внутри... прямо с порога чувствовалась хозяйская рука и инженерная фантазия. Все было переделано: убраны лишние перегородки, совмещены или разделены комнаты, заново обшиты деревом потолки, пол покрывал ковровый линолеум. С высоких потолков и со стен, чередуясь, целый день мягко струился свет. Иначе в коридоре без окон стояла бы колодезная темнота.

У каждого отдела, даже у самого маленького, был полный света и воздуха отдельный просторный кабинет. В комнатах совсем по-домашнему стояли голландские печи, отопливавшиеся природным

газом. В конце коридора была кухня с двумя четырехконфорочными плитами. Окна кабинетов, выходящие во двор, распахивались в сад и цветник, некогда заложенный жильцами. Сад был ухожен, и немудрено: все воскресники администрация строительного управления проводила в своем дворе, такая традиция сложилась до прихода Дамира.

Камалов приезжал на работу раньше других. Не торопясь, проходил из конца в конец коридора, по пути везде включая свет. В приемной главного инженера на секунду останавливался, оглядывал себя в трюмо, на его взгляд слишком уж по-домашнему занимавшее самый видный угол.

Он открывал ключом дверь сдвоенного кабинета планового отдела и, пересекая комнату, где сидела его заместитель, или, точнее, старший инженер отдела Кира Михайловна, попадал в свою, более просторную, с массивным столом и разноцветными телефонами: внутренним, городским и главковским. Придя сюда на работу, Камалов ничего менять не стал, разве только трюмо из кабинета отправил в импровизированную приемную, да еще попросил снять застекленную с занавесочками дверь, отделявшую его комнату. Может, служебные неприятности были причиной волнений Камалова? Нет, Дамир Мирсаидович с делом справлялся, был на хорошем счету: поговаривали даже, что трест имеет на него виды. Может, был загружен до предела и уставал не в меру? Или не устраивали условия работы?

Да полно... Были времена, когда он сутками пропадал на сдаточных объектах и не то что уставал, с ног валился, а об условиях работы и говорить не приходилось.

К дорожникам в строительное управление Камалов пришел с дипломом народнохозяйственного института, а в город этот приехал по комсомольской путевке.

Служил Дамир в стройбате, еще по старому сроку, три года, да еще полгода придержали, тоже пусковая стройка была, — был бригадиром. И оттуда, с Амура, почти всей бригадой заявили сюда, под Ташкент. Везде пришлось поработать: и промышленные объекты строили, и жилье, и к Дворцу металлургов его бригада руку приложила, и в прорыв на железобетонный комбинат бросали его гвардейцев — так за ударный труд их прозвали с первых же дней. Им же первым в тресте присвоили звание бригады коммунистического труда. А тогда, в начале шестидесятых, движение это только набирало силу, и строгость была большая, не всякий и не любая бригада удостоивались такой чести. Дать выработку и план, управиться к сроку, да так,



чтобы и качество не хромало, было еще не главным для такой бригады, требовалось, чтобы каждый повышал свой уровень знаний.

Вызвали по весне бригаду в трест, прямо в парткабинет. Парторг, майор в отставке, принял радушно — как же, свои, армейские! Тогда они не только форму, но и сапоги еще износить не успели.

— Что ж получается, товарищи гвардейцы, показатели хоть на две бригады, а на звание коммунистической все-таки не тянете,— ошарашил с ходу парторг, бравировавший военной выправкой.

Ребята переглядывались в недоумении: в чем же они оплошали?

— С образовательным уровнем дела не на высоте,— не стал он мучить загадками,— оказывается, никто из вас не учится, расти не желает...

Короче говоря, всех определил бывший майор: троих в вечернюю школу, семеро поступили в техникумы, а с бригадира спрос иной — институт. Подвела братва, выдала, что были у Камалова такие планы еще в армии и что поступить пытался до призыва. Но надо отдать должное парторгу: не забывал гвардейцев, ревниво следил за ними, перевел студентов в общежитие для молодых специалистов, шефами над ними инженеров закрепил, да и позже при распределении квартир ни одного не забыли.

В ту пору, когда Дамир готовился к поступлению в институт, он уже встречался с Машенькой из отделочной бригады. Работа, подготовка к экзаменам требовали времени, и Дамир тогда всерьез опасался, что пока он корпит над конспектами, девушку у него кто-нибудь уведет. Город-то — общежитие на общежитии, да везде такие ребята, особенно монтажники,— орлы, только заикнутся, что хотят осесть здесь навсегда, в неделю квартиру им из-под земли отыщут, потому как верхолазы — асы, они незаменимые люди.

Но все его сомнения и тревоги оказались беспочвенными: как-то Машенька, застав его за учебниками, обрадовалась и в тот же вечер, немного смущаясь, сказала: — Дамир, поступишь в институт, выйду за тебя замуж...

Он поступил и женился на своей ненаглядной, а когда они ждали своего первенца — Зарика, получили двухкомнатную квартиру, в которой жили и сейчас.

В городе, где каждый объект — пусковая стройка, а сроки сдачи сжаты до предела, работать бригадиром непросто, а Дамир шесть лет руководил гвардейцами и по вечерам еще занимался в институте. Благо хоть факультет оказался рядом с домом, через дорогу...

По правде говоря, не будь Машеньки, не одолеть бы ему института. На третьем курсе, когда сдавали сернокислотные цеха, на занятия неделями не ходил: работали, считай, по две смены, да как работали! Вот тогда-то, вымотавшийся, третий год без отпуска (то на свадьбу деньги нужны были, потом квартиру надо было обставить, потом Машенька сидела с Зариком и год не работала), запустил он учебу и решил бросить институт. Учиться абы как он не умел, как не умел работать спустя рукава. Иной зачет, даже экзамен он мог сдать, только сказав: «Понимаете, днюю и ночью на сернокислотном, не успел...»

Его бы поняли, потому что на вечернем отделении преподавали инженеры из треста и заводоуправления, главные инженеры специализированных организаций. С ними он ежедневно встречался на стройке и на планерках, не раз сидел рядом в президиумах. Знал Дамир, что таким испытанным методом пользовались многие. «Многие — еще не все» — давнюю поговорку отчима мальчишка навсегда запомнил.

А что было дома, когда Камалов объявил о своем решении бросить учебу, лучше не вспоминать.

Потом, на работе, Дамир обдумывал все, что говорила жена, и выходило, что кругом Машенька права. Разве ей было легче? В комплексной бригаде отделочников ей и штукатурить, и малярить приходится, порою на такой высоте, что глянуть вниз страшно. Летом целый день на жаре, ниже тридцати не бывает, зимой на холоде, а о сквозняках круглогодичных и говорить не приходится.

А Зарик? Ведь его утром нужно в ясли отвести, а вечером вовремя забрать. А объекты у нее сегодня на одном краю города, а завтра на другом.

И разве уходил он на работу хоть раз без горячего завтрака и не ожидал ли его всегда ужин? Как бы ни уставала, разве легла она хоть раз до его прихода с занятий? И каждый понедельник разве не удивлял он своих гвардейцев выстиранной и выглаженной спецовкой — а ведь стиральную машину они купили совсем недавно? А какой роскошный подарок — книжный шкаф и письменный стол — сделала она ему к окончанию первого курса на свои премиальные! Кончилось тем, что Машенька, несмотря ни на какие возражения начальства — дошла до парторга! — заставила мужа взять отпуск за два года, и Дамир к весенней сессии рассчитался со всеми «хвостами».

Когда он учился уже на четвертом курсе, главный инженер не раз говорил ему:



— Ты уж, Камалов, не обижайся, что не берем в аппарат,— место для тебя нашлось бы, хотя инженеров у нас хватает, да вот беда — толковых мастеров и бригадиров в обрез...— и не то шутя, не то всерьез сетовал: — Каждый раз трестовскому парторгу говорю, что медвежью услугу он мне оказывает: самых толковых бригадиров и лучших рабочих лишаемся — кончают вузы, уходят в аппарат, а то и в другие организации.

В тридцать лет, как раз в день своего рождения, Дамир Мирсаидович получил диплом. В своем управлении оставаться не захотел: было странно, что придется на иной основе строить отношения с друзьями и товарищами. И главный инженер рекомендовал Камалова коллеге из дорожного управления. Так Дамир Мирсаидович оказался в кабине со свежеевыкрашенной и блестящей лаком голландской печью под началом Киры Михайловны.

Когда главный инженер треста представлял Камалова начальнику управления, тот, не дослушав до конца, глядя с улыбкой на неловко переминавшегося с ноги на ногу Дамира Мирсаидовича, сказал:

— Хорошо, брат, действительно гвардеец. Берем! — и добавил: — Не обижайся, я бы и не гвардейца принял, дело в том, что мужиков в управлении всего двое: я да он,— начальник показал на своего главного инженера.— Ты будешь третьим. Инженер нынче пошел женского пола. Во всех отделах из конца в конец коридора сплошь женщины. Не хватает, видно, у нашего брата в молодости терпения подзубрить, подучить, чтобы добрать тот единственный балл, из-за которого он уступает дорогу прекрасному полу. Как шутит один мой приятель, он из-за Анны Карениной инженером не стал. По литературе выше тройки не мог получить, а пигалицы, на балл лучше знающие про Каренину,— на стройфак, пожалуйста. У них в молодости, наоборот, терпения, старания больше, да и дальновиднее они. Так что, Дамир Мирсаидович, это мы вас должны спросить, не убоитесь ли? Вам, почитай, одному придется работать здесь с женщинами, ведь нас целый день нет: я на планерках да на совещаниях, а он по объектам мотается...

Новый инженер поначалу вызвал у женщин интерес: одна за другой приходили они в первые дни в плановый отдел к Кире Михайловне, то спросить, то выяснить, то согласовать, но видя, с каким усердием взялся он за изучение бумаг, головы не поднимает, быстро перестали проявлять любопытство.

Кира Михайловна, видимо, женским чутьем уловила, что пришел человек основательный, и пришел не на один день, поэтому

секретов не таила, опытом делиться не отказывалась. День ото дня не только терпеливо вводила Камалова в курс дел, но и перекладывала на него часть работы, которая выполнялась толково и быстро. В те дни, когда Кира Михайловна возвращалась с бюллетеня (то сама болела, то дети), она, к своему удовольствию, отмечала, что все отчеты сданы в срок, нужные письма разосланы, короче, в отделе полный порядок, словно сама она и не отсутствовала.

Понемногу Камалов обживался. На столе, как у других, появились чайник и две пиалы. Приятно было среди жаркого дня заварить кок-чай и, сев напротив распахнутого в сад окошка, неторопливо выпить чайничек-другой.

За полгода его раза три приглашали на дни рождения. В такие дни до обеда без перерыва полыхали все восемь конфорок, а топот в коридоре стоял такой, как в дни выдачи зарплаты, когда разом приезжали все рабочие. К условленному часу приезжало начальство, и потом мужчин приглашали в техотдел. Кабинет был просторный (может, при реконструкции он уже имелся в виду как банкетный зал?), мест с избытком. Столы в форме буквы «Г» красиво застилались белоснежным дефицитным ватманом. Там, где обычно восседала именинница, цветным фломастером было написано: «С днем рождения, Генриетта!» (Камалову почему-то запомнилось именно это — Генриетта...) Глядя на изящные завитки букв, можно было узнать почерк лучшей чертежницы отдела — как минимум полдня не пожалела.

По традиции, как понял Камалов, главное блюдо готовила именинница, и если потом еще месяц переписывали рецепты, обсуждали их в каждом отделе, ходили к автору за дополнительной консультацией часа на два, значит, празднество удалось на славу.

Камалову нравилось, как преображались, хорошели в этот день женщины, как они были милы и добры друг к другу. Какие тосты, даже в стихах, провозглашали, какие цветы в любое время года преподносили имениннице. И лишь к одному он так и не смог привыкнуть, что этого напрочь пропавшего рабочего дня, с вином и водкой, а потом с чаепитиями по отделам до самого конца, никому не было жаль.

Шли дни, летели месяцы. Сдали с Кирой Михайловной первый годовой отчет, а там — не успел осмотреться — и полугодовой на носу. Теперь Дамир Мирсаидович уже не путал диспетчера Генриетту, крупную усатую женщину с мужским басом, занимавшую кабинет рядом с кухней, с очаровательной Валею Розенталь из отдела труда и заработной платы. Знал, что не столь уж дружен и спаян,



как показалось на первый взгляд, их женский коллектив. Например, бухгалтерия, отдел кадров и снабжение часто бывали в конфронтации с техническим, плановым и производственным отделами. Были в этих отношениях и приливы, и отливы, и долгий штиль. Говорят, стрижи и муравьи предсказывают дождь, а черепахи и змеи даже землетрясение, но ни один человек не решился бы предсказать ситуацию в управлении на день вперед. Как и в большой дипломатии, здесь существовал неписанный кодекс чести: к примеру, не нарушать перемирия в праздники, объединяться на дни рождения и юбилеи. И совсем нескучно становилось, когда конфликт достигал штормового состояния.

Генриетта, в любой момент сославшись на неисправность радиации (оппозиция подозревала, что электронные лампы у нее в запасе всегда имеются), могла уйти на близлежащий базар и вернуться с полной сумкой свиных ножек. Зато уж холодец она делала отменный! От избытка времени она начинала смолить свиные ножки на плите. Несмотря на распахнутые на улицу двери, запах паленой щетины минут через десять проникал во все отделы.

Дружно распахивались двери кабинетов — и начиналось... Но разве можно было перекричать Генриетту! Она невозмутимо отвечала, занятая своим серьезным делом:

— Подумаешь, баре с высшим образованием, а вы окошко откройте пошире, продует...

В такие дни противная сторона собиралась у Киры Михайловны: женщины пили кофе, разговаривали о спектаклях, шедших по телевизору, и крепились — демонстративно не ходили на базар в рабочее время.

С обеих сторон к начальству направлялись делегации. Начальник управления, умудренный опытом и долгой семейной жизнью, внимательно выслушивал жалобы и обещал непременно принять меры, просил только дать ему время, заведомо зная, что все образуется само собой.

А то вдруг заявлялись «коробейницы» — женщины с полными сумками дефицитных товаров: обуви, белья, парфюмерии, трикотажа, а в последние годы и «коробейницы», промышленявшие бакалейными товарами: растворимым кофе, консервами с паштетом или печенью трески, цейлонским чаем...

С вещами шли прямо в отдел к Валечке Розенталь, первой моднице управления, а с продуктами к Генриетте.

С этой минуты в управлении воцарялся мир, потому что нужно было примерять, консультироваться, обмениваться, занимать деньги...

Через два года Дамир Мирсаидович получил повышение. В кабинет Первой Кира Михайловна пригласила Камалова в кабинет с розовыми занавесками и, усадив его напротив трюмо, вдруг объявила:

— Дамир Мирсаидович, я решила поменяться с вами должностью и думаю, начальство возражать не будет. А как бы вы на это посмотрели?

— Надеюсь, я не давал вам повода для такого решения...

— Дело не в вас, Дамир, просто у меня свои причины появились, и, чтобы вы не маялись сомнениями, я откроюсь. Осенью старшая дочь идет в школу, ведь ее и отвести нужно, и встретить, а в нашем городе — бабушки такой же дефицит, как и везде... Дети для женщины, пожалуй, важнее работы. Есть и другая причина, — Кира Михайловна на секунду смутилась, — у нас в плане еще один ребенок, может, наконец-то мальчик... А это, считай, года два-три нет человека. За отдел я не беспокоюсь, уверена, что вы справитесь. Ну как?

В должности начальника отдела Дамир Мирсаидович часто оставался на планерки, проводившиеся с прорабами и мастерами дважды в неделю. Присутствие Камалова было необязательным, но у него появились собственные соображения относительно низового планирования. В такие дни он нередко возвращался домой в машине начальника управления. Однажды, когда особенно много было высказано прорабами претензий к производственному и техническому отделам, главный инженер, обращаясь к Камалову, неожиданно сказал:

— Вот вы, Дамир Мирсаидович, наверное, удивлены, что мы с начальником всегда на стороне отделов. Мы-то знаем, да и вы за два года насмотрелись, как они работают, но разве сорвали они когда-нибудь отчет или важное мероприятие? Разве мы не выполняем план? Знамя-то переходящее не только из квартала в квартал, но и из года в год — у нас. Согласен, нет в их работе системы, перспективы дальше ближайшего квартала, но то, что нужно к ближайшему сроку, будь спокоен, сделают. Да к тому же на всех уровнях — в тресте, в главке, наверное, и повыше — почти одни женщины, и зачастую туговато приходится, даже трехдневную отсрочку для иного дела не получишь, а пошлешь ту же Киру Михайловну, поговорят они о детях, непутевых мужьях, обменяются губной помадой, глядишь — и дело улажено. Женщины, брат, — огромная сила!



Возражать начальству Камалов не стал, но к этому разговору в мыслях возвращался часто.

«Вот сейчас спохватились, говорим о феминизации школы, о ее последствиях. Не придется ли когда-нибудь говорить о феминизации строительства, ведь технический прогресс не рассчитан на женский уровень работы, даже с поправкой на самые благие и необходимые их обязанности, время не простит. Может, по той же объективной причине задерживается годами техническая документация на строящиеся объекты? А грубейшие ошибки в проектах, оборачивающиеся огромными убытками, может, тоже звенья той же цепи? Ведь проектные институты на девяносто процентов стали женскими организациями». Словом, то, что женщина оказалась у руля технического прогресса, было не в радость Камалову.

Проводив Киру Михайловну в декретный отпуск, несколько месяцев подряд Дамир Мирсаидович постоянно ездил на объекты вместе с табельщицей Юлией. Он хотел подсчитать наиболее реальный фонд заработной платы управления на месяц и даже на год вперед. Главный инженер поддержал идею Камалова, наделил его особыми полномочиями, и к концу третьего квартала работа была закончена.

Документ повезли в трест торжественно, все понимали, насколько важна проделанная работа.

В тресте похвалили, одобрили инициативу, но когда окрыленный Камалов ушел, трестовский плановик сказал руководству дорожников:

— Силен мужик, голова, но жаль, как поется в песне, одна снежинка — еще не снег. Не могут остальные наши двадцать управлений проделать такую работу, и не потому, что не хотят, заставили бы. В строительстве трудно знать наперед, какие реальные объемы предстоят в следующем году. Работа проделана толковая, большая, и я обещаю заглядывать в эти раскладки. Но большего, увы, обещать не могу...

Пришла зима, холодная, снежная. Занесло дороги. Где-то спешно и безрезультатно чинили отопление, мерзли в квартирах, а в кабинетах дорожников во всю мощь пылали раскаленные голландки.

В окне, прихваченном изморозью, белел заснеженный сад, и Камалов удивлялся чистоте снега, пока вдруг не вспомнил, что цементный комбинат с осени на реконструкции. Захотелось, как в детстве, на мороз, слепить снежок и запустить повыше, ощутить на губах прохладу и непередаваемый вкус чистого снега, но неожиданное желание быстро пропало.

Бесшумными шагами он мерил сдвоенный кабинет отдела, ненадолго задерживаясь у теплых печей.

Кира Михайловна, родившая долгожданного мальчика — Сережу,— была в отпуске, должна была вернуться через год.

Дамир Мирсаидович привык к тому, что работа, которой он занимался, всегда прямо зависела от него: и качество ее, и количество.

Теперь, до конца одолев премудрости планирования на уровне управления, Камалов понял, как мало зависит от него, а ведь он втайне гордился тем, что больше десяти лет проработал на стройке рабочим, тем, какая у него мощная база, какой фундамент для новой работы.

Считай, ничего не пригодились, разве что он по-своему воспринимал слова «выполнение плана», «повышение производительности труда», потому что сам ранее и план давал, и выработку увеличивал.

— Чиновник, настоящий чиновник,— однажды вроде в шутку вырвалось у него.

Но эта мысль приходила все чаще и уже не казалась смешной.

Камалов был уверен, что с его обязанностями — собирать ли сводки недельно-суточного выполнения работ, развивать ли спущенный сверху план по участкам, отчитываться ли по различным формам — вполне могла бы справиться Юлия, одолей она какие-нибудь годовые курсы. А вопрос о том, чтобы сделать что-то большее, решал уже не он. План на год спускался сверху, когда уже заканчивался первый квартал, и не было случая, чтобы он не менялся несколько раз в году. Среди года вдруг выяснялось, что плановые объекты не имеют технической документации, а имевшие документацию неожиданно лишались финансирования. За четыре года службы Камалова сами критерии оценки менялись трижды, причем главными показателями становились самые полярные требования. И от собственного бессилия Дамир Мирсаидович терял интерес к работе.

Иной бывший его гвардеец, Расскажи ему Камалов о своих тревогах, ответил бы: «Не блажи, Дамир Мирсаидович, сидишь в тепле и уюте, не перетрудишься, с премиальными получаешь больше, чем когда вкалывал то на морозе, то на жаре по десять часов в сутки. Многие, брат, позавидовали бы твоему положению».

«Многие — еще не все»,— всплыли в памяти слова отчима.

И сны о Мартуке с самой осени, они тоже были неспроста. Дамира Мирсаидовича мучило и другое. За последние годы он не только пришел к убеждению, что занимается не своим делом, но и понял, что он не горожанин,— странное открытие в тридцать пять лет.



В армии выбирать не приходилось, город или деревня, — куда попадешь. Позже не мог отказаться от комсомольской путевки — бригада решила, а ведь была мечта вернуться домой, похожие сны снились и на последнем году службы.

Потом пошли времена, когда в сутки спал по пять часов: работа — учеба, как заведенный, ничего вокруг себя не видел.

А теперь, словно после быстрого бега на большую дистанцию, вдруг остановился, оглянулся и понял, что не туда прибежал. Нет, он не жалел об ушедших годах, напрасными они не были. Работал на совесть. Учился — тоже нелегкое дело. А Машенька — ведь встретил он ее здесь.

Дамир Мирсаидович словно впервые осознал, что живет высоко от земли, увидел крошечный пяточок двора, стиснутый ржавыми, некрашеными гаражами, и впервые со дня рождения Зарика понял, сколь многим обделен его сын.

Живя в городе, он не был ни театралом, ни болельщиком, и не потому, что был глух ко всему, просто так сложилась жизнь, не жалел он и об этом. Так чем же был дорог или враждебен ему город? Ничем — просто они были равнодушны друг к другу. Даже дома, которые он построил, жили собственной, независимой от него жизнью. Разве не было бы странным, если бы он вдруг, вспомнив, как в какой-то квартире с особым старанием клеил обои или любовно ставил оконные рамы, надумал посмотреть, как там эти обои или рамы служат, разве не приняли бы его за чудака, — и хорошо, если только за чудака? Вообще, открыли ли бы ему дверь?

А в Мартуке того, кто ставил дом, как крестного отца, никогда не забывали. И не удивятся, а обрадуются, если печник вдруг заглянет среди зимы посмотреть, какая тяга у печки, сложенной им еще весной.

Когда учился в институте, в редкие праздничные дни или занимался, или хотелось побыть с семьей, с Зариком, ведь в будни сына своего он видел только спящим. Так потихоньку отдалялся от своих гвардейцев, близких товарищей по армейской службе, по работе... Некогда ему было коротать с ними вечера за телевизором или отмечать праздники за шумным, многолюдным столом. Переход на новую работу лишил Камалова и без того немногих друзей.

Человеку общительному нетрудно и в тридцать завести новых знакомых. Но не мог Дамир Мирсаидович участвовать в часовых дискуссиях о вчерашнем спектакле или пустом концерте, и не потому, что не имел на этот счет мнения (мнение теперь все имеют), просто

жаль было времени — и своего, и чужого. И еще не понимал Дамир Мирсаидович, как разыскавший зеленый горошек для салата оливье и угробивший на это полдня мог ходить в героях и считаться радетелем об общественных интересах.

Как часто к нему, единственному мужчине, обращались сослуживицы с просьбой помочь достать с полок повыше ту или иную папку, потому что боялись выпачкать платье или, не дай бог, запылить прическу. Тут бы Камалову и отметить, что платье ничем не уступает наряду популярной певицы (с той лишь разницей, что певица выходит в нем на эстраду). Но этого он не говорил, как не говорил и многого другого, что более понятливые читали в его глазах — «на работу нужно ходить как на работу, в оперетту как в оперетту». Так могли ли появиться у него друзья на новой работе, если уже через год его за глаза называли Бирюком?

Теперь, в середине жизни, Камалов вдруг понял: что бы ни произошло с ним — у него есть малая родина, Мартук, где всегда поймут и примут его.

Не к кому в гости пойти, некого пригласить в целом свете? Да в одном Мартуке у него десяток двоюродных и троюродных братьев и сестер, а племянников и племянниц не перечесать, до конца жизни хватило бы ходить на одни свадьбы. А как бы он на этих свадьбах плясал забытое «Бишли биу» и пел под лихую тальянку с колокольчиками озорные частушки! А где-то рядом, среди сверстников, с кульком чак-чака в руках бегал бы его Зарик.

На соседней улице, на другом краю села, в доме, где шла свадьба, везде у сына были бы братья и сестры, безусые дядья, которые научили бы его плавать, ходить на лыжах, разжигать костры в ненастную погоду, варить уху из ершей с жирным налимом. С ними он ходил бы с ночевкой на Илек и на озеро, с ними загорал бы голышом на дюнах, отгоняя мошкарку крупным листом лопуха, словно опахалом...

К весне Дамир Мирсаидович твердо знал, что не лежит у него душа ни к городу, ни к нынешней работе. Потому и мучился еще сильнее.

Желание побывать в родном поселке росло день ото дня, и Камалов, уговорив жену провести отпуск в Мартуке, каждый день рассказывал ей и Зарику, как прекрасно они будут проводить там время.

Правда, сам он домой ездил давно, последний раз лет восемь назад, когда его вызвали срочной телеграммой — отчим был при смерти. От той давней поездки остался такой жгучий стыд, который не проходил и с годами.



Когда они с матерью, чистенькой, тихой старушкой, повязанной белым, из дешевой материи, платком (в которой никак нельзя было узнать и даже представить некогда бойкую Марзию-апай,— она и огород сама садила, и саманы по договору, надрываясь, делала, и поденно вместе с русскими бабами мазала хаты более зажиточным селянам), вернулись из больницы, чтобы найти машину и подготовить дом для последнего пристанища отчима на этой земле, Дамир вынул из кармана деньги и сказал:

— Мама, ты найди, кто сможет выкопать могилу, а я сбегаю за машиной.

Мать, протянувшая было руку, вдруг словно обожглась, отдернула ее и стала медленно оседать на саке. Дамир кинулся к ней и растерянно спросил:

— Мама, что с тобой?

Марзия-апай неожиданно заплакала, тихо, по-старушечьи, и Дамир каким-то чутьем понял, что это не плач об умершем, это плач о нем.

— Не к добру, сынок, что жил ты столько лет вдали от родного гнезда, ведь ты был такой добрый, такой участливый, разве забыл, как у нас хоронят...

И Дамир тут же вспомнил, что не было в их селе могильщиков, и нет. Только пройдет слух, что умер кто-то, на другое утро с рассветом (чтобы оставалось время и на земные, насущные дела), тянутся к заовражному кладбищу и парни, и подростки, и отцы семейств, и немощные аксакалы. Кто-то из седобородых укажет подобающее возрасту и полу место, а если была воля умершего положить его с кем-нибудь рядом, непременно уважают.

Каждый приходил со своим инструментом: ломом, кувалдой или лопатой. Иной раз только пару лопат и успеешь выкинуть, так много народу приходит, особенно зимой, в лютые морозы. Потому что такая работа никому не в тягость, легко и быстро должна копаться могила — последнее прибежище человека. Как же он мог позабыть такое? Ведь он с соседом Бахытом не однажды ходил на кладбище. И зимой не раз спрашивали: «А где Дамир? Где его лом?» Лом у Камаловых действительно был знатный, царского времени, единственное наследство от деда, поденщика-землекопа.

Чем ближе становился долгожданный день отъезда, тем чаще Дамир Мирсаидович вспоминал этот случай и призывал на помощь свою память, мысленно прокручивал давнюю жизнь, чтобы еще раз ненароком не обидеть близких и дорогих ему людей.

Уже перед самым отъездом сестра Машеньки, Катерина Алексеевна, жившая в Воркуте и одна растившая сына, погодка Зарика, телеграфировала, что выезжает к ним в гости на солнышке погреться. Так всегда бывает: то годами писем нет, то как снег на голову.

«Когда мы еще встретимся, она на одном конце карты, я на другом», — сказала Машенька мужу и решила остаться с Зариком дома.

Уже в поезде Дамир Мирсаидович подумал, что не так уж и далеко до Мартука. Час автобусом-экспрессом до Ташкента, дальше московским скорым ровно сутки, еще час-другой на районной попутке — и к вечеру дома. И всего ничего, а вот не находилось у него считанных дней на поездку в родные края годами.

Прибыл он в Мартук, как и предполагал, к вечеру. Камаловы были старожилами — здесь, на стыке Азии и Европы, жили с незапамятных времен и сейчас в разросшемся поселке оказались, считай, в самом центре, неподалеку от автостанции. Отчим в поселке был плотником известным, и дом Камаловых, хоть и потерял хозяйина, оставался украшением Украинской улицы. В последние годы жизни отчим не плотничал, а принимал на дому шкуры для заготовок, и Дамир Мирсаидович еще издали с радостью увидел два крупных закрученных бараньих рога, прибитых на коньке шиферной крыши.

Дом стоял в глубине просторного двора, и Камалов, толкнув незапертую калитку, сразу удивился, как выросли кусты сирени, посаженные отчимом в последний год жизни. Но мысль об отцветшей сирени тут же пропала. В затишке летней веранды, на воздухе, две старушки в одинаковых одеяниях пили чай. На конфорке старого медного самовара высился знакомый китайский чайник. Камалову почудилось даже, что он слышит, как потихоньку поет медь. Дамир Мирсаидович осторожно поставил вещи и от волнения присел на чемодан, стараясь не потревожить старушек.

Вдруг мать подняла глаза от стола и увидела его.

— Дамир, сынок!..

Теряя на ходу востроносые азиатские калоши и подбирая полы длинного платья, Марзия-апай кинулась к сыну.

— Дамир, сынок... приехал...

Потом, пока Дамир умывался и переодевался с дороги, мать с приехавшей погостить приятельницей заново поставили самовар, быстро напекли горячих оладьев, пожарили татарскую яичницу — таба, сбиваемую на свежем молоке или сливках.



Полили из кумгана двор, чтобы посвежело, и включили на веранде и во дворе свет. Потом до звезд сидели за столом. Дамир Мирсаидович объяснял, почему не смогла приехать Машенька с Зариком, рассказывал, как вырос сын, а они сокрушались, что не увидят его жену и сына.

Всю долгую ночь в поезде Дамир Мирсаидович простоял в тамбуре — не спалось... Чем дальше уходил поезд, тем сильнее чувствовал он какую-то неясную вину перед домом, матерью, отчимом, друзьями, соседями, Мартуком... Он не мог объяснить, в чем состоит эта вина, но, видимо, она была, если это его тревожило. И почему-то Камалов представил себя солдатом, возвращающимся из плена. При каких бы героических обстоятельствах ты не попал в плен, все равно придется объяснять всем и каждому, почему случилось такое...

В грохоте безлюдного тамбура он невольно выискивал какие-то слова оправдания, хотя точно не знал, в чем должен оправдываться... Как-то примет его мать — ведь столько лет не был? А вот приехал — и ни слова упрека, никакого недовольства... Она была рада ему, рада тому, что он жив, здоров, рада, что он рядом, — это Камалов чувствовал остро, до боли, до слез.

Потом старушки разом засуетились, всполошились, что заговорили гостя с дороги, и хотя Дамир Мирсаидович несколько не устал и не хотел, чтобы эта тихая беседа прерывалась, принялись убирать со стола и стелить ему постель.

Когда Марзия-апай, на ходу надевая свежую наволочку на огромную, гусиного пера подушку, вышла узнать, в какой комнате лучше постелить, Дамир спросил, нельзя ему переночевать на сеновале.

Мать с подругой переглянулись, и Марзия-апай ответила:

— Сынок, на нашем сеновале лет десять как сена нет, даже запах его начисто выветрился, — и увидев, как он огорчился, добавила поспешно: — Не горюй, в базарный день я договорюсь с казахами из аула, чтобы завезли возок, думаю, не откажут. Отчим твой в последние годы много в аулах работал, слава Аллаху, и туда хорошая жизнь пришла, такие дома построили, не хуже, чем в Мартуке.

Поднялся он, по местным понятиям, поздно: то ли действительно устал, то ли крепко спалось в родном доме, то ли разница во времени сказалась. Во дворе уже давно потихоньку без трубы шумел от тлеющих углей самовар.

Мать с приятельницей, сидя на корточках, ощипывали в глубоком тазу крупную черную курицу, судя по очищенному желтому ту-

гому боку, жирную и мясистую. Завидев Дамира, они отставили таз и прикрыли его фанеркой — успеется, это к обеду. Хотя в сторонке стоял рукомойник, знакомый еще с последнего приезда, старушки вызвались полить ему на руки, и он не решился отказать им. Тут же появилась чистая эмалированная чаша и вчерашний медный кумган. Мылся он долго и с удовольствием. Утираясь ветхим, истончившимся, давно лежавшим в сундуке полотенцем, Камалов вдруг увидел черные клубы дыма, пыли и редкие вспышки огня со стороны станции и с болью подумал: «Ну вот... и здесь...» Марзия-апай, видя, что сын засмотрелся на дымы, радостно пояснила:

— Слава Аллаху, уже лет пять у нас свой асфальтовый завод. Дороги стали — красота, а раньше без сапог ни шагу. В Мартуке все улицы покрыли, теперь за сельские дороги принялись. Уж как люди рады — и сказать нельзя, а то ведь осенью как с урожаем мучились! Задождит — машины днями буксуют в степи. Асфальтировали нашу Украинскую, я на радостях обед им приготовила, двух кур не пожалела. А они мне, как ни отказывалась, вот дорожку до самой калитки сделали.

И Дамир Мирсаидович только сейчас увидел мокрую полосу асфальта.

Днем он отыскал в кладовке банку с краской и кисточку, мокнувшую в керосине, поправил черенок лопаты и объявил старушкам, что сходит на кладбище. Провожаемый долгими взглядами, Дамир Мирсаидович вышел со двора.

Могилу отчима Камалов отыскал легко. Особо ухоженных или запущенных могил не было, у всех одинаковые оградки из тонкой арматуры, у всех в изголовье бетонная глыба с указанием дат и фамилии. Только у некоторых в углах ограды был обращенный к востоку полумесяц, у других — пятиконечная звезда. У отчима, к удивлению Дамира, были и звезда, и полумесяц, и сколько он ни осматривался вокруг, ничего подобного не видел. Поправив могилу, Дамир Мирсаидович стал красить оградку, и красил долго, с перекурами. Потом, выйдя за кирпичную ограду кладбища, долго смотрел за овраг, где змеилась широкая, накатанная машинами дорога. И хотя не терпелось прямо с рассвета отправиться на Илек, он понимал, что так нельзя, он взрослый человек, отец семейства, и негоже сломя голову бежать на реку, еще куча дел по дому, да и многочисленную родню нужно обойти.

Днем он лазил на крышу, менял лопнувшие листы шифера, устанавливал новую телевизионную антенну. Бетонировал в подполе.



Из-за сырости и времени стены рушились, оползали, и уже рискованно было хранить там картошку или держать что-нибудь из мелочи: кружок масла, кусок мяса, бутылка молока... По утрам Дамир Мирсаидович с удовольствием копался в огороде. Прежних соседей, которых знал Дамир и которые помнили, что у Марзия-апай есть сын, не было — все уехали в близлежащие города — Оренбург и Уральск. Новые соседи лет пять — десять как переселились сюда из аулов и маленьких сел, и Камалов чувствовал, как они настороженно поглядывали на него со своих дворов, пока не заговаривая с ним.

А вечером с матерью они пошли по гостям, и Камалов беспокоился, что подарков, которые он захватил, как ему казалось, с запасом, не хватит и на треть родни. Но мать успокоила, заверила, что никого не обделит. С улыбкой и нежностью Дамир Мирсаидович наблюдал, как мать со своей подругой, распахнув сундуки, стоявшие в зале вдоль стен, доставали оттуда какие-то платки, платочки, косынки, полотенца, разноцветные отрезки ситчика, штапеля, гремящие бусы, гребешки, даже детские резиновые игрушки, и все это вперемежку с его подарками раскладывалось в определенном, понятном только им порядке.

Возвращаясь от родственников, Марзия-апай вдруг сказала:

— А я ведь уже отчаялась тебя дожидаться. Спасибо, что приехал. Жаль, невестку и внука не видела, и отчим о том жалел, и, думаю, обижался на тебя за это. Ведь он тебя любил, перед смертью сам сходил в сельсовет, отписал дом тебе. И деньги, что ты присылал, мне не разрешал тратить. Много ли нам надо, да и сам он до смерти при деле был, не мог сидеть сложа руки, не умел. Целы деньги, на книжке лежат, возьми, коли надо...

В эту ночь Дамир Мирсаидович не сомкнул глаз.

За столом, за непременным самоваром, они засиживались по долгу. Дамир Мирсаидович расспрашивал о соседях, о родственниках, к которым предстояло идти вечером, спрашивал о своих давних друзьях и приятелях...

— Мало кого вижу, сынок,— отвечала Марзия-апай,— одни, как и ты, разлетелись по свету, заскочат когда на день-другой по пути в Сочи, разве увидишь... Другие рядом, в Актюбинске или Оренбурге, этих вижу чаще, некоторые в больших начальниках ходят, на блестящих машинах приезжают. Раньше часто спрашивали, интересовались — как там Дамир? А теперь то ли я их не узнаю, то ли во мне твою мать трудно признать, сильно сдала я в последние годы...

Да и редко из дому выхожу теперь, надо сказать. Один Бахыт всегда приветы передает, вот он-то тебе точно обрадуется.

— Бахыт! Ну и мучил его наш Монгол! Помнишь, мама, Монгола?

— Помню, сынок, помню... В тот год, как ты уехал в город, угодил он под поезд, мы не писали тебе, не стали огорчать...

— Бедный Монгол... А где работает Бахыт?

— На элеваторе, механиком...

— Разве он учился?

— Нет, не учился, не пришлось, он ведь с четырнадцати лет на элеваторе, вырос там, а новой элеватор, считай, вырос с ним. К железкам у него, видимо, талант в крови. Как со службы пришел, на другой день прямо в солдатском заявился на элеватор, на старое место, слесарем-ремонтником. Я ведь там тоже пять лет проработала, для пенсии стажа оказалось маловато. А вскоре Бахыт уже бригадирил. Редко какое собрание без доброго слова о нем проходило. И верно, безотказный джигит. Ночь-полночь, воскресенье не воскресенье — никогда не откажет. А как умер старик Глухов, механик, кто только на этой должности не перебивал. Приезжает кто-нибудь с дипломом, полгода, от силы год прокрутится, запустит дело — дальше некуда. Тут не то, чтобы его заставляли отрабатывать, рады на все четыре стороны отпустить, и отпускают. Ожидают следующего, более путевого, а может, и не ожидают, шлют, наверное, из города, коли должность пустует. Видимо, закон такой — каждому диплому непременно должность.

До следующего инженера хозяйство приводит в порядок Бахыт, это ни для кого не секрет. Немало, наверное, сынок, и наших молодых из Мартука на механиков выучилось, да ни один в родные края не вернулся.

Считай, пятеро залетных в механиках перебивало, а потом уж какая-то светлая голова в райкоме нашлась, сказали, хватит, нам не диплом нужен, а чтоб человек на своем месте был. С тех пор Бахыт в механиках. А в прошлом году наш район, считай, за пол-области хлеб сдал, так Бахыт теперь с орденом и со звездой...

Ночью Камалов часто просыпался и долго лежал в темноте, думая; потом, засветив фонарик, осторожно, стараясь не греметь, спустился с сеновала по шаткой стремянке.

На всякий случай — а вдруг выйдет обеспокоенная мать — он присаживался у колодца, выкуривал сигаретку, а затем потихоньку покидал двор.



Не спеша, в раздумье, он проходил Украинскую из конца в конец, от фонаря к фонарю, от кирпичного завода до автобазы, как в тех осенних снах. Пожалуй, эти ночные прогулки напоминали бессонные часы на кухне с той лишь разницей, что там он больше думал о Мартуке, а здесь о своем доме, где гостила сейчас сестра Машеньки. Мысли его перескакивали с одного на другое. Вспоминал он и день на кладбище, звезду и полумесяц на ограде могилы отчима. Эта жестяная звезда, крашенная суриком, болью напомнила о его собственном отце, о котором, честно говоря, он мало вспоминал. Дамир родился в сорок первом, поздней осенью, а через месяц в боях под Москвой пропал без вести его отец. Он так и не успел узнать, что у него родился сын.

Позже, когда Дамир уже учился в школе и они с Марзией-апай еще жили вдвоем, он как-то услышал, что мать в сердцах ругнула его отца, сказала, что и погибнуть не сумел, как все, а теперь вот и крошечную пенсию то дают, то отнимают.

Дамиру эти отчаянные, сказанные сквозь слезы слова запали в душу, они испугали его. И когда в классе случалось заполнять какие-то анкеты, он краснел и не смел написать «погиб».

В словах «пропал без вести» для него таился какой-то неприятный смысл, намек на то, что отец вроде как убежал или спрятался... Он долго мучился этим и однажды в лесу за рекой все-таки решился спросить обо всем у деда Белея: мать упоминала как-то, что в одном эшелоне с его отцом уходил и лесник.

— Ах, какой дурачок,— отругал его старик Белей, он сразу понял, о чем думал мальчишка.— Под Москвой, Дамирка, что творилось, не приведи господь, сынок. А мы, туркестанцы, в самое пекло, в самый ответственный момент подросли к Москве, мало кто в том аду уцелел. Пропал без вести? Да мало ли что могло случиться: не опознали, документы потерял, некому было опознавать, все знавшие полегли. А прямое попадание? В клочья, в дым, в порошок человека... а огонь, от которого железо вокруг горело... Выкинь, Дамирка, дурь из головы, не тот человек был твой отец, чтобы прятаться за чужие спины.

И Камалов в эти ночные часы с болью думал: где же могила его отца? Безымянная? Братская? Под фанерной звездой?

Сколько лет прошло — и не то чтобы могилу попытаться отыскать, письма в архивы не написал, может, давно уже установлено, где, когда и при каких обстоятельствах погиб рядовой Мирсаид Камалов.

От этих мыслях даже в темноте среди безлюдной ночной улицы Дамир чувствовал, как полыхает огнем стыда его лицо.

Неделя пролетела незаметно...

— Дамир, сынок,— обратилась как-то за завтраком Марзия-апай,— целую неделю то с крыши не спускаешься, то из подпола не вылазишь, сходил бы лучше на речку. Городские, как приезжают, днями там пропадают. Говорят, песочек наш ни крымскому, ни балтийскому не уступает. Я сама-то на Илеке лет двадцать не была, но, помню, красивая, ласковая у нас речка, берега из золотого песка. Сходи-сходи, позагорай оставшиеся дни, а может, кого из знакомых, приятелей там повстречаешь. Тянутся туда приезжие, на реке-кормилице, считай, все мальчишки Мартука выросли...

Пока Марзия-апай варила яйца вкрутую, собирала для него с огорода зелень, наливала прямо из самовара в двухлитровый термос чай, Дамир Мирсаидович торопливо ладил удочки, купленные с Зариком еще весной.

Вручая сыну сумку со снедью, Марзия-апай наставляла его:

— Дамир, речка хоть и рядом, а пешком и малолетняя ребятня не ходит, даже на велосипедах ленятся. Мопед, мотоциклет — куда ни шло, а больше на машинах, сейчас транспорта в Мартуке тьма. Дойдешь до кладбищенского оврага, пока выкуришь сигаретку-другую, оказия и случится...

Но Дамир Мирсаидович слушал ее вполуха, он уже видел себя на речке.

\*\*\*

Каждый день теперь с восходом солнца Дамир Мирсаидович быстро вскакивал с постели, торопливо делал зарядку, основательно, по пояс, умывался из полной до краев кадки, а затем потихоньку, стараясь не потревожить утренний сон матери, завтракал на кухне.

Выходя за калитку, Камалов всегда жалел, что нет у них коровы, вот сейчас погнал бы ее в стадо. Не было коров и у соседей. Не было и малого стада из овец и коз, которым некогда верховодил их Монгол, а пас дружок Дамира Бахыт. Да и откуда же быть стаду, если негде пасти, нечем кормить.

Дамир уже видел, что вся заовражная степь, где раньше гулял скот, до самой речки, вплотную к разъезженной дороге, запахана, запаханы даже заливные луга — место игрищ ребятни. И хотя жидкие метелки хилого овса вряд ли окупали осенью ве-



сенные затраты, пахали ежегодно, выполняя план по увеличению посевных площадей.

А с сеном? Если работаешь в колхозе, еще есть какая-то надежда его получить, а Мартук — районный центр, рабочих и служащих, тоже живущих своими дворами, в десять раз больше колхозников. На сено, как прежде, всем миром не ездят — уже лет десять, как колхозам строжайше запрещено выдавать сено на сторону.

Случается, что машину сена можно купить в дальних селах, у колхозников, вот только его нынешняя цена многим не по карману, тем более пенсионерам. Так и рдеет скот в степных краях.

На реке Дамир Мирсаидович облюбовал себе тихую заводь вдали от дороги и шума машин. Место это, считай, целый день искал: сильно обмелела, усохла река, осели крутые берега, и много шире стали песчаные полосы, переходящие в дюны. Уже здесь, на реке, Камалов слышал, что из нее пьют без меры стоящие в верховьях металлургические и химические комбинаты Актюбинска и Алги, а городской коллектор день и ночь сбрасывает в нее нечистоты. Разрывается река, пытаясь всем угодить, да силенок маловато, без людской помощи ей теперь не встать на ноги.

Вот хоть бы несколько снежных зим, как прежде, но и зима ушла из этих мест...

По утрам Дамир Мирсаидович рыбачил, ловил мелких пескарей и красноперок и с грустью отмечал, что даже в ранние безлюдные часы не играла на реке рыба. А какие сазаны, щуки резвились раньше на зорьке — от одного могучего всплеска радостно холодело на душе, авось попадетя такая!

Ближе к обеду, выкупавшись, он уходил далеко вверх по реке или шел в лес, где подолгу лежал в тени старых ясеней.

Однажды Камалов набрел на компанию отдыхающих. Издавна купались и загорали у круч, где самые отчаянные мальчишки ныряли с высокого отвесного берега. У круч Илек был глубок, дна не достать, а противоположный берег, пологий и песчаный, тянулся вдаль и вширь — на одном дыхании по дюнам до леса не добежать.

Компания приняла Камалова радушно — не хватало пары для игры в футбол. После матча долго баловались мячом в воде, и Дамир понял, что они уже не первый день на реке. На противоположном берегу на отвесной круче стояли два молочно-белых жигуленка и рядом несколько мотоциклов, — видимо, приезжали и уезжали они вместе, решил Дамир Мирсаидович. Все отдыхающие были моложе Ка-

малова, только один, который задавал тон в компании, был постарше, и величали его по отчеству — Станислав Михайлович. Из обрывков разговоров Дамир Мирсаидович понял: родом они все из Мартука, приехали в отпуск из разных концов страны.

Никого из них Камалов не знал, не признали и они его. Отдыхать они умели, это Дамир отметил сразу. На мелководье у берега мок бредешок. Лакированные, отполированные до зеркального блеска спиннинги, вызывая зависть местной ребятни, лежали на песке. Две треноги с котелками, примус, термосы и даже шашлычница были у компании.

Станислав Михайлович в первый же день от имени своих молодых друзей пригласил Дамира на традиционную уху. Иногда у Камалова появлялось желание посидеть в компании, и он из своей тихой заводи выходил к купальне.

Ведро ершей и окуньков, выловленных специально для ухи, вызывало восторг у ребят — у них не хватало терпения сидеть за удочкой. За ухой или шашлыком после рюмки хорошего коньяка говорили обо всем — о спорте, театре, космосе, — но каждый раз все заканчивалось разговором о Мартуке.

Полноватый мужчина в очках, отрекомендовавшийся кандидатом сельскохозяйственных наук, убеждал, что если дело пойдет такими темпами, а меры не будут приняты, то и полынь скоро станет реликтовым растением. И в запальчивости кандидат наук спрашивал: «А вы видели в этом году васильки? А татарник?»

Другой, назвавшийся специалистом по теплотехнике, уверял, что асфальтовый завод через три-четыре года начисто выведет персидскую сирень — гордость поселка, — потому что выстроили его рядом с жильем, без основательных инженерных расчетов, без пылеулавливающих установок.

И когда Станислав Михайлович, оказавшийся известным театральным режиссером, отметил, что совершенно безграмотно отделили сцену в новом Дворце культуры, Дамир, в общем-то с симпатией относившийся к седовласому, с приятными манерами человеку, в обществе которого услышал немало интересного и полезного для себя, вдруг с неприязнью подумал: «Когда вы, Станислав Михайлович, уходили в город, непростое было время. Мать, наверное, не раз порог председателя сельсовета обивала, выпрашивая вам справку на получение паспорта. И главным аргументом был не ваш талант, который, без сомнения, был, а то, что она убедила правление, что, выучившись,



вы вернетесь в поселок, будете нести культуру и искусство людям. А может, это говорила не только мать, но и вы сами клятвенно уверяли?» «Да что ж это я на человека ополчился, милого, интеллигентного? — обозлился Дамир Мирсаидович. — А сам-то я чем лучше? И сидящие рядом — славные, умные люди, разве они когда-то не обещали — друзьям, родителям, соседям, школе, сельсовету, любимой: «Выучимся — вернемся»? Вернулись...

Сидим за армянским коньячком и клянем нынешнего председателя колхоза, который родом не то из-под Рязани, не то из Казани, что запахал луга — радость и гордость поселка, выгадав два гектара посевных. А если бы этот бесспорно умный мужик, кандидат наук, вернулся в родные пенаты и возглавил колхоз, наверное, уберег бы дорогие для всех луга, нашел бы взамен другой клочок земли — в два гектара! Глядишь, и для общественного стада отыскался бы выгон, ведь не забыл очкарик, что значит корова в доме.

Теплотехник сохранил бы персидскую сирень, Станислав Михайлович прославил бы Мартук народным театром, к немногословному хирургу приезжали бы из области на консультацию, а я, Камалов... Впрочем, каждому нашлось бы дело, только душой потянись, сердцем...

Дамир Мирсаидович больше не покидал тихую заводь. Свой путь на речку, каждодневные три версты утром и три вечером или уже в сумерках проделывал только пешком, как в детстве.

Утром, когда разъезженная дорога еще не пылила, а влажный предрассветный туман еще лежал на земле, он уже шагал по обочине, вглядываясь в овсы, словно надеялся увидеть там босоногого соседа-подпаска и гордого Монгола. Иногда он сворачивал в них и, шагая плохо пропаханным и плохо бороненным полем, встречая повсюду васильки и татарник, шел к ферме. Подолгу, забыв о реке, бродил среди развалин, и только запах, не выветрившийся за эти годы, напоминал, что здесь были овечьи кошары, и вдруг в тишине ему чудились сотнеголосое бляенье и топот.

Камалов силился вспомнить, где стояла та белая юрта и где добрая старушка-волшебница с тонкими руками в тугих обхватах серебряных браслетов кормила их свежим айраном.

Но, сколько бы он сюда ни приходил, точного места он так и не установил.

На этих верстах, оказавшихся нисколько не короче, чем в детстве, Дамир Мирсаидович, не щадя себя, снова и снова ворошил прожитую жизнь.

Мать вдруг занеможет, кто рядом? Конечно, мир не без добрых людей, найдется кому подать стакан воды, но ведь у нее есть сын, внук, невестка...

Возвращавшиеся с речки машины иногда тормозили, и шофер, распахивая дверцу кабины, весело предлагал:

— Садись, мужик, подброшу, а то запылишься до дома...

Камалов благодарил и отказывался, а чаще, занятый своими мыслями, не слыша голоса и не замечая машин, продолжал шагать по обочине...

Часто ему вдруг по-мальчишески, до слез хотелось, чтобы появилась арба деда Белея и лесник окликнул его издалека:

— Дамирка, прыгай, подвезу...

Может быть, наверху, на свежей кошенине, пахнувшей лугами и рекой, глядя на сгущающиеся сумерки и редкие звезды, слабо вспыхивавшие в высоком летнем небе, он бы скорее понял, как ему быть.

Машенька... Она так гордится, радуется, что помогла мужу выучиться, не дала ему отступить, как же он объяснит ей, что с удовольствием сменил бы белую рубашку на спецовку...

Дом... Самый красивый на Украинской улице... Дом Камаловых... Всегда, в любом городе может быть его квартира, но после матери исчезнет с лица земли дом Камаловых, потому что дом носит имя хозяина. Так заведено испокон веков, так будет всегда.

Каждый день Дамир Мирсаидович одолевал путь в три версты, с каждым днем каждый шаг все настойчивее отдавался вопросом: «Как жил? Как живу?.. Как жил?.. Как...».

*Ялта,  
октябрь 1976*



# Рассказы и эссе





# Ночь на постоянном дворе

Рассказ

**Е**два показались сигнальные огни входных стрелок, Каримов распахнул дверь вагона настежь и откинул площадку лестницы. Спустившись на последнюю, третью ступеньку, высунулся из тамбура, но не по-летнему холодный встречный ветер заставил его отпрянуть внутрь вагона.

Огни приближались, и по ним Каримов определил, что поезд принимается на главный путь. Слабая надежда на случайную остановку скорого пропала, но Каримов не огорчился. «Прыгать так прыгать»,— подумал он без всякого страха и подтянул ближе дорожную сумку. Прыгать ему было не впервой. Как только отстучали колеса на стрелках, он слегка завис на одной руке, почти касаясь земли, бросил сумку и сразу же спрыгнул сам. Падая, он вдруг испугался, как бы не расшибиться, не разбить в кровь лицо. Такой испуг был для него внове.

Уже где-то на выходе со станции мелькали красные огни последнего вагона, когда он поднялся и, растирая ушибленную ногу, неожиданно сказал вслух:

— Пожалуй, ты свое отпрыгал, Арслан...

Глядя вслед исчезающему в ночи составу, он подумал: «То ли поезда скорости прибавили, то ли годы мои уже не для таких проказ». А ведь когда-то это была любимая забава: мальчишками ездили



купаться на соседние разъезды, на ходу вскакивали на проходящие поезда, на ходу прыгали, хотя у самих, в Мартуке, речка под боком была. А когда собирались в город компанией, на футбол или в кино, бегали по крышам из конца в конец состава на полном ходу, словно это была площадка для игр. Да и в армии, в десантных войсках, где он еще по старому сроку три года отслужил, прыгать ему по-всякому приходилось. А теперь вот чуть шею не свернул.

Отыскав неподалеку сумку, Арслан, слегка прихрамывая, двинулся к неярким огням сонной и безлюдной станции.

Днем он прилетел в Актюбинск из Ташкента и, не теряя времени, отправился на железнодорожный вокзал, ехать до родного Мартука нужно было еще два часа поездом. Но здесь ему не повезло: почтовые поезда, делающие остановку на его станции, уходили в первой половине дня, а время давно перевалило за полдень. До вечера он слонялся по некогда знакомому городу, все больше убеждаясь, что ничего не помнит, разве что названия каких-то улиц смутно выплывали в памяти, да какое-то красно-кирпичное здание вдруг напомнило о давних, отроческих днях. Сюда они наезжали в одно давнее лето из Мартука в кино, когда в их поселке неожиданно сгорел сарай, где по выходным дням крутили фильмы. Делать было решительно нечего. Он пообедал в душном, просматриваемом насквозь, как аквариум, ресторане. И, осмелев после выпитого за обедом стаканчика вина, ткнулся со своим мятым, много выдавшим паспортом в окошко администратора невзрачной, обшарпанной гостиницы, где, разумеется, мест не было.

На закате дня, в сумерках, он снова оказался на вокзале. Чего в жизни Каримов повидал вдоволь, так это вокзалов. Исходил он не один десяток километров вокзальных платформ, много неожиданных решений в жизни принимал вот так, в ожидании поездов. Меряя неторопливыми шагами просторный перрон, он высматривал укромную скамейку, где бы, не рискуя быть поднятым милиционером, можно подремать короткую летнюю ночь.

Пока он ходил, выискивая угол потемнее, объявили о прибытии скорого на Москву, и Арслан, зная, что скорые не останавливаются в Мартуке уже лет двадцать, все же побежал в кассу за билетом до первой остановки экспресса.

На слабо освещенном перроне Мартука не было ни души, и стояла такая тишина, что шаги его, казалось, слышны были за квартал; Арслан уже в который раз прошелся в адрес знакомого ташкентского завмага, всучившего ему «самый модный товар». Остроносье,

на крепкой кожаной подошве, новые туфли жали, были непривычны, а главное, скрипели. Каримов усмехнулся: неудивительно, если на его цокот и скрип выбежит на перрон дежурный, но тот лишь проводил его долгим взглядом из приоткрытого окна...

Подходя к вокзалу Мартука все еще прихрамывающим шагом, он машинально отметил, что станция совершенно не изменилась, разве что с годами вроде ужалась, поуменьшилась, что ли. Все здания, казавшиеся когда-то если не огромными, то большими, сейчас виделись совсем по-иному. Сворачивая с перрона в пристанционный сквер, Каримов вдруг осознал, что станция ныне потеряла для Мартука то значение, которое имела во времена его отрочества и юности. Мелькнула и другая неожиданная мысль: что, как и повсюду, Мартук, наверное, связан с областным центром регулярным автобусным движением. Но Арслан ни на миг не пожалел о потерянном дне, не пожалел даже о том, что пришлось прыгать на ходу с экспресса. Иным, без освещенного вокзала, без ночного перрона, своего возвращения он не представлял.

Он не был в Мартуке давно, почти двадцать лет. Уехал молодым, крепким парнем, а возвращался зрелым, немало повидавшим мужчиной — весной ему исполнилось тридцать семь. Еще подъезжая к станции, Каримов обратил внимание на поздние огоньки Мартука, щедро рассыпанные по обеим сторонам железной дороги, а ведь раньше по левую сторону, кроме огородов, ничего не было. А на правой стороне огоньки светились так далеко за элеватором, что казалось, Мартук уже поглотил соседний разъезд. Но как бы ни выросло село, какие бы в нем ни произошли изменения, Каримов нашел бы свою улицу, свой дом даже с завязанными глазами.

Сразу у вокзала, где раньше был пустырь, отделявший станцию от села, выросла новая улица, застроенная двухэтажными коттеджами. Возвели их примерно лет десять назад, как прикинул Арслан, потому что тополя уже дотянулись до телевизионных антенн.

Нога побаливала, туфли жали, и потому он шел не спеша, часто останавливаясь, оглядываясь вокруг. Его родная улица Базарная была неподалеку от вокзала. Каримовы жили здесь давно, с незапамятных времен. Ночь не казалась темной, улицы были щедро, почти по-городскому, освещены. Некогда пыльные, разъезженные в непогоду, теперь в свете фонарей они представляли чистыми и даже заасфальтированными. Чем ближе он подходил к дому, тем тяжелее становился шаг. Он припомнил, что уезжал в такую же летнюю пору, тоже ночью. И тогда никто его не провожал, и теперь никто не встречает.



«Словно вор»,— поежился Арслан, сворачивая на свою улицу. Дом Каримовых был третьим от угла, как раз напротив горел уличный фонарь. Как в хорошо продуманной театральной декорации, будто специально к его приезду, дом был прекрасно освещен, а двор заливал яркий лунный свет. Арслан бросил сумку в густую траву у полусгнившего, развалившегося плетня и, не в силах войти во двор, пошел вокруг.

Дом сильно осел, но был еще крепок. Три окна, выходящие на улицу, и два во двор были, словно глаза слепого, наспех, неаккуратно забраны листьями покоробившегося рубероида, а по наличникам перехвачены крест-накрест тонким горбылем.

Дверь с огромным ржавым замком, который Арслан узнал сразу, тоже была наглухо заколочена. Высокая печная труба наполовину развалилась, наверное, завалив весь дымоход. Давняя известковая побелка, выбитая дождями, снегами и долгими осенними ветрами, сохранилась лишь оспинками на старческом лице дома. Крыльцо развалилось, а двор по пояс зарос чертополохом, крапивой, лебедой, куриной слепотой, словом, всякой дрянью, от которой даже скот оберегать следует. Сорная трава уже перекинулась на жильё, заполняя крыши сараев и летней веранды. В ночной прохладе, среди свежего ночного аромата Арслан уловил запах тлена, исходивший от его родного гнезда.

Арслан, много поездивший на своему веку, видел немало заброшенных человеческих мест. Вид любого нежилья, где некогда звучал детский смех, где прошли или окончились чьи-то дни, всегда вызывал у него печаль. Но вид угасшего родного гнезда... От бессилия сказать что-то в оправдание или в укор кому-то Арслан сжимал чудом сохранившуюся, висевшую на одной петле дверцу калитки, и старое дерево в его сильных руках превращалось в труху.

Стоял он так долго и как наяву видел счастливые картины из той давней, прошедшей жизни, когда по воскресеньям, в базарный день, у них во дворе громоздились брички, арбы, тарантасы приехавших из аула на базар знакомых казахов. У коновязи, грызя удила, перебирали тонкими ногами огненноглазые аргамаки, которых казахи держали только для байги — скачек. Отец Арслана, хоть и пил крепко, был первый коновал в этих краях.

Какие-то длинноносые казашки в ярких бархатных жилетиках, помогая матери, жарили на открытом огне в казанах румяные баурсаки. А рядом он видел и себя, босоногого, чумазого, у огромного самовара, который в такие дни должен был кипеть весь день, до самого отъезда шумных, громкоголосых гостей.

Он даже ощутил особенный запах тех дней — запах молодых и сильных лошадей, свежего сена, дегтя и аромата степи, — прилетевший из аулов вместе с этими повозками и этими людьми.

Видения его прервал ярко вспыхнувший свет в соседнем дворе и разом загремевшее ведро в колодце. Через ограду, увитую вьюном, он увидел пожилую русскую женщину. А раньше в соседях у них жили одни казахи.

— Не скажете, как пройти к гостинице? — громко спросил Каримов.

— Гостиницу? — переспросила женщина и поправилась: — Постоялый двор, наверное, вы спрашиваете, гражданин. Так это у мельницы, — и она объяснила, как ближе пройти.

Постоялый двор с вывеской «Дом колхозника» Каримов нашел быстро. Одноэтажное здание, окруженное отцветшими акациями, еще светилося огнями. Во дворе по-домашнему — в просторном халате и тапочках на босу ногу, сидела породная женщина и грызла семечки. Судя по рассыпанной вокруг шелухе, сидела она тут долго. Хозяйка постоялого двора, а именно ею оказалась любительница семечек, встретила его на удивление доброжелательно. Прежде чем оформить, даже показала несколько пустующих комнат, и Каримов выбрал крайнюю, с окном во двор. Записывая его паспортные данные в потрепанную конторскую книгу и дойдя до графы, где значилось место рождения — Мартук, она ни о чем не спросила, только украдкой глянула вновь на Арслана, изучавшего от нечего делать план поселка, висевший на стене.

В комнате он сразу распахнул окно во двор, потому что даже на Севере спал с открытой форточкой. Несмотря на довольно позднее время, со стороны парка еще слышалась музыка, оркестр играл ту же модную ныне мелодию, что вчера он слышал в Ташкенте, в ресторане при гостинице. «Что-то везет мне последнее время на гостиницы», — подумал Арслан, оглядывая свое новое жилье.

В Ташкенте (спасибо, свои друзья-скульпторы расстарались) Арслан целую неделю до отъезда прожил в роскошном номере лучшей гостиницы «Узбекистан». Друзья же и помогли Арслану с контейнером. Такой груз без помощи скульпторов ему никогда не удалось бы отправить в Мартук.

Каримов раскладывал нехитрые пожитки из дорожной сумки, когда раздался стук и в дверь заглянула хозяйка.

— Решила чайку попить, да в одиночку скучно, не дело одной-то чаи гонять. Дай, думаю, человека пригласу, с дороги



все-таки, проголодался, наверное. Чайная у нас, правда, рядом, да она только утром откроется...

Приглашение было от души, и Каримов не смог отказаться, да и чаю, откровенно говоря, ему хотелось.

Небольшой столик из служебки был вынесен во двор. На местной районной газетке, заменявшей скатерть, лежали три крупных огурца и несколько тугих бордовых помидоров, каких Каримов давно уже не встречал в дальних своих странствиях. Хозяйка положила на стол буханку магазинного хлеба и большой кусок хорошо сохранившегося розового сала. Вынесла Арслану нож и, наказав хозяйничать, пошла заваривать чай — титан уже шумел всюду.

За столом на его замечание, что зелень как будто только с грядки, хозяйка, улыбнувшись в сторону темневшего за забором огорода, сказала:

— Да я туточки, за оградой живу. Коли молочка захотите или зелени, кликните через ограду бабу Груню, я завсегда дома.

Запах огурцов, вкус сала, хлеба, аромат чая вызвали у Арслана какие-то неясные, смутные воспоминания о прошлом, давнем, мысли его перескакивали с одного на другое, и он плохо слушал, как видно, любившую поговорить бабу Груню.

— Надолго ли к нам, сынок? — поинтересовалась хозяйка постоянного двора.

Каримов, с трудом уловив адресовавшийся ему вопрос, рассеянно ответил:

— Не знаю, баба Груня, пока не знаю...

— А ты побудь, побудь, чай не чужие тебе края, корни-то твои тут, в Мартуке. Сама в паспорте видела, тут рожден. Али душа изболелась, коли потянуло на поклон землице родной...

Видя, что Арслан стал слушать ее внимательнее, она неторопливо рассказывала:

— Я тут уж двенадцатый годок на должности, всяких людей повидала, наших-то мало приезжало. А в последние годы что-то зачастили. Да-а, все ко мне идут, в гостиницу. А как же... Ну, иные, конечно, и по родственникам, а больше сюда. И откуда они только не являлись, батушки, даже с тех краев, где полгода день, а полгода ночь — с Норильска самого. И все до одного мужики, ни одной бабы. Баба что ж, перекаати-поле, за кого замуж пошла, за тем следом и катится. А мужик, конечно, он корень, опора, как ни крути, ни верти, как ни подымай бабу, а на мужике держится дело. Я-то помню хорошо

и бескормицу, и безработицу в Мартуке, оттого ведь и уходила молодежь в чужие края. Не от скуки, как теперь по телевизору объясняют, из наших краев молодежь бежала. Я хоть неученая баба, всего три зимы в школу бегала, а скажу тебе, сынок: вот сердцем чувю, повалит скоро деревенский народ обратно в село, уж больно велики эти ваши города. Да и душевности в них мало, ой, мало...

— Да-а, серьезные-то парни в город в свое время не за весельем подались, не за городским пряником, а чтобы рукам своим умелым да голове трезвой дело найти. Не хватало на беду людям в наших краях работы для всех. А теперь и у нас, как в городе,— на каждом заборе объявления висят: «требуется» да «требуется»... Даже ко мне один умный начальник со стройки приезжал, просил: «Коли зайвится,— говорит,— на постой самостоятельный мужик, ты уж его ко мне наладь, или дай знать, коли слишком гордый». Такая цена теперь хорошему работнику пошла, не грех и в пояс поклониться.

Тянет людей в родные края. Что ты, еще как тянет. В прошлом годе прожил здесь две недели один военный. Чина, правда, невысокого, но мужик с достоинством, без хитринки. Как я думаю, сообразуясь с душой и совестью живет. Лет тридцать назад ушел в армию, так и не вернулся. Да и куда вертаться? В те годы работы у нас не только для молодых, для фронтовиков негусто было. Так и остался в армии, чинов особых не добился, с грамотенкой у него не шибко было, но служил честно, дело свое, видимо, знал, коли десять лет даже за границей отбыл. А как пришло время в отставку, не подался в теплые да благодатные края, куда ему, военному, по праву и можно было, а сюда вот приехал, хоть корень его весь вывелся в Мартуке. Как же он радовался, что народ на ноги стал, садам и огородам удивлялся. А что дивиться, теперь, считай, в каждом дворе своя колонка на электричестве. Приглядел он себе, значит, хату возле парка и семью привез, сейчас в школе военное дело преподает. Сгодился, выходит, краю родному. А другой вон из Ленинграда два года подряд приезжал, даже детей привозил. Хорошее дело, думаю, показать детям, откуда, из каких мест отец, на какой реке вырос, какой землей вскормлен-вспоен. Ну, этот мужик слишком грамотный, профессор, в институте работает. Говорит мне, махнул бы я, Груня, рукой на все да вернулся в Мартук, только кому я здесь буду латынь мою читать, а другой работы, мол, не знаю, и поздно уже переучиваться. А душа его здесь осталась, здесь, это я заметила. Да, вот дела-то у нас какие... Все течет, все меняется...



Помню, лет двадцать назад народ все за химию агитировали: она, мол, такая, растакая, лучше ее и не видать, и не сыскать, а дешевое все из нее будет — на рупь воз. А что вышло? Повывели всю шерсть, а нейлоны-капроны эти нынче дороже габардина. Уж лучше бы деньги на овцу истратили, вот и не знали бы бед еще сто лет. Слава богу, образумился народ, понял, кажется, что лучше землей-то данных материй нет и не будет: ситца там аль шерсти, да и льна того же самого. Докумекали, что от добра добра не ищут. Я к чему говорю? Вот и в город таким же макаром все заманивали: отработал, слышь, там свои часы, заглянул в столовую или в кафу эту и пошел ума набираться — в театр там или музей. А оказалось-то, что в театре лет по десять одни и те же пьески идут, в музей-то и вовсе раз сходить — более не надо, а про столовые вовсе говорить не хочу, боюсь, заматюкаюсь. А ведь было расхорохорились: мол, лет через пять никто дома готовить не станет, всей семьей есть в столовые да рестораны станут ходить. Ну, и походили! То-то же, лучше самой-то никто не сварит. Может, неумехам да лентяям в городе жить и вправду сподручнее: и баня на дому, и до ветру бегать не надо, все под боком. Да и хате развалиться не дадут — казенная. А если человек трудолюбивый, с головой, и руки как руки, так любой же дом можно содержать, какие дела делать! Вот такой мужик, я думаю, и потянется скоро обратно в село.

Баба Груня говорила еще долго, но мысли Арслана вновь перенесли к тем давним дням, которые так хорошо помнила хозяйка постоянного двора. Заметив, что постоялец мыслями далеко от нее, баба Груня, спохватившись, оборвала себя на полуслове и, извинившись, что заговорила гостя с дороги, стала убирать со стола.

Вернувшись к себе, не включая света, он расстелил постель. Яркий лунный свет высвечивал высокую комнату, а ему снова виделся родной двор. От лунного света, освещавшего даже самые дальние углы комнаты, никак нельзя было избавиться; окно оказалось не по-сельски большим, а накрахмаленные белые шторы не перекрывали по высоте и трети его.

Этот свет мешал Арслану, прогонял сон напрочь. Вспоминая о тех, про кого рассказывала баба Груня, он понимал, что добрая и словоохотливая хозяйка хотела чем-то помочь ему или как-то успокоить его. Ведь и впрямь, не столь уж часто случается такое — возвращаешься в родной дом, а оказываешься на постоялом дворе.

Но Арслан же знал, что с пирогами его ждать не будут, знал, что встречать его некому. С потерями своими, казалось, он уже свык-

ся, пережил их. Но вид запустелого родного гнезда заставил увидеть эти потери по-иному. Вдалеке от дома он, кажется, давно обо всем уже передумал, все решил, по-своему покаялся, и казалось, если он и вернется сюда, то не испытает никаких потрясений. Вернется исполнить свой запоздалый долг и уедет обратно в добром расположении духа от сознания сделанного. Конечно, он допускал, что погрустит и попечалится, как всегда бывает, когда возвращаешься после долгой разлуки в опустевший дом, в родные края...

И вот все не так, не то... Что-то сместилось, рухнуло в задуманном с самого начала, и прежние переживания сейчас казались такими мелкими, никчемными, даже подлыми, хотя он знал, что и тогда это была искренняя боль. Арслан, имя которого по-татарски означало Лев, похожий сейчас и впрямь на крупного и сильного зверя в клетке, заметался по огромной, рассчитанной на четверых комнате. И еще этот лунный свет... Он находил, высвечивал его в каждом углу и словно выставлял его напоказ перед самим собой: посмотри, мол, полюбуйся, на себя, явился оплакивать родной порог, запоздалый долг, видишь ли, решил исполнить, ты, тридцатисемилетний Никто, видимо, по недоразумению прозванный Львом.

А ведь Львом, настоящим вожаком, он был только здесь, да и то давным-давно, когда в одно лето из дерзкого, угловатого подростка вдруг неожиданно для окружающих превратился в отчаянного, крепкого, сильного парня. С густой, иссиня-черной нестриженной шевелюрой слегка вьющихся волос и приспущенными по-восточному, мягкими усами, с легкой пружинистой походкой, он и впрямь походил на крупного, ловкого и хищного зверя, имя которого носил.

В те времена, особенно в маленьких местечках, утверждение личности было делом непростым и даже крайне жестоким. Например, для начала следовало утвердиться на своем «краю»: Оторвановке, Станции, Татарке или еще где, затем, положим, следовало стать «хозяином» танцплощадки, а потом уж «держатъ верх» повсюду. В Мартуке, краю суровом и, прямо сказать, диком, народ отличался характером вспыльчивым и вздорным: драки вспыхивали часто и по таким невероятным поводам, что иногда наутро толком не могли припомнить, из-за чего разгорелась потасовка. Ни одна свадьба, ни одна гулянка праздничная в Мартуке не кончалась без драки. А дрались зло, жестоко, умело.

Ребят с характером в Мартуке было хоть отбавляй. Поэтому вражда между ватагами из разных районов и даже улиц никогда



не прекращалась. Случалось, что властвовали двое, или на короткое время никому не удавалось одержать верх, но вскоре, обычно, объявлялся новый лидер, отчаянный сорви-голова — и все вставало на свои места. А власть давала немало: вожак и его приближенные верховодили на танцплощадке, занимали в летнем кинотеатре лучшие места, купались на реке под самой кручей, могли заказывать музыку на свой вкус на танцах. Взрослых в Мартуке никогда не задирали, даже в тех случаях, когда те были не правы. Однако традиция эта чтилась всегда. В этом отчаянном мире самоутверждения ребята Мартука строго соблюдали определенный кодекс чести: никогда не били лежащего, не били попросившего пощады, в самых страшных драках, где не обходилось иногда без кольев, не пускали в ход ножи. Но самым любопытным было то, что буйствовали ребята только до призыва в армию, и, может быть, поэтому взрослые в Мартуке смотрели сквозь пальцы на столь суровое и жесткое мужание своих детей.

Несмотря на множество достойных соперников, Арслан три года подряд «держал верх» в Мартуке. История поселка, а она по-своему чтит удаля, сохранила всего несколько имен, кому так долго удавалось быть лидером этой неуправляемой молодой поросли бедного села. Взрослые, не признававшие всерьез парней, еще не отслуживших в армии (а служба ценилась в Мартуке высоко, потому что, как считали, там «вправляли мозги») и давали профессию), с Арсланом, тем не менее, считались. Он всегда мог рассчитывать, что на грузовом дворе не откажут принять его в компанию разгружать лес, уголь, цемент, шифер, дадут подзаработать. Отличительной чертой кумиров тех трудных послевоенных лет, при всех их очевидных недостатках, малой образованности и низкой культуре, было их умение работать, желание и в работе «держаться верх». Много не красило их, но они были честны, искренни, справедливы. Арслану не исполнилось еще и восемнадцати, когда взрослые мужики, казахи и чеченцы, взяли его на равных паях в артель, перегонявшую скот на далекие мясокомбинаты Семипалатинска. Даже просто одолеть верхом по осени около тысячи верст, когда уже дождило и ветер в степи валил с ног, было делом нелегким. А ведь нужно было не просто добраться и довести скот, главное было — сохранить его, голову к голове, всю ту огромную красную цифру, значившуюся в накладной, да еще и привес обеспечить, от этого зависел заработок. Иные артели гуртоправов при расчете после изнурительного двухмесячного перехода, который знаменитым ковбоям и не снился, бывало, оставались

еще и в должниках: то скота не досчитаются, то с привесом не все в порядке, то лихие заготовители, степные богатеи, ловко надуют при приеме. И возвращались иногда домой бедолаги к себе на запад, через весь Казахстан, не имея за душой ни гроша, на товарняках.

В многодневном пути, по чужим дорогам были опасны и холода, и осенние дожди, превращавшие каждую балку в речку. И такой парень, как Арслан, не ведающий страха, ловкий и сильный, на которого можно было положиться в любой переделке, зная, что не дрогнет, не бросит в беде, пришелся гуртовщикам по душе.

Это был, пожалуй, единственный, короткий как миг, как сама юность, период, когда Арслан был действительно Арсланом. Позже даже в шутку его не называли Львом, а ведь на всех мусульманских языках Льва называют одинаково, а почти за двадцать лет он объездил всю Среднюю Азию и Казахстан, даже в Азербайджане, в Сумгаите, на монтаже год работал. Только однажды, два года назад, когда он приехал в Газган добывать мрамор для ташкентского метро, старый каменотес Юлдаш-ака, с которым Арслан работал в паре полгода, сказал как-то неодобрительно: «Молодой, сильный, настоящий Арслан, а живешь как кукушка — ни семьи, ни дома, ни детей».

Обходя скрипучие половицы, он вышагивал из угла в угол и пытался понять, что увело его тогда от отчего порога, что дали его сердцу тысячи дорог, которыми он прошагал и проехал.

Много раз в последние годы, да и раньше, он задавал себе этот вопрос и каждый раз отвечал на него, то ли сообразуясь с настроением, то ли выискивая смягчающие обстоятельства. А ведь, наверное, нужно было ответить по-мужски, без ссылок на молодость, обстоятельства, на судьбу. В той среде, где он вращался последние двадцать лет, и где оказывались разные люди, были в ходу всякие романтические байки о своей роковой судьбе, невероятных жизненных перипетиях. Чем дальше уводили Арслана дороги, тем яснее понимал он, что эти судьбы-легенды — плод творческой фантазии наиболее романтических, что ли, неудачников, а у остальных не хватало даже воображения придумать версию жизни, которую хотелось бы иметь за спиной. Сейчас Арслан не хотел скидок и оправданий. Пришло время отчитываться перед самим собой за прожитую жизнь, и случайно ли, что местом этим оказался постоялый двор родного поселка?

Арслану вдруг припомнился другой постоялый двор, когда не было еще этого уютного Дома колхозников. Тогда в Мартуке таких дворов было два. В одном, у деревянной неказистой церквушки,



останавливались, в основном, мужики из Красного озера или Белой хатки — дальних и давних русских сел. А у почты, недалеко от Каримовых, у хромого Махсума-абы, частенько стояли на постое казахи, татары, чеченцы, заезжали, хоть и редко, и русские мужики. Большое подворье Махсума-абы Арслан помнил хорошо, не одну десятку он заработал мальчишкой с дружками у щедрого и веселого хозяина постоянного двора. По весне, бывало, неделю лепили кизяки, да еще неделю их переворачивали, сушили, складывали на зиму в высоких сараях из грубого горбыля, а то кололи огромные горы самоварной щепы, которая убывала дня за три, а еще убирали сараи, проветривали сеновал, да мало ли работы найдется на подворье?

Здесь же, во дворе Махсума-абы, погожим мартовским утром Арслан впервые увидел целинников. Они стояли толпой, щурясь от яркого весеннего солнца. Оглядывая оседающие сугробы вдоль плетней и по обочинам уже мокрой, разъезженной дороги, смотрели на низкие, вросшие в землю бедные хатки и, наверное, удивлялись, как далеко их занесло. Они уже разглядели, что в краю этом не было особых примет, ни гор, возвышающихся рядом или вдали, ни садов, ни даже каменной церкви, что, радуя глаз красками и формами, была неременной в каждом русском селе. Вокруг, насколько хватало глаз, кривились улицы, тупики, переулки, засыпанные золой, и бедные подворья за ветхими плетнями с остатками стогов и развалившимися кучами скопившегося за зиму навоза. Может быть, первое впечатление было настолько тягостным, что у многих, наверное, упало настроение, и вечером целинники пришли в клуб, изрядно напившись. Добирались эти парни из Осетии и Ставропольского края в Мартук поездом дней десять. В дороге успели сдружиться, сплотиться, даже уговорились в новых краях держаться друг друга и местным спуску не давать.

Узнав, что понаехало сразу столько парней, да еще таких уса-тых, с орлиными глазами, на танцы дружно явилась вся прекрасная половина Мартука, даже девушки-перестарки, которые уже года два не ходили на вечера, и те не удержались.

То ли от выпитого, то ли от внимания стольких прекрасных глаз (они-то сразу уразумели, что весь этот девичий парад в их честь), гости повели себя высокомерно. Они забыли, а может, и не знали, эти, в общем-то, славные ребята с рабочих окраин, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. К тому же, вероятно, они и подумать не могли, что в этом бедном, затерянном в степи поселке парни чтят

достоинство не меньше, чем в горах Кавказа, а удалью и ловкостью могут потягаться с парнями из любых краев. Надо сказать, что два милиционера Мартука, зная нрав своих ребят и уважая законы гостеприимства, уже провели профилактическую работу, попросив не задирать приезжих.

Опьяненные неожиданным успехом, гости бесцеремонно оглядывали девушек, громко смеялись, в общем, вели себя нескромно. Толкнув кого-то в танце, они и не думали извиняться, а в Мартуке танцплощадка была, пожалуй, единственным местом, где даже самые отъявленные сквернословы и задиры говорили «извините» и «пожалуйста». Короче, на глазах происходило поправление незыблемых традиций, сложившихся еще с довоенных лет. Старожилы, сцепив зубы, терпели, уважая законы гостеприимства, только все чаще лихие закоперщики с Татарки или Станции обменивались многозначительными взглядами, но вовремя откуда-нибудь из-за плеча чей-то тяжелый взгляд, имевший власть, пресекал вольность.

А гости становились все бесцеремоннее. Только выпитое вино и успех у девушек, круживший голову, не позволяли им заметить, как накаляется атмосфера в зале.

Все вспыхнуло в какое-то мгновенье. Один щеголеватый парень в хромовых сапогах, получив отказ от Галочки Пономаренко, первой красавицы Мартука, попросил ее немедленно оставить зал. Это был особый стиль разговора, изящная блатная словесность, где за каждой вежливой фразой таились угроза, оскорбление, — жаргон этот был хорошо известен и в Мартуке. Когда кавказец галантно протянул Галочке руку, чтобы отвести ее к раздевалке, стоявший рядом неприметный парнишка резко оттолкнулся от стенки, которую безучастно подпирал весь вечер, и нанес гостю короткий резкий удар. Хромовые сапоги во всем великолепии прочертили воздух и глухо ударились об пол. И тут же мгновенно сцепились во всех концах танцплощадки.

В зале кое-где раздался девичий визг, но особой паники среди прекрасного пола не было; к таким баталиям в Мартуке привыкли, даже завклубом, равнодушно выглянувший на шум из своего закутка, единственно, что предпринял, прибавил громкости в динамиках. Было бы грехом утверждать, что все потасовки в поселке случались из-за девушек, и, конечно, уж совсем несправедливо было бы обвинять их в том, что они подстрекали к этому парней. И такое, разумеется, в истории Мартука случалось, но то было, скорее, исключение, чем правило. И все же, доля девичьей вины в том, что здесь царили



столь суровые нравы, была, и немалая. Они, конечно, не аплодировали героям кулачных боев, не забрасывали их цветами, но никогда и не осуждали забияк, не пытались удержать своих ухажеров, если те, бросив их посреди танца, одним махом одолевали ограду танцплощадки и исчезали в темных аллеях парка, откуда раздавался известный только им призывный свист.

Никогда, ни в зимнем клубе, ни на летней танцплощадке в парке, когда начиналась потасовка, девушки не разбежались в испуге. Не менее возбужденные, чем парни, без тени страха, они с нарочитым визгом откатывались в край зала, освобождая плацдарм для баталий. И если кто-нибудь из парней в какой-то миг перехватывал взгляд любимой девушки, увы, в нем не было осуждения, а лишь любопытство, азарт и чаще всего — одобрение его лихости и ловкости. Откуда в эти далекие степные края пришла жестокая русская традиция кулачных боев, стенка на стенку, улица на улицу с почитанием удали и силы, оставалось для разумных людей Мартука загадкой.

Вот и сейчас, едва началась драка, в глазах многих девушек можно было прочесть жгучее любопытство: «Ну, на что же вы способны, парни с орлиными глазами, надолго ли вас хватит?» Своих-то они знали. Это, конечно, не укрылось от заезжих парней. К этому моменту некоторые из них уже высмотрели себе девушек, и в их глазах читалось огорчение, что все так обернулось, хотя они подозревали, что только так и закончится сегодняшний вечер.

Целинники, парни, в основном, отслужившие армию, снисходительно помахали ручкой: сейчас, мол, поставим на место расшалившихся юнцов. Если бы они знали, как умеют драться в Мартуке! Существовала даже своя разработанная программа драк в летних и зимних условиях. Вот и сейчас, как только возникла заваруха, тут же закрыли на засов входную дверь, и вышедшие на улицу перекурить целинники, а их там было немало, оказались отрезанными от своих. И, не давая опомниться, дружно навалились на приезжих взвинченные долгим ожиданием боевого клича местные парни.

Если для гостей эта потасовка была проверкой их дружбы, скрепленной в долгой дороге, и давала шанс сразу же вырасти в глазах прекрасной половины Мартука, то для местных она означала куда больше. Никогда еще приезжие не брали верх в поселке, никогда пришлые не диктовали своих законов на танцах. К тому же, сейчас они все вместе выступали против «чужих», позабыв на время свои

старые счеты. Да и кто их осудит за негостеприимство, если у них был аргумент, казавшийся убедительным даже для суда: «Толкаются и не извиняются. И где? На танцах!»

В эти минуты они считали себя защитниками каких-то жизненных устоев, чего-то святого, доставшегося им в наследство от многих поколений села.

Если на улице все решилось скоро, то в зале ситуация менялась с каждой минутой. Гости, несколько растерявшиеся вначале от стремительного и яростного нападения, быстро пришли в себя. К тому же, у них нашелся главарь, невысокий крепыш в вельветовой курточке на молниях, который кричал что-то на непонятном языке. Он же, мгновенно оценив обстановку, выделил наметанным глазом среди местных самых отчаянных драчунов и кинул против них лучшие силы. А сам с приятелями ринулся на штурм двери, потому что чувствовал, что там, на улице, его друзьям приходится туго. Он смекнул, что стоит кому-нибудь добежать до постоялого двора и поднять оставшихся там целинников, то с этими, навалившимися, словно саранча, парнями, можно было разделаться за пять минут.

Но об этом догадались и местные, и дверь прикрывала Татарка — на сегодняшний день гвардия Мартука. Хотя гости видели единую стену против себя, на самом деле все обстояло далеко не так. Местные держались своими компаниями, и слабеющая у двери Татарка считала ниже своего достоинства кликнуть на помощь Станцию.

И вдруг на весь зал, перекрыв музыку, раздался голос Алика Штайгера, закадычного дружка Каримова:

— Да кликните вы Арслана из кино!

— Я здесь! — отозвался неожиданно в другом конце зала Арслан.— Держись!

Он сумел пробиться в зал через комнату киномеханика. На ходу швырнув девушкам пиджак, он взглядом выхватил из толпы соседа, еще донашивавшего матросскую форму, и крикнул ему:

— Жоламан, прикрой меня сзади!

Жоламан, со скучающим видом наблюдавший за залом,— отслужившие парни редко ввязывались в потасовку,— словно только и ждал сигнала, кинулся за Арсланом в самую гущу. Вмиг ситуация в зале изменилась: круша налево и направо, Арслан рвался на помощь своей гвардии.

Крепыш в вельветовой куртке, заметив, что этот рослый парень в красной рубашке внес перелом в драку, кликнув подмогу, бросился



навстречу Арслану. Оттеснив Жоламана, они взяли Арслана в кольцо, но он в мгновение раскидал окруживших. И когда мощным ударом он сбил с ног и крепыша, раздался испуганный девичий крик:

— Лев, нож!

Арслан резко обернулся. Щеголь, из-за которого началась заваруха, и которого он только что дважды сбивал к ногам визжавших девушек, поднимался с пола, выхватив из-за голенища нож. С наливыми кровью глазами в неожиданно возникшей тишине он двинулся на Арслана. Кто-то из целинников с криком: «Казбек, не надо!» — кинулся к нему, но тот остановил его резким взмахом ножа. Этого мгновения для Арслана было достаточно: никто и разглядеть не успел, как огнем мелькнула красная рубашка, и Арслан своей крепкой пятерней уже ломал запястье хрипевшему от злобы Казбеку.

Нож в честной драке! Это было пределом терпения для степенных, уже отслуживших парней Мартука, и они, как по команде, оставив своих невест и молодых жен, ввязались в ослабевшую на миг потасовку. Теперь Арслан сам распахнул дверь, и драка выплеснулась на простор. Но это уже была не драка. То было позорное изгнание гостей. Под свист, улюлюканье, возбужденные крики приезжих гнали по улицам поселка.

На сонном постоялом дворе как по тревоге зажглись огни, распахнулись многочисленные двери, где-то в глубине двора затрещала внутренняя ограда, как вдруг на порог, в нижней рубахе, с тяжелым винчестером в руках, выскочил хромой Махсум.

Он щелкнул затвором и, обращаясь в темноту, за ограду, крикнул:

— Это мои гости, и я пристрелю любого, кто сделает хоть шаг во двор. Ты слышишь меня, Арслан?

— Я здесь, Махсум-абы,— и Арслан направился к калитке.

Несколько сильных электрических фонариков со двора тут же скрестили на нем свои лучи. Он стоял на тонком ледке мартовской лужи, высокий и стройный, в распахнутой на груди, без единой пуговицы, красной рубахе, и в руке у него поблескивал нож.

— Возьми! — Нож, просвистев в воздухе, упал у ног хозяина постоялого двора.— Махсум-абы, ты знаешь: поднявшему нож в драке жизни у нас не будет, этот закон придумал не я. Такого гостя не убе-речь даже тебе с твоим винчестером. Мы готовы забыть случившееся и жить с твоими гостями в дружбе, знаем, зачем они приехали. Наше условие: завтра Казбека не должно быть здесь, мы отпускаем его с миром.— Арслан повернулся к своим: — Верните им вещи.

И за ограду полетели пальто, полушубки, бушлаты, шапки, папахи, «забытые» приезжими в гардеробе.

Хромой Махсум опустил винчестер и поднял нож.

— Арслан, слово мое ты знаешь. Казбека завтра здесь не будет, а сейчас быстро расходитесь, ни вам, ни мне, ни, тем более, Казбеку милиция не нужна.

Минут через пять постоялый двор снова погрузился во мрак...

...Конечно, возвратившись теперь в Мартук, Арслан не мог не припомнить эту драку, и постоялый двор Махсума, и целинников, потому что с целиной были связаны его первые взрослые радости и его позор, который все эти годы гнал его все дальше и дальше от отчего порога...

...С целинниками они помирились на другой же день и пили мировую — щедро поставленный хозяином самогон: хромой Махсум был большой дипломат в подобных делах.

Мартук, не изобилующий работой, не избалованный заработками, с первых дней понял, что целина принесла в бедные степные края надежду на лучшую, сытую жизнь. Даже то, что поселок стал перевалочной базой для новых совхозов, сразу дало работу сотням мужчин на грузовом дворе станции. В самом Мартуке спешно ставили сборные финские дома: от зари до зари строили учебный комбинат для механизаторов. В еще не достроенном здании открыли годичные курсы для шоферов.

В первую группу отбирали почти как сейчас в отряд космонавтов, желающих было хоть отбавляй. За учебу еще и стипендию платили, — событие невиданное в здешних местах, а новенькие машины прибывали чуть ли не каждую неделю. Водители нужны были позарез, дела только разворачивались. Арслану повезло: он был единственным из местных, кто попал в первую группу. Тогда не было ни ускоренных курсов, ни укороченных программ, знали, что целина — это основательно и надолго, поэтому и будущих шоферов готовили соответственно. С утра до вечера то теория, то практика, а потом до поздней ночи они спорили, проверяли свои знания, заглядывая в нутро каждой машины, прибывающей на постой.

Весной, ближе к окончанию курсов, Арслан сдружился с первым учеником группы Семеном Шульгой. Шульга был старше Арслана, уже два года как отслужил армию. Дружба сложилась как-то незаметно. Семен, человек скрытный, нелюдимый, Арслана почему-то привлекал, никогда не отказывал ни в советах, ни в помощи, а к концу учебы их только вдвоем и видели.



— Водить машину и дурак сумеет, а знать ее не каждому дано, — часто говорил Семен Каримову и заставлял его десятки раз разбирать и собирать двигатель, насосы, учил делать многое в темноте на ощупь и при этом часто заговорщически приговаривал: — У нас будет дальняя дорога и ночь хоть глаз выколи.

Когда до выпуска осталось два дня и заветные водительские права заполнялись в районном ГАИ, Шульга пришел к Арслану домой с увесистым свертком. В свертке оказалась водка и богатая по тем голодным временам закуска. До самого вечера они просидели с Арсланом вдвоем во дворе, за столом, который сколотил летом отец.

После первого же стакана Семен выложил, что и дня не собирается работать на целине шофером, сказал: пусть грязь в степи месят за гроши другие. С такой выучкой и с правами в кармане и черт, мол, не страшен, и что в стране так много дорог, где хорошему шоферу заработать большие деньги — раз плюнуть.

Говорил, что давно приглядывал себе напарника, и с таким орлом, как Арслан, они нигде не пропадут. Семен расписывал захмелевшему парню про дальние и интересные дороги, тысячекилометровые тракты, мощные машины, веселую жизнь и большие города. Говорил, что в Мартуке Арслан ничего в жизни не видел, и, если останется, так ничего и не увидит. Клялся, что на Севере уже к весне они заработают уйму денег, оденутся и с шиком покатят в мягком вагоне в Сочи, к морю, гульнуть пару месяцев, а там, осенью, Арслану и в армию срок подойдет.

В день выпуска, поздно ночью, с одним чемоданчиком на двоих, крадучись, словно воры, тайком покидали они двор хромого Махсума, где целый год стоял на постое Шульга.

Конечно, Арслан был уже не мальчишка, чтобы не понимать, что поступает подло и предает большое дело. А он-то знал: трусости и предательству в Мартуке нет прощения. Тем более, прощения не могло быть ему, любимцу и жожаку села.

Спеша на вокзал, они то и дело затаивались в тени сараев, боясь нарваться на друзей или знакомых. Дрожа от волнения и стыда, Арслан уже тогда сознавал, как ославит Татарку, каким позором покроет свое имя, свой дом, как много лет нужно будет, чтобы забылась эта гнусная история.

«Подлец... мерзавец... сволочь... трус... негодяй!..» — в ночной тиши он слышал, как бросают эти гневные слова, словно тяжелые камни, в его удаляющуюся спину друзья. А то вдруг поток брани пре-

рывался сердечным девичьим криком: «Что ты делаешь?.. Арслан, милый, Лев мой бесстрашный, остановись...»

Но не хватило тогда у Арслана сил ни отвергнуть брань, ни откликнуться на сердечный призыв — лживые посулы Шульги оказались притягательнее; ему тогда и впрямь казалось, что он достоин более яркой, веселой жизни, чем прозябание в Мартуке, небогатом, затерянном в степи селе...

...Неожиданно наплывшие ночные тучи скрыли луну, и в комнате стало темно, словно погасили свет. Но долгожданная темнота не принесла покоя, Арслан по-прежнему продолжал вышагивать из угла в угол. Потом, не раздеваясь, прилег на разобранную кровать, и мысли снова улетели к тем давним дням, и все припомнилось до мелочей, как будто это было вчера.

Арслан вспомнил и первую машину на Севере, и первые свои рейсы. Шоферская жизнь тяжела повсюду, а на Севере вдвойне, но выучка у них была отменная, их и готовили к особым условиям — бездорожью, ненастью, учили надеяться на себя, это и выручало. Да и себя они в обиду не давали — ни начальству, ни своему брату-шоферу. Чуть что не так — сразу заявление в отдел кадров, не желаем, мол, и все. А кто же отпустит сразу двух классных водителей, непьющих, холостых, к тому же в работе толк знающих, поэтому и любые машины им были — на выбор, и рейсы — самые выгодные. В общем, все катилось, как Шульга и предсказывал: и дальние дороги были, и большие города встречались, и деньги шли. Об одном сокрушался Шульга, что придется на три года расстаться, служба есть служба, от нее никуда не деться — мужская доля, судьба. И все разговоры в долгом и трудном пути у них были о Сочи, где они гульнут на прощание властью, забудут холод и ветер колымских трасс и тесноту ее тесных гостиниц. Они уже и светлыми костюмами из тонкого габардина обзавелись, и по дюжине шелковых сорочек прикупили к ним, и решили, что там, прямо в Сочи, Арслан и заявится в военкомат.

Но вышло все иначе... За месяц до намеченного отъезда к морю Шульга сбежал, прихватив совместные сбережения и габардиновые костюмы с шелковыми сорочками вместе.

Даже сейчас Арслан ощутил, как лютовал тогда в общежитии, словно раненый лев, и, конечно, не о потерянных деньгах и габардиновом костюме жалел. Предал Семен! Предал его, Арслана, того, кто пошел за ним на край света. Даже собирался уволиться утром и укатить от позора куда-нибудь подальше. Хотя и не знал, куда еще дальше,



но удержали, не отпустили; отсюда с двумя парнями с автобазы и в армию пошел, и проводили его не менее торжественно и шумно, чем сулил его бывший дружок, а отныне заклятый враг Семка Шульга.

От службы в армии на всю жизнь осталось ощущение постоянного ожидания: письма, весточки. Получали все, кроме него. Да и от кого ему было их получать, от Шульги?

Мать он никогда не помнил ни с карандашом, ни с газетой или книжкой в руках, она была неграмотная. К тому же и говорить по-русски не умела, не то что писать. Отец, он, конечно, был грамотный, даже в сельскохозяйственной академии смолоду учился, да война прервала учебу. А после войны у отца все наперекосяк пошло: коновалил так, без диплома. На единственное письмо Арслана отец ответил короткой и злой запиской, то ли не в духе был, то ли сильно пьян, то ли обида его действительно глубока была. Отец писал, что всегда мучился, зная, что Арслан, его единственный сын, не любит его, считает неудачником, пьяницей, стыдится и сторонится его. А каково же ему теперь, когда каждый сопляк в Мартуке показывает на него пальцем и говорит — это вот, мол, отец того Льва, что сбежал, не отработав долги. Заканчивалась записка запомнившейся на всю жизнь фразой: «Уж лучше бы ты пил, как я, чем предал дело и опозорил дом».

Позже он еще раза два получал от отца письма, но уже никогда больше домой не писал. Наверное, нашлась в Мартуке не одна девушка, которая бы откликнулась на его солдатское послание, но ведь не минешь, не обойдешь не в первом, так во втором письме ту летнюю ночь, когда, таясь за сараями, драпал он с Шульгой. Он не ждал писем — он служил... В десантные войска слабых и малодушных не берут, но даже среди лихих сверстников Арслан выделялся: и прыгал первым, и из огня последним выходил, командиры его всегда в пример ставили. Хотел забыться, честной службой искупить вину свою хоть бы перед самим собой, но нет, не выходило, так с болью и прошли три года. Перед самой демобилизацией и пришла на ум отчаянная мысль найти, отыскать Шульгу, свести с ним счеты.

Почти четыре года колесил Арслан по стране, надеясь наткнуться на Семена, но тот словно в воду канул, а, кажется, ведь верно шел: на самых денежных трассах перебивал, даже Мангышлак вдоль и поперек изъездил. И однажды в дальнем рейсе он вдруг осознал, что дело-то не в Шульге вовсе, а в нем самом. Шульга, тот ведь не поймёт его мести, не оценит даже четырехлетних упорных поисков, решит, что за деньги, за габардиновый костюм...

Эта мысль принесла облегчение, сняла с души многолетнюю тяжесть: ведь повстречайся Шульга, нетрудно представить, чем могло это все кончиться. И он, словно дохлую кошку за забор, выкинул Шульгу из памяти напрочь.

Арслан подался на Дальний Восток, потому что в разъездах любил просторы, размах, дальние дороги, когда в один конец — месяц пути. Даже в Монголию, в самые глухие аймаки с дальнобойщиками ходил. Казалось, все утряслось, улеглось и наладилась новая жизнь, даже влюбился, и дело к свадьбе шло. Нареченная, бойкая красивая буфетчица из чайной при таежной трассе, считай, сама выглядела Арслана. Сама справлялась на автобазе, когда из рейса прибывает, сколько дней ему отдыхать положено. И зря времени в эти дни не теряла. Обедать придет — за самый чистый стол усадит и самое вкусное подаст, и бутылочным пивом, завозимым раз в месяц, непременно угостит. А уж потом попросит помочь переставить ящики в кладовке и ненароком то плечом, то бедром заденет, то невзначай прижмется к неразговорчивому Арслану. А уж если на танцы или в кино придет, платье на ней самое модное, сидит как влитое, парни глаз отвести не могут. Не устоял и Арслан, влюбился, да и хороша она была, и относила к нему как никто другой в его суровой жизни.

На день рождения подарила она ему меховую душегрейку и сказала, чтобы держал себя в тепле, потому что всегда хочет видеть его крепким и здоровым. Это очень тронуло тогда очерстневшего сердцем Арслана.

Правда, в поселке да и на трассе всякое о ней болтали, гулена, мол, вертихвостка, но он не придавал этому значения: шоферы — народ не особенно щедрый на доброе слово.

Когда наметили они срок свадьбы и жили уже как муж и жена (Арслан в общежитии только для порядка числился), дошло до него, что к Дуняшке его еще один чернявый, похожий на него, парень похаживает. Не поверил, ни слова ей не сказал.

Однажды до срока вернулся с трассы и сразу к ней, соскучился. Чайная была закрыта на перерыв, и он, как всегда, постучался с черного хода раз, другой... Тогда, недолго раздумывая, с разбегу вышиб дверь и влетел прямо к ногам милующихся. Не успел он вскочить, как тот хахаль поддал его сапогом в бок, а когда поднимался, еще и кулаком в лицо двинул, но Арслан устоял на ногах.

И такая злоба взяла Каримова — не высказать, да еще Дуняшка тут визжала что-то о казенном имуществе, наверное, дверь имела в виду. А потом, забыв про казенное, орала уже на всю улицу:



— Не имеешь права! Не имеешь права на женщину трудящуюся руку поднимать! Свободная я! Равноправная! Где штамп? Где регистрация? Покажи! Молчишь? Значит, нет правов!

Имел он право или не имел, времени раздумывать не было. И когда Дуняшка, помогая своему хахалю, вцепилась ему в волосы, Арслан так отшвырнул ее, что она, вылетев на улицу с задранной подошмой, попала прямо в мартовскую раскисшую лужу. За чайной в тени кедровника стояла колонна из пяти машин, шоферы, видно, поджидали миловавшегося бригадира. Услышав шум, они поспешили на помощь товарищу. Арслан не дрался по-настоящему, пожалуй, лет десять, но зато за эти годы окреп, возмужал.

С обидчиком своим он справился быстро, тот уже лежал в соленой луже среди сельдей из опрокинутой в толчее бочке. Драка всерьез началась, как только ввязались дружки бригадира. Разом навалиться на Арслана они не могли, слишком уж тесна была подсобка, а двое или даже трое для Арслана с его прошлым опытом ничего не значили. На беду один из шоферов кинулся на Арслана с железной монтировкой, но ударить не сумел, и Арслан тут же перехватил ее, уж погуляла монтировка по спинам нападавших. В тот день только двое из колонны уехали своим ходом, а остальные попали в больницу. Две недели машины с грузом стояли в больничном дворе. А Арслан, уплатив за разгром в чайной (Дуняшка постаралась составить актик подлиннее), вместо бракосочетания и намеченного свадебного путешествия (опять же, по иронии судьбы, в Сочи — дались же они ему!) попал на два года в тюрьму за злостное хулиганство.

Припомнилась ему и тюрьма. Это там через три месяца по всесоюзному розыску отыскало его извещение сельсовета Мартука, где сообщалось, что его родители Фаузия Салахиевна и Мубарак Ахметович Каримовы умерли почти одновременно в январе месяце, и что теперь он, единственный сын и наследник, является домовладельцем по адресу Базарная, 16.

Только из этой официальной бумаги он узнал, как величали по отчеству отца и мать. Лишь там, в неволе, держа в руках эту официальную справку, он понял, что наделал, что потерял в жизни, и ему до озноба захотелось домой, в Мартук, хоть на час. Будь он на свободе, тут и наступил бы конец его скитаниям, да, видно, не судьба. С месяц он не находил себе места, даже побег замыслил, но удержали его, не дали совершить еще одну, очередную, глупость.

Прошло время, улеглась и эта боль. В тюрьме произошло с ним странное — он охладел к машинам. Нет, он не связывал это с тем, что машины и дороги не принесли ему в жизни счастья и покоя, просто остыл, не лежала больше душа — и все. Работая на стройке, он вдруг обнаружил, что и мастерок каменщика, и кельма штукатура ему по руке, а топор и рубанок, если еще и хороший материал попадется, заставляли его забывать обо всех горестях жизни.

Они работали вместе с гражданскими, и прорабы, узнав, что у Каримова заканчивается срок, приглашали его в бригады и квартиру в течение года обещали, но Арслану не хотелось начинать новую жизнь в том городе, где был в заключении, хотя и знал, что вряд ли где еще предложат такие условия.

Потом он работал на стройках, опять на Севере — ему нравились большие стройки: здесь он встречал в великом множестве людей, подобных себе, с не очень складной биографией, и поэтому не нужно было объяснять, почему без семьи, почему в общегити, без бесконечных «почему?», возникших бы в любом другом месте, но не на громадной стройке.

Но однажды он увидел по телевизору передачу о Средней Азии, об Узбекистане. Показывали удивительные города, где текла тихая размеренная жизнь; где глубокая старина мирно соседствовала с современностью; неправдоподобно уютные, в тени чинар, чайханы, где старики вели неторопливые беседы или играли в шахматы. Каримову показалось, что он слышит шум арыков, ощущает запах тлеющего самоварного угля, улавливает далекие призывные звуки карнаев...

Недолго думая, он засобирался в дорогу — в той передаче рассказывали и о новостройках Узбекистана. В первый раз с грустной улыбкой он отметил, что в его положении перекасти-поля есть и свои преимущества, чемодан в руки — и все дела.

В Средней Азии он часто менял место жительства, кочуя из республики в республику. Стройки здесь, конечно, не имели сибирского размаха, к тому же, он искал город, где намеревался осесть окончательно.

Так он очутился в Газгане, небольшом городке, где был мраморный карьер. Как раз перед его приездом здесь получили крупный заказ на поставку плит для облицовки ташкентского метро. И городок, и работа Каримову сразу пришлись по душе.

Первый учитель Арслана, старый каменотес Юлдаш-ака, сказал уже через месяц: «Будешь каменотесом», — и объяснил, что в их деле



сразу видно, выйдет из человека толк или нет, а у него, мол, и рука твердая, и глаз верный.

В Газгане часто и подолгу жили скульпторы, одни месяцами искали нужный материал для работы, другие работали прямо здесь. Арслан быстро сошелся с ними и долгие вечера коротал у кого-нибудь в мастерской или в чайхане. Скульпторы оценили умение Арслана работать с камнем и часто просили выделить им в помощь Каримова. По натуре малоразговорчивый, Арслан в этой компании образованных, знающих свое дело людей и вовсе молчал, но ему доставляло огромное удовольствие просто слушать их, сидя где-нибудь в уголке. Намаявшись за день, как и Арслан, они отдыхали по вечерам тихо и несуетливо: говорили о своих делах, о камне, о каких-то школах, течениях, выставках, упоминали фамилии, множество имен. Арслана притягивал этот иной, далекий от всей его прошедшей жизни мир, где ему никто не говорил «ты», где к нему были внимательны и, даже уехав, часто передавали ему приветы, а иногда и подарки — книги, альбомы, каталоги персональных выставок.

Юлдаш-ака не ошибся: Арслан научился обращаться с мрамором, как с живым человеком, так его учил старый мастер. Потому его не раз просили подобрать камень для надгробных плит. Обычно в таких случаях родственники приезжали прямо на карьер, и Арслан вместе с ними иногда несколько дней выбирал нужный материал. Он был терпелив, не навязывал своего мнения, умел слушать печальные истории, приведшие людей к могильному камню, наверное, поэтому еще ему поручали столь деликатное дело. Слушая о чужом горе, он удивлялся, как много и нелепо умирают, в общем-то, молодые еще люди, потому что часто заказывали памятники своим детям отцы или матери. Детям, наверное, все недосуг заняться столь хлопотливым делом — увековечить память о родителях. Конечно, наслушавшись грустных, полных скорби историй, высекая тяжелые надгробия, он не мог не вспомнить и о далеких могилах своих стариков. И мысль все чаще и чаще стала возвращать его в Мартук.

Как-то он поделился со своими новыми друзьями желанием сделать памятник и для своих родителей. Товарищи не просто одобрили его замысел: кто-то тут же принялся рассказывать о мусульманских надгробных камнях, потому что они объездили полмира, и это было частью их профессии. Через неделю ему привезли из Ташкента альбом, изданный в Стамбуле, с различными мусульманскими надгробиями. Помогли ему не только советами: одни подобрали текст, другие

соответствующую возрасту стариков строку из Корана. Самые большие споры шли как раз насчет этой строки, она должна быть ясной, рифмованной и, к тому же, переведенной на русский язык. Другие определили оптимальные размеры камня и его формы. Кто-то даже предложил сделать работу сообща, но Арслан, поблагодарив, отказался. Сказал, что попробует сам.

Месяца четыре он подбирал камень, но каждый раз друзья браковали его выбор, пока однажды, перед самым Новым годом, он не нашел две больших глыбы цвета червонного золота с редкими красными прожилками.

Работал он почти целый год. Конечно, ему помогали, советовали, но основную работу он все же сделал сам.

И теперь эти запоздалые проявления его любви и уважения к родителям, воплощенные в камне, шли контейнером и были уже где-то на подходе к родному селу. Вчера на вокзале областного центра у него вновь явился страх перед Мартуком, и мелькнула мысль: не повернуть ли обратно? За контейнер он не беспокоился, потому что знал: мир не без добрых людей, вскрыет не востребованный контейнер комиссия, созданная по такому случаю, и, увидев могильные камни, конечно же, установит их на место. На худой конец, можно было бы отправить письмо в сельсовет и деньги перечислить за хлопоты...

Но сейчас, в ночной тиши постоялого двора, Каримов был рад, что не повернул от родного порога, хотя и понимал теперь, что радости от запоздало выполненного долга, как мечтал там, в Газгане, у него не будет. Не будет никогда...

Если до возвращения, до этой бессонной ночи он считал, что ценой давнего предательства стала только его поломанная жизнь, то вид запустевшего родного дома, заросшей и одичавшей вокруг дома земли привел его к мысли, что потери тут куда больше и страшнее...

Потихоньку подкрался рассвет, и Арслан представил, как уныла и печальна, наверное, его усадьба днем. Подумал и о том, что сегодня, вероятно, натолкнется на улице на старых знакомых, друзей, увидит женщин, одна из которых когда-то могла бы стать его женой, увидит детей их, и они вновь напомнят ему, как долго он скитался по свету.

Неожиданно всплыли в памяти слова Юлдаша-ака: «Молодой, сильный, настоящий Арслан, а живешь как кукушка — ни дома, ни семьи...»

Ни дома, ни семьи... Арслан резко поднялся и прошелся по комнате. В углу, у зеркала, он задержался. Из пыльного трюмо на него

*М*

смотрел еще молодой, сильный на вид мужчина, только усталые, грустные глаза и седые виски выдавали в нем много повидавшего человека.

— Ну что, начнем сначала? — спросил он у своего изображения и, не дожидаясь ответа, резко отвернулся и пошел к двери, на улицу.

Секунду он помедлил на безлюдном дворе и вдруг, торопясь, словно опаздывая, заспешил переулками к своему дому.

Выгонявшие коров в стадо хозяйки видели, как у заброшенного дома на Базарной какой-то человек спозаранку срывал с окон заколоченные крест-накрест горбыли, да так, что треск слышен был за квартал.

Собравшись на перекрестке, забыв про своих коров, они шушукались, кто бы это мог быть.

Только одна молодая женщина, взглядевшись повнимательнее, удивленно вскрикнула:

— Арслан! Арслан... Лев вернулся.

*Май 1979*

# Далеких лет далекие обиды

Автобиографический рассказ

**Я** обратил внимание на одну закономерность: у писателей-мужчин, если они пишут о романтических связях в юности, чаще всего получается, что за ними — одни успехи, победы. Так не бывает в жизни, у любого мужчины сердечных ран гораздо больше, чем побед. Справедливости ради надо показать и свои поражения, когда и мы, юноши, уходили не солоно хлебавши. Хотя сегодня, с высоты прожитых лет, даже поражения, неудачи в отношениях с девушками в юности воспринимаются тепло, с грустью — как прекрасно, что это случилось в твоей жизни! Любые воспоминания, сны о молодости греют душу. Расскажу и я об одном своем «поражении» в юности, которое я с нежностью вспоминаю много-много лет.

Зимой 1958 года на студенческих каникулах мой друг, Роберт Тлеумухамедов, познакомился с выпускницей мединститута красавицей-брюнеткой Юлией, имя это тогда встречалось редко и было популярно. Особенно значимо оно оказалось для Роберта. Почему? Потому что в то время звучала модная джазовая композиция Александра Цфасмана «Юлия», где Роберт исполнял соло на ударных инструментах.

В молодости все проходит ярко, стремительно, в новое увлечение кидаешься без оглядки, без тормозов. Так — бурно, страстно стал развиваться роман и у Роберта с Юлией. В один из февральских вече-



ров, когда у нас неделями бушевала пурга, Юлия пригласила Роберта на свой день рождения. Сказала, что гостями будут ее подружки — выпускницы, без пяти минут врачи, и их поклонники, ребята гораздо старше Роберта. На вопрос Роберта — кто они? — Юлия туманно ответила, что ребята не актюбинские и приедут из другого города. Роберту не нравилась затея гулять с незнакомыми парнями, но и отказать отметить день рождения своей девушки он тоже не мог. Тогда он предложил Юлии прийти на день рождения с другом, то есть со мной, Юлия не возражала, видимо, ей очень хотелось встретить праздник с Робертом. Тут надо обязательно указать существенные для этого сюжета детали: мы с Робертом в ту зиму — студенты всего лишь третьего курса техникума, мне неполных семнадцать лет, Роберту только исполнилось девятнадцать, хотя он выглядел гораздо старше. Оба мы среднего роста, я к тому же худенький, боксировал в наилегчайшем весе, одни крупные глаза на бледном лице.

В назначенный день, минута в минуту, мы пришли на улицу Байганина в большой особняк рядом с базаром, которому недавно исполнилось сто лет. Кстати, дом этот цел до сих пор, хотя сильно осел и обветшал. Нас встретили радушно, провели в зал, где были уже накрыты столы, и тихо играла музыка. Девушка за роялем поздоровалась с нами улыбкой и кивком головы и продолжила играть что-то миорное. Юлия, заметив наш взгляд, потянувшийся к богато накрытым и красиво сервированным столам, предупредила — сядем за стол все вместе, ребята должны подъехать с минуты на минуту.

Девушек оказалось семь, не считая Юлии, значит, компания собиралась большая, человек двадцать. За окном мела, выла метель, а в доме у базара было тепло, уютно, красиво, празднично, от девушек исходил дивный аромат незнакомых нам роскошных духов. У нас с Робертом от всей атмосферы, от предчувствия праздника голова шла кругом, рядом восемь красавиц, одна краше, изысканнее другой! И нам они уделяли такое внимание, такое расположение, такую добросердечность, какие мы до сих пор никогда не ощущали по отношению к нашим заурядным персонам. Какой цветник, какой гарем,— только и успел шепнуть мне на ухо взволнованный Роберт. Прошли полчаса, час — долгожданных гостей все еще не было. Девушка оставила рояль и, включив радиолу, пригласила меня танцевать, Юлия с Робертом поддержали нас. Прошло еще полчаса, и девушки время от времени по очереди, накинув пальто, стали выбегать на улицу с фонарем — может, гости не могли отыскать в пурге дом, хотя он и сиял

огнями всех комнат. Но все было напрасно. Светские разговоры, музыка, танцы уже не могли скрыть тревоги за ночных гостей. И тут впервые за долгий вечер мы услышали, что гости могли застрять в дороге из-за пурги, метели, густой снежной пелены, стоящей в степи. Прозвучало и название местечка — Кенкияк, вот откуда, оказывается, ждали девушки своих женихов. Нам название ничего не говорило, мы думали, что парни будут из Оренбурга, Илецка или Ак-Булака — это недалеко от Актюбинска. Сегодня Кенкияк, или, точнее, — нефтяной район Кенкияк, известен всему миру. Прошел еще час, девушки уже не скрывали тревоги на лицах и уже не выбегали с фонарем на улицу, но ни в какие детали нас с Робертом не посвящали. Хотя мы понимали, что ребята пробиваются в город по степи, по бездорожью, в лютый холод, буран. Мы мысленно желали им удачи, уж очень жалко было глядеть на лица девушек, на именинницу. Наверное, от передавшегося от девушек волнения мы с Робертом стали невольно поглядывать на накрытые столы, они вызывали большой аппетит, особенно запеченный в духовке целый поросенок, такое мы с Робертом видели впервые. И тут Юлия, на правах хозяйки дома и именинницы, с отчаянным весельем скомандовала: «Все за стол, и начнем отмечать мой день рождения! Если приедут, они нас поймут, мы стойко ждали четыре часа». В это время высокие напольные часы красного дерева глухо и беспристрастно отбили одиннадцать вечера. Мы сели за крайний стол, открыли шампанское, Роберт сказал тост в честь Юлии, который он репетировал целых два дня, и вечер начался. Затем тепло, с юмором Юлию поздравили подруги, кто-то даже в стихах, что вызвало шквал аплодисментов, и вечер стал приобретать веселые очертания, посыпались шутки, остроты, экспромты. Потом вдруг все внимание перекинулось на нас с Робертом, стали и в шутку, и всерьез строить варианты, как нас справедливо распределить на все танцы с девушками, чтобы ни одна не осталась без внимания. Предлагали и жребий тянуть, или нам самим установить справедливую очередь, или крутить бутылочку и советовали при этом еще и поцеловать свою избранницу — в общем, смутили нас с Робертом до основания. И все это тактично, с блеском, с остроумием — таких девушек мы с Робертом еще никогда не встречали. Наверное, они отчаянным весельем пытались спасти день рождения своей подруги.

Со мною рядом сидела та самая пианистка, что играла в начале вечера «Лунную сонату» Гленна Миллера, у нее оказалось редкое имя, никогда, ни в жизни, ни в литературе, я не встречал такого — Ая.



Это имя я уже использовал однажды в своем первом рассказе «Полустанок Самсона», написанном на спор в 1971 году. Ая, как мне казалось, откровеннее других любезничала со мной, проявляла ко мне явное внимание, рьяно отсекала попытки других сблизиться со мною. Я с ней стал чаще танцевать, что, как ни странно, не вызвало протестов, даже шуточных, за меня отдувался Роберт, причем делал он это с большим удовольствием. Когда Ая уходила на кухню, чтобы что-то принести, или спешила в темную прохладную прихожую покутить, я тут же увязывался за нею. Красная пачка роскошных по тому времени дамских сигарет «Фемина», что она держала в руках вместе с зажигалкой, так и осталась нераспечатанной — мы страстно целовались и обнимались. И она шептала мне какие-то ласковые слова, которых я никогда прежде не слышал, хотя наивно считал себя бывалым парнем. После каждого нашего уединения в прихожей, которые становились все чаще и чаще, Роберт мне загадочно подмигивал. Взгляд его говорил одно — молодец, какую деваху отхватил!

В разгар наших с Аей страстей Юлия попросила всех снова за стол, который незаметно обновили и положили свежие приборы. И в этот момент, когда мы уже рассаживались, а часы на полу отбили час пополуночи, сразу в три окна с улицы весело затарабанили. Всех девушек в мгновение ока вынесло из-за стола, и они с радостным визгом, счастливым смехом кинулись не в прихожую, а прямо на улицу, в буран, в вечерних платьях. Такого единого искреннего порыва за свои долгие годы я не встречал не только в жизни, но и в кинематографе. Столь яркая, эффектная, берущая за душу сцена до сих пор стоит у меня перед глазами, когда я бываю на Байганина или на актюбинском базаре. За столом мы с Робертом остались одни, не понимая — грустить нам или радоваться. Прошло минут пять, а, может, пятнадцать, мы вышли из-за стола и встали возле радиолы. Сесть в глубокие кожаные кресла под бронзовым торшером мы не решились, уж слишком выстраданной оказалась встреча долгожданных гостей. Мы слышали радостный смех, счастливые голоса наших прекрасных девушек, застуженные басы крепких мужчин в прихожей и в соседней просторной комнате, где гостей раздевали, обхаживали, прихорашивали. Мы с Робертом поняли, что нам там сейчас не место, и терпеливо ждали появления мужской половины в большом зале рядом с накрытыми столами. Мы оба искренне радовались и тому, что гости не пропали в буране, и тому, что девушки дождались своих парней, и тому, что поросенок лежал на главном столе целехонький.

А ведь Юлия предлагала его разделать, но Роберт сказал, что у него рука не поднимается губить такой кулинарный шедевр.

Появились они в зале как-то разом, словно не было двери, задрапированной тяжелыми бархатными шторами вишневого цвета с золотыми кистями по моде тех лет — впереди семь рослых молодых мужчин, а сзади и по бокам все наши восемь красавиц, включая Юлию. Удивительно, зал не уменьшился, не стал тесным из-за возникшего многолюдья, а наоборот, вроде и потолки стали выше, и стены раздвинулись, и ярче запылали люстры. Наверное, этот пространственный и световой эффект возник от радостных, счастливых лиц девушек, от белозубых искренних улыбок мужчин, понявших, прочувствовавших сердцем, с какой любовью и тревогой ждали их в этом доме. Девушки весьма церемонно представили нас друг другу. Гости тепло поздоровались, назвали, но я сразу понял, что они приняли меня с Робертом за младших братьев или племянников очаровательных девушек, короче, за подростков.

Наверное, следует чуть шире представить гостей, кого же все-таки ждали с таким волнением и любовью наши новые очаровательные знакомые. Я для этой цели, для контраста в начале сцены объявил наши с Робертом личные данные. Все семеро оказались выпускниками Бакинского нефтяного института, работали в Кенкияке уже полтора года. Все, как на подбор, рослые, а в то время высокие парни были наперечет, акселерация началась в СССР только лет через пятнадцать. Все — бывшие спортсмены, хорошо сложенные, плечистые, лет по двадцать пять-двадцать семь, в общем, женихи на загляденье. Удивительная деталь, все семеро — с усами, усарых в Актюбинске в те годы не помню. Гости оказались коренными бакинцами, невероятно влюбленными в свой удивительный город. Азербайджанцем среди них был один, по имени Октай, я запомнил его имя только потому, что спустя пять-шесть лет буду дружить с Октаем Агаевым, знаменитым певцом из Государственного эстрадного оркестра Азербайджана под управлением композитора Рауфа Гаджиева, в те годы там же работал самый известный джазовый аранжировщик Анатолий Кальварский. Двое — армяне, в ту пору треть Баку составляли армяне, двое — таты, горские евреи, двое — русские, в общем, полный интернационал, как они представились сами. Марк, увидев раскрытый рояль, тут же сыграл и спел популярное танго «Бакинские огни» композитора Тофика Кулиева, под эту музыку и стали рассаживаться за столами. Не могу не удержаться, чтобы не сказать банальнейшую



истину — в мире все связано теснейшим образом. В 1962 году я буду работать в Экибастузе, а в праздники по воскресеньям стану регулярно наезжать в Павлодар, где в гостинице «Иртыш» познакомлюсь с сыном композитора Тофика Кулиева — Адалятом, и нас будет долгие годы связывать дружба. Имя Адалята я тоже использовал в том же рассказе «Полустанок Самсона», где я обозначил и Аю.

Речь идет о 1958 годе, мы с Робертом в городе считались заметными стилистами, поэтому особенно придирчиво осмотрели, как были одеты нефтяники. Это позже, в 1964 году, я впервые побываю в Баку по приглашению джазменов из оркестра Рауфа Гаджиева и своего друга Адалята Кулиева и надолго запомню, что такое бакинские стиль, бакинская мода. Баку настолько поразил мое воображение в молодости, что я на всю жизнь запомнил фамилию его мэра — Лимберанский. Дети Лимберанского живут в Москве уже лет двадцать, и когда им передали мои слова восторга о Баку Лимберанского, которым он руководил почти тридцать лет, они были тронуты до слез. А я ведь человек городской, столичный, прожил в Ташкенте тридцать лет, но не могу назвать ни одного тамошнего яркого мэра. Могу только обнаружить вопиющий факт, когда десять лет назад мэрия Ташкента, решив построить для себя новое роскошное здание, местом для стройки выбрало... самый старинный парк столицы, разбитый еще в конце девятнадцатого века губернатором Кауфманом в центре города. Все советское время он назывался «Детский парк имени Горького». Через этот парк прошли десятки поколений ташкентцев, в нем были открыты в 20-х годах прошлого века первые в городе кинотеатры «Арс» и «Солей», там лет десять подряд в 60-х годах проходил фестиваль кино стран Азии и Африки. И этот огромный парк тихо упразднили, территорию огородили высочайшим забором и построили себе в тенистом саду помпезное здание. Теперь в ухоженных аллеях парка гуляют только городские чиновники. Какая вопиющая «забота» о горожанах, о детях!

Лимберанский натолкнул меня на мысль узнать побольше о мэрах любимых мною городов: Венеции, Ниццы, Лондона, Вены — оказывается, все они возглавляли мэрии больше двадцать лет. Я рад, что этот короткий, но горячо любимый мною список я могу пополнить фамилиями еще двух мэров близких моему сердцу городов. Я имею в виду Е. Н. Сагиндикова, при котором Актюбинск обрел яркие черты современного города, и Ю. М. Лужкова, при нем Москва похорошела до неузнаваемости.

Я не случайно отвлекся на бакинский стиль, бакинскую моду. На Кавказе во все времена умели одеваться, одежде, моде там всегда придавали значение. Кавказцы, особенно тбилисцы, бакинцы, ереванцы, считались заметными модниками и модницами в стране. Это с развалом СССР Кавказ оказался в нищете, и сегодня их невозможно представить законодателями мод. Сейчас, как я часто утверждаю, место Кавказа в моде заслуженно заняли казахи. В Казахстане бум моды, все крупные магазины в Европе заполнили казахи. Я рад, что в мире утверждается казахский стиль, стиль моих земляков

Баку, Тбилиси отличались замечательными портными, сапожниками. Знаменитый бакинец Мстислав Ростропович тоже упоминал в своих воспоминаниях о чародеях-портных Баку, могу засвидетельствовать и сам, я тоже заказывал там пару костюмов. Бакинский стиль означает классический, близкий к английскому — широкие мужские плечи, безупречный крой — слегка приталенный, и прекрасный пошив. Известные бакинские портные чаще всего были евреями, и весьма пожилыми, особенно закройщики. Немало работало там и известных армян, особенно модными считались репатрианты из Франции, Италии. Попастъ к ним можно было только по рекомендации, хотя, уверяю вас, цены были умеренные. Убил высокую моду на костюмы ручной работы импорт, он захлестнул страну в середине 60-х годов, а в 70-х французские, итальянские, английские костюмы оставили без работы даже самых знаменитых портных. Глядя на экипировку гостей, мы с Робертом поняли сразу, что они готовились к вечеру не менее тщательно, чем мы. На всех были вечерние костюмы: черные, темно-синие, серого цвета с неяркой полосой или выработкой — все, безусловно, сшитые на заказ и сидевшие на них как влитые, как в журналах мод. А на Марке, самом артистичном из гостей, еще не раз терзавшем рояль, был удлиненный двубортный темно-серый костюм с густо-черной, сажевой полосой, сильно приталенный, с узкими рукавами, из которых виднелись белоснежные манжеты с крупными серебряными запонками. Роберт, мгновенно вспомнивший своего любимого актера Хэмфри Богарта, сказал восхищенно — настоящий гангстерский костюм! Богарт часто играл крутых парней. Но, как бы нам ни нравились костюмы гостей, их белоснежные рубашки с высокими воротниками и шелковые галстуки, повязанные с небрежным изяществом, поразила нас их обувь. Напомню, что это был февраль 1958 года, импорта, даже из соцстран, мы еще не ждали, а нашу «скороходовскую» продукцию, не говоря



уже о местной, без слез не опишешь. А на ногах гостей, которые приехали в тяжелых унтах, сейчас красовалась шикарная, сшитая на заказ обувь из черной мягкой козлинки, некоторые с медными пряжками на боку, некоторые с высокой шелковой шнуровкой, на удобном каблучке. Кожаная подошва так приятно шуршала по деревянному полу в танце, не высказать. Глядя на такой парад обуви, мы с Робертом не знали, куда спрятать свои ноги. Я уже упоминал, что только на Кавказе жили великие сапожники, сейчас впервые воочию мы видели, какая шикарная обувь есть на свете.

Несмотря на долгую и тяжелую дорогу, от наших нефтяников исходила такая энергетика, что все вдруг понеслось со скоростью экспресса. Лидером у них в компании оказался тот же Марк в гангстерском костюме. Минут через пять все уже сидели за столом, у всех было налито в бокалы, фужеры, рюмки, печальный поросенок был ловко разделан и разнесен по тарелкам без остатка. Этим решительным человеком, не в пример Роберту, оказался Сергей, приехавший с гитарой. Первый тост в честь именинницы гости спели дружно хором, секстетом, как пояснил мне Роберт. И текст, и музыка понравились всем, на глаза Юлии даже набежали слезы волнения. Тамадой избрали Октяя, который почему-то время от времени очень нежно поглядывал на Аю, рядом с которой я поспешил занять место. С тамадой наш экспресс уже понесся с ракетной скоростью. Всем было радостно, весело, хорошо, а как светились лица, глаза девушек — не передать! Гости один за другим говорили тосты, которые мы никогда не слышали, мы с Робертом только переглядывались, думали — вот бы записать, нам бы в любом застолье не оказалось равных. Все говорилось с юмором, с подтекстом, иносказательно, с тайной, красиво, достойно, без грамма пошлости — через годы я понимаю, что мы с Робертом получали мастер-класс поведения за столом.

Неугомонный Марк часто срывался из-за стола за рояль и так замечательно играл и пел, что Роберт шепнул мне с завистью: «Зря он в нефтяники, в степь подался, он же настоящий артист. Смотри, как он лабает на незнакомом инструменте с ходу, а голос какой — заслушаешься, его бы любой оркестр с удовольствием взял». И мне Марк нравился, он и лидером оказался, и одет был со вкусом, лучше всех, и танцевал не хуже балерона, а уж говорил — хоть записывай за ним следом, все девушки, казалось, были в восторге от него. Как только Марк сел за рояль, несколько пар срывалось из-за стола танцевать, и все в зале быстро смешалось — одни танцевали, дру-

гие поднимали тосты и дружно закусывали, третьи откровенно любезничали. Всем было уютно, весело, радостно. Наверное, неуютно чувствовали себя только мы с Робертом. Я — потому что Октай-тамада не только продолжал нежно поглядывать на Аю, но и постоянно стал приглашать ее танцевать, и она не только охотно шла с ним, но и открыто любезничала, словно меня не было рядом, словно не видела, что я гляжу на нее во все глаза, а губы мои выразительно шепчут беззвучно — изменница, предательница, коварная...

Роберт приуныл, потому что привык быть в центре внимания, привык, чтобы прислушивались к каждому его слову, жесту, капризу, а тут выходило, что нас как бы и не было за столом, мы не могли даже вставить какую-нибудь удачную реплику, здесь говорили совсем иначе, не на нашем жаргонном сленге, нас окружали совершенно другие, взрослые люди с иным мировоззрением, с иными интересами, с высоким интеллектом. Понять это, оценить ситуацию нам хватило ума, хотя вслух между собой мы не затрагивали эту тему. Роберт приуныл еще и потому, что Юлию, как именинницу, приглашали танцевать чаще всех, и, конечно, не таясь говорили ей изысканные комплименты, выражали восторг ее красотой, новой прической, новым платьем, которое действительно было ей к лицу. Особое восхищение гостей вызывал и стол, уж тут Юлия с мамой очень расстарались. Такое внимание, подчеркнутое любезное отношение гостей, мужчин к Юлии не могло не вызвать у Роберта ревности, я-то хорошо знал его, он ревновал ее ко всем, кроме меня. Но я видел, что у каждого из гостей своя избранница, и никто из нефтяников не переступал границу в отношении Юлии, как поступала моя Ая, откровенно флиртовавшая с Октаем-тамадой. Разве только Марк, уж слишком любезно и внимательно другие он относился к имениннице. Хотя я не могу утверждать, что Марк увлекся Юлией, скорее всего, как человек рафинированной культуры, он отдавал ей должное как хозяйке дома, столь гостеприимно встретившей их, как имениннице, и, в конце концов, Юлия была в этот день очаровательна как никогда, так мне сказал сам Роберт. Короче, у Роберта обозначились свои проблемы, у меня свои. Мои дела становились с каждой минутой хуже и хуже, Ая уже пересела к Октаю за другой стол и, танцуя танго, откровенно клала руки ему на плечи, словно обнимала, так танго у нас в Актюбинске еще не танцевали. На первых же танцах во Дворце железнодорожников я повторил опыт Аи с Октаем, и у меня быстро, в тот же день, появились последователи. Хотя, глядя на Аю в тот вечер у Юлии, я думал, как пошло все это



выглядит со стороны. Конечно, я так думал от душившей меня ревности. На самом деле так могли танцевать только влюбленные.

Высокие тяжелые часы красного дерева, на циферблате которых латынью значилась марка «Мозер», к которым я от усталости и отчаяния притулился, отбили четыре часа ночи, значит, гости гуляли уже ровно три часа. А мне казалось, что прошел от силы час, так быстро бежало время в веселой компании, где умели развлекаться с блеском. Я осмотрелся и почему-то пересчитал всех девушек, все восемь были в зале, у всех от волнения и радости горели глаза, румянились щеки, и в их голосах, смехе не чувствовалось усталости, они были счастливы. Счастливы были, пожалуй, все, кроме меня с Робертом, но никто нас не замечал, никто не пытался нас утешить, мы были лишними на чужом пиру. Я лихорадочно думал, как бы мне вернуть расположение Аи, но ничего путного в голову не приходило, лезли одни печальные мысли, выходило, что за три последних часа я только однажды станцевал с Аей. С этим фактом смириться было трудно, да и не хотелось, упрямец я был еще тот, чистый татарин.

Пришла ненадолго и вполне разумная мысль — уйти потихоньку, по-английски, даже не распрощавшись ни с Робертом, ни с Юлией, все равно никто бы не заметил моего отсутствия. Но такой уход казался унижительным, оскорбительным для моего мужского достоинства. Возвращаться за стол мне не хотелось, пригласить кого-то на танец, на выбор, как было в начале вечера, у меня не имелось возможности, все пары, казалось, не желали расставаться ни на минуту. И я продолжал подпирать трофейные немецкие часы с изумительным бархатным боем, каким-то чудом попавшие в далекий Актюбинск. Можно было сказать, что я слился с этими роскошными часами, ни на них, ни на время, ни на их бой счастливые люди не обращали внимание. Хотя я, казалось, безучастно подпирал часы, я лихорадочно искал варианты выхода из унижительной для меня ситуации, а глазами невольно выискивал Аю. И вдруг наступил для меня момент удачи. Октай о чем-то оживленно стал говорить с Сергеем-гитаристом, а Ая, схватив со стола уже распечатанную пачку «Фемины» вместе с зажигалкой, решительно направилась в прихожую перекурить. Я мгновенно окинул пространство взглядом: все, включая Юлию и Роберта, находились в зале, и я, словно пантера, метнулся вслед за ней. Не успела Ая поднести огонек зажигалки к сигарете, как я в темноте обхватил ее за плечи и развернул к себе. Мой приход, как ни странно, оказался для нее неожиданным, она удивленно и разочаровано сказала: «Ах, это

ты?» Словно не было между нами три часа назад страстных объятий, жарких поцелуев, пьянящих голову сладких слов, я вмиг сник от такого равнодушия, растерял все жгучие слова, что заготовил для нее, подпирая «Мозер». Я почувствовал, что она сейчас развернется и уйдет в зал, и попытался поцеловать ее, но она ловко отстранила меня и устало сказала: «Успокойся, мальчик, поел, попил, пора и домой, а то матушка заволнуется...» — и, неожиданно обняв, поцеловала меня долгим и жарким поцелуем. Так мы сегодня еще не целовались. У меня от радости екнуло сердце, и я попытался ее снова обнять, но она опять легко отстранила меня. Мое пальтишко висело рядом, у нее за спиной, Ая безошибочно сняла именно его с вешалки, вынула из рукава мятую шапку и бережно надела ее мне на голову. Застегивая пуговицы, она спросила с тревогой — не заблудишься в буране? Я ничего не ответил, слезы обиды душили меня, и я, не прощаясь, шагнул в распахнутую дверь.

Я пересек пустынный базар, вышел на Орджоникидзе и пошел сквозь жуткую метель на «Москву», на улицу Дёповская, где находилось наше общежитие. Я шел, глотая слезы, считая себя несчастным, но странная радость теплилась где-то в глубине души. В голове крутилась какая-то поэтическая строка, подходящая случаю, но я так и не вспомнил ее.

Спустя много, много лет она нашлась-таки, ташкентский поэт Александр Файнберг сказал:

Далеких лет далекие обиды

Никого их тех людей, с кем я отмечал день рождения Юлии, кроме Роберта, я больше никогда не встречал. Не знаю, как сложилась жизнь у тех нефтяников и у девушек, так переживавших за них в пургу. Но я был бы рад, если у них счастливо сложились судьбы, они так подходили друг другу.

Москва,  
2007

# Лебедь белая

Рассказ

**В**первые Ташкентский аэропорт встретил Фатхуллина ненастьем. На взлетных дорожках застыли громадные лайнеры, припорошенные снегом, они мало напоминали быстрокрылых, стремительных птиц, а скорее походили на замерзших, нахохлившихся ленивых ворон.

Новенький, весь из светло-розового мрамора просторный аэропорт уже к обеду стал казаться тесным, неудобным.

Опыт бывалого пассажира позволил Фаткуллину моментально поставить точный диагноз: «Это надолго». Поэтому он без особого сожаления сдал билет.

На железнодорожном вокзале толкучка была, пожалуй, не меньше, чем в аэропорту. В какую бы кассу он ни ткнулся — билетов на Москву не было. Как и всякий командировочный, он толкнулся не в одну прикрытую дверь, но результат был неутешительным. Пришлось прибегнуть к последнему средству — обратиться в Министерство строительства.

Фатхуллин принадлежал к той категории верхолазов-монтажников, которые со всей страны были собраны в Москве в специальной организации «Союзстальконструкция», занимавшейся только уникальным и сложнейшим монтажом в стране и за рубежом. Сейчас

Фатхуллин возвращался из Киргизии, где монтировал в горах двухсотметровую вышку для приема и ретрансляции телепередач в высокогорные кишлаки. Бывал он и в Узбекистане, и со здешним монтажным начальством не раз за руку здоровался.

С трудом, из последней брони, перед самым отходом поезда он все же получил билет.

Двухместное купе мягкого вагона, куда привел его важный, но неожиданно учтивый проводник, оказалось пустым.

«Живут же люди...» — подумал без зависти Нариман, оглядев вагон, весь в коврах и никеле. С тех пор, как он стал своим среди высотников — элиты спецмонтажа, временем его располагали другие. В работе быстро бегут дни и месяцы, и немало утекло годов, которых Фатхуллин, считай, и не заметил. И сейчас он обрадовался: почти три свободных дня! И в таком роскошном купе!

Первый «бугор», Иван Селиверстович Петухов, приметивший его в «Проммонтаже» и, по сути дела, сделавший из него классного высотника, не уставал повторять монтажной братве, что им, как балеринам, надо ценить молодость, каждый день отдавать делу, учиться у танцовщиц трудолюбию, завидовать тому, как много они успевают в жизни.

Да, в высотном деле нужна абсолютная координация движений. И, как абсолютный слух или поразительной красоты голос, она встречается редко.

Нариман пристроил на верхней багажной полке дорожную сумку и снял кожаную, на меху, куртку. По традиции, не им заведенной, существовал среди высотников неписанный закон — уезжая, оставлять лишнее барахло.

Фатхуллин, день пробегавший между аэропортом и вокзалом, толком и не пообедал, перехватил лишь в буфете Министерства обжигающей самсы, и потому, едва поезд тронулся, отправился в вагон-ресторан. Вернулся через полчаса, нагруженный свертками, пакетами, кульками.

Включив свет в купе и расположившись на мягком, цвета сочной зелени, диване, Нариман оглядел свое жильё на колесах, и этот дорожный уют показался ему роскошным. Да и то сказать, вся жизнь у него прошла в дороге да в общежитиях, а какой там уют, всем известно. Правда, лет двадцать пять назад в Болгарии, где он был в командировке, целый год жил на настоящей вилле, которая даже собственное имя имела — «Магура».



...Лучший друг Наримана Тенгиз Кодуа женился на болгарке и остался в Болгарии, а теперь ежегодно присылает ему вызовы, чтобы приехал погостить Нариман к нему в Варну.

Но Фатхуллин мог поехать в Болгарию и без Тенгизова приглашения: был у него такой «фирман» от «Балкантуриста» за добросовестную работу. «Махнуть, что ли, в этом году в Албену?» — подумал Нариман.

Он вышел из купе постоять у открытого окна. Вглядываясь в оконную темень, думал о многих своих друзьях, осевших в разных концах страны.

«Семья обрезает орлам крылья», — мрачно шутил старый бригадир Иван Селиверстович, и никто не знал, была ли у него когда-нибудь своя семья, свой домашний угол. И в том, что он больше всего на свете любил высоту и своих ребят, часто навсегда улетавших из-под его крыла, не сомневался никто.

Одних привлекали горы, других море, леса, озера и реки, третьих — большие и шумные города. В этом отношении их работа предоставляла широкий выбор. На любой стройке высотников брали с руками и ногами и квартиру выделяли сразу.

«А я так вот себе уголка и не приглядел. А пора бы, прощание с высотой уже не за горами», — думал Фатхуллин, пытаясь разглядеть мелькнувший огнями полустанок.

В свои тридцать два года он был еще гибок и строен. Подвижность, легкая, сухощавая фигура, в которой чувствовалась натренированная сила, делали его похожим на профессионального футболиста, задумавшего оставить большой спорт. Только жилистые руки с крепкой кистью и мощной, не по фигуре, пятерней выдавали в нем человека, занятого физическим трудом. Эта обманчивая молодость, густые длинные волосы и усы, спрятавшие две глубокие складки у рта, молодо оттенявшие лицо, а, главное, неунывающий характер, привлекали к нему на каждой стройке внимание девушек. Да и вообще их брат-высотник всегда был в поле зрения женщин, но Нариман, пользуясь вниманием, не особенно злоупотреблял им.

Жило в нем давнее-давнее, непроходящее...

За окном крепчал мороз. Иногда скорый на какие-то минуты останавливался на степных полустанках, поджидая с перегона спешащий навстречу состав.

Нариман торопливо кидался в тамбур и, широко распахнув дверь, взглядывался в сонный, без огней, маленький заваленный снегом поселок. Низкое звездное небо, казалось, давило на бескрайнюю

степь, и оттого яркий промерзший свет близких звезд отдавал острым ледяным холодом.

Пронеслся, мелькая освещенными окнами, встречный состав, неся за собой снежный вихрь, хлопала дверца вагона, и остывшие колеса, скрипнув на стальных рельсах, начинали вновь отсчитывать бесчисленные полосатые километровые знаки. Нариман возвращался в вагон, и проводник, тревожась, что беспокойный пассажир выстудит на ночь все купе, говорил:

— Казахстан... Что тут смотреть, степь одна...

Потом, застав его снова в коридоре, вдруг радостно объявил:

— Завтра Актюбинск, а там уже Россия, пейзажи на все вкусы, там уж посмотритесь...

— Актюбинск?..— невольно переспросил Нариман и почувствовал, как внутри у него что-то неожиданно оборвалось, как тогда, давно, на самой верхотуре недостроенной останкинской телебашни, где он остуился в первый и пока единственный раз...

Пятнадцать лет назад, семнадцатилетним пареньком со школьным аттестатом в кармане, накиннув себе годок, уехал Фатхуллин по оргнабору в теплые края. В общем вагоне, душном и прокуренном, тесно набитом людьми, покинул он город, к которому неумолимо приближался сейчас в морозной ночи состав.

Помнил ли он, носил ли в сердце своем город, из которого сделал взрослый, самостоятельный шаг, удививший многих его одноклассников?

Так уж сложилась судьба, что он рано начал заниматься в жизни серьезным мужским делом, отдаваясь ему целиком, и праздного времени, располагающего к воспоминаниям, оставалось у него не так уж много. К тому же в городе, затерявшемся в снегах безбрежной степи, у него не было ни близких, ни родных. Но этот город, последний на пути через Казахстан, был по-особенному дорог Фатхуллину.

Нариман вставал, садился и вновь вскакивал, взглядываясь в крошечную законную тьму. Ему казалось, что, едва он ступит на перрон, кто-нибудь непременно окликнет его: «Привет, Адъютант! Давненько тебя не видно было».

«Надо же, Адъютант...— Нариман улыбнулся своему школьному прозвищу.— Адъютант... А я и забыл».

...До седьмого класса Нариман рос в далекой татарской деревушке под Казанью, у бабушки. Бабушка была древняя, мудро ждала близкой смерти и тревожилась лишь за судьбу единственного внука.



В Казахстане у Фатхуллиных были родичи, не очень, правда, близкие, но бабушка, за неимением других, старой арабской вязью отписала им на всякий случай: сама, мол, плоха уж, да не о ней речь. За внука душа болит, с кем останется мальчик, если призовет ее Аллах...

Фатима-апай, доводившаяся Нариману двоюродной теткой и жившая одна,— муж ее погиб на войне,— приехала летом.

Работала она посудомойкой в столовой железнодорожного училища, находившегося рядом с ее домом. Она и успокоила бабушку, клятвенно заверила, что непременно устроит Наримана в училище, выучит или на слесаря по ремонту вагонов, или на электромеханика. Пока гостила Фатима-апай, бабушка всерьез занемогла, и, не откладывая до следующего лета, тетка увезла Наримана в Актюбинск.

...За окном гудели от мороза заиндевевшие провода, пронеслись полустанки и разьезды, мелькнул яркими огнями перрон станции Кзыл-Орда, но Фатхуллин уже ничего этого не видел и не слышал, его мысли были там, впереди, в городе, который завтра вынырнет из завьюженной и стылой степи.

«Когда же прозвали меня Адъютантом, в седьмом или в восьмом классе? — пытался он вспомнить.— И за что?»

Может, за то, что ходил в школу почти в полной экипировке курсанта железнодорожного училища, даже пальто у него было перешито из шинели с форменными пуговицами.

Администрация училища, узнав, что тихая Фатима-апай взяла на воспитание сироту из деревни, всячески помогала ей, закрывая глаза на то, что Нариман частенько обедал и ужинал в уголке на кухне. А уж кастелянша Дарья Степановна, она же и портниха при училище, жившая так же одиноко, как и Фатима-апай, души в нем не чаяла, перешивала ремесленную форму на Наримана. А какие вызывающие зависть у всех одноклассников ботинки на коже и микропоре выдали ему в училище! Может, за эту форму, гимнастерку, застегнутую до последней пуговицы и перехваченную широким ремнем с никелированной бляхой «Ж. Д. У», и всегда не по-школьному наглаженные брюки-клевш прозвали его Адъютантом?

Пожалуй, и это сыграло свою роль. Но все-таки прозвище дали ему по другой причине, и связано это с Ленечкой Мурзиным...

Школа, как и училище, была рядом с краснокирпичным домом в три этажа, где в коммунальной квартире с общей кухней занимала комнату Фатима-апай. Позже, когда Нариман обжился, перезнакомился с соседями и стал часто бывать в доме Мурзиных, отец Ленечки,

известный в прошлом на всю страну машинист паровоза, водивший рекордные тяжеловесные составы и теперь дорабатывающий до пенсии на какой-то высокой должности в вагонном депо, рассказывал им, что весь станционный комплекс выстроен вместе с дорогой еще при старом режиме. И вокзал в сказочно-восточном стиле, с башнями, похожими на минареты, и клуб, напоминавший средневековую крепость, где раньше коротали вечера в бильярдных и музыкальных салонах чиновники путейского ведомства, ныне переименованный во Дворец культуры, и реальное училище, где теперь располагалась их сорок пятая, эмпээсовская школа... и здание железнодорожного училища, где раньше была гимназия. И дома с коммуналками для рабочих были тогда же выстроены, и каменные, в три крыльца, особняки для инженеров и служащих.

Школа из светлого камня, в два этажа, с высокими стрельчатыми окнами, с просторными дворами, обсаженными густой акацией, с надворными подсобными помещениями и мастерскими и площадкой для летних спортивных игр, после деревенской саманной хибарки с тремя классными комнатками восхищала мальчика.

И сам он, с новеньким скрипучим портфелем — подарком Фатимы-апай, в выутюженной, подогнанной Дарьей Степановной форме, в начищенных до блеска кожаных ботинках, казался себе тогда самым счастливым человеком на свете.

«Вот если бы в такой форме пройтись сейчас по аулу», — подумал Нариман, пришедший в школьный двор задолго до первого звонка.

Но здесь его форма не вызвала ни у кого ни восторга, ни зависти, скорее наоборот, и Нариман к улыбочкам одноклассников отнесся с мудрой снисходительностью деревенского мальчика. Здесь, в городе, ребята избалованные, где им понимать толк в добротной одежде и крепкой обуви.

В 7 «В», где Нариман значился в списке, висевшем на двери классной комнаты, он занял место на предпоследней парте, у окна. Класс шумно заполнялся, там и тут сбивались в кучки друзья-приятели, весело обсуждали что-то, посмеиваясь, поглядывали в его сторону.

А когда в комнату вошел высокий стройный мальчик, все дружно потянулись к нему, обступили, со всех сторон слышалось: «Леня... Ленечка...»

Кто-то указал вошедшему глазами на новичка, мальчик кинул быстрый взгляд в сторону окна, наверное, сразу понял, как ему оди-



ноко и неуютно одному, и, раздвинув сгрудившихся вокруг него ребят, громко сказал:

— Ну что вы, надо же познакомиться с человеком...

Небрежно прошел мимо учительского стола и решительно направился к новенькому.

— Не возражаешь? — бросил мятый портфель рядом на парту и протянул руку: — Мурзин, Леонид Мурзин.

На первой же перемене он сказал Нариману:

— Ты не обижайся на наших, они в общем-то ребята славные, сам увидишь. Да ты не робей, гляди веселее, привыкнешь, подружишься со всеми. А если кто сильно будет донимать, скажи мне, разберемся.

Отдавая Наримана в школу, Фатима-апай рассчитывала, что как только тот окончит семилетку, определит его в училище. И ей легче будет: все-таки на государственном довольствии, и парнишка через два года, глядишь, профессию получит, на кусок хлеба заработает. Да и сам Нариман поначалу так же считал и потому в первые месяцы целыми днями пропадал в училище, сдружился там с ребятами, стал заниматься боксом.

Но весной, когда Нариман успешно сдал экзамены и Фатима-апай решила сходить за документами, как было давно определено, мальчик стал слезно просить оставить его в школе, говорил, что не может бросить свой класс, ребят.

Нариман был мальчик покладистый, и в доме от работы не отлынивал, и по вечерам, после ужина, помогал ей в столовой, а это не шутка — какие горы посуды нужно было перемыть. И Фатима-апай, вздохнув, сказала:

— Ну что ж, учись. Учись, коль нравится, перебежусь как-нибудь...

...В эту зимнюю дорожную ночь ему снились давние метели и осенний листопад, солнечные дни на городском пляже и весна в их любимом железнодорожном парке. И перед ним мелькали лица давно позабытых одноклассников и многих других, чьих имен он припомнить не мог.

Ленечка Мурзин, приветивший его в первый день, был в школе человеком известным, побеждал на городских математических олимпиадах, имел первый разряд по боксу и представлял Оренбургскую железную дорогу на первенстве «Локомотива» в Москве.

Не по годам рослый, стройный, на голову выше Наримана, голубоглазый и светловолосый, он был прирожденным вожаком, душой

компании. Немудрено, что с первых же дней Фатхуллин потянулся к этому мальчишке и стал его тенью, тем самым и заслужив у острых на язык одноклассников кличку «Адъютант».

В ту весну, в седьмом классе, когда надвигалось прощание со школой, Нариман вдруг испугался, что безвозвратно пройдет мимо него та школьная жизнь, волнующая и интересная, в которую ему только-только приоткрылась дверь. Почти каждый день бывая в училище, где Нариман считался своим, он видел там иную, тоже притягательную, но уже более взрослую, что ли, обстановку, хотя учились вместе с ним ровесники его одноклассников.

Лишь потом, повзрослев, он понял, почему тогда до боли захотел остаться в школе: так неосознанно продлевалось беззаботное детство, которого он был лишен, живя у бабушки. Ведь в той послевоенной татарской деревеньке, затерянной в лесах, где он, по существу, вырос, работали все, от мала до велика, чтобы прокормиться и выжить, об иной жизни и речи не было.

Теперь был конец пятидесятых, и во многие дома уже пришел первый послевоенный достаток. Нариман с удивлением видел в квартирах товарищей домашние библиотеки, где книг было в десять раз больше, чем во всей его деревне. В книгах ему не отказывали, даже предлагали взять и советовали, что почитать, и читал он тогда взахлеб, все подряд.

В первую же зиму он вместе с Ленечкой был приглашен к однокласснику Славику Урюпину на день рожденья. После праздничного ужина, который, как и все остальное, поразил Наримана, Славик вдруг сказал: «Ну что, потанцуем?» И когда он, откинув крышку пианино, сыграл модный в ту пору быстрый фокстрот, Нариман долго не мог прийти в себя: «Как маленький хрупкий Урюпин, от горшка два вершка, так лихо управляет с мудреным инструментом?» И Славка тут же вырос в его глазах, ну, положим, не до уровня Мурзина... но все же...

...В эту ночь снился ему еще один сон... Учился он тогда уже в десятом классе... Они с Ленечкой на вечеру в соседней сорок пятой, тоже железнодорожной, школе. Нариман в скроенном и сшитом все той же неугомонной Дарьей Степановной пестром в талию пиджаке с широкими, по плечи, лацканами и, конечно, при галстукке, а Мурзин, только что вернувшийся из Москвы с медалью чемпионки «Локомотива», тот и вообще умопомрачителен: вишневого цвета в темную полоску пиджак и галстук-бабочка из темно-бордового бархата делали его похожим на артиста. Эта большая, с широкими



крыльями бабочка особенно отчетливо оттеняла непривычную бледность его лица с кое-где припудренными синяками. Еще в раздевалке Нариман понял, как нелегко далась его другу медаль «Локомотива».

Вечер в чужой школе оказался памятным для них обоих. Ленечка в тот день почему-то не танцевал, с непоказным равнодушием принимал поздравления по поводу своей победы, — вырезки из «Советского спорта» висели на видном месте в обеих школах, представлявших одно спортивное общество. В какой-то момент Нариман даже подумал — уж не запижонил ли его друг? А Ленечка, не отрывая взгляда от кружившихся в вальсе пар, неожиданно сказал:

— Такая вот штука вышла, Нариман... Кажется, я влюбился...

Нариман, высматривавший партнершу на очередной танец, удивленно глянул на друга. Вот это новость! В Ленечку поголовно влюблялись девчонки — так это понятно: он гордость школы, красавец, спортсмен... Но чтоб он сам?

— Что же ты, Нарик, не спросишь, в кого?

— В кого? Известно в кого! — как можно веселее ответил Фатхуллин. — В самую красивую и недоступную, в Томочку Давыдычеву, конечно. Разве в нее можно не влюбиться?

— Да перестань ты. Я же серьезно, — сердито ответил Ленечка. Фатхуллин, бросив быстрый взгляд на друга, понял, что не угадал, и пожал плечами.

— Извини, Леня, все просто с ума посходили, повлюблились в нее, ну, я думал, и ты... Ведь и вправду на принцессу похожа, глянь, она как раз смотрит на тебя...

— Да ну тебя, не то сегодня ты говоришь и не туда смотришь. Вот она... — И Мурзин показал глазами на девочку, стоявшую к ним спиной в окружении подруг.

Нариман, узнавший бы ее и по краешку платья, уже не слышал товарища.

Это была Светлана Резникова из параллельного класса. В прошлом году, весной, она пригласила их на свой день рождения. На открытке, переданной Мурзину, было написано: «Приглашаю Вас и Вашего Адъютанта на день рождения». Да, все знали, что Ленечка никогда, с самого первого дня их знакомства с Нариманом, на торжества без него не ходил.

Беспечно шутивший минуту назад Нариман сник, потерял дар речи, — ведь он сам уже с полгода хотел поделиться с другом секретом и рассказать о ней.

Прервав затянувшееся молчание, Фатхуллин как-то не по-мальчишески трогательно обнял за плечи своего любимого друга и сказал печально:

— Твоя беда — моя беда...

И стояли дружки поникшие, непривычно серьезные, думая каждый о своем, а, вернее, об одном человеке, и девочки даже не решились пригласить их на «белый танец»...

...Этой долгой зимней ночи, казалось, не будет конца. Фатхуллин часто просыпался и, глянув на часы, лежавшие на светлом пятчке у ночника, с удивлением обнаруживал, что прошло-то минут пятнадцать, ну, полчаса. Кинув взгляд в темень за окном и жадно выкурив сигарету, он снова провалился в тревожный сон. И опять, как в калейдоскопе, мелькали сцены, забытые вечера и прогулки, во сне он слышал чей-то смех, а то вдруг наплывали мелодии тех давних лет, и чаще всего почему-то звучала музыка с диска Карела Влаха — «Вишневый сад»: сплошное торжество медный труб. Даже во сне он пытался соединять эти осколки мозаики в нечто целое, и в каких-то промежутках ему это удавалось.

Он видел себя в комнате Ленечки... Перед школьными вечерами Нариман всегда по пути заходил к Мурзину. В тот раз Ленечка сидел за письменным столом и, уставившись в окно, сосредоточенно думал:

— Вот, черт, не дается последняя строчка,— встретил он Фатхуллина и кивнул на лежащий перед ним листок. Но вдруг, озаренный, обрадованно рассмеялся. Быстро переписав все набело, протянул листок Нариману: — Читай!

Я познал поцелуев сладость,  
Мое счастье было в зените,  
Но... осталось «спасибо» сказать  
И добавить: «За все извините».

Фатхуллин прочитал и вопросительно взглянул на друга.

— Все, никаких девчонок, никаких вздыханий... Только Светлана...

— Не слишком ли ты суров к себе? — улыбаясь, спросил Нариман, знавший, что дальше записок с влюбленными в друга девчонками не заходило. Даже не целовался, наверное, ни с одной.

— Нарик, ну, и нудный же ты тип,— что же такого, что ничего не было, не могло быть,— главное, у нас был интенсивный почтовый роман...



...Утром, едва забрезжил рассвет, Нариман уже вышагивал по пустому коридору вагона, и по-прежнему мысли его витали там, в городе юности. Он так хотел восстановить в памяти две последние неповторимые школьные зимы! Лето меж этими годами зияло провалом, потому что Ленечка с родителями надолго уезжал к морю, Светлана гостила у бабушки в Алма-Ате, а Нариман работал подсобником на хлебозаводе, развозил по магазинам горячий хлеб.

После того вечера в соседней школе Ленечка не возвращался к разговору о Светлане. На уроках друзья как прежде не отвлекались, не обменивались длинными записками, словно прилежные ученики, не отрывали глаз от доски или от учителя, но мыслями были вне класса. Однажды в таком забытьи Фатхуллин вдруг с ужасом увидел, что исписал карандашом всю промокашку: «...Света... Светланка... Светлана... Солнышко»...

Он бросил испуганный взгляд на Ленечку, но тот ничего не видел, тоже витал где-то в облаках. Фатхуллин торопливо сунул промокашку в карман и подумал, что отшутиться на этот раз вряд ли бы сумел. На перемене, сославшись на головную боль, — он и впрямь был бледен, — ушел домой и, промаявшись полдня без дела, дал себе слово быть осторожным, чтобы не выдать Ленечке своей тайны.

Всегда веселый, шумный, Ленечка, влюбившись, стал малоразговорчив, сдержан, но иногда его словно прорывало: окрыленный какой-нибудь идеей, он что-то организовывал, предпринимал, вдруг соглашался пойти в компанию, куда его раньше и на аркане было не затащить. И за всем этим, конечно, стояла Светлана, все было для нее, ради нее...

На школьных вечерах, проводившихся тогда почти каждую субботу то в одной, то в другой школе, Ленечка иногда вдруг говорил:

— Нарик, потанцевал бы ты с ней, а то этот денди Лайкин из второй школы что-то слишком часто ее приглашает. Мне это не нравится, Лайкина, да и Марата Латыпова, нужно держать на дистанции.

И Нариман, исполняя волю товарища, шел через весь зал приглашать Светлану на очередной танец.

Могла ли влюбленность Ленечки Мурзина остаться незамеченной? Нет, конечно. Уж слишком много восторженных и внимательных девичьих глаз следило за ним, за каждым его взглядом, поворотом головы.

Самое удивительное, что у Наримана со Светланой сразу сложились дружеские отношения. Они интуитивно избрали естественную

в таком случае шутивную форму разговора, в котором оба, словно соревнуясь, оттачивали свое остроумие, и это сделало их отношения легкими и простыми,— но какой ценой давалось это Фатхуллину, знал только он один.

— Адъютант приступает к своим обязанностям? — весело спрашивала Светлана, отвечая изящными шутивными поклонами на его очередное приглашение.

— Такая жизнь, миледи, каждому свое,— отвечал Нариман, кладя ей руку на плечо, и, уже танцуя, продолжал: — Надеюсь, ваша прозорливость сочетается с добродетелью? Ведь, в самом деле, зачем такому обаятельному юноше, как Лайкин, уходить с вечера в глубокой печали и поминать вас недобрым словом? Вы же знаете, повелитель мой в гневе страшен, и, опять же, удар нокаутирующий имеет: центральной прессой сей факт отмечен.

— Тяжела ноша мюрида, Нарик?

— Как сказать, миледи. Ведь выбор имама доброволен и основан исключительно на духовной его притягательности. К тому же у него отличный вкус, вы не находите?

— Не все, дорогой, разделяют ваши вкусы и ваш восторг. Вот, например, те девочки у окна убеждены, что Адъютанту следовало бы опекать, или блокировать,— как вы там выражаетесь? — ну, положим... Томочку Давыдычеву или Галочку Старченко, но ни в коем случае не такую серую уточку, как я...

— Ну, как вам не стыдно, лебедь белая, напрашиваться на комплименты? Да вы, оказывается, кокетка. А мы с повелителем и не подозревали в вас этого порока, в такие-то юные годы. Вам действительно необходимо, чтобы все разделяли наш восторг?

В таком или приблизительно таком тоне разговаривали они, танцуя вдвоем почти на каждом вечере. А после танцев друзья провожали Светлану с подружкой домой. Все они жили на другой стороне дороги, в железнодорожном поселке. Если в обычное время в школу бегали напрямик, через сортировочную станцию, через десяток путей, то с вечеров возвращались через вокзал, переходя длинный скрипящий от старости мост. Обычно в это время проходил на Москву скорый из Алма-Аты, и если вечер был теплым и дул небольшой ветерок, сюда, на мост, от стоявших внизу вагонов доносился запах яблок апорт. На мосту иногда стояли подолгу, молча, притихшие, вглядываясь в проходящие поезда, завороченно смотрели на разноцветные огни светофоров и указателей путей. Наверное, каждый думал о том,



что по этим тонким нитям путей, блестящих внизу, и они разлетятся по жизни совсем скоро, и потому не спешили расставаться. А, может, они думали об ином?

Возвращаясь домой после танцев, Светлана каждый раз ловко пристраивала к Ленечке свою неразлучную подружку Элли Богданенко, а сама, еще в раздевалке передав Нариману завернутые в газетку вечерние туфли на шпильках, опираясь на руку Фатхуллина, пыталась всю дорогу прокатиться на своих скользких ботинках. Иногда, скатившись с какого-нибудь уклона, она падала в сугроб, и верный Нариман оказывался рядом, протягивая руку, а Ленечка, словно заколдованный, не смел сделать к ней и шага.

Проводив Эллочку, у дома Светланки прощались всегда как-то торопливо, враз утратив легкость общения. Хлопала промерзшая дверь в глухом заборе, стучали каблучки на высоком, в четыре ступени, крыльце дома, а друзья, не сговариваясь, переходили на взгорок через дорогу и ждали, пока вспыхнет свет в крайнем окне. Еще некоторое время молча смотрели они на мелькавший за тюлевыми занавесями девичий силуэт, а когда дом погружался в сон, торопливо расходились по домам, словно боясь расплескать радость свидания.

...Едва за окном мелькнули пригороды Актюбинска и показалось прямо у дороги железнодорожное училище с просторным совершенно не изменившимся двором, Фатхуллин поспешно схватил с полки сумку и кинулся к выходу мимо удивленного проводника.

Мягкий вагон остановился напротив вокзала. Огромное безликое здание из стекла и бетона сбило с толку Наримана, и он невольно поднял голову, выискивая вывеску. Все было верно, но где же вокзал в сказочно-восточном стиле, с башнями, похожими на минареты? Неужто снесли старое здание? И только тут Нариман осознал, что город для него начинался с вокзала и кончался им. Бессчетное число раз любовался он вместе с друзьями с моста его великолепными строениями, и казалось тогда: это незыблемо, вечно — дороги и их волшебный, со шпильками, вокзал.

В гостинице женщина с замысловатой прической на вопрос Фатхуллина о возможности размещения, не разжимая губ, ткнула пальцем в вывеску «Мест нет».

Нариман опешил, он и представить себе не мог, что в городе его юности ему откажут в ночлеге.

«Это же мой, мой город!» — хотелось ему крикнуть в бесстрастное лицо администратора. Неожиданно его осенило: он достал пас-

порт, не раздумывая, вложил в него крупную купюру и вновь ткнулся в окошко администратора.

— Я проездом, понимаете, проездом, до следующего московского скорого, — торопливо сказал он.

Купюра сработала безотказно.

В номере, наверное, лучшем в отеле, он быстро побрился в ярко освещенной ванной и поспешил на улицу.

У кинотеатра «Казахстан» толпился народ, но Нариман, даже не глянув на афишу, свернул на Карла Либкнехта, главную улицу его юности. Знакомыми дворами и переулками он выбрался к школе. Еще издали увидел старый ничуть не изменившийся в три этажа кирпично-красный дом, где когда-то жил с Фатимой-апай в коммуналке, но через дорогу, рядом... школы не было... От неожиданности Фатхуллин даже остановился. На месте сорок четвертой школы громоздился панельный дом в четыре этажа, рахит, из той печально известной низкопотолочной серии с современными сануздами... Подобных уродцев он навиделся по всей стране.

Фатхуллин вошел в бывший школьный двор, увидел в глубине пошатнувшуюся скамейку, занесенную снегом, опустился на нее. Ничто, абсолютно ничто не напоминало о прошлом, с корнем вырвали, вытоптали все, даже хилого кустика акации не осталось.

«Молодцы, лихо поработали, наверное, взрывали, уж больно крепкая была школа», — думал Фатхуллин, осознавая, как смешно все это выглядело бы в чьих-то глазах — сорвался с поезда, примчался, словно его тут ждали все эти долгие годы, и никто и ничто не менялось ради его распрекрасных глаз.

Так сидел он долго, не видя перед собой унылого дома и спящих вокруг людей. И вдруг все вокруг, навсегда потерявшее очертания школьного двора, ожило у него перед глазами, наполнилось звуками, шорохами, смехом...

По аллее вдоль акаций прогуливались парами или стайками девочки в белых фартучках, а на крыльце он увидел Ленечку Мурзина. Тот стоял неподвижно, скрестив на груди руки, высокий и сильный, а его задумчивый взгляд выискивал на аллее Резникову.

Одни картины сменялись другими, и Нариман увидел себя на одном из последних вечеров. Светланка, неожиданно повзрослевшая, мало похожая на школьницу, в элегантном сером платье... Учителя уже махнули на них рукой, не обращали внимания ни на маникюр, ни на прически, ни на чересчур высокие шпильки, ни на платья по последней моде... Выпускницы.



Разговор они вели в прежнем дружественно-шутливом духе.

— Ах, милый Нарик, годы идут, молодость проходит, а вы тратите на меня вечера, не замечаете других девушек, а ведь их вон сколько. Чем мне вас отблагодарить за вашу чуткость, предупредительность при исполнении служебных обязанностей? Можно, я вас поцелую?

И она, положив ему руки на плечи,— прежние танцы позволяли это, чмокнула его при всех в щеку. Правда, на это почти никто не обратил внимания.

Нариман, для которого миг померкла модная в то время трошинская «Тишина», все-таки, собрав волю, с честью вышел и из этого положения.

— Спасибо за безмерную щедрость, но мне бы хотелось, чтобы толика вашего доброго отношения ко мне и хоть один поцелуй достались моему повелителю, хотя, уверяю вас, он достоин и большего.

— Нарик, дорогой мой Адъютант, будет ли у меня в жизни еще столь преданный, предугадывающий мои желания вассал? Вы молчите? Конечно, не будет, а вас уведет у меня другая девушка, уж так устроен мир. А насчет вашего повелителя я почему-то никак не могу поверить, что именно я его избранница. К тому же, увы, мое убеждение разделяют многие. Наверное, вы оба слепы, я ли лебедь белая?

Она обернулась к стоявшему у стены Ленечке Мурзину, и во взгляде ее Нариман успел уловить больше, чем просто веселую усмешку над робким влюбленным. Этот предназначенный не ему взгляд больно уколол Наримана.

Зимний день короток,— хищная тень безликого дома вскоре дотянулось и до скамейки Фатхуллина, и Нариман обратил внимание, как быстро сгущаются сумерки, норовя спрятать город, который он не успел рассмотреть как следует.

Выбираясь по глубокому снегу и не обращая внимания на жильцов, уже давно приметивших его, Нариман повернул к училищу. Обгоняя его, навстречу спешили подтянутые юноши в форменной одежде, так похожие на ребят, учившихся здесь девятнадцать лет назад. А, может, теперь здесь учились их сыновья?

На минуту он остановился перед распахнутыми настежь воротами училища и, оглядывая оживленный двор, мысленно пробежался его коридорами. Войти или не войти? Потенциальный курсант, так и не ставший им, чужак, лучше многих выпускников знавший традиции этого заведения, чем он похвалится, кого обрадует его появление?

Прежней дорогой, через сортировочную станцию, Фатхуллин пошел к железнодорожному поселку.

Огромный рубленый из старых шпал особняк, обшитый в елочку узкими крашеными деревянными планочками, словно устал от времени и присел на высокий каменный фундамент. От былого величия не осталось и следа. Дом, ежегодно встречавший весну то в голубой, то в зеленой покраске, уже много лет не знал малярной краски, и последняя, красноватый сурик, облезла, оттого дом казался ржавым и напоминал казенное учреждение.

Нариман подошел к забору. Он тоже обветшал, почернел, рассохся, толкни посильнее — рухнет во двор. На знакомой двери некогда могучего глухого забора над вырезом почтового ящика не висела медная табличка «Резниковым», то ли свалилась и затерялась, то ли хозяевами дома были уже другие люди.

Нариман по старой привычке перешел через дорогу, но взгорка у соседнего палисадника не было, не заметил он и следов его уничтожения: эту улицу даже асфальтом не покрыли — все та же грунтовая дорога, просто время, время свело взгорок на нет.

«Да, слишком много воды утекло с тех пор», — как будто только теперь Фатхуллин ощутил груз пролетевших почти незаметно девятнадцати лет.

В соседних дворах уже зажглись огни, а дом напротив глядел на него темными глазницами окон, словно вымер...

И вдруг Нариман увидел его другим, праздничным, сияющим огнями, из распахнутых форточек слышалась музыка, за тюлевыми занавесями мелькали силуэты, доносился смех. Увидел он и себя солнечным днем у калитки. На звонок тотчас выбегала Светлана, простоволосая, в накинутах на плечи заячьей шубке.

— Сегодня в кинематографе, — не изменяя своей галантно-шутливой манере, говорил он, — дают представление, достойное вашего внимания, не соизволите ли оказать честь Дворцу железнодорожников и нам, двум вашим верным стражам, в семнадцать или девятнадцать часов, когда вашей светлости будет угодно...

— Ну что же, я полагаюсь на безупречный вкус вашего друга, который разделяете и вы, мой славный Адъютант, и, пожалуй, я нанесу визит в эту крепость, именуемую очагом культуры...

В кино она приходила в сопровождении Элочки, и от Леночки ее постоянно отделяли два кресла. Она снимала мягкую кроличье-го меха мужскую шапку, модную по тем временам, клала в нее ва-



режки и пуховый шарфик и передавала все это Нариману. Иногда, в какие-то драматические моменты фильма, ее рука машинально искала опоры в руке Фатхуллина, и Нариман, не смея вздохнуть в эти минуты, замирал в кресле. Теплая ладошка Светланки покоилась в сильных руках Наримана, но в какие-то минуты он чувствовал, как холодно, сиротливо, беспокойно ей в его жарких ладонях...

...Дом без признаков жизни навевал тоску, росшую с каждым часом, к тому же стемнело, улица опустела, и редкие прохожие бросали на Наримана настороженные взгляды: что нужно этому человеку, не отрывающему глаз от темных окон стоящего напротив мрачного дома?

Возвращался он давним маршрутом через вокзал. На уцелевшем старом мосту ненадолго задержался. По странному стечению обстоятельств внизу стоял алма-атинский скорый, но колкий ветерок теперь не доносил запах апорта.

«Пожалуй, яблочный запах выветрился в самой Алма-Ате», — усмехнулся Нариман, вспомнив последнюю командировку в Медео.

По ярко освещенному мосту, несмотря на поздний час, торопливо пробегали люди, но это не помешало Фатхуллину вспомнить свой последний день в этом городе.

...В день выпускного бала он стоял с фибровым чемоданчиком на перроне и поджидал почтовый на Ташкент. Уже объявили о посадке, а он не спешил к хвосту поезда, где был его вагон, не отрывая глаз, смотрел на мост: вот-вот должна была пройти Светлана на выпускной вечер.

«Неужели пойдет через пути? Нет, не тот день, чтобы бегать между вагонами», — успокаивал он себя.

Когда до отправления поезда остались считанные минуты, Светлана вместе с Эллочкой появилась на мосту, а за ними с огромным букетом сирени спешил Славик Урюпин.

— Прощайте, лебеди белые! — крикнул Нариман и на ходу вскочил в отходящий вагон.

Но они, счастливые, не услышали его. Уже из окна тамбура Фатхуллин увидел, как прямо по путям, обегая маневровые тепловозы, словно сумасшедший, бежал к вокзалу его единственный друг Ленечка Мурзин, узнавший об отъезде Наримана из его записки...

...В тепле гостиничного номера Фатхуллин вдруг вспомнил, как пять лет назад в Болгарии он не давал покоя Тенгизу Кодуа. Вдвоем они объездили все побережье Албены и Солнечного берега, даже на фестиваль «Золотой Орфей» добрались, а это путь немалый.

— Ты что это, в светскую жизнь ударился? — каждый раз спрашивал Тенгиз, усаживаясь за руль машины.

— Я ищу своих друзей,— отвечал Нариман. Ему почему-то казалось, что они непременно поедут отдыхать в Болгарию. Была у него такая наивная вера, что за поворотом, там, за углом, в следующем баре или на веранде другого ресторана, на какой-нибудь дискотеке, он непременно встретит их, красивых и счастливых.

Слышал он что-нибудь о них за эти годы? Нет. Тогда, уезжая, он знал только, что Светлана сразу после выпускного вечера собирается в Оренбург, поступать в педагогический институт. Ленечка, без пяти минут мастер спорта, перед которым открылась бы любая заветная дверь вуза в любом городе, решил ехать следом за ней.

— Нарик, я поеду в Оренбург. Я должен пройти свой путь до конца. Мне нет без нее счастья на земле. Ты понимаешь, нет мне жизни без Светланки.

— Я понимаю, мой повелитель, понимаю...

В ту ночь накануне выпускного, накануне его отъезда, они бродили вокруг ее дома до рассвета...

...За окном, за огромным окном гостиной, шумел изменившийся, помолодевший Актюбинск, и Фатхуллин, глядя на законные огни, неожиданно просветленно подумал: «Ведь это мой город, город моей юности. Еще вчера я говорил себе, что не облюбовал уголка в необъятной стране. Зачем искать? Вон твой город, за окном. И, может быть, когда-нибудь в твой дом придут вместе или порознь твоя любимая и твой любимый друг, и только тогда ты узнаешь счастливый или печальный конец истории этой грустной любви».

Ташкент,  
1972



# Случайно Встреченный

Автобиографический рассказ

И все же придет время,  
когда не будет ничего интереснее,  
чем подлинные воспоминания  
о прошлом.

*Уолт Уитмен*

**В** 2009 году я возвращался из Китая с супругой Ириной, куда ездил на операцию из-за последствий старого покушения. В ту пору прямых рейсов в Урумчи не было, и летели мы через Астану. Кстати — летайте, при возможности, только с «Эйр Астана», самолеты у них — новые «боинги», летчики — английские и немецкие, не приученные экономить на керосине, и взлетать в грозу и ураган по первому окрику прижимистого начальства не станут. Да и диспетчеры у них в основном европейцы. А уж как кормят, какой выбор напитков предлагают на борту казахи — и сравнить не с кем, я летал часто и французскими авиакомпаниями, и английскими, и швейцарскими, правда, можно сравнить лишь с сингапурскими и катарскими, если кому посчастливилось летать с ними.

В Астане проживает много моих земляков-актюбинцев, поэтому встречали и провожали меня близкие друзья: Серик Бимурзин и Арынгазы Беркинбаев, чей предок Бердисалы Беркинбаев сто сорок лет назад основал наш родной город Актюбинск. Прадед моего друга Арынгазы поставлял казахских скакунов для кавалерии царской армии и не раз встречался с самим государем, фотографии сохранились. Портрет Бердисалы Беркинбаева кисти великого В. Верещагина выставлен в Эрмитаже. Встречал меня вместе с Арынгазы и легендар-



ный Серик Бимурзин, тоже актюбинец, очень незаурядная личность: плейбой, денди, восьмикратный чемпион мира по кикбоксингу, полковник милиции в отставке. Кстати, в январе 2011 года на открытии зимних Азиатских игр в Актюбинске мы с Сериком несли факелы с олимпийским огнем. О Серике можно писать и писать, но не буду по уважительной причине — на выходе книга о нем, не хочу раскрывать секреты. А вот об Арынгазы просто обязан сказать, людей с такой родословной и биографией, к сожалению, немного.

У Арынгазы три старших брата, с пятилетнего возраста он никогда не общался со сверстниками, а постоянно увязывался за братьями, и хотя они часто пытались избавиться от него, это им редко удавалось. Арынгазы всегда находил их, будь они в ресторане или на танцплощадке, он знал всех их друзей и подруг.

Куриль он начал в пять лет — курил только «Казбек» или «Герцеговину Флор», любимую Сталиным за редкий сорт табака. Хромтауский судья мог себе позволить такие дорогие папиросы, его пятилетний сын, позже одноклассник Арынгазы, каждый день таскал у отца нашему герою две-три штуки. Но через месяц Арынгазы бросит курить навсегда — не понравилось.

В первом классе Арынгазы влюбится на всю жизнь, старшие бластные ребята, жившие по соседству в шахтерском бараке, сделают ему наколку тушью на тыльной стороне правой руки — «Алия». Через год Арынгазы разочаруется в своей ветреной пассии и скажет ей, что она недостойна его любви. На что шустрая Алия ехидно заметила: «Разлюбил — не разлюбил, а я у тебя буду красоваться на руке всю жизнь, и жена твоя всегда будет ко мне ревновать». Такая перспектива сильно испортила настроение дерзкому мальчику, и он приуныл на целую неделю. Он даже подумывал носить перчатку на правой руке. А как же писать в перчатке, в первом классе пишут много, даже предмет «Чистописание» есть — в общем, не вышло. Выручили, опять же, бластные, один старик, бывший заключенный, прошедший печально известный Карлаг — карагандинские лагеря, сказал отчаявшемуся мальчишке: «Есть способ, но вряд ли ты его выдержишь. Не всякие мужчины на зоне решаются на этот шаг, даже тогда, когда в этом есть жизненная необходимость. Присказка — наколка важнее паспорта, родилась не на воле».

«Я выдержу», — не моргнув глазом, сказал повеселевший мальчуган. Нашли опытного татуировщика, и он целый месяц выжигал серной кислотой недостойную Алию с руки семилетнего мальчика. С тех пор старшие бластные ребята в Хромтау здоровались с ним за руку пер-

выми. В пятнадцать лет его известность перевесит славу старших братьев, всех вместе взятых — тоже не совсем простых ребят.

Характер, настоящий характер, он всегда вынесет человека на поверхность жизни. Арынгазы получит высшее образование, станет заслуженным мастером спорта по вольной борьбе, совсем молодым будет одним из руководителей Хромтау, а дальше жизнь понесет его только по восходящей — Актюбинск, Астана...

В начале 90-х годов Арынгазы организует чемпионат мира по вольной борьбе в Актюбинске, построит мемориал Котебару-батыру, когда будет возглавлять район в Кандагаче. Женится на красавице блондинке Лизе — немке из Чимкента, уедет с семьей на три года в Германию учиться банковскому делу и бизнесу. Овладеет немецким языком в совершенстве, и это откроет ему двери в большой мир. Вырастит двух прекрасных дочерей, на свадьбе которых мы, конечно, побывали, есть у него внуки, внучки. Одно жаль — недавно ушла из жизни любимая Лиза, умерла она у нас в Москве, в больнице. В память о ней он построил из белого камня удивительной красоты мавзолей. Вот какой у меня друг, называющий меня старшим братом. Успехов тебе, дорогой брат Арынгазы, семейного счастья, счастья твоим детям, внукам, твоему народу.

Но вернемся в аэропорт Астаны.

Поскольку я — почетный гражданин Казахстана, улетали мы через VIP-зал. Рейс выпал ранний, и зал, когда нас провели туда, пустовал, но уже через двадцать минут у входной двери появилась шумная компания, и я понял сразу, что провожают какого-то высокого гостя. Я не ошибся — провожали... Юрия Николаевича Григоровича. В те дни в Астане проводился большой балетный фестиваль, и Юрий Николаевич возглавлял жюри, знал я это из газет.

Провожали высокого гостя два заместителя министра культуры Казахстана, известный хореограф Булат Аюханов, который с балетной труппой «Балет Алма-Аты» объездил весь мир, с ними еще несколько балетмейстеров уже нового поколения, которых я, к сожалению, не знал. Один из высоких чиновников, увидев меня в пустом зале, поспешил к нам с супругой. Разрываться ему между нами и московскими гостями, видимо, не хотелось, там, вдали, стоял накрытый в честь Григоровича стол, и он, любезно взяв нас с Ириной под руки, сказал: «Я хочу представить вас, нашего земляка, дорогому гостю». Когда он представил меня Юрию Николаевичу и мы обменялись любезностями, я сказал мэтру: «Дорогой Юрий Николаевич, а я вас знаю



с 1964 года, нас познакомил ваш ученик, теперь уже лет тридцать народный артист СССР — Ибрагим Юсупов».

«Ибрагим! — воскликнул с восторгом, как-то по-молодецки, очень устало выглядевший балетмейстер.— Любопытно, любопытно, расскажите подробнее».

Мы сели за изысканно накрытый стол, и нам тут же налили французского шампанского «Тайтингер». Юрий Николаевич поднял бокал: «Давайте выпьем за Ибрагима, он — мой ученик, очень талантливый, поставил много достойных балетов. Помните балет на музыку Кара-Караева «Тропою грома»?». И мы выпили за друга моей ташкентской юности Ибрагима Юсупова.

— Ну, а теперь подробнее про наше знакомство, вы меня заинтриговали.

— В 1964 году в Москву впервые прибыла из Парижа балетная труппа Гранд-опера, она привезла два одноактных балета — «Сюита в белом» и «Коппелия», в заглавных партиях танцевали Клэрр Мотт и Пьер Бонфу. В обоих спектаклях танцевала и балерина Вера Бокадоро, француженка, она тоже ваша ученица, училась с Ибрагимом на одном курсе.

Тут Юрий Николаевич заплодировал и сказал с грустью:

— Как давно это было! Сорок пять лет назад...

Осушив еще раз бокалы, теперь уже за здоровье самого мэтра, я продолжил:

— О гастролях мы с Ибрагимом знали еще за месяц до их начала — в декабре. Бокадоро позвонила Ибрагиму в Ташкент и попросила его обязательно приехать в Москву, я думаю, у них в ГИТИСе был роман. Поскольку балетоманов в Ташкенте было немного, а я ходил не только на все балетные спектакли, но и посещал прогоны, репетиции, знал по именам всех солистов и даже весь кордебалет, Ибрагим предложил мне вдвоем слетать в Москву. Надеюсь, вы понимаете, от такого предложения нельзя было отказаться — французский балет, Гранд-опера впервые в СССР! Как бы я ни был рад приглашению, все же спросил: «А билеты? Как мы попадем в Большой театр?» — что такое билеты на обыкновенные балетные премьеры в Москве, я знал лучше Ибрагима. «Не беспокойся, прорвемся, Вера обещала контрамарки», — заверил меня Ибрагим.

В день открытия гастролей во время репетиции французской труппы мы с Ибрагимом пришли к служебному входу Большого театра, где нас поджидала счастливая Вера Бокадоро. Вот она, Вера,

и устроила нам встречу с вами, и мы из ваших рук получили контрамарки на служебные места.

Чувствуя, что Юрию Николаевичу приятно вернуться в свою молодость, я продолжил:

— А вот на премьеру «Спартака» в вашей редакции, который уже почти полвека не сходит с балетных сцен, я пришел сам.

Я напомнил Юрию Николаевичу и людям, провожавшим его, какие дивные декорации и костюмы создал к «Спартаку» театральный художник Сулико Вирсаладзе — отец выдающейся пианистки Этери Вирсаладзе. Отметил и музыкальную мощь гения Арама Ильича Хачатуряна, написавшего неувядаемую музыку к балету, и зрители впервые услышали ее на премьере «Спартака». Оркестром в тот день дирижировал несравненный Натан Рахлин.

Тут подоспел тост хозяев стола, они предложили поднять бокалы за бессмертный балет «Спартак», до сих пор идущий в первичной редакции Григоровича на казахских сценах.

Юрий Николаевич выглядел и растроганным, и радостным, и счастливым, ему было приятно, когда говорили о его любимом балете, принесшем ему мировую славу. Поистине, со «Спартак» он стал признанным балетмейстером мирового масштаба.

Понимая ситуацию, я продолжил:

— Наверное, теперь мало кто знает, что впервые после вас, Юрий Николаевич, «Спартак» поставил с вашего разрешения Ибрагим Юсупов. «Спартак» Юсупова, скроенный по вашим лекалам, рождался на моих глазах.

— А кто танцевал Спартака? — перебил меня нетерпеливо Юрий Николаевич.

— Васильев,— и, увидев сомневающиеся глаза многих, вынужден был повторить: — Да, да, как и у вас — Васильев, только Васильев наш, ташкентский, по габаритам — он близнец московского Спартака. Васильев в России, оказывается, балетная фамилия, я встречал Васильевых и в Перми, и в Ленинграде, и в Краснодаре. Красса танцевал Игорь Ильин, вскоре перебравшийся в Ленинград. А в женских партиях танцевали тоже известные балерины: Галия Измайлова и совсем юная Бернара Кариева.

— А кто оформлял декорации, снова Сулико Вирсаладзе? — спросил меня, как на экзамене, Григорович.

— Нет, оформлял известный художник из Еревана Ашот Мирзоян, но его рекомендовал сам Арам Ильич Хачатурян, и Ибрагим



не мог отказать маэстро, хотя у него на примете был молодой ташкентский художник. Жаль, вы, Юрий Николаевич, не смогли приехать на премьеру ташкентского «Спартака», вас очень ждали, в афишах тех лет сохранилось сообщение, что вы будете на премьере.

— Да, я не только обещал, я действительно хотел приехать — я ведь консультировал Ибрагима с первых репетиций, он приезжал ко мне советоваться, а уж звонил каждую неделю. Мне важно было знать, видеть, как «Спартака» примет зритель далеко от Москвы. Но не получилось слетать в Ташкент, важный правительственный концерт неожиданно объявился в честь какого-то заморского президента, сейчас уже и не помню какого.

— А кто дирижировал оркестром? — словно продолжая экзамен, спросил меня увлеченный воспоминаниями Григорович.

— Захид Хакназаров — в ту пору, несмотря на молодость, уже известный в стране дирижер. Конечно, и дирижер, и оркестранты превосходили себя, потому что на премьеру прилетел сам маэстро Арам Ильич Хачатурян.

Похвалюсь запоздало, Ибрагим поручил мне все три дня пребывания композитора в Ташкенте сопровождать высокого гостя повсюду. Мне даже по звонку сверху оформили на работе отпуск на эти дни. Три дня рядом с Хачатуряном! Я помню эти дни, как будто это было вчера. Арам Ильич дважды посетил репетиции оркестра и делал какие-то замечания и дирижеру, и оркестрантам.

В Ташкенте в ту пору проживало много армян, даже мэром Ташкента был армянин — легендарный строитель С. Саркисов. В те дни, находясь рядом с Арамом Ильичом, я перезнакомился с армянской элитой Ташкента.

Премьера прошла с грандиозным успехом, артистов и самого Арама Ильича не отпускали со сцены как никогда долго. Доволен был и Арам Ильич, я сидел неподалеку от него, на всякий случай, и слышал его восторженные реплики по ходу спектакля.

Кстати, о Клерр Мотт и Пьере Бонфу, которые первыми открыли французский балет советскому зрителю. Еще в Москве, той же зимой 1964 года, Вера Бокадоро свела Ибрагима с ними, и Ибрагим тогда пригласил их станцевать главные партии в своей «Жизели». Знаменитая танцевальная пара посетила Ташкент дважды — им настолько понравились и труппа, и оркестр, а, главное, неизбалованный и благодарный зритель.

Вылет самолета по каким-то метеоусловиям откладывался, и мы продолжали сидеть за богато накрытым столом, французское шам-

панское у гостеприимных казахов не кончалось, хотя это был особый, золотой, «Тайтингер». В какой-то момент я даже заподозрил, что погода здесь ни при чем, наверное, хозяева почувствовали настроение великого балетмейстера, который, возможно, к сожалению, в последний раз посещает Астану, восемьдесят пять — это все-таки много, и Григорович не очень хотел вставать из-за стола, где ему было так душевно и уютно, и так неожиданно напомнили ему о его жизни, о его главных работах.

— Кто вы по профессии? — спросил меня вдруг Юрий Николаевич.

— Строитель, обыкновенный инженер-строитель, — ответил я и заслужил удивительную улыбку Григоровича.

Юрий Николаевич неожиданно обратился к одному из руководителей культуры Казахстана:

— Теперь я верю вашим словам на вчерашнем банкете, что в Казахстане любят балет и знают мое творчество основательно, спасибо еще раз.

Хозяин стола не растерялся:

— Дорогой Юрий Николаевич, вы же видите, наш казахский простой строитель, случайно встреченный, а как знает, любит балет, а что уж говорить о учителях, врачах, — за столом раздался гомерический хохот, и тут же нас с Юрием Николаевичем пригласили на посадку.

Вернувшись в Москву, я передал Ю. Н. Григоровичу через директора Большого театра Анатолия Иксанова свой роман «Ранняя печаль», где есть главы о театральном Ташкенте, Ибрагиме Юсупове и нашей давно прошедшей юности.

В заключение еще одна короткая сцена о балете. В те же годы Ибрагим Юсупов преподавал в балетном училище, которому недавно исполнилось девяносто лет, и таких училищ в СССР было всего шесть. Однажды нас с Ибрагимом пригласили на день рождения, и я должен был зайти за ним в училище. Пришел я туда с огромным букетом для именинницы и с полчаса наблюдал за уроком. Закончив занятия, Ибрагим выставил своих учениц в ряд и показал им упражнение, которое они должны были отрепетировать дома. Я подошел к одной из девочек, которой было не больше двенадцати лет, и, отдав ей букет, поцеловал ее в щечку и сказал, что она будет великой балериной.

Когда мы остались одни, Ибрагим отругал меня за букет и сказал, чтобы я не портил ему учениц, а эту он, мол, хоть завтра готов отчислить. Я, конечно, не согласился с Ибрагимом и попросил его по-

*М*

дождать лет пять-семь, в балете все становится ясным очень быстро. Девочку эту звали Валя Ганнибалова, балетоманы со стажем хорошо помнят приму-балерину Кировского театра Валентину Ганнибалову. Лет через пятнадцать после случая в училище она приехала с сольными концертами в родной Ташкент, и тогда, вручая ей на сцене цветы, я спросил: «А помните, однажды в детстве вам подарили букет и предсказали, что вы будете великой балериной?». Она обняла меня и сказала: «Дорогой Рауль, предсказания такие никогда не забываются, я помню его всю жизнь. Вы дали мне веру, которой мне тогда не хватало».

*Иматра, Финляндия,  
2011*

# Марсель

Чем больше вы пишете  
о личном, частном, даже интимном,  
тем более оно оказывается нужным большинству.  
Важны только правда, искренность,  
даже в своих заблуждениях, ошибках.

*Гёте в письме Эккерману*

**К**огда года твои на закате, и ты говоришь иногда: «В жизни складываются самые невероятные ситуации» — наверное, опираешься, прежде всего, на свой опыт, на то, что произошло именно с тобой. Мой невероятный случай интересен тем, что в него, через много лет, вплелась и моя отроческая любовь. Мы встретились с Валей Домаровой взрослыми, уже с некоторым накопленным печальным опытом в личной жизни, у себя на родине, в Мартуке. Я возвращался из Болгарии, где отдыхал на «Золотых песках», а она, после каких-то неудач в жизни, вернулась домой, чтобы перевести дух и определиться, как жить дальше.

Начну подробнее со второй встречи, первая, думаю, вскружила голову нам обоим.

Весь день у меня не выходило из головы прошедшее и предстоящее свидания с Валей. О чем я только не передумал в тот долгий летний день, перевернув основательно всю свою жизнь. Я торопил время и хотел, чтобы скорее наступил вечер.

Я так растрогался, что решил сделать ей что-нибудь приятное, пошел в поселковый универмаг и купил флакон французских духов.

Зашел я и в гастроном и попросил бутылку армянского коньяка «Ахтамар».



Вечером в назначенный час я поспешил с подарками на Советскую. Валя ждала меня в палисаднике с гитарой, но сегодня она была в огненно-красном платье, и такого же цвета бант на голове сменил черный муаровый в блестках.

Когда я вручил подарок, она обрадовалась и сразу кинулась мне на шею, осыпая поцелуями. Она была как-то странно возбуждена, и я подумал, что Валя успела выпить, видимо, волнуясь перед предстоящей встречей.

Желая пошутить насчет выпивки, я склонился к ней и еще раз поцеловал, но запаха спиртного, к удивлению, не ощутил, и эту странную возбужденность, лихорадочный блеск в глазах отнес на счет волнения. Мы прошли мимо высохшей лужи на веранду летнего домика, где опять нас ожидал накрытый столик, и три новые свечи загорелись сразу, как только мы уселись друг против друга.

После случившегося вчера мы оба чувствовали себя скованно, от Вали исходила какая-то нервозность. Вроде она была по-прежнему мила со мной, говорила приятные и волнующие слова, но меня не покидало ощущение, что она все время куда-то проваливается, ускользает от меня, и я попросил ее спеть.

Она охотно взяла гитару, будто чувствовала, что песня успокоит ее, но нервное напряжение сказалось и на репертуаре — почему-то завела блатную песню.

На веранде откуда-то тянуло сквозняком, и все три бледных язычка пламени заплывшего воском шандала сдувало в сторону, поэтому я хорошо видел склонившееся над гитарой лицо Вали.

Я никогда не любил блатных песен — ни тогда, в юности, ни, тем более, теперь, — и потому при первой же паузе, когда она стала подтягивать струны, взял у нее из рук гитару и предложил:

— Давай лучше выпьем, поговорим, как вчера...

Но она угадала мое настроение и не без сарказма ответила:

— А ты, Рауль, оказывается, сноб. А я вот такая — люблю блатные песни, к тому же, они сегодня очень популярны, — и вдруг добавила ехидно: — Ах, я забыла, ты же не тянул срок и вряд ли знаешь жизнь...

Я не обратил внимания на ее слова, зная ее характер, подумал: «Хочет, чтобы последнее слово осталось за нею».

Повесив гитару на гвоздь у двери, Валя вернулась к столу и, сделав передо мной неожиданно изящный пируэт, игриво взъерошила мне волосы.

— Гуляй, милый мой Рауль. Люби, наслаждайся, пока я твоя...

Я решил, что у нее начинается непонятный для меня кураж, и налил ей чуть меньше обычного. Но я ошибся насчет куража: куда-то вдруг подевалась исходившая от нее нервозность, она стала, как вчера, мила, ласкова, и я успокоился.

Вновь мы сидели друг против друга, и пламя от чадающих свечей словно подогревало наши взгляды, летавшие через стол,— мы вспоминали что-то давно забытое, детское, школьное, но крепко связывающее нас. Сегодня она тоже курила — зеленая пачка сигарет «Салем» и зажигалка лежали рядом с ее прибором,— но реже.

В этот вечер Валя удивила меня еще раз. Успокоившись, она попросила принести холодной воды, а когда я вернулся от колонки во дворе с полным кувшином, то увидел, что курит она не ментоловые «Салем», к специфическому дыму которых я уже привык, а что-то другое,— как некурящий человек, я остро реагировал на запахи. К своему удивлению, я увидел в ее руках папиросу, ныне так редко встречающуюся, и хотел спросить, с чего она перешла на грубую беломорину, но в последний момент сдержался: зная ее причуды, побоялся вновь испортить ей настроение.

Курила она как-то необычно, откинув красивую голову на высокую спинку кресла и прикрыв от какого-то внутреннего удовольствия глаза, и я снова, как и вчера, любовался ее изящной шеей с тремя тяжелыми нитками искусственного жемчуга, открытыми плечами, уже по-женски округлыми, нежными. Высокая грудь, стиснутая в корсете платья, при каждой затяжке волнующе вздымалась, и мне даже доставляло наслаждение любоваться ею, когда она курила. Делала она это красиво, небрежно, не глядя сбрасывала пепел в пепельницу длинными ухоженными пальцами...

Потом мы вернулись в ее комнату в летнем домике. Сегодня в углу горел слабыми огнями торшер, и я успел рассмотреть ее жилье, по-женски уютное, особую прелесть комнате придавали розовые обои. Заметив мой удивленный взгляд, устремленный на торшер, Валя сказала, ласково глядя мне в лицо:

— Надеюсь, ты не возражаешь?

Но сегодня что-то было и так, и не так. Поначалу я думал, что всему помехой свет, но вскоре Валя сама выключила его, ничего не объясняя. При всей ее форсированной страсти, возбужденности я ощущал в ней быстро нараставшие вялость, апатию, безразличие. Когда комната была освещена, я несколько раз видел близко ее глаза — вот



они сегодня точно были другими, они смотрели как бы мимо меня, и в них виделась пугающая пустота.

Вдруг, оттолкнув меня, она капризно приказала:

— Рауль, принеси, пожалуйста, сюда столик и открой вторую бутылку «Ахтамара», я хочу видеть тебя веселым, твое серьезное лицо смущает меня...

Я хотел возразить, но, встретившись с ее взглядом, по-восточному приложил правую руку ладонью к сердцу и, склонив в покорности голову, шутливо ответил:

— Как прикажете, сегодня я ваш раб...

Я ощущал, что все катится к какой-то развязке и я никак не могу повлиять на события.

Валя вдруг надумала выпить на брудершафт и налила коньяк в бокалы для воды — не до краев, но полбутылки опорожнила в них точно. Я думал, что выпитое приблизит события к какому-то скандальному финалу, но опять произошло невероятное — отставив пустой бокал в сторону, она жадно впилась в меня поцелуем.

Задыхаясь в ее объятиях, я с улыбкой думал, что мне никогда, наверное, не понять женщин.

Когда я успокоился наконец, Валя, вдруг наклонившись в мою сторону, спросила то ли в шутку, то ли всерьез:

— Мир-Хайдаров, а ты купал когда-нибудь женщин в шампанском, дарил им миллионы алых роз или настоящий жемчуг и бриллианты?

Я попытался отшутиться, но она настойчиво, с обидой повторила:

— Я же спрашиваю тебя всерьез.

Тогда я, трезвея от неожиданного поворота событий, устало ответил:

— Это же из блатного фольклора... Да и зачем женщине купаться в шампанском? Я думаю, это даже вредно, лучше уж с мылом...

И тут она взорвалась, словно пороховая бочка:

— Эх ты, с мылом!.. А вот и не вредно! Я купалась, и не раз...

Я, не до конца осмыслив ее выкрик и, конечно, не принимая его всерьез, ляпнул:

— А что потом с шампанским делают, после купания?

Последовавшая реплика наконец заставила меня поверить в серьезность полусумасшедшего разговора:

— Да, я купалась в шампанском, а мои друзья, и тот, кто устраивал для меня этот праздник, черпали вино бокалами из ванны и пили

за мое здоровье — таковы традиции, так восхищаются красотой и прекрасным телом. Это так здорово, но, я вижу, тебе никогда этого не понять, не дано! Жил всю жизнь от получки до получки...

— Ты это всерьез? И кто же он, столь тонкий ценитель женской красоты и шампанского из ванны? — спросил я, не надеясь на ответ, все еще думая, что это ее очередной розыгрыш, — я слышал от ребят о ее экстравагантных выходках в последние годы.

Но она, гордо, с вызовом ответила:

— Дато Гвасалия. Тот, кто по-настоящему меня любил и баловал. Не зря он имел кличку Лорд: цветы дарил корзинами, духи — дюжинами, и это жемчужное кольцо — тоже его подарок...

А я-то принимал жемчуг на ее шее за искусственный или даже за чешскую бижутерию... Но это теперь ничего не меняло: я протрезвел окончательно. Легонько отодвинув ее в сторону, вмиг потеряв интерес к ней, я потянулся к выходу.

— Ты куда? — спросила она удивленно.

Я не ответил.

Ночная свежесть несколько остудила меня. Домой я не пошел, чувствовал, что все равно не уснуть, решил погулять по сонному Мартуку — через день я должен был уезжать. Дойдя до парка, где я видел студентку Валю восемь лет назад крашеной блондинкой, я вдруг рассмеялся, и этот неожиданный смех снял тяжесть с души. Я представил тесную ванную комнату, унылую советскую сантехнику и тусклый кафель, вечно щербатую, уже с завода, эмаль, блатных и воров с бокалами и стаканами в руках, толпящихся у заполненной до краев шампанским ванны, и плескающуюся в ней Валентину... Зрелище, действительно, получалось смешным, если не сказать убогим, особенно в том случае, когда ванная комната могла быть еще и совмещенной с туалетом.

И вдруг все четко и ясно встало на место: и грубая папироса в ее холеных пальцах, и стеклянные глаза, глядящие мимо, и страсть, мгновенно переходящая в апатию, и странный блатной репертуар, и жемчужное кольцо, и даже ванна с шампанским...

Сегодня я знаю, что Валя через два года после той летней ночи вновь вернулась домой. Вернулась с мужем-наркоманом, работавшим механиком в каких-то мастерских, но больше известным скандалами в больнице и аптеках из-за наркотиков, однако в ту пору уже многие знали, что колется и она. С такими наклонностями, да еще с завышенными притязаниями на свое положение в обществе, в маленьком



местечке прожить трудно, и они скоро покинули дом на Советской, а я больше о ней никогда не слышал.

Но однажды, через несколько лет, за тысячи километров от Мартука мне пришлось вспомнить и про жемчужное кольцо, и про ванную с шампанским.

Жизнь непредсказуема, одни тайны уходят с их владельцами навсегда, другие запоздало внезапно открываются во всей своей сути.

Однажды я был командирован на Кавказ — в Баку и Тбилиси. Там, в поезде Баку — Тбилиси, со мной произошла любопытная история.

Командировка эта походила на приятное путешествие, в Баку я попал на концерт оркестра Рауфа Гаджиева, где в те годы работал знаменитый джазовый аранжировщик Кальварский, а в Тбилиси надеялся послушать джаз-оркестр Гобискери. К поезду я пришел заблаговременно — не любил предотъездной суеты. Неторопливо нашел свое место в пустом купе мягкого вагона и вышел к окну в коридоре.

Вагон заполнялся потихоньку, и я стоял у окна, никому не мешая. К поезду я явился прямо с концерта и мало походил на командировочного.

Состав тронулся, оставляя позади перрон, город...

Начали сгущаться сумерки, в коридоре зажгли свет. Пассажиры потянулись в ресторан или стали накрывать столики в купе, а я все стоял у окна, внимательно вглядываясь в селения, где люди жили какой-то неповторимой и, вместе с тем, одинаковой со всеми жизнью. Замечал одинокую машину с зажженными фарами, торопящуюся к селению, где, наверное, шофера ждала семья, дети, а может, свидание с девушкой, чей неведомый дом мелькнет мимо меня через минуту-другую яркими огнями окон и растворится в ночи. Мои попутчики сразу же принялись за ужин. По вагону пополз запах кофе, жареных кур, свежего хачапури и лаваша; откуда-то уже доносилась песня.

Два соседних купе занимала разношерстная компания: юнец и убеленный сединами моложавый старик, молодые мужчины и даже одна девица. Она, как и я, все время стояла у окна, но, в отличие от меня, как показалось, делала это не по собственному желанию. Старик, по всей вероятности, русский, юнец с девушкой — армяне, остальные — грузины или осетины. Разнились они и одеждой: двое, да и старик, пожалуй, не уступали тбилиским пижонам, что фланируют по проспекту Руставели, а остальных вряд ли можно было принять за пассажиров мягкого вагона.

Компания, которая садилась в поезд, не обремененная багажом, даже без сумок и портфелей, тоже начала суетиться насчет ужина.

Юноша с девушкой высказали желание посидеть в ресторане и получили чье-то одобрение из глубины купе. Проходя мимо, они окинули меня восторженным взглядом, а девица даже попыталась изобразить что-то наподобие улыбки.

За окнами совсем стемнело, и стоять у окна стало неинтересно. Мои попутчики давно поужинали, а я раздумывал: то ли вернуться к себе, то ли последовать в ресторан, как вдруг один из компании, тот, кого я принял за осетина, вежливо, можно сказать — галантно, как это могут только на Кавказе, пригласил разделить с ними скромное угощение. Я так же вежливо поблагодарил, но, сославшись на отсутствие аппетита, головную боль и желание побыть одному, отказался.

Не прошло и минуты, как появился другой и пригласил не менее вежливо, но более настойчиво. Навязчивость, с которой меня зазывали, начала раздражать, и я поспешил ретироваться в купе. Едва я расположился у себя, распахнулась дверь и показалась седовласая голова моложавого старика, который попросил меня в коридор на минутку.

Старик оказался краснобаем и мог бы дать фору любому грузинскому тамаде. Он говорил о законах гостеприимства и вине, которое приятно разделить в пути с новым человеком. В общем, я понял, что из немощных, но цепких рук старика мне не вырваться — а тот и впрямь то крутил пуговицы на моем пиджаке, то хватал за рукав,— и я сдался. Когда в сопровождении Георгия Павловича — так старик откомендовался — я появился перед компанией, раздался такой вопль искреннего восторга, что, наверное, было слышно в соседнем вагоне.

Меня усадили поближе к окну, напротив Георгия Павловича. На столике высилась ловко разделанная крупная индейка, а рядом — зелень, острый перец, помидоры, армянский сыр, грузинская брынза и свежий бакинский чурек.

— Что будем пить? — спросил старик, и я показал на белое абхазское вино «Бахтриони».

Кто-то предложил тост за удачную дорогу, и трапеза началась. Стаканам не давали пустовать, а со стола так ловко и незаметно убиралось ненужное и добавлялись то ветчина, то жареное мясо, то быстро убывающая зелень, что мне, заметившему корзину на откинутой полке второго яруса, откуда все это доставали, казалось, что она волшебная.

Разговор поначалу никак не завязывался. Следовали сплошные тосты и сопутствующие фразы насчет «налить», «подать», «закусить», «что-то передать», а затем слова благодарности на русском



и грузинском языках. Но даже в этой немногословной беседе участвовали из хозяев только трое: те, что приглашали меня, и Георгий Павлович, имевший над компанией очевидную патриаршую власть. Остальные двое, немо выказывая восторг на плохо выбритых лицах, следили за столом, за тем, чтобы не пустовали стаканы, и ловко распоряджались содержимым волшебной корзины.

— Куда едете, чем занимаетесь, молодой человек? — спросил вдруг старик среди неожиданно возникшей или ловко организованной паузы.

— Инженер, еду в Тбилиси в командировку, — вяло ответил я, предчувствуя, что интерес ко мне тотчас иссякнет, потому как был убежден, что такая ординарность вряд ли у кого вызовет любопытство.

— Инженер?.. В командировку?.. Я же говорил вам, — обратился Георгий Павлович к своим спутникам. — Учитесь: школа, высший пилотаж, я в его годы не знал такой славы. А как он держался в коридоре! Любо посмотреть: турист, артист, да и только... Пейзаж, закат, пленэр... А как разговаривал с Дато и Казбеком, словно никогда их в глаза не видел! Это же блеск! Станиславский! А если хотите — Мейерхольд!..

— Я действительно никогда не видел ни вас, ни ваших спутников, — перебил я старика.

— В глаза не видел! — воскликнул с улыбкой Георгий Павлович, и купе минут пять сотрясалось от смеха.

Я, ничего не понимая, смотрел на своих собутыльников и видел, с каким восторгом, боясь упустить хоть один мой жест, глядят на меня странные попутчики. Такого внимания к собственной персоне я никогда не испытывал.

— Да, Марсель есть Марсель, не зря о нем и на зоне, и на свободе легенды ходят, — откликнулся тот, кого старик назвал Дато.

— Вы что-то путаете, я — Мир-Хайдаров, инженер из Ташкента, — не понимая, разыгрывают меня или же в самом деле принимают за какого-то Марселя, ответил я, трезвея.

Купе снова зашлось смехом. Георгий Павлович, вытирая тонким батистовым платочком слезящиеся глаза, спросил:

— Может, и ксиву покажешь? Мир-Хайдаров...

По Мартуку, Актюбинску я хорошо знал жаргон блатных. Достав из внутреннего кармана пиджака паспорт, я протянул его через стол.

В купе притихли и внимательно смотрели, как ловкие пальцы старика вертели паспорт так и эдак. Георгий Павлович даже поднял

его к носу и тщательно принюхался, казалось — попробуй он даже на зуб, никто бы не улыбнулся. Но мне было не до смеха.

— Хорошая ксива, и пахнет по-настоящему,— сказал, наконец, Георгий Павлович, возвращая паспорт.— Значит, с бумагами все в порядке, быстро обзавелся... Дато считал, что ты без ксивы. Он ведь с тобой в одной зоне мантулил в последний раз. Вспомни, Лорд у него кликуха, а фамилия — Гвасалия. Правда, он сейчас таким франтом выглядит, как раз тебе в помощники, «интеллигент». Не хочешь помощника, Марсель?

— Извините, я устал, у меня завтра важные дела, и я не понимаю ваших шуток,— сказал я, поднимаясь.

Старик мягко, но настойчиво усадил меня обратно.

— Сиди, Марсель. Дело твое — знать тебе с нами или нет. Да, пожалуй, ты и прав, слишком много незнакомых лиц для такой важной птицы, как ты. Ты уж извини меня, старика, это я на радостях — много слышал о тебе, да и Дато рассказывал, как ты исчез. Значит, едешь по большому делу, удачи тебе. Но если нужна будет подмога — деньги там, кров... Вот адреса и телефоны в Тбилиси и Орджоникидзе,— и он ловко, одним движением, сунул в верхний кармашек моего пиджака заранее заготовленный листок. На том мы и расстались, они — довольные встречей, а я — удивленный донельзя: за кого же меня приняли?

Утром, когда поезд прибыл в Тбилиси, странных попутчиков уже не было — то ли они разошлись по разным вагонам, то ли сошли в предместьях столицы. Но они еще раз напомнили о себе...

Гостям Тбилиси советуют побывать на Мтацминда, откуда открывается живописная панорама раскинувшегося внизу города; там же — прекрасный парк, летние кинозалы, ресторан. Устав от прогулки и продрогнув на ветру, гулявшем на горе, я решил заодно и поужинать на Мтацминда.

В зале и на открытой веранде ресторана веселье плескалось через край. Играл оркестр, вдвое больший по составу, чем некогда в моей любимой «Регине», и два солиста, сменяя друг друга, не успевали выполнять заказы, сыпавшиеся со всех сторон. Витал аромат дорогих духов, сигарет и вин, щедро украшавших многолюдные столы, пахло азартом и праздником. Я с трудом отыскал свободное местечко за столиком, где коротала вечер такая же командировочная братия, как и я сам.

Официант всеми доступными способами выказал свое недовольство одиноким, без дамы, клиентом: будь его воля, подобных мне он и на по-



рог не пустил бы. Лениво подергивая сытыми щеками, он вполуха слушал заказ, почему-то тяжело вздыхая, и сквозь зубы ронял:

— Нет... нет... кончилось... не бывает... никогда не будет...

Я понимал: любое мое возражение еще более усугубит незавидное положение незваного гостя, и потому милостиво сдался и сказал обреченно:

— Ну что ж, принесите что осталось и бутылку белого вина.

Вернулся официант не скоро. С увядшей зеленью, подветренным сыром, холодным хачапури и бутылкой вина. Буркнув, что шашлык подаст позже, заторопился к другому столу, где кутили лихо.

Едва я пригубил вино, оказавшееся без меры кислым, откуда-то, словно ветром, принесло метрдотеля и того же официанта — с таким сладким выражением лица, что в первый момент я даже и не признал его, хотя между нами только что состоялся долгий и «содержательный» разговор.

— Извините, вышла промашка,— частил метрдотель и зло косился на официанта, а тот, сама невинность, втянув живот, изображал такое раскаяние, что в пору было расплакаться.

Он чуть ли не силой вырвал из моих рук фужер и брезгливо выплеснул содержимое в вазу из-под цветов, словно это было не вино, а отрав.

— Может, отдельный столик накрыть? — зашептал мне на ухо завзалом, поглядывая на соседей, но я отказался.

В мгновение ока подкатили тележку с фруктами, сочной зеленью, лобio с орехами, сыром сулугуни и другими грузинскими закусками, не знакомыми мне, а метрдотель собственноручно налил в невесть откуда взявшийся тяжелый хрустальный бокал золотистое «Твиши». Видя это волшебное превращение, достойное цирка, соседи на другом конце стола с любопытством поглядывали на меня.

Я прикинул, что ужин обойдется раз в пять дороже, чем предполагал, но вино оказалось дивное, закуски великолепные, оркестр на высоте, и настроение у меня поднялось. То ли от выпитого вина, то ли от нахлынувшего озорства, то ли оттого, что увидел в зале за дальним столиком Казбека и Дато, я, пригласив какую-то девушку на танец, назвал... Марселем.

Может, я сам приглянулся девушке, а может, понравилось мое имя, весь вечер она щebetала: «Марсель... Марсель...» Чужое имя не раздражало меня, а порою даже ласкало слух, и этот вечер, в общем-то закончившийся без особых приключений, я прожил

не только под чужим именем, но и ощущая себя тем таинственным Марселем, перед которым так щедро расстилаются столы и вмиг принимают любезное выражение лица официантов...

Спускаясь на фуникулере на проспект Руставели, где жизнь, казалось, не замирала до утра, я вдруг, вроде нехстати, вспомнил давнее свидание с Валею в Мартуке.

Вокруг кипела ночная жизнь Тбилиси, по ярко освещенному проспекту навстречу шли прекрасно одетые люди, которые то и дело раскланивались со своими знакомыми, казалось, весь город состоял только из друзей и приятелей, и думать ни о чем грустном не хотелось. Но Валя, державшая в руках гитару с ярко-красным шелковым бантом на деке, не шла из головы. Я настойчиво гнал от себя навязчивое видение, но оно не уходило, мешало, назойливо напоминало о чем-то...

И вдруг все стало на свои места. Дато Гвасалия... Дато Гвасалия! Да это же тот, кто купал Валею в шампанском, подарил ей жемчужное кольцо!

«Не может быть! — возразил я себе. — Где та Валя, а где — этот Дато... Нет, это невозможно...»

Но память услужливо вернула голос Георгия Павловича: «Лорд у него кликуха, а фамилия — Гвасалия...» Нет, ошибки быть не могло, совпадало все. Я поспешил назад к канатной дороге, чтобы вернуться на Мтацминда, — знал, что в грузинском ресторане гости рано не расходятся.

Когда я вернулся в зал, веселье еще продолжалось, но столик, за которым Лорд гулял с друзьями, оказался пуст. Уже знакомый метрдотель, вновь увидев взволнованного гостя, подошел тут же и учтиво обратился:

— Чем могу помочь?

— Лорд давно ушел? — спросил я небрежно.

— Нет, недавно, вы наверняка разминулись на фуникулере. Если возникли проблемы — тут есть люди, хорошо знающие Дато, они и Марселю ни в чем не откажут. Да и мне Дато велел принимать вас всегда по-королевски...

— Спасибо, мне нужен только Лорд, — поблагодарил я метрдотеля и хотел распрощаться, но тот предложил распить с ним бутылку вина, если гость простил его за недоразумение в начале вечера. Пришлось уважить.

Возвращаясь в полупустом вагоне канатки, я думал: «А если бы я застал на месте Дато Гвасалия по кличке Лорд, что сказал бы,

*М*

о чем спросил? О том, купал ли он в шампанском мою отроческую любовь Валю Домарову и дарил ли ей жемчужное кольцо?» От нелепости этой картины я вдруг от души рассмеялся, как некогда на тихой улице в Мартуке, когда представил тесный совмещенный санузел и грязную ванну с плескавшейся в шампанском Валентиной...

Я редко вспоминаю Валентину, и уж тем более не презираю и не осуждаю ее. С высоты жизненного опыта понимаешь, что каждый выбирает свой путь сам. Но я никак не мог понять, почему судьбе было угодно, чтобы среди сотен миллионов людей я встретился с неким вором по кличке Лорд, сумевшим увлечь романтикой блатной жизни девушку, некогда мечтавшую стать балериной. Возможно, этим «почему» я буду маяться до последних дней своих...

*Москва,  
2011*

# Воспоминания о поэте, любившем Малеевку

Эссе

**М**уса Гали... Муса-ага... Как близко мне это имя, как ласкает оно мне слух, сердце, душу, воображение, вызывает в мыслях теплый и высокий отклик.

Я познакомился с ним зимой 1976 года в Малеевке. Туда я приехал впервые и мало кого знал, и даже не предполагал, что Малеевка тоже станет моим любимым местом и когда-то и меня будут называть старым малеевцем. Есть еще такое быстро убывающее, к сожалению, братство. Когда я впервые появился в роскошной столовой Малеевки, где в ту пору справа на входе еще высился громоздкий дубовый буфет с богатейшим ассортиментом, она уже наполнялась писателями, и мне нужно было выбрать себе место. Почти за каждым столом обедали люди, чьи имена, книги, портреты мне были знакомы. Напротив буфета располагался стол № 1, который десятки лет подряд занимал поэт Сергей Островой, а рядом с ним сидели Мустай Карим с товарищем и супруга Сергея Острового — известная виолончелистка. Конечно, я узнал Мустая-ага сразу, в ту пору вступающие в литературу хорошо знали своих предшественников, их творчество. Человек рядом с Мустаем Каримом и Сергеем Островым сразу бросался в глаза своей импозантностью, благородством. Высокий, прямой, совершенно седой, густой ёжик седых волос укладывался сам по себе в оригинальную прическу, которая была ему удивительно к лицу. Бледное,



аристократическое лицо с крупными выразительными глазами четко выдавало в нем — поэта. Внешность обманчива и не может давать никаких гарантий, но я не ошибся, Муса Гали оказался замечательным поэтом. Наши взгляды на какую-то секунду пересеклись, и я уважительно поздоровался.

Свой первый стол в Малеевке я запомнил на всю жизнь. За ним сидели тоже одни поэты: Сергей Поликарпов, Лариса Васильева и Павло Мовчан из Киева, подающий большие надежды поэт, но уже тогда, в 1976 году, сильно озабоченный политикой и независимостью Украины. Уже двадцать лет он — депутат Верховной Рады, один из видных деятелей новой Украины. Тогда мы не предполагали, что политика так отдалит наши страны. Но хорошо помню, какие яростные, опасные политические споры возникали между Сергеем Поликарповым и Павло Молчаном, я о них вспоминаю даже сегодня, через тридцать лет, когда вижу передачу В. Соловьева «К барьеру». Как, оказывается, давно тлеет националистический уголек на Украине! Но оставим наш стол и вернемся к дорогому Мусе Гали.

Дома творчества — уникальное место, где встречались, отдыхали, работали, знакомились писатели огромной страны. Сегодня мы знаем — нигде в мире подобных заведений не было и вряд ли теперь когда-нибудь будут. Есть даже статистика: каждая вторая или третья советская книга, а выходили тогда миллионы книг, написана в Малеевке, Переделкино, Комарове, Ялте, Пицунде, Коктебеле, Дуболтах, Гаграх, Дурмене-Ташкент.

Обычно с утра большинство писателей работали, часов с двенадцати катались на лыжах, потом обед, обязательные послеобеденные и после ужина прогулки вокруг дома или до деревни Глухово. У каждого был свой маршрут. У Мустая Карима и Мусы Гали маршрут долгие годы был особенный, ударный, он составлял почти десять километров и занимал два-три часа. Не помню, чтобы кто-то пытался повторить этот путь. Они выходили сразу после обеда, в любую погоду, делали большой круг. Вначале вдоль реки, потом через Дом кино в Рузе, где в баре иногда выпивали по чашке кофе, и возвращались через густой лес у дальних коттеджей. В первый раз я жил в самом дальнем коттедже № 10 и часов в пять вечера видел в окно, как они, словно былинные богатыри, выходили из леса. Если был мороз, а тогда он был всегда, — покрытые инеем, с подвязанными на подбородке шапками. Так продолжалось много лет, они никогда не изменяли своей привычке. Однажды я напросился с ними в компанию, прогулка далась мне с трудом, только

отдых в баре киношников мне понравился. Главное, я не мог тратить три послеобеденных часа, мне нужно было работать, писать. Иногда они вдвоем до обеда выходили на лыжах, и я встречал их очень далеко в лесу, на лыжах они катались почти до семидесяти лет.

Через две недели меня перевели в главный корпус, и я уже трижды на дню встречался с ними в коридоре, у газетного киоска и, конечно, в столовой. Надо особо отметить, что перед ужином или перед кино в просторном холле с бюстом Серафимовича или в прекрасном зимнем саду-галерее, связывавшем два корпуса, собирались писатели. Собирались кучками, группами, все писатели из восточных республик и Кавказа всегда окружали Мустая Карима, к ним присоединялся и я.

Однажды, незадолго до ужина, у меня раздался стук в дверь, на пороге стоял улыбающийся Муса Гали. В руках у него была моя первая тощая книжка «Полустанок Самсона», которую я подарил библиотеке, существовала традиция дарить Малеевке свои книги.

— Решил с тобой ближе познакомиться, рад, что тебя волнует татарская тема,— сказал он, улыбаясь.

В этот вечер мы прервались только на ужин. С той зимней беседы в Малеевке можно вести отсчет нашей дружбы до самой его смерти. Я бывал у него дома в Уфе, встречались мы и летом в Пицунде и Ялте. Муса Гали, несмотря на болезни, был активнейший человек. Он даже совершил на теплоходе почти кругосветное путешествие, побывал во всех европейских портах и столицах. Из путешествия он привез не только впечатления, а огромный цикл стихотворений, сложившийся в отдельную книгу. У него были зоркий глаз, незамутненная душа, он остро чувствовал прекрасное, имел тонкий вкус. После того вечера он представил меня Мустаю Кариму. И с зимы 1976 года по 1991-й только в Малеевке, а с 1991 года по 1998-й в Переделкино я был с ними каждый год рядом — двадцать пять лет близкого общения с этими прекрасными людьми. С 1980 года я оставил работу в строительстве и ушел на «вольные хлеба», и в Домах творчества бывал уже по два срока, как и они. Мы сидели за общим столом три раза в день, а вечером, чаще всего, собирались у меня. Мне нравилось ухаживать за ними, принимать их. Конечно, в наш круг часто попадали и другие писатели, особенно друзья Мустая Карима. Какие интересные разговоры были на этих посиделках, какие забытые в литературе имена воскрешались, какие стихи читались, какие истории рассказывались! Разумеется, мы частенько выпивали, а тут и песня



могла зазвучать. Мустай Карим вдруг говорил: «Муса, дорогой, спой что-нибудь» — и Муса никогда не отказывался. Пел он задушевно, имел голос, знал множество татарских, башкирских, украинских песен. Мустай Карим и Муса Гали — оба фронтовики, и многие вечера неожиданно оказывались воспоминанием о войне.

Муса-ага в неполных восемнадцать лет был призван в армию, на фронт, с первых дней на передовой. Необученному худенькому деревенскому мальчику вручили тяжелое противотанковое ружье, с которым он прошел всю войну от начала до Победы. Он говорил: «Я знаю, у меня левое плечо от тяжести оружия деформировалось, оно заметно ниже правого, и время от времени ноет ночи напролет».

В той уже почти забытой войне были пять-семь грандиозных сражений, они все у нас на слуху. В их число входит и форсирование Днепра, обязательно надо добавить — его высокого берега. Немцы в 1943 году так его укрепили, что были уверены — Днепр форсировать невозможно, вся река, противоположный берег лежали внизу у них перед глазами, пристрелян был каждый квадрат, весь высокий берег — в бетоне, одни дзоты. Муса-абы форсировал Днепр на каком-то углу плотике все с тем же противотанковым ружьем, потеря которого неумолимо грозила расстрелом. Сколько полегло там его однополчан — не сосчитать, сотни, тысячи потонули, других разнесло в клочья от прямого попадания, вся река была красная от крови. Осталось от его огромной бригады несколько человек. Раненый, контуженный Муса Гали, не выпустивший из рук свое противотанковое ружье, с которым он сросся и спал в обнимку, одолел-таки неприступный берег. Наверное, с тех пор он полюбил Украину, Днепр. Как хорошо, что он не знает про нынешние отношения с Украиной!

Мусу Гали нельзя представить без Мустая Карима рядом или, наоборот, кому как удобнее, они были неразлучны как братья. Они очень дополняли друг друга, понимали без слов, по взгляду, по жесту.

В начале рассказа я попытался дать портрет Мусы Гали — как выглядел он внешне, для подтверждения моих слов о неординарности его облика приведу пример из 1977 года. Однажды мы втроем возвращались с обеда через летний сад к себе в комнаты, нас догоняет известный детский писатель и не менее известный художник Юрий Коваль, он обращается к Мустаю-ага:

— Дорогой, пожалуйста, познакомь со своим другом, хочу написать его портрет, очень благородная, высокой духовности у него внешность, давно искал такую натуру.

Мустай-ага ответил что-то шутя, а настойчивый Коваль увел Мусу тут же к себе. Портрет получился, Коваль был человек известный, думаю, что этот портрет нашего друга Мусы Гали находится где-то в музее.

Хочется вспомнить какие-то детали из его жизни — Муса-агай имел прекрасный почерк, что редко бывает у пишущих людей. Он каллиграфически переписывал свои стихи. Жаль, в наше время не было таких роскошных книг для записи, в коже, с мелованной бумагой, какой красивый архив сложился бы! Раз или два мне удалось подарить ему красивые записные книги для стихов, одну из них с его записями я видел. Сегодня я рад, что сделал такой скромный подарок, ради красоты он специально переписал туда старые стихи.

Я состоял в долгой переписке с Мустаем Каримом и Мусой Гали, сейчас эти письма хранятся в моем Государственном музее у меня на родине в Мартуке, в Казахстане. Мы согласовывали в письмах наши встречи в Домах творчества, в Москве, в Уфе, у меня в Ташкенте, в Казани. К великой радости, сохранилось много совместных фотографий. Моя часть фотографий, оформленная в альбомах, представлена в моем музее — пришла и моя пора подводить итоги. На всякий случай, пусть знают потомки, что даже в Казахстане, в далеком Мартуке, есть материалы о двух выдающихся башкирских поэтах-фронтовиках.

В 1990-м году, после покушения в Ташкенте, я был вынужден эмигрировать в Россию. С 1990 по 1998 год я прожил с семьей в Доме творчества в Переделкино в комнате № 106. Все эти восемь лет мы встречались уже в Переделкино, потому что Малеевку быстро продали, и ее уже больше нет. В Переделкино мы с женой Ириной всегда принимали Мустая Карима вместе с Мусой, они приезжали туда до последнего — пока могли, пока эти Дома еще сохраняли свое лицо. В эти годы к ним в компанию я приглашал Амирхана Еники, и наши разговоры наполнялись новыми событиями, фактами, судьбами, новыми красками. Мои знания о татарской и башкирской литературе, полученные из этих разговоров-бесед, равны институтскому курсу вместе с аспирантурой.

В 1998 году мы купили в Москве квартиру, но, к сожалению, ни Мустай-ага, ни Муса-ага так ее и не увидели, хотя они очень за нас переживали, когда мы были «бездомными». Радовало их одно: что я стал чаще печататься в Казани, что у меня вышло несколько книг на татарском языке. Радовал их мой пятимиллионный тираж книг на русском языке, пять изданий собраний сочинений. Они вери-

*М*

ли в меня с первых шагов, и я счастлив, что оправдал надежды таких дорогих моему сердцу людей. В Казани есть немало моих недоброжелателей среди писателей, они злословят про меня — да он двадцать пять лет таскал чемоданы Мустаю Кариму и Мусе Гали. Неверно говорят. Мустая Карима и старая советская власть, и новая власть Башкортостана уважала, ценила всегда — его встречала машина у трапа самолета и отвозила куда надо. А Муса Гали всегда был рядом. Я горд дружбой и вниманием таких людей и, как мог, старался помочь им, хотел быть чем-то полезным. Общение с ними было для меня праздником души. Сегодня мне самому шестьдесят восемь, если бы они были живы, я бы снова с большим уважением и радостью ухаживал бы за ними, заваривал бы чай, выстуживал бы водку, накрывал столы. Мало кому выпало счастье быть с ними рядом на протяжении четверти века.

Я всегда вел дневники и когда-нибудь издам свои воспоминания, там будет многое о Мустае Кариме и его брате Мусе Гали.

И последнее, у кого есть случайные фотографии, интересные эпизоды о жизни этих людей, о Малеевке и Переделкино, пришлите мне по адресу: 107207, Москва, ул. Алтайская, 4-423 или по e-mail: mraul61@hotmail.com

*Москва,  
2008*

# Сын двух народов

Эссе

**В** конце двадцатого века с появлением больших надежд на суверенитет Татарстана резко обострился интерес татар к своей истории и культуре. Надо отдать должное журналистам и писателям, открывшим не только для татар, но и для всего мира, много неизвестных, а порою и незаслуженно забытых имен — ярких представителей нашего народа в бурное время прошедшего столетия. Сегодня благодаря роману Рината Мухамадиева «Мост над адом» мы знаем трагическую судьбу Мирсаида Султан-Галиева, знаем, что Александр Матросов — это Шакирджан Мухамеджанов, а легендарный генерал Карбышев — тоже сын татарского народа. Таких открытий много, но, уверен, мы еще не возвеличили имена всех достойных.

Хочется и мне внести свою лепту, рассказать широкому кругу читателей еще об одном замечательном сыне нашего народа, чей образ ассоциируется у меня с именами Рудольфа Нуриева, Чингиза Айтматова, Софии Губайдулиной, Ирека Мухамедова — именами, известными в мире. Мой герой также оставил заметный след в мировом искусстве и своим талантом внес огромный вклад в культуру братского нам мусульманского народа.

Размышляя об этом человеке, я вспомнил давний разговор с известным писателем фронтовиком Наби Даули, с которым по-



знакомился и подружился в Ялте и до конца его жизни поддерживал с ним связь. Как-то, рассказывая мне о писателях, он с грустью произнёс запавшие в мою душу слова: «Кого из татарских писателей ни возьми, начиная с Габдуллы Тукая, почти у всех тяжелое детство, сиротство, безотцовщина. Нищая юность, ранний труд, ФЗУ, ПТУ, семилетки, техникумы, заочный институт в зрелом возрасте. А между этим — революции, раскулачивание, голод, чужбины, война, перестройки, перегибы — оттого восемьдесят процентов нашего народа рассеяно по свету. У меня у самого такая судьба», — закончил он тогда горестно.

Возразить нечего, могу лишь добавить, что у меня — такой же путь. Но я благодарен Наби Даули, он заставил меня иначе взглянуть на татарскую литературу и ее писателей. Теперь мне понятно, почему у нас жесткая, без сантиментов, без особых изысков романистика и вся проза.

К чему я это? Только к тому, что хочу оттенить жизнь своего героя, которому выпало счастливое детство, хотя в их семье было одиннадцать детей. Жизнь подарила ему удивительно светлое отрочество, юность среди образованнейших людей — людей, живших культурой, создававших культуру. Он получил прекрасное, многоступенчатое образование в крупных городах: Перми, Москве, Самарканде. С пятидесятых годов объездил весь мир. И вся его жизнь, проведенная в трудах, достойна восхищения и восторга.

Речь идет о крупнейшем художнике-монументалисте, художнике-портретисте, художнике-миниатюристе, профессоре, педагоге, воспитавшем сотни учеников, мастере, чьи фрески при жизни сравнивали с фресками Феофана Грека, Давида Сикейроса, Диего Ривьеры, Ороско, народном художнике Узбекистана и Татарстана, лауреате Сталинской премии первой степени 1948 года за оформление интерьеров Узбекского академического театра оперы и балета имени Навои, построенного по проекту академика Алексея Щусева. О человеке, оставившем в искусствоведении понятие «школа Ахмарова», что редко удавалось даже очень большим художникам.

Да, я хочу рассказать вам о Чингизе Габдурахмановиче Ахмарове, которого, конечно, знал лично.

Родился Чингиз Ахмаров 18 августа 1912 года в городе Троицке, это неподалеку от моих родных мест: Оренбурга, Актюбинска, на южном Урале. Город в ту пору больше чем наполовину состоял из мусульман: казахов, татар, башкир, узбеков. Мусуль-

манская часть города имела восемь махаллей, в каждой из которой была своя мечеть, и каждая махалля называлась по имени имама. Та, в которой родился Чингиз-абы, носила имя муллы Абдурахмана Рахманкулова.

В семье Ахмаровых было одиннадцать детей, жили с ними и бабушки, и дедушки со стороны отца и матери. В архиве семьи сохранилось много прекрасных фотографий — несколько альбомов. Семья Ахмаровых, даже если бы в ней не появился такой знаменитый человек, как Чингиз-абы, все равно представляла бы огромный интерес для потомков, для нас с вами, историков, ученых, писателей. Потому что это была ярчайшая семья первой дореволюционной татарской интеллигенции, это были те, кто открывали школы, медресе, строили мечети, создавали библиотеки, типографии, издавали газеты — несли свет, просвещение в народ. Это не пустые слова, сказанному есть много письменных подтверждений, документов, фотографий, мемуаров членов этой славной семьи. В семье Ахмаровых высокая культура существовала уже в девятнадцатом веке, от деда Мифтохитдина потомкам досталась огромная библиотека, где было много рукописных и литографических книг, изданий на турецком и татарском языках, книг на азербайджанском и множество журналов. Чингиз с детства помнит журнал «Мулла Насреддин», он копировал оттуда рисунки, его сестры увлекались стихами, играли на пианино, ставили домашние спектакли, на которые приглашали гостей, организовывали в доме литературные вечера. Это было в традициях образованных татарских семей Троицка, как утверждает Чингиз-абы.

Отец его, Габдурахман-ходжи, служил поверенным в делах у богатого купца Гали Уразаева. По долгу службы он постоянно посещал Москву, Петербург, Казань, Оренбург, Нижний Новгород, страны Ближнего Востока и Саудовскую Аравию, Прибалтику, страны Восточной Европы. Во время своих поездок-путешествий он не только представлял интересы торгового дома Гали Уразаева, но и завязывал контакты с местной интеллигенцией, с деятелями культуры, интересовался прогрессивными идеями, событиями в этих странах. Свои впечатления, взгляды того времени Габдурахман-ходжи изложил в рукописной книге «История семьи», которая, к счастью, сохранилась. Мать Чингиза Сохиба-апай ведет свое происхождение от знатного рода царедворцев, служивших золотоордынским ханам.



Семья Ахмаровых жила в большом собственном двухэтажном доме с садом, огородом, баней, сеновалом. Держали лошадей, коров, баранов. Был у них и фаэтон, летом на нем выезжали в загородный дом, находившийся в девяти километрах от города. А кругом — нетронутая природа, река, озера, пруды, лес, огромные непаханные поля. Позже, в шестидесятые годы, когда Чингиз станет известным художником и впервые увидит в Лувре картины Матисса, он полюбит их на всю жизнь. О Матиссе, его картинах Ахмаров говорил: это мое детство, моя природа, среди которой я вырос.

С четырех лет Чингиз начнет ходить в детский сад, что было крайне редко в ту пору, а с семи — пойдет в школу, где учились его старшие братья. Габдурахман-абы, хотя и был ходжи (человеком, совершившим паломничество в Мекку, и не однажды), стремился дать образование и своим дочерям — они учились в единственной школе в ауле Учбиби, а затем — в гимназии в Троицке, брали уроки музыки у одной знатной русской дамы на дому.

В рукописной книге отца Чингиза есть очень важные, на мой взгляд, строки о формировании его мировоззрения в молодые годы. Когда Габдурахман-абы служил в царской армии в Казанской школе фельдшером, он познакомился с еврейским юношей Мейром Швеером. По совету Швеера Ахмаров-старший стал читать книги и журналы: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство», романы Льва Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». В те годы в Казань впервые попадает и газета «Каспий», издававшаяся в Баку. В 1902 году Габдурахман-абы с единомышленниками организовал в Троицке общество для издания книг «Хызмат», а в 1909 году они же откроют первую школу для девочек из мусульманских семей.

Конечно, такой отец не пускал жизнь и образование своих детей на самотек. В домашней библиотеке кроме книг, собранных дедом Мифтохитдином, имелось многотомное роскошное издание «Земля и люди» Элизе Реклю. Могу подтвердить — удивительное издание, я видел его в Ташкенте в 1968 году в доме одного страстного библиофила. Книгу «Земля и люди» прекрасно проиллюстрировали известные художники своего времени, что оказалось чрезвычайно важным для рано проявившегося у Чингиза таланта рисовальщика. Отдельный запиравшийся шкаф красного дерева целиком был заставлен энциклопедией Брокгауза-Ефрона, Габдурахман-абы привез ее из Петербурга. Вот к энциклопедии имелся доступ только по разрешению отца.

В шесть лет Чингизу подарили книгу Гауфа «Маленький Мук» с иллюстрациями Дмитрия Митрохина. Рисунки Митрохина определили жизненный выбор мальчика — обязательно стать художником. Ровно через шестьдесят лет в Москве на собрании художников Чингиз-абы оказался рядом с этим замечательным иллюстратором. Во время всего собрания Чингиз-абы порывался обратиться к своему кумиру детских лет, но так и не решился, о чем жалел всю жизнь. Мне эта ситуация очень понятна, Чингиз-абы был необыкновенно мягкий, скромный, тактичный человек.

Интересны записи отца Чингиза Габдурахмана-ходжи об общественной жизни Троицка в начале прошлого века. Габдурахман-абы утверждает, что мусульманская общественность города резко делилась на две группы: «старометодных» и «джадидов». Джадиды группировались вокруг библиотек «Джамиати хайри» — «Общество благотворительности» и «Нажот» — «Помощь». Габдурахман-ходжи отмечает, что крупные землевладельцы, богатые купцы, в основном были на стороне джадидов. Большинство троицких джадидов были сторонниками изучения культуры народов Европы, по современным понятиям — были западниками.

В 1925 году, когда Чингиз учился в пятом классе, в Троицк с инспекцией приезжает из Москвы заведующий отделом школ восточных народов Комиссариата просвещения Хабиб Зайни-ага Халилов, до революции окончивший Стамбульский университет. Чингиз, к тому времени не выпускавший из рук карандаш, рисует портрет инспектора. Рисунок настолько понравится гостю, что он захочет немедленно забрать мальчика с собой в Москву. В столице в ту пору открылись десятки художественных школ, вспомните знаменитый ВХУТЕМАС. Но родители не решились отпустить сына одного в далекую Москву.

В 1927 году после окончания Чингизом начальной школы его приглашают в Пермское художественное училище — оказывается, инспекторы народных школ давно обратили внимание на талантливого мальчика из Троицка. Молодая советская страна, в которой только закончилась гражданская война, понимала необходимость образования для народа. На экзамене в училище в Перми Чингиз сделает рисунки к басне И. А. Крылова «Ворона и Лисица» и станет студентом.

В том же году врачи рекомендуют отцу Чингиза из-за состояния здоровья сменить климат, и семья переезжает в Узбекистан — сначала в Карши, а затем в Самарканд, куда Габдурахман-ходжи



приезжал и раньше и где у него было много знакомых среди татар — торговцев, бывших джадидов.

Во время учебы в Перми молодой художник часто посещал театр оперы и балета, который считался одним из крупнейших в России. Помните, в 70-е годы там блистала несравненная Надежда Павлова и сложилась выдающаяся балетная труппа, которая с триумфом объездила весь мир. Вот тебе и Пермь! Из опер, которые Чингиз прослушал, самое большое впечатление на него окажет «Дубровский» композитора Направника. И понятно, в юности героические образы, такие как Дубровский, люди, отстаивавшие честь, правду, производят сильное впечатление. Однажды в Пермь приехал на свой литературный вечер Владимир Маяковский. Можете представить, что творилось в городе! Но наш герой попал на эту незабываемую встречу и помнит ее в мельчайших деталях.

Во время учебы, на каникулах, Чингиз всегда возвращался к родителям в Узбекистан. Впервые он приехал в Карши, когда там еще продолжалась борьба с басмачами. В Узбекистане ему сразу понравился журнал «Янги юль» — «Новый путь», где печатали много рисунков современных художников. Новый край, выбранный отцом для жизни семьи, открыл юному художнику иные краски, иные горизонты, и он, как всегда, много рисовал. Однажды, отобрав три лучшие работы, отправил их в любимый журнал. Ответ очень огорчил юного художника — ему сообщили, что журнал печатает только оригинальные авторские рисунки, а копиям у них нет места. Письмо подписал известный художник Усто Мумин (Александр Николаев).

Павел Беньков, Усто Мумин, Александр Волков оставили ярчайший след в узбекской живописи. Сегодня их произведения можно встретить в крупнейших музеях мира, известных коллекциях и на престижных аукционах. Много лет спустя, когда Усто Мумин и Чингиз Ахмаров вместе будут работать в газете «Кызыл Узбекистон», он сразу спросит у старшего коллеги — почему тот принял его рисунки за копии? Усто Мумин, помнивший тот давний случай, ответил: мы не поверили, что в такой далекой провинции, как Кашкадарья, может найтись художник, способный сделать такие прекрасные оригинальные работы. Чингизу в ту пору, когда он нарисовал эти картины, было всего шестнадцать лет.

В 1931 году Чингиз Ахмаров оканчивает Пермское художественное училище, его дипломной работой были декорации к трагедии Ф. Шиллера «Коварство и любовь» в городском театре дра-

мы. Это произведение стало заметным событием в художественной жизни театра, и молодого художника начали приглашать на работу в разные заманчивые места. Но он, девятнадцатилетний домашний юноша, еще крепко привязанный пуповиной к своей большой и дружной семье, рвется домой. Семья к тому времени жила в Самарканде, и Чингиз уже дважды успел побывать там на каникулах. Сказать, что он с первого взгляда влюбился в Самарканд, значит — ничего не сказать. Самарканд вошел в его душу, в его сердце, словно Чингиз там родился, он стал его родным городом. Самарканд даже снился ему в холодной Перми. И летом 1931 года, получив диплом, он возвращается в семью, в любимый Самарканд, к мавишнему его всегда мавзолею Тимура, к Гур Эмиру.

В 30-е годы прошлого столетия появился нашумевший роман Александра Неверова «Ташкент — город хлебный». Книга выдержала больше пятидесяти изданий и долгие годы была настоящим бестселлером. Из этого романа миллионы людей узнали о благодатном Узбекистане, его прекрасных городах — Бухаре, Самарканде, Хиве, Коканде, о щедрости и толерантности узбеков. Русских художников со времен генерала Скобелева привлекал Восток, Средняя Азия. Большую лепту в популяризацию края внес и великий русский художник В. Верещагин, чьи картины не найдешь даже на «Сотби» или «Кристи», они — достояние России. Живописцы — народ, легкий на подъем, и в Самарканде тех лет проживала большая колония художников со всей России. Разные это были люди, и по-разному они оказались в этих краях, их привлекали возможность круглый год писать на природе и, конечно, баснословная дешевизна жизни. Жили они, а точнее, ютились где попало, большинство из них занимали крошечные кельи послушников в закрытых медресе, коих в Самарканде имелось множество, город до революции был одним из духовных центров мусульманского мира. Удивительное время, романтическое и жестокое одновременно, но странно — власть с пietetом относилась к людям искусства: поэтам, артистам, музыкантам, художникам. Оборванные, полуголодные, почти нищие люди ни перед кем не заискивали, они знали свое место в жизни, а иные, большинство, замахивались и на место в истории. В Самарканде с древних времен проживало много армян, были среди них и художники: Варшан Еремян, Оганес Татевосян, Рубен Акболян, Микаэл Калантаров, все они прекрасно говорили и на фарси, и на узбекском, кстати, Чингиз быстро одолел эти языки.



Накануне возвращения Ахмарова в Самарканд там открылся художественный техникум, который возглавили Павел Беньков и Зинаида Ковалевская, а преподавали в нем художники, имевшие академическое образование, в основном петербуржцы и москвичи. Быстро найдет работу и молодой Чингиз, он станет вести в школе черчение и рисование. Но скоро художники Самарканда объединятся в большую артель «Изофабрика», возглавит ее Оганес Татевосян. Советская власть придавала исключительное значение наглядной агитации и пропаганде, и художникам работы хватало. Чингиза тянуло в «Изофабрику», и, собрав свои работы, он идет к Оганесу Татевосяну и в тот же день получает заказ. Забегая вперед, скажем, что у него с Татевосяном завяжется дружба на всю жизнь.

Ахмаров быстро вписался в мир самаркандских художников и оказался самым молодым из них. Чингиз тянулся и к коллегам по «Изофабрике», и к вольным художникам, особенно тем, кто преподавал в художественном техникуме. Он любил посещать там лекции по истории искусства. Видя, как стремится к знаниям молодой человек, бывалые коллеги открывали перед Чингизом таинственный мир больших художников. Жили в Самарканде и художники, раньше бывавшие в Париже, путешествовавшие по Италии, видевшие знаменитые музеи мира: Лувр, Прадо, Уффици. Чем больше Чингиз узнавал, тем больше чувствовал недостаток своего образования, знаний, воздуха культуры, больших музеев. Ему становится тесно в Самарканде, он рвется в большой мир, в большое искусство.

В мае 1934 года, после окончания занятий в школе, Ахмаров отправляется в Ташкент познакомиться со столичными коллегами и показать им свои работы. К его удивлению, приняли его радушно, Усто Мумин и Алексей Глоссер рекомендовали Чингиза на работу штатным художником сразу в две газеты: «Колхозный путь» и «Юный ленинец», что позволило ему поселиться в общежитии для творческих работников. Уезжая в Ташкент, он получил от самаркандской художницы Елены Коравай рекомендательное письмо директору «Узгосиздата» известному книжному графику Искандеру Икрамову. Показав свои работы Искандеру-ака, Чингиз неожиданно для себя получил заказ на оформление книг писателей Гайрати, Шакира Сулеймана и двух книг для детей с народными сказками.

В ту пору книги без иллюстраций не выходили, и я застал это время, мои первые книги все иллюстрированы.

Работа в издательстве сблизила Ахмарова с писателями: Абдуллой Каххаром, Зульфией, Парда Турсуном, Гафуром Гулямом, драматургом Умаром Исмаиловым, с поэтом Максудом Шейхзаде. Шейхзаде прибыл в Ташкент из Баку недавно, и у него еще чувствовался азербайджанский акцент. Максуд Шейхзаде быстро станет одним из ярчайших поэтов Узбекистана, классиком узбекской литературы.

Работа в газетах и журналах сблизит Ахмарова и с художниками: Усто Мумином, Борисом Жуковым, Уралом Тансыкбаевым, Александром Волковым. Чингизу в ту пору всего двадцать два года, общение с такими образованными, интересными людьми формирует его вкусы, привязанности, культуру, мировоззрение. Чем больше он общается с писателями, художниками, театральными деятелями, артистами, кинорежиссерами, тем острее чувствует недостаток своего образования, узость своей культуры. Чувствует гораздо острее, чем в Самарканде, когда покидал его по той же причине. В нем опять срабатывает присущий ему максимализм — быть на равных с людьми, с которыми выпала судьба быть рядом. Девять из десяти молодых художников, попав в желанную среду, общаясь с культурной элитой столицы, имея работу, заказы, став завсегдаем кулис почти всех театров столицы, никогда бы и не подумали стремиться еще куда-то, снова учиться и снова начинать все с начала. Но молодой Ахмаров хотел найти свое истинное место в искусстве.

Он уже общался с Халимой Насыровой, актрисой и певицей, народной артисткой СССР, с Каримом Закировым, своим ровесником Шукуром Бурхановым — несравненным Отелло на советской сцене, с Абдулхаком Абдуллаевым. Знал Манона Уйгура, Камиля Яшена и Сару Ишантураеву, бывал у них дома. В эти годы у него завяжется дружба на долгие годы с Максудом Шейхзаде.

В 1935 году Чингиз твердо решает поступить в Художественный институт в Ленинграде и посылает туда документы и конкурсные работы. Но ответ задерживается, и он сам отправляется на берега Невы. Однако в Ленинграде Ахмарова ждало разочарование: его не приняли — слишком велик был конкурс, и за каждым из абитуриентов стояли известные художники и их ходатайства. Удар оказался жестоким, но Чингиз не сдался. Он поехал в Москву со своими отвергнутыми работами и направился к художникам Льву Бруни и Владимиру Фаворскому, о которых был много наслышан в Самарканде и Ташкенте. Приняли любезно, посмотрели работы и посо-



ветовали сдать документы в Изоинститут, где в то время был только один факультет графики, который сам В. Фаворский, основоположник оформления советской книги, и возглавлял. Так, в одночасье, решилась мечта молодого художника об образовании в столице. В двадцать три года на целых семь лет — институт, аспирантура — он станет москвичом.

В Москве Чингиз с радостью окунулся в культурную жизнь столицы — он посещает музеи, выставки, театры и столь популярные в те годы литературные и поэтические вечера. В театре Мейерхольда ему понравится спектакль «Дама с камелиями», где играла Зинаида Райх, первая жена Сергея Есенина. Ахмаров очень радовался, что попал на этот спектакль, потому что буквально на другой день Мейерхольда арестовали, а театр закрыли. В Театре Революции (теперь театр имени В. Маяковского) он попал на вечер, в котором принимал участие Борис Пастернак, читавший свои стихи нараспев. Запомнилась ему и Вера Инбер, очень популярная в те годы, она в первый раз читала юмористическую поэму «У сороконожки народились крошки».

В Изоинституте, через три года переименованном в институт имени Сурикова, как мы уже упоминали, был только один факультет графики, на который поступил наш герой. Но в 1938 году, когда Чингиз учился уже на третьем курсе, институт возглавил академик Игорь Грабарь, большой художник, ученый, обладавший организаторскими способностями и деловой хваткой.

С приходом И. Грабаря в Суриковском институте начнутся радикальные перемены, откроется ликвидированный ранее факультет живописи и культуры. Ахмаров, которого привлекали живопись и монументальное искусство, переводится на факультет живописи, в мастерскую Петра Покаржевского. Переход с курса на курс ему не разрешили, пришлось возвращаться на второй, но он об этом никогда не жалел. На пятом курсе Ахмаров переходит в мастерскую монументального искусства, которой руководят сам академик Игорь Грабарь и профессор Николай Чернышов. Приоткроем тайну — Чингиз станет любимым учеником Игоря Грабаря.

Летом 1941 года институт организовал поездку студентов в Новгород, чтобы они смогли увидеть шедевры русского монументального искусства, посмотрели на удивительные фрески Софийского собора и Ферапонтова монастыря. Когда они возвращались в Москву, в поезде объявили, что началась война. Уже в июле

студентов отправят в город Вязьму, под Смоленск, строить оборонительные сооружения и копать противотанковые рвы. Почти все студенты, включая Чингиза, рвались на фронт. Но неожиданно институт в сентябре срочно эвакуируют в... Самарканд. Судьба возвращает Чингиза на круги своя.

Сегодня, в XXI веке, меня, прожившего долгую жизнь, удивляет мощь советского государства даже в войну. Только в Самарканд эвакуировали тысячи студентов, сотни профессоров, десятки институтов из Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева. Перевезли десятки заводов и фабрик вместе с нужными рабочими, и все это заработало в полную мощь через несколько месяцев. Катастрофически не хватало помещений, аудитории располагались даже в чайханах.

Здесь, в Самарканде, в 1942 году Ахмаров делает свою дипломную работу — триптих «Меч Узбекистана», сложное многофигурное монументальное полотно. Из шестидесяти дипломников десять суриковцев защитятся на «отлично», среди них будет и наш герой, все будут зачислены в аспирантуру института и продолжат учебу. К тому времени немцев отогнали от Москвы, и институт уже в 1943 году первым среди вузов вернулся в столицу. В этом возвращении ярко проявится организаторский талант академика И. Грабаря. В те годы студенты, аспиранты делали дипломные работы не на склад, не формально, а для оформления конкретных зданий, театральных спектаклей. Вспомните дипломную работу девятнадцатилетнего Ахмарова в Перми, она предназначалась для премьерного спектакля по Ф. Шиллеру «Коварство и любовь» в городском театре. И в аспирантуре работа Ахмарова предназначалась для музея Алишера Навои, который еще только предполагалось построить в Ташкенте.

Неожиданно И. Грабаря и Н. Чернышова отстраняют от руководства институтом имени Сурикова, увольняют и нескольких видных профессоров, сторонников опального ректора. Но академик Грабарь, даже отстраненный от института, продолжает руководить дипломной работой своего талантливого аспиранта. Грабарь в те годы тесно общался с талантливейшим архитектором Алексеем Щусевым, которому было поручено спроектировать театр оперы и балета имени Алишера Навои для столицы Узбекистана. Зная в деталях, как будут расписаны интерьеры фойе театра, Грабарь предложит Щусеву посмотреть работы своего аспиранта. Ахмаров, влюбленный в поэзию Алишера Навои, обрадовался шансу получить работу на таком престижном объекте и поспешил к архитек-



тору со своими работами. Щусев сразу поймет, что ему необходим именно этот художник, и после согласования с правительством Узбекистана Ахмаров получит заказ на композиции по произведениям Алишера Навои для фойе первого и второго этажей театра.

Огромные площади — огромная работа. Ахмаров прерывает аспирантуру в Москве и в 1944 году возвращается в Ташкент. Еще шла война, а в столице Узбекистана полным ходом продвигалось строительство невиданного в этих краях по масштабу и красоте театра. Забегая вперед, скажем, что театр, построенный академиком А. Щусевым, стал заметным явлением и в мировой архитектуре, он по праву считается одним из шедевров оперных сцен. Работали круглые сутки: строители, мастера декора, резчики по дереву, по мрамору, художники. В строительстве участвовало много пленных японцев. Работа была выполнена за три года, с августа 1944-го по ноябрь 1947-го. За грандиозную выдающуюся работу Чингиз Ахмаров в 1948 году был удостоен Сталинской премии 1-й степени, лауреату исполнилось в ту пору только тридцать пять лет. Жизнь складывалась удачно.

Итак, 1949 год, молодой сталинский лауреат берет академический отпуск в аспирантуре и остается в Ташкенте. Планов, проектов, замыслов, предложений — множество. Казалось, перед ним открыты все двери, сталинских лауреатов в Ташкенте в ту пору было мало. Припоминаю только легендарного Сергея Бородина, в 1942 году он выпустил культовую для русского духа книгу «Дмитрий Донской» и был тоже награжден Сталинской премией. К сожалению, до сих пор мало кто знает, что Сергей Бородин — нижегородский татарин. В Ташкенте умеют ценить таланты, лет тридцать назад открыли прекрасный музей Сергея Бородина, которым до сих пор заведует вдова писателя Рауза-апай. Но высокая премия только осложнила жизнь Ахмарова в Ташкенте. Среди коллег-художников, особенно старшего поколения, оказалось много завистников, имевших кое-какие заслуги, но далеких от возделенной Сталинской премии. Счеты сводили на идеологической почве — вариант беспроектный. Ахмаров никогда не скрывал, что ему дороги эстетические принципы восточной художественной культуры, литературы, поэзии, живописи. Он знал наизусть восточные легенды, поэмы Хайяма, Амира Хосрова Дехлеви, Рудаки, Хафиза. Знал десятки сказок, дастанов, любил поэтические образы влюбленных, музицирующих и танцующих стройных красавиц, образы поэтов, мудрецов, кравчих, да и самих великих ханов. Эти образы обо-

гащались художником духовной красотой и выразительностью. Некоторым коллегам такая тяга к прошлому, к истории Востока, поэтизации придворных поэтов, красавиц, мудрецов казалась антипартийной, буржуазной. Некоторые пошли дальше, назвали творчество Ахмарова пропагандой чуждой, враждебной эстетики, прославлением феодально-байских пережитков. Такие обвинения, в традициях 1937 года, в ту пору сломали не одну судьбу. Особенно усердствовали старшие коллеги В. Кайдалов и И. Уфимцев. Они неоднократно говорили на собраниях и писали в прессе об ошибочном пути, избранном молодым художником Ахмаровым. Писали жалобы и в Москву. В то время Союз художников Узбекистана имел в своих рядах мало местных художников, в основном работали выходцы из России и те, кто остался после эвакуации, уж очень им понравился Ташкент. Понимания и поддержки в Союзе художников Ахмаров, конечно, не нашел. Не заладились и отношения в семье, он был женат на художнице Шамси Хасановой.

Нужно отметить, что в эти трудные годы он плодотворно работает для кино, создаст более пятидесяти эскизов костюмов для фильма «Поэма двух сердец» Камиля Ярматова. Эта работа станет образцом для молодой киностудии.

Чтобы не обострять отношений с Союзом художников, Ахмаров решает вернуться в Москву. Появился и весомый повод, он получил персональное приглашение из Союза художников СССР на оформление станций московского метро. Он был уже хорошо известен в Москве. В 1953 году Ахмаров возвращается в столицу и на этот раз живет в Белокаменной восемь лет.

В Москве Ахмаров неистово отдается работе. Его приглашают преподавать в нескольких вузах, и он с удовольствием передает свой опыт и знания молодым. Здесь вокруг Ахмарова сложится творческий коллектив: И. Вайман, В. Гаврилов, В. Иорданский, В. Коновалов, А. Мизин, И. Шилова. Они создают мозаичные панно и фрески для интерьеров московского метро, известных гостиниц, санаториев, курортов, Домов культуры, театров.

В 1955 году Ахмаров неожиданно получает важный для него заказ на авторскую работу — единолично оформить интерьеры здания театра оперы и балета в Казани. Эта огромная и по объему, и по творческим замыслам работа займет у Ахмарова более двух лет.

Тут я должен сделать небольшое отступление. Ахмаров, выросший в образцовой татарской семье, где был культ татарской



литературы, где читали, думали, говорили на татарском, не мог не думать о своем творческом пути в Казани. Наверняка и в семье его ориентировали на Казань. Отец его, Габдурахман-ходжи, служил там в армии, и позже, работая у Гали Уразаева, часто бывал по делам в Казани. Тогда, в начале двадцатого века, да и сейчас в сердце каждого татарина жила и живет надежда послужить Казани, своему народу. Бытовала и семейная легенда, что родители Чингиза в молодости встречались с юным Тукаем.

К чему я это? В ранних дневниках и письмах Чингиза Ахмарова несколько раз встречается фраза, кричащая о боли: «Казань чужих не любит». Эта фраза обожгла меня как кипятком — через пятьдесят лет я сам скажу от отчаяния те же слова. И добавлю еще от себя, что поговорка «Иван, не помнящий родства» — не русская, а глубоко татарская. Наверняка молодой Ахмаров делал и раньше неудачные попытки закрепиться в Казани. От неудач, равнодушия Казани, думаю, и родилась эта выстраданная строка об отношении к чужим.

Но вернемся в 1955 год к нашему герою, восстановим события. Жаль, нет возможности узнать ответ напрямую от самого Чингиза-абы. Заказ очень обрадовал художника — почему? Ведь без работы он никогда не был, его талант всюду был востребован. Из Ташкента он уехал по серьезным причинам, идеологические разногласия в искусстве трудно сгладить, у руля Союза художников в Ташкенте оставались те же люди, его оппоненты. Ахмаров мог считать, что дорога туда закрыта навсегда. Семья распалась, он был холост. В Москве, несмотря на заслуги, он не имел жилья, в Масловке занимал очень маленькую узкую комнату с одним окном в общежитии. Жил по-спартански: казенная железная кровать, самодельная тумбочка и две табуретки. Даже эскизы держал на первом этаже в чужом чулане. Было ему в ту пору сорок три года, немало. А тут заказ на годы, и не где-нибудь, а в Казани. Разве у него, бездомного, одинокого, не могли возникнуть мысли, что этот заказ ему послал Аллах и в Казани он найдет жизненное прибежище? Оттого в оформление казанского театра он вложит всю свою душу, весь талант, надеясь, на то, что его заметят, оценят, что-нибудь предложат. Не оценили, ничего не предложили, вот и вторая версия горького вывода о Казани.

Тут уместны две параллели. Я как-то написал о равнодушии чиновников от культуры М. Ш. Шаймиеву: «Если бы сегодня был жив Нуриев, и он попытался бы устроиться в театр, тот самый,

оформленный Чингизом Ахмаровым, его бы и в кордебалет не взяли. Сказали бы — у нас своих, казанских, хватает».

Очень важная и болезненная тема, приведу еще одну параллель. Я очень часто радуюсь, что мать Чингиза Айтматова в 1938 году, после расстрела мужа, не вернулась с детьми в Татарстан. А ведь могла, у нее оставалась там родня. Какое счастье, что она не вернулась! Вернись — не было бы никакого всемирно известного писателя, прославившего страну, народ. Почему? Потому что Айтматов писал на русском языке. А в Татарстане писатель, даже татарин, пишущий о татарах по-русски — второсортный человек. Мучился бы Айтматов, как Диас Валиев, Рустем Кутуй, ждал бы, как и я, двадцать шесть лет книгу, вышедшую на татарском языке, хотя мои книги о татарах изданы миллионными тиражами. Не выпала судьба Чингизу Ахмарову жить в Казани, наверное, в этом и его счастье, он реализуется в другом народе, в другой столице.

В 1961 году судьба Ахмарова резко меняется. За те семь лет, что он не был в Ташкенте, там происходят грандиозные перемены и в культурной жизни тоже. Возрастает роль Министерства культуры, Союза писателей, складывается мощная национальная культурная среда. В Союзе художников появляются люди, влюбленные в искусство своего народа и понимающие в этом деле толк. Одним из таких людей был Искандер Икрамов, председатель Союза художников, он хорошо понимал значение творчества Ахмарова для республики. Икрамов лично едет в Москву и возвращается в Ташкент поездом вместе с Ахмаровым. В долгой трехдневной дороге в вагоне «СВ» они будут говорить только об искусстве и читать друг другу строки Алишера Навои.

Ахмарову уже почти пятьдесят. В Ташкенте сразу решаются все бытовые проблемы, получает он и мастерскую. Происходит новый, невиданный взлет творчества Ахмарова, окрыленного вниманием, заботой, возвращением в родные края. Ренессанс, да и только, откуда фантазия и силы взялись!

Он делает серию монументально-декоративных работ для музея Улугбека, росписи в вестибюле Института востоковедения имени Бируни. Отделывает здание музея Навои в Ташкенте, банкетный зал ресторана «Юлдуз» в Самарканде. Оформляет санаторий «Узбекистан» в Сочи, интерьеры станции «Алишера Навои» для ташкентского метро. Даже успевает сделать росписи в кафе в Красноярске — дар Узбекистана сибирякам. В эти годы он еще и преподает



в ташкентских художественных институтах, а в 1964 году вернется к книжной графике и оформит «Кашмирскую легенду» Шарафа Рашидова.

К Ахмарову приходят слава, почет, уважение. В 1964 году он становится народным художником Узбекистана, а в 1967 году получает Государственную премию имени Хамзы. Новая власть Узбекистана наградит его высшим орденом страны «За заслуги перед Отечеством».

После возвращения в Ташкент Ахмаров много путешествует по миру, объездит почти всю Европу, Египет, Турцию, Индонезию, Цейлон. Наконец-то он познакомится в музеях Парижа с картинами своего любимого художника Вермеера. В 70-е годы у него будут персональные выставки за рубежом, наладятся личные отношения с некоторыми крупными художниками мира, со многими из них он будет состоять в личной переписке, сможет принимать их в родном Ташкенте.

Познакомился я с Чингизом Ахмаровым в конце 70-х годов прошлого века в издательстве имени Гафура Гуляма. У меня выходила там очередная книга, а у него — новый роскошный художественный альбом, он курировал также выпуск знаменитой восточной серии поэзии, которую иллюстрировал вместе со своими учениками. Когда он появлялся в издательстве, его вмиг окружала молодежь, а девушки просто льнули к нему. Ахмарову было далеко за шестьдесят, одет он был во все белое, и сам — совершенно седой, стройный, элегантный, улыбчивый. Ему нравились внимание, восторг молодежи, видимо, именно такой он видел свою старость в юности. Однажды мой товарищ, молодой писатель Хайретдин Султанов, представил меня мэтру — знакомьтесь, очень талантливый юноша, тоже татарин, родом из ваших мест. Чингиз-абы улыбнулся, пожал мне руку и сказал: «Я уже знаю о вас».

Мне было известно, что он поддерживал связь с Аскадом Мухтаром и Зиннатом Фатхуллиным, классиками узбекской литературы, они тоже были татарами. Наверное, они рассказывали ему обо мне.

Заканчивая рассказ о Чингизе Ахмарове, никак нельзя обойти вниманием его близкого друга и коллегу Рафаэля Такташа. Да-да, сына нашего классика Хади Такташа. Почему? Рафаэль Такташ, на мой взгляд, дважды значительно повлиял на непростую судьбу Ахмарова. Я уверен, что к возвращению Ахмарова в 1961 году в Ташкент он, любивший и хорошо знавший творчество

художника, имеет непосредственное отношение. Познакомились они в 1949 году в Москве, когда Такташ учился на первом курсе Суриковского института, который окончил и наш герой. Такташ окончил, как и Ахмаров, там же аспирантуру. И в Ташкенте, и в Москве их пути часто пересекались, Такташ сам был художником и показывал свои работы мэтру. Ахмаров ценил поэзию отца Рафаэля Такташа и часто цитировал его стихи. Такташ быстро стал заметным искусствоведам, специалистом по узбекской живописи. В Ташкенте он станет доктором наук, известным педагогом в творческих вузах. А главное для подтверждения нашего предположения то, что он был в дружеских отношениях с Шарафом Рашидовым, о чем мало кто знал. Рашидов высоко ценил Такташа и всячески его поддерживал. В опальные годы Ахмарова, когда тот жил в Москве, Такташ не однажды встречался с художником, бывал у него в общежитии в Масловке и искренне горевал по поводу неустроенного быта крупного мастера. Убежден, что он не раз и не два говорил Рашидову о своем друге, и триумфальное возвращение Ахмарова в Ташкент — результат ходатайствований Такташа перед Рашидовым. Рафаэль-абы, как и его друг, был человек скромный и прямо об этом не говорил, но я читаю об этой поддержке между строк его воспоминаний об Ахмарове. У меня нет сомнений, что именно Такташ, с его уверенностью в огромном таланте друга, помог Ахмарову вернуться в Ташкент и занять достойное место в культуре узбекского народа. Еще одна не менее важная заслуга Такташа в том, что он, хоть и запоздало, перед самой смертью Ахмарова сумел соединить художника с его исторической родиной — Татарстаном.

Я не открою секрета, Такташ тоже не был доволен отношением к нему Казани. На каком-то этапе жизни он мог бы и сам переехать в Казань. Искусствоведам и педагогом он был замечательным, но его никто в столицу Татарстана не звал. Хотя десятки татарских писателей, деятелей культуры, бывая в Ташкенте, всегда встречались с ним, и он любезно всех привечал, показывал Ташкент, помогал в делах, щедро принимал, но никто за него в Казани не хлопотал.

Мягкий по натуре, но твердый по своим убеждениям, Рафаэль-абы дошел до М. Ш. Шаймиева, сумел убедить его в значении Ахмарова в мировом искусстве. Благодаря прозорливости М. Ш. Шаймиева за год до смерти Ахмаров все-таки был признан татарским художником, получил звание народного художника Татарстана. Восьмидесятилетний Ахмаров, плохо видевший и уже почти



не слышавший, будет приглашен на первый Всемирный конгресс татар. В эти же дни состоится первая в его долгой жизни выставка в Татарстане, правда, она будет только для гостей конгресса. Чингиз Ахмаров щедро отблагодарит Казань, передаст в дар музеям города много своих работ.

Удивительная, прямо-таки мистическая вещь, не единожды в судьбу художника счастливо вмешается высшая власть, в первом случае — Шараф Рашидов, во втором — Минтимер Шаймиев, и оба раза с подачи незабвенного Рафаэля-абы Такташа.

Третий случай связан с президентом Узбекистана Исламом Абдуганиевичем Каримовым. Государственные похороны на закрытом еще в 60-е годы мемориальном кладбище «Чиготай», да еще рядом с женой Шамси Хасановой, без ведома и одобрения первых лиц не делаются. Отмеченный на правительственном уровне в 2007 году 95-летний юбилей со дня рождения Чингиза Ахмарова и выпуск Гульнаррой Каримовой к этой дате роскошной книги воспоминаний художника — все говорит о любви и уважении президента к самому художнику и его творчеству. В этой статье я упомянул, что Ахмаров считал Самарканд родным городом и много сделал для него на века. Ислам Абдуганиевич — сам самаркандец, конечно, прекрасно знал об этом с детства, а, может, их судьбы или судьбы их родителей пересекались когда-то по-доброму. Деяния Всевышнего неисповедимы, не будем гадать. В последний путь Чингиза Ахмарова отправили с большими почестями, как великого сына узбекского народа. И дар Чингиза Ахмарова Татарстану — это не только личный дар художника, это щедрый дар узбекского народа и его властей. Ни одна страна не выпустит из рук наследие художника, почитаемое как национальное достояние, а картины Ахмарова таковыми и являются. Его творчество неразрывно связано с этой землей, именно с узбекским искусством и никаким другим. Поделиться таким заметным наследием, уважить просьбу престарелого художника — тоже может только глава государства. В этом широком жесте ярко проявились щедрость народа и его Президента. Спасибо Вам, Ислам Абдуганиевич!

Такташ так и умер в Ташкенте, не востребованный Казанью, как и его друг Ахмаров.

Умер Чингиз Ахмаров 13 марта 1995 года на 83-м году жизни. На могиле поставили прекрасный памятник работы скульптора Таджиходжаева, похороны были многолюдны. Хочется привести

несколько слов, сказанных Гульнарой Каримовой, выпустившей книгу воспоминаний художника: «Обаяние искусства Чингиза Ахмарова не объяснить только поэтическими образами, он создал свой художественный мир красоты и поэзии. Изданием этой книги воспоминаний художника хотим показать, что по-настоящему талантливые люди, которые с полной самоотдачей и любовью обогащают национальную культуру своими произведениями, своими творческими откровениями и мыслями, не будут оставаться в неизвестности. Мы помним их, и мы благодарны им за их мастерство».

Узбекистан оценил великого мастера Чингиза Ахмарова и отдал ему должное.

Уже совсем скоро — столетие со дня рождения великого художника, хочется, чтобы вспомнили его и в Татарстане. Он всегда хотел служить своему народу, но — не вышло, не позвали.

*Москва,  
2009*



# Дагжест интервью

Ф

рагменты интервью: «Кто ничего не умеет, тот не должен ничего хотеть», «Глухому звука не объяснишь», «Слагать из встречных лиц один портрет», «Пьянея звуком голоса, похожего на твой», «Культуру восстановить труднее, чем экономику», «Дарованное Всевышним не может принадлежать отдельным лицам», «Актюбинск — гавань моего сердца», — данных Раулем Мир-Хайдаровым газетам, журналам, телевидению.

— *Какие писатели, книги повлияли на становление вашего характера, вкусов, мировоззрения?*

— Мой любимый писатель Иван Алексеевич Бунин. Всем, кто хотел бы прочитать о любви, советую его роман «Жизнь Арсеньева». И. А. Бунин долго был под запретом и появился, как и Сергей Есенин, в хрущевскую оттепель. Люблю всего позднего Валентина Катаева. Блистательная проза! «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Прощай, Гульсары» Чингиза Айтматова. Почти всю поэзию Серебряного века и позднюю поэзию О. Мандельштама и А. Ахматовой. Из современных поэтов — Евгений Рейн, Татьяна Глушкова, Сергей Алиханов, Бахыт Кенжеев, живущий в Канаде. И совершенно блистательный, мудрый и ироничный, достойный продолжатель традиций Хайяма, Рудаки, Хафиза — Лоик Ширали. Из татарской поэзии: Туфан, Равиль Файзуллин, Мустай Карим, Муса Гали.



Из западных писателей — Ф. С. Фицджеральд, его я открыл для себя задолго до фицджеральдовского бума и этим горжусь. «Великий Гетсби», «Ночь нежна» перечитывал много раз, и они влекут меня по-прежнему. Герман Гессе, особенно его «Степной волк». Огромное влияние оказал на меня Дзюмпэй Гомикава романом «Условия человеческого существования». Я прочитал его в 1964 году, а в 1987 году его назвали лучшим японским романом XX века. А Япония, напомним, самая читающая и издающая книги страна мира. По этому роману японцы сняли 20-серийный фильм, возможно, и мы его когда-нибудь увидим. Открытие для себя в юном возрасте Фицджеральда и Гомикавы до сих пор греет мне душу, ведь в ту пору я работал обыкновенным прорабом.

Польский писатель Станислав Дыгат с его романом «Путешествие», Ален Фурнье, написавший всего один роман «Большой Мольн», выдержавший после его гибели в первую мировую войну более 50 изданий, Томас Вулф с его «Взгляни на дом свой, ангел». В юности сильное впечатление произвел Ремарк с его «Три товарища», Хулио Кортасар — «Преследователь», «Южное шоссе».

— *Какое влияние на вас и на ваше поколение оказало кино, киногерои вашего времени?*

— Кино... Пожалуй, кино по массовости своей, доступности сыграло главную роль в воспитании многих поколений, не только моего. Ленин не зря определил: из всех искусств для нас важнейшим является кино. Моему поколению повезло с кинематографом: он родился в нашем веке, стал зрелым к нашим юным годам и на наших глазах вместе с нами умирает. Лет с семи я начал ходить в кино. В Мартуке фильмы менялись через каждые два дня, это было неукоснительно, как приход московских поездов на нашу провинциальную станцию, где паровозы заправлялись водой и чистили топки.

Отчим мой, человек городской, из Оренбурга, кино любил страстно. У меня была обязанность бегать к почте, где вывешивали афишу, и сообщать, какое сегодня дают кино. Однажды вышел конфуз. Я сказал родителям без всякого подвоха, что идет фильм «Два яйца». Они и пошли на эти «Два яйца», ибо старались не пропускать новых фильмов. Надеюсь, вы, догадались, что это были «Два бойца» с Марком Бернесом, Борисом Андреевым, Петром Алейниковым. В послевоенном Мартуке каждая копейка давалась с трудом, но отчим на кино мне выделял, говорил, что кино открывает глаза на мир, воспитывает. Помню, как мне завидовали сверстники, счи-

тали счастливым, и мне приходилось пересказывать в классе, во дворе содержание фильмов. Так что к устному творчеству я общился рано.

Отчим оказался прав: кино во многом сформировало мое мировоззрение, вкусы. Явно оттуда, из детства, тяга к музыке, джазу, интерьерам, живописи. Послевоенное кино сплошь состояло из трофейных фильмов, из фильмов наших союзников по войне. Мы пересмотрели десятки голливудских фильмов, тех самых, что сегодня принято считать шедеврами мирового искусства. Еще до войны немцы экранизировали почти все известные оперетты Штрауса. Оффенбаха, Легара, засняли мюзиклы с участием мировых звезд тех лет, теноров Карузо, Марио Ланца. Экранизировали многие шедевры мировой литературы. Мы видели фильмы с участием Фреда Астора, Рудольфа Валентино, Марики Рёкк, Сони Хенни, Греты Гарбо, Кларка Гейбла, Грегори Пека, Чарли Чаплина, Рода Стайгера, Питера О'Тула. А к шестидесятым, годам нашей юности, подоспел и итальянский неореализм. Какие имена! Федерико Феллини, Витторио Де Сика, Франко Дзеффирелли, Бертолуччи, Домиани, Де Сантис, Этторе Скола...

А фильмы «Рокко и его братья» с молодым Аленом Делоном и Франко Неро, «Ночи Кабирии» с Джульеттой Мазини и Марчелло Мастрояни, «Бум» с Альберто Сорди, «Горький рис» с Витторио Гассманом и Марио Адорфом!

Этот список, звучащий как музыка, я мог бы продолжать и продолжать. А новое немецкое кино с Максимилианом Шеллом, Клаусом Брандауэром! Французское кино — это Жан-Люк Годар, Трюффо, Жерар Филип, Анук Эме, Бурвиль, Жан Габен, Жан Маре, Жан-Луи Трентиньян...

Хотите верьте — хотите нет, существовало целое десятилетие египетского кино, откуда вышел будущий король Голливуда Омар Шериф. А японские фильмы Акира Куросавы, шведское кино Ингмара Бергмана... Испанское кино великого Луиса Бенюэля, польское кино Анджея Вайды и Кшиштофа Занусси. Да и наше кино в ту пору шагало в ногу с мировым. Как же такой могучий заряд мог не формировать наши взгляды, вкусы, мироощущение?

Тем более, все, о чем говорилось — это здоровое, гуманистическое кино, воспитывавшее в человеке только высокое. Ну, со мной и кино быстро все стало ясно — лет в десять-двенадцать я уже страстно мечтал о другой жизни, стереотипы реальной окру-



жающей меня действительности никак не устраивали, и желание стало программным. Когда жизнь на закате, есть преимущество — ты можешь предъявить доказательства реализации тех или иных планов. На всем стоит тавро: проверено временем. Поэтому под влиянием кино, боясь опоздать в другую жизнь, в четырнадцать лет, после семилетки, я, единственный из трех параллельных классов, сел на крышу мягкого вагона поезда и укатил в город поступать в техникум. Обратите внимание — один из ста двенадцати своих сельских сверстников. Этим самостоятельным поступком я тоже горжусь всю жизнь.

— *Рауль Мирсаидович, что мог предоставить вам, юношам, вступающим в жизнь, провинциальный Актюбинск в конце 50-х годов в культурном плане?*

— Судя по вашему скепсису в голосе, вы наверняка думаете, что мы росли в культурном вакууме. Тут вы крепко ошибаетесь. С середины 50-х в ДК железнодорожников сложился народный театр. В репертуаре была классика. Три-четыре пьесы с прекрасными декорациями, костюмами, продуманным освещением. В 1957 году, когда я уже учился в Актюбинске, театр привез в Мартук «Бесприданницу» Н. Островского. Одну из ролей исполнял шофер нашей техникумовской полуторки. Как я гордился и театром, и нашим «артистом»! Они дали два спектакля — аншлаг, восторг, овации, успех! Все абсолютно так, как на премьерах в столицах — это я могу подтвердить как старый театрал. Такое сейчас невозможно и представить, а ведь существовал в Актюбинске и профессиональный театр. Зимой 1959 года на месячные гастроли приезжал Московский театр оперетты, выступал он на сцене сгоревшего позже ОДК. Что творилось в городе! Билеты — с боем, зал — переполненный, разговоры — только об оперетте. В конце января 1960 года гастролировал знаменитый Государственный эстрадный оркестр Азербайджана под управлением композитора Рауфа Гаджиева.

Оркестр — настоящий биг-бенд, семьдесят восемь человек — в три яруса, а ударник, с сияющими перламутровыми барабанами, медными тарелками — под самым потолком. Какие костюмы, декорации, световое сопровождение, блеск труб, саксофонов, тромбонов! Живьем музыка Гленна Миллера, Дюка Элингтона! Неожиданные аранжировки известнейших джазовых мелодий Джорджа Гершвина, Джерома Керна, Кола Портера, короля аргентинского танго Астора Пьяццоллы, сделанные знаменитым Анатолием Кальварским! Вос-

торг публики я просто не в силах описать, триумф — и только! Тогда еще не дробились ни страны, ни оркестры. С коллективом выступал и вокальный квартет, тот самый, что позже назовется «Гайя». Через три года в Ташкенте я вновь встречаюсь с оркестром и напишу восторженную рецензию, упомянув и актюбинский триумф.

Эта театральная рецензия станет моей первой публикацией. Она и позволит мне ближе познакомиться с музыкантами, и на десятилетия меня свяжет дружба с Рауфом Гаджиевым, певцом Октаем Агаевым, трубачом Робертом Андреевым, конферансье Львом Шимеловым, квартетом «Гайя», да и со всеми оркестрантами. Не раз я буду по их приглашению в Баку. А ведь все это началось в Актюбинске...

Весной того же 1960 года, уже во Дворце железнодорожников, выступал оркестр Дмитрия Покрасса. После моего отъезда приезжал оркестр Константина Орбеляна, где начинал в ту пору знаменитый Жан Татлян. Но главное — в другом: существовала своя внутренняя культурная жизнь Актюбинска. Какие вечера бывали в мединституте, культпросветучилище, кооперативном, нашем железнодорожном техникумах! В 44-й, в 45-й железнодорожных школах, во 2-й школе, в 11-й, в каждой из них была своя самодеятельность, свои эстрадные оркестры, солисты. Проезжая мимо полуразвалившегося ныне «Сельмаша», представьте себе, что там в конце 50-х существовал заводской клуб, где зимой бывали танцы под джаз-оркестр. Стекалась молодежь со всего города, попасть туда было ох как непросто. А в субботу-воскресенье — танцы в ОДК и в «Железке», тоже негде было яблоку упасть. А какие новогодние балы давались во дворцах и клубах! Но это уже отдельная тема. Нет, время и Актюбинск дали нам, молодым, возможность приобщиться к культуре.

— *Вы открываете нам новый взгляд на те культурные события, которые уже стали историей. Спасибо. В романе «Ранняя печаль» цитируется много поэтических строк и даже есть утверждение: «любите поэзию, в ней, как в Коране, Библии и Талмуде, есть ответы на все вопросы жизни». Поясните свой текст.*

— Только в точных науках есть единственно правильный ответ. Некоторые люди пытаются выстроить свою жизнь по четким математическим формулам, но даже если ориентироваться на элементы высшей математики, вряд ли они гарантируют счастье. Я воспринимаю жизнь на эмоциональном, чувственном уровне, оттого, наверное, мне ближе ответы на все вопросы бытия, которые я нахожу в поэзии. Поэзия стара как мир. Я сейчас процитирую вам Рудаки:



Поцелуй любви желанный,  
Он с водой соленой схож,  
Чем сильнее жаждешь влаги,  
Тем неистовее пьешь.

Или:

Не любишь, а любви моей  
Ты ждешь.  
Ты ищешь правды, сама ты —  
Ложь.

Скажите, после этих строк сильно ли изменились отношения между мужчиной и женщиной, что нового добавили века в эти отношения?

Хотите пример посвежее, поактуальнее:

Двухподбородковые ленинцы,  
Я к вам и мертвый не примкну.

Или самая печальная строка поэзии, которую я встречал когда-либо. Её написал десять лет назад недавно ушедший из жизни Евгений Блажиевский. В молодые годы он играл в футбол со знаменитыми нападающими Банишевским, Маркаровым в бакинском «Нефтянике».

И девушки, которых мы любили —  
Уже старухи...

К поэзии всерьез и навсегда я приобщился тоже в Актюбинске. Зимой 56-го года мой однокурсник Валерий Полянский тайком показал мне толстую тетрадь, исписанную каллиграфическим почерком. Это были стихи запрещенного в ту пору Сергея Есенина.

Она такая нежная, а я так груб.  
Целую так небрежно калину губ.

Там же была и его поэма «Анна Снегина» — вершина лирики.

Нам было семнадцать лет  
И девушка в белой накидке  
Сказала мне ласково: «нет»...

Или вот строка из чукотской поэзии:

И легче зиму повернуть  
 Назад по временному кругу,  
 Чем нам друг другу протянуть  
 Просящую прощения руку.

Да, я убежден, в поэзии есть ответы на все случаи жизни, но не всякому дано их услышать. Поистине, глухому звука не объяснишь.

— *Какие, на ваш взгляд, впечатления должны производить ваши книги у читателя, по максимуму?*

— Прежде всего, читатель должен ощущать разницу между своими знаниями и моими, моим знанием жизни или описываемого предмета, ситуации. Если это случится, то книга будет читаться и перечитываться, передаваться из рук в руки. И тогда читатель будет приобретать мои новые произведения, не глядя на аннотацию, рекламу и даже качество полиграфии, ему важно другое — сам автор.

— *И часто такое происходит с читателем?*

— Уже произошло. Против цифр, факта не попрешь. Пять миллионов книг, таков на сегодня тираж моих изданий, они ведь у читателя на руках. Мои книги читают и высоколобые интеллектуалы, и водители-дальнобойщики. На встречах с читателями в таких же полярных коллективах, как академики и шоферы, везде задают один и тот же вопрос: откуда вы это знаете? Я получал раньше тысячи писем, мешки писем — с этим же вопросом. Видимо, эти знания основательны, профессиональны, если после написания романа «Пешие прогулки» юристы были уверены, что я бывший прокурор высокого ранга. Если после романа «За все — наличными», где я затронул вопросы творчества казанского художника академика живописи Николая Ивановича Фешина, эмигрировавшего в Америку в 1922 году и там занявшего достойное его таланту место в мире, я стал получать предложения от многих журналов по искусству написать статьи о нем, предисловия, аннотации к его буклетам, проспектам.

В молодости, работая в строительстве, из-за страсти к футболу я вел колонку футбольного обозревателя в одной из ташкентских газет. Во время матча я занимал место в секторе для прессы и так горячо комментировал вслух, что надо делать тому или другому тренеру, что однажды неожиданно для себя получил предложение стать вторым тренером команды в классе «Б». Впрочем, отгадку на многие вопросы, откуда я это знаю, читатель может найти в «Ранней печали». Признаюсь, этот роман дорог мне.



— Ваш роман «Пешие прогулки» стал настольной книгой для многих юристов. Более того, они были убеждены, что роман написан бывшим прокурором высокого ранга, решившим в перестройку за все унижения от партийной власти крепко хлопнуть дверью. Известно, что следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР Б. Е. Свидерский, тот самый, что засадил за решетку Ахматжона Адылова, сказал: «Мне кажется, что это я написал «Пешие прогулки».

Оценка романа профессионалом такого уровня должна быть дорога для автора. В связи с этим вопрос: какие законы вы ввели бы в первую очередь, будь на то ваша воля?

— Начнем с того, что нужно реализовать, прежде всего, принцип неотвратимости наказания, и второе — все законы должны быть в пользу законопослушных граждан.

Презумпция невиновности — это, конечно, хорошо, но в наших условиях она работает эффективно только в пользу богатых и власть имущих.

**Первое.** Что бы я сделал, будь на то моя воля, отменил освобождение под денежный залог. В бедной стране это — дискриминация большинства населения.

**Второе.** У нас сплошь рецидивная преступность. Есть случаи, когда получают срок и по десять, и по пятнадцать раз. Я считаю, что по особо тяжким преступлениям нужен порог преступности: два-три раза, а дальше — суровый приговор, по-китайски. Иначе волну преступности не сбить. В Америке, кстати, третья судимость по одному и тому же виду преступления карается пожизненным заключением.

**Третье.** При въезде в страну обязательно декларировать не только наличную валюту, но и судимости, даже погашенные.

**Четвертое.** Тюремный срок надо определять по совокупности всех преступлений.

**Пятое.** В стране много немотивированного насилия. Сотни тысяч изуродованных, искалеченных, ставших инвалидами людей. Тут, на мой взгляд, одного тюремного срока мало. Человек, сделавший инвалидом другого, должен до конца жизни выплачивать ему определенную компенсацию. Сейчас оплату вместо преступника делает, в лице государства, законопослушный налогоплательщик.

**Шестое.** Сегодня в чудовищных масштабах происходит насилие над детьми. Насилуют и десятилетних, и пятилетних, преступления сплошь рецидивные. Растлители попадают по пять-десять раз.

Ученые давно доказали, что подобная гнусная извращенность не проходит никогда. Нужен радикальный подход — следует кастрировать сразу, плюс тюремный срок. С точки зрения медицины, это простейшая операция. Скажете — сурово, жестоко? Да, согласен. Не хочешь стерилизации — не трогай детей!! А сломанных судеб детей, родителей вам не жаль?

**Седьмое.** Еще один закон мне кажется важным — о предательстве в рядах милиции. Тут я вижу простейший выход. Предатели из органов, к ним можно добавить и госчиновников, должны отбывать наказание не в специальных тюрьмах, как сейчас, а в общих. Страх неотвратимости возмездия обязательно сыграет свою роль. Еще закон, косвенно связанный с милицией. Почти каждое третье преступление ныне совершается уголовниками в форме милиционера, с поддельными удостоверениями, фальшивыми документами. Только за незаконное использование атрибутов власти нужна дополнительная статья, равная статье за содеянное преступление! А что творится в судах?! Подсудимые откровенно, перед телекамерами, угрожают судьям, потерпевшим, свидетелям. И закон не позволяет судье тут же добавить год-другой. Даже на футбольном поле законы куда более суровы. Скажи футболист судье что-нибудь оскорбительное, тут же последует наказание — удаление с поля! Кстати, в США действует закон «Об уважении к суду».

Спросив, какие я немедленно ввел бы законы, вы наступили мне на большую мозоль. Их десятки, поэтому надо остановиться и лучше написать для вас специальную статью. Но о законах я хотел бы сказать и еще кое-что. Я твердо убежден, что ясные, жесткие, своевременно принятые законы решают половину любой проблемы. Оттого, что мы никогда не жили по законам, мы еще не поняли, не оценили их силу. В советское время в республиках вину центр во всех грехах и в отсутствии мудрых, своевременных законов тоже. Уже десять лет новым государствам Москва не указ, но законодательство у всех практически идентичное. На всем постсоветском пространстве с завистью говорят лишь об узбекском законе, касающемся угона автомобилей. Там ужесточили меры — машины перестали угонять.

Любое преступление нужно сделать финансово нерентабельным, и оно само сойдет на нет. Свободу ценят все, особенно преступники. Меня постоянно спрашивают: как бороться с квартирными кражами? Тут необязательно увеличивать срок, важен другой показатель — чтобы у потерпевшего не было финансовых претензий.



Пока вор не вернет украденное, он должен сидеть в тюрьме. А сейчас он шлет из камеры угрозы тому, кого обворовал, долг не гасится совсем, а срок исправно идет, день свободы близится. Здесь закон явно в пользу преступника.

— *Какие черты характера для вас наиболее нетерпимы в людях?*

— Лень. Безответственность. Лень, на мой взгляд, главная основа всех человеческих пороков. Остерегайтесь ленивых людей.

— *Ваша любимая пословица?*

— «Кто ничего не умеет, тот не должен ничего хотеть», «Когда коровы воду пьют, телята лед лижут», «Кто спит с собакой, тот наберется блох».

— *Вопрос-бумеранг на ваш недавний ответ. Вы сами — не ленивы?*

— Я отработал в строительстве более двадцати лет, одновременно заочно учился, писал книги. На «вольные хлеба», то есть работать на свой страх и риск, без зарплаты, ушел в 1980 году. Кстати, редкие писатели отваживаются на такой шаг. Большинство отираются в штатах газет, радио, журналов, издательств, где есть гарантированная зарплата. Мало написать рассказ, его надо издать — оплата по выходу в свет. А написал я семь романов, десятки повестей и рассказов — все изданное составляет десять-двенадцать томов. Трудно назвать меня ленивым. Возможно, оттого я ленивых вижу насквозь, чую за версту.

— *Еще один вопрос о ваших качествах. Рауль Мирсаидович, вы — жесткий человек?*

— Тут ответ без раздумий — да, конечно. Например, я — за смертную казнь. Новые государства никогда не выйдут из нищеты и не станут самостоятельными, если у них в период становления не будет жестких законов.

Если изменится жизнь, то законы можно поменять быстро, это в руках парламента. Сегодня за жуткие убийства наказывают десятью-пятнадцатью годами тюрьмы, а убийцы — сплошь от пятнадцати до двадцати пяти лет. В тридцать с небольшим эти подонки выйдут на волю и будут убивать вновь, тут — сомнений никаких. Для кого такое милосердие? За жизнь нужно расплачиваться только жизнью! И тут не надо оглядываться на законы сытого Запада, убивают ведь у нас и нас.

Аргумент гуманистов против смертной казни таков: мол, жизнь дал Господь Бог и только он может отнять ее, а никак ни закон, не го-

сударство. Вроде бы резонно. А убийца разве Господь Бог, чтобы отнимать жизнь у другого?

Самое интересное, что народ, в случае референдума, обязательно проголосовал бы за смертную казнь. Такого разгула преступности и беззакония, наступившего с приходом к власти М. Горбачева, история еще не знала. Побиты все криминальные рекорды, и даже фальшивая государственная статистика преступлений, заниженная в десятки раз, пугает людей. Но этого никак не понимают законодатели и чины, призванные бороться с преступностью.

— *Что для вас означает понятие — свобода? Сегодня вам легче дышать как гражданину, как писателю?*

— Я давно был убежден, что если у человека нет внутренней, личной свободы, то и внешняя, разрешенная, декларированная свобода ему тоже не очень нужна. Время лишь подтвердило мою правоту — большинству граждан нынешняя свобода оказалась в тягость, они бы её с удовольствием променяли на что-нибудь гарантированное, материальное...

Совсем юным пятнадцатилетним мальчишкой я прибил к редкой по тем временам в Актюбинске компании стилиг. Небезопасное увлечение — могли отчислить из техникума, лишить общежития, дружинники могли порезать твои единственные узкие брюки. Но на это меня толкала внутренняя свобода. Мой личный вкус, моё понимание моды, эстетики. Позже я и дня не был в КПСС, хотя хорошо знал, что с партийным билетом шагать по жизни легче. Это тоже осознанный выбор, чтобы сохранить внутреннюю свободу. Любое членство, особенно в идеологической организации, крепко обязывает. Издав первые книги, я тут же написал роман о мафии, о партийных казнокрадах, о несправности гражданина, даже если он и прокурор. Наверное, я догадывался, что меня за это по головке не погладят — уж я-то знал хорошо тех, о ком писал.

Результат известен — я стал инвалидом, в пятьдесят лет пришлось оставить в Ташкенте роскошную квартиру, загородный дом, отлаженный быт и начинать жизнь в России с нуля: с прописки, гражданства, жилья. Кстати, сорок лет назад в Ташкенте, чтобы получить прописку, я вынужден был год отработать слесарем на авиазаводе, имея уже диплом и опыт инженерной работы в Экибастузе. Судьбу эмигранта в России я хлебнул сполна. Только спустя восемь лет у меня появилась крыша над головой, которую мне никто не дал. Свобода одним указом «О свободе» не реализуется, равно как и демо-



кратия, которую сегодня обыватель ждет не дождется. И не дождется, как вчера не дождался коммунизма.

И еще о свободе, уж очень важная тема. Я убежден, что человек не может получить от общества, государства свободы больше той, которой он обладает в себе. Свобода, на мой взгляд, не может отождествляться с государственным строем, будь то тирания или демократия. Свобода — это, скорее, свойство человека, чем социальная данность.

— *Иногда пресса пишет о бесполезности борьбы с преступностью, о том, что мафия бессмертна. Как вы оцениваете ситуацию? Ждет ли нас свет в конце туннеля?*

— Я не разделяю настойчиво навязываемую массам мысль, что мафия бессмертна. Убежден: с ней всерьез еще не боролись. Давайте беспристрастно заглянем по обе стороны баррикад. Воров в законе на территории бывшего СССР около семисот. Газета «Кто есть кто» в 1996 году напечатала всех их по имени-отчеству, какие кликухи, за что сидели, что контролируют. Следует добавить, что грузинские, армянские, азербайджанские, узбекские мафиози после развала СССР почти поголовно переехали в Россию, а точнее — в Белокаменную. Такая Москва гуманная, заботливая. К слову сказать, девяносто процентов расхитителей народного добра из бывших советских республик, находящихся в розыске, тоже обитают в Москве. Но вернемся на баррикады. Кроме воров в законе, есть еще и уголовные авторитеты — их три-четыре тысячи. Взглянем на нашу сторону баррикад. Одних многозвездных генералов в силовых структурах России более десяти тысяч, по полтора десятка на каждого вора в законе! А офицеров — от полковников до лейтенантов, — этих уже тысячи на каждого преступника. О рядовых, с той и нашей стороны, и речи не идет, за нами десятикратный перевес. Ежегодно Россия присваивает двести пятьдесят-триста генеральских званий, а воров в законе коронуется на всем постсоветском пространстве не больше двадцати, отбор жесточайший — это не паркетных генералов штамповать.

На нашей стороне еще и целая армия прокуроров, судей, следователей, десятки спецслужб — и после этого утверждать, что мафия бессмертна, что с ней бессмысленно бороться?!!

— *Что может вывести новые государства на постсоветском пространстве на новый качественный уровень жизни?*

— Собственность. Культура. Образование. Собственности сегодня народ не имеет нигде, а культура и образование стремительно падают с каждым днем. В России сложилась невероятная ситуация:

есть класс буржуазии, есть олигархи, но нет... капитализма. Еще одна российская уникальность — у государства нет собственности, но нет и класса собственников. В Российской армии среди призывников сегодня есть абсолютно неграмотные люди. Двадцать лет назад такое не могло прийти в голову даже самому оголтелому пасквильянту и антисоветчику.

— *Может, Запад не помогает нам, как Европе, после войны?*

— Вы имеете в виду план Маршалла? Тут я вас огорчу, а кое-кого, наверное, даже шокирую. Россия получила денег от Запада гораздо больше, чем по плану Маршалла было вложено в экономику всех пострадавших от войны стран, вместе взятых.

От гигантских финансовых вливаний в Россию итог один, и весьма плачевный — долг более 156 миллиардов долларов. Для примера — иная парадоксальная ситуация: СССР вышел из тяжелейшей войны мощной индустриальной державой. Через пять лет восстановил треть своих территорий, еще через пять стал космической державой. К середине 60-х СССР назывался супердержавой, с лучшим в мире флотом, авиацией, атомной энергетикой и так далее.

Из реформ Горбачева и Ельцина Россия выползает без космоса, флота, авиации, промышленности и так далее. Нам, оказывается, даже деньги во вред. За всю свою историю Россия переживает сейчас самый затяжной кризис, которому не видится конца. На мой взгляд, теперь мы вступаем в новую его фазу — за пятнадцать лет растранижены все ресурсы государства, пришли в негодность заводы и фабрики, электростанции и АЭС, газопроводы и нефтепроводы, растащены торговый и рыболовецкий флот, гражданская авиация, на ладан дышит железная дорога. Мы на пороге перманентных технологических катастроф.

— *Мрачно зато получается, Рауль Мирсаидович.*

— Согласен. Но я так вижу, к сожалению. Помните анекдот, появившийся с приходом М. Горбачева? Спрашивают: «А что будет после перестройки?». Отвечают: «Пятилетка восстановления народного хозяйства!». Сбылось копейка в копейку, только о планах восстановления пока не слышно.

— *Что вас больше всего потрясло за последние годы?*

— Наверное, потрясений в собственной судьбе хватает с избытком: после покушения стал инвалидом, оставил дом в Ташкенте. В пятьдесят лет пришлось начинать жизнь в России заново, с нуля. Но так случилось с миллионами моих сограждан, тяжкий крест вре-



мени я несу с большинством народа. За эти годы произошло с нами и со страной много нелепого, страшного, невосполнимого. Но шокировали меня два события. Первое, когда М. Горбачев вдруг стал рекламировать пиццу, а второе — чуть раньше. В эпоху горбачевских же кооперативов один из бывших руководителей Мартукского района вдруг объявился привратником в одном из актюбинских кооперативов. Что им не хватало, умирали с голоду? Ни чести, ни достоинства, ни мужской гордости. Жалкие заботы о своей шкуре.

— *К своему 60-летию вы успели многое: заслуженный деятель искусств, ваши избранные собрания сочинений вышли и в России, и на Украине, причем и там, и там дважды, роман «Пешие прогулки» выдержал восемнадцать изданий. В Мартуке есть улица вашего имени и литературный музей, ваше имя вошло в энциклопедии нескольких стран, ваши произведения переводились на другие языки, общий тираж книг достиг пяти миллионов. Вы собрали значительную коллекцию современной живописи, знакомы и дружны со многими сильными и известными людьми мира сего. Вы счастливый человек? Считаете ли вы, что ваша жизнь состоялась?*

— При кажущейся прямоте и ясности вопроса он по-восточному полон философии и скрытого смысла. Тут односложным «да» или «нет» не отделаться, ответ в любом случае получится многомерным. Сразу на выручку приходит поэзия, в которой, как я не раз заявлял, есть ответы на все вопросы бытия: «...и все сбылось... и не сбылось». Но если всерьез, ответ и будет колебаться между «сбылось» и «не сбылось». В амплитуде этих жизненных качелей — и вся моя судьба... Успехи, неудачи, потери, обретения, неожиданные радости, признание земляков и любовь читателей.

Поколение, к которому я принадлежу, называют военным, к нему близки по духу родившиеся лет на пять раньше войны и чуть позже — лет на шесть-семь. На мой взгляд, люди этих поколений невыполнимых задач перед собой не ставили, на несбыточные фантазии не замахивались. Получить высшее образование, достичь успехов в профессии, быть полезным Отечеству, народу — в этом мы видели свою цель. Наверное, я должен уточнить, что, говоря о поколении, я имел в виду ту среду, из которой вышел сам, хотя надо отметить, что общество в пору моего взросления было более однородным, уровень жизни во всех его слоях не сильно различался, как стало это заметным в 70-х, не говоря уже о сегодняшних днях. Я не слышал, чтобы в моем кругу юноши 50-х годов мечтали стать дипломатами,

писателями, послами, кинорежиссерами, банкирами, они не рассчитывали объездить мир, иметь загородные особняки, «мерседесы», отдыхать на Ривьере и в Ницце.

Оттого, наверное, в моем поколении меньше людей, разочаровавшихся в жизни. И если некоторые из нашего поколения достигли обладания очень большими материальными благами, они пришли к ним закономерно, не рвали и не закладывали за них душу, не перешагивали через трупы. Другое дело — поколения, идущие вслед за нами. Они родились в эпоху расцвета и мощи советского государства и изначально рассчитывали на очень высокое качество жизни — тут мечты не знали предела.

Но развал СССР сыграл с ними злую шутку, большинству из них никогда не достичь даже уровня жизни их родителей, ибо те жили в одной из двух сверхдержав мира. Оттого у многих нынешних сококалетних апатия к жизни, душевная опустошенность. Слишком высокую планку они ставили перед собой, слишком радужной видели свою жизнь в будущем. Отвечаю на ваш вопрос вопросом: «Мог ли мальчик, один из ста двенадцати сверстников, единственный из трех параллельных седьмых классов, решивший поступать в железнодорожный техникум, рассчитывать, что некогда станет известным писателем и сегодня будет давать вам это интервью?» Конечно — нет! Такое не только не снилось, но о таком даже не мечталось. Но в каждом из нас природой, Всевышним заложено многое, и таланты в том числе. Уже тогда, в юности, уезжая в техникум из Мартука, никак не связывая свое будущее с литературой или искусством, я чувствовал в себе жажду приобщения к культуре. Я знал: чем бы я ни занимался в жизни, у меня в доме непременно будут книги, музыка, картины, я буду ходить по музеям, на концерты, обязательно стану театралом. Я уже говорил в одном из своих интервью, что книги и кино в определенной степени сформировали мое мировоззрение, вкусы, отношение к жизни. Человек начинается с детства. Это не мной сказано, но это так. До перестройки книгами и кино не были обделены даже самые захолустные уголки нашей Родины, важно было душой тянуться к прекрасному, духовному. Даже сейчас от волнения меня бросает в дрожь, когда я слышу фразу: «Театр у микрофона...». Лет с десяти постоянно слышал эти слова, уносившие меня в волшебный мир искусства. Мое первоначальное знание о театре, опере, классической музыке пришло из эфира. Только потом, через годы, я увидел «живьем» знакомые театральные и оперные постановки, слушал знаме-



нитые оркестры и выдающихся исполнителей. Я до сих пор помню голоса мхатовских корифеев: Качалова, Комиссаржевской, Мордвинова, Степановой, Яншина, Грибова, Яблочкиной, Якута, Пруткина, Кторов, Книппер-Чеховой. Записывая спектакли на радио, они знали, что адресуют свое искусство массам, приобщают нас к прекрасному, вечному. В детстве все западает прямо в сердце и навсегда. Если бы меня спросили в школьные годы, что такое Отечество, государство, власть, я бы, наверное, ответил: это спектакли театра у микрофона, симфонические концерты Чайковского, Скрябина, Прокофьева, Сайдашева, Жиганова, Яруллина, Монасыпова, Рахманинова — так я ощущал далекий в рубиновых звездах Кремль. То послевоенное государство не могло дать мне многого, но, оказывается, дало главное — открыло дверь в мир искусства, а через культуру пришло ощущение Отечества, своего народа.

Гуляя босоногим мальчишкой по улицам Мартука, носившим имена Ленина, Сталина, Буденного, Ворошилова, я и представить не мог, что улица Красноармейская будет через какое-то время носить мое имя и на ней появится красавица мечеть, первая в столетней истории поселка, в строительство которой и я вложил немало средств. В каждый приезд я навещаю мечеть и не спеша прохожу по «своей» улице. Признаюсь, задай вы вопросы в эти минуты, я, безусловно, ответил бы, что я человек счастливый и считаю свою жизнь состоявшейся. За всю историю Мартука только четыре Героя Советского Союза и я удостоились чести, чтобы нашими именами назвали улицы нашего детства. Пожалуй, этой наградой общества я горжусь больше всего.

Я был очень счастлив, когда мой первый рассказ «Полустанок Самсона» опубликовали в Москве, когда вышла первая книга, когда стали приходить письма от читателей. Когда я лежал в больнице после покушения и ко мне вдруг потоком пошли люди, прочитавшие «Пешие прогулки», — их любовь, поддержка окрылили меня. И я вновь почувствовал себя счастливым, ибо привела ко мне людей сила искусства, значит, я сумел достучаться до сердец читателей. Наверное, постоянно счастливым человек быть не может, а если такой все-таки найдется, видимо, он будет смахивать на идиота. Разве можно быть спокойным душой и счастливым, если оглянуться вокруг? Если улица твоего имени находится в поселке, переживающем жесточайший кризис: безработица, кругом бедность, упадок, люди бросают дома и уезжают в неведомое. А ведь совсем недавно, до горбачевской пе-

рестройки, это был цветущий райцентр, где в каждом дворе стояла машина, а то и две. Работали четыре завода, несколько автобаз, две фабрики, двадцать детских садов, с шести утра до полуночи с интервалом в полчаса ходили в город переполненные «икарусы». В лучшие годы на первенстве Мартука играли до шестнадцати футбольных команд! А районные спартакиады превращались в настоящие праздники. Открою и тайну, которой поделился со мной в конце 70-х управляющий местным сбербанком: у каждого из пятисот вкладчиков Мартука лежало на книжке по сто тысяч рублей! Чтобы было понятно нынешнему поколению, переведу в доллары — это более ста тридцати тысяч! Вот такие горбачевские качели вышли — одним махом из богатства в нищету.

А каково молодежи?! Мы тоже вступали в жизнь не в лучшие для страны годы, но у нас было гарантированное будущее, перспективы. В своем будущем мы нисколько не сомневались, нам поистине были открыты все пути. А каким мы оставляем мир после себя, какую экологию? В годы моего детства Илек был не только кормильцем и поильцем, но и красою края, десятки поколений выросли на его берегах, тысячам и тысячам он снится. Сейчас эта загаженная заводами река губит все живое на своем пути, в Мартуке уже давно отравлены подпочвенные воды. Подумайте, колодезная вода, воспетая в сказках, легендах и песнях, стала отравой!..

В начале 50-х годов была успешно выполнена одна из самых грандиозных программ по озеленению страны. Леса были необходимы степным краям, и более чем на треть программа реализовалась именно в Казахстане. Высадили сотни тысяч километров лесополос вдоль железнодорожных, автомобильных, проселочных дорог и колхозных полей. За пятьдесят лет у нас зашумели настоящие леса со зверьем, ягодами, грибами, сенокосом. И вот сегодня этот рукотворный лес, высаженный и выросший на моих глазах вокруг Мартука, да и по всему Казахстану, нещадно вырубается. Людям нечем топить, и через два-три года весь лес может быть изведен на корню. А это грозит неминуемой экологической катастрофой. Люди от безысходности лишают себя будущего, а ведь у нас под боком и высыхающий Арал.

Отвечая на ваш вопрос, можно бесконечно говорить о радостях и удачах, их за жизнь выпало немало, и если их перечислять, упоминать, с кем знался, где бывал, что видел, то это может показаться банальным хвастовством. Но причин, поводов, от чего душа болит и на сердце неспокойно, к сожалению, гораздо больше, чем радостей,



сколько их ни перечисляй. На фоне невзгод страны, лишений людей, тупика, в который зашло общество, кризиса всего и вся личные успехи кажутся несущественными, мелкими, несвоевременными даже в юбилей. И мне остается лишь вернуться к поэтической формулировке, высказанной в начале, она наиболее адекватна моему настроению и обстоятельствам и лишний раз подтверждает мудрость поэзии: «...и все сбылось и не сбылось...».

— *В перестройку, когда открылись границы, многие писатели, артисты подались на Запад, другие дружно повалили в политику, во власть. Не было ли у вас мысли осесть где-нибудь в Европе или, используя имя, популярность, стать политиком? Ведь ваши романы — об экономике, политике, власти? На иных страницах и сегодня можно прочесть не принятые до сих пор готовые законы или программы для целых партий, а люди из спецслужб считают вас крупнейшим аналитиком, точно просчитавшим ситуацию на десятилетия вперед.*

— Да, было такое время. Многие в ту пору уезжали в Израиль, Америку, Германию. Выросшие на голосах западных радиостанций, они и впрямь верили, что нужны там, что только там оценят их талант, особенно материально. К сожалению, интерес к ним подогревался только политикой. Упал железный занавес, кончилась победой Запада война идеологий, интерес пропал не только к ним лично, но и ко всей нашей культуре, и к стране в целом. Вернулись домой без шума, без помпы почти все. Остались из известных только Александр Межиров и Наум Коржавин, люди преклонных лет, получающие, на наш взгляд, огромные пенсии. К сожалению, сейчас у Запада окончательно пропал интерес к России, там ясно видят наш тупик, и не только экономический. Некоторых из выдающихся музыкантов, певцов они уже перетянули к себе: постоянно живут там Хворостовский, Казарновская, Кисин. Осели на Западе известные шахматисты, футболисты, хоккеисты, боксеры, тренеры, а исполнители блатных песен — всякие там Ляли Черные, Саши Рыжие — вернулись, они и правят бал в новой России.

В 1988 году, за три года до развала страны, после выхода романа «Пешие прогулки» на меня было совершено покушение. Вероятно, первое из политических покушений. Уже потом, через два-три года, начнут убивать почти каждый день, и не будет понятно, то ли из-за политики, то ли из-за больших денег, как, например, с В. Листьевым. Но в моем случае деньгами и не пахло. Роман вызвал огромный ин-

терес, сразу появились и второе, и третье издания, вышедшие невероятными тиражами по 250 000! В больнице появился корреспондент американской газеты «Филадельфия инкуайер» Стивен Голдстейн, который подготовил обо мне огромный материал, на целую полосу, под названием «Исследователь мафии». Позднее эта статья привлекла внимание многих крупных европейских газет и телекомпаний, интересующихся русской мафией. Чуть позже появились и другие американцы, они предложили мне грин-карту, о которой мечтают миллионы граждан бывшего СССР. Но я, к их невообразимому удивлению, отказался. У меня и мысли не было уезжать из страны, хотя в больнице я уже понимал, что покинуть Ташкент придется. Я ни в коем случае не связываю отказ стать американцем с идеологическим патриотизмом, это, прежде всего, связано с моей ментальностью. Я хочу жить на Родине! И останусь при любом режиме. Даже если он мне и очень сильно будет не нравиться. Мечта миллионов — грин-карта — меня нисколько не прельстила, не жалею об этом и сейчас, спустя двенадцать лет, хотя жизнь эмигранта в Москве я познал сполна, и будущее России видится мне совсем не радужным.

Теперь о возможности моего вхождения в политику, во власть. Судьба и тут предоставляла мне реальный шанс, билет в сытую жизнь подавался, как говорится, на блюдечке с голубой каемочкой. Придется вернуться опять в 1988 год, в больницу. В ту пору свободно избирался Верховный Совет — первая ласточка долгожданных демократических свобод. Страна бурлила, кипела, ночами просиживала у телевизора, ходила на митинги. Однажды в палату ко мне пришла, почти в полном составе, избирательная комиссия одного из столичных округов, а конкретнее — авиазавода. Ее члены и предложили мне выставить свою кандидатуру.

«Пешие прогулки» в ту пору зачитывались до дыр, передавались из рук в руки, я получал мешки писем. Сам роман служил избирательной программой, а моя судьба на тот момент не нуждалась в рекламе, поистине это был мой звездный час. Я подходил в депутаты по всем параметрам. Конечно, предложение обрадовало меня, подняло дух, но я попросил два дня на размышление. В эти дни я многое передумал и, как мне кажется, принял правильное решение — отказался. В ту пору я не предполагал, что политика — настолько грязное занятие, хотя особых иллюзий на этот счет не питал никогда. Чем я мотивировал отказ, прежде всего для себя? В перестройку литература имела колоссальное влияние на умы людей — «Пешие



прогулки» тому подтверждение. Я был убежден, что имею трибуну гораздо более эффективную, чем депутатский мандат. Читатели ждали моих новых книг, где были и рецепты новой, свободной жизни. И я знал, что напишу такие книги. Я крепко огорчил людей, уже видевших меня своим депутатом, но с ними у меня надолго сложились глубокие личные отношения, и я им до сих пор признателен за то, что они поддержали меня в трудную минуту. Я не обманул ожиданий своих читателей, написал один за другим, в рекордно короткие сроки, еще четыре романа, зафиксировавших хронику смутного времени и предугадавших наш нынешний, увы, не победный путь. Романы и сегодня не потеряли актуальности, читаются с интересом, продолжают переиздаваться, ибо оказались провидческими. Депутатский мандат, который почти был у меня в руках, получил молодой офицер В. Золотухин. Я пытался следить за его судьбой, но след его с развалом государства для меня затерялся.

Жалею ли я о том, что не попал в первый свободно избранный Верховный Совет вместе с Собчаком, Бурбулисом, Ельциным? Нет, тем более что время показало: единомышленников у меня там было бы не много. Говорить о том, что я упустил шанс воспользоваться высокой трибуной — смешно. Даже великому мудрому Сахарову не давали рта раскрыть — об этом и сейчас горько вспоминать. Зато в романе «Масть пиковая», вышедшем в начале 90-го года, когда Михаил Сергеевич как раз затыкал рот Андрею Дмитриевичу, я показал Горбачева Геростратом своего Отечества. Сегодня с моей оценкой согласны многие, большинство.

И напоследок — об аналитике. Я убежден, что литература прозорливей любых аналитиков и политических предсказателей. Хорошо написанные книги становятся самой историей и воспринимаются адекватно реальной жизни, по ним судят о прошлом. Пример тому — великий роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая» — там вся история, быт казахов. Ни один научный трактат не дает такого всеобъемлющего знания о казахах, как этот гениальный роман.

— *Вы и в советское время издали немало книг, успели выпустить в «Художественной литературе» большой однотомник избранного. «Звезда Востока» и московский журнал «Мы» на своем пику имели полумиллионный тираж — фантастическая цифра! Когда вам печаталось лучше — тогда или сейчас? Не тоскуете ли вы по прежним временам, когда писателю создавались почти идеальные условия для жизни и творчества?*

— Коварный вопрос. Не хочется плевать в прошлое, — слишком многие заняты этим теперь, — но и вводить в заблуждение читателя не желаю. Писательская среда слишком специфична, о ее жизни бытует много мифов, далеких от реальности. Чтобы не оставлять себе пути для отступления, сразу ответчу — нет, не жалею, нисколько. Возможно, о чем-то печалюсь, но это частности, а в основном, повторюсь, не жалею.

Прежде всего, дам свою краткую оценку советскому периоду литературы. Я пришел в этот цех уже сформировавшимся человеком, со своим мироощущением, видением, успел даже состояться — «Избранное» в «Худлите» тому подтверждение.

Редкий советский писатель, тем более с периферии, при жизни или после смерти получил возможность выхода своей книги в этом элитном издательстве, наверное, не более двух процентов всего списочного состава Союза писателей за всю историю издательства с 1936 года. А писателей было много, десятки тысяч, кстати, планы «Худлита» составлялись на пять лет вперед и ежегодно с боями пересматривались, причем планы были «прозрачными», их можно было увидеть в любом крупном книжном магазине. «Худлит» печатал только книги, проверенные читателем и временем, в том числе лучшие произведения писателей всего мира. На мой взгляд, советская литература — в большой степени литература должностных лиц, литература высоких кресел. Десятки лет существовал термин «секретарская литература», то есть сочинения литературных чиновников.

Сейчас многие забыли, что Л. Брежнев был лауреатом высшей в государстве литературной премии — Ленинской. В новейшее время литературой баловался и Ельцин, — к премиям он был равнодушен, а гонорары любил, скопил легальное состояние. У всех еще свежо в памяти дело «писателей» Коха, Чубайса, Казакова и других, получивших по сто тысяч долларов за ненаписанную книгу о приватизации. Не может, оказывается, западный читатель жить без книги о нашей приватизации, и все, готов миллионы за это платить. За это ли — вот вопрос... Особенно умилял меня А. Собчак, написавший две или три тоненькие брошюры, которые, впрочем, никто в глаза и не видел. Свой загородный дом в три этажа необычайной архитектуры, обставленный роскошной мебелью, увешанный картинами (Зайцева нас, телезрителей, по дому долго и восхищенно водила), и городскую квартиру — целый подъезд на Мойке, — как объясняет Собчак и его жена Л. Нарусова, они приобрели исключительно на писательские гонорары. И всем сове-



товали писать и писать. Как писатель отмечен и Б. Немцов, создавший «Записки провинциала», — назвать их книгой у меня язык не поворачивается — брошюра она и есть брошюра, никакой крупный шрифт не спасает. Пресса многократно объявляла, сколько Немцов заплатил с нее налогов и сколько на руки получил гонорара. Собчак с женой только намекали на прибыльность писательского ремесла, и правильно делали, иначе бы люди стали штурмом брать издательства, все бы кинулись писать брошюры. После обнародованных Немцовым гонораров некоторые мои знакомые, далекие от литературы и больших денег люди, стали очень нехорошо посматривать на меня.

Судя по моим тиражам, толстенным томам, моей завидной производительности, они быстро подсчитали, что я уже если не долларовый миллиардер, то миллионер точно. И когда некоторые, не выдержав, спрашивали открыто о моих гонорарах, то мой ответ, судя по их лицам, не выглядел убедительно. Слово сговорившись, они ссылались на «скромные» гонорары Немцова. Однажды в компании я сказал: конечно, можно получить, как Немцов, восемьдесят пять тысяч долларов за брошюрку объемом со школьную тетрадь, если отнесешь в издательство тысяч двести или окажешь услуги на подобную сумму. Все равно не поверили, хотя сомнения в их души я заронил. Но после дела «писателей» Коха и Чубайса меня больше расспросами про гонорары не донимают. Стали понимать, за что и сколько платят, поняли, что «писатель» писателю рознь. Брежнев, Ельцин, Немцов — одно, а Распутин, Маканин — дальше по своему вкусу — совсем другое.

Но вернемся в советское время... Писательское сообщество даже тогда называли кастовым. Зеленый свет в литературу загорался прежде всего для деток, зятьев, сватьев, невесток, тещ, кумовьев писателей и, конечно, отпрысков крупных чиновников. И если появлялись среди них время от времени Шукшины, Беловы, Астафьевы или Вампиловы, то это скорее исключение, чем правило.

Читатель, возможно, до сих пор не знает, что право на книгу имел не писатель, а издательство, выпустившее ее. Сегодня такое положение кажется абсурдным, но так было до 91-го года. Если книга выходила за рубежом, то гонорар получал не писатель, а государство, и на презентацию книги ездил, скажем, в Париж, не автор, а чиновник из министерства. Ныне все мы знаем историю голливудского «Оскара» за фильм «Москва слезам не верит» — режиссер Владимир Меньшов сумел взять в руки свой «Оскар» только через десять лет после присуждения, да и то силой, со скандалом.

До выхода книги на нее обязательно писались открытая или закрытая рецензии, а после выхода еще одна — секретная. Рецензии писались случайными, но доверенными людьми, зачастую далекими от литературы. Работа эта хорошо оплачивалась, оттого не всякому она перепала. В одной отрицательной рецензии на мою книгу, вышедшую в «Советском писателе», отмечалось, что у меня плохо прописаны женские образы. Хотя в этом произведении у меня женщин не было вовсе. Человек, уносивший кипы рукописей на рецензию, уже имел установку — кого миловать, а кого похоронить. Рецензии со знаком «плюс» и со знаком «минус» оплачивались по одной ставке, поэтому могли и не такое отписать.

А выпуск многотомных собраний сочинений решался на закрытых правлениях Союза писателей СССР, а то и на уровне Политбюро ЦК КПСС. Из откровений Е. Евтушенко узнаем, что он свои миллионные тиражи поэмы «Мама и нейтронная бомба» решал на высшем государственном уровне. Сейчас все это воспринимается как бред, плохой сон, но так мы жили. Издательства были сконцентрированы в Москве, но и тут их можно было пересчитать по пальцам одной руки, а издательства в столицах республик так и назывались — периферийными. Перечень нелепых негласных установок, правил можно перечислять долго, и все они унижали писателя, заставляли его идти на компромисс, даже в мелочах. Так стоит ли жалеть о том времени, когда писатель всегда оказывался в положении просителя, а главное, приносил в жертву свой труд — тут перепиши, это убери, этого нельзя, это не годится, это не понравится...

Рынок не избавил писателей от проблем, просто теперь они другие. Может, требования стали даже более жесткими, чем в советское время, но они связаны только с творчеством. И отношения писателя с издателями теперь совсем иные, без хамства, без подбострастия, без десятка прожорливых посредников.

О чем же тогда та толика печали, о которой я заявил в начале? Переход писателей из привилегированного класса общества в никакой, падение в пустоту отразилось на мироощущении писателя. Сегодня, кажется, это единственная категория граждан, не нашедшая своего места в новой России. Люди, считавшие себя поводьями общества, властителями его дум, оказались самыми неприспособленными к переменам. В пустых склоках и раздорах они в мгновение ока лишились принадлежавшего им имущества, а оно, поверьте, было громадным, не стану перечислять, чтобы не травить душу обывателя уже прошлым непомерным богатством.



Жалею о «Литературной газете»,— она отражала культурную жизнь огромной страны, знакомила с новыми талантами и упоминала тех, кто покинул нас. Может, тогда мы этому не придавали значения, а теперь запоздало поняли, что потеряли.

Жаль Домов творчества, где мы вольно или невольно знакомились друг с другом, сживали за одним столом и узнавали творчество собратьев по перу.

Жаль Дней советской литературы, проводившихся регулярно во всех уголках страны, декад национальных литератур. На таких встречах, форумах народ напрямую встречался со своими писателями.

Вот, пожалуй, и все.

Остальное отмерло сразу, потому что было лживо изначально. Возродить советскую литературу невозможно, да и нужно ли? И кто ее возродит, если бывшие интеллектуалы не могут объединиться даже в профсоюз? Придут другие мастера слова, возможно, им захочется создать новое сообщество. А пока... Пока мы — всяк сам по себе.

— *Почему вы выбрали для жизни Ташкент? И что вас натолкнуло на мысль заняться литературой?*

— Да, я пришел в литературу из строительства. Пришел поздно — первый рассказ написал в 1971 году. Меня с молодых лет, с юности влекло искусство: музыка, балет, живопись, литература, театр, кино, эстрада. В Ташкент я приехал в 1961 году и поставил себе задачу пересмотреть весь репертуар всех столичных театров. За год я с этой программой справился, включая и узбекский театр Хамзы, где в те годы блистали непревзойденные актеры Шукур Бурханов, Аброр Хидоятов, Сара Ишантураева. Я даже стал ходить на концерты узбекской музыки, и с тех пор для меня лучшим певцом остается Фахретдин Умаров. Репертуар театров я пересмотрел не один раз. Так что мое постоянное присутствие в театрах было замечено кругом ташкентских театралов и меломанов. В те годы я познакомился и подружился надолго с молодым танцовщиком и балетмейстером Ибрагимом Юсуповым, учеником Юрия Григоровича. Почти вся вторая половина XX века узбекского балета связана с его именем. В 1964 году Ибрагим Юсупов поставил в Ташкенте балет «Спартак». На премьеру приезжал сам великий композитор Арам Ильич Хачатурян. В ту пору любой творческий коллектив, гастролировавший по стране, непременно посещал Ташкент. Артисты любили Ташкент за гостеприимство, за мягкость климата, обилие фруктов, за сценические площадки, достойные самых известных звезд, за верных зрителей, почитавших высокое искусство.

Не могу удержаться, чтобы не перечислить коллективы, бывавшие в Ташкенте, или, точнее, что мне удалось увидеть самому: ленинградский БДТ — Георгия Товстоногова, театр Николая Акимова, Кировский балет, где блистала ташкентская балерина Валентина Ганнибалова. Знаменитый МХАТ, «Современник», Театр сатиры, театр Аркадия Райкина. В Ташкенте регулярно с большой помпой проводились декады национальных искусств всех республик. Столица в ту пору имела пять больших концертных залов: театр имени Свердлова у сквера, театр эстрады на Навои, Ледовый дворец, концертный зал с органом «Бахор» и, конечно, великолепный театр оперы и балета имени Навои, а чуть позже появится и роскошный дворец «Дружба народов». В них кто только не выступал! Доминико Модунио, Жильбер Беко, Марсель Марсо, Сальваторе Адамо, Том Джонс, Хампердинк, Джорж Марьянович, Радмила Караклаич, Эмил Димитров, Лили Иванова, великий Николай Гяуров, Марыля Родович, Карел Готт, Дан Спатару и т. д.

О советских звездах и именитых коллективах я и не говорю, все достойные побывали в Ташкенте не раз. В те годы были модны мюзик-холлы, был и ташкентский мюзик-холл, в котором блистали Юнус Тураев, Науфаль Закиров. Ни одни мюзик-холл, а их в стране было четырнадцать, не проехал мимо Ташкента. Гастролировали у нас мюзик-холлы и из-за рубежа, приезжали в Ледовый дворец и мюзик-холлы на льду — незабываемое красочное зрелище!

А какие оркестры, великие биг-бенды оставили свой след в нашем городе: оркестр из ГДР «Шварц-вайс», испанский оркестр «Маравелья», оркестры Олега Лундстрема, Эдди Рознера, Юрия Саульского, Александра Цфасмана, Рауфа Гаджиева, Мурада Кажлаева, оркестр Анатолия Кролла «Современник». В 60-е годы А. Кролл возглавлял Государственный эстрадный оркестр Узбекистана, в котором пел незабвенный Батыр Закиров!

Знаменитый джаз-оркестр Карела Влаха с его бессмертным «Вишневым садом»! А несравненный саксофонист Папетти с итальянским оркестром «Палермо»! Даже легендарный оркестр Бени Гудмана (США) — он дал в СССР всего два концерта, и один из них в Ташкенте.

Когда в столице появился новый орган зал «Бахор», по тем временам лучший в СССР, все известные органисты, такие как Гарри Гродберг, бывали у нас по пять-шесть раз в году. Обязательно надо упомянуть и Государственный симфонический оркестр Захи-



да Хакназарова, выступать с его оркестром приезжали выдающиеся музыканты всего мира.

А какие шумные поэтические вечера проводились в столице, на которых с блеском выступал молодой поэт Александр Файнберг!

Вот такой пространный ответ на ваш короткий вопрос — почему я выбрал для жизни Ташкент.

Такое высокое искусство формировало зрителя, и я благодарен времени, Ташкенту, своему окружению, что они повлияли на мои вкусы, мировоззрение. Дали мне культурный багаж, с которым можно было вступать в литературу, в жизнь.

Но прежде чем перейти к тому, как я начал писать прозу, мне хотелось бы сказать несколько важных для меня слов о самом массовом явлении культуры — кино.

Наверное, человек, внимательно читающий это интервью, уже задался вопросом: почему молодой провинциал из казахской глубинки решил одолеть репертуар всех ташкентских театров? Верно. Человек не может вдруг, в одночасье, стать заядлым театралом или меломаном, для этого нужны веская причина или чье-то влияние: семьи, друзей, возлюбленной.

Ташкент прельщал меня как культурный центр, он близок мне по ментальности, а к решению переехать сюда подтолкнул кинематограф, давший мне первые представления о культуре, о другой жизни.

С киношниками Ташкента я познакомился сразу. Я хорошо знал Джамшита Абидова, Мелиса Авзалова, Равиля Батырова, Али Хамраева, Адылышу Агишева. Киношники и указали мне путь в литературу, можно сказать — командировали. Как-то на презентации фильма Али Хамраева я сделал невинное, на мой взгляд, замечание, которое задело мэтра, и он мне ответил с иронией: напиши что-нибудь сам, а я обязательно это экранизирую. Сказано было прилюдно, и меня это крепко задело. Я вернулся домой и за три дня написал рассказ «Полустанок Самсона». Он был напечатан в московском альманахе «Родники» и с тех пор издавался раз тридцать, по нему делали радиопостановки. Это случилось осенью 1971 года. Сегодня я понимаю, что те десять первых лет жизни в Ташкенте, прошедшие в насыщенной высокой культурой среде, и явились главной причиной того, что я начал писать, а реплика знаменитого режиссера лишь послужила толчком, рано или поздно это все равно бы случилось. В сорок лет я оставил строительство и уже двадцать пять лет живу жизнью профессионального писателя. Написав с десятков книг повестей и рассказов, я вдруг

почувствовал, что мне тесно в рамках малого жанра. Наверное, к роману меня подтолкнуло и время, я видел закат коммунистической эпохи. К тому времени я общался не только с людьми искусства, среди моих друзей уже были представители высшей власти. В начале 80-х годов меня стала волновать тема «человек во власти», «власть и закон». Я видел заметное раздвоение личности у людей во всех структурах власти, ощущал все нарастающую несправедливость вокруг. Общество ждало перемен. И я написал роман «Пешие прогулки». Роман почти одновременно вышел в Москве и в Ташкенте, причем местный тираж был 250000! Беспрецедентный случай! С выходом «Пеших прогулок» я получил широкую известность.

— *В тетралогии «Черная знать» сквозной герой — Артур Шубарин по кличке Яполец. Фигура, на первый взгляд, отрицательная, но чем больше мы его узнаем, тем явственней невольная метаморфоза восприятия — он вызывает симпатию, уважение. Он — личность. Где вы встречали подобных героев, и есть ли они вообще? Любопытен и другой ваш герой из романа «За всё — наличными» — Тоглар. Вы его не приукрашиваете, начинаете с его уголовного прошлого, с побега из чеченского плена, указываете криминальный род его деятельности. Но ваш герой, вопреки вам, опять вызывает если не уважение, то сочувствие точно. А это немало в наше бессердечное время. Во всех романах чувствуется прекрасное знание вами делового мира с его непростыми взаимоотношениями, кодексом поведения — откуда столь специфические сведения?*

— Ташкент всегда славился людьми энергичными, хваткими, их тогда называли — деловыми. Из Ташкента братья Черные, бывшие алюминиевые магнаты, миллиардеры Алишер Усманов, Искандер Махмудов. О простых миллионерах я не упоминаю, хотя могу назвать навскидку десятки ташкентских миллионеров, живущих сейчас в Москве. Из Ташкента всемирно известный Алимджан Тохтаунов, в прессе его чаще называют Тайванчик, хотя правильно — Тайванец. Он является президентом Ассоциации высокой моды со штаб-квартирой в Париже. Я знаю его с юных лет, с 1964 года, знал и его младшего брата Малика, к сожалению, рано ушедшего из жизни. Могу утверждать, что он человек с очень тонким вкусом, прекрасно разбирается в живописи, антиквариате. Уроки балета его дочери Лоле, танцующей в Большом театре, давала в свое время на дому сама великая Суламифь Мессерер, недавно умершая в Лондоне. О дружбе Тохтаунова со знаменитыми артистами наслышаны все, но имеют



в виду только московских, а он прекрасно знал цвет артистической богемы Ташкента, особенно в 70-е — 80-е годы. Мало кто ведаёт, что в Лондоне, в самых уважаемых районах, есть сеть роскошных магазинов люксовых товаров, которыми руководит наша землячка, очаровательная молодая женщина, Гуля Талипова. Эти магазины возникли только благодаря знанию мира высокой моды Алика, как называют его близкие друзья. Наверное, у многих ещё в памяти скандал, связанный с олимпийскими медалями в фигурном катании, в который он попал. Тогда выдающиеся деятели культуры встали горой на его защиту. Алик присутствует в двух моих романах — «Ранняя печаль» и «За все — наличными». Уверен, такой яркой личности, как Алик Тохтахунов, будут посвящены десятки книг, о нем снимут фильмы. Судьба его гораздо интереснее самого захватывающего детектива, никакой сериал не сравнится с его жизнью. Алимджан Тохтахунов имеет и высочайшие европейские награды. Об одной из них следует рассказать.

В 1920 году, когда из Крыма уходила армия генерала Врангеля, она воспользовалась остатками российского боевого флота на Черном море. Флот из ста двадцати кораблей возглавлял контр-адмирал Михаил Андреевич Беренс, он вывез в эмиграцию сто пятьдесят тысяч офицеров и солдат. Флот нашел пристанище в порту города Бизерты, в Тунисе, тогдашней колонии Франции. Оттуда русские растеклись по всему миру, но огромная часть прижилась в Тунисе. В городе Мегрине есть русское кладбище, где похоронен контр-адмирал М. А. Беренс. Власти Туниса в 2001 году решили снести бесхозное кладбище. Русские эмигранты во всем мире стали собирать пожертвования на перенос хотя бы части кладбища, где похоронены многие достойные России имена, в том числе адмирал Беренс. Кстати, Беренс — одна из старейших морских фамилий России и ее гордость. Но сбор денег успеха не имел, тогда русские эмигранты первой волны и их потомки обратились к жившему в ту пору в Париже А. Тохтахунову, и он дал необходимую сумму. За этот великодушный и щедрый поступок его посвятили в рыцарский сан и наградили орденом святого Константина.

А. Тохтахунов — известнейший меценат, одно перечисление адресатов его пожертвований может занять сотни страниц.

Конечно, общение с такими людьми в Ташкенте повлияло на моё творчество, и образы Артура Шубарина, Коста, Ашота, Аргентинца в тетралогии «Черная знать» не случайны. Кстати, алюминиевый ко-

роль Лев Черный и Алик Тохтахунов — одноклассники. Щедра ташкентская земля, если в одном классе вырастила сразу двух ярких людей XX века.

Несколько глубже и трагичнее фигура Тоглара-Фешина из романа «За все — наличными». Фешин по происхождению дворянин, его дед Н. Н. Фешин — реальное лицо. В 1922 году, будучи уже известным художником, академиком живописи, он эмигрирует в Америку. Там его талант развернется во всю мощь, он познает славу, успех, большие деньги. Но даже те картины, что он оставил в России, в Казани в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана — бесценное наследие.

Одной из моих тайных задач в работе над романом было привлечь к имени Фешина широкое внимание, и, кажется, мне это удалось. Я сам — известный коллекционер, и мне очень нравятся картины Н. Фешина, хотя, к сожалению, в моей коллекции его работ нет.

Но вернемся к роману. Оставшийся в России внебрачный сын Фешина, потеряв на войне руку в двадцать два года, кормит семью тем, что рисует для базара в нищем послевоенном Мартуке картины. Внук Фешина становится самым известным «гравером» — так на жаргоне называют фальшивомонетчиков, он создает тот самый супердоллар.

Книга — о падении дворянского рода Фешиных из-за перманентных исторических катаклизмов в России. История о Тогларе-фальшивомонетчике мне понадобилась, чтобы показать, какую экономическую диверсию совершили американцы в России. За бумажки-доллары, которые Америка печатает денно и нощно и отправляет их в Москву тоннами гигантскими транспортными самолетами каждую неделю уже тринадцать лет подряд, скуплены национальные богатства России: земля, недра, леса, заводы, фабрики, шахты, политики, власть.

— В романе «За все — наличными» прекрасно описаны Париж, Дом моды Кристиана Лакруа, балетный фестиваль Джона Кранко, вечера в известных парижских ресторанах. Есть запоминающиеся сцены в Лондоне, в отеле «Лейнсборо». Лучшие всего, конечно, описан московский ресторан «Пекин». Как пришла к вам идея этого романа о роскошной жизни, крупных аферах, о великих «каталах» и больших деньгах, приносящих не только радость, но и гибель? И много ли у вас в запасе таких историй для следующих романов? Упомяните хотя бы одну из них вкратце.



— Идея возникла у меня давно, но не хотелось лишний раз искушать людей, подливать масла в огонь, кругом и без того давно кипят страсти. Но вдруг, в одночасье, вся мораль рухнула, перевернулась с ног на голову. У людей появился новый бог, новая религия — деньги. Поистине — искушение дьявола. За деньги люди готовы не только душу заложить, но и, не задумываясь, убить, продать, украсть. И в этот момент разгула дикого капитализма в России, когда миллионерами становились по росчерку пера высокого чиновника или в результате откровенного разбоя, я неожиданно получил заказ от одного издательства. В те годы, в начале 90-х, у меня книги выходили потоком, тетралогия «Черная знать» переиздавалась и переиздавалась, и мое имя было на слуху. Просили написать роман с хорошей интригой, желательно на реальной основе, как и все мои романы, но... главным было условие — показать роскошную жизнь, как я понял — пособие для нуворишей, как красиво тратить большие деньги. Сначала я не принял всерьез разговор с издателем, но он запал мне в душу, чуть позже я объясню почему. Но второй, третий звонок и личный визит издателя, да и эксклюзивный гонорар переубедили меня. Табу, что я поставил себе как писатель — не искушать людей всеу, уже давно было снято вокруг: прессой, телевидением, западным кино, кстати, и высокой модой тоже. И отказываться не имело смысла. В те годы как раз пошлость заполонила все вокруг, и с тех пор пошлость и маразм с каждым годом все крепчают и крепчают в геометрической прогрессии. Пошлость во всем. Пошлость стала нормой жизни, пошлой стали даже власть, политика. Начиная роман, я знал одно — я не буду потрафлять вкусам толпы — клубнички, вульгарности в романе не будет. Еще до «Пеших прогулок» я поставил перед собой задачу, чтобы мои книги читали и интеллектуальные снобы, и дальнобойщики, студенты и рабочая молодежь. И мне это удалось. Я сужу по тем мешкам писем, что я получал в свое время после «Пеших прогулок», и продолжаю получать их сейчас по электронной почте.

Но вернемся ближе к вашему вопросу. В Париже я бывал и в советское время. Первый раз в 1979 году, кстати, в одной группе с дочерью Шарафа Рашидова Светланой, очаровательной, культурной, прекрасно воспитанной, знающей иностранные языки молодой женщиной. И ресторан «Пекин» в романе не появился случайно. С 1963 года я часто ездил в Москву в командировки. Сорок лет назад «Пекин» был очень стильным отелем с лучшим в Москве рестораном. Поселившись однажды там случайно, я всеми правдами и не-

правдами добивался там места. Рядом был «Бродвей», и «Пекин» находился в окружении пяти театров: «Современника», Театра сатиры, Сада «Эрмитаж», театра Сергея Образцова и Концертного зала имени Чайковского. Все — в трех минутах ходьбы. Согласитесь, для театра-ла, меломана — это подарок Всевышнего. В гостинице имелось бюро обслуживания иностранцев, куда я очень быстро нашел ход, и проблема с билетами в любой театр была решена навсегда. Но когда в 1975 году я стал писателем, проблемы с гостиницами и билетами исчезли сами собой. Лет двадцать пять я регулярно жил в «Пекине», оттого мое знание Москвы 60-х, 70-х годов. Оттого ностальгическая любовь к «Пекину», где прошли мои зрелые годы, поэтому он и появился на страницах романа.

Еще в 70-е я собирал материал «о другой жизни», в основном из журналов «Америка», «Англия», «Плейбой», из зарубежных газет, тайком приобретаемых опять же в «Пекине». Нынешним молодым кажется, что только с Абрамовичем и с новыми русскими мир увидел роскошные яхты, личные самолеты, часы «Адемар Пиге» и «Патек Филипп», «Юлисс Нардан» с непременно турбийоном, стоимость которых зашкаливает за миллион. Или вечеринки в Куршавеле, где новые русские оставляют за вечер сотни тысяч долларов и которые всегда заканчиваются дракой и битьем посуды. Ведь кроме денег для красивой жизни нужно еще много чего, например — культура для начала.

Получив заказ, я стал копаться в своем архиве и нашел там много заманчивых материалов: о султанине Брунея Балдияхе, короле Марокко Хасане Втором, прекрасно одевавшемся и дружившем со многими кутюрье. Нашел материалы об Ага-хане, лидере исмаилитов, понимавшем толк в изысканной жизни, он был одним из богатейших людей мира до середины 80-х. Отыскал материалы об арабских шейхах, они удивляли свет в 60-х, 70-х, 80-х, — все лучшее в мире приобреталось ими. Высокая мода, дожившая до наших дней, обязана долголетием прежде всего им, они двинули индустрию роскоши на десятки лет вперед. Но все эти материалы, к сожалению, мне никак не подходили, нужен был русский кутила, герой вроде князя Феликса Юсупова, человека рафинированной культуры. Но, увы, такого персонажа я не нашел и с грустью отказался от архивов, не пригодившихся для романа «За все — наличными».

Но сегодня, готовясь к интервью, я понял, кое-что из моих старых записей вызовет интерес у ваших читателей. Какое-нибудь за-



бытое для знатоков светской жизни имя теперь для многих может прозвучать впервые. Выбирая для журнала персонаж поколоритнее, я обнаружил такую странность, а, точнее, закономерность: великими транжирами были в основном восточные люди, мусульмане. У них тяга к роскоши в крови, хотя я нашел в своих записях и нескольких европейцев с королевскими фамилиями, принцев крови, или фамилии, принадлежащие к известным банкирским домам. Они тоже внесли свою лепту в безумную гонку роскошной жизни, но все равно, во всех их поступках, даже вызывавших у меня восхищение, я чувствовал европейскую рациональность, видел предел их увлечений, у всех них есть тормоза. А я хочу поведать моим землякам о человеке без тормозов, он умел зарабатывать миллиарды и тратил их без оглядки, без сожаления, со вкусом, широко, с шиком. Я имею в виду легендарного плейбоя 60-х — 70-х Аднана Кашоги.

Он сириец по происхождению, из простой семьи, отец его служил врачом у короля Саудовской Аравии — Абдель Азиза. Первые десять тысяч долларов Аднан заработал в США, куда приехал учиться. Восемнадцатилетний первокурсник становится в Сизтле агентом завода грузовых машин. В 1956 году ему удалось запродать эти грузовики саудовской армии, был ему в ту пору двадцать один год. Одоле Кашоги только три семестра университета в Чикаго, хотя начинал в Денвере, мечтал стать нефтяником, далеко смотрел. Не сложилось, но нефть он если и не добывал, то продал ее — океан! Уже с первых своих скромных заработков он начал давать запоминающиеся приемы с изысканно накрытыми столами и непременно с красавицами из своего университета. В двадцать пять лет напористый дилер представляет в Эр-Рияде «Крайслер», «Роллс-Ройс», «Фиат» и две всемирно известные вертолетные компании.

Когда в 1964 году на трон взошел король Фейсал, дела Аднана Кашоги пошли резко в гору. Он стал единственным посредником по продаже американского оружия арабам. К тому времени он только приближался к своему первому миллиарду. Настоящие деньги пошли к нему после арабо-израильской войны 1973 года, когда нефть впервые резко подорожала, а все напуганные арабские страны начали лихорадочно вооружаться. В те годы Кашоги создал свою финансовую империю, оцениваемую в четыре миллиарда долларов.

Его домом поистине был весь мир — он имел дела в тридцати семи странах! Только огромных имений, разбросанных во всех частях света, у него было двенадцать. Знаменитое ранчо площадью 200000 акров

в Кении, куда на охоту на львов, леопардов, слонов приезжали президенты, члены королевских фамилий и простые миллиардеры. Организация такой охоты стоит миллионы долларов и считается высшим шиком среди избранных.

Он имел дворцы в Марбелье, которые Абрамович и Гусинский только-только обживают, дворцы на Канарских островах, столь модных в 70-е. А еще невиданной архитектуры апартаменты, обставленные с немислимой роскошью: в Париже, Лондоне, Каннах, Мадриде, Риме, Монте-Карло, в прекрасном Бейруте, еще не разрушенном войной, Эр-Рияде, Джидде.

Владел он и двумя этажами роскошного небоскреба на Манхэттене. Его яхта «Набилла» с площадкой для вертолетов была столь роскошна, что затмила яхту английской королевы «Британия», до того считавшуюся эталоном величия и красоты. Да что затмила, ехидные журналисты писали, что в сравнении с «Набиллой» яхта королевы выглядела туристическим паромом для простолюдинов. Его автопарк, состоявший из всех известных в мире супердорогих машин, изготовленных для Кашоги индивидуально, приближался к двум сотням!

Собирал он и живопись, и антиквариат, но это отдельная тема, о его коллекции мы, наверное, узнаем только после его смерти. Об одежде, обуви, драгоценностях Кашоги как-то и упоминать неловко, все делалось в единственном экземпляре, без права повтора.

В начале 80-х он купил за четыре миллиона долларов самолет, надежный «Ди-Си-8», и переоборудовал его по своему вкусу еще за девять миллионов. Газеты того времени захлеб писали о соболином покрывале в его спальне на борту лайнера размером три с половиной на два с половиной метра, стоимостью 200 000 долларов. Писали и том, что в самолете, имевшем три спальни, гостей годами угощали только французским шампанским «Шато Марго» 1961 года, не забывая упоминать о столовом серебре и хрустале, разумеется, сделанным для Кашоги в единственном экземпляре известными кутюрье, стоимостью в миллион долларов.

Лев по гороскопу, он был тщеславен, самолюбив, щедр до безрассудства. Даже бывшей жене, принцессе Сурайи, которой при разводе дал отступного в два с половиной миллиарда, однажды подарил на Новый год рубиновое кольцо стоимостью два миллиона долларов. Тогда же на Рождество он и новой жене Ламии подарил ожерелье из бриллиантов, изумрудов, рубинов стоимостью почти в три миллиона.



В 1985 году Аднан Кашоги отмечал пятидесятилетие, о котором с восторгом писали все глянцевого журналы мира, все скандальные и светские газеты. Правда, в его жизни были приемы гораздо круче, шумнее, но так он гулял в молодости. Но и это «тихое» празднество в имении «Ля Барака» на Средиземном море принимало пятьсот именитых гостей со всего света, а таких особ сопровождают еще три-четыре десятка слуг. Торжество длилось три дня, были использованы сотни километров киноплёнки, сделаны десятки тысяч фотографий, разошедшихся по всем мировым изданиям. Даже сегодня эти снимки выплывают то тут, то там, поражая наше воображение.

Кульминацией праздника оказалась поздравительная телеграмма от американского президента, она гласила: «Наилучшие вам пожелания, Аднан. Ронни и Нэнси Рейган».

Кашоги вообще был накоротке со всеми американскими президентами, и с европейскими тоже, а в королевских семьях и вовсе свой человек.

Для нынешнего читателя хочу добавить свой комментарий: потраченные с 60-х по 80-е годы нашим героем гигантские суммы сегодня следует умножать на коэффициент — десять. Чтобы почувствовать масштаб в современных цифрах. В ту пору доллар был другим, полновесным, да и цены были другие.

Свой комментарий хочу подтвердить сценой из романа тех лет Ирвина Шоу «Вечер в Византии», где тоже показана роскошная жизнь. В Венеции на веранде дорогого ресторана сидят финансовые магнаты, и чтобы подчеркнуть богатство этих людей, автор пишет: «...в столларовых рубашках от Кардена...». Ныне рубашки от Китон, Лилиан Вествуд идут уже и по тысяче долларов, а Карден есть Карден.

Кашоги и сегодня жив, в следующем году он отмечает свое семидесятилетие. Он никогда не был администратором, не имел системного образования, всегда руководствовался только интуицией. В начале 90-х Аднан Кашоги понес огромные потери — время романтических авантюристов закончилось. Денег заметно поубавилось, и он не сорит ими как прежде, да и устал, видимо, возраст сказывается. Но он оставил свой след и в деловом мире, и в светской жизни XX века, и его запомнят как человека, растратившего несметные богатства без сожаления. Запомнят, потому что на смену ему пришли другие богатые.

Невольное сравнение. Когда миллиардер Гусинский попал в «Матросскую тишину», он захватил с собой в общую камеру холо-

дильник, а, освобождаясь, забрал его с собой. Почувствуйте разницу, как советует рекламный слоган.

Заканчивая историю феерического пути Аднана Кашоги, с которым я прожил один временной отрезок, отмеренный нам Всевышним, пытаюсь хоть как-то соотнести его жизнь со своей, понимая, что никакой связи, параллелей быть не может, даже теоретически — другие миры, другая жизнь, другая судьба. Но мысль, не дававшая мне покоя несколько дней, заставила вспомнить реальную историю из моей жизни, и я думаю, следует рассказать о ней. История эта может показаться писательским вымыслом, фантазией, чтобы увязать хотя бы тончайшей нитью реальность моего бытия с жизнью легендарного мультимиллиардера Аднана Кашоги. Но что было, то было, и я благодарен памяти, выудившей из своих глубин эту историю, которой уже сорок два года. Слава Аллаху, еще живы люди, о которых пойдет речь, иные из них до сих пор еще обитают в Ташкенте, с другими я по сей день общаюсь в Москве, в Казани.

Осенью 1962 года, когда Аднан Кашоги стал представителем «Роллс-Ройса» и «Крайслера» в Эр-Рияде, я получил место в общежитии для ИТР Авиационного завода на Чиланзаре. Комендантше я чем-то приглянулся, и она говорит: «Поселю-ка я вас к хорошим людям». Хорошие люди оказались дипломниками Казанского авиационного института и приехали на практику. Среди них был и сын тогдашнего директора Ташкентского авиазавода Герман Пospelов.

Общежитие оказалось типовой пятиэтажкой, и студенты жили в квартире из четырех комнат, одна из которых была оборудована под холл с телевизором, диваном, сервантом с посудой, а в остальных жили мы. Было нас человек десять, из местных, кроме Пospelова, еще Геннадий Внучков, позже очень известный в Ташкенте человек. Он стал секретарем парткома завода, секретарем горкома партии. Страхуюсь фамилиями для подтверждения достоверности истории. Герман и Гена жили дома, на Урде, но имели свои кровати и у нас. Дипломные проекты тех лет отличались серьезностью, и они по ночам часто корпели над чертежами.

Ташкент 60-х — баснословно дешевый город, сухие вина «Хосилот», «Баян-Ширей», «Ак-Мусалас» стоили по шестьдесят семь копеек, а ведро персиков — три рубля. Сходить в хороший ресторан с девушкой можно было за десять рублей. Фантастическое время!

Днем дипломники работали мастерами в цехах и деньги получали приличные. Мы были молоды, азартны, по вечерам дома бывали



редко. Но иногда, перед получкой, когда сидели на мели, коротали вечера у себя в холле. Если о походе в ресторан «Шарк», «Зеравшан» или в мою любимую «Регину» не могло быть и речи, то накрыть стол с сухим вином, фруктами проблем не возникало. Заводилой в нашей компании, лидером стал москвич, сын заместителя Генерального прокурора СССР Николая Венедиктовича Жогина — Валентин. Жогин-старший работал вместе с Руденко, возглавлявшим Нюрнбергский процесс, лет тридцать. Вот откуда тянутся корни моего интереса к прокурорским историям.

Однажды глубокой осенью в слякотный вечер мы собрались в холле за скромно накрытым столом. Сегодня, через сорок два года, когда я пишу эти строки о застолье на Чиланзаре, мне кажется, что в тот же ноябрьский вечер Аднан Кашоги тоже давал прием, а вокруг него порхали его подруги из университета, который он оставил без сожаления. Время для Аднана означало — деньги.

Вечер поначалу не складывался, и Валентин, чтобы как-то встряхнуть нас, предложил игру — как истратить миллион, если бы он был у каждого из нас. Идею от скуки приняли «на ура». Быстро накрутили бумажки и начали тянуть жребий — мне выпало выступать четвертым. Все трое выступавших передо мной студентов были из Казани, не из простых семей и старше меня года на три-четыре, а то и пять, в молодости это серьезная разница. Первых «миллионеров» я слушал вполуха, мои фантазии уже вырвали меня из убогой «хрущевки» и понесли в неведомо сказочный мир прожигателей жизни. Голос Жогина вернул меня за наш скромный стол, и я, уже разгоряченный фантазиями, начал...

В Ташкенте шел дождь с мокрым снегом, была пора сырого предзимья, и я сразу из заводской общаги перебрался на острова Фиджи в далеком и теплом океане, там как раз начинался курортный сезон для миллионеров. Тут я должен оговориться, что мои предшественники, «миллионеры» из Казани, не покидали страну, а я подумал — гулять так гулять. В 1962 году, а это были годы хрущевской оттепели, счастливые сограждане, а, точнее, избранные, уже колесили по миру, мог же я и себе позволить хотя бы... теоретически. В ту пору миллион рублей равнялся почти полутора миллионам долларов, об обмене по курсу я объявил сразу, что было встречено восторженным ревом, в котором я кое у кого все же уловил нотки зависти. На островах среди роскошных пальм, на золотых пляжах я пробыл три недели, одиночество мне скрашивала одна очаровательная француженка русского

происхождения, и вместе с ней я переехал в Европу. Прибыли мы в Зальцбург, где давали ежегодные зимние балы, затем перебрались в Вену, я давно грезил венской оперой и венскими кафе, где звучали вальсы Штрауса. Потом на появившейся в ту пору впервые роскошной машине «мазерати», которую мне доставили прямо в Вену, мы с Жаннет перебрались в Париж. Рассказывал я и о шикарных отелях, где мы жили, о ресторанах, в которых я никогда не бывал, но ясно их видел, заказывал такие закуски, вина, диковинные блюда, от которых, наверное, у бедных дипломников текли слюнки. Перечислял, какие драгоценности я дарил своей очаровательной спутнице, каким гардеробом обзавелся, какие шикарные швейцарские часы «Шафхаузен» приобрел, через много лет я узнал, что такие часы носит знаменитый немецкий киноактер Клаус Мария Брандауэр.

Фантазии сорвали меня со стула, я кружил по тесному холлу, изображая, какие томные танго танцевал с Жаннет на приемах или в ресторанах, изображал, какие курил сигары, которые сегодня снова входят в моду, и это вызывало единодушный восторг, сопровождавшийся возгласами: во дает!

Когда меня утомил слякотный Париж и я собрался переехать южнее, в Венецию, где уже зацвели каштаны и знаменитые кафе вынесли столики на улицу — меня вдруг одновременно, словно сговорившись, прервали те, кто должен был выступать после. И Жогин, перекрывая гвалт, восторженные крики, сказал: «Рауль, возьми наши миллионы, мы хотим путешествовать с тобой!».

Но тут-то и произошла самая замечательная сцена за весь дивный вечер. Один из казанцев, выступавших передо мною, с нескрываемой обидой, словно их бросили, растерянно пробормотал: а как же мы?

Раздался гомерический хохот, и игра на этом закончилась.

Сегодня, когда бываю на Лазурном берегу или в Венеции, вспоминаю тот осенний вечер в Ташкенте. Добравшись сюда запоздало, через десятилетия, я не испытываю той радости, которую испытал тогда, в те минуты, когда потешал давних друзей фантазиями о роскошной жизни.

И вспоминаю я не Кашоги и других моих современников, красиво прожигавших здесь жизнь, память возвращает меня в начало века, в эпоху героев Фицджеральда. Вот они умели гулять красиво, со вкусом, достойно. В принципе, они были первыми прожигателями жизни на длинной дороге в целый век. Я прекрасно понимаю, что герои Фицджеральда, моего любимого писателя, автора моих любимых



романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна», не могли позволить себе того, что позволял себе Аднан Кашоги.

Нет, я не завидую Аднану Кашоги, своему современнику, я завидую времени, когда он посещал эти благословенные места. Его время, мое время, было другим, оно вписывалось в рамки культуры, приличия. Нынче богатство стало агрессивным, злобным, вульгарным. Вы скажу парадоксальную мысль: слишком много стало богатых, имею в виду только миллионеров. На днях объявили, что и у нас, в нищей России, их уже больше сотни тысяч, это выявленных налогоплательщиков, а в реальности опять нужно умножать на десять. А сколько их, богатеев, в зажиревшей Европе, Америке и вообще по миру? И все они спешат в Старый свет, оттого затоптаны самые желанные, романтические места в мире, воспетые поэтами, художниками. Думаю, что нынешнее время даже богатеям не в радость, и мне невольно приходит на память строка Тимура Кибирова: «Грядет чума, готовьте пир». Кстати, это эпитафия к моему бестселлеру — роману «За все — наличными».

И все-таки, пытаясь рассказать вам об Аднана Кашоги, о давнем воображаемом путешествии по миру с полутора миллионами в кармане, когда я не слышал еще о великом плебее ни слова и когда у нас обоих всё было впереди, я вдруг понял, что время сроднило меня с ним. Все в мире упирается в определенные сроки, и я желаю легендарному Кашоги, так красиво поражавшему мир в XX веке, здоровья и успехов в оставшейся жизни.

— *Рауль Мирсаидович, я знаю, что вы часто бываете в Арабских Эмиратах. Уверен, что вы как писатель с острым взглядом на социальное устройство мира не могли не поинтересоваться тамошними порядками, тем более что и Россия живет за счет нефти. Что вас удивило, порадовало в этих странах, что из их опыта следовало бы перенять и нам?*

— Впервые я побывал в Эмиратах в 1994 году, десять лет назад. Поражен, восхищен был сразу: архитектурой, бытом, динамичностью развития, сервисом, комфортностью и качеством жизни, развитой инфраструктурой, доброжелательностью и открытостью ее граждан. Хотя Эмираты молодое государство — оно было создано только в 1971 году, а семь королевств, составивших эту страну, еще в 50-х годах влачили жалкое существование. Конечно, все процветание от нефти. Но следует учесть, что нефть до октября 1973 года, до второй арабо-израильской войны, стоила менее двух долларов

за баррель. С октября 1973 года нефть стоила уже восемь долларов, а с 1974 года — двенадцать долларов. Точкой отсчета капиталов Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии, Эмиратов, Ирака, Ирана и других стран Персидского залива можно считать 1974 год.

Нужно обязательно пояснить — во всем мире нефть принадлежит государству, то есть является достоянием всех граждан. Как говорят арабы, данное Аллахом должно принадлежать всем, кому посчастливилось родиться на нефтяной земле. Только в трех странах мира нефть принадлежит частным лицам, корпорациям, компаниям, это — Америка, Англия и Россия. С 1974 года в арабских странах стали организовываться специальные фонды, куда строго отчислялись доходы от нефти. В 80-е годы, когда и Норвегия стала нефтяным государством, она тоже сразу открыла специальный фонд, туда стали отчислять сверхдоходы от запланированной на год продажи нефти по запланированной бюджетом цене. Если цены в мире превышали эту сумму, то все сверхдоходы шли только на этот счет. В конце года на личные счета всех граждан Норвегии, от младенца до старика, переводили причитающуюся каждому долю за продажу нефти.

То же самое делается и во всех арабских странах, но львиная доля средств из этого фонда расходуется на социальный пакет для граждан. Заботы нефтяных шейхов о своем народе очень напоминают нам несбывшийся коммунизм. Нашему многократно обманутому народу заботы арабских государств покажутся сказкой, фантазией, миражом в пустыне. Но именно так живут арабские страны, коим повезло с нефтью. Расскажу лишь о некоторых статьях социального пакета, их там очень много, и список льгот не сужается год от года, как у нас в России, а, наоборот, он все дополняется, усовершенствуется. Главная задача правителей этих стран — чтобы арабы заняли в мире достойное место. Во всех упомянутых странах бесплатное медицинское обслуживание, а больницы, клиники похожи на пятизвездочные отели и оборудованы самым совершенным в мире оборудованием, кормят больных как в хороших ресторанах. У них много своих врачей, но недостающих, особенно высокого класса, принимают на конкурсной основе из-за рубежа, причем оплата такая, что может привлечь и немецкого, и французского специалиста. Если больному не могут сделать сложную операцию дома, то она делается в любой другой стране за счет государства. В этих странах финансируются из нефтяного фонда все ступени образования. В Саудовской Аравии действует правило: если студент решил учиться, положим, в Гарварде, Итоне,



Кембридже, Сорбонне, то ему будет выплачиваться стипендия, в три раза превышающая самую высокую стипендию в избранной стране.

В этих странах бесплатные детские сады и другие дошкольные учреждения. В Кувейте есть магазины для бедных, хотя бедный кувейтец — понятие относительное. При вступлении в брак каждому из молодоженов выплачивается от трех до пяти тысяч долларов. Более серьезные пособия выдаются по случаю рождения ребенка, отдельно на свадьбу, на похороны. Есть огромные ежемесячные пособия на ребенка, на случай потери кормильца. В Кувейте, например, детские пособия выдаются не только до совершеннолетия, а до тех пор, пока юноша или девушка не станут работать. Любопытно еще одно пособие: если девушка не вышла замуж до двадцати шести лет, ей выплачивают ежемесячно по 2600 долларов, если у нее нет высшего образования, и 4000 — если у нее высшее образование. Вот какие стимулы для образования! А еще выдаются беспроцентные ссуды на десять лет на открытие своего бизнеса, причем, если затеянное дело получится с размахом, с выходом на зарубежные рынки, миллионные кредиты могут и списать. О кредитах на жилье, автомобиль, покупки крупной недвижимости и упоминать не хочется, чтобы не травмировать души читателей. Все арабские страны не имеют водных ресурсов в нашем понимании. Они живут на опреснительных установках, которые стоят очень дорого, даже для таких богатых стран. Но жители практически не платят за воду, все расходы оплачивает государство. В 1990-м году Ирак захватил Кувейт, на деньги из фонда освободили страну, но даже в годы восстановления Кувейта социальный пакет, льготы не уменьшались.

— Скажите, пожалуйста, в арабских странах, кроме довоенного Ливана, не было банковской системы, известной в мире, где арабы предпочитают держать свои деньги?

— Да, Бейрут середины 70-х и начала 80-х был частью финансового мира, но война разрушила Ливан до основания, и банки с мировым именем исчезли, как я думаю, навсегда. Теперь, задним числом, я понимаю, что Западу было необходимо, чтобы арабские деньги перекочевали в американские, английские, немецкие, французские банки. Но арабы — люди с коммерческой жилкой, они не просто держат деньги в банках под проценты, а покупают самые доходные отрасли экономики. Двадцать два процента акций «Мерседеса» принадлежат Кувейту, там все такси — «мерседесы». Арабы вкладывают деньги в гостиничный бизнес, тот же Кувейт в 80-х купил

у США остров Киава и построил там шикарный гостиничный комплекс. Да и сами арабские страны последние десять-двенадцать лет стали привлекательны для туризма. Самый роскошный в мире отель «Бурж аль-Араб» в форме парусника возведен в Эмиратах, сейчас там на воде намывают целый остров, где построят город развлечений. К работе привлечены лучшие архитекторы мира. Для тех, кто хочет увидеть, как быстро, на глазах меняется мир, я рекомендую два-три раза, с интервалом в семь-восемь месяцев, съездить в Эмираты, и тогда успехи собственной страны, да и любой другой, покажутся вам топтанием на месте.

— *В России тоже есть стабилизационный фонд, где денег тоже немерено, что-то около пятисот миллиардов, почему же остаются нищенские пенсии, жалкие зарплаты? Ваше правительство объясняет нежелание пускать эти деньги в экономику тем, что якобы они разгонят инфляцию. Какова инфляция в арабских странах, ведь там «золотой краник» для граждан не перекрывался даже в войну, как было в Кувейте?*

— Мы, наверное, утомили наших читателей цифрами, потому буду краток. В Кувейте в 2004 году инфляция составила 1,5 процента, в Саудовской Аравии — 1,7 процента. В Эмиратах трагедией назвали инфляцию в 3 процента, ее быстро сбили до 1,5 процента. В России на 2004 год планировали инфляцию в 11 процентов, а она уже с лета вышла из-под контроля, и сегодня мы имеем 15-16 процентов, если не больше. И это при сверхдоходах от нефти. Нам, россиянам, и от больших денег, и от щедрого урожая только беда.

Нельзя не отметить, что бензин в этих странах стоит в пять раз дешевле, чем в России. Россия сегодня занимает первое место в мире и по добыче нефти, и по сверхдоходам олигархов тоже. А минимальный размер зарплаты в России в 2004 году равнялся 20 долларам. Напомню: девушки в Эмиратах, не вышедшие замуж, ежемесячно получают по 2600-4000 долларов. Какие тут могут быть комментарии!

— *Что нужно сделать, чтобы ликвидировать чудовищные диспропорции в уровнях жизни людей?*

— Рецепт один. Надо любить свой народ. Уважать его, думать о его будущем, о его месте в мире. У нас, россиян, кроме нефти есть газ, лес, зерно, вода, вся таблица Менделеева в недрах. Всем арабам, вместе взятым, по потенциальным возможностям далеко до России — но сравнения для нас выходят плачевными.

И последнее: несколько слов об основателе ОАЭ.



Основал Эмираты в 1971 году шейх Заед бин Султан аль Нахайян, он был правителем одного из семи эмиратов — Абу-Даби, самого нефтяного в содружестве. Шейх Заед правил бессменно с 1971 по 2004 год, он умер недавно, в ноябре, в возрасте восьмидесяти шести лет. Он был очень авторитетным человеком не только в арабских странах, но и во всем мире. Шейх Заед не имел высокого образования, но его мудрости могли позавидовать целые правительства многих и многих государств. Идея международного аэропорта в Дубае, второго по величине в мире после Франкфурта, и гигантские перевалочные склады для товаров, идущих по морю из Японии, Китая и всех юго-восточных стран, где производится три четверти всех товаров в мире, а потом по воздуху из Дубая доставляющихся на все континенты, принадлежит шейху Заеду. Шейх Заед — один из богатейших людей на земле, обладал широтой взглядов, мыслил крупно, видел далеко вперед. Долгое время бюджет страны не был отделен от бюджета королевской семьи, и шейх Заед мог тратить все деньги по своему усмотрению. Но он настоял на разделении бюджетов семьи и государства. Абсолютный правитель страны шейх Заед настоял на принятии Конституции, урезавшей его права. Он не хотел Конституцию под себя, как делается, к сожалению, во многих странах. Он вырос в простой бедуинской семье, но миллиарды не отдалили его от народа. Свой дворец он отдал под фонд средневековых рукописей и на свои деньги приглашал ученых со всего света работать в этом редком хранилище. Он хотел, чтобы мир лучше знал арабов. Шейх Заед патронировал университет Эль-Айн и до самой смерти не пропустил ни один выпускной вечер, где сам лично вручал дипломы. Он хотел видеть, знать тех, комуверяет будущее страны.

Любовь народа к шейху Заеду была безграничной — все, от мала до велика, называли его Отцом. Народ понимал, кому он обязан процветанием и своим местом в мире.

— *Вы родились в Казахстане, жили в Узбекистане, работая в строительстве, объездили страну вдоль и поперёк. Вы пишете, что везде, где вы бывали — живут татары. Что, на ваш взгляд, более всего объединяет татар, живущих вне исторической родины: религия, культура, литература, язык, музыка?*

— Конечно, важны все без исключения названные вами факторы, но, отвечая без раздумий на ваш вопрос, скажу — песня! Да, да, татарская песня — и народная, и современная. С первых сознательных шагов я запомнил песню — её пела мать, долгими зим-

ними вечерами вязавшая пуховые платки, пела с подружками сестра Сания, пели в застолье мужчины-фронтовики. В Мартуке на каждой улице жили свои гармонисты. В нашем доме чаще всего бывал с тальянкой Гани-абы Кадыров, потерявший на фронте ногу и с одной ногой плотничавший! Позже его сын Хамза, физик-ядерщик, тоже замечательно играл на свадьбах. Сейчас обоснованно и необоснованно принято ругать коммунистов, но я хорошо помню, что долгие годы по четвергам по радио шел концерт татарской песни, а по праздникам давали концерты по заявкам. Для татар на чужбине это были святые дни — не меньше. Многие из Мартука тянулись в отпуск в Татарстан, и им всегда заказывали пластинки. Пластинка из Казани могла быть и свадебным подарком.

В 1984 году мой сын служил в армии на Дальнем Востоке. Из Хабаровска во Владивосток я добирался экспрессом «Океан», и вдруг по радио начали передавать концерт по заявкам рыбаков. Хотите верьте, хотите нет, девяносто процентов заявок были татарской песней. Для мичмана Валлиулина, для старшего механика Яруллина, для матроса Валиева — гордостью наполнилось мое сердце, что и тут, на краю земли, не унывают мои земляки. Позже писатель Альберт Мифтахутдинов, живший на Чукотке, в Магадане, говорил мне, что и там, на Колыме — много татар.

В 1978 году, уже будучи писателем, я приехал в Ялту и познакомился... с Ильгамом Шакировым. Он отдыхал в другом санатории и пришел проведать Амирхана Еники. Амирхана-абы дома не было, и я пригласил Ильгама подождать у меня. Ильгам и представил меня Еники, выходит, в один счастливый день я познакомился с двумя выдающимися корифеями нашей культуры. Узнав, что пришел Ильгам Шакиров, стали подтягиваться и другие писатели, отдохавшие в это время. Быстро организовали на просторной веранде стол и сидели до глубокой ночи. По просьбе Амирхана-абы Ильгам пел в тот вечер много и от души. Этот концерт я запомнил на всю жизнь. Все оставшиеся дни в Ялте я провел с Ильгамом. В романе «Ранняя печаль» есть сцена с рестораном-варьете «Ницца», там мы не раз бывали с Ильгамом. С собой у меня была только одна книга «Полустанок Самсона», и я подарил её с надписью: «Ильхаму Шакирову — удивительному человеку, видевшему в лицо весь свой народ». Почему такой претенциозный, на первый взгляд, текст? Потому что наш великий мастер показал мне карту, где он выступал, и поверьте, не было в СССР поселка, где живут татары и где бы Ильгам не пел!!! Поисти-



не, ни одному владыке, царю не удавалось увидеть глаза в глаза весь свой народ, и только он видел татар от мала до велика. На его концерты ходят всей семьей, с девяностолетними старухами и грудными младенцами на руках.

Я давно ношусь с идеей постройки ему народного памятника при жизни, не только как великому певцу, но и как объединителю, охранителю нации. И на постаменте должны быть выбиты эти слова. А под ними ниже — карта СССР с Казанским кремлем в центре, и от него тысячи и тысячи лучей к местам поселения татар, где он побывал по велению сердца. В русской культуре таких людей называют подвижниками, жаль, не знаю, как одним татарским словом обозначить его роль в судьбе своего народа. Хочу упомянуть и Рашида Вагапова, Альфию Авзалову, Зифу Басырову и многих, многих других певцов, поэтов, композиторов, чьи песни тоже сохранили татар, татарскую культуру на чужбине.

Песней объединены татары, песней спаслись, с песней воевали и побеждали и с песней живут до сих пор.

Та летняя ночь на ялтинской веранде закончилась для меня еще одним сюрпризом — Амирхан Еники подарил мне роман «Гуляндам» о композиторе Салихе Сайдашеве в переводе Рустема Кутуя.

И еще один штрих о татарских песнях и исполнителях. На 75-летие Мустая Карима съехались видные гости отовсюду, и каждого он поблагодарил в заключительном слове, и только про одного сказал так: «...а Хайдара Бигичева мне словно Всевышний послал...». Татарская песня оказалась самым дорогим подарком для сердца великого поэта.

— *Вы прожили в Ташкенте с 1961 по 1990 год, работали в строительстве, потом начали писать книги, после «Пеших прогулок» получили общественное признание. Интерес представляет и ваша личная жизнь — в молодости вы активно занимались боксом, футболом, дружили с народным артистом балетмейстером Ибрагимом Юсуповым, увлекались джазом, собрали значимую коллекцию живописи, давно стали театралом, меломаном — это я к тому, что вы хорошо знали разные слои узбекского общества, отсюда вопрос: какую нишу в общественной, культурной, хозяйственной жизни Ташкента занимали татары? Сегодня, когда у татар обостренный интерес к самим себе, это важно знать.*

— В среде татар в ходу живучая мысль, что якобы им нигде не давали хода. Но это совсем не так, посудите сами на примере Таш-

кента. Начну со строительства. Я сам работал в строительномонтажных организациях — министром был Гази Сабилов. Замом министра в Министерстве стройматериалов работал отец известного ныне в Москве и в Казани предпринимателя и мецената Александра Якубова — Рустам-абы Якубов. В Министерстве строительства министром был Сервер Омеров, а министром сельского строительства — Таймазов. Главным архитектором Ташкента и архитектором знаменитой гостиницы «Ташкент» был всемирно известный Мидхат Булатов, автор многих фундаментальных работ по архитектуре. Один из крупнейших строительных трестов Ташкента возглавлял Наиль Клеблеев, республиканский трест механизации — Эрнест Ховаджи. Если названные навскидку первые лица были татарами, надо понимать, сколько при них работало соотечественников. Профсоюзом строителей руководил Исхак Забилов, доктор наук, издавший несколько книг по жизни и творчеству Мусы Джалиля. Узбекские профсоюзы возглавлял Р. Адаманов, начальником железной дороги был Кадыров, узбекским «Аэрофлотом» руководил Н. Рафиков.

Возьмем партийные органы. В ЦК комсомола, а позже в ЦК партии отдел пропаганды возглавлял Максуд Зарифович Узбеков, доктор наук. Секретарем горкома партии по идеологии, а позже и обкома был Карим Расулов, а его брат Рахим более десяти лет являлся прокурором Джизакской области, родины Шарафа Рашидова. Министром юстиции была Васикова, к сожалению, я многих уже не помню по имениотчеству. В прокуратуре, в Верховном суде, МВД, КГБ много высочайших постов занимали татары. Министром МВД в конце 80-х был Вячеслав Мухтарович Камалов, чью фамилию я взял для своих книг «Масль пиковая» и «Судить буду я», ранее Камалов был первым замом председателя КГБ республики. Даже в суверенном Узбекистане ключевой пост главы таможенного комитета получил Рим Генниятуллин. Советником по внешней политике сегодня у Ислама Каримова — Рафик Сайфуллин. Большой вклад в создание Конституции современного Узбекистана внес академик Шавкат-абы Уразаев.

Но продолжим экскурс в долгое советское время. Коснемся культуры. Председатель Союза композиторов — Эльмар Салихов. Главный композитор «Узбекфильма» — Румиль Вильданов. Равиль Батыров, Ильёр Ишмухамедов — известнейшие режиссеры, и у знаменитого Али Хамраева тоже татарские корни. Главный киносценарист студии, её идеолог — Одыльша Агишев. Талгат Нигматуллин, актер, тоже прославился там. Возьмем театр оперы и балета имени



Навои. Долгие годы прима-балеринами были там всемирно известные Галия Измайлова и Бернара Каримова, и у главного балетмейстера Ибрагима Юсупова тоже татарские корни. Заглянем в Союз писателей. До сих пор мало кому известно, что один из любимых писателей Сталина Сергей Бородин — татарин. В 1942 году он издал культовую для русских книгу «Дмитрий Донской». Классиком узбекской литературы слыл Аскад Мухтар. Высоко ценился властью Зиннат Фатхуллин, драматург. У него очень известные сыновья — Дильшат, лауреат Ленинской премии, а младший — один из создателей легендарного ансамбля «Ялла». Я хорошо помню их дом, сад в Рабочем городке. По-настоящему большим писателем был Явдат Ильясов, писавший по-русски. Хотя он умер больше пятнадцати лет назад, татарскому читателю еще только предстоит ознакомиться с его творчеством. Наверное, его книги очень заметно повлияют на форму и стилистику молодых писателей — это другая кровь, но истоки у нее явно татарские. Очень известен и любим в Узбекистане доктор наук, искусствовед, сын нашего классика Хади Такташа — Рафаэль Такташ. Из художников, которых там много, надо назвать академика Чингиза Ахмарова, автора изящных восточных миниатюр. Он оформил классические узбекские поэмы-дастаны: «Алпомыш», «Бабур-наме». Он же иллюстрировал большую подарочную серию восточных поэтов: Фирдоуси, Хафиза, Хайяма, Рудаки, Руми, Амира Хосрова Дехлеви, Низами, Бердаха. Чингиз Ахмаров оставил после себя не только учеников, но и новейшую школу забытой восточной миниатюры. В моей коллекции есть работы его талантливых учеников — Сергея Широкова и Азата Юсупова. Из молодых художников, ныне известных на Западе, хочу назвать Айдара Шириязданова.

Хотелось бы упомянуть и спорт. В знаменитые годы «Пахтакора» там играли Ревал Закиров, Виктор Суюнов, Владимир Тазетдинов, Максуд Шарипов, Вилли Каххаров, Вячеслав Бекташев, Гали Имамов. Общество «Пахтакор» представлял чемпион Европы легкоатлет Родион Гатауллин. Единственный чемпион мира по боксу — Руфат Рискиев, и гимнастки, многократные чемпионки мира, Европы, Олимпийских игр — Венера Зарипова и Алина Кабаева.

Даже на ежегодных пушных аукционах в Ленинграде, куда поставлялся лучший в мире бухарский каракуль, узбекскую комиссию возглавлял мой сосед, выпускник «плехановки» — Максуд Зиганшин. Назову и выходцев из Ташкента миллионера Аниса Мухаметшина и братьев Расима и Рената Акчуриных.

Сходная ситуация в положении татар, или даже более благоприятная, была в те годы и в соседнем Казахстане. Многие связывают такую благосклонность к ним властей с родословной самого Кунаева и его жены-татарки, действительно, помогавшей талантливым татарам. Но я, живший и в Казахстане, и в Узбекистане, утверждаю, что это больше связано с ментальностью казахов и узбеков, с их открытостью и широтой их души.

Вспомнил Ташкент и Алма-Ату и неожиданно подумал: а готовы ли сегодня в Татарстане так же щедро предоставить высокие посты, должности тем же узбекам, казахам? Вряд ли. Сужу по своему опыту. Двадцать пять лет с татарским упорством я пытался издать в Казани книгу — и только сегодня, на двадцать шестом году мытарств, она вышла, хвала Аллаху.

Но вернемся ещё раз в Ташкент. Хочу рассказать, а кому-то напомнить, как принимали здесь татарский театр. Отдавали ему самый большой и красивый зал театра имени Хамзы. С билетами были проблемы, как и на концерты Ильгама Шакирова, хотя приезжали надолго, на месяц-полтора. В эти дни разговоры в среде ташкентских татар — только о спектаклях, артистах. Актеров постоянно приглашали в гости. Однажды уже упоминавшийся Максуд Узбеков, работавший в ЦК партии, пригласил домой руководство театра и ведущих артистов. Там, в гостях, я познакомился и с Марселем Салимжановым, и с Азгаром Хусаиновым, директором театра. С Азгаром связь поддерживалась долгие годы.

Татарская диаспора Ташкента жила полнокровной национальной жизнью, на Шота Руставели находился большой книжный магазин, где много лет имелся отдел татарской литературы, тут же оформляли подписку на казанские газеты и журналы, назначали встречи. В узбекской столице любили гастролировать казанские театры и эстрадные звезды. Помню, в конце 60-х, встретив у филармонии её директора Ашота Назарянца, спрашиваю: когда придет Доминико Модунио? Гастроли были уже давно объявлены, а знаменитый итальянец не появлялся. Назарянец, человек с хитрецей и юмором, отвечает: «А на что мне Модунио?» Я в ответ: «Будут аншлаги, большие сборы, сразу квартальный план...» А Назарянец с улыбкой: «Ну, эти проблемы гораздо лучше любой капризной звезды мне может закрыть Ильгам Шакиров, стоит мне только дать телеграмму в Казань!»

Я возражать не стал, знал, что творилось на концертах Ильгама. Пожалуй, он первый в СССР начал давать два концерта в день,



для того, чтобы не разнесли вдребезги концертный зал. Ведь приезжали на выступления и из казахских городов: Чимкента, Джамбула, Туркестана, Арыси, из таджикского Ленинабада, киргизского Оша. Сейчас примерно такое происходит на концертах Алсу и Земфиры. И еще об Ильгаме и татарской диаспоре, и о любви народа к песне. В середине 60-х я часто и подолгу бывал в Москве по работе. Вечерами захаживал в кафе «Синяя птица», где день играл саксофонист Клейбанд, а день — гитарист Громин. Там я познакомился с молодым пианистом Владимиром Ашкенази, тем самым, который уже лет тридцать входит в мировую элиту исполнителей. Через год после нашего знакомства Володя, как и Нуриев, остался после гастролей на Западе. А тогда Ашкенази, узнав, что я татарин, сказал: «У вас есть очень хороший певец — Ильгам Шакиров». Я с удивлением спросил: «А ты-то откуда знаешь? Он исполнитель народных песен, поет исключительно на родном языке». «А мне о нем Ростропович рассказал», — ответил Володя и поведал краткую историю, которую я не забыл и через сорок лет. Оказывается, Ростропович днем репетировал со своим оркестром в каком-то Дворце, где вечерами выступал Ильгам Шакиров. Ростропович — человек увлекающийся, поэтому часто не укладывался в свое время и уходил перед самым концертом, когда музыканты уже настраивали инструменты. Каждый раз, когда Ростропович стремительно выходил на площадь перед Дворцом, он встречал огромные толпы людей, не обращавших на него никакого внимания и лихорадочно ищущих лишний билетик. Так произошло раз, два и три, на четвертый раз Ростропович подошел к афише, а на следующий день остался на концерт и все первое отделение простоял за кулисами, наблюдая и за залом, и за сценой, чтобы понять феномен невероятной народной любви к артисту. В перерыве он подошел к Ильгаму Шакирову, поздравил его с успехом и сказал много теплых слов. Через пятнадцать лет, познакомившись с Ильгамом, я получил подтверждение истории, рассказанной мне Владимиром Ашкенази.

Вот так тесно сплелась нить повествования вокруг одних и тех же татарских имен, и казанских, и ташкентских, да и всех остальных, живущих от Калининграда до Владивостока. При всей нашей раздробленности живем мы одними песнями, одними молитвами, преклоняемся перед одними и теми же людьми — цветом нашей нации.

# Искусство жить искусством

Портрет писателя на фоне его прозы

Сергей АЛИХАНОВ  
академик

**Т**ворческая биография Рауля Мир-Хайдарова удивительная, и без знания основных периодов и фактов его жизни невозможно понять тематическое и стилевое разнообразие его прозы.

Родился Рауль Мир-Хайдаров в поселке Мартук Актюбинской области (Казахстан) в семье оренбургских татар в 1941 году, когда его отец уже воевал на фронте. Отец писателя, сражаясь в составе знаменитой Панфиловской дивизии, погиб в боях под Москвой, так и не увидев своего сына.

Как и все дети военных и послевоенных лет, он сполна хлебнул лиха. Неустроенность быта, полуголодное существование, изнурительная работа ради куска хлеба.

Замечательная учительница начальных классов — Зоя Григорьевна Валянская и преподаватель литературы Лидия Георгиевна Кутузова привили мальчику любовь к русскому языку, которым он до школы не владел.

В 1956 году после семилетки он поступил в Актюбинский железнодорожный техникум. Трудовую деятельность начал прорабом в строительстве — непрерывный стаж его работы на стройках составляет двадцать лет. Ни о каком творчестве молодой прораб в те годы



и не помышлял. Школьником, как впоследствии он сам признавался, не зарифмовал и двух строк, хотя читал много. В характеристике, приложенной к аттестату, даже сочли необходимым отметить: «Перечитал всю детскую библиотеку района». Рано увлекся музыкой, живописью, стал заниматься спортом и неоднократно становился чемпионом Актюбинска по боксу.

В 1962 году Мир-Хайдаров переехал в Ташкент, поступил на заочное отделение строительного института, окунулся в культурную жизнь столицы. В круг его общения теперь вошли не только строители, но и художники, артисты, музыканты. Мир-Хайдаров становится завзятым театралом, завсегдаем кулис, общается с творческой элитой столицы. В этой ауре оттачивается прирожденный художественный вкус будущего писателя — Мир-Хайдаров дышит искусством, живет им, вроде бы пока не имея ни к театру, ни к живописи, ни к слову прямого, точнее, профессионального отношения.

Все изменил случай. На обсуждении фильма признанного режиссера инженер Мир-Хайдаров с молодой запальчивостью высказал несколько неординарных замечаний. В ответ обидчивый мэтр полусутоливо предложил смелому критику самому создать что-нибудь путное, а уж потом критиковать.

Строитель вызов принял и в течение трех дней написал рассказ — «Полустанок Самсона». Первый же рассказ инженера, до этого не бравшего в руки пера, был опубликован в московском альманахе «Родники». Шел 1971 год, который и стал точкой отсчета в творческой биографии Мир-Хайдарова. Нелишне заметить, что «Полустанок Самсона» был напечатан с тех пор не менее тридцати раз, переведен на иностранные языки, по нему неоднократно делались радиопостановки.

А начинающим автором овладела настоящая лихорадка творчества. С невероятной быстротой Мир-Хайдаров пишет один рассказ за другим, как бы торопясь выговориться, выплеснуть все то, что накопилось у него в душе. Быт простого люда, мир и мысли тружеников оживают под его пером. Контраст между виртуозным мастерством вязальщиц и жалкой нищетой промерзшей землянки, в которой они живут, составляет трагическую тему рассказа «Оренбургский платок». Сам процесс непрерывной, напряженной творческой работы над словом формирует из инженера писателя. Однако путь молодого автора в литературу вовсе не был гладким. Вернемся в те недавние годы, которые сейчас называют «застоем», и посмотрим, что за человек стучался в двери редакций.

Татарин, родившийся в Казахстане, пишущий на русском языке и живущий в Узбекистане. Ни зять, ни сват, ни чин — пришлый, «без руки», «без спины». Перспектив, по устоявшемуся мнению, у автора не было никаких. Много лет спустя в статье «...И временем все, как водой, залито» («Актюбинский вестник» от 6 февраля 1997 года) Мир-Хайдаров расскажет, как трудно приходилось ему в то время, поскольку переход из строительного цеха в литературный никаким отделом кадров не утверждается: «Каждой публикации приходилось добиваться многомесячными хождениями по редакциям, ведь журналов и издательств — единицы, а писателей — тысячи».

Однако энергия молодости, прирожденный талант и крепнущее мастерство преодолевали все преграды — книги Рауля Мир-Хайдарова начали выходить в московских и местных издательствах одна за другой: «Полустанок Самсона», «Такая долгая зима», «Оренбургский платок», «Не забывайте нас», «Дамба». Имя писателя все чаще появляется в столичных журналах. Отсутствие специального литературного образования не мешает успеху, поскольку за плечами молодого прозаика богатейший жизненный опыт — основная составляющая самобытного литературного таланта. Мир-Хайдаров выпускает книги, а это — главное в профессии писателя, которая невозможна без возникновения обратной связи между писателем и читателями. Эта связь и является сутью литературного процесса, благодаря которой каждое новое произведение писателя приобретало все более совершенную форму, а многозначность содержания свидетельствовала о росте профессионального мастерства. Расширялся тематический диапазон, зорче становился взгляд художника, стиль Мир-Хайдарова обретал характерные, сугубо индивидуальные черты.

Прозе Рауля Мир-Хайдарова присуща доверительная интонация. Раскрывая любую его книгу, словно встречаешь старого друга, с которым вступаешь в долгую, неторопливую беседу. Радуешься встрече, вспоминаешь былое, говоришь о будущем. За чтением незаметно пролетает час, другой. И вдруг появляется странное впечатление, что не только писатель беседует с тобой, но и ты сам отвечаешь ему, спрашиваешь о чем-то, — возникает диалог. Полифоничное, наполненное простором звучание фраз его прозы напоминает шум волн Илека, Сыр-Дарьи. А по народной примете день, проведенный у реки, не старит человека.

Особую силу известному роману «Пешие прогулки», который был издан более двадцати раз, придает то, что проза перешагнула



рамки типографского формата. Литература Мир-Хайдарова оказалась не театральными подмостками, где сраженный герой оживает после падения занавеса. Этот роман стал частью всего круга человеческого бытия — и жизни, и смерти. Из-за литературного содержания «Пеших прогулок» писателя убивали всерьез, на самом деле! Его пытались «ликвидировать» за то, что он вместе со своим героем прокурором Азлархановым боролся за справедливость. Писателю выпала нелегкая доля: за художественную прозу, за роман он оказался в «заказе» и собственной судьбой продолжил судьбу своего литературного героя.

Истинность убеждений, художественная достоверность творчества были оплачены Мир-Хайдаровым по самой высокой ставке — собственной жизнью и здоровьем. Покушение на жизнь писателя организовали негодяи, имена которых уже стерлись из памяти. Писателя пытались «убрать» как настоящего и будущего свидетеля. Те, кто оплатил это неудавшееся покушение, предчувствовали, что перестроечное криминальное обогащение руководящей верхушки — это только первый шаг на пути небывалых грабежей и величайших преступлений против собственных народов, которые свершатся в последующее десятилетие. Этим монстрам был не нужен бесстрашный и неподкупный очевидец, в чьей власти находится единственное оружие, которого они еще боятся, — честный и свободный голос. Стало очевидно, что власть имущие, в страхе перед правдой, действуют точно так же, как и криминальные структуры. Покушение на Мир-Хайдарова было наглядным признаком сращивания уголовных и правящих кругов, которое началось с перестройкой и продолжается в настоящее время.

Совсем недавно вышла книга воспоминаний бывшего и. о. Генерального прокурора России Олега Гайдарова, где много страниц посвящено Раулю Мир-Хайдарову. Свою знаменитую тетралогия «Черная знать», которую открывает роман «Пешие прогулки», писатель начинал в Ташкенте, где в ту пору Олег Гайдаров работал первым замом Прокурора республики. Это были годы перестройки, когда впервые всерьез попытались бороться с коррупцией. Вот что пишет прокурор высочайшего ранга в своих воспоминаниях о выходе в свет «Пеших прогулок»:

«Весной 1988 года, в разгар антикоррупционной компании в Узбекистане, мне положили на стол письмо главного редактора журнала «Звезда Востока» Сергея Татура и рукопись романа «Пешие прогулки», с просьбой дать правовую оценку, а если говорить открытым

текстом, то дать разрешение на публикацию. То были годы гласности, у всех появились широчайшие права: пиши, что хочешь, публикуй, что желаешь. Цензура отменена, хотя и в советское время не Прокуратура решала, что публиковать, а что нет. Но в 1988 году каждый страховал себя, свое кресло, и прокуратуре пришлось заниматься и литературой.

В тот же день, поздно вечером, дома, я открыл рукопись и читал до завтрака. Странно, но фамилия автора мне показалась знакомой. Ничего подобного я до сих пор не читал и не встречал писателя, более осведомленного о работе силовых структур, государственного аппарата, спецслужб, прокуратуры, суда и ... криминального мира, чем автор этого романа. Первым моим впечатлением было, что это написал мой коллега, прокурор высокого ранга, в годах, с колоссальным опытом работы в коридорах власти, и в перестройку, в эпоху гласности, решил громко хлопнуть дверью. Позже один из моих коллег, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР, прочитав роман, тоже в рукописи, по моей просьбе, с печалью и светлой завистью сказал: «Мне кажется, что это я написал эту книгу». Похвала людей такого ранга дорогого стоит. Вкратце я бы так охарактеризовал прочитанное: остросюжетный политический роман с детективной интригой, написанный на огромном фактическом материале. В нем впервые в нашей истории дан анализ теневой экономики, впервые столь масштабно показана коррупция в верхних эшелонах власти, показано сращивание криминала со всеми ветвями власти.

Выход романа и серия заметных газетных публикаций под названиями: «Заржавели весы у Фемиды» и «Одолеет ли прокурор мафию», яркие выступления по телевидению сразу сделали Рауля Мир-Хайдарова известным писателем. Всесоюзное радио тут же записало роман, и он изо дня в день, месяцами, звучал в эфире. Появились у него не только друзья, почитатели, покровители, но и враги. Стали поступать анонимные угрозы, шантажировали по телефону, угнали машину. Появились подметные письма с требованием остановить работу над новым романом, отрывки из которого уже печатались в газетах. Когда стало понятным, что автор не остановится, на него было совершено покушение. Опять же, можно сказать, первое покушение в СССР по политическим мотивам. Тяжелое покушение, он только чудом оказался жив. О покушении мне сообщили среди ночи, и уже через час я был в институте травматологии. Началась борьба за жизнь самого писателя. Нам было понятно, что оставшего-



ся в живых писателя могут ликвидировать и в самой больнице, и поэтому мы с генералом МВД Э. Дидоренко выставили круглосуточную охрану у его палаты, а позже часто меняли этажи и комнаты. Через время мы собрали консилиум врачей из клиник МВД, КГБ и военного округа и строжайше запретили лечащим врачам делать операцию на позвоночнике. Мы не доверяли местным врачам, и большинство лекарств к писателю доставлялись из названных выше клиник».

Заканчивает воспоминания о ташкентском периоде своей службы прокурор Гайданов такими признаниями:

«Нигде, ни в какой книге, я не встречал столь обстоятельного исследования жизни и работы прокуроров, причем прокуроров со знаком плюс и минус, как в тетралогии «Черная знать». И те, и другие даны столь убедительно, что одних любишь от души, других так же глубоко презираешь и ненавидишь.

Я часто перечитываю книги своего друга, и мне кажется, что романы Рауля Мир-Хайдарова — иллюстрация всей моей жизни, и с высоты своих прожитых лет и прокурорского опыта я могу повторить, как некогда мой коллега из Генеральной прокуратуры СССР — «мне кажется, это я написал тетралогию «Черная знать».

Да, оценка художественного произведения профессионалом такого уровня, действительно, дорогого стоит.

Перемены в нашей жизни изменили и литературу. Сошли на нет утвердившиеся имена, появились многочисленные сочинители книг-однодневок, прилавки заполонило макулатурное чтиво. Многие еще совсем недавно известные литераторы пропали с литературного горизонта, словно их и не было никогда. Настало время горестных перемен в духовной жизни на географическом пространстве, бывшем когда-то единой страной. И это жестокое в своем безразличии время одних награждает славой, а других низвергает в небытие. Может быть, это трагическое разделение народов и породило небывалое изобилие бульварной литературы. Мало осталось художников слова, устоявших под ураганым ветром политических и социальных перемен.

Рауль Мир-Хайдаров — один из них, писатель, добившийся заслуженного признания у себя на родине и далеко за ее пределами. Литературное имя Мир-Хайдаров приобрел, создав серию социально-политических романов, в которых современный мир предстает перед читателями в правдивом и даже шокирующем отражении. Богатейший фактический материал предопределил богатство содержания,

а безукоризненная достоверность стала основой его романов. Сила художественных полотен Рауля Мир-Хайдарова — в значительности социальных обобщений, хотя автора нельзя назвать просто фактографом или хроникером. Мир-Хайдаров умеет вылепить не только впечатляющих монстров «пиковой масти», но и героев, борющихся с ними, профессионалов, оправдывающих высокое предназначение Человека с большой буквы. Писателю чуждо спокойное созерцание социальных катаклизмов. На страницах его произведений читатель ощущает взрывную силу эмоций автора, страстное слово которого органично вплетается в текст, придавая ему высокую степень одушевленности.

Немаловажное достоинство романов заключается в точно выверенной архитектонике. Острый криминальный сюжет позволяет раскрыть суть явлений и подлинные причины событий. Романы Мир-Хайдарова несут значительный провидческий потенциал, благодаря которому его знаменитая тетралогия не только не устарела, но, напротив, за прошедшее десятилетие со дня первого опубликования (в течение которого на постсоветском пространстве изменилась сама социальная формация!) стала еще более актуальной. Это означает, что романы писателя отражают глубинную сущность нашего общества. Культурный атташе одного из западных посольств в столице Узбекистана как-то признался, что персонал посольства изучает романы Мир-Хайдарова с целью проникновения в народный характер, в психологию власть имущих. И по сей день творчество писателя служит ключом к пониманию всего того, что и сегодня творится в коридорах власти и в среде сплетенного с ней в неразрывный клубок криминала.

## 2

Вызывают удивление необычайно высокие темпы творческой работы Мир-Хайдарова. Начиная с 1988 года романы писателя выходят в свет с интервалом в один-два года. Шесть многоплановых романов, созданных за столь короткое время, — феномен, еще ждущий своего исследования. Несомненно, что эта удивительная плодотворность подготовлена всем жизненным опытом автора. Вершинные произведения писателя предопределены всем его предшествующим творчеством. Более того, многие идеи и образы романов станут вполне понятны и по достоинству оценены лишь при последовательном знакомстве со всеми произведениями писателя.



Прошли годы, закончилась пресловутая Перестройка, и самому «построению капитализма» в России пришла пора подводить первые итоги. Настал если не срок давности, то срок памяти. Замяты, забыты старые уголовные дела, исчезли факты и забылись свидетельства. Меняется — наконец-то! — уголовный кодекс, и «социалистические» преступления перестали даже быть нарушениями закона. За прошедшие годы стало очевидно, что разоблачительные романы Мир-Хайдарова оказались несмыслимыми отпечатками и следами той относительно еще благополучной жизни. Однако романы эти актуальны и сейчас! Подлинная литература оказалась живее и долговечнее отраженной ею действительности. Время «дележки» проходит. Общество опять надолго расслаивается, вернее, уже расслоилось, на сей раз не по интересам и профессиям, а, как и в других «развитых» странах, по уровню дохода. Первыми отделили себя от остальных — заборами и охраной — те, кто преуспел. Ни в каком интервью они уже не расскажут, как заработали свои миллионы долларов. Более того, они и сами уже не помнят этого. И вовсе не потому, что у богатых людей такая слабая память, а потому, что и способность человека запоминать, и способность забывать — все направлено к одной цели: выживанию. Через двадцать — двадцать пять лет новое поколение воспримет как данность все то, что произошло с нами сегодня. И забвение сомкнется и над ходом событий, и над нашими судьбами, сформировавшими текущую действительность, подобно океанской воде.

А художественный текст романов Мир-Хайдарова уже стал самой историей.

Проза автора — это воплощение реальности, безвозвратно канувшей за горизонтом кризисов и дефолтов. Несомненно, крушение социализма и перманентный кризис капитализма в России будут предметом многих исследований. Но действительная атмосфера недавних лет нашей жизни сохранится в живой ткани романов Рауля Мир-Хайдарова навсегда.

Сейчас очевидно: писателя потому пытались «убрать», что первым «новым русским» инстинктивно не хотелось оставаться на страницах его книг, а значит, и в памяти, и в истории. Остаться навсегда такими, какими они были на самом деле. Убийцам и расхитителям всегда хочется выглядеть благодетелями, реформаторами, прогрессистами, учителями и благотворителями. Но перо Мир-Хайдарова запечатлело их по-другому: без румяного оживляющего грима, без предэфирного макияжа. Хотя за последние годы электронные средства

массовой информации показали нам безграничные возможности воздействия на население, все-таки и у них обнаружился существенный недостаток — результаты их пропагандистской кухни живут недолго. Пролетели волны в эфире и улетели, сгнули и забылись.

А книги Рауля Мир-Хайдарова остались на полках.

Пришло запоздалое понимание, что доельцинские и догорбачевские времена, по нынешним криминальным меркам, в сущности были безвинны, а истинный размах казнокрадов проявился только сейчас. Масштаб экономических преступлений, размывший фундамент относительно благополучной народной жизни, становится виден на расстоянии — уж очень много украдено. Торопливые теле- и фоторепортажи, газетные статейки и экстренные сообщения о том, что очередной господин Вор задержан, попал на пару недель в американскую тюрьму, непрерывным мельтешением и удручающей повторяемостью только сбивают с толку народ.

Смысл происходящего становится ясен и более очевиден только при чтении романов писателя, стоящих на полках и спокойно ожидающих, когда мы опять раскроем их страницы, исполненные мудрости и прозрения.

Рауль Мир-Хайдаров по-прежнему убежден, что нельзя перестраивать жизнь по нелепым рецептам полуграмотных, жадных, властолюбивых и в то же время до удивления легкомысленных глупцов, побывавших проездом в американском супермаркете, но так ни разу и не поинтересовавшихся, как на самом деле работает западная экономика (за последнее десять лет ни один крупный чиновник не затребовал ни одной справки в Институте США и Канады).

Писатель говорит: «Требуется изменения и большего соответствия изначальному Божьему замыслу сам человек и его душа. Житейский уровень должен быть достаточным, а не чрезмерным, и им не следует кичиться. Труд должен быть ежедневным, и самооценку жизни — в труде. И только результаты труда и творчества есть мерило достоинства человека и памяти о нем. Зависть же и алчность вовсе не двигатели прогресса, а лапы дьявола, которыми он подталкивает корыстолюбцев в ад».

Массовому российскому читателю еще совсем недавно казалось, что Адылов и «адыловщина», послужившие ситуационными прообразами романов Мир-Хайдарова, — это где-то там, в Средней Азии, далеко. Подспудные причины распада Советского Союза крылись и в желании отделить себя от рабской поденщины декхан на хлоп-



ковых плантациях, за которую потерявшие совесть басмачи с партийными билетами не платили зарплату бесправным труженикам. И всем очень хотелось очутиться подальше от коррупции, разевшей периферийные пространства рушащейся империи. Мерещилось, что для того, чтобы «примкнуть» к благословенной Европе, зажить счастливо и богато, нужно совсем немного, — рецепт быстрого благоденствия виделся простым: отсоединиться от азиатов, отстраниться от полного бесправия жителей горных аулов и степных кишлаков, отгородиться еще несколькими границами от следов собственных преступлений на афганском плоскогорье.

В романах же писателя четко прослеживается, что раковая опухоль коррупции находится там, где находилась всегда, — в центре Москвы. На периферии — только холуйские метастазы. Причина разложения государственного организма всегда одна и та же — продажность власть имущих. Рабский труд без зарплаты бывает не только на хлопковых плантациях, и сейчас достаточно включить телевизор, чтобы увидеть изможденные лица голодающих шахтеров и учителей, ученых и врачей, и с горечью и опозданием убедиться в правоте и силе предвидения Рауля Мир-Хайдарова.

### 3

В творчестве Мир-Хайдарова следует выделить два периода.

Начальный — с 1971 года, охватывающий примерно полтора десятилетия, когда были написаны рассказы и повести. Второй — это преимущественно романное творчество. Дело тут не столько в объеме, сколько в качестве прозы. Малые формы спокойны по тематике, сюжет в них зачастую весьма условен. Читателю требуется особая зоркость, чтобы отличить героев рассказов и повестей от едва приметных и мало чем разнящихся обитателей человеческого, а главным образом социалистического, «муравейника», — герои раннего Мир-Хайдарова слиты с фоном общественного бытия.

Но уже в ту пору один из его ранних рассказов «Уходящие чайханы» заканчивается провидческими мыслями, которые мы поняли лишь сейчас, разрушив свою страну, свой дом. «Новое нужно строить так, чтобы оно не вызывало грусти и сожаления о прошлом». Какие мудрые слова, если оглянуться вокруг!

Напряженные и насыщенные сюжеты романов Мир-Хайдарова охватывают совсем иные масштабы. Здесь вступают в действие «наполеоны» современности: мафиози, каталы, тенивики, политики всех

масштабов. Архитектура прозы становится иной: появляются концепция, полифоничность звучания, жанровый синтез. Но уголовный сюжет важен для писателя не сам по себе, а как способ проникновения в суть жизни, во все ее немислимые противоречия и перипетии. Романное развитие определяется не только усложнением сюжета, а расширяющимися творческими возможностями писателя. Ранняя проза для Мир-Хайдарова была одновременно и периодом плодотворного ученичества — работая над текстами, писатель оттачивал свое мастерство. Открывшиеся новые творческие возможности предопределили естественный переход автора от простых «рабочих» тем к сложному социальному и политическому анализу общества. При единстве образов, типов поведения и главенствующих сюжетных моделей переход от рассказов и повестей к романам стал для Рауля Мир-Хайдарова как для художника слова качественным прорывом в иное творческое пространство. Рассказы и повести, наподобие ручейков, слившись, превратились в могучие реки романов.

В 1975 году Рауль Мир-Хайдаров был участником VI Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве в семинаре Николая Елисеевича Шундика. Кроме него семинар вели: Лазарь Карелин, Майя Ганина и известный в ту пору критик Иосиф Гринберг. Майя Анатольевна, приходившая на семинар только в те дни, когда обсуждалось творчество ее протеже, молодой писательницы из Риги, кстати, не оправдавшей в будущем больших надежд своей покровительницы, сказала о Мир-Хайдарове, как бы в укор: «У него слишком дистиллированный язык». Однако она согласилась с коллегами, что у Мир-Хайдарова острый социальный взгляд, твердая рука. Нелишне сказать, что в дни семинара, а он шел две недели, в «Литературной России» был опубликован рассказ Мир-Хайдарова «Такая долгая зима». Чуть позже, в числе тридцати авторов из 426-ти участников совещания, он попал в итоговый альманах «Мы — молодые», а издательство «Молодая гвардия» выпустило его первую книгу в Москве «Оренбургский платок».

В том же семинаре участвовала юная Нина Садур, позже ставшая известнейшим драматургом, чьи пьесы много лет не сходили с московских и европейских сцен, ей тоже досталось тогда от Майи Ганиной. Эта история вспомнилась автору этих строк только потому, что недавно ему в руки попал увесистый фолиант «Толковый словарь ненормативной лексики», включающий в себя 16 000 слов и 4 000 фразеологизмов, издательство «Астрель», 2003 год, автор Д. И. Квесиле-



вич. В этом словаре Рауль Мир-Хайдаров щедро представлен своим словотворчеством. Впрочем, сам автор и тогда, и сейчас, через 30 лет, не считает «дистиллированный русский язык» большим грехом для писателя, скорее наоборот.

Однако вернемся к началу 80-х годов, когда в первых сборниках рассказов писателя выстроилась целая галерея социальных типов, весьма характерных для того времени. Одним из самых интересных является образ Жорика Стаина («Седовласый с розой в петлице»), человека талантливого, с незаурядными способностями, неожиданно оказавшегося на обочине жизни. Развращенный нетребовательностью провинциальной среды захолустья, Жорик Стаин из многообещающего молодого эрудита незаметно превратился в мелкого пакостника, повсюду сеющего растление и зло. Писателем достаточно убедительно прослеживается процесс раздвоения личности, вскрываются внешние и внутренние факторы, повлиявшие на психологию человека, переставшего быть самим собой. Оставаясь холодным эгоистом, Жорик Стаин то принимает облик кумира спортивных болельщиков, то образ святоши, заучившего евангельские тексты, то становится неотразимым дамским угодником. Мельтеша и суетясь, он скатывается на дно, оказывается в подворотне, где соображают на троих. Видимость интеллектуальной жизни, имитация высококультурно общения только ускоряют распад личности. Двойственность становится причиной деградации. Но писатель останавливает своего героя у роковой черты нравственного небытия.

Образы мятущихся людей в переходные периоды жизни, когда одни устои обрушились, а другие еще не обретенны, особенно удаются Мир-Хайдарову. Сказано: душа обязана трудиться! А легковверные и, значит, духовно ленивые люди зачастую принимают собственные мечты и иллюзии за действительность. Вот стареющий нотариус Акрам-абзы из затерявшегося в оренбургских степях села, овдовев, решил подыскать себе новую подругу жизни... Такова завязка повести «Знакомство по брачному объявлению». На ловко составленное брачное объявление, как бабочки на яркий свет, слетаются невесты. У бедного нотариуса голова идет кругом. История забавна и трогательна, но именно беспочвенная мечтательность порождает драматические коллизии и даже приводит к фатальному исходу. А случается, что истинное и прекрасное люди принимают за обман и отвергают. Подобная чрезмерная предосторожность, граничащая со слепотой, тоже характеризует леность души и отнюдь не есть нравственность. В по-

вести «Жар-птица» Ленечка Солнцев набрел на «чудо», встретил самую любовь. Но Ленечка не верит своим глазам, потому что глаза его были устремлены в себя. Вертопрах Солнцев упускает свое счастье... Надо сказать, что сюжет «Жар-птицы» в творчестве Мир-Хайдарова стал сквозным. Двойственность характеров, предопределяющая жизненные неудачи героев ранней прозы Мир-Хайдарова, порождается их поверхностным отношением к жизни и сознательным, нарочито-блаженным неведением того, что в ней поистине ценно. В повести «Чти отца своего» писатель убеждает, что в душе каждого должен звучать внутренний камертон, по которому необходимо проводить постоянную выверку своих нравственных ориентиров — иначе бытие распадется, а личность деградирует и исчезнет.

Основные темы и образы первых лет творческой работы писателя нашли своеобразное преломление и развитие в романе «Ранняя печаль», законченном в 1991 году и вышедшем отдельным изданием пять лет спустя. Жанр этого произведения — беллетризованное воспоминание. Форма чрезвычайно трудная, в которой читательский интерес поддерживается не перипетиями сюжета, а чередой самых обыденных реалий, подробностями бытия, лишенными внешних эффектов. Предвосхищая опыты А. Битова, воплощенные в книге «Неизбежность ненаписанного» (М., «Вагриус», 1998), Мир-Хайдаров в романе «Ранняя печаль» использует метод коллажа — включает в текст фрагменты из других своих произведений, тематически и эмоционально созвучных этому поразительному роману. Оригинальный прием автора активизирует читательское восприятие, связывая в единый узел тематические нити всего творчества писателя. Возникает целостный и самодостаточный мир. «Ячеистая» структура повествования позволяет обстоятельно обрисовать судьбы людей, совершенно разных по характерам, социальному статусу, а главное — по итогам жизненного пути. Мне, в силу личных симпатий к прозе писателя и дружеских отношений с автором, к тому же оказавшемуся биографом Рауля Мир-Хайдарова, известны все его литературные пристрастия, его любимые поэты и прозаики. Он ещё не ступил на литературную стезю, когда его кумиром стал И. А. Бунин, и одолел он его прозу в юные годы, когда все ложится на сердце крепко и навсегда. Переболел он и западной литературой, что было характерно для молодежи 60-х — 70-х годов — Фицджеральдом, Томасом Вулфом, Голсуорси, Дзюмпеем Гомикавой — романистами, тяготевшими к социальным проблемам, а главное, к емкой, образной фразе.



Позже, уже сложившимся писателем, издавшим десятки книг, Рауль Мир-Хайдаров открыл для себя Валентина Катаева, обязательно надо добавить, позднего Катаева. И Катаев, лично знавший Бунина с юных лет и всю жизнь считавший его учителем, стал для Рауля Мир-Хайдарова вровень с великим Буниным.

Поздний Катаев, на взгляд писателя, никак не уступает по музыкальности фразы, по стилистике, по ярчайшим, неожиданным эпитетам и сравнениям кудеснику слова — Бунину. А по форме, по построению сюжета дает большую фору традиционалисту Бунину. Впрочем, как считает Рауль Мир-Хайдаров, и в мировой литературе не так уж много писателей, виртуозно владеющих формой, как Катаев. Такое трепетное отношение к своим кумирам, не шапочное знакомство с их творчеством, не могло не сказаться на манере, стилистике писателя. Он так же, как и его кумиры, тяготеет к предложениям на треть и на полстраницы, умеет описать вещь, обстановку, интерьер, застолье, что невольно видишь описываемое перед собой, как на экране. Писатель всегда сетовал, что открыл для себя Катаева поздно, хотя понимал, что лучшие свои произведения тот написал на излете своей жизни. Рауль Мир-Хайдаров завидовал молодым, идущим вслед ему писателям, для которых был уже написан и издан весь поздний Катаев. Еще больше жалел Рауль Мир-Хайдаров, что Катаев не успел показать Бунину свои лучшие вещи, настоящего Катаева, оправдавшего, да что оправдавшего, далеко превзошедшего ожидания своего учителя, великого Бунина. Иван Алексеевич оценил бы и форму, и содержание книг юноши, когда-то, в далеком 1918 году, пришедшего к нему на дачу с первыми своими стихами. До слез обидно, что Бунину не удалось прочитать «Траву забвения» — воспоминания о нем самом. Новая форма и новое содержание пришли к Катаеву через пятнадцать лет после смерти кумира юности.

Но Катаев все-таки повлиял на Рауля Мир-Хайдарова, повлиял на его главный роман «Ранняя печаль», хотя автор, может быть, пришел к такой форме неосознанно, интуитивно. Недавно, перечитывая Катаева, опять же по настоянию Рауля Мир-Хайдарова, в «Траве забвения» я наткнулся на авторское рассуждение Катаева. Привожу текст дословно: «...я ищу... чего-то, что не походило бы на роман. Отсутствие интриги для меня недостаточно. Я хотел бы, чтобы сама структура была другой, чтобы эта книга носила характер мемуаров одного лица, написанного другим...»

И меня тут же пронзила мысль, что именно по этому рецепту скроен роман «Ранняя печаль». Автобиографический роман Рауля Мир-Хайдарова, написанный от имени вымышленного Рушана Дасаева. И я тут же связался с автором и зачитал катаевские строки, и высказал свои соображения. Странно, не однажды одолевший «Траву забвения» Мир-Хайдаров не помнил этих строк и бросился листать томик Катаева, который у него всегда на письменном столе. Через минуту он радостно сообщил мне, что только теперь он разгадал мучившую его тайну, откуда родилась блестящая форма самой любимой его катаевской вещи «Юношеский роман». Еще мгновения ему оказалось достаточно, чтобы соотнести рецепт Катаева с «Ранней печалью» — и он с грустью сказал: «Как жаль, что Валентина Петровича нет уже почти двадцать лет, а то я сейчас бы поставил эти слова, как эпиграф, и отнес любимому писателю». Вот так: Катаев не успел к Бунину, Мир-Хайдаров к Катаеву. В таких горестных утратах, когда ученик не успевает отчитаться перед учителем, и рождается литература, и по-настоящему что-то создается только на излете жизни. Найдя столь прямую связь творчества Рауля Мир-Хайдарова с его любимым писателем, я понял, что еще одно качество, безусловно, роднит его с Катаевым, я имею в виду — силу воображения. Эта грань таланта у Рауля Мир-Хайдарова наиболее очевидна. Но, однако, вернемся к самому роману, где, кроме катаевского рецепта построения сюжета, много и собственных рецептов и открытий автора.

В романе, наряду с вымышленными персонажами, действуют и реальные люди (некоторые даже под собственными фамилиями), и географически достоверные города и поселки. Степное, Скудное, Хлебодаровка, Мартук — все это синонимы населенного пункта, откуда писатель родом. Этот затерянный в степи поселок, расположенный у самой границы между Европой и Азией, для Мир-Хайдарова не только «малая родина», а нечто большее — особый мир, в котором жили и живут многие герои писателя, или оттуда они родом. Подобное уже встречалось в мировой литературе: в мифическом округе Йокнапатофа происходит действие большинства романов Уильяма Фолкнера. Перефразируя слова братьев Гонкуров, Мир-Хайдаров однажды сказал: «То место, о котором не осталось литературных памятников... обречено на выпадение из истории, на безвестность». Высшей для себя честью писатель считает не дифирамбы критиков, а слова мартучанина о себе: «Я из Мартука, описанного в известном романе...»



Размышляя о прошедшей эпохе, автор не скатывается на нигилистические позиции огульного очернения. Он не уподобляет людей «манкуртам» или «совкам» в угоду текущей политической конъюнктуре. Мир-Хайдаров не льстит ушедшему времени, но и не обрушивается на него ушаты грязи, как это делают многочисленные радители «минутной истины». Герои «Ранней печали» — люди-созидатели, которые убеждены, что «только делом утверждается человек на земле». Книга получилась пронзительно грустная. Преодолевая льдистые барьеры людской разобщенности, Мир-Хайдаров подходит к широкой общечеловеческой теме, осмысливая жизнь как драгоценный дар Божий. Как бы ни скупилось время на радости, люди остаются людьми, они создают счастье и живут в той реальности, которую им предоставили судьба и история. Рушан Дасаев, герой романа, не может похвастаться ни шикарной квартирой, ни особым благополучием, и автомобиля у него нет. Но он молод, его жизнь насыщена и полна интересов. Любимая работа, музыка, литература, спорт — все входит в эту орбиту. Рушан открывает новых для себя писателей: Казакова и Распутина, Трифонова и Каледина. Трогательно гордится тем, что раньше всех в своем окружении прочел и оценил Фицджеральда и Дзюмпэя Гомикаву. Прелесть жизни, ее очарование — вот основной мотив «Ранней печали».

Оптимистическое восприятие рождается вовсе не от обладания дорогими и престижными вещами. Радость не имеет стоимостного выражения, и это тем более важно, что явственно и неумолимо ощущаемый фон романа — это трагическая суть бытия. Жестокость и крушение привычных устоев, словно мельничные жернова, перемалывают человеческие судьбы. Особое внимание автора привлекают неудачники, чья жизнь не состоялась не потому, что они сплеховали, а в силу враждебных обстоятельств. Сердце чуткого и восприимчивого читателя наполняется жалостью к героям, наделенным достоинствами, но обманутым бездушным временем.

Герой романа Рушан сожалеет не столько о том, что его поколение уходит, сколько о том, что оно уходит, не оставив достойного следа в духовной жизни исчезнувшей с мировой карты страны. Рушану нет еще и пятидесяти, а «он стал свидетелем крушения надежд, судеб, и не только людских. На его памяти исчезали города, кварталы, любимые здания и вокзалы, казахские аулы и русские селения». Жившие люди и существовавшая действительность исчезают с легкостью миража в пустыне. За текстом романа возникает мотив фантастично-

сти, иррациональности бытия. Кафе-стекляшка под названием «Лотос» — последнее прибежище «элиты среди пьющих» — на самом деле становится дальним берегом реки забвения, уже размытым дымкой времени. В такой ситуации и трагично, и несколько смешно выглядят люди с их неписаными правилами и манерой общения. Всем своим поведением они пытаются убедить себя, что еще на плаву, «оттого и галстук, и учтивые разговоры, и неестественная галантность, давно ушедшая из общения нормальных людей, и тщательные проборы в давно не мытых, посеченных волосах, и кокетливый платочек в кармане затертого пиджака». Невостребованность человека обществом — это мировая современная проблема, которую не решить усилиями одних психологов. Не тривиальная безработица, а фатальная ненужность и, как ее следствие, невовлеченность в жизнь порождают внутреннее чувство никчемности и мучительные духовные коллизии.

Писатель тем самым предвосхитил проблемы, которые появились только сейчас, в связи с глобализацией экономики. В иных случаях это приводит к жизненной катастрофе, как у знаменитого когда-то форварда столичной футбольной команды Камила, которого восторженные поклонники сравнивали с Пеле. Подчас к жизненной неудаче приводит уверенность в собственном обаянии — как у Тамары Давыдычевой из «Жар-птицы», Светланы Резниковой из «Ранней печали». Они мечтали о большой любви — казалось, все было рядом, только поверни голову, протяни руку, но...

Экранизации литературных произведений и большие деньги, приносимые в случае удачи, наложили на сегодняшнюю торопливую литературу отпечаток алчности. Действие, голливудский «экшен» стали главными составляющими современной прозы. На каждой странице бульварной книжки постоянно должно что-то происходить. Главную же мысль «модерновый» прозаик приберегает для сюжетного пика. Энергичный, ослепительно красивый литературный герой, убивая главного врага или отбирая партию героя, непременно произносит сентенции. Телевизионное, клиповое восприятие массового потребителя требует непрерывных развлечений. «Современная литература», к великому сожалению, стала походять на учительницу математики, которая, чтобы поддерживать видимость дисциплины в классе, вынуждена одновременно с разъяснением теоремы проводить возле доски сеанс стриптиза — иначе ее ученики ничего не узнают о «пифагоровых штанах». Тут о понимании и осмыслении жизни не может быть и речи. Тут сплошная «развлекаловка». Цель подобной



стряпни — помочь уставшему после работы человеку забыться после тягот дня, расслабиться, приморить глаза перед сном.

В романе Мир-Хайдарова «Ранняя печаль» никаких «экшен» нет, ничего остросюжетного не происходит. Никаких развлечений, никто никуда не мчится, не стреляет, никого не насилуют. Громкий разговор в чайхане, и тот вызывает замечание старика, пьющего чай: «Уважай других — будут уважать тебя». Полутонами, пастельными, неяркими красками писатель рассказывает об ушедшем и уже не имеющем никакого практического значения человеческом бытии. По сути этот роман — история любви инженера Рушана и архитектора Глории. Женский образ особенно удался писателю. Глория вынуждена уехать на Запад, потому что в стране, где все здания сооружались из однотипных железобетонных блоков, ее профессия архитектора оказалась ненужной. Любовь или реализация жизненного предназначения? — этот выбор и стал главной темой (так и хочется сказать «мелодией») романа «Ранняя печаль». Они любили друг друга, любили музыку и футбол своей молодости... Но Глория предпочла расставание, забрав с собой, как уезжающая, только четверть печали. Она решила воплотить свой дар в реальные постройки, добиться, чтобы ее призвание, способности и таланты не увяли втуне, а были воплощены в сооружения из бетона и кирпича. Глория выбрала востребованность, а не показной патриотизм. Следуя своему предназначению, только за границей она смогла осуществить свои ранние проекты: по ее чертежам возведены дворцы в Кувейте, дома в Германии. Глория воплотила свои чертежи, а значит, и свои мысли в реальные постройки, у нее архитектурная мастерская, она признана. Собственное умение и дар оказались для нее важнее продолжения рода на родной земле. Она предпочла жить в обществе, которое воспользовалось ее талантом и щедро за это заплатило.

А Рушан остался дома. Он грустит: ведь три четверти печали, судя по поверию и по тексту романа, действительно достались ему. Рушан тоскует, вспоминает, грезит. На волнах памяти он поднимается ввысь или опускается... На этой грустной ноте мы и расстаемся с героем, которому, как и всем нам, предстоит действовать, добывать хлеб насущный... Но это уже за рамками романа.

Архитектору Глории было что предложить на Западе. Она дорожит собой и, пока молода, работоспособна, покидает край, овеванный романтической дымкой молодости. Начало ее новой жизни — это достойное продолжение прежней. Оно оказалось возможным только

в обществе взаимных услуг, в обществе «сервиса». Глория, конечно, тоже тоскует — Рушан угадывает ее печаль, чувствует ее грусть между строк письма, пришедшего спустя десять лет после разлуки. Но как раз за эти десять лет многие проекты Глории были воплощены в жизнь — построены дворцы и дома.

Здесь, как в зеркалах, расположенных друг против друга, множатся жизненные пути героев Мир-Хайдарова. В тексте романа ощущается зыбкая неопределенность, присущая самой жизни.

Вернется ли Глория строить пятизвездочные отели-дворцы, больше похожие на миражи в пустыне, например, в Душанбе? Вряд ли. Поедет ли Рушан в Германию, чтобы навестить возлюбленную? Это еще менее вероятно. Он хочет остаться в ее памяти таким, каким она его помнит — молодым, или почти молодым. И он не поедет к ней, потому что автор советует не возвращаться в те времена, когда мы были счастливы. Возврата в прошлое нет...

Как-то на встрече с читателями Мир-Хайдаров сказал публично: «В моих романах ясно, кого я люблю, что я люблю, кого ненавижу, что ненавижу. Я не держу кукиш в кармане, не строю ни двусмысленных сюжетов, ни двусмысленных фраз, столь распространенных сегодня. Я не готовлю плацдармы для отступления, не стелю соломку, где могу упасть». Впрочем, и без этих слов его позиция ясна, я не раз слышал в его адрес высшую похвалу читателей — наш человек! Но меня все равно часто спрашивают — какой он? Читатель, ведь, в своем воображении рисует не только любимого героя, но, зачастую, и автора. Особенно, если книга глубоко его задела.

Наверное, тем, кто прочитал его повесть «Знакомство по брачному объявлению», кажется, что это человек веселый, с искрометным юмором — ибо такова повесть. Но это совсем не так, он не весельчак, не балагур, и острит редко. Я долго не мог ответить даже себе — какой он, пока не увидел его портрет в кабинете, работы талантливого художника Айдара Шириязданова. Идет густой снег, а он стоит беззащитный под раскрытым зонтом, в чистом поле, чуть склонив голову, и смотрит вперед, в будущее с глубочайшей печалью и тревогой. И я тут же вспомнил его персонаж из повести «Не забывайте нас» — Кашафа, которого он назвал — печальноглазый, наверное, ощущал со своим героем душевную связь, или, как обычно, писал самого себя. Чуть позже мне попадется на глаза большая статья о творчестве Рауля Мир-Хайдарова татарского писателя Рафаэля Сибата, к сожалению, рано ушедшего из жизни. Рафаэль Сибат, не меньше меня знавший



творчество Рауля Мир-Хайдарова, сказал о нем: «Для нас, татар, Рауль Мир-Хайдаров — неоткрытая Америка, Колумбы нужны, Колумбы...!» Он же пишет: «У меня есть несколько фотографий Рауля разного возраста: юного, зрелого, пожилого, и на всех фотографиях, словно печать, глубокие печальные глаза, отличающие людей с трагической судьбой, в них как бы отражена жестокая судьба татарского народа.» И вот только тогда я смог кратко охарактеризовать Рауля Мир-Хайдарова — печальный человек, с железной волей, твердым характером, острым аналитическим умом.

А между тем лиричные звуки музыки на площадке истории стихли. Алчность и бесстыдство породили диссонансы, под которые не потанцуешь. Человеческие законы попораны. На балу удачи дирижером стал Сатана... Именно об этом затянувшемся периоде, которому не видно конца, повествует знаменитая тетралогия Рауля Мир-Хайдарова «Черная знать».

## 4

В переломные периоды жизни страны отсчет времени начинается заново едва ли не с каждым новым экономическим законом или «похмельным» указом. Стал другим жизненный уклад, изменились, почти исчезнув, нравственные основы общества. Но детективные сюжеты Мир-Хайдарова, построенные на экономических преступлениях, совершенных в социалистический период, остались актуальны и поныне. Дельцы социалистической эпохи, вроде бы канувшей в Лету десять лет назад, — например, один из персонажей писателя Артур Шубарин — словно сошли со страниц романов Мир-Хайдарова в реальную и новую жизнь! Впрочем, так и должно было случиться. В рыночных условиях «теневики» социализма должны были стать преуспевающими менеджерами, если, конечно, они за эти годы физически уцелели. Ведь одной из основных задач преобразователей общества как раз и было вывести подпольных дельцов на свет, чтобы дать новый стимул промышленности за счет чувства собственников, которое было лучше всего развито у «теневиков». Всем тогда казалось: стоит только легализовать подпольный бизнес, как капитализм схватит нас за уши и вытянет из социалистического болота. Однако чуда не произошло...

Потуги горе-реформаторов привели лишь к деиндустриализации промышленности, основой которой были заводы «низких технологий». Капиталистических отношений между собственни-

ками и наемными рабочими не возникло, поскольку была угнетена и уничтожена сама производственная среда. Сейчас в России сложилась уникальная историческая ситуация: есть буржуазия, но нет капитализма. Пышно расцветший прожорливый чиновничий аппарат, проевший доходы от скоропалительной, продешевленной приватизации, пустил по ветру национальное богатство. Отсутствие не только концепции развития, но и мало-мальски разумного текущего плана привело к полному экономическому краху новые государственные образования, возникшие на постсоветском пространстве. Иссякни завтра нефть и газ — уже послезавтра опустеют прилавки супермаркетов, пополняемых прямо с колес трейлеров.

На бескрайней, разделенной теперь территории СНГ все предприятия, независимо от форм собственности, существуют только благодаря двойной, тройной бухгалтерии. Новые фискальные органы с гауляйтерской заботой демонтируют экономику, создавая такие условия для работы и бизнеса, при которых любой действующий предприниматель, а тем более — успешный, всегда виноват перед многочисленными чиновниками. Чтобы выжить, предприниматели вынуждены укрывать реальные доходы, количество и квалификацию работающих, набирать псевдоштаты инвалидов, прятать производимую продукцию, шифровать настоящие адреса поставщиков и покупателей, занижать потребление электроэнергии, расход газа и т. п. Знаковые термины теневой экономики социализма опять в чести. Вся отчетная информация, исходящая и от маленького ларечка на перекрестке, и от гигантской энергетической корпорации, и от Главного статистического управления, все эти бесчисленные цифры — сплошная фикция. Эта вынужденная, а точнее, намеренная путаница лучше всякой зарубежной конкуренции довела отечественную экономику до банкротства. Победители в «холодной» войне руками побежденных уничтожили в зародыше потенциальных экономических противников.

На фоне вакханалии фальши и самообмана наивные подлоги социализма оказались всего лишь моделью, репетицией, испытательным полигоном. В романах Мир-Хайдарова «теневики» меняли запятые, подчищая конечные цифры. Сейчас финансовая информация фальшива вся: от первой буквы до последней точки. Социальная и экономическая статистика, основанная на этих псевдо-бухгалтерских и финансовых отчетах — не что иное, как самообман правящей бюрократической верхушки, которая насильно прячет



наши доверчивые головы в песок ложной информации. Обманчивое ощущение безопасности страны, даже временного экономического улучшения основано только на сырьевых поставках — это все равно что, как в одной из сказок «Тысячи и одной ночи», утолять чувство голода, отрезая и поедая собственную ляжку.

Чиновническая власть утратила контроль как средство управления над страной и подменила его мздоимством. Коррупция — это видимость управления, и реально теперь управляет не чиновник, а тот, кто дает ему взятки, тот, кто «прикормил» его. Продавшееся чиновничество потеряло не только честь и разум, главное — оно утратило возможность управлять обществом, потому что само стало управляемым.

Модель подобного коррумпированного социума была создана Мир-Хайдаровым в его тетралогии «Черная знать». Наследники Артура Шубарина вынуждены обходить писанные законы и действовать, как и раньше, по законам неписаным. Герои Мир-Хайдарова живут и преуспевают в криминальной атмосфере извращенной действительности.

Эффективность капитализма возможна только при условии прозрачности каждого бизнеса и бизнесмена перед налоговым ведомством, то есть перед государством. А у нас «теневики» остались теневиками, и коммерческие тайны любого предприятия могут быть раскрыты только при «наезде» налоговой полиции...

Но вернемся к тетралогии. Артур Шубарин, один из «сквозных» героев романов, приобретает репутацию человека, для которого «нет невыполнимых задач». Возросший уровень преступности требует и соответствующей образованности, «повышения квалификации». Поэтому Шубарин изучает право и банковское дело, осваивая их как «науку насилия». Писатель показывает, что знание само по себе нейтрально: оно может быть применено и во благо, и во вред обществу. Все зависит от вектора — положительного или отрицательного, под действием которого находится личность, обладающая информацией и умеющая ею воспользоваться. Знание само по себе — не добро и не зло, все зависит от того, кто и как его применяет.

«Отрицательное обаяние» — вот ключ к образу Артура Шубарина. Читатель испытывает к его богатой и неординарной натуре даже некоторую симпатию. Шубарин обязателен, надежен, деловит, в нем развиты качества современного менеджера. Но прояв-

ляет он эти качества в общении и служении кровавым негодьям. Это противоречие в конце концов приводит к кризису личности. После долгой и мучительной борьбы с самим собой Шубарин решается на разрыв с заправилами преступного мира. Действительные перемены в жизни общества открывают перед ним широкое поле деятельности, к которому, по сути, он и готовился в «теневом предпринимательстве» социализма. Он вынужден был находиться на нелегальном положении бизнесмена, и его тогдашнее общение и сближение с уголовным миром было предопределено нелепым социальным устройством общества. Автор подводит своего героя к глубокому и принципиальному нравственному перевороту: в Шубарине возникает чувство ответственности, поскольку он владеет инструментами управления, может организовать производство, знает дорогу к процветанию. Его способ достижения цели, еще недавно каравшийся статьёй уголовного кодекса, оказался единственным, способным вывести общество из тупика.

Преступный мир, состоящий в основном из закоренелых в пороках и вседозволенности клана бюрократов, уничтожает и менеджеров. В романе «Судить буду я» жертвой изувечен становится и сам Шубарин, прошедший сложную эволюцию от одного из лидеров теневого бизнеса до смертельного врага клановой экономики. Фигура Шубарина противоречива и многосложна. Когда-то удачливый «теневи́к» сам принес западный дух предпринимательства в патриархальный многоукладный мир восточной республики. Но оказалось, что тем самым он посеял зерно распада, которое проросло, и народное бытие стало задыхаться, вырождаться и гибнуть. Западный характер взаимоотношений оказался не свойственным, чуждым местным традициям и укладу. В судьбе Шубарина, как в призме, преломился процесс, о котором еще Пушкин заметил: «В нем правду древнего Востока лукавый Запад омрачил...» Гибель Шубарина — это возмездие за ту тлетворность, которая длинным шлейфом тянулась за ним долгие годы везде, где бы он ни появлялся. В только что закончившемся веке вектор этого «шубаринского» влияния был направлен именно с Запада на Восток. Романы Мир-Хайдарова показывают, как идеи теневого предпринимательства породили пышный расцвет мафии, дальнейшая деятельность которой извратила первоначальную идею и уничтожила самих «шубариных», первичных носителей этой идеи. Этот сложный противоречивый процесс, несомненно, будет иметь продолжение и в двадцать первом веке.



Смею предположить, что в дальнейшем творчестве Мир-Хайдарова ответ Востока на вызов Запада будет иметь достойное романное воплощение. Писатель предвидел, что коммунистическая диктатура сменится не свободным рынком, который, саморегулируясь, выберет наиболее эффективные пути развития, а склеротической формацией, у которой еще нет ни ясного определения, ни идентификации. Теперь можно определенно сказать, что коррупция и стала новым общественным строем. При повальном упадке всего и вся полнокровными оказались лишь вшитые западными «хирургами» вены, по которым, покидая обессиливающий общественный организм, уходят на тот же Запад и сырье, и ресурсы, и валюта. Разлагающийся, гибнущий социализм, отраженный в тетралогии Рауля Мир-Хайдарова, не преобразился в новую экономическую формацию. Мы и сейчас так же далеки до свободного рынка, как и при товарище Черненко. Наш псевдокапитализм не есть форма экономических взаимоотношений между собственниками и наемными рабочими. В возникшей действительности, словно сошедшей со страниц романов Мир-Хайдарова, определяющим фактором стали отношения между чиновниками и новыми собственниками неработающих производств.

В образе Шубарина есть нечто драматичное: его жизненный путь не стал следствием малодушных уступок. Его судьба — вовсе не результат имманентно присущих ему преступных качеств, а порождение глубокого социального и политического кризиса 70–80-х годов, который, по сути, продолжается до сих пор. Главное достоинство романов Мир-Хайдарова не в изображении хода и перспектив борьбы правоохранительных органов с мафией, а в том, что писатель, дав точный психологический портрет явления, не преуменьшает опасность, которую представляют для общества преступники, но и не впадает в пессимизм.

«Оглянись, если уже не в радости, так в гневе, на дом свой. Так ли полагается жить человеку в собственном доме, на своей земле, в одной единственной жизни, отпущенной судьбой и природой?!» — эти слова наиболее полно выражают суть романа «Пешие прогулки». Последовавшие за тем романы «Двойник китайского императора» (1989), «Масть пиковая» (1990), «Судить буду я» (1992) развивают основную тему творчества писателя — коррумпирующая власть, криминальная камарилья и рыцари-одиночки, вступающие в схватку. Главный акцент Мир-Хайдаров делает не на приключенческой

стороне, а на жизненности описываемого противоборства. Занимательность — не самоцель, а производная от сюжета и мастерства писателя.

Судьба основных персонажей, единая стилистика превращают тетралогию в художественную хронику труднейшего переходного периода в жизни общества. Мир-Хайдаров отнюдь не летописец преступного мира, а, скорее, его исследователь. Во многих рецензиях на романы, опубликованных в юридических изданиях, отмечалось, что автор — прекрасный знаток уголовной среды и правовых вопросов. Следует добавить, что Мир-Хайдаров в первую очередь — социальный аналитик.

Власть должна прежде всего направлять свои усилия во благо тем, над кем она вершится. Власть — это управление, которое под влиянием алчности становится деконструктивным, вредоносным по отношению к гражданам. Как только появляются негласные «титулы» ханов, баев, баши, властелинов, олигархов, смело можно считать, что имеют место двойные стандарты. Власть в странах с вечно переходной экономикой, как бы она ни называлась — «народной», «коммунистической», «демократической», работает только на себя, на собственное благополучие.

Примечательной особенностью творчества Мир-Хайдарова является абсолютное исключение фантастических мотивов и образов. Это вовсе не приземленность, не бедность творческого воображения. Реальные жизненные факты, действительные документы, введенные в повествование, куда невероятнее любых сюрреалистических экскурсов. То, что подметил в реальной жизни зоркий взгляд художника, действует на читателя посильнее любого вымысла.

Хозяин области, по площади равной Германии и Франции вместе взятым, Анвар Тилляходжаев стремится походить на китайского императора, владыку полмира. Колоритна сцена, когда Анвар, присвоивший казну бухарского эмира, «поруководив» народом и устав от дел, высыпает у себя в обкоме золотые монеты из хурджина на ковер: «...ничего не делал, просто лежал рядом с золотом, осыпая себя дождем из монет, пересыпал их с одного места на другое, строил из червонцев башни, даже выстелил золотую дорожку посреди ковра — удивительно приятное занятие...»

Судебная система, показанная Мир-Хайдаровым, так же неотличима от сегодняшних судебной и правовой систем (исключая отчаянных оперативников, борющихся голыми руками против во-



оруженных автоматами уголовников). Эта парадоксальная ситуация предугадана и убедительно показана Мир-Хайдаровым в романах «Масть пиковая», «Судить буду я». Прав становится тот, кто первым дотянулся до больших денег, а значит, может подкупить, устранить конкурента и поменять просто безбедное существование на роскошное. Кардинально лишь одно изменение — легкость перекачки любого количества денег в любое «банановое» государство. Теперь пачки купюр не надо, таясь, везти в ручном багаже — через границу дензнаки летят сами, в форме кодированных электронных межбанковских сообщений. И «новому русскому», в отличие от социалистического «теневика», не составляет проблем и самому навсегда «слинять» в края вечной весны, вслед за наворованными капиталами. Стоило ли из-за этого огород городить?

Сегодня, в постсоветской России, уже четвертый созыв Государственной думы, с полдюжины сменяющихся правительств, десятки расплотившихся научных институтов, сотни политологов, кормящихся в темных коридорах власти пытаются определиться с коррупцией, с понятием, что такое мафия, произошло ли сращивание криминала с государственными структурами, особенно с судебной, прокурорской, силовыми министерствами и спецслужбами. Этот вопрос волнует не только саму перманентно меняющуюся вороватую власть, но и граждан. И мне хочется привести отрывок из послесловия к первому изданию «Масти пиковой» (1990 г.), написанного следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР Б. Е. Свицерским.

«...Отношения героев романа отличают безжалостность к соперникам в преступном бизнесе, готовность действовать самыми кровавыми методами. Автор, показав эту смертельную схватку, несколько не преувеличил. Реальные события последнего времени, конкретные уголовные дела являют аналогичные факты, подчас и более дикие по своей жестокости.

Еще одно явление зеркально отразилось в произведении Мир-Хайдарова — глубоко пустивший корни «государственный рэкет», выразившийся в вымогательстве у предпринимателей сотен тысяч рублей, текущих широкой рекой в карманы работников государственного аппарата.

Еще важнее то, что автор сумел обозначить одну из наиболее характерных черт современной организованной преступности: внедрение мафии в экономику государства и сращивание ее с админи-

стративными, партийными и советскими органами, высшими эшелонами власти.

Мафия — преступная организация, точнее — наивысшая форма преступной организации, социальный бич любого общества. «Кто не молчит, тот должен умереть», — гласит неукоснительно соблюдаемый закон мафии.

Огромные средства используются мафией для подкупа наиболее важных звеньев партийного и государственного аппарата, а еще больше — органов внутренних дел, суда и прокуратуры. Это дает мафии возможность полной безнаказанности и широкого влияния на все общественные механизмы. Безошибочный путь, наряду с подкупом представителей власти, — продвижение своих людей по служебной лестнице, захват руководящих постов, а в конечном счете — захват рычагов реальной власти.

В «Масти пиковой» тесные связи мафии с коррумпированной верхушкой, — это четко выраженное стремление активно участвовать в политике.

Автор идет дальше. Он подводит к выводу о том, что на определенном этапе руководство страны, высшие эшелоны власти сами погрязли в коррупции и взяточничестве.

Вот видите — все определено, сформулировано еще семнадцать лет назад, точнее, объективнее не скажешь. Грустно одно — никакой, ничей опыт и знания, ни прокурора, ни писателя — власти не нужны».

Увы, перемены не привели к благоденствию. Выбраться из очередного экономического тупика нашему обществу оказалось не под силу.

Изменились названия, форма, обряды, символы; даже стратегические союзники вроде бы изменились. Суть же общественной жизни осталась нетронутой. Добавилось гротеска, стало больше нелепой роскоши, сгустилась несуразная психологическая атмосфера, ближе подступила нищета. Но текущее время, сегодняшний день легко узнаваемы во всех романах писателя, написанных за последние два десятилетия. Это соответствие, это творческое предвиденье — счастье для прозаика. И несчастье для его образов, для его прототипов, то есть для всех нас.

В паноптикуме хапуг, сочно нарисованных писателем, появляется и аксайский хан Акмаль Арипов, «восточный Распутин». Официальный статус Арипова (двойник печально знаменитого Адылова



и провозвестник нынешних «баши») — председатель агропромышленного объединения. В действительности же Арипов является полноправным владыкой собственного ханства. Даже глава республики — «отец» всех кланов — побаивается Арипова-Адылова, который панибратски называет его «Шуриком».

По своей сути Арипов — пионер начавшегося еще тогда процесса приватизации государства государством, или самопожирания. На присвоенной этим вампиром территории, в приватизированной (казнокрадство удачно замаскировано этим иностранным словечком) области «денно и ночью дежурили на сторожевых вышках люди в милицейских фуражках, хотя им вполне могли бы подойти басмаческие тюрбаны». Писатель даже в подобных мелочах оказался провидцем: тюрбаны, действительно, не замедлили вскорости появиться.

Непомерное богатство, награбленное у народа, сочеталось у осторожных и тогда еще чего-то побаивающихся ханов со сбором объемного компромата. Криминальные элементы первыми сообразили, что информация — это и есть власть. Писатель показывает, как театрализованное, помпезное проявление этой власти накладывается на забитость подданных. И современные, и средневековые методы управления и подавления — все идет в ход: «Хан любил путать следы, чтобы держать свой народ в вечном страхе. Говорят, иной раз в поселке появлялся его двойник, подолгу сиживал на айване, перебирая четки, вроде напоминал: я здесь, я все вижу! Хотя сам Арипов в это время находился в Москве или уезжал к своему другу «Шурику». А черные «Волги» с одинаковыми номерами постоянно шныряли вдоль полей и строек, внушая страх. Машина время от времени останавливалась, и из нее выходил хан Акмаль с настоящей кожаной камчой, и горе тому, кто попадался на его пути без лопаты или кетменя». Навыки жестокого плантатора странно сочетаются в Акмале с утонченными вкусами. Ландшафтная архитектура его парка сравнима, пожалуй, с садами царицы Семирамиды. Коневодство — страсть хана, и в его конюшнях «кони содержались куда лучше людей». Это сочетание звериной жестокости к людям и так называемого эстетства — нелепо, и оттого еще более страшно.

Криминальный мир изображен писателем с учетом разительных перемен, произошедших за последнее десятилетие. Типичный уголовник 60-х годов, с наколками и с жеваной беломориной в углу рта,

сегодня воспринимается даже с некоторой ностальгией, как персонаж сказки для детей среднего возраста. «Новые» бандиты — обаятельные, с иголки одетые — отнюдь не похожи на громил, но гораздо беспощаднее и страшнее. Никаких отпечатков на теле жертвы или на орудиях убийства они не оставляют, однако грабят и убивают сотни и тысячи людей. А их добыча традиционному уголовнику покажется фантастической мечтой. Поразительно точен портрет мафиози Сухроба Акрамходжаева в романе «Масль пиковая». Его кличка «Сенатор» подчеркивает двойственность жизни этого человека, приобретшей причудливую форму амбивалентности: «Он часто забывал, кто он есть на самом деле, путался, ощущая себя сыщиком и вором одновременно, боялся одного, чтобы на каком-нибудь совещании... не брякнуть чего-нибудь такое, что явно выдало бы его с головой».

Шустрый бес Петр Верховенский из романа Достоевского, заявивший о себе: «...я мошенник, а не социалист», мог бы позавидовать энергии и ловкости, с которой Сенатор осуществляет свои далеко идущие замыслы. Мастер на все руки, он присваивает и вещи, и чужие идеи, убивает и грабит, философствует и властвует, а полная безнаказанность только поощряет его на дальнейшие деяния. А как же иначе, ведь его подельник Салим Хашимов по кличке «Миршаб», что означает «Владыка ночи», возглавляет Верховный суд республики! Прокурор Рустамов, надзирающий за исправительными учреждениями, — заядлый картежник. Он деградирует сам и олицетворяет деградацию правоохранительных органов. Ради наживы Рустамов оказывает услуги преступникам, которые уже оказались за решеткой. Рустамову — вместо звезд на погоны — уголовники присвоили «кликуху» — Почтальон, тем самым сделав его своим агентом в правоохранительной системе.

Хочется еще раз отметить, как похож литературный вымысел Мир-Хайдарова на события, происходящие в последние годы. Прокуроры и депутаты, сутенеры и банкиры, политики и предприниматели сплелись в единый змеиный клубок, где все непрерывно кусают друг друга на экранах телевизоров и продолжают за кадром свои черные дела.

Молох криминала утвердился во всех сферах общества и безжалостно сокрушает тех, кто встает на его пути. Примечателен жизненный путь Пулата Махмудова, героя романа «Двойник китайского императора», человека даровитого, но слабого духом. Махмудов,



все время пребывающий «в сомнениях, страхах, надеждах, раскаяниях и колебаниях», стал пособником криминала, но, ужаснувшись содеянному, пытался порвать с преступным сообществом. Однако вход рубль, а выход — два, и Пулат Махмудов поплатился за это жизнью...

События, подобные сюжетам романов Рауля Мир-Хайдарова, кочуют по ежедневным газетам, а криминальная хроника стала основным содержанием телепередач. Похоже, в нашей стране произведения писателя еще очень долго, а может быть и всегда, будут современными.

В финале романа «Судить буду я», а по сути в финале всей тетралогии, прокурор Камалов учиняет расправу, ничем не отличающуюся от террористического акта. Эпизод сильный, но вызывающий некоторое смущение: как же так, беззаконие творит человек, который и по служебному положению, и по совести призван свято блюсти законы? Двумя реактивными снарядами Камалов буквально стирает с лица земли огромный особняк, где предаются разгулу заправилы мафии. Перед этим Камалов предлагает преступникам «помолиться перед смертью» и произносит страшные слова: «Я вас всех приговариваю к высшей мере».

Почему же автор прибегает к эффектной, но сомнительной в идейно-нравственном плане развязке?

Микеланджело сказал: «Не знаю, что лучше — зло ли, приносящее пользу, или добро, приносящее вред». Думается, писатель в необычайном по художественному решению финале тетралогии следует главному принципу своего творчества — быть верным правде жизни. Не склоняются ли сейчас к самосуду те, кто не может найти суда праведного?

Мир-Хайдаров внес заметную лепту в отображение Востока как бесконечно сложного и многообразного уклада человеческого бытия.

Обстоятельное, со знанием мельчайших подробностей изображение нравов и обычаев местных жителей, быта, истории придает романам глубину, обогащает их содержание. Но, главное, у читателя возникает ощущение, что злокачественная опухоль криминального беспредела возникла не в социальном вакууме, а — к великому сожалению! — в лоне народной жизни. И, что самое страшное, — деятельность мафии грозит гибелью всему народу. Это — основная мысль романов Мир-Хайдарова, стержень всей его тетралогии.

Еще совсем недавно творческая интеллигенция была привилегированным социальным слоем, даже классом — именно благодаря своей многочисленности. К интеллигенции, точно так же как к рабочим и колхозникам, были обращены первомайские и октябрьские призывы руководителей партии и государства. Интеллигенция заселяла целые районы престижных новостроек. Заботливо пестовалась пресловутая творческая зрелость этого класса, точнее, касты. И вдруг эти избалованные властью люди, со своими никчемными соцреалистическими наработками, приятными привычками к литфондовским путевкам, с персональными дачами, с многонедельными заграничными командировками, с праздничными пайками и прочими привилегиями, оказались не у дел. Писатели, бережно лелеемые «заботливой партией», жившие в течение десятилетий во взвешенном социальном состоянии, оберегаемые пиететом сталинской традиции заботы о писателях, вдруг оказались перед фактом: чтобы просто прожить, им надо продавать ту стряпню, которая ранее печаталась и издавалась за счет государства. Творческая интеллигенция оказалась наименее приспособленной к катастрофическим изменениям общества.

Сейчас забавно вспомнить, как многие из особо «продвинутых» писателей усердно подрывали своими демократическими рыльцами корни социального дуба, желудями с которого они так сладко питались. «Толстопишущие» вальяжные господа вдруг стали не нужны. Не за миллионы лет, а за одно десятилетие они бесследно исчезли, как динозавры.

За великий грех лицемерия и продажности, за то, что слишком долго кривили душой, из огромной коллективной собственности, доставшейся писателям еще со времен учреждения Российского, потом Советского и снова Российского Литературного фонда, они проворонили все. В условиях книжного рынка творческая интеллигенция перестала существовать как класс. Аморфная писательская масса оказалась не готовой к волчьей борьбе за собственность и за существование. Единственное, что теперь у них осталось после всех утрат и потрясений, — исконное, пушкинское право продать рукопись.

Но предложить свои рукописи они могут теперь только тем, кто уже приватизировал издательства. Новые же «хозяева литературы» озабочены отнюдь не писательским благополучием.



Они прекрасно понимают, что, издавая ту или иную книгу, рискуют своими деньгами.

А тут еще совершенно неожиданно выяснилось, что в течение работы над книгой писателю надо просто жить, кормить себя и семью, сводить концы с концами. Итог оказался плачевным: большинство советских тепличных писателей в новой жесткой ситуации вообще перестали писать. Условия, когда все, в том числе и художественный текст, превратилось в товар, оказались для советских писателей необоримыми.

Владельцы журналов, газет, издательств сами стоят перед выбором: напечатать рассказ, стишок или дать рекламу. В этом нехитром противоборстве художественное произведение может победить только в том случае, если его появление на страницах издания поднимает тираж, повышает доход издателя.

Тепличных условий для защищенного государством творчества больше нет и никогда не будет.

Утвердилась единственная положительная истина: если писателю не на что писать, значит, ему, как правило, и не о чем писать. В жизни этот бывший писатель, по словам Маяковского, оказался не «мастак».

Еще совсем недавно пишущих оттесняла «в литературу» разве что журналистика. Журналисты информировали о текущих событиях, а писатели обобщали, анализировали и поучали, заботились, так сказать, о вечном. Теперь же, стоит только писателю ввести в текст произведения реальную ситуацию или настоящие имена, он рискует быть привлеченным к суду. Если в художественном произведении действующее политическое лицо вдруг узнает себя в отрицательном персонаже и самому себе не понравится, писателю солоно придется.

Тема несправедливой эксплуатации человека закрыта, поскольку совсем недавно окончательно выяснилось, что рабочие как раз и должны эксплуатироваться. Бедолаги сами теперь требуют, например те же шахтеры, чтобы кто-то за них взялся как следует, поэксплуатировал их и хоть что-нибудь им заплатил. Но работы нет, и не предвидится. Производственная тема исчерпана, — оказавшись на обочине постиндустриального общества, мы с ужасом убедились, что все уже сделано. Потребительские товары в достаточном количестве и для всего мира производятся и без наших устаревших заводов и фабрик. Видеокамеры, видеомагнитофоны, стиральные машины, телевизоры и в дальнейшем будут производиться только там, где теп-

ло круглый год, и стоимость производства не состоит на одну треть из стоимости отопления производственных помещений. (Перевозка и таможенная пошлина куда дешевле расходов на отопление.)

Для бывшего писателя-«производственника», стало быть, остается только тема продажи и маркетинга. Но это — ареал рекламных агентств, а отнюдь не литературы. Если писатель осмелится «поднять тему» продажи и маркетинга — ему туда не пробиться. Спустившись с творческого Олимпа, писатель окажется в самом конце бойкой очереди, состоящей из рекламных агентов. Многоумрым «деревенщикам» больше не придется поучать читательскую аудиторию, как выращивать озимую пшеницу или раннюю клубнику. Никому теперь не интересны конфликты между болеющим за урожаем председателем передового колхоза и алкоголиком-агрономом. Это не цензура, а запрет самой жизни. Как только какая-нибудь компания «Дженерал фудс» (название условное — ведь могут привлечь!) купит землю где-нибудь на Брянщине и начнет на ней промышленное производство той же клубники, с этой минуты клубничное производство станет для писателей «табу».

За каждое неловкое и неразрешенное упоминание, понижающее объем продаж клубники, «Дженерал фудс» засудит писателя — и совершенно справедливо. Дурак-агроном с унылыми рассуждениями возле ржавого плуга в сарае с прохудившейся крышей — не тема для творчества, а проблема менеджмента. И поостерегитесь мешать менеджменту, особенно с российским уголовным уклоном.

«Деревенщику», который осмелится написать «острый» очерк о производстве молока отечественной компанией «Вимм-Билль-Данн», придется худо. Писателя в цеха компании просто не пустят. Точно так же, как и на завод, производящий любой другой напиток, скажем, кока-колу. Там нужны остроумные и находчивые рекламщики, а не сочинители с протрезвевшим — от безденежья — взглядом и язвительным умом.

Темы закрываются, господа «деревенщики»! О клубнике как теме, едва наладится ее промышленное производство, придется забыть! Конечно, можете ее кушать, если будет на что купить.

Бред Стивена Кинга и подобных ему сочинителей — от писательской безысходности. Может быть, современный западный прозаик и написал бы с большим удовольствием о пароходах на Миссисипи, но предварительно он должен согласовать полеты своей фантазии с транспортными речными компаниями.



Впрочем, весьма возможно, при наших горе-реформаторах отечественное сельское хозяйство, как и производство видеомагнитофонов «Электроника», не только исчезнет как тема, но и вообще перестанет существовать.

Рынок не делает никакой разницы между потребительскими товарами. Товары или покупаются, или нет. И книги тоже стали товаром. Рауль Мир-Хайдаров черпает свои темы в реальной жизни. Его произведения в условиях свободной конкуренции частные издательства покупают. Рискуют. Не обманываются сами и не подводят читателей.

Раньше степень известности писателя определяли литературные чиновники, придворные критики и те, кто стоял у руля журналов, газет, издательств. И немудрено, что самыми популярными, а значит, и издаваемыми оказывались руководители этих ведомств. В первую очередь, рынок разрушил этот пьедестал, казавшийся незыблемым, вечным. Теперь спор о том, кого читают, кого не читают, кого знают или не знают, имеет под собой реальную основу, я имею в виду — Интернет. И речь вовсе не идет о тех, кого сегодня постоянно издают, и не о личных сайтах модных писателей, или тех, кого усиленно продвигают крупные масс-медиа, разговор может идти и о писателях, чьи книги в рыночное время не изданы ни разу.

Появились тысячи, сотни тысяч частных сайтов, созданных читателями, книголюбями, почитателями того или иного писателя — явление новое, но набирающее силу. У Рауля Мир-Хайдарова есть сайт литературы и живописи: [www.mrgaul.ru](http://www.mrgaul.ru), который он создал сам. Так же широко, объемно писатель представлен в Интернете силами своих почитателей. Стоит открыть Рэмблер или другую поисковую систему и набрать его имя, оно тут же вспыхнет на сотнях сайтах. Можно будет найти абсолютно все его произведения — от ранних рассказов и знаменитой тетралогии «Черная знать», до интервью для крупных европейских газет и многочисленных рецензий, монографий по его творчеству. В городе Фергана действует фэн-клуб почитателей таланта Рауля Мир-Хайдарова. Счастливая судьба у писателя, достучавшегося до сердец своих читателей.

## 6

Романы Мир-Хайдарова запечатлели драматическое состояние общества, в котором, говоря словами толстовского героя, «все перевертилось и еще только укладывается». К словосочетанию «искус-

ство жить» уместно присоединить сейчас эпитеты не «прекрасное», «достойное», а «кровоавое», как у поэта-философа Николая Заболоцкого — «кровоавое искусство жить».

Подобное определение вполне отвечает сути завершающего век десятилетия.

Последний роман писателя «За все — наличными» удивляет молодой способностью Мир-Хайдарова, отталкиваясь от достигнутого, подниматься на новые ступени мастерства. Расширился творческий диапазон, а вслед за ним — и художественное пространство. Действие романа происходит на Северном Кавказе, в Москве, в городах Европы. Усложнилась и структура романа, состоящего теперь из нескольких сквозных сюжетов. Но роман — не хроникерский слепок действительности, задача писателя — осмыслить бытие, проникнуть в сокровенные тайны жизни. Мир-Хайдарову удастся сопоставить несопоставимое — найти эстетическое отражение текущей действительности, другими словами — художественно препарировать «злобу дня». Писатель делает это неторопливо и обстоятельно. Прежде чем включить «четвертую скорость» сюжета, он вдумчиво растолковывает ситуацию, обрисовывает местность, интерьер и пространство романа, в котором живут и действуют его герои. «За все — наличными» — произведение захватывающее, в нем действие набирает стремительный темп с первой же страницы.

...В темную августовскую ночь мужчина в дорогом спортивном костюме останавливает машину у дороги, ведущей в Грозный. Дерзкий беглец из чеченского плена оторвался от преследователей, а его тяжелая сумка битком набита стоцолларовыми купюраами. Константин Николаевич Фешин, внук знаменитого художника, ставший «гравером» — фальшивомонетчиком высочайшей квалификации, был похищен чеченцами, чтобы наладить выпуск «твердой валюты» в горах Ичкерии. После нескольких лет каторжной работы он бежит из плена, прихватив валюту собственного изготовления. Побег удался: Фешин поселяется в Москве, с шиком обустривает свою жизнь, восстанавливает старые и обретает новые криминальные связи. Возле фальшивомонетчика возникает американский корреспондент Карлен Татлян, прибывший в столицу с секретным заданием ЦРУ. Карлена «ошеломила Москва — гигантская, непонятная, безумно дорогая. Живущая по своим московским законам, которые иностранцу нельзя понять и предугадать... Жизнь в Москве оказалась куда стремительнее и напряженнее, чем в Нью-Йорке и в евро-



пейских столицах...». Карлен поражен сказочными возможностями обогащения здесь, на развалинах империи. В России «все вершилось с русским размахом, молодые и красивые становились богатыми в результате какой-нибудь одной операции, в крайнем случае — за месяц-два».

Немыслимая роскошь окружает авантюристов всех мастей. Вот «катала» Городецкий демонстрирует Фешину свои пятикомнатные апартаменты: «С высоты почти четырехметрового потолка свисали две многопудовые хрустальные люстры в виде гигантских виноградных гроздьев. Зеркала, картины, напольные и настенные светильники, старинные китайские вазы — бронзовые и фарфоровые; карликовые деревья «бонсай» на изящных высоких консолях из светлой вишни... Фешину казалось, что он попал во дворец, где снимают сцену из жизни голливудских звезд».

Но баснословная роскошь сочетается с полнейшей безвкусицей! Иначе и быть не может... Крезы, Ротшильды, Гобсеки, рыцари наживы прежних времен! Стушуйтесь! Скромно отойдите в сторонку и посмотрите, «кто к нам пришел!». Мир-Хайдаров дает точный социальный портрет этого «гостя», с его нелепым буйством, пантагрюэлевским аппетитом и блатными замашками. Знаменитые «воры в законе», удачливые бизнесмены, раздувшиеся в одночасье в прямом и переносном смысле банкиры — все в одной тусовке, за одним рулеточным столом. Эти «джинны» на джипах, выпущенные на волю сладкоречивыми демократами, прямо из реальной жизни попали на страницы романа.

Децентрализованный сюжет позволяет автору выводить на первый план персонажи, которые на время приобретают статус главных. Почти каждый из них столь значителен, что вполне мог бы стать героем или антигероем самостоятельного произведения. В сюжет, наряду с «каталами» и картежными шулерами — Городецким — «Аргентинцем», оборотнем — Германом Кольцовым, по кличке «Самурай», аттестованным офицером милиции и одновременно главарем бандитской группировки, писатель удачно вводит и реально-го киллера Александра Солоника. Сочинители умильных газетных легенд представляли неуловимого Солоника «эдаким бунтарем, санитаром общества, борцом против преступности, убийцей убийц, карающим мечом...». Солоник и сам был не прочь сочинить о себе нечто ласкающее демократический слух. Хладнокровному негодяю льстил имидж новоявленного Робин Гуда. Ограбив Фешина, киллер

издевательски заявляет, что деньги ему нужны для спасения Отечества! Псевдопатриотизм в очередной раз становится оправданием преступления. Деньги — вот новый и единственный Бог, и не только Солоника, а всех тех, кто «проповедует разбой под видом честных спекуляций». Но только размах у этих «патриотов» иной — «тюменская нефть, трубопроводы, три-четыре банка, газеты, телеканал».

Фешин, несколько лет проработавший на чеченском «монетном дворе», давно не был в Москве. Фальшивомонетчик встречает старых знакомых по отсидкам и с трудом узнает их — настолько искусна мимикрия преступников, переделавшихся или, как говорят сейчас на продвинутом жаргоне, «перекоцавшихся» из «паханов» в пионеров рыночных отношений. «Власть оказалась насквозь беспринципной, лживой и коррумпированной от макушки до пят. Братва просто использовала единственный исторический шанс, выпавший на ее долю». Открылось небывалое поле деятельности для аферистов всех мастей, вступило в действие своеобразное разделение труда: «Один ворочает нефтью, другой — алмазами, третий — торгует прямо с армейских складов новейшим оружием, причем, плевать он хотел на эмбарго и конвенции всякие, продает тому, кто больше заплатит, даже если это оружие завтра повернут против России...»

Золотая лихорадка охватила и больше ротую армию чиновников. Карточный шулер Аргентинец «сожалеет» о неверно выбранном жизненном пути, казнится: «Надо было по госслужбе двигаться. Только там крутятся настоящие деньги».

Происходит своеобразное взаимовлияние — точно так, как профессиональные воры внешне стали походить на уважаемых чиновников, так и чиновники внутренне стали «воровской масти». Они объединились — и русской мафии, практически ставшей правящим режимом, стало тесно в России, — обзаведясь иностранными паспортами и гражданствами, старые воры в образе «новых русских» ринулись покорять мир. И вот они уже привольно чувствуют себя в Лондоне и Париже, в Тель-Авиве и Амстердаме, в Милане и Женеве. Ни одной мафии мира не удавалось так тесно переплестись с властью имущими, так дерзко подмять юридические основы государства, как это сумели сделать российские плутократы. Прежние стереотипы и узнаваемая воровская атрибутика не устраивают Мир-Хайдарова. Писатель точно улавливает и описывает изменившиеся черты и признаки, и опережающую время мимикрию уголовной среды. Наколки, золотые цепи, и вот уже костюмы от Кардена,



газетная нахватанность с успехом подменили образованность, недавние разборки — с той же лексикой! — превратились в «деловые переговоры». Но взгляд писателя четко определяет воров под любыми одеждами — это люди, существующие ради денег, которые они не зарабатывают, а всевозможными негласными и гласными теперь путями отнимают у общества, изымают у добропорядочных граждан.

Мир-Хайдаров описывает быт, нравы и манеры воров нового образа, и, по сути, играет роль биолога, открывающего и представляющего обществу новый вид опасных и ядовитых членистоногих. Для представителей этого нового биологического вида «безвкусно одетый человек — уже не человек». Воистину так — если обратить взгляд на них самих. Потребительский конвейер подхватил и потащил к мировому прилавку и «святое искусство». Не особенно разбираясь и не торгуясь, «денежные мешки» засовывают за пазуху и все мало-мальски ценное. Автор, устами одного из героев, замечает: «Настоящая культура — достояние лишь богатых людей, и доморощенным российским либералам и демократам не стоило бы строить на этот счет иллюзий, обещая народу расцвет искусства. Если капитализм в чисто американском виде воцарится в России, то народ навсегда будет лишен высокой культуры, ему останется лишь то, что сегодня демонстрируется по ТВ».

Неистовство личного потребления принимает в романе почти обрядовое значение. В джунглях Киплинга хищные животные устрашают врага не только ревом и рыком, но и «блеском меха». У хищников современного общества роль устрашающего «меха» выполняют сверхдорогие вещи. Пристальное внимание писателя к исключительным предметам роскоши и фешенебельного быта обусловлено художественной необходимостью — Мир-Хайдаров исследует как раз то, что ближе всего к телу, то есть к душе новой генерации двуногих хищников — «свою рубашку». Прекрасные вещи, в действительности, — благо, они украшают нашу жизнь. Но они не должны становиться фетишем, признаком касты.

Однако вернемся к главному герою романа «За все — наличными» Константину Фешину, человеку сложному, неординарному. В раскрытии этого образа постоянно ощущается авторское сочувствие, даже симпатия. Не случайно Мир-Хайдаров сделал его своим земляком, родина Фешина — Мартук.

Нетрудно заметить, что образы Фешина и Артура Шубарина сходны, причем отнюдь не внешне. Оба принадлежат к пере-

ходной эпохе, и оба, несмотря на одаренность, неумную энергию и предприимчивость, оказались невостребованными обществом. И тот и другой вынуждены были избрать криминальный путь. Чтобы выявить историческую обусловленность процесса, гибельного для одаренных личностей, Мир-Хайдаров вводит в повествование реальную фигуру — деда Фешина, художника, академика Николая Ивановича Фешина. Плодотворная и удивительная судьба этого человека, уехавшего в Америку в 1922 году и оставившего после себя и на родине, и за океаном множество прекрасных полотен, как бы оттеняет пустоцветную жизнь внука. Даже отец, представляющий промежуточное военное поколение, не был обделен талантом и зарабатывал себе на хлеб ремеслом рыночного живописца. А вот внук Константин Фешин разменял свой талант, полученный по наследству от деда и отца, на фальшивые купюры собственного изготовления. Спихватившись, герой романа судорожно пытается реализовать себя как живописец, даже обзаводится великолепной художественной мастерской. Но поздно. Краски и кисти-то есть, но душу поглотила криминальная топь. Приобретательская горячка оказалась посильнее святой и бескорыстной тяги к искусству.

Даже искренняя, страстная любовь Фешина к Наталье выражается лишь в нескончаемом потоке баснословно дорогих подарков. Может быть, Фешин ошибся в любви, но сам путь покорения «сердца красавицы» возбуждал у нее скорее корысть, чем ответную любовь. И вот Фешин, обворовавший своих надсмотрщиков и рабовладельцев-работодателей на несколько миллионов фальшивых долларов, в свою очередь, обворован любимой. Крах героя был предопределен и закономерен. Хотя автор оставляет читателю благую надежду, что редкий природный дар, может быть, еще позволит Фешину-внуку переменить судьбу.

В своих романах Рауль Мир-Хайдаров, по сути, выступает бескомпромиссным борцом с преступностью, поскольку раскрывает не только перед читателями, но и перед правоохранительными органами суть и социальную природу мафии. Писатель говорит: «Я не разделяю настойчиво навязываемую нам мысль о том, что мафия бессмертна. Убежден, с ней всерьез не боролись и дня» («Актюбинский вестник» от 6 февраля 1997 г.).

История художника Фешина послужила Мир-Хайдарову стержневым сюжетом для создания последнего крупного произведения — «За все — наличными». Знаток и известный коллекционер живопи-



си, Рауль Мир-Хайдаров описывает в романе старинные способы приготовления красок, влияние картин на судьбу художника, умело пользуется колоритом для создания соответствующего настроения. Но, все-таки, основная тема романа откроется читателю, скорее всего, лишь при повторном прочтении, когда основное внимание уже не будет обращено на захватывающий сюжет. Тема эта — упадок рода Фешиных. Картины деда Фешина висят в Национальном музее в Вашингтоне. Сын, инвалид Отечественной войны, потерявший левую руку в бою, все-таки сумел прожить короткую жизнь за счет своего художественного ремесла, торгуя поделками на послевоенных рынках. Внук стал фальшивомонетчиком. Печальный итог...

Но как привязан сюжет к сегодняшней действительности!

Фешин-внук в чеченском плену налаживает выпуск стоцолларовых купюр. Известно, что подобное производство «зеленых» было организовано в одной из ближневосточных стран. Массовое появление поддельных, так называемых супердолларов заставило американцев срочно поменять клише и усложнить защитные знаки на своих деньгах. Но и фешинские доллары, производимые в огромном подвале одного из чеченских домов, превосходны, то есть они неотличимы ни от настоящих американских долларов, ни от «супердолларов». На доллары собственного изготовления герой романа сначала покупает свободу, потом одежду, предметы роскоши, фешенебельную квартиру в Москве и даже пытается купить любовь. И во всей этой истории Фешин-внук — со своими фальшивыми долларами — делает абсолютно то же самое, что сотворили те, кто завез военно-транспортной авиацией из Вашингтона в Россию сотни тонн настоящих стоцолларовых купюр. Фальшивомонетчики и настоящие монетчики, пардон, монетаристы, различимы только количеством. Фешин-внук напечатал доллар в миллион раз меньше, чем их прислали из-за океана нашим реформаторам. А прислали миллиарды и миллиарды наличных долларов, почти столько же, сколько находится в обращении в самих США!

И фешинские, и вашингтонские дензнаки, и «супердоллары» иракского производства принимаются в магазинах, в казино, в гостиницах, в обменных пунктах. И на те, и на другие можно купить все — недвижимость, мебель, авто, совесть. На доллары (неважно, фальшивые или настоящие — они уже перемешались и стали неотличимы друг от друга) скуплены средства производства, горно-обогатительные комбинаты, нефтяные месторождения, каналы ТВ и даже бывшие «почтовые ящики».

И это — важнейшая идея романа: суть не в том, где были напечатаны бумажные деньги — в воинственном Ираке, в гордой Чечне или на чинном Вашингтонском монетном дворе. Доставленные в Шереметьево военно-транспортным самолетом из американского казначейства или привезенные в багажнике «Волги» из горного чеченского селения, они «отмываются» на территории России и обеспечиваются российской собственностью. И в том, и в другом случае появление в России этих долларов является обманом и преступлением. Разница только в масштабе. Покупка на территории России модных брюк на фешинские фальшивки, или скупка металлургических заводов на вашингтонские доллары любого качества — факты одного порядка. Замысел фальшивомонетчика стать богатым, напечатав дензнаки, и стратегический план какой-нибудь «Рэнд-корпорейшен», приславшей российским гарварденишам самолеты долларов, — по сути такая же экономическая диверсия.

Границы государства существуют еще и для того, чтобы внутри него нельзя было ничего приобрести на незаработанные деньги.

Фальшивки Наполеона наводнили Россию в период нашествия французов. Фальшивыми фунтами стерлингов Гитлер наштапировал Англию перед предполагаемым ее захватом. Бесноватый ефрейтор мог бы забросать Англию огромным количеством настоящих немецких марок, если бы немецкие марки имели тогда в Англии (как сейчас доллары в России) хождение.

И фешинские, и американские, и ближневосточные «гринь» стали теперь для нас настоящими.

Покупая на них, расплачиваясь «за все наличными», вводя их в обиход своей жизни, мы не заметили, как продались сами.

## 7

Фешин-внук, вырвавшись из Чечни с наштампованными в подвале миллионами фальшивых долларов, встречает в Ростове неземное создание — Натали, и решает, как было уже упомянуто, завоевать ее любовь. Изголодавшийся по женской красоте и ласке, Фешин бросает к ногам красавицы вначале кожаный, изумительной красоты чемодан, набитый платьями «от кутюр», вещами каких-то несслыханных фирм, и букеты роз, и рестораны, и ностальгическую музыку, а потом потрясающую квартиру в Москве, и, наконец, предлагает руку и сердце. Все это Натали принимает с благодарностью и восторгом. Но потом совершенно неожиданно выясняется, что эта полубогиня Натали



только потому и согласилась быть завоеванной и покоренной, чтобы, улучив минуту, добраться до святая святых — до пачек супердолларов, украсть их у потерявшего бдительность, очарованного ею фальшивомонетчика, а затем «слинять» с деньгами в вожделенную Европу.

Звериное чутье прожигательницы жизни подсказало ей, что в России паленым запахло всерьез.

Какие разные мотивы, казалось бы, одинаковых стремлений!

Умница Глория уезжает, чтобы реализовать себя в деле.

Хитрая бестия Натали «нарисовалась» уже здесь, на своей земле, реализовала себя полностью, обворовав влюбленного в нее нувориша. И умчалась на пожизненный «заслуженный» отдых.

В этой «галерее женских образов» поневоле чувствуешь себя неуютно. В чем причина? Почему писатель, эпикурейски живописующий трапезы, с большим знанием дела и чуть ли не с рекламной привлекательностью описывающий покупку мужского пальто высшего качества, конструируя женские судьбы своих героинь, явно старается вызвать определенную дисгармонию в душе читателя?

Мне кажется, что эти первая и вторая ласточки, улетевшие в край вечной европейской весны, являются носителями раздумий писателя: в чем же смысл нашего существования?

Неужели взаимный «сервис» — это как раз то, к чему мы стремились, мучаясь все эти столетия? Неужели все так просто — комфортные кресла, стереозвук, «эркондишен», мгновенная связь с любым пользователем через интернет? И это все, к чему мы так стремительно двигались, расталкивая и топча друг друга? Неужели наша главная цель — это полностью «упаковаться»? Неужели вилла на огороженной «фазенде», «Мерседес 600», охрана у подъезда, возможность ежевечерне «оттягиваться» возле рулетки в закрытом клубе — это и есть венец нашего развития, вершина достижений человека? Апофеоз нашего движения по восходящей?

Если мы явились на свет только за этим — значит, права Натали, присвоившая миллиондолларовые фальшивые пачки Фешина и получившая немедленно «свободу» жить как вздумается. Зачем ждать и зарабатывать то, что можно легко и просто украсть.

Если дополнять, достраивать этот «сервис» своими руками — то права и Глория, даровитый архитектор.

Но неужели больше ничего не надо, и скоро наступит конец — полный «сервис»?

Человек жил и умер в абсолютном сервисе...

А жил ли он?

Что можно совершить, достойного упоминания, находясь во взвешенном состоянии вечного комфорта? Удачно поставить на скачках и сорвать еще один куш? Стоило ли ради этого покидать материнскую утробу и возвещать своим криком о приходе в этот мир? Так что же нам нужно?

Об этом тупике цивилизации Мир-Хайдаров как раз и предупреждает. Аромат женских духов существенен, но, все-таки, не жизненно важен. Как не жизненно судьбоносны все те ценности, которые ныне фетишизировало наше уродливое время.

Человек должен жить «заботой о своей реке». Поэтому писатель на стороне Рушана, оставшегося возле мелеющих, но все еще текущих по нашей бедной земле струй «своей реки».

В романе «Ранняя печаль» есть замечательные слова, которые венчают личную трагедию Рушана. Благородный, высокий дух прозы Мир-Хайдарова не только дает силы литературному герою, но и возрождает, наполняет новым светом души читателей: «...Порою кажется, что жизнь прожита зря. Но когда через запыленное окно Рушан видит выходящую из дома напротив девочку с голубыми бантами и нотной папкой в руке, на лицо его набегает улыбка: жизнь продолжается, несмотря ни на что, потому что есть еще на земле любовь, и память не потускнела. А пока любовь и память — эти два волшебных крыла... не перебиты, не сломаны, жизнь не иссякнет, не истает как дым, как туман на заре...»

Поразительная, плодотворная, жизнеутверждающая судьба Мир-Хайдарова неразрывно связана с его замечательным творчеством. Мое стихотворение, посвященное Мир-Хайдарову, пронизано грустью — путь от трудного детства до всенародной любви и славы — это один и тот же единственный жизненный путь, такой долгий и такой краткий...

*Раулю Мир-Хайдарову*

Взлетает птичка-коноплянка  
Там прячется овца-беглянка  
В густой траве...  
Невелико мое наследство —  
Одни воспоминанья детства  
В сырой Москве.



А своего — лишь взгляды в спину,  
 Их передать в наследство сыну,  
 Как черствый хлеб.  
 От детства — детство пусть продлится.  
 А время режет, как волчица,  
 Пробравшись в хлев.

Хочется рядом с этими строками поместить и другое стихотворение, посвященное Раулю Мир-Хайдарову земляком, почитателем его таланта пенсионером Михаилом Смурыгиным. Такие строки — как апофеоз народной любви к его творчеству.

### ЧТИ ОТЦА СВОЕГО

Раулю Мир-Хайдарову, писателю и земляку, к его 60-летию

Когда-то Рауль с «Полустанка Самсона»,  
 Печалась «Что долгая (будет) зима»,  
 Уехал «на запад» на крыше вагона  
 Но с верою твердой — «Судить буду я».

В ушах молодых грохотало, свистело,  
 И больно кусался степной ветерок,  
 Но мысль о «суде» подсознательно грела,  
 Как щедрый теплом «Оренбургский платок».

В Актюбинск летел он не вихрем железным,  
 А «Лебедем белым» по небу кружить  
 Над домом любимой безмолвно и нежно,  
 Как ангел небесный — понять и простить.

«Налево (поедешь) — коня потеряешь».  
 Рауль уже сызмальства мудрость познал,  
 Здоровье теряя, себя обретаешь  
 Он только коня никогда не терял.

Промчался на нем он и «Мастью пиковой»,  
 И козырем в играх с Большим кошельком,  
 Умелым судьей, следопытом толковым  
 «Китайского (даже) царя двойником».

Проехал Ташкентом, Москвой, «Касабланкой»,  
 «Чтя (умственный труд, как) отца своего»,

Коня он овсом, а себя лишь овсянкой  
Кормил, чтоб изящней садиться в седло.

Дорогой встречались различные лица,  
Со всеми почти что Рауль был на «ты».  
Знавал «Седовласого с розой в петлице»,  
Видал «Герострата» в метровой близости.

Хлестали в лицо криминальные ветры,  
Мелькали издательства, «Дамбы», мосты,  
Длиннющие стлались пред ним километры.  
Но снился Раулю лишь «Путь в три версты».

И вот, вероятно, устав от ударов,  
Подков о булыжник, о рельсы колес,  
Читаемый в мире Рауль Мир-Хайдаров  
Охотно себя землякам преподнес.

Рауль «Не забыл нас» — и, помня о гулком,  
Том поезде, шедшем в Актюбинск зарей,  
На свой «Полустанок» он к «Пешим прогулкам»  
Вернулся, «Жар-птицу» держа над собой.

Ну, что ж, пусть походит, полями подышит,  
Взгрустнет, постояв над Илеком-рекой,  
Пускай в Мартуке эпопею допишет,  
Как в Ясной Поляне великий Толстой.

## 8

Старое покушение, перелом позвоночника не прошли для писателя даром. Рауль Мир-Хайдаров часто болеет, у него периодически отнимается левая нога. Но если он об этом и говорит, то не жалуясь, а просто предупреждая, что его долго не будет у телефона, потому что придется подлечиться в больнице. У мусульман чрезмерная забота о собственном здоровье — тоже грех. И мужественный писатель никогда не делится своими бедами.

В самом деле, кого сейчас трогает чужое горе, когда и свое волнует не особенно. На этом поле брани, в которое превратилась наша повседневная жизнь, сострадание давно себя исчерпало.

Правда, некоторое любопытство еще вызывают вопросы, связанные исключительно с собственностью: чем ты владеешь, чем он владеет, и как ты вообще относишься к новым удачливым собствен-

никам?! Эти вопросы заменили теперь пресловутый «кем вы были до 17-го года?!».

Собственностью писателя являются только его книги. Это единственный вид собственности, который, даже будучи купленным читателями, продолжает принадлежать писателю — в силу авторского права. Более того, только это право и придает книге как товару — истинную ценность. И, приобретая книги Рауля Мир-Хайдарова, ярко отобразившие хронику смутного времени, крутой перелом действительности, мы вступаем в совместное владение собственностью.

И хочется попросить писателя — поставить автограф на развороте его книг, ставших и нашими.

*1998, 2001–2005*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

#### Далеких лет далекие обиды

Судить буду я. Роман .....	13
Из Касабланки морем. Повесть .....	299
Путь в три версты. Повесть .....	369
Ночь на постоялом дворе. Рассказ.....	403
Далеких лет далекие обиды. Рассказ .....	429
Лебедь белая. Рассказ .....	440
Случайно встреченный. Рассказ .....	459
Марсель. Рассказ.....	467
Воспоминания о поэте, любившем Малеевку. Эссе .....	479
Сын двух народов. Эссе.....	485
Дайджест интервью .....	505
Искусство жить искусством. Монография С. Алиханова .....	553

Литературно-художественное издание

Мир-Хайдаров Рауль Мирсаидович

Собрание сочинений в шести томах

**Том четвертый**

Казань. Издательство «Kazan-Казань». 2011

Редактор

*Ю. А. Балашов*

Художественное оформление:

*Г. Л. Эйдинов*

Техническое редактирование и компьютерная верстка:

*А. Р. Ермолаева, Р. М. Шарафутдинов, С. А. Саакян*

Корректор *Л. З. Саямова*

Собрание сочинений оформлено картинками из личной коллекции  
Рауля Мир-Хайдарова.

На обложках использованы картины

Айдара Шириязданова.

В оформлении книг использованы картины

Сергея Широкова.

С оригинал-макета подписано в печать 05.12.2011. Формат 70x100 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.

П. л. 37,5. Усл. печ. л. 48,75. Тираж 2000. Заказ ????

Издательство «Kazan-Казань». 420066, Казань, ул. Чистопольская, 5

Филиал ОАО «Татмедиа» Полиграфическо-издательский комплекс

«Идел-Пресс»

420066, Казань, ул. Декабристов, 2